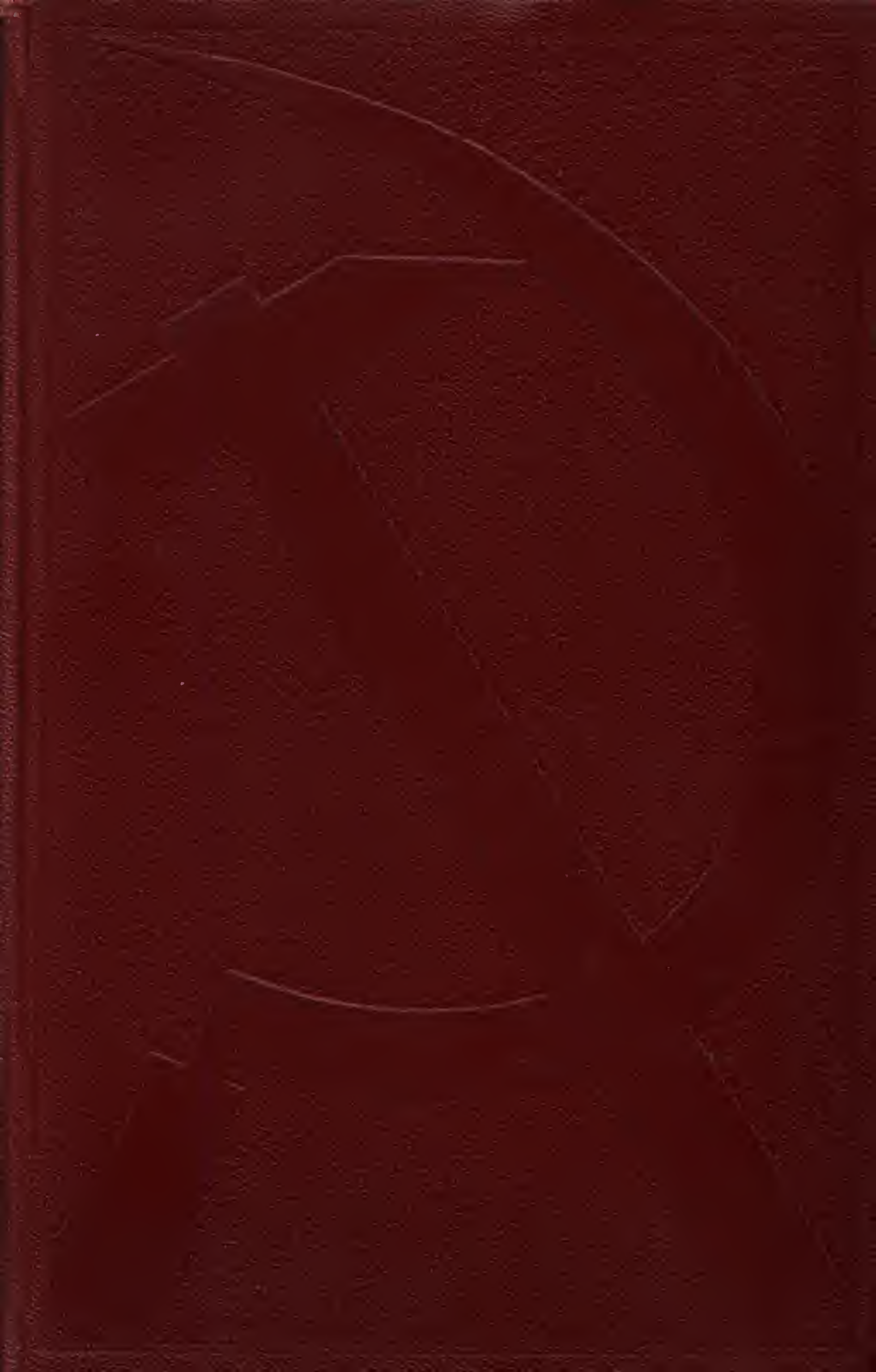


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Художественной литературы
Москва • 1957



СБОРНИК РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Избранные рассказы и очерки советских писателей, включенные в сборник «Октябрь», освещают период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции и первые годы существования Советского государства. Значительная часть собранных в книге произведений принадлежит писателям — участникам и свидетелям этих исторических событий.

Рассказы и очерки первого раздела — «Накануне» — отражают революционные настроения русских рабочих, солдат и крестьян в апреле — октябре 1917 года.

Второй раздел — «Штурм» — воссоздает картину Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, в Москве и других городах.

Темам мирного советского строительства, прерванного вскоре гражданской войной против интервентов и их белогвардейских наемников,— посвящен третий раздел — «Начало».

Раздел четвертый — «Первые битвы» — повествует о боях Красной гвардии, молодой Красной Армии и партизанских отрядов с врагами Советского государства. Рассказы этого раздела сгруппированы в тематические циклы, последовательно посвященные боям петроградских красногвардейцев с контрреволюционными мятежниками, расслоению донского и кубанского казачества в революционные дни, битвам в Поволжье и на Урале, боям против

немецких оккупантов на Украине, подвигам советских патриотов на юге, севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Все тексты произведений, вошедших в сборник, печатаются в новых авторских или последних прижизненных редакциях.

В примечаниях даны краткие биографические и библиографические справочные сведения.

НАКАНУНЕ

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ВЕСНА 1917 ГОДА

ДОБРАВШИСЬ из госпиталя домой, в Петроград, юноша-доброволец наслаждался кратковременным отпуском.

Война раньше времени сделала его взрослым. Горький опыт окопных лет бесследно уничтожил его прежнюю детскую преданность «вере, царю и отечеству» и привел его к горячему, страстному убеждению в необходимости уничтожения старого чудовищного режима.

3 апреля 1917 года он шел по знакомым улицам, взволнованный встречей с детства дорогим ему городом, радуясь революционному кипению народа... Но какая-то неясность в понимании происходящих событий раздражала и омрачала его радость. Острое чувство беспокойства заставляло его проверять свои мысли. Эта проверка, казалось, должна была дать успокоительный результат: все в порядке—революция произошла. Но тотчас же беспокойство охватывало его вновь. Совершенно очевидно: произошла ошибка, она касалась чего-то важного, большого... Однако товарищи из Совета рабочих и солдатских депутатов утверждают, что сделано все, веками ожидавшееся, оплаченное кровью лучших людей. Закрепляйте завоеванную свободу. И подумать только, как быстро все произошло, а казалось, что о революции и мечтать пока нечего. Сколько даром вытерпели! И жизнь же теперь пойдет!

Но юношу все-таки не оставляла мысль об ошибке. Он хотел во что бы то ни стало до конца все узнать, понять. Раньше вопрос для него был ясен: «Долой самодержавие!» Да и сейчас все ясно: царизм кончен, а дальше будет социализм — замечательная, необыкновенная жизнь! Если товарищи из Совета так спокойны, значит действительно

все в порядке. «Там ведь не «кто-нибудь», а депутаты, народ политический. Однако в чем же, господи, дело и почему мне не все ясно?»

И в госпитале и в дороге он осторожно, боясь насмешек, расспрашивал солдат и получал один и тот же ответ: «Николке по шапке дали, теперь жизнь будет». Но эти ответы не удовлетворяли его.

Внимание юноши привлекла толпа рабочих, шедшая с красными флагами и букетами цветов. Он подошел и спросил, куда идут. Ему на ходу ответили: «К Финляндскому вокзалу... Встречать...» Кого встречать — он не понял, но, заинтересовавшись, пошел вслед за толпой.

Шел народ, шли солдаты. Солдаты давали шаг. Юноша радостно смотрел на них: «Ишь черти, лохмачи, ратнички милые вы мои. Хорошие... Народ поддержали!» Вдруг показалось, что мысль набрела на что-то важное. Привычный ход мыслей возобновился: царизм свергли, хор-рошо! Царизм свергли все вместе — народ и солдаты! И впредь надо все делать вместе... Вместе! Вместе! Показалось, что именно в этом и дело, что ошибка найдена. Найдена! И как это ему раньше непонятно было? Прежде сычами жили, друг от друга, от самих себя прятались, неба не видали. Тут до слез, до спазм в горле вспомнились мгновения необычайного света и радости, когда солдаты на фронте целовались: «Долой самодержавие! Дожили. Вместе достигли!..» В этом все дело, в этом! Братцы, хорошие, милые мои! Наро-од! А сейчас опять как будто не вместе. Каждый по-своему думает.

Юноша шел взволнованный, готовый страдать, любить, действовать... Его взгляд внезапно остановился на офицере, который вел роту.

Офицер шел сутулясь и, казалось, не обращал внимания ни на людей, ни на улицу, ни даже на свою роту... Шел, выражая движением плеч, отсутствующими заплывшими глазками, равнодушно скользившими по лужицам, булыжнику и тумбам, всей своей физиономией с набухшим большим носом, что ему на все наплевать. Если бы не служба, поверьте, он не вел бы сейчас роту на Финляндский вокзал...

Юноша, как загипнотизированный, не мог отвести взгляда от офицера, особенно от его лица. Нос, цвет усов, скулы, челюсти — да что же это? Да кто же это? Откуда? И вдруг понял — да это же старый режим! Багровомор-

дые, усатые, скуластые, с желваками «узаконенного образца», рыкающие, рявкающие — городовые, становые, околоточные надзиратели, смотрители, вахтеры... Да как же так?.. Снова неразрешенный вопрос! Непостижимая ошибка опять откуда-то свалилась, сшибла, придавила. Глаза не отрывались от красного флага и шедшего рядом офицера, воплощавшего, как казалось юноше, старый режим.

Рота шла.

— Ать-ва-и-ире!

Юноша, тоже по привычке, шел в ногу. Как же так, как же так, как же так? Неужели никто ничего не замечает? А вдруг Россию спровоцировали?

Задерганный, измученный тремя годами окопной жизни, человек тщетно пытался понять: что же происходит? Ведь революция!

Он уцепился за выхваченный им из всего окружающего страшный образ: красный флаг и рядом старорежимный офицер. Какая странность, неприятность! Кто-то, где-то, как-то ошибся. Несомненно надо поправить! Сказать всем, народу: не годится, чтобы «такой» ходил перед ротой и рядом с красным флагом. Надо выйти к народу и сказать. И все будет в порядке. Разве глаз у народа нету?.. Впрочем, почему же никто не замечает?.. И снова мучительный приступ волнующих дум...

События развивались стремительно, и сложность происходившего многим была неясна. Юноше, только что вернувшемуся с фронта, было почти немыслимо во всем самому разобраться.

Многие, как и он, еще не знали и не понимали, что в то время как большевики бросили в первые дни революции все силы на непосредственное руководство народом и армией, меньшевики,— пользуясь этим фактом и тем, что большинство лидеров РСДРП (большевиков) еще не вернулись из тюрем, ссылок и эмиграции,— опутали народ лживыми обещаниями, захватили депутатские места в Советах. Они неверно ориентировали массы; поддерживали представителей буржуазии; уверяли народ, что буржуазная революция — истинная революция, и тем вводили многих в заблуждение. Они и не помышляли о мире, которого так хотел народ. Они его обманули.

Юноша шел, не замечая хода времени, повинуясь общему движению, неотступно наблюдая за офицером.

Офицер командовал ротой подневольно и оскорбленно: «Служба, знаете, комитет требует».

— Напра-о! Рравняй-сь!

Он закурил, дав роте команду «оправиться», но вдруг затоптал папиросу и, привычно одернув пояс, шашку и револьвер, зычно разослал команду:

— Для встре-ччи слев-ва, ш-шай! н-на кра-ул!

И только тогда юноша заметил, что он стоит вместе с толпой у Финляндского вокзала.

Солдаты держали винтовки «на караул» и, по уставу круто повернув головы, косили глазами.

Толпа заполнила всю площадь. Здесь были и матросы, и солдаты, и рабочие, и интеллигенты, и студенты, и гимназисты. Женщины принесли букеты цветов. Площадь пестрела знаменами и лозунгами, вспыхивавшими алыми пятнами в свете прожекторов. Раскрывались окна домов. Остановилось уличное движение.

— Кого это так встречают?

Наконец юноша увидел того, кого все ждали. Его вынесли на руках и бережно опустили на землю. Это был человек небольшого роста, в штатском.

Стараясь как можно скорей избавиться от всех церемоний, неизбежных при встрече, он шагнул в сторону, где стояла группа рабочих, безошибочно узнав в них своих старых питерских товарищей...

Юноша увидел, что прибывшему помогли подняться повыше. В темноте он не мог различить, что это было — трибуна или автомобиль... Потом в свете прожектора увидел — броневик... Прибывший поднялся и одним движением, простым и естественным, снял кепку, приветствуя всех. Открылся великолепный лоб философа. Он всматривался в людей и, казалось, говорил каждому в отдельности совершенно простые, свои, ясные и вместе с тем мудрые слова.

Толпа затихла. Никто не шептался, не кашлял, не глядел по сторонам, не курил... Слушали все! Слушали из окон соседних домов. Слушали опоздавшие, взобравшись на трамвайные и фонарные столбы. Слушали, приставив ладони к ушам. Слушали, одергивая зашевелившихся. Слушали всем существом. Слушали, вникая в каждое слово. Слушали, учащенно дыша от волнения.

В скупых, совершенно понятных каждому, как бы весомых словах он открывал, потрясая сознание людей, доселе им неизвестное, сокровенное, самое важное на свете.

Люди порой погружались в глубочайшее удивление, не постигая, как это до сих пор они не додумались сами... Как просто и как верно! Понятия правды и свободы приобретали настоящий, отчетливый, совершенно точный смысл. Прежние неподвижные, застывшие между землей и небесами представления о боге, царе и прочем, неясные, смутные, хранимые в душе мечты о счастье и правде,— заменились законами бытия, до трепета жизнеутверждающими, повелительными и убеждающими.

Казалось, говоривший человек обнимает весь мир своей мыслью. Он устанавливал необычайно точно и ясно причины и связь явлений. Навсегда врезались в мозг и душу эти впервые услышанные глубокие слова. Первое их воздействие, первое впечатление от них было неповторимо. Людям хотелось протиснуться ближе к говорившему. Люди приходили в отчаяние, когда ветер относил слова.

Людям хотелось под влиянием всего ими услышанного, раскрывавшего грандиозные перспективы,— сразу куда-то идти, действовать.

Теребя соседа, юноша, впервые в жизни получивший ответ на все главные, мучившие его вопросы, шептал:

— Да кто же это говорит? Кто?

— Неужели вы не знаете? Л е н и н!

Ленин закончил свою речь, навсегда вошедшую в историю мира, всеобобщающей формулой, советом, указанием, которое он дал людям всей силой своего гения, всей силой своей любви к народу, всем своим большим сердцем:

— Да здравствует социалистическая революция!

1929—1939

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

НА ПОДСТУПАХ ОКТЯБРЯ

(1 мая 1917 года в Иваново-Вознесенске)

Мы хотим, чтобы Первое мая было теплым, светлосолнечным днем. А сегодня так скверно: моросит изнурительный, бесконечный дождь; по выбоинам дорог хлюпает мутная вода; посерели и принахмурились дома, сараи, заборы; низко опустилось дымчатое, скучное небо.

Ах! Первое мая должно быть совсем иным. И не только я,— мы все ожидали его в лучах, в цветущей зелени, с голубым высоким небом.

Теперь, я думаю, всем тяжело и обидно, как мне; даже не только обидно, тяжело, а опаска берет. Ну, да как никто не придет, одни знаменосцы? Кому захочется в этакую гнусную слякоть истязать себя долгие часы? Не подумает ли каждый: «А пусть без меня... Что я, один? И не пойду — хватит народу... Дай-ка пережду окаянную хмару...» Гвоздем торчала эта мысль. И беспокоила...

Я вхожу на широкий фабричный двор. Он напомнил мне распростертую засаленную рабочую блузу, когда от дождя по ней стекает масло, известка, нефть, прилипшие комья грязи...

На пустынном дворе еще большая тоска, чем на безлюдных утренних улицах...

Комнатка у фабричного комитета небольшая — черная, прокуренная, полутемная.

Мы сегодня пришли сюда спозаранку: не дошили вчера атласных знамен, не достроили подмостков театру, а открыть его надо сегодня же, Первого мая. Я не первый пришел: Катерина Лунева, Настя, сестра ее, Гаврилов,

Никита Губан, старик Алексеич,— вон их сколько,— уж не ночевали ли тут?

— Здорово, товарищи!

— Здравствуй, Павел! На молоток — иди на сцену, тебя там ожидают на подмогу.

Я ухожу. Но прежде чем уйти, как всегда смотрю на Катерину: у нее под опущенными ресницами не вижу глаз; губы сложены строго; низко опущен платок — она вся перегнулась, склонилась над работой. Не стану мешать, не оторву, не скажу ей ни слова, лучше послушаю — полюбуюсь, как она станет говорить рабочим про Май: так постановил фабричный комитет, чтобы Катерина сегодня говорила,— ее любят и уважают, такую рассудительную, умную и строгую.

Длинным-длинным коридором (такие только на фабриках) я пробираюсь к театру: мы его построили в пустующем сарае, когда-то забитом от низу до потолка хозяйскими товарами. На минутку остановился я и слушаю: тихо. Где-то за стенами чуть гудят человеческие голоса, а оттуда, спереди, то молотком постучат, то проскрежещут ручником-пилою. В этом коридоре я как в подземелье: сыро, темно, даже страшно немного... Как тяжело быть одному: и здесь и там вот, на улице, под скучным слепым дождем...

Я выхожу из коридора прямо в сарай и здесь работаю. Мне все скучно по-прежнему, да вижу я, что и товарищам моим не весело. Стучим, строгаем, пилим, таскаем, режем, вбиваем... Проходят часы. Как прежде, падает дождь: непрерывными, бессильными, мертвыми каплями.

Когда на две, на три секунды у нас случалась тишина — не стучали молотки, не визжали рубанки и пилы,— через стены к нам доносились какие-то звуки. И чем дальше, тем они становились явственней и громче. Гудит... Гудит... Мы понимали, что это гомон человеческой речи... «Значит, не все пропало,— подумал я,— может быть, и праздник состоится по-настоящему...» Вместе с говором и шумом, который все усиливался за стенами, ко мне в грудь проникало новое чувство, я замечал, что у меня хоть и медленно, а все-таки пропадает, рассеивается понемногу то гнетущее, мучительное состояние, с которым я шел сюда, которым полон был до этой минуты.

Кончена работа. Мы достроили что хотели. Я бегу обратно длинным мрачным коридором, и он мне кажется уже не совсем таким отвратительным, как прежде. Лишь только поднялся по ступенькам — прямо к окну. А окно смотрит в фабричный двор. Двор переполнен рабочими.

«Так что же это такое? — чуть не крикнул я.— Неужели правда? Значит, ни слякоть, ни дождь, ни хмурое небо — ничто нипочем...»

Я почувствовал, как краска стыда залила мне лицо, как я сам себе вдруг показался и смешным, и маленьким, и жалким со своими куриными утренними сомнениями.

Взволнованный, спешу я в комитет, а туда не проберешься — все ходы-выходы заполнил народ. Толпа колыхнулась к выходу — это торопились открыть во дворе собрание, чтобы идти на главную, на Советскую площадь, куда соберутся к условленному часу все фабрики. Поплыла толпа. С нею плыву и я. Когда поравнялся с дверью, пахнуло все той же сыростью, что и утром, так же бесстрастно и печально падал дождь, так же угрюмо было свинцовое небо... А у меня дух захватывало от радости. Я торжествовал. Я был счастлив в те минуты. Я даже чувствовал себя так, как будто кого-то и в чем-то победил...

До сегодняшнего утра нам не показывали новых атласных знамен. Вот они, у трибуны; я спешу их рассмотреть:

«Да здравствует Советская власть!»

«Вся власть Советам!»

«Долой десять министров-капиталистов!»

«Над производством — рабочий контроль!»

«Передадим землю крестьянам, фабрики и заводы — рабочим!»

«Да здравствует мир!»

«Долой проклятую бойню!»

«Да здравствует Интернационал!»

«Смерть Капиталу! Слава Труду!»

Ах, какие это зажигающие лозунги!

С каким захватом, с каким волнением из уст в уста передают рабочие эти огненные слова! Вот цели, к которым надо стремиться. Вот знамена, под которыми надо идти.

Скорее же, скорее на площадь, там будет нас еще больше, туда все фабрики принесут такие же атласные и шелковые знамена, где будут не вышиты — выжжены каленым железом такие же пламенные, зовущие слова.



Художник П. Васильев. «Приезд В. И. Ленина в Петроград»

Медленная, гордая, сильная, входит по ступенькам Катерина.

— Товарищи! Этот день — наш. Мы посылаем сегодня еще громче свой привет рабочим мира. Мы сегодня еще громче проклинаем бойню, устроенную капиталистами. Мы больше не хотим воевать. Не станем. Под этими знаменами, под этими лозунгами — поклянемся во что бы то ни стало добиться победы рабочего класса...

Недолго говорила Катерина. И не надо было долго говорить: вдохновенные лица рабочих, решимостью сверкнувшие взоры, простые, словно литые слова, эти выкрики-клятвы, этот заключительный восторженный рев — все сказало о готовности бороться, о готовности страдать, о вере в победу. Мы пели «Интернационал». Что-то хотел еще сказать табельщик Каплушин, а ему крикнули из толпы:

— Сними с живота дареные хозяйские часы!

— Знаем мы тебя, подлыгалу!

— Ишь какой выискался защитник рабочих!

— Беги лучше — пошепчись с хозяином...

Напрасно Каплушин махал жиденькими ручонками, напрасно брызгал слюною, торопясь что-то доказать и разъяснить,— из тысячи грудей неслось победное пение... Мы тронулись на площадь...

Никому не было дела до хмурого неба, до расслабленного, противного дождя, до сырости, грязной дороги, истыканной лужами.

Взявшись за руки, рядами, колоннами шли мы по широким улицам, и толпа все росла, облипала чужими, случайными, которые не могли устоять перед нашей силой, перед стройностью, перед новыми песнями.

Лейся вдаль, наш напев,
Мчись вперед!
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы,
Мести гром,
Семя грядущего сеет...
Оно горит и ярко рдеет;
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...

Вот она — площадь. Гремят оркестры: сюда уже пришли и революционные полки. Знамена, знамена, знаме-

на — кругом знамена: алые, багровые, рдяные, ярко-красные...

На площади пять трибун... И с каждой трибуны все одни слова:

— На борьбу! На борьбу, рабочие! Победа только впереди — это еще не победа.

— Мы готовы! — отвечали рабочие.

— Мы готовы! — отвечали полки.

Шелестели знамена, и казалось, будто они тоже говорят, соглашаются, одобряют...

Так в Мае готовились мы к Октябрю.

25 марта 1922 г.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАТОРЖАН

Поезд приближался к Севастополю... Он шел по самому берегу моря. Тьма нависала над безлюдными берегами... Проступали неясные очертания старых, знакомых мест. Возвращавшиеся с каторги матросы не проронили ни звука. От нахлынувших горьких воспоминаний больно щемило сердце... Давно-давно они не были здесь...

На берегу, у сетей — силуэты рыбаков... Тьма все гуще и гуще,— и возвращающиеся к морю погрузились в неистребимую печаль, неуходящую тоску прежних лет... Они переживали вновь ушедшие гробовые годы, им слышался гул тысяч матросских ног.

Ррах-ррах-ррах!

Они вздрагивали от окриков:

— Ать-ва-и-ире!

Вот и они — приморские низкие, окрашенные охрой флигеля флотского экипажа.

На взморье росли старые кривые деревья. Здесь вешали матросов в назиданье: чтобы не было повадно помышлять о том, о чем помышлять запрещает присяга, на кресте и евангелии даваемая.

Возвращавшиеся были недвижны. Их давила тяжесть воспоминаний. И нет сил, нет способов, которыми хоть одного из этих матросов можно было бы заставить забыть прожитые годы и ослабить нечеловеческую ненависть к их мучителям. И нет сил, нет слов, чтоб выразить их безмерную любовь к великому другу всех матросов — Ленину. За ним пошли они в 1905-м, за ним пойдут и в 1917-м!

Возвращавшиеся оцепенели... Они не узнавали берега... Им казалось, что это и Либава, и Кронштадт, и Севастополь, и Сахалин... Вдали, в бухте, окруженной гро-

мадой гор, вдруг загорелись огни. Прожектора метались по небу, и небо над Черным морем покрылось светящимися пятнами, как при игре полярных сполохов. Низкий рев сирен стлался над морем и отдавался в горных долинах. Бухта выбрасывала все больше и больше света. С кораблей доносились зычные, настойчивые гудки. Большой сбор!

Черное море готовилось к встрече любимых сыновей —героев пятого и двенадцатого годов. Черное море помнило о «Потемкине» и «Очакове».

Поезд шел по самому берегу ревущей и сверкавшей огнями бухты.

Возвращавшиеся подались вперед, чтобы быть ближе к сверкавшей огнями бухте, к флоту, старую любовь к которому не истребило ничто.

Поезд остановился. Из вагона в свете боевых прожекторов эскадры вышли старые матросы. Встречавшие подхватили их на руки. Толпа обнажила головы.

Вернувшиеся задыхались от волнения... В взволнованной тишине были слышны их рыдания... При свете прожекторов все увидели их слезы... Толпа матросов внимала скупым словам благодарности.

Вернувшихся каторжан повели к старым местам их службы: в их экипажи и на их корабли.

Ранним утром они пошли к берегу, на скалы, на былые места тайных сходок. Там ждали их друзья — рыбаки, бывшие матросы. Они подсели к старым товарищам, перебрасываясь давнишними, полузабытыми словечками. Рыбаки воткнули в песок весла и набросили на них брезенты, чтобы солнце не палило дорогих гостей. Потом не спеша, торжественно разостлали на песке холст, придавив его крупной морской галькой, чтобы не сорвал ветер.

Гости молча сидели, вдыхая запах тины, соли, камыша. Все возвращало старым матросам их любовь, их силу, их веру...

Солнце палило. Севастополь был слепяще бел. На морской зыби чуть стукались бортами шлюпки.

Рыбаки вынули из плетеных кошелок скумбрию, помидоры, огурцы и хлеб.

Старший рыбак пригласил гостей. Чинно и осторожно сотрапезники резали хлеб. Оглянувшись по старой привычке, хотя в этом не было нужды, рыбак вынул из шлюпки бутыли вина.

Из первой бутыли наполнили чайные стаканы, вымытые в море, еще влажные и составленные «грудкой», в знак единения. Старый рыбак поднял стакан и дрожащим голосом запел:

Оч-чаков! Бор-рэц за своб-боду-у...

Все истово, горячо подхватили...

Когда кончили петь, один из матросов сказал:

— Да будет вольный флот на Черном море!

Все повторили и выпили, блюдя обычаи и уважая друг друга.

Помалу шел тихий морской разговор: когда где скумбрия шла, кто когда в поход к Анатолии ходил... И за разговором подымали стаканы:

— Да будет вольный флот на Черном море!

И свобода, и друзья, и запахи моря — все вернулось к старикам, и счастье тихо качало их.

Скалы закрывали север, а на западе вечное, в памяти навсегда оставшееся море, сливавшееся на горизонте с небом. Старики глядели на горизонт, на бухту, узнавали корабли в блеске дня, говорили об этих кораблях, безошибочно называя их имена, отмечая все внешние перемены, охваченные глазом на расстоянии целой мили. Все было нужно, важно... Они наслаждались теплым счастьем, упивались этим разговором, возвращавшим им жизнь.

— Да будет вольный флот на Черном море!

Скумбрия жирна! Капли жира стекали по пальцам, падая на гальку и испаряясь под солнцем. Скумбрия прекрасна! Вот этими руками ловлена, ешь!

— Выпьем, други! Как хорошо!

Друзья глядели на море и вспоминали дальние плаванья: Анатолию, Константинополь, Румынию, Александрию, Мальту... Имена звучные, знакомые. Море соединяет их. Друзья знали их, видели их под солнцем, раскаляющим скалы.

Гости глядели на возвращенное им море, пахнувшее, испарявшее соли в необозримые выси. Море!

Люди, хмелея (они почти забыли вкус вина), рождали планы, дерзкие и великолепные. Они не видели ни малейшей фантастики в них. Что недоступно вот этим рукам?!

Старые матросы были еще полны сил, дерзости и жажды новых опасностей. Они делились друг с другом мечтами о том, что будет, когда все страдающие на море и на земле подымутся на борьбу за свободу.

Рефракция искажала шедшие корабли. Очертания их расплывались в зное. Над скалой — греческие руины, приют уже исчезнувших контрабандистов и пиратов.

— Выпьем!

Молодой, слушавший старших рыбак встал и, гикнув, начал танец. Все подпевали танцору.

Парень блестел от пота, сверкало его играющее тело, выбрасываясь и изгибаясь. Хо-оппа! Оп-па!

Гальки летели из-под его ног. Парень танцевал...

Гуляют сегодня черноморцы!

Друзьям мало берега. Им тесно. Им нужно море. Темные руки подняли черную смоленую шлюпку и бросили ее на воду. Шлюпка качалась, как все в этот день. Дай море!

Друзья скоро пойдут в белых рубахах с синими воротниками на серьезное дело... А сейчас не мешай! Дай море!

Шлюпка вырвалась из бухты. Весла гнулись и скрипели... Как хорошо, оказывается, грести! Почему раньше было трудно?.. Друзья, горячие, как камни на берегу, навалились на весла. Смола, размягченная солнцем, одуряюще сладко пахла. Шлюпка ушла в открытое море.

Опьянев от хода шлюпки, от крика чаек, от блеска стремительных дельфинов, от простора, — матросы громко, во всю силу глоток кричали «ура» в честь моря. Тогда один очаковец, переполненный счастьем, поднялся на нос шлюпки, готовясь во всем как есть броситься в море. Друзья держали его за руки, целовали, старались успокоить, усадить... Но очаковец, плача и смеясь, оттолкнул их и закричал полушутя, полусерьезно:

— Прочь, не мешать!..

Люди в шлюпке, бросив весла, смеялись и шумели от избытка сил.

Очаковец опять поднялся и, окинув все быстрым,— чтоб навсегда запомнить мгновенье,— взглядом, полетел в море.

— Дай море! Наше море!

Он рассекал воду, и брызги, разлетаясь, сверкали на солнце.

— Го-гоо!..

Друзья гребли, догоняя очаковца и восторгаясь им.

— Море, наше море! Нам тут — может завтра — драться придется... Ночью будем перебрасываться куда надо...

— Разве мы не понимаем, сколько еще дел...

— Зови нас, Революция! Зови нас, товарищ Ленин!

— Навал-лись!

Шлюпка на берегу...

Солнце зашло...

Друзья распластались на песке у костра. Поднялся и зашумел ветер. Кончался день, второй счастливый день в их жизни!

Бесшумные парусники, неся красные и зеленые огни, шли в гавань.

Друзья убирали шлюпку. Они любовно скребли и терли ее, вкладывая в работу все свое уменье. Укладывали концы, вычерпывали воду, складывали и убирали брезенты. Все движения так отчетливы и легки. И снова — радостное удивление: как хорошо все делать без принуждения, когда ты свободен!

Золотые руки у матросов! Эти руки сумеют сделать все на свете... Все будет наше!

1929—1939

ПАВЕЛ АРСКИЙ

ВО ДВОРЦЕ КШЕСИНСКОЙ

ОДНАЖДЫ полковой комитет получил приглашение: выслать делегатов на дачу бывшего царского министра Дурново, где состоится совещание представителей фабрик и заводов, а также воинских частей Петрограда.

На это совещание у нас была выделена делегация из трех человек; я и еще два солдата.

Когда мы пришли на дачу Дурново, в большом зале было много рабочих, солдат и матросов.

Один за другим выступали ораторы с лозунгами: «Долой войну!», «Хлеба и мира!»

Председатель собрания обратился к нашей делегации:

— Павловцы желают получить слово?

Мы ответили согласием и стали держать совет, кто выступит. Мои товарищи решили, что выступить должен я. Говорил я недолго, сообщил о том, что Керенский искал опору для своей гнусной политики у солдат Павловского полка. С этой целью он провел смотр полка на Марсовом поле.

В конце собрания было принято решение: выбрать революционный комитет в составе пятнадцати рабочих, солдат и матросов.

Закрывая собрание, председатель сказал, что революционный комитет должен немедленно наметить план действий.

Секретарем революционного комитета выбрали меня. Я вел протокол заседания, на котором обсуждался один важный вопрос: о немедленном свержении Временного правительства и передаче всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Я предложил на повестку дня поставить еще один вопрос: немедленно послать делегацию к Ленину во дворец Кшесинской.

Мое предложение было принято. Делегация была выбрана из пяти: двух рабочих, двух солдат и одного матроса.

Солнце близилось к закату, когда мы вышли на улицу и направились ко дворцу Кшесинской.

По дороге мы встретили автомобиль. Взяв друг друга за руки, мы стали посредине дороги и крикнули шоферу:

— Стой!

В автомобиле сидел человек с портфелем. На его побледневшем лице виден был нескрываемый ужас.

— Кто едет? — спросил я.

— Чиновник особых поручений князя Львова! — пролепетал человек с портфелем.

— Вылезай!

Он покорно, не говоря ни слова, вылез из машины и стал посредине улицы.

Шофер, не шевелясь, вопросительно смотрел на нас.

— Во дворец Кшесинской! Давай быстро! — скомандовал матрос.

Шофер молча нажал рычаг, автомобиль быстро помчался по улице.

Я взглянул назад и увидел, что чиновник с портфелем по-прежнему неподвижно стоит на улице, как будто его ноги были привинчены к мостовой.

Делегация наша приехала ко дворцу Кшесинской в хорошем и веселом настроении, но меня втайне тревожила мысль: что скажет Ленин, когда мы ему доложим о характере совещания на даче Дурново?

Мы вышли из автомобиля и подошли к воротам, где стоял на посту солдат броневого дивизиона, охранявшего штаб ЦК партии большевиков. Узнав, кто мы такие, часовой подозвал другого солдата и сказал:

— Делегация к Ленину!

Солдат ушел, быстро вернулся и повел нас в здание. Мы поднялись на второй этаж, вошли в большой зал, где у окна стояли Ленин и Свердлов.

Ленин с улыбкой встретил нас и спросил о цели нашего прихода.

Мы молчали, никто не решился говорить первым. Матрос толкнул меня в бок и тихо шепнул:

— Говори...

— Мы делегация...— Я вдруг запнулся и неловко замолчал.

— Какая делегация? — спросил Ленин.

— Делегация Революционного комитета! — громко сказал я, но тут же холодок прошел у меня по спине, когда Ленин недоверчиво развел руками и сказал:

— Революционного комитета? — Он погладил бородку и с улыбкой посмотрел на Свердлова.

— Яков Михайлович! Как вам это нравится?

Я сразу понял, что наша делегация попала впросак. Матрос толкнул меня в бок:

— Скажи... По существу!

Стоявший рядом со мной рабочий так же тихо сказал:

— По правде, как было... Не робей!

Немного помедлив, я стал говорить о собрании на даче Дурново и о том, что после собрания был выбран Революционный комитет, который заседал и вынес решение...

— Какое решение? — спросил Ленин.

— О немедленном свержении Временного правительства! — выпалил я.

— Да? — негромко засмеялся Ленин.

На лбу его легла складка: прищурив глаза, он посмотрел на нас, прошелся по комнате и с каким-то дружеским упреком сказал:

— Нет, товарищи, так нельзя! Партия наша этого вопроса еще не решала.

Я почувствовал, что мои ноги вдруг так же оказались привинченными к полу, как у чиновника князя Львова. Тем не менее я еще сказал, как бы в оправдание нашего прихода, что на собрании были представители от фабрик и заводов, а также от воинских частей.

— Голос масс, товарищ Ленин! — сказал рабочий.

— Да! Мы это понимаем! — быстро подошел к нему Ленин.— Но время еще не приспело.

Я увидел, что наша делегация действительно попала в неловкое положение, в особенности после того, как Ленин вдруг недовольно произнес:

— На даче Дурново бывают анархисты. Они тянут в свою сторону. Вы не слушайте их, дорогие товарищи.

— Мы не анархисты! — сказал я с легкой обидой.

— Нет! Не анархисты! — громко проговорил матрос.

— Очень хорошо! Я прошу вас, товарищи, когда вы

возвратитесь на заводы и в свои воинские части, разъясните рабочим, солдатам и матросам, что, когда придет время, мы прогоним министров-капиталистов.

— Это так, Владимир Ильич! — А вот позвольте мне сказать слово! — произнес рабочий.

— Прошу вас!

— Вот вы сказали — рано... Это верно! Партия еще не решила взять в руки власть. Правильно! А что же получается? Созвать хотели Учредительное собрание... А где оно? Нет его! И когда его созовут — никто не знает.

— Да, вы правы! — с живостью заговорил Ленин.— Еще недавно нам говорили, что Учредительное собрание может быть созвано не ранее окончания войны, что на пути к созыву его стоят громадные, непреодолимые трудности. Но все это, конечно, неверно! Мы заставим буржуазных министров раскачаться.

Ленин быстро зашагал по залу, заложив пальцы рук за проемы жилета.

— Дорогие товарищи! — сказал он, остановившись перед нами.— Жизнь не даст отсрочки министрам-капиталистам. Да! А нашим требованием остается: вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов... И пусть поскорее уйдут министры-капиталисты. Это единственная услуга, которую они еще могут оказать нашей стране. А власть мы возьмем в свои руки! В этом не может быть никакого сомнения. Верно, Яков Михайлович?

— Верно, Владимир Ильич,— улыбнулся Свердлов, поправляя пенсне.

Ленин посмотрел на часы.

— Вы извините нас, товарищи! Мы должны сейчас ехать на заседание Петроградского Совета, где с докладом выступит военный министр Керенский.

Мы переглянулись друг с другом, и, видимо, у нас на лицах было выражено желание послушать «главноуговаривающего». Ленин уловил нашу мысль и с улыбкой сказал:

— Если товарищи пожелают, они могут поехать с нами в Морской корпус, где скоро начнется заседание Петроградского Совета.

В это время вошел солдат.

— Машина готова, Владимир Ильич!

— Еще машину товарищам делегатам.

— Есть машину! — сказал солдат и быстро вышел.

— Спасибо, Владимир Ильич,— матрос наклонил голову,— машина у нас есть...

— Откуда она у вас?

— Мы взяли ее у князя Львова.

— То есть как это взяли? Я не понимаю!

— Чиновника особых поручений из машины... А мы в машину.

Ленин пошел к двери, а за ним Свердлов.

— Как вам это нравится? — засмеялся Ленин.— Если они взяли машину у князя Львова, то они могут у него и власть взять!

Выйдя из дворца на улицу, мы не увидели своего автомобиля.

— Князь Львов угнал вашу машину! — с добродушным смехом сказал Ленин.— Садитесь в нашу машину, она вас ждет.

Ленин и Свердлов сели в автомобиль стального цвета, а мы — в другой, который нам дали солдаты броневого дивизиона.

По дороге в Морской корпус мы долго молчали. Первым заговорил вяло и неохотно матрос:

— Вот тебе, братишечки, Революционный комитет! Что же это получилось?

Ему никто из нас не ответил, каждый думал свое, и всем было ясно — Владимир Ильич прав, час для выступления еще не пробил. Он впереди. Наступит время, и большевистская партия назовет его нам, поведет боевую сплоченную армию пролетариев, крестьян и солдат на социалистическую революцию.

1957

АЛЕКСАНДР ПОМОРСКИЙ

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ

ТРЕТЬЕГО июля ранним утром я вышел на улицу. Со всех сторон на грузовиках, пешком собирались рабочие к своим районам. Они пели, смеялись. Проходили матросы, загорелые, в белых бескозырках и синих, немного выцветших воротниках. Шли девушки, женщины, заразительно веселые.

Балтийский ветер шумел в дворцовых садах, вскипая на Неве широкими и порывистыми волнами.

«Вся власть Советам!» — читал я большевистские лозунги.

«Долой десять министров-капиталистов!»

Толпа все увеличивалась. Она выстраивалась в ряды, выкрикивала лозунги и напоминала штурмовые океанские волны, поднятые первым ветром нарастающей бури.

Люди шли все вперед и вперед. Вал за валом, гребень за гребнем, заливая мосты, площади, улицы и переулки.

Утром на заводы «Новый Лесснер» и «Старый Парвиайнен» пришли солдаты 1-го пулеметного полка и просили грузовики для оружия.

Они становились в цехах среди машин на черные замасленные табуреты и призывали рабочих поддержать вооруженное восстание.

На Выборгской стороне заревели гудки. По заводам начинались общие собрания.

У машин, в цехах, собирались крепкие вооруженные люди. Другие бежали по улицам с винтовками и за винтовками, третьи строились в колонны, боевые, безмолвные колонны. Я привел свой отряд рабочей милиции, построил его на фоне фабричных труб, жалких деревянных

домишек, улиц, поросших травой, потом двинул вместе со всеми к Невскому.

Мною в этот июльский день, как и многими другими, владело простое и глубокое чувство чистой радости людей, впервые осознавших возможность победы.

Я шел впереди колонны, как все большевики, хотя партия и отказалась от вооруженного выступления в этот день.

В пять часов 3 июля Сталин от имени Центрального Комитета заявил, что большевики решили не выступать. Было написано и послано в «Правду» воззвание, чтобы по выходе газеты в свет удержать рабочих и солдат от выступления, остановить не вовремя начавшееся вооруженное восстание.

Но разве можно остановить разыгравшийся ураган?

И, несмотря на то что партия разослала во все районы, по всем заводам и фабрикам агитаторов и пропагандистов, движение с каждым часом росло.

4 июля с утра площадь у дворца Кшесинской была залита темно-синим морем матросских воротников. Алели знамена рабочих организаций.

По рядам пронеслось магическое слово: «Ленин». Ленин вышел на балкон, спокойный, как всегда. В простых и теплых словах Ленин передал революционный привет морякам, съехавшимся из Ораниенбаума, Кронштадта, Петергофа. Он выразил уверенность, что лозунг, провозглашенный большевиками: «Вся власть Советам»,— победит. Ленин призывал моряков к стойкости, к выдержке, к бдительности.

Разноречивый, многоголосый гул вырастал.

Во дворах, запертых наглухо, около которых стояли молчаливые дворники, я, проходя вместе с демонстрацией к Литейному проспекту, заметил спешенных казаков.

Вдруг вся улица заполнилась ими.

Я обратил внимание на фигуру казачьего командира. Его лицо было искажено, и с ненавистью он бросал в толпу слова:

— Дождались — свобода...

На улице запели. Сначала раздался высокий женский голос, затем второй, а первый, контральто, все больше и больше звал его вперед — вся улица подхватила песню и понесла ее, как знамя. Казаки дрогнули и остановили коней. А песня росла и росла.

К демонстрации присоединилась новая рабочая колонна.

С Литейного и Садовой раздались первые выстрелы.

Казаки услышали сигнал, которого с таким нетерпением ждали. Выскакивая из дворов, они на ходу садились на лошадей и мчались навстречу демонстрации, все еще поющей свои песни. Снова раздались выстрелы, и, как бы в раздумье, постояв на месте, покачнулась юная, красивая девушка, шедшая рядом со мною.

Матрос поднял девушку. Изо рта ее лилась кровь.

У всех, кто это видел, поднималась безудержная ярость, но сделать мы ничего не могли, так как уже со всех сторон били пулеметы. Люди, расстроив колонны, пригибаясь к земле, бежали к подъездам, к воротам, где их встречали пулями и саблями юнкера и казаки.

Когда я пробегал мимо того места, где раздались первые выстрелы, я увидел девушку на мостовой с открытыми глазами и окровавленным ртом. Я остановился, долго всматривался в ее лицо. И вдруг сердце сжалось у меня от боли: я узнал Шуру Кривцову, с которой я в шестнадцатом году работал в Москве в студенческом подпольном паспортном бюро.

Шура лежала на мостовой, раскинув руки, а рядом с нею, под ударами казацких эскадронов, падали новые и новые мои товарищи, и по их живым телам мчались казацкие кони.

Демонстрация отступила, не приняв боя.

1939

ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ

АЛЕНКА

Марья Николаевна вернулась с курсов в радостном возбуждении.

Аленка в это время подавала обед.

— У нас, в Женском политехническом институте, открыта запись в батальон Бочкаревой. Я записалась! — садясь за стол, гордо объявила Марья Николаевна сестре и ее мужу.

Петр Петрович промолчал. Он только взглянул из-под бровей на свояченицу и снова опустил глаза в тарелку.

Аглая Николаевна открыто возмутилась:

— Это зачем? Новая выдумка! Какая-то глупая баба, авантюристка, затеяла...

— Вовсе не глупая и не авантюристка!— горячо возразила Марья Николаевна.— Да будет тебе известно: она — дочь генерала!

— Позвольте, Муся! Если не ошибаюсь, во вчерашнем номере «Огонька» я видел ее фотографию. И там, насколько мне помнится, написано «крестьянка»,— неторопливо и убедительно сказал Петр Петрович.— Аленушка, принесите, пожалуйста, «Огонек»! Он лежит у меня на столе. А заодно захватите и газеты!

Аленка принесла «Огонек» и несколько номеров «Нового времени». Петр Петрович выписывал эту газету.

Петр Петрович развернул журнал и прочел:

— «В Петроград прибыла молодая крестьянка Томской губернии Мария Леонтьевна Бочкарева». Вот извольте видеть! — протянул он свояченице журнал.

— Мало ли что напишут! Какая же она крестьянка, когда с законченным средним образованием?

— Позвольте, позвольте! — горячо возразил Петр Петрович.

Но Марья Николаевна не дала ему сказать:

— Тут точно так же напечатано «молодая». Да разве Бочкарева молодая? Ей самое малое — сорок лет! Посмотри, Аглаечка! — протянула она журнал сестре.

Аглая Николаевна даже не подняла глаз.

Марья Николаевна, пожав плечами, швырнула номер на край стола.

В молчании съели первое.

За вторым курсистка спросила у шурина:

— Вы не читали,— говорят, есть сообщение о том, что Женский союз обратился к Керенскому с телеграммой?

— Как же! Я вам сейчас найду!

Он быстро развернул газету, другую и, отметив ногтем на одной из них, передал Марье Николаевне:

— Вот, извольте!

— Ах, вот это!

Курсистка прочла:

— «Женским союзом помощи родине отправлена военному министру А. Ф. Керенскому телеграмма о том, что члены союза желают занять на фронте места малодушных, которые, дорожа своей жизнью, готовы бросить свой пост. Заняв места в окопах, женщины обещают не спрашивать, почему мы воюем...» Прекрасно!

— Довольно! — вдруг стукнула по столу пухлой ладонью Аглая Николаевна.— Замолчи! Сколько раз я просила, чтобы у меня за столом не говорили о политике!

— Странная просьба! — процедила Марья Николаевна. И, быстрым движением отодвинув от себя тарелку с недоеденной котлетой, встала из-за стола.

Она пошла из комнаты, выпятив тощую грудь и высоко подняв голову. Сегодня Марья Николаевна не вихляла бедрами — она шагала, видимо воображая себя солдатом.

— Дура! — сказала в сердцах Аглая Николаевна, когда за курсисткой закрылась дверь.

Петр Петрович умоляюще поднял глаза на жену, незаметно кивая в сторону Аленки: мол, как можно при ней?

Убирая со стола, Аленка мельком взглянула на раскрытый номер «Огонька». Со страницы журнала глядела мясистая, с одутловатым лицом баба, лет за сорок, в солдатской форме. На ее жирной груди висели крест и медали.

Аленка прочла:

«Младший унтер-офицер 28-го Полоцкого полка Мария Бочкарева».

«Ну и морда!» — подумала Аленка.

— Аленка, разбудите меня завтра пораньше! — говорила, ложась спать, Марья Николаевна.

Аленка с интересом ждала, какой же час назовет барышня: она никогда не подымалась с постели раньше десяти.

— Часов так... в семь!

— Хорошо,— ответила Аленка, едва сдерживая улыбку.

Но в семь часов Марья Николаевна не поднялась, как ни будила ее Аленка.

— Барышня, вставайте, уже семь часов!

— Отстань!

— Вам надо идти!

— Отстань! Никуда я не пойду!

В восемь часов курсистка вскочила сама и сразу же набросилась на Аленку:

— Почему вы меня не разбудили?

— Я будила. Вы сказали, что не пойдете!

— Не сочиняйте! Я этого не говорила.

— Честное слово, барышня!

— А вы не слушали бы, а будили бы! Мало ли что говорят спросонок!

Пока она умывалась, завтракала и собиралась, пробило девять.

— Скорее, скорее, Аленка! Из-за вас опаздываю! — ворчала Марья Николаевна, суетясь.

— По мне, давно можно было идти! — ответила Аленка.

Сестры простились хорошо: Аглая Николаевна за последние дни несколько примирилась с этой вздорной затеей курсистки. Прощаясь, Аглая Николаевна даже перекрестила ее, словно Марья Николаевна отправлялась на фронт, а не по соседству, на Торговую, 14.

— Опомнись, Мусенька, что ты делаешь! — в последний раз пыталась все-таки Аглая Николаевна отговорить сестру.

Но курсистка была непреклонна.

— Аглая, ты меня удивляешь! В тебе нет ни капельки патриотизма! — гордо ответила она и, круто повернув-

шись, вышла. Аленка шла сзади за ней с чемоданчиком, в котором лежали галифе, легкие «скороходовские» сапожки, белье, одеколон и несколько книг.

У темного, невзрачного трехэтажного дома № 14 толпился народ. Тут были преимущественно женщины: работницы, кухарки с корзинками, няньки, прогуливающиеся с детьми. Среди женщин выделялись несколько солдат и весь коричнево-рыжий, от бороды до своего неизменного ведра и щеток, полотер.

Они смотрели на запертые ворота дома и громко говорили и смеялись.

— Даром хлеб казенный спортят! Не оправдают на фронте!

— Думаешь, их на фронт пошлют? У них фронт известный!

— Оправдают: с прибылью вернутся!

— С жиру бесится народ! Поработали бы, как мы на заводе! Вся блажь прошла бы!

Марья Николаевна, бесцеремонно расталкивая толпу, пробиралась к закрытым воротам. Сзади за ней, улыбаясь, шла Аленка.

— Глянь, глянь, никак еще одна за женихом!

— Которая? Передняя?

— Ну да! Не видишь? В шелковом пальто!

— Пигалица!

— Вот-то солдат будет!

— Не солдат, а «матрешка»!

Марья Николаевна, делая вид, что ничего не слышит, постучала в ворота. На стук открылась калитка. Из калитки, как-то смущенно улыбаясь, смотрела молодая женщина — дневальный. Она была в солдатской гимнастерке защитного цвета и в таких же штанах. Просторная солдатская фуражка глубоко сидела на затылке, околыш доходил до ушей. В руках у дневального была винтовка.

— Вам что угодно? — спросила она у Марьи Николаевны.

— Я в батальон.

— Вы записаны?

— Да.

— Проходите! — сказала женщина, чуть пошире открывая калитку.

Пока дневальный закрывал калитку, курсистка и Аленка стояли в полутьме арки.

Где-то вблизи раздавалась воинская команда: зычные мужские голоса, видимо, привычно командовали, выкрикивая наперебой:

— Ать-два, ать-два!

— Отставить!

— Круго-ом арш!

Слышался топот ног.

— Куда теперь идти? — спросила Марья Николаевна.

— Нужно явиться к господину командиру батальона.

— К Бочкаревой?

— Да, к Бочкареву,— старательно подчеркивая мужское окончание фамилии, сказала дневальная.

— А как найти?..— немного запнулась Марья Николаевна, но потом твердо сказала: — господина Бочкарева?

— Пройдите этот двор и следующий! Под аркой... дверь направо. Там — дежурный, Колюбакина, она укажет.

Марья Николаевна и Аленка пошли через первый двор.

Это был довольно большой, со всех сторон замкнутый высокими брандмауэрами домов двор. Посреди него росло несколько деревьев. На дворе небольшими группами маршировали, строились, вздваивали ряды больше сотни бочкаревок. Они все были в гимнастерках и штанах защитного цвета и непомерно больших фуражках, точно мальчонка надел дедову шапку. Обувь была разная: кто в настоящих мужских сапогах, кто в ботинках на высоких каблуках, кто в туфлях самого различного фасона и цвета. Мелькали разноцветные чулки, обмотки.

На одних обмундирование висело как на шесте. У других гимнастерки и штаны трещали по швам.

Большей частью здесь были женщины среднего возраста, но встречались и молодые лица. Увидала Аленка и совершенно седую женщину. Она никак не попадала в шаг, все время сбиваясь с ноги.

Среди бочкаревок, как петухи среди кур, ходили рослые гвардейские унтера-инструктора.

За большим двором шел другой, поменьше. Он был пуст.

Марья Николаевна и Аленка направились под арку, разыскивать дверь. Но в это время дверь открылась. Из нее вышли две бочкаревки. Одна из них, статная, красивая, волнуясь, говорила другой:

— Она меня будет учить! Подумаешь, фронтовая сестра! Подумаешь, с георгиевской медалью! Знаем мы, как сестры на фронте их получали! Девка с Лиговки! — и для крепости загнула такое словцо, что Аленка покраснела.

Марья Николаевна и Аленка вошли в маленькое парадное. Под окном у стола сидела курносая, с веселым лицом, бочкаревка. На ее обширной груди висела георгиевская медаль.

Колюбакина говорила по телефону.

— Командир батальона — на третьем этаже! — тихо сказала она Марье Николаевне, отрываясь от телефона, и затем продолжала говорить в трубку.

— Да, да, Нюра! Что, офицеров? Офицеров от нас убрали. Обучают гвардейские унтер-офицеры... Не худо! — она рассмеялась.

Марья Николаевна и Аленка поднимались по лестнице. Сверху доносились голоса. Один, подчеркнуто вежливый, заискивающий, все время повторял:

— Так, так, благодарю вас, хорошо!

Второй — хриплый, похожий на мальчишеский альт, который старается говорить пропитым басом. Этот пропитой голос говорил:

— ...Делится на четыре взвода. Вы спрашиваете, почему интеллигентного вида? Не мудрено: у нас тридцать процентов курсисток, больше сорока процентов с законченным средним образованием, много сестер милосердия.

Марья Николаевна и Аленка поднялись до третьего этажа и остановились внизу, не доходя одной ступеньки до площадки. На площадке стояли Бочкарева (Аленка сразу узнала ее по фотографии «Огонька») и молодой человек в светло-сером костюме и шляпе. Он торопливо записывал в блокнот то, что говорила Бочкарева.

Бочкарева была небольшого роста, полная женщина. Ее жирная грудь сорокалетней расплывшейся бабы при каждом движении переваливалась слева направо. Она была одета в хорошее суконное обмундирование цвета хаки и в ботинки с черными обмотками.

— Скажите, а разрешаются ли им какие-нибудь развлечения? — спросил человек в сером костюме.

Бочкарева нахмурила брови:

— Кто хочет развлекаться, пусть уходит от меня! Мне таких не надо.

— Но, может быть, полагаются небольшие отпуска или отлучки из казармы? — робко вставил репортер.

— Никаких отпусков и отлучек! Довольно того послабления, что я разрешила приходить сюда после занятий их родственникам. Ну, что еще вам сказать? Через полчаса будет обед. Если хотите, посмотрите нашу столовую! Газете, вероятно, и это интересно.

— Конечно! Так, так! Благодарю вас, хорошо! — повторял репортер, исписывая листок за листком.— А готовите сами? Свои повара?

— Нет, где нам возиться! Приносим из гвардейского флотского экипажа.

— Так, так, благодарю вас, хорошо!

Он оглянулся, увидел ждущих Марью Николаевну и Аленку и, поклонившись как-то вбок, сказал:

— Тогда я пока обожду. Посмотрю, если разрешите, как обучают строю...

— Пожалуйста! — прохрипела Бочкарева.

Репортер мигом скатился вниз по лестнице.

— Что вам угодно? — спросила Бочкарева.

— Я записалась в батальон,— сказала Марья Николаевна.

Куда девалась ее всегдашняя самоуверенность! Марья Николаевна говорила робко, приниженно.

— Очень похвально ваше желание помочь отечеству в трудную годину. А вы? — Бочкарева посмотрела на Аленку.

— А это со мной! — заторопилась Марья Николаевна.— Прислуга. Я ведь переоденусь, так она снесет вещи домой.

— Запомните, вы не офицер, а солдат! Никаких прислуг не полагается! Здесь вы все будете делать сами. Что у вас в чемодане? Покажите!

Марья Николаевна взяла у Аленки чемоданчик и, поставив его на колено, раскрыла. Бочкарева нагнулась над ним.

— Галифе? — спросила Бочкарева.

— Да.

— Отошлите домой! Вы не офицер, надо привыкать к грубому солдатскому сукну. Сапоги? Это хорошо. Тут?

— Белье,— робко ответила Марья Николаевна.

— Эти тряпки верните домой! О панталонах, кружевах и прочей дряни забудьте. Сейчас же получите солдат-

ское белье. Помните, вы солдат, а не женщина! Тут флиртовать не с кем! А если вздумаете завести интрижку с гвардейцами-инструкторами — прогоню! Дальше что у вас?— продолжала рыться Бочкарева.— Одеколон? Пусть уносит домой: вся парфюмерия нам не нужна! Ружейное масло да вакса для сапог — вот наши запахи! А там что? Книжки?

— Да.

— Вон, вон, вон! Не потерплю никаких книг! Никакой пропаганды! Еще «Капитал» принесете! Довольно, начитались! Оттого защищать отечество никто и не хочет! У нас ни книг, ни газет! Выкиньте эту блажь из головы! Ну, кажется, больше у вас тут ничего нет. Оставьте только сапоги! Они, правда, легкие, но пока получим из интендантства настоящие грубые солдатские ботинки, поносите эти! Девушка, остальное унесешь! — протянула она чемодан Аленке, после того как Марья Николаевна вынула из него «скороходовские» сапожки.

— Теперь внимательно слушайте, сударыня! — снова обратилась Бочкарева к Марье Николаевне.— Предупреждаю заранее, чтоб потом не было истерик. Спать вы будете на голых досках,— махала она толстой рукой, точно рубила.— У меня казарма, а не пансион, здесь не дома на перине! Пить только сырую воду: надо готовиться к трудностям военной жизни! Вставать в шесть часов. Болеть не разрешается — кто заявит о болезни, может уходить из батальона!

Аленка слушала с большим интересом. Ей хотелось вмешаться и сказать:

— Да все, к чему они будут приучаться, нам с детства знакомо. Мы с детства спим лишь бы на чем, и не имеем права болеть, и встаем спозаранку. А вот как-то барышням привыкать?

Ей было забавно. Она представляла себе Марью Николаевну в новом положении и радовалась:

«Вот пусть хоть — долго ли, коротко ли — поживет так, как мы всю жизнь жили!»

— Прием родных с шести до восьми вечера ежедневно. Поняли?

— Да,— ответила не очень веселым голосом Марья Николаевна.

— Солдат должен отвечать: «Точно так», а не «да»! — учила Бочкарева.— И взять под козырек!

Она козырнула.

— Точно так,— повторила Марья Николаевна и тоже приложила руку к шляпке.

— Отставить! — крикнула Бочкарева.— Без фуражки не полагается козырять. За это в следующий раз поставлю на два часа под ружье!

— Как твоя фамилия? — спросила она у Марьи Николаевны, обращаясь к ней на «ты».

— Сверчкова.

— Вот, рядовой Сверчкова, ступай, тебе выдадут обмундирование. Будешь обедать уже здесь. А ложка есть?

— Есть, кажется,— ответила Марья Николаевна, вопросительно глядя на Аленку.

Аленка достала из чемоданчика серебряную ложку.

— Будешь носить за голенищем! У солдата все должно быть под рукой! Поняла?

— Да... точно так! — спохватилась Марья Николаевна.

— Если обругает взводный или что, не нюнить, не жаловаться, а то домой!

— Точно так,— ответила Марья Николаевна.

— Не точно так, а «слушаю-с». Никитина! — крикнула на весь этаж Бочкарева.

Хлопнула дверь. Из комнаты выскочила высокая худощавая бочкаревка. Она чрезвычайно походила на мужчину—плоскогрудая, узкобедрая. Углы рта у нее были опущены. На груди у Никитиной висела георгиевская медаль.

Никитина щелкнула каблуками и козырнула.

— Что прикажете?

— Выдать рядовому Сверчковой обмундирование, зачислить с сегодняшнего дня на довольствие, записать в четвертый взвод! — И Бочкарева пошла вниз по лестнице.

— Пойдем! — сказала Никитина.

Марья Николаевна и Аленка пошли за ней по коридору.

— А ты зачем? Тоже в батальон? — обернулась она к Аленке.

— Нет, это моя прислуга. Я с ней отошлю домой платье.

— До присяги платье остается здесь. Может, еще не понравится — уйдешь.

— Нет, не уйду! — ответила Марья Николаевна.

Никитина только еще ниже опустила углы рта: видимо, это обозначало у нее улыбку.

В конце коридора они подошли к двери, запертой большим висячим замком. Никитина достала ключ, открыла.

Комната представляла склад. На скамейках, на подоконниках, на полу лежали связки белья, гимнастерки, фуражки, стоял мешок с сахаром, ящик с махоркой, на столе были весы, гири.

— Вот для твоего роста номер три — гимнастерка, штаны, фуражка, кальсоны, портянки, сорочка, полотенце! — Никитина швыряла на стол один предмет за другим.

Аленка смотрела: белье было настоящее солдатское: кальсоны желтые, с завязками, полотенце грубое. Все белье было ни разу не стиранное.

Аленка смотрела и радовалась:

«Вот-то хорошо! Пусть-ка поносит нестиранное! А то дома как ни выстирай — все плохо!»

Аленка представила себе Марью Николаевну в подштанниках, и ее так разобрал смех, что она повернулась, чтобы Марья Николаевна не видела ее улыбки.

— Куришь? — спросила Никитина.

— Курю.

— Получай пачку махорки и сорок пять золотников сахара! Распишись!

Когда Марья Николаевна расписалась, Никитина закрыла дверь на замок, подошла к соседней комнате и распахнула ее.

— Вот казарма четвертого взвода!

Они вошли в довольно просторную комнату. В ней в два ряда — изголовье к изголовью — стояли кровати, застланные только простынями. У каждой пары кроватей стоял белый столик, в углу — круглая железная печь. По обеим сторонам двери были вешалки. На них висел целый ворох самых разнообразных дамских пальто: шелковые, суконные и бумажные, дождевики, летние и демисезонные, поношенные и новые. И груда шляп самых различных моделей, качества и цвета.

— Ты будешь спать вот здесь! — сказала Никитина, подходя к одной кровати.— Переодевайся!

Марья Николаевна покорно сняла свое новенькое шелковое пальто, шляпку и стала раздеваться.

Аленка старалась не смотреть на нее. Когда Марья Николаевна надела мужское белье — рубашка была ей коротка — и стояла в кальсонах с завязками у щиколотки,

она была так смешна, что даже рассмеялась сама, представив себя в таком наряде.

— Ну, что ж, груди нет — не так заметно, что женщина! На фронте меньше неприятностей,— сказала Никитина, стараясь говорить серьезно, но и ее давил смех, она тоже отвернулась.

Аленка же, зажав ладонью рот, выкатилась из комнаты в коридор.

Через несколько минут по коридору вместе с Аленкой шли две бочкаревки. Они были похожи друг на друга: одинаково худы, черны и некрасивы. Только одна из них была на голову выше другой.

— В баню будешь ходить раз в десять дней, в строю! Водим на Пряжку,— рассказывала Никитина.

Аленка была довольна:

«Вот-то хорошо! Не позволяла мне мыться в ванне, говорила: можешь сходить в баню на Пряжку, для тебя и баня хороша! А теперь саму поведут! Ох, посмотреть бы, как пойдет она с узелочком под мышкой! А там, в бане, бабы как увидят подштанники — засмеют, подохнут с хохоту!»

Когда они спускались по лестнице, бочкаревки бежали наверх к себе в казарму шумной, говорливой толпой.

— Строевые занятия окончены, через три минуты обед. Пойдем покажу, где столовая! — сказала Никитина.

Аленке очень хотелось еще раз посмотреть на бочкаревок, как они будут обедать. Ей было чудно видеть женщин в солдатской одежде.

— Можно и мне пойти в столовую? Барыня дома будет про все расспрашивать, как тут наша барышня живет,— обратилась Аленка к Никитиной.

— Что ж, посмотри!

Они подошли к столовой.

За длинными столами, покрытыми клеенкой, сидели бочкаревки. Ели без тарелок, из солдатских бачков.

В столовую вошла Бочкарева.

Веселая Колюбакина, ходившая по столовой, крикнула:

— Смирно!

Все встали.

Бочкарева махнула рукой:

— Вольно!

С Бочкаревой шел репортер. Они медленно проходили между столами.

— Тише! Не люблю базара! Тише! — крикнула Бочкарева.

Говор в столовой затих.

— Нечего дуть на ложку и прохлаждаться, там некогда будет заниматься такими нежностями! Надо еще здесь привыкать ко всему! — сказала она кому-то.

Аленка глянула, кому это она говорит, и едва узнала: Бочкарева говорила Марье Николаевне.

«Вот попала в переделку! Не все ж на других кричать! Пусть же и ее проучат!»

Но смотреть дальше Аленка побоялась — к той двери, у которой поставила ее Никитина, подходила Бочкарева. Аленка юркнула за угол и пошла.

Она, кажется, хорошо помнила дорогу, а тут заблудилась в незнакомых коридорах.

— Барышня, как мне выйти отсюда на улицу? — спросила она у бочкаревки, идущей по коридору.

— Я не барышня, а солдат! — ответила та.

— Ну, все равно, пусть себе солдат! — согласилась Аленка.— А как выйти?

— Ступай вон сюда и выйдешь во двор, а там...— начала бочкаревка.

— Благодарю, из двора-то уж я выход помню! — поблагодарила Аленка и побежала.

Она с облегчением вздохнула, когда за ней закрылась плотная коричневая дверь дома № 14.

Толпа у дома поредела, но все-таки еще несколько любопытных стояло на тротуаре.

— Не осталась, утекает! Видно, не пондравилось! — бросил вслед Аленке проходивший мимо мастеровой.

— Дурак! Аль не видишь — рабочая девчонка! Такая сама сюда не пойдет! Тут шлюхи одни! — отрезала какая-то старуха, судачившая на мостовой с другими женщинами.

Аленка торопилась: сегодня после обеда она навсегда оставляла опостылевшую работу прислуги и этих неприятных, чуждых ей людей.

Аленка никак не могла дождаться Кати. Катина смена кончала работу в семь часов вечера, был уже двенадцатый час ночи, а Кати почему-то все не было.

«Вероятно, пошла со своим Григорием в кино»,— подумала Аленка.

Сдержанная, скрытная Катя до последних дней не признавалась, что у нее есть жених — Григорий, работавший в котельной мастерской на заводе Нобеля. Только за эти две недели, что Аленка жила вместе с Катей на Упраздненном, все стало ясно. Григорий несколько раз приходил к ним на квартиру, да и сама Катя уже призналась Аленке.

Обычно, когда Катя с Григорием шли в кино, они звали с собой и Аленку, потому что у Аленки другой компании не было.

«Нет, тут что-то иное!» — раздумывала Аленка.

Спать ей еще не хотелось. Аленка высунулась из окна и смотрела на улицу.

Стояла душная июльская ночь. Во всех домах были настежь раскрыты окна. Распаренные невыносимой духотой, люди ходили по комнатам полураздетыми. Кое-где ужинали, кое-где ложились спать.

Внизу, почти под Аленкиным окном, у ворот дома, стояла кучка жильцов. Они о чем-то горячо спорили, размахивая руками.

Последние дни всюду на улицах без конца митинговали. Аленка была уверена, что и эти у ворот говорят о том же, о чем сейчас говорили на фабриках и заводах, на рабочих заставах и о чем думала сама Аленка,— о том, что Керенский хочет войны до победного конца, что буржуи живут, как жили и раньше, припеваючи и правят всем и что пора, наконец, рабочему взять власть в свои руки.

Аленка перегнулась через подоконник и прислушалась. Ночь была тихая, и снизу до третьего этажа отчетливо доносились голоса:

— Коли ты хочешь воевать, так и воюй сам, дух с тебя вон! А мы больше не желаем! Довольно, повоевали, нагоревались! Хватит!

— Да пойми ты: если сейчас бросить фронт,— возражал другой,— это же только немцу на пользу! Врагу!

— А мне не всякий немец враг, ежели желаешь знать! Хозяин нашего завода, Мейер, немец — враг. А солдат — немец, что в окопах гниет,— нет. С нашего заводу четверо ездили на фронт брататься. Так они рассказывали: немецкие солдаты в одно с нашими говорят: «Война — капут». А офицеры и разговаривать не хотят!

В спор двух мужских голосов вмешалась бойкая женская скороговорка:

— Буржуи как жили, так и теперь живут — будто и революции на них не было! Приди в наш ресторан «Эрмитаж», посмотри, чего жрут да пьют! Как при Николашке жрали, так и сейчас! Гнать их ко всем чертям и с Керенским ихним!

— Молодец, тетка Дарья! — засмеялись парнишки.

— А что ж, он — «Временное правительство»! — передразнивала женщина.

— Захочу — и я в твой ресторан приду,— ответил возражавший.

— Нет, не придешь: кишка тонка! А коли придешь, то разве так, как я,— посуду мыть!

— Ого-го! — гоготали довольные парнишки.— Вот отбрила!

Аленка легла в постель, а спор за окном все продолжался.

Наутро ее разбудила Катя. Она была одета и, видимо, собиралась куда-то уходить.

— Ну и спишь же ты, Аленка, ровно сурок! — улыбнулась она.— Пора вставать!

— Поздно вчера вернулась? Где ты была? — спросила Аленка.

— Пришла в первом часу, ходила с демонстрацией к Таврическому дворцу. Вчера что было! Еду я домой, а у дворца Кшесинской тысячи народу. Пулеметчики, солдаты с винтовками, рабочие с лозунгами «Вся власть Советам».

— Неужели началось? — вскочила Аленка.— Вот-то хорошо! Катя, погоди, и я с тобой! — бросилась она одеваться.

Катя улыбнулась:

— Да не торопись, лучше послушай, что я скажу! Выдержки у тебя еще маловато! ЦК большевиков постановил воздержаться пока от вооруженного восстания.

Аленка как надевала чулок, так и осталась сидеть, не дотянув чулок даже до колена.

— Это почему?

— Еще не пришло время. Еще можем потерпеть поражение.

— Значит, опять ждать? Ведь все кругом...— начала Аленка.

— Одевайся да приезжай в парк! Там увидим! Торопись, а то наверняка и трамваи сегодня станут: заводов много не работает,— сказала Катя и ушла.

Недоумевающая Аленка быстро оделась, умылась и, схватив кусок ситного, побежала из дому.

На пути, в окне часовых дел мастера, она видела: было без двадцати десять.

Катино опасение насчет трамваев оправдалось: все трамваи шли в парк. Пассажиры, кому было не по пути, с неудовольствием вылезали и иронически предупреждали садившихся:

— Не садитесь, вагон митинговать едет!

У Покровки пассажиры осаждали подходившие трамваи, спрашивая у вожатых, в какой парк направляется вагон.

Аленке не надо было подбегать к трамваю: она, как заправский трамвайщик, знала уже номера серий вагонов своего Петроградского парка. Аленка вскочила в подошедший вагон серии № 12 и поехала.

По Садовой разъезжали броневики. За высокой оградой Инженерного замка мелькнули ряды строившихся пехотинцев. Взглянув на этих низкорослых, широкобедрых солдат в глубоко надвинутых на уши фуражках, Аленка сообразила:

— Да ведь это «матрешки»! Их недавно перевели сюда. Интересно, где теперь Марья Николаевна?

Уйдя от Аглаи Николаевны, Аленка не видала никого из их квартиры, хотя жила очень близко от них. В парке было много работы, да и дома приходилось заниматься — изучать маршруты, считать. Аленка с грехом пополам умела читать и писать.

Когда Аленка подъехала к парку, на дворе шел митинг.

Среди трамвайщиков то тут, то там виднелись черные бескозырки матросов и гимнастерки солдат.

Аленке еще с улицы послышалось, будто говорит Катя. Аленка ускорила шаги и увидала над толпой на трамвайной платформе Катю.

Катя действительно что-то говорила. Но ее прерывали возмущенные выкрики:

— Если боитесь, мы пойдем сами!

Смущенное, покрасневшее лицо Кати исчезло в толпе.

Вместо нее на трамвайную платформу влез какой-то светлоусый солдат. Фуражка была у него лихо сбита на

затылок, в левой руке он держал винтовку, а правой жестикулировал.

— Товарищи! Когда была февральская революция, вы, рабочие, пришли к нам и просили, чтобы мы, крестьяне в серых шинелях, пошли с вами, свергли самодержавие. Мы поддержали рабочий класс, мы пошли, мы свергли! Но сейчас над нами издевается Временное правительство, издевается Керенский, и мы пришли сказать, что больше терпеть мы не можем!

— Вся власть Советам! — крикнул какой-то матрос.

— Правильно! — загудела одобрительно толпа.

— Верно говорит!

Из середины толпы, от трамвайной платформы, крикнули:

— Пошли, товарищи!

— Пошли, не задерживайся!

Трамвайщики повалили со двора.

Аленка стала в сторону, пропуская мимо себя идущих. Она еще не записалась в партию, но чувствовала себя вместе с большевиками и хотела поступить так, как поступят они. Аленка хотела найти Катю.

— Товарищи, будем организованны! Стройся по восемь в ряд! — кричал какой-то трамвайщик, пробегая вперед.

Аленка знала, что это большевик.

За ним бежали несколько человек, и в том числе Катя.

Аленка окликнула подругу:

— Катя, и большевики пойдут? А как же ты говорила, что выступать нельзя?

— Надо, чтоб демонстрация была мирной, понимаешь? Сама видишь, сколько тут пороху собралось, как у людей наболело! А буржуазия только и ждет, как бы вызвать нас на драку, пока мы не собрались с силами. Мы драться будем, но только тогда, когда сможем ударить наверняка.— И Катя побежала вперед.

Аленку все дальше и дальше оттискивали новые ряды.

Трамвайщики, построившись в колонну, уже пошли.

Аленка примкнула к какому-то ряду.

Она была счастлива: наконец-то и она принимает участие в общем рабочем деле, идет бороться за счастье рабочих и крестьян, за свое счастье. И Аленка с воодушевлением подхватила начинавшуюся где-то впереди «Варшавянку».

Прошли Троицкий мост, свернули налево на Французскую набережную, потом на Гагаринскую и пошли по Шпалерной. Ряд, в котором шла Аленка, состоял из кондукторш. Лишь с самого края, возле Аленки, восьмым, бойко шагал мужчина. Он смотрел вверх и, увидя где-либо открытое окно или форточку, угрожающе кричал:

— Эй, закрой окно!

— Зачем вы это, дяденька? — спросила Аленка.

— Что зачем? Окно закрыть? А чтоб какая-либо сволочь не шандарахнула нас чем-нибудь по башке!

Выходили на Литейный.

И тут вдруг раздались выстрелы. Откуда-то сверху стреляли по демонстрантам.

Ряды расстроились. Люди бросились кто куда. Бежали в ворота, жались в подъезды, в парадные; некоторые падали на землю, некоторые побежали назад. Аленка бежала вместе с другими по направлению к Гагаринской.

Еще минуту тому назад ей было так душно, она упрекала себя за то, что надела платье с рукавами. А тут сразу стало холодно...

За углом, на набережной, Аленка немного опомнилась, остановилась.

«Что же это я бегу? Вот так защитница!» — укоризненно подумала она и хотела повернуть назад.

Но сзади хлопали выстрелы, бежали испуганные люди.

— Таньку ранило в ногу,— икая от испуга, рассказывала на бегу какая-то полная кондукторша.— Ей-богу! Она упала, а кровь так и хлещет!

Аленка снова побежала. Она бежала легко и быстро.

Чуть впереди нее бежал тот мужчина, который кричал, чтобы закрывали окна.

Вот уже и Троицкий мост. От моста навстречу им редкой цепочкой спешили солдаты.

Мужчина, бежавший впереди нее, схватился с ближайшим солдатом, преградившим ему дорогу. Он старался вырвать из рук солдата винтовку.

Аленка проскочила мимо них. Она успела только заметить: у солдата была очень холеная, гладкая шея.

Аленка бежала по мосту что было силы.

Неожиданно сбоку на нее налетел солдат. Винтовка у него была на ремне. Он выставил вперед руки, стараясь задержать Аленку.

— Э, будь что будет!

Аленка с размаху ударила солдата в грудь. Солдат грохнулся навзничь. Фуражка покатилась по мосту.

Аленка чуть оглянулась: это была Марья Николаевна.

Аленка еще прибавила ходу: «А ну как выстрелит сзади, стерва?»

Аленка кинулась к середине моста и побежала между трамвайными столбами.

«Вот для какого фронта их готовят: воевать с безоружными рабочими! — думала Аленка о «матрешках».— Они у Керенского вроде жандармов. Ну и здорово я ее стукнула! Похвалиться дома или нет?»

Аленка была счастлива, что Катя и в сегодняшний вечер вернулась домой поздно. Аленка пораньше легла в постель и притворилась спящей, чтобы не говорить с подругой. Ей было стыдно, что она бежала.

Утром Катя уехала в парк.

Следом за ней поехала и Аленка.

Аленка целый день чувствовала себя неловко. Ей казалось, что все в парке знают о том, как вчера она струсила и позорно бежала.

«Катя-то наверняка не бежала, хотя и стреляли! Но ведь она — красногвардеец, у нее винтовка, а я безоружная»,— оправдывалась сама перед собой Аленка.

Она почувствовала себя немного лучше, после того как узнала, что с Литейного вернулось довольно много трамвайщиков.

Вечером Катя рано возвратилась домой. Она первая заговорила о вчерашнем дне:

— Наши до дворца не дошли, народу было десятки тысяч. Не пробиться!

Аленка рассказала Кате о своей встрече с курсисткой.

— Молодец, Аленка! Так ей и надо! Шкура керенская!

— Как бы мне записаться в Красную гвардию? — робко спросила Аленка.

— Запишем! Да пока толку мало: Керенский испугался, приказал разоружить все рабочие организации.

— И вы отдали все оружие?

— Как бы не так! Два пулемета, винтовки, револьвер, патроны спрятали до поры до времени. Что на заднем дворе, что на чердаке, а что перенесли на квартиру к одному товарищу на Вульфову. Мы еще себя покажем!..

1937

ПЕТР КАПИЦА

ТОВАРИЩ ИВАНОВ

ПОД горой, в стороне от деревни, на перешейке двух озер стоит сосновая финская избушка. В одной стороне от нее круглое песчаное озеро, с другой — длинное лесное озеро с темно-синей водой.

В этой бревенчатой избенке живет с женой и детьми старик финн. К его жилью тянется пыльная, поросшая рыжей травой дорога. По дороге редко кто ходит и ездит. Кругом высокий лес, тишина.

Иногда из Петрограда к старику приезжают гости, и тогда на время меняется заведенный порядок жизни. Обычно хмурый и молчаливый, хозяин становится разговорчивым и веселым. В доме начинается смех, шум, беготня. Старик любит гостей. Вот и сегодня он приготовился к встрече.

Старшая дочь Лююли приехала на несколько часов из Петрограда и сказала:

— Приготовьте, мама, комнату. Ту, что отдельный вход со двора имеет. Поставьте стол и скамеечку. Гость дорогой приедет.

А кто этот гость — дочка не сказала.

Приготовила мать маленькую комнату. Полы некрашеные вымыла, кровать убрала, на стол лампу поставила. Еще раз оглядела крохотную горницу, скатерть поправила и пошла возиться у печки.

А когда стемнело, старик запряг лошадь и послал сынишку на станцию.

— Что-то долго не едут гости. Время положенное прошло,— тревожится мать.

И хозяин думает: «Не испугался ли поезда молодой конь... Эдварду его не удержать».

Но вот застучали колеса. Едут.

Старый финн быстро заправил фонарь и вышел с хозяйкой встречать гостей.

Телега с разгона остановилась у крыльца.

— Приехали,— весело кричит муж дочери.— Гостя вам привезли — знакомьтесь... Константин Петрович Иванов.

Иванов подает всем руку. И с детьми за руку здоровается. Ласковый человек.

Финн поднимает фонарь, разглядывает гостя. Приезжий измучен дорогой, плохо одет, измазан.

Гости отряхнулись от пыли и прошли в дом. Старик остался распрягать коня. «Кого же это зять привез, надо бы узнать у него»,— думает он. А вот и сам зять выходит во двор. Он тоже, видно, о чем-то хочет спросить, а говорит о траве и покосах.

— Год хороший, урожайный...— хитро уклоняется старик.— Говори прямо, кто Иванов ваш будет?

— Рабочий из Сестрорецка,— шепчет зять,—от ареста скрывается. Укрыть надо.

Сказал и ждет. Старик не сразу ответил. Распряг коня, задал корму, подумал.

— Ладно, пусть живет. Места всем хватит.

В избе все сели за стол, Иванов на диван, рядом с ним Лююли, а с другой стороны зять. Старик еще раз вгляделся в гостя,— лицо скуластое, большой лоб, глаза улыбающиеся, острые, говорит все прищуриваясь, со смешком.

Гость, наверное, с утра ничего не имел во рту. Он ел с таким заразительным аппетитом, что хозяину показалось, будто жена сегодня изготовила ужин вкуснее чем всегда.

После кофе гости еще немного посидели за столом, поговорили о своих питерских делах и разошлись спать.

Утром Иванов забрался в баню, вымылся, побрился и точно сразу моложе стал. Глаза заблестели, глубокие складки у рта сгладились.

Позавтракав, Лююли повела мужа и гостя к озерам. Погуляли они там и пришли на поле смотреть, как хозяин землю пашет. Иванову вздумалось помочь старику. Он стал за плуг и, по-крестьянски горбясь, пошел за конем. Вначале борозда получалась неровной. Хмурился старик, смеялась Лююли, и сам над собой шутил новый пахарь, стараясь держать борозду ровнее. Видит старик финн, как на лбу Иванова даже пот выступил, трудно ведь пройти

ровную борозду сразу-то. Не приходилось, видно, Иванову до этого за плугом ходить.

После обеда дочь с зятем уехали, а гость остался жить в своей каморке. И работа у Иванова была не простой. Он сидел, поджав под себя ногу, и все писал. Писал утром, днем писал и вечером пером скрипел. Если кто заглядывал к нему в каморку, Иванов вначале прятал листы, а потом привык и перестал остерегаться хозяев. Писал он быстро и мелко, свободного местечка на листе не оставлял.

Товарищами ему были хозяйские белобрысые мальчуганы. С младшими — шестилетним Вернером и восьмилетним Эвертом — он и рыбу удил и в лес ходил. Ребята не умели говорить по-русски, а он по-фински, и все-таки как-то сговаривались, как-то понимали друг друга.

Найдет Иванов в лесу ягодную полянку и кричит:

— Пунайсет марьят. Красные ягоды.

Ребята смеются, кивают головами и бегут к нему.

А старший парнишка, Эдвард, каждое утро переезжал на другую сторону озера, оставлял лодку в кустах и уходил пешком на станцию за газетами для Иванова. Без газет Иванов не мог жить.

Очень любил Иванов купаться с ребятами на Кафиярви. Плавал он здорово, а нырять не хотел и шапки с головы не снимал. Так с кепкой на голове и плавал.

Ребятам чудно:

— Почему Иванов в кепке плавает?

А он отшучивался:

— Голова у меня может простудиться, без шапки нельзя.

Иногда Иванов ходил в одиночку у темно-синих лесных вод Питке-ярви (Длинного Озера), о чем-то думал и подолгу вслушивался в тишину. Но никто не видел Иванова грустным. Все, что бы Иванов ни делал, он всегда делал с каким-то веселым азартом.

А как он умел смеяться! Смеялся Иванов всем телом, смеялся до слез. И любопытный был Иванов, как никто еще в этих местах. Ему надо было все знать — кто и как живет там, в деревне Ялкала, о чем думает, кого ругает.

Слушать Иванов умел необыкновенно и спрашивал всегда так, что и не хочешь, а ответишь.

В воскресенье опять приехала Лююли. И первым делом она спросила у гостя:

— Как вам здесь нравится, товарищ Иванов?

— Хорошо,— отвечает он,— друзей у меня много. А таких мест я давно не встречал. Здесь я спокойно и ночь сплю. Когда-нибудь приеду к вам с женой. Можно будет?

— Со всем удовольствием,— отвечает хозяин,— во всякое время.

Однажды, выбрав минуту, когда гость отдыхал на траве, старик подсел к нему и вдруг с лукавым видом спросил:

— Слушай-ка, признайся, ты ведь не Константин Петрович?

Гость сощурился:

— Почему вы думаете?

— А разве я слепой... В наших финских газетах про вас много пишут. Говорят разное про большевиков и про восстание...

Гость как-то настороженно посмотрел на хозяина своими острыми глазами. Точно он хотел проникнуть в душу старика, хотел узнать, что тот задумал.

— Ты не бойся,— сказал старик,— живи сколько хочешь. Я ведь много лет литейщиком был. От меня никто ничего не узнает.

И гость улыбнулся. Улыбнулся скупой и доброй ленинской улыбкой.

Это был Ленин...

1937

НИКОЛАЙ КОЧИН

В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

Вот какие письма тогда получали мы от брата Ивана:

«И еще сообщаю вам, дорогие мои родители, и тебе, братец, что наше положение на фронте чрезвычайно опасное. Наше солдатское настроение в ту сторону клонится, что надо взять власть в свои руки... И тогда все само собой образуется, и хлеб будет, и мир желанный будет, и полное народное право. А то что же выходит — один воюет, другой пирует. Пора обновить армию в окопах. Одни истрепались, спасу нет, а другие, прикрывшись законом капитала, мнут только баб в тылу да заливают в глотку. На фронт надо отправить всех полицейских, жандармов, монахов и пузанчиков, зажиревших в тылу. Мясо жрет, видать, только белая кость. Для пузанов, для буржуйского отродья хватает всего, а для солдата, для трудящегося вода да хлеб с землей. Солдаты намного теперь стали смекалистее. Дорогие мои родители, скажите мужикам, чтобы они теперь никого не боялись, скотину смело пущайте по помещичьей земле и пашите графскую землю, никого не спрашивайте, не спрашивайте их, собак... Довольно попили нашей кровушки, потянули наши жилы. Берите сейчас же, немедля в руки всю власть, а мы здесь не бросим ружья, а домой придем с винтовками, в полном порядке. Вы не думайте, дорогие родители, что будет хуже без царя Николашки,— наоборот, без царя будет лучше в тысячи раз. Эта вся земля, которая была у царя, у графьев да у князьев, она будет вся наша, в этом не сомневайтесь. Не платите ни копейки помещикам за аренду. Теперь жизнь свободная, что мужик, что барин — все одинаково. Ждем только конца войны, а тогда уж расправимся со всеми. И хотя сейчас дворян и князей нету, но еще подпи-

сывается один министр князем Львовым. Это ужасная хреновина. Значит, что-то там у вас, в тылу, не совсем ладно. Передайте мужикам, чтобы смотрели там за Временным правительством на местах. Временное правительство назначило пенсии по семи тысяч рублей царским министрам, а солдат в окопах босой сидит, по колено в грязи. Сыновей помещиков да торговцев среди нас не видно. Еще ни одного я не встречал. Отчего это судят Корнилова долго? Суд один — рубай голову, и нехай его черви едят, хватит такой сволочи...»

Мы читали подобные письма каждый день. Мужики на беседы собирались после работ, вечером, на завалинке пастуха Еремы.

— Дурашлив твой брательник Ванька,— говорил Андрей Чадо после прочтения письма.— Надо ждать Учредительного собрания. Оно рассудит...

— А в других местах землю берут.

— Это грабеж. Нельзя доводить до нищеты и помещика. Достаточно и того, что царя-батюшку с трона спихнули. Слыханное ли это дело, царей с трона шугать...

— Между прочим,— встревает Вася Долгий,— царей всегда глушили, как повествует история. Задушили Павла... Застрелили Александра, прозванного Освободителем. Теперь расчет пришел Николаю Кровавому... Не отвертится, курва...

— Убивать никого нельзя. У всякого душа, она богом дана. И заповедь есть — не убий. Она, заповедь-то, господом преподана на горе Синае, на скрижалях, пророку Моисею,— говорит Андрей Чадо.

— Ты вот на военной службе не был и болтаешь зря,— возражает Митя Костыль.

— Вот таких, как ты, в пятом году вешали... И нынче вешать будут. Закон не пересилишь. Закон от бога.

— Говорят тебе, его аннулировали, божий-то закон.

— Божий закон никто не аннулирует, кроме самого творца. Он — вечен. По нему будут судить на страшном суде. Почитай-ко апокалипсис. Хотя ты, кроме прокламаций, ничего не читаешь, еретик. Погоди вот, тебя барин взгреет.

— Не взгреет, барин сам дрожит, как осинов лист. Ежели уж до царя добрались, то барину тем более не поздоровится. Гучков подал в отставку. Есть слухи, что по шапке и Милюкова.

Семен Коряга, богатый пчеловод, злой, длинный как жердь, заметил елейно:

— Вон пишут в газетах — в Киеве с трехцветными флагами ходят. Святая Русь подъемлет стяг. Сколько не крась Расею, она как пасхальное яичко: покрась его красненьким, а изнутри оно все беленькое...

И, помолчав, решает твердо:

— Социализм в крестьянской стране — утопия. Нам нужна крепкая власть.

— Кому это «нам»? — спрашивает Митя Костыль.

— Расее.

— Россия разная бывает.

— Вшивоеды, не понимаете, что нам нужны Дарданеллы!

— Дарданеллы? Мы три года в окопах гнили. А ты здесь деньги наживал. Мошну растил.

Семен Коряга машет рукой, не хочет дальше спорить. Дымят махоркой сразу все. Егор Ярунин, батрак, весь заросший волосами, обремененный огромным семейством, в котором одни девки-перестарки, сокрушенно говорит:

— Третий год война молодых людей косит. И еще, может быть, тридцать три года будет косить. Так сказано в книге. «Черная магия» зовется... Но поглядишь, баб да девок уж очень много развелось на свете. Даже так много, что иной раз жалко их станет. И куда, думаешь, денется весь этот народ? И, кроме того, опять рождаются девочки. Мальчиков куда хоть можно определить, а девочек — куда?

— Свету конец,— говорит просвирня,— примета есть, курица петухом кричала. И уж ежели царей стали обижать, то господь этого людям не потерпит. Вот увидите, не потерпит... Покарает. Явит знамение.

— Отвяжись ты, ради бога, с царем,— говорит беззлобно Егор Ярунин.— Про бога все говорят: «Да будет воля твоя», а когда будет моя? Вот где заковыка.

— Яви, господи, чудеса, пошли свое совершение,— не унимается просвирня.— Перемена в святоотческом предании церкви противна. И ты, Егор, подержал бы язык за зубами, ибо сказано: «Да обесится жернов осельстий на вые его, да потонет в пучине морской...» Это про тебя сказано, поганца...— Тяжело вздыхает: — «Гробе мой, гробе, темный мой доме...»

Подошел Яков Ошкуров с газетой в руке.

— Новое наше правительство, министры-социалисты, как отцы родные пекутся о нас,— говорит Семен Коряга.

— Мы сами себе закон и защита,— возражает Ошкуров.— Защищал волк кобылу, оставил хвост да гриву... Вона народный защитник, ряшку какую разъел.— Яков указывает на портрет Керенского, заснятого во всю обложку журнала. Керенский — с озабоченным лицом, бритым, опухшим. Заложил за борт френча одну руку, другую — за спину. Он в галифе, в коричневых крагах. Над черепом — ровный ежик грязно-табачных волос...

Солдатки смотрят и морщатся. Одна из них тычет ему в лицо пальцем:

— У, толстомордый идол. Мы мужей ждем, а он: «Вперед, до победного». Чтоб тебя разорвало!

Собирается народу все больше и больше. Уж завалинки не хватает, полегли на лугу перед избой, под раскидистым тополем... На околице заливается гармошка, пылят дорогу кони, их гонят в ночное... Вечереет. Слышно хлопанье кнута.

Сосед, Василий Береза, весь как лунь седой, кряжистый, с железными руками, вечный хлебороб, тоскующий по добротному земельному наделу, говорит сам с собой:

— Сто программ, сто партий, и каждая счастье сулит, поди-ко разберись. Не подвох ли тут какой?.. Вот помитингуют, посудачат, а зад мужику, как в пятом году, лупцевать станут. И никто ничего толком не разъяснит. И в Питере одна только склока. Мы — народ темный, нас всякий обманет. Когда нам землю дадут? Когда ее, матушку, трудящему человеку передадут взаправду? Одни только посулы: «Народ — вперед! Свободу — народу!» Сколько раз мы слышали. А как до точки дошло — постой, погоди, жди большого собрания. Вот Онисим Крупнов говорит: собранье-то это все рассудит... держитесь за социалистов-люценеров. Михайла Иваныч то же говорит. А Яшка Ошкуров за большаков тянет... Митька тоже... Народ-то больно уж вы беспутный, голь перекатная. Как вам поверить?! К кому податься? К какому берегу причалить?

Подошли слепой старик с девочкой, запели под окнами гнусаво:

По хотению Вильгельмову,
По велению антихристову
Понапущена война кругом земли.

На корню война хлеба повыела,
На корню людей земля повыбила.
Да спокон веку такой не было,
Тягче грома война, острей молнии...

Вздыхая участливо, старуха, жена пастуха Еремы, высунула в окошко голую руку с ломтем хлеба. Девочка подставила подол и поймала ломоть. Слепец с девочкой присели на завалинку и, разломив ломоть, принялись есть.

— Ну что, убогий,— спросил Андрей Чадо.— Ходишь ты по российской земле, топчешь дороги и, хоша свету божьего лишился, много слышишь... Что в народе за смута началась?

— Бредем мы, дородный, из Лукоянова села и такие страхи видели — не приведи господи видеть другой раз. Народ, точно с цепи сорвавшись...

Все насторожились.

— И вот, стало быть, пришли лукояновские мужики к барону... Ладно. А у того барона охрана из черкесов была. Но и охрана супротив всего народу не устояла, сдала оружие. «Все,— сказал барон,— все, братцы, ваше, все народное. Берите, только меня не трогайте». Ну, народ и принялся киронье добро делить. Долго ли, коротко ли делили, только прискакали солдаты с красными околышами, с пиками, окружили, стало быть, имение и кого захватили, тому дали плеток. Да как давали-то! Покладут на пол и становятся один на шею, другой на ноги, портки снимут и всыпают. Всех подряд пересекли.

Старуха стала шептать молитву среди всеобщего безмолвия.

— Только трое умерло, господь миловал... Всего только трое. И с той поры зачастили делегаты в волость и зачали грозные бумаги читать. Дескать, грабить нельзя, дескать, ежели мужики сделают по всей стране беспорядок, то сами все испортят. Чтобы войну вести до победного конца...

— И кем он держится, гад, Вильгельм проклятый? Почему он не слетает, как наш Миколка?

— Не нашего ума дело. Видать, у него в других странах заручка есть...

— Ну, а мужики как сейчас, присмирели ли?

— Куда там! Как только солдаты уехали, барона в реке нашли утопшим... Сейчас мужики тайно лес возят. Днем

все спокойно, все отдыхают, а как только ночь наступила, так всем селом в барский лес...

— А под Арзамасом что делается?

— Под Арзамасом барские винные заводы громили. Спирт ручьем тек — были все пьяны и черпали чем попало и как попало. Друг дружку толкали, давили, ни проезду, ни проходу. И вот, паря, ходили по колено в спирту, все мокрые. Идешь мимо деревни — спиртом разит. Только в поле и был вольготный дух.

Напряженно молчали.

— Многие бережливые да запасливые бабенки из ближних сел много заготовили спирту в кадки. Так бойко сейчас торгуют, озолотились...

— И сам ты видел, как крестьяне бар громили?

— Как же, сам видел!

— Так ведь ты слепой.

— А я ушами мир узнаю. Что не пойму, внучка доскажет. Вот она здесь, сама расскажет, как цепью мужики на имение шли. А солдаты, которые имение охраняли, были пьяны в дрызину. Бабы отняли у них ружья, да и давай стрелять. А мужики начали шарить по имению. Барин в окошко убежал.

— И до чего ж народ обнаглел,— заметила просвирня,— боже, спаси Расею... Уж так затомились...

— Мать твою и так и этак,— ругается Егор Ярунин,— помолчи ты хоть минутку, чурбан с глазами... Колода!

— Дурья ты башка,— говорит Егору Андрей Чадо.— Одно спасение сейчас — настоящая твердая власть. Вон, сказывали у попа, какой-то Пуришкевич прокламацию расклеил против немецкой пропаганды...

— О немецкой пропаганде я тоже слыхал,— сказал слепец.— Приехал из Германии в Россию в вагоне за пломбой самый главный смутьян. И от него сейчас вся эта смута и приключилась. Вильгельм послал, обошел, стало быть, всех наших. И мутит, паря, этот человек всех, и мутит, спасу нет. И никто, паря, не может с ним совладать. Может, это и в самом деле антихрист. И вот пошло теперь все врозь, пошло да поехало. И в народе та смута привилась и растет с каждым часом. Приметы есть, что дальше будет еще хуже.

— А отчего, дедушка?

— Приметы, говорю, есть, верные приметы... В селе Гагине молодая девка родила. Когда это случалось?

В Княгинине попа удавили. А на нем — божий сан. В Мурашкине барыню нашли в постели мертвой. Непокорство, озлобление ужасные! Вникните в это дело хорошенько. Ведь свету конец! Бывало-то, дети у отцов, а слуги у господ каждое воскресенье прощение выпрашивали, а ныне сын на отца, батрак на хозяина... Не к добру...

— А какие еще приметы есть, дедушка? — спросили бабы.

— Вот мышь мне за пазуху заползла, православные,— быть большой беде. И нынче небывалый урожай рябины, это или к чуме, или к огромадным смутам... И заметьте, где бы я ни лег, где бы я ни спал — домовой не дает мне ни сна, ни покоя. Всхлипывает рядом, паря, плачет, хохочет, когтями дерево скребет. И доводится мне спать на воздухе... Домовой, он свежего духу не выносит. И вот, дородные, сами вы видите, пришли везде на народ напасти: голод, мор, войны, безбожие, ссоры, пересуды, непослушание, блуд, лихоимство, разбои...

Слушатели притихли.

— Как же, дедушка, быть? Как же все это остановить?

— Остановить это можно только одним манером. Кто кость-невидимку найдет, тот людей от напастей избавит.

— А что это за кость такая, дедушка?

— Кость-невидимка заключается в черной кошке. Живет среди нас черная кошка, в ней нет ни одного белого волоса. И кто эту кошку найдет да выщиплет всю ее шерсть, станет варить в чугунном чугунке, и все ее кости истают, кроме одной. Вот эта кость и есть невидимка. Кому на роду написано достать, он достанет ту кошку и кость. И станет невидимкой. И будет, паря, ходить он по земле никем не зрим, и станет он уничтожать кого захочет...

— А кого он уничтожать будет, дедушка?

— А вот уж этого никто знать не может. Это есть великая тайность, за чьи грехи на народ глад и мор наслан...

Бабы стали креститься и охать в страхе.

— Вот нас и будет уничтожать,— сказала просвирня.— Богу нагрубили, царя с престола спихнули... Пропадем мы без царя, как без пастуха овцы...

Вдруг Митя Костыль качнулся перед слепцом на деревяшке:

— Ты откудова, земляк, будешь?

— Чаво это?

— Знаю теперь — вятский... Расскажи, как у вас там революция проходила?

— У нас, слава богу, плохо. У нас — народ богобоязненный, ждут Учредительного собрания... Порядок полный, старшина, староста, урядники — все на своих местах.

— Дураки, вот и ждут Учредительного собрания,— заключил Митя,— серость мужицкая...

— А что революция нам дала? Одни только беспокойства. Революция в России не должна быть. Это я от многих степенных людей слыхал. И, между прочим, от вашего барина графа Пашкова. Он благородного сословия и учености превеликой, он во всех землях бывал... Так вот что от него я слыхал: сперва она должна быть в Англии да во Франции, где народ слишком образованный. А в наших местах, с нашими дураками революцию не провести. Ничего не предвидится, кроме грабежа да охальничества. Вот и у графа в лесах начали пошаливать.

— А что ж такого? — возразил Егор Ярунин.— Он с нас тоже дерет. За порубку трех жердей я штраф заплатил громадный... Видишь! Да еще всыпали, три недели не садился. А сколько мы перепоили уряднику да старшине. Сколько на пойло мужицких грошей пошло! А они — заграбастали все: и леса, и луга, и озера... рыбу поймать негде. Царя не стало, а порядки одни и те же: сруби веник — граф тебя потянет к Иисусу...

Встает баба:

— Я так и мужу написала: бросай воевать, приезжай домой, пока вы там воевали, тут богатеи еще богаче стали. Разжирели на нашей крови... идолы... Мужики, гонимте завтра стадо в графские покосы. Я сама коров стеречь пойду...

— Пропала Расея-матушка, пропала,— сказал Андрей Чадо.— Бога забыли... Бога заместо половой щетки почитать стали...

— Какой уж тут бог, коли все сверху видит и молчит. Нам иконки присылали на фронт в кисетах, а табаку нет. Вот тебе и «Спаси, господи, люди твоя...» Бог богатым нужен. Графу бог нужен. А мы и бога и графа — по шее.

— Распровидел я в пятом году, какую нам казаки дали революцию, подряд всех лупили за такие дела,— сказал старик.— Тогда вот и глаз лишился. Как плеткой хлестнули по глазам, с той поры света божьего не вижу и по миру хожу, около монастырей, церквей — харчусь. Благо-

дарю создателя, еще не все от веры православной отступились...

— Видите, куда он гнет! — воскликнул Митя и затанцевал на деревяшке.— Душу мне на части рвет старорежимными речами... Ты иди, старик, отсюда подобру-поздорову и монархическую заразу не разноси... А то я дам тебе в загривок — и костей не соберешь... Программа твоя явно царская и давно устаревшая. И сам ты человек темный и вредный. И только по убогости твоей мы тебя не прибьем. Уходи скорее, дурья голова.

Старик встал, поправил котомку и вскоре скрылся в проулке.

Мужики разошлись только за полночь.

На другой день наш пастух Ерема, никем к тому не подстрекаемый, загнал крестьянское стадо на барские луга и потравил их. Управляющий приказал работникам — военнопленным австрийцам — окружить стадо и забрать несколько крестьянских коров. Австрийцы, их было человек пятьдесят, составляли тогда и охрану усадьбы. Толпа мужиков отбила коров, напала на охрану и одного австрийца забрала в плен. Народ собрался опять у хаты пастуха. Пленный австрияк в разодранной серой шинели и кургузой шапочке сидел среди толпы, и все наперерыв требовали от него рассказать, как и чем вооружена усадьба. Он ничего не понимал в этом гвалте и испуганно дрожал.

— Ты скажи,— говорили ему,— оружие у барина где спрятано? Ну, левольверты, пушки, пулеметы. Сознавайся, тебе легче будет, мы тебя не убьем...

Он повторял одно и то же:

— Я феннопленный зольдат. Я исполняйт сакон. Я нишево не знайт.

Подошла с гармошкой группа ребят, и песня, полная звона и отчаянной удали, пронеслась над нами:

Ты скажи, скажи, братишка,
Где нам жизня хороша?
Пораскинь-ко ты умишком —
Хуже немец али вша...

Парни подняли австрийца на кулаках и бросили на землю. Топтать его мужики не дали.

— Оторвать ему башку — и в овраг,— сказал Вася Долгий и потряс над ним гармошкой.— За помещичий

карман, сука, держишься? Тебе Вильгельм с Миколашкой дороже брата?!

Австриец на земле корчился и стонал, ожидая жестокой расправы.

— Скоро все наше будет, земля и вода, луга, пашня, леса и вся барская скотина! — кричал Вася над ним, как заклинание.— За кого ты руку поднял?! Ты поднял руку за эксплуатирующего весь трудящийся народ смердящего гада...

И опять мужики топтать австрийца не дали. Его подняли и посадили на завалинку. Он был жалок, беспомощен и перепуган насмерть.

Вася посмотрел в его сторону брезгливо и махнул на него рукой:

— Моя сестра тринадцатилетней девочкой в барском пруде купалась, так управляющий ее застал и велел под водой держать, чтобы она запомнила, как барский пруд мутить. Откачали ее, но кликушей она стала на всю жизнь... Могу я, братцы, на барских холуев вполне равнодушно смотреть?!

Он пинком сдвинул австрийца с места. Тот молча потер ушибленное бедро. Инвалид Митя Костыль, недавно прибывший в село из лазарета и уже вошедший во все интересы мужицкой жизни, загородил австрийца от толпы, сел с ним рядом и сказал:

— У меня брата австрийцы убили. И вот как это случилось. Ушел он в разведку. И вот сижу я у реки, покуриваю. Жду его. Вижу, по реке кто-то пробивается. Темно, я и говорю другу: «Федя! Враг какой-то пробивается, что ли?» Вскочил — черная груда на воде. Я хвать рукой — шерсть вроде. Спичку друг зажег — я брата Ваньку держу за волосы. Лица нет, какое-то месиво, а одежда его. Ну, вытащили, помолились для приличия, зарыли в землю и пошли...

Все с напряжением молчали. Австриец с мучительным вниманием пробовал разобраться в смысле Митиной речи.

— А только одно скажу: австрийского солдата тоже надо понять... И они проливали остатную кровь... И они из окопов не вылезали, а спроси его: чего ради — не знает, политически не подкован... Я три года в окопах мок и чахнул. Теперь, вот видите...— скрючившись на костылях, махнув обрубком в лохматом рукаве рубахи перед лицом стоявших, продолжал Митя.— Раньше был я, к примеру, столяр. Сижу на первой линии в окопе и думаю: вот, к

примеру, против меня сидит австрийский плотник или, может быть, мужик серый — чужой, и должен я его убить. Должен я его с винтовкой, как зайца, караулить. Помню, только высунул он морду — тут же сразу смазал. Ну, а за какую его провинность, скажите на милость?! Ну за что я его, братцы, ухлопал?

Стояла тишина. Австриец смотрел на Митю кроткими, овечьими, умиленными глазами.

— Потом мы с ними уже брататься стали. Бывало, как офицеры уйдут, так мы вылезем из окопов и бежим друг к другу... Они нам сигары, мы им хлеб.

— Я зольдат,— сказал австриец смело.— Я нишево не знайт.

— Понял,— заулыбались бабы.— Жена-то есть ли? Живешь ли с бабой, или холостой?

— Холёстой... Три года холёстой...

Бабы стали гадать:

— Жена есть, но три года он в разлуке.

— Нет у него жены,— определили девки.— Это он от грязи старообразный, а он не брился еще... Парень он...

Он прислушался, вдруг что-то сообразил и торопливо и радостно стал копошиться за пазухой и вынул в грязной бумажке завернутый портретик. Девки сгрудились, стали разглядывать. Там заснята была девушка в старомодной кофточке, с вытаращенными глазами, в напряженной позе. Руки ее лежали на коленях. Девки узнали в ней крестьянку, принялись оценивать достоинства ее наряда и красоту лица. И решили, что она невеста. Австриец пояснил, что он обручен с ней, но не венчан.

— Так вот что,— сказала старая девка Фекла,— не видать тебе ее. Выкинь ее из головы... Войне конца-краю нет. Граждане,— сказала она, обращаясь ко всем,— вы его не трогайте. Я беру его в дом.

В то время обычным делом было у шатающихся по деревням военнопленных застревать у приглянувшихся им девок, вдов и солдаток и приживаться навсегда. Этот австриец не совсем понимал свою роль и только виновато улыбался девкам, которые расхваливали хозяйство своей подруги (самое ее хвалить духу не хватило: она была чрезмерно толста, веснушчата и перезрела).

— А ты полно, парень, иди! — Они подталкивали австрийца к зардевшейся как маков цвет подруге.— Иди, не бойся. Справный ее дом, дом — полная чаша. Целый двор

скотины. Доволен будешь, приживешься и своей австриячки не захочешь...

— Натерпелась в одиночестве-то, страсть,— заметили бабы,— счастье ей, вековушке рыжей, привалило...

Под общее ликование Фекла повела парня к дому, в котором остались только старики да девка, четверо парней были убиты. Следует сказать, забегая вперед, что он так и прижился у ней и состарился уже в колхозе, этот австриец. Был он на все руки мастер, развел большую семью и положил основание на селе новой фамилии Австриякиных.

Наутро всем селом, кроме богатых мужиков, вышли пасти стадо в графские угодья. И пасли до вечера. Это было большим торжеством на селе.

Но через два дня управляющий графским имением вызвал из города команду черкесов. Они прискакали на конях, окружили село и забрали пастуха Ерему, остальным пригрозили жестокой расправой.

Под вечер черкесы уехали, а утром управляющий донес графу, что в лесу срублены деревья. Граф строго приказал поймать и привести хоть одного самовольного порубщика.

Ночью привели к нему Егора Ярунина.

— Вот полюбуйтесь на него, ваше сиятельство,— сказал управляющий.— Я ему говорю: барский лес пилить — это злодейство, а он: лес — народное достояние. Откуда-то набрался ученых слов.

Маленький, обросший волосами мужичонка свирепо, исподлобья глядел на графа. На бороде свисала запекшаяся капля крови.

— Ты его уже наказал? — спросил граф у стражника.

— Поучил немного, не стерпел. Его убить мало, который раз попадается...

— Лес, как и прочее имущество, дорогой мой, покупают, а не крадут,— сказал тихо граф.— Это тебе известно?

Егор шмыгнул носом и отвел глаза в сторону.

— Собственность священна и неприкосновенна,— продолжал граф.— Если я приду и твое заберу, что ты на это скажешь? Ну, отвечай?!

Егор молчал.

— У него взять нечего, ваше сиятельство,— сказал стражник,— форменная шантрапа. Одни драные девки по

избе бродят. В избе ничего нет, а конюшник новый строит из вашего леса. А в конюшнике одна коза, за конюшником дубовые бревна... Я переписал. Двадцать пять. Он их уже обтесал и в сруб составил. Не иначе хочет и хату воздвигнуть новую... Такой мошенник, хоть сам с пуговицу. У ты, идол!

Стражник стукнул Егора по лбу.

— Когда это он успел... Это я в толк не возьму!

— Я дознался через верного человека — которую ночь ездит, по два бревна в ночь возил. Ведь какая терпеливость! День пашет, ночью лес пилит, а когда спит — одному богу известно. Как насекомая. А еще агитирует...

Граф вдруг почувствовал запах прелого пота и мужичьих лаптей. Он в изнеможении опустился в кресло и спросил:

— Как же он агитировал?

— Мне сказывали, такие речи вел: дескать, народ, вроде как рыба-кит, зашевелился... Дескать, на спине у него никакой эксплуататор не удержится... Ведь вон куда хватил! А? Подумать, так страшно. Это главный смутьян на селе. Ему, ваше сиятельство, не токмо царь, ему и социалисты не нравятся. Он сам, видать, в государи императоры метит. Стенька Разин... Позавчера иду по селу: сидит с парнями, судачит, увидел меня и дал дёру. «Про что болтал?» — спрашиваю. Молчит. Но я дознался через верных людей: болтал, ваше сиятельство, что помещиков никогда не было на свете, их царица Катерина наделала. Каждому полюбовнику, который ей угодил, раздавала крестьянские земли, вот тебе и помещик... А теперь им, говорит, капут приходит...

— Мерзавец! — крикнул граф и с размаху ударил Егора по щеке.— Вреднее ничего не придумать!

Егор пошатнулся и потер щеку.

— Говори, сукин сын!

Егор молчал, только тер щеку.

— Бейте его! — закричал граф.— До тех пор бейте, пока не назовет всех, кто с ним ворует. Убейте до смерти, но узнайте...

Он бегал по комнатам и не слышал крика. Только глухие удары по чему-то мягкому. Когда удары прекратились, вышел стражник.

— Действительно, почти убили,— сказал он.— А звуку не издал. Вот какой вредный...

В тот же день граф писал министру внутренних дел Церетели:

«Пользуясь царящей внутри анархией, бездействием Временного правительства, не дожидаясь Учредительного собрания, крестьяне-общинники путем насилия разрешают на местах аграрный вопрос, нагло посягая на священную собственность землевладельцев. Имения земельных собственников горят, расхищаются. В моем собственном имении крестьяне косят луга, травят посевы, рубят лес, угоняют скот. Крестьяне не платят аренду, не хотят вступать ни в какие законные сделки с землевладельцами. Это — прискорбный и ужасный выпад против землевладельцев. Уничтожение и вытравливание покосов исключают продажу сена для армии. У меня потравили все покосы и поставили под угрозу коннозаводство и молочное хозяйство. Разгон служащих, рабочих, военнопленных, уничтожение арендных договоров, захват земель, машин, скота — все это приведет сельское хозяйство к гибели. Ужасающая смута раздирает душу несчастной нашей родины, в пагубных эксцессах тонет свобода, мы, землевладельцы, терпим правовые обиды, чинимые нам крестьянами-общинниками. Мы просим Временное правительство встать на защиту попранных наших прав, ибо из всех классов населения мы, землевладельцы, обречены нести всю тяжесть революции. Бесконечные удары сыплются на нас не только со стороны темной и озлобленной массы крестьян, начиненных демагогическими речами, а и со стороны местных низовых властей, не желающих препятствовать злостным нарушениям. Таким образом, провозглашенные министрами-социалистами громкие лозунги всеобщего равенства и братства для нас, несчастных париев общества — землевладельцев, звучат нескрываемой иронией. Просим срочно прислать в наши места казаков, которые могли бы водворить порядок и внести успокоение в среду сельского населения, принять меры к восстановлению попранных наших прав.

Исполняющий обязанности председателя
губернского Союза земельных собственников
Граф Г. А. ПАШКОВ».

Граф поддерживал тесную связь с другими союзами областей и центром и жил мыслью, что новый Корнилов скоро положит конец притязаниям революции.

Управляющий каждодневно отправлял почту графа к верным людям...

Граф потерял сон. Целыми ночами он бродил по комнатам своего дворца, болезненно прислушивался к звукам.

В полночь ему почудилась мужицкая речь. Он услышал шаги на лестнице.

На пороге показался лохматый Егор Ярунин.

— Вот он, здесь, братцы,— сказал Егор.

— Ну, барин, мы пришли по твою душу.

...Всю ночь горела усадьба. Мы глядели на нее издали, от села. Никто не произносил имен, причастных к пожару, хотя все знали их.

Утром мы посетили пепелище.

В липовой аллее на самом высоком дереве висели граф с управляющим.

1957

НИКОЛАЙ МИЛЮТИН

ДИКАЯ ДИВИЗИЯ

(Ночь на 1 сентября 1917 года)

РАННИЕ заморозки сковали движение. Кто послабей — ушел. Сильно порассосалась пехота. Под конец на фронте, под Красной Рогаткой, остались лишь отряды матросов да красногвардейские группы питерских рабочих-большевиков. Вчера по директиве своих «вождей» с фронта ушли эсеры. Ушли с матюгами. Хотелось послать им вдогонку пару очередей, но... лишь крепче сжала рука винтовку. Наскоро перегруппировались. В окопах жидкая грязь.

Слева от Пулкова усилился огонь и сразу смолк. От перелеска вымахнули сотни две казаков и лавой пошли на застывшие окопы. Больше выдержки! Внимание! Вот уже не более полсотни шагов. Видна пена на мордах лошадей. Сверкают клинки и острия наклоненных пик. Огнем взорвались окопы. Залп, за ним другой. Застрочили пулеметы. Винтовки зачастили пачками. И сразу все изменилось. Видны лишь задранные в последнем оскале головы лошадей, падающие и уходящие галопом всадники.

Вздохнули окопы. В наступившей тишине слышны стоны да предсмертное ржание лошадей.

Примерно через час еще две казачьих атаки разбились о стойкость и выдержку красных. Шатаясь от слабости (уже больше двух суток, как съеден последний сухарь), бойцы тянутся друг к другу за махоркой. Изредка поют и шлепают о землю пули.

Скорей в штаб — надо послать патроны, хлеб, перевязочные средства. По пути проверяю вторую линию окопов. Там, где должна быть эта «линия», обнаруживаю лишь несколько залитых водой канав. Иду проверить пикеты красногвардейцев, запирающих входы в улицы Питера.

Сбоку у дороги — сломанные и брошенные автомобили. У автоброневика несколько солдат: хотят «обзавестись» броневиком, просят прислать поесть и покурить, обещают к утру поставить «Стригунка» на ноги. Это очень ладно: ведь у нас в отряде только одна трехдюймовка и ни одного конного бойца. «Стригунок» будет весьма кстати.

Под мостом Путиловской ветки группа ребят с заводов Симменса и Коппеля ругается последними словами. Больше всего горячится Павлов, парнишка лет шестнадцати.

— Это позор, подлое предательство: уйти с фронта, бросить своих товарищей, открыть белому генералу дорогу в Петроград. Эх вы, слюнтяи!

Обвиняемые слушают, вяло отругиваясь. Но у одного вдруг загорелись глаза:

— Да ну их... Верно это. Пойдем, ребята, обратно к своим.

Он с бешенством вскидывает винтовку и твердым шагом направляется по Московскому шоссе к Красной Рогатке.

Через минуту за ним двинулись остальные. Сначала нерешительно, потом все энергичнее. Сзади семенит Крючков, эсеровский лидер «в районном масштабе». Он клянет взбунтовавшихся, классовым чутьем нашедших свое место.

Павлов отплевывает через губу:

— Этих, понимаешь, Николай, сагитнул, побегу теперь к Речкину,— там тоже есть дурные.

— Ну, валяй, да вот что: пусть ребята захватят хлеба и еще что можно, а то — когда еще дотащатся наши пешие обозы. Да у кого нет сапог, тех давай в пикеты, а обутых посылай на Рогатку, сыровато там малость.

Ватный пиджачишко Павлова быстро исчезает в направлении завода Коппеля. Направляюсь к обществу «Образование», где расположился наш штаб. Навстречу Марьяна Новицкая и несколько «скороходовок».

— Вот что, девчата: надо скорей добыть хлеба и во что бы то ни стало сейчас же свезти на фронт. Возьмите в кооперативе и на хлебном заводе. Захватите из пикета человек пять с винтовками, а то кооперативные эсерики заартачатся и начнут переговоры. В случае чего — сейчас же сюда!

— Ладно. Только вот горюшко, темно, где там найдешь кого в окопах?

— Дуйте прямо до Красной Рогатки. Там хлеб отдадите матросам, а уж они все организуют.

Вот и штаб. Длинный стол перегородил надвое большой зал. Вдоль стола, на котором стоят два пулемета,— длинные скамьи. Между пулеметами ошалело заседает наш малоудачный председатель Ревкома, он же начштаба, шлиссельбуржец Яков Штейн.

Буйная шевелюра Яши встрепана, очки захватаны до отказа, глаза смотрят отсутствующе: бедняга не спал дней пять. Перед ним стопка бумаги, чернила и печать. Яша мрачно пишет «мандаты», упорно дышит на печать и шлепает ею.

Кругом на полу вповалку спят красногвардейцы, добровольные сестры из работниц сансклада. Вот почти детская головка молодой работницы прижалась к рваному солдатскому сапогу, чья-то откинутая рука лежит на лице соседа, чья-то голова мирно устроилась на куче сваленных гранат и пулеметных лент. Все это освещает лампа «молния».

Пытаюсь растолковать Якову обстановку фронта. Предлагаю срочно построить две баррикады: одну у Путиловской ветки под мостом, вторую — у Бычьего переезда. За стенами Новодевичьего монастыря устроить помост для стрелков да пробить пару дыр у земли для пулеметных гнезд. Все это надо сделать немедля, так как фронт в любой момент могут прорвать. Вчера мы ездили в глубокую разведку,— корниловцы настроены мрачно, зачем идут — не знают, но ждут на помощь какую-то дивизию «диких» со стороны Кронштадта. Обстановка может измениться каждую минуту. Наша цепь ничтожна. Пехота почти вся ушла с фронта. Значительные группы меньшевиков также ушли вместе с эсерами. Снабжения никакого. Надо немедля послать боеприпасы, да хорошо бы, связавшись с путиловцами, отодвинуться к Румянцевской роще. Это резко сократит линию фронта и обеспечит нам быструю связь вдоль Путиловской ветки. Необходимо тотчас разослать людей по заводам, попытаться расколоть эсеров и меньшевиков, оторвав от них молодежь и вообще кого удастся.

Яков со всем согласен, пишет какие-то приказы-записки.

Я бегу на «Скороход» и к трамвайщикам организовать баррикады. В трамвайном парке нашлась колючая проволока. Делаем наспех козлы, опутываем колючкой, тянем к Бычьей. Наконец у Бычьей все готово для доброй драки — никакая кавалерия не прорвется в город.

Спешим на боковые улицы: здесь надо перегородить дорогу от заставы. Нагромождаем штабеля ящиков с бутылками, которые оказались на каком-то складе. Хуже на Забалканском, у Путиловского моста. Здесь крутят эсерики от Симменса. Надо бежать в штаб за подмогой. Там застаю Леонова, рабочего от Речкина. Это исключительно колоритная фигура. Старовер, борода лопатой, веселые, с хитрецой и смешинкой глаза. Надежнейший большевик! Прекрасный конспиратор! Вчера он со своим отрядом ушел в разведку с заданием обследовать Царскосельскую дорогу и заодно агитировать железнодорожников.

Рапортует:

— Так что занял станцию, казаки удрали.

— А сколько их было?

— Да, поди, с сотню.

— Врешь!

— Ну вот еще. Еле ноги унес.

— ???

— Вишь, дело-то какое вышло. Идем это, понимаешь, и калякаем, а кругом — никого. Ну ладно. Подошли к станции. Опять ни души. Ну, мы это решили отдохнуть, ребята стали завертывать цигарки. Ну, а я, как это староверам полагается, не курю. Ну ладно. Только это мы уселись, а тут топот. Глядим — казаки, да уже у самой станции. Ну, ребята, известно, под вагоны. Нырнул и я под платформу и сижу, а кто-то возьми да и пальни раз-другой. Казаки обратно. Потом все стихло. Посидел это я минут с десяток, потом взглянул — никого. Ну, стало быть, мои орлы удрали и казаки — вроде того же. Я, стало быть, станцию занял. Вот и пришел сообщить.

— А где же ребята?

— А кто их знает, что-то не попадались дорогой.

— Как же это ты, малярный генерал, армию свою растерял? Куда это годится?

— Дело дрянь, факт. Да ведь народ-то у меня какой? Деревня, все маляры...

— Ну что ты городишь, скажи — струсили вы все.

— Это факт безусловный: в рай-то кому раньше времени охота, а главное без толку. Но только я им, скобарям, натру холку, в другой раз не подкачаем.

— Ладно уж. Вот тебе задание: дуй под Путиловскую ветку. Надо закрыть проезд под мостом.

Подробно объясняю обстановку и задание. Если эсеры будут мешать, взять их «вождей» и отправить сюда в штаб.

— Идет. Сейчас оборудую. Только вот портянки перемотаю.

Ушел выполнять задание.

В это время вернулись красногвардейцы, посланные Яковом к начальнику милиции, члену нашей партии Сталюкову. Говорят, что Сталюков патронов не дал, ссылаясь на запрещение комиссара Временного правительства. Яков велит привести начальника милиции в штаб. Через десять — пятнадцать минут он является.

— Ты что же это?

— Да как же, ведь не могу же я нарушить приказ правительственного комиссара.

— Да ты что? Ошалел?!

— Как хотите. Я не могу.

Переходят в соседнюю комнату и объясняют ему обстановку. Не помогает. Приходится вмешаться.

— Хватит болтать,— говорю я.— Если ты сейчас не выполнишь приказ председателя ревкома, я, как командующий Красной гвардией, расстреляю тебя в двадцать четыре секунды. Понял?

— Понял.

— Ну?

— А вы меня поддержите потом перед комиссаром?

— А ты его пошли... к нам сюда, мы его «поддержим» у забора, пока гашетку спускать будут.

— Сейчас пришлю все по записке.

Через полчаса патроны были отправлены на фронт. Послали и сколоченный наспех санитарный отряд, забрав из аптеки больничных касс перевязочные материалы и необходимые медикаменты. Заведующий аптекой побубнил, пофыркал, но сделал все как следует.

Около полуночи. Надо проверить пикеты и заводскую охрану, а потом в окопы. На скорую руку пьем с Яковом чай из огромного медного чайника, неизвестно как и откуда попавшего сюда. Со мной собирается человек двадцать — тридцать из отдохнувших ребят. Соображаем с Яковом, как бы навербовать еще сотню парней.

Вдруг со стороны Путиловской ветки слышен цокот бешеного галопа. Что за чудо: у нас нет ни одного конного. Насторожились. Вот всадники подъехали к углу...

Повернули в переулок, где вход в штаб, остановились... Кто-то тяжело подымается по лестнице... вошли. В глаза бросились серебряные погоны. Офицеры! Неужели фронт прорван? Но нет, на улице все тихо. Что-то не то.

Вошедших трое. В полутьме лиц почти не видно. Ну, надо действовать. В кармане шинели палец нащупывает гашетку кольта, а на лице равнодушное спокойствие.

— Что скажете?

— А нам надо вашего главного начальника.

— Вот начальник штаба, а я командующий Красной гвардией района.

Пришедшие выхватывают шашки. Кровавым отблеском сверкнули клинки и... повернутые эфесами, тянутся к нам в руки.

— Мы сдаемся,— говорит ближайший горец.— Меня зовут Хаджи Мурат Дзарахохов. Мы представители татарского горского полка. Нам сказали, что в Петрограде резня и надо установить порядок. Но здесь агитаторы Советов рассказали нам другое. Мы не хотим больше идти с князьями, мы решили вернуться домой, в свои аулы. Мы много воевали. Братоубийственной войны не хотим. Не будем убивать петроградских рабочих.

Высокий горец с седыми усами что-то говорит Хаджи Мурату. Тот переводит.

— Это командир сотни. Он спрашивает, отпустите ли вы их всех на родину, если они перейдут к вам?

— Видите ли, друзья, этот вопрос я решить не могу. Прошу вас посидеть здесь. Мы обсудим сейчас ваше предложение и через короткое время дадим ответ. А теперь предварительно скажите: во-первых, как вы проникли сюда, где перешли линию фронта, по каким дорогам ехали? Затем, сколько у вас людей, каково отношение вашего командования к переходу на нашу сторону?

Хаджи Мурат на минуту задумался. Кривая усмешка мелькнула у него на лице. Он отвечает медленно, водя пальцем по столу:

— Ехали мы от Кронштадта. Дороги хорошо не знаю. Нас было четверо. По нас стреляли. Один где-то упал, очевидно убит. Я урядник, один только понимаю кое-что по-русски. Придем все. Командиров мы решили не слушать: это все князья, а мы бедные люди. Дайте нам пропуск через фронт, и мы приведем всех людей, если обещаете нас не трогать и отпустить домой.

— Ну ладно, подождите.

Быстро оглядываю комнату. Кругом все встали. В руках винтовки. Лица суровые, напряженные до боли. Яков Штейн спокоен, но смотрит в тяжелом раздумье на пол.

Забираю под мышку шашки и кинжалы. Идем в смежную комнату. С нами несколько красногвардейцев.

— Ну?

— Плохо,— говорит Яков,— они видели, что на фронте у нас дело дрянь. Прорваться — пустяк. Надо их расстрелять и отходить на вторую линию. Видал, как они смотрят в сторону? Заметил усмешку этого Хаджи? Провокация!

Я беру слово...

— Видите ли, я был в тылу у Корнилова. Солдаты митингуют. Наши агитаторы работают вовсю. Генералам народ не верит. Думаю, что можно рискнуть, приняв меры. Я предлагаю: оружие им вернуть, пусть едут и ведут своих сюда, к штабу. Я с парой добровольцев останусь здесь. Остальные переходят к Бычьей ветке, которую мы укрепляем, елико возможно. Все пикеты, охрану фабрик собираем на баррикадах у Бычьего переезда. Туда же перетащим нашу трехдюймовку. Матросам на Красную Рогатку передадим, чтобы горцев пропустили, а потом сосредоточили у шоссе кулак. Если это окажется провокацией, то... я думаю, что вы сумеете их уничтожить перекрестным огнем. Ну?

— А ты?

— Ну что я? Я уверен, что все будет хорошо. Пойми, если они перейдут к нам, какое большое это будет иметь значение!

— Нет, лучше не рисковать. Ведь мы пускаем их в город! Что наша баррикада? Да и кто знает, сколько их. Перерубят, а там до Смольного ни одной заставы.

Положение трудное. Третьего члена ревкома М. Н. Федорова в штабе не было. Как быть? Решаю: я, как командующий районом, беру все на себя. Яков согласен. Идем. Возвращаем оружие.

Яков обращается к горцам:

— Мы вам верим. Приведите сюда всех, кто не хочет выступать против народа. Желающие могут уезжать домой, а кто согласен, останется с нами.

Быстро заговорили делегаты... спор... Ясно, я не ошибся. Хаджи Мурат убеждает в чем-то седого. Потом говорит:

— Верьте нам. Пусть кто захочет останется с вами. Я тоже не пойду домой. Я бедный человек и буду с рабочими. Мы благодарим вас за доверие и не обманем. Оставьте одного из нас заложником.

— Не надо. Это ни к чему. Поезжайте.

— Ладно, а пропуск?

— Мы скажем, чтоб вас пропустили. Поезжайте.

Процокали подковы. Скорей гонцов по заводам: «Всех к Бычьей!» Всех, кого можно, туда! И поскорей. Отрезать Лиговку у железной дороги. Пулеметы в гнезда!

Проходит несколько напряженных часов.

— Пора на баррикады! Все до одного! Каждую минуту можно ждать.

Хмуро стоят красногвардейцы. Часть неохотно уходит. Яков нерешительно садится за стол, наливает в кружку чай и пьет, громко чмокая.

— Ты что же?

— Сейчас.

Я обращаюсь к матросам:

— Ну, а вы? Не слыхали боевого приказа, что ли?

— Ну, не кипятись, мы тоже подождем,— отвечает пожилой матрос.

— Чего ждать? Обалдели, что ли?

Молчат. Кое-кто выбирает из лент патроны, рассовывает по карманам. Один матрос становится у окна и раскладывает по подоконнику ручные гранаты. Ругаюсь. Не помогает.

Вдруг слышен громкий цокот сотен копыт. Гляжу на лица товарищей.

Копыта смолкают под окном. Входит Хаджи Мурат. Берет под козырек, рапортует:

— Такие-то сотни татарского конного полка явились в распоряжение революционного народа.

Вздох облегчения. Радостью засветились глаза. Все задвигалось. Пришедшим жмут руки, хлопают их по плечам. Горцы просят достать фураж и хлеба. Черт возьми, где же взять фураж?

— Сейчас обмозгуем. В обозах заводов наберем,— весело говорит кто-то.

И за хлебом дело не станет: у нас свой хлебозавод, там есть запасы.

Через полчаса на площади митинг, горят костры. Внимательно слушают кавалеристы незнакомую речь. Хаджи

Мурат берется переводить. Он багровеет, его черкеска в свете костра — будто крылья огненной птицы.

— Война войне!

— Мир хижинам, война дворцам!

— Землю и власть народу!

— Долой князей!

Громкие крики кавалеристов заглушают колокольный звон, которым кто-то в азарте решил приветствовать горцев. Все пространство от Путиловской ветки до Московских ворот заполнено вооруженными людьми. Высоко поднято алое знамя райкома.

«Бейтесь, сердца пролетариев, победа ваша обеспечена. Опора Корнилова, «дикая дивизия»,— у нас!»

Наутро большой митинг у «Скорохода». Рабочие, работницы, солдаты «дикой дивизии». Горячо говорит Хаджи Мурат. Его простые слова проникают глубоко в сердца горцев. Они начинают постигать смысл великой борьбы пролетариата. Они понимают, что их дурачили князья. Это было, но этого больше не будет! Зреет твердое решение: никуда не уходить, остаться здесь, в Красном Петрограде, помочь в борьбе за свободу.

После митинга ко мне приходят горцы: просят принять их в ряды Красной гвардии, но они не верят Временному правительству. Кое-как объясняю им, что и мы не верим Кишкиным и Бурышкиным, что мы — большевики и будем до конца драться за подлинную власть трудящихся.

Вечером в трамвайном парке, в ночлежном доме, на хлебозаводе и «Скороходе», где стоят части горцев, ведем беседу. Как искры, вспыхивают горячие споры: среди горцев идет расслоение. К ночи решили: несколько сотен останется у нас, они будут исполнять приказы только большевистского штаба. Остальные отправляются в Кавалергардские казармы, чтобы идти домой.

Лопнул и рассыпался фронт Корнилова. Но не расходятся отряды красногвардейцев. Они готовятся к новым боям. Н. И. Подвойский присылает нам несколько офицеров. Организуем настоящее обучение военному делу. Ожил и «Стригунок» — так мы окрестили нашу бронемашину. Кое-что забрали у Корнилова. Растут наши силы и боеспособность. Победа близится.

1940

ПЕТР КАПИЦА

ЗАСЕДАНИЕ В ЛЕСНОВСКОЙ ДУМЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Лесновской управы Михаил Иванович Калинин вызвал к себе браковщицу завода Айваз, которую он на время поселил в помещении районной думы.

— Катя,— сказал Михаил Иванович,— ко мне сегодня вечером соберутся товарищи. Входных дверей не закрывай и сама не уходи.

— Ладно,— согласилась Катя. Оглядела по-хозяйски комнату, где устраивались заседания, и, увидев в углу на стуле какую-то синюю ткань, спросила: — А это зачем?

— Нужно будет завесить окна,— ответил Михаил Иванович. — У тебя ничего нет?

— Есть желтая.

— Желтая не годится.

В четыре часа присутствие в думе заканчивалось: пустели приемные, расходились сотрудники. Так было и в этот день. К пяти часам из думы все ушли. Только наверху поскрипывало кресло Михаила Ивановича.

Катя закрепила защелку французского замка (громкий думский звонок мог привлечь внимание дворника) и, оставив дверь прикрытой, стала из окна поглядывать на дорожку аллеи, идущую от ворот к главному подъезду.

Стало темнеть. Шел дождь. В саду скрипели и раскачивались голые деревья. Катя из-за предосторожности погасила лампочку и у входных дверей. Было немного жутко и боязно сидеть в темной прихожей.

Вот, наконец, щелкнула калитка. На аллее появились двое мужчин. Они шли уверенно, значит — свои. Вышла навстречу. Пришедшие спросили, как пройти к Калинину. Катя молча показала на лестницу.

Теперь через каждый пяток минут на аллее кто-нибудь появлялся. Одни шли от Лесной улицы, другие показывались со стороны Муринского переулка. Стараясь не стучать тяжелыми, набухшими от грязи сапогами, они поднимались наверх и там снимали свои пальто и шинели.

Наверху у Калинина уже собралось человек двадцать, и в это время, как назло, на кухню ввалился дворник. Этот дворник, оставленный старым хозяином дома, вечерами любил покалякать с матерью Кати. Его нужно было немедленно выжить. Старик мог сболтнуть кому-нибудь о ночном заседании в думе. И Катя, бросив следить за входной дверью, вернулась в кухню.

Дворник не торопясь набивал трубку. Он, видимо, намеревался просидеть на кухне весь вечер. Катя попросила мать заняться стиркой, а сама, стараясь не завязывать разговора, начала угощать старика чаем.

Дворник, видя, что сегодня ему не с кем будет покалякать, сердито допил свой стакан чая и, кряхтя, поднялся на ноги.

— Пойти спать, что ли?

В это время наверху задвигали стульями.

Дворник прислушался и спросил:

— Чего это сегодня в думе?

— А ну их, работать остались... Ушли бы скорей, а то опять придется убирать ночью,— с притворным неудовольствием ворчала Катя.

Она проводила дворника и, убедившись, что он поплелся к себе, пошла к главному подъезду. Дверь оказалась захлопнутой на французский замок. «Значит, все собрались»,— решила она, и ей стало вдруг неспокойно.

«А что, если кто-нибудь проследил, как они собирались, и сейчас прячется в темном саду?!»

На всякий случай она открыла в первом этаже окно, через которое товарищи могли выпрыгнуть в глухой угол сада и через забор скрыться.

Сверху послышался шум отодвигаемых стульев. «Доклад кончился,— подумала Катя.— Надо бы им чайку горячего, ноги-то у всех, наверное, промокли».

Она вернулась на кухню, погасила свет, поставила на плиту чайник и еще раз прошлась по пустым темным комнатам.

На улице бушевала непогода, выл ветер. Черные ветки кустов скребли стекла окон. Стало жутко. Всякие страхи

лезли в голову. Казалось, что за каждым кустом притаился враг.

Катя осторожно обошла весь нижний этаж дома. Убедившись, что все спокойно, она зажгла огарок свечи и стала разливать чай.

В те дни настоящий чай был большой редкостью. Только для президиума думы продовольственная управа выдала пакетик настоящего чая. Чай берегли, но Катя на свой риск решила заварить его собравшимся товарищам. Она приготовила душистый, крепкий настой и наполнила им стаканы. Сахару у нее было только несколько кусочков. Катя подсластила несколько стаканов, взяла поднос и осторожно понесла его наверх. Лестница скрипела, Катя старалась ступать как можно легче. Она прошла по темному коридору и остановилась. Из-за двери доносились чьи-то слова:

— Владимир Ильич, если бы вы знали, как сейчас трудно на местах...

«Значит, Владимир Ильич в Петрограде... Ленин здесь».— И Катя заволновалась.

Она уже видела один раз его, но это было весной и он стоял за толпой на трибуне. А сейчас она увидит Ленина почти рядом. Катя не решалась войти. Заговорил Владимир Ильич. Он кого-то отчитывал за нерешительность, за неверие в силы рабочих, и голос Ленина был резким. А когда он кончил, за дверью водворилась тишина. Воспользовавшись этим, Катя вошла.

В комнате было полутемно. Горела только одна висячая лампа. Ильич устроился в дальнем углу за маленьким столиком. Вокруг него сидели и стояли у стены товарищи. Все очень обрадовались, увидев на подносе дымящиеся стаканы.

— Только чай-то без сахару,— виновато предупредила Катя.

— Ничего, ничего, у нас свой сахар есть,— ответило несколько голосов, и руки потянулись к стаканам.

Несмотря на то, что на всех чаю не хватило, Катя все же успела уберечь один стакан с сахаром. Краснея, она поставила его перед Владимиром Ильичем.

Казалось, что рассерженный Владимир Ильич и не заметит этой маленькой услуги, а он весело улыбнулся и поблагодарил ее.

Катя, радостная, побежала вниз за новой порцией чая.

Заседание уже не прерывалось. Из разговоров Катя поняла, что сегодня решается главный вопрос — о немедленном вооруженном восстании. И это вселило в нее еще большую тревогу за судьбу собравшихся товарищей.

Собрались ответственные работники партии. Нужно было сделать все, чтобы сберечь их.

Катя решила проверить, не виден ли со двора свет и не слышны ли разговоры снаружи. Она накинула на себя пальто, платок и вышла во двор. Шел мокрый снег. Гудел пронизывающий ветер. Глухо роптали раскачивающиеся деревья. Все заволокла такая темень, что в пяти шагах ничего нельзя было разглядеть.

Катя остановилась под окнами и прислушалась. Сверху доносились невнятные голоса, но о чем там говорили, понять было трудно. Окна были завешены хорошо, только в одном месте через узенькую щелку проникала бледная полоска света. Катя, осторожно шагая, обошла вокруг дома. Нигде никого. Даже сердитый сторожевой пес спал, забившись в свою конуру.

Катя надумала оглядеть дом с улицы, вышла за калитку и пошла вдоль забора. Нигде не было ни души. У поворота улицы Катя остановилась, прислушалась. Улица казалась вымершей. Кате сделалось страшно. Она чуть ли не бегом вернулась назад, плотно приперла калитку и с колотящимся сердцем стала вслушиваться, не гонится ли кто. И вдруг до нее донесся отчетливый голос Володарского. Он, видно, горячился, и говорил так громко, точно на большом митинге.

Катя поспешила в дом, бегом поднялась по лестнице и распахнула дверь. Товарищ, стоявший на страже у порога, заметив, что она запыхалась и не может выговорить слова, тревожно спросил:

— Что случилось?!

— Уймите Володарского, такой горластый, что на улице слышно.

Сразу раздалось несколько голосов:

— Тише!

— Спокойней, товарищи!

Говорили вполголоса. Выступали Сталин, Свердлов, Дзержинский. Они громили трусов Каменева и Зиновьева, возражавших против немедленного восстания. Эти двое упорно пытались сорвать ленинскую резолюцию.

Собрание затянулось. Уже давно было вынесено реше-

ние, давно ЦК и актив одобрили ленинскую резолюцию о вооруженном восстании, а народ все не расходился.

Катя тоже не могла думать о сне, она все время ходила вокруг дома, вслушивалась в вой ветра и всматривалась в темноту. Уже приближалось утро. Скоро начнет светать. Не забыли ли товарищи об опасности?

Она пошла предупредить. Товарищи, занятые своими разговорами, не слушали ее. Она стала искать Ленина; он ходил в коридоре у лестницы, беседуя с кем-то из военных. К ним подошел один из противников решения ЦК и стал что-то в свое оправдание доказывать Ленину. Владимир Ильич резко оборвал его и окинул таким взглядом, что тому пришлось немедля ретироваться.

— Владимир Ильич, скоро светать будет,— негромко напомнила Катя.— Вам бы надо уйти пораньше...

Ленин, сначала как бы недоумевая, смотрел на Катю, потом устало провел рукой по глазам и заспешил:

— В самом деле пора; кончайте, товарищи.

В полутемном коридоре Владимир Ильич надел на себя парик, широкополую шляпу и ушел с коренастым сутулым человеком, которого звали Эйно Рахье.

На улице шел дождь, неистовствовала непогода. Катя видела, как порывом ветра сорвало у Владимира Ильича шляпу и покатило по мокрой траве. Владимир Ильич поймал ее, нахлобучил поглубже на голову и, сгорбившись, быстро зашагал. Косой дождь сек его спину, полы расстегнутого пальто развевались на ветру.

1937

ШТУРМ

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ОКТЯБРЬ

1

В СЕМНАДЦАТОМ году, в октябре, небо в Петрограде низкое, плотное и непрозрачное. Вечерами обложена земля сизой броней из металла. Под броней спокойно и страшно, как в крепости; издали, как торопливые призраки, проплывают поздние осенние облака.

Развели по Неве мосты. На улицах тихо. У Аничкова моста большой костер согревает мглу. Греются у костра солдаты. Жесткой шерстью рукавов гладят влажные стволы ружей. Смотрят едкими от дыма глазами, как стреляют сучья в огне. Шевелят штыками красные поленья. Взлетают искры змейками, падают пушистыми блестками и гаснут.

К кострам подходят женщины и собаки. Их угловатые тени странно и сказочно шныряют по мостовой.

2

В сумраке вечера тяжелое здание Смольного с тремя рядами освещенных окон видно далеко.

По широкой, твердой, чуть оснеженной дороге, ныряя в ухабах, спешат к каменной дыре подъезда солдаты, матросы, скрипят галошами штатские с поднятыми воротниками, шуршат автомобили и мотоциклы.

— Сторонись!

— Ишь, буржуи, расселись!

— С дороги!

На ступеньках подъезда зябнет караул. Пулемет Гочкиса, высокий, тощий, с укутанным от мороза железным

носом, желчно смотрит на Лафонскую площадь. Часовой, сибиряк, курит большую сигару.

В квадратном вестибюле толчея. Кто-то быстро и зазвонисто убеждает товарищей не спешить, «погодить», брать у коменданта пропуски.

— Товарищи!

— Не спешите, товарищи-и!..

— Все поспеете, не толкайся, товарищи!

— Да тише вы...

3

Но они спешат, стремятся всклокоченной, нервной толпой, не могут вместиться в рамки стен, переливаются через край, зловеще и нескладно бурлят.

Здесь было тихо. Степенно шли классные дамы в козловых башмаках, резвыми ногами обегали лестницы дочери тех, чье царство повергнуто во прах, изредка проплывали в облаках благоговейного шепота расшитые золотом старички с оловянным взглядом пустых глаз.

А теперь шум. Под черными сводами гулко, как в бане, отдаются приказания, грохочут десятки ног сменяющейся охраны. По коридорам густыми серыми струями текут патрули, команды, пикеты. Обмерзший матрос в мохнатой шапке волочит на веревке, как маленькую собачку, пулемет. От духоты, от горячего пара человеческих тел замутились электрические лампочки под сводчатым потолком.

Несут патроны и гранаты.

— Товарищи! К Зимнему!

— В атаку на корниловскую власть!

— Керенского да-айте!

Несут хлеб. Тюки с литературой. Несут котелки с горячими щами. И чье-то тело в грязной гимнастерке, раненое или мертвое, мягко и страшно поникшее на трех парах рук.

4

Тесно. В двухсветном актовом зале сгрудилось более тысячи человек. У стены, меж колонн, зажата маленькая трибуна. На трибуне каждые пять минут новый

оратор вздымает к небу кулаки, глаза, зубы, жесты, проклятия.

Одному оратору мало и трибуны. Взобрался на случайный утлый письменный столик и возвышается над толпой — короткий, грязный, с седеющей рыжеватой головой, с голубоватыми злыми глазами. Нервно мнет кушак, пока толпа стихнет.

— Знаете вы меня, товарищи?

— Прапорщик Крыленко!

— Товарищ Абрам!

— Знаем!

— А знаете, товарищи, что нужно сейчас делать? Куда идти?

— Знаем!

5

Заложив палец между пуговицами теплого пушистого серого пальто, крепко зажав зубами папиросу, прислонился молодой человек в котелке.

Видимо, растерялся в шумных хоромах. Запрокинув голову, вглядывается в сутолоку переворота, в хаос творчества. Задевает взглядом и нерешительно окликает по-французски. Он просит указать справочное бюро.

— Вы француз?

Он американец. Анархист. Приехал в Россию смотреть революцию.

О да, нравится! За полгода русские сделали больше, чем французы и многие другие за много лет. Они пойдут далеко. Только он не знал, что русские будут так драться между собой. Ведь у русских — Толстой, и они не противятся злу... Очень непонятно. Такой всегда неожиданный русский народ.

Иностранец идет искать справочное бюро. Он и в аду будет искать справочное бюро.

На лестнице, заслышав незнакомый говор, оборачивается рослый бородач солдат с ведром щей в руках. Руки засучены — крепкие руки с темными тугими жилами, выпачканные в горячей гуще, счастливые руки раба, сегодня сразившего господина.

У американского анархиста пальто модное, мягкое, толстое, тихое, ласковое.

6

«Детский подъезд» Зимнего дворца выходит на Неву. Над входом — фонарь. Желтый свет вяло плещется в мерзлой луже, на скользких перилах набережной, на черной глади реки.

У освещенного круга перед подъездом со сдавленным гулом дожидаются автомобили. Вчера и еще сегодня утром длинный и шумный хвост моторов шевелился на набережной. Теперь их мало. Перестали ездить в Зимний.

Сзади Нева и цепь юнкеров.

Впереди низкие неумелые баррикады из дров. В щелях между грудами поленьев — женщины-ударницы с винтовками в руках. Оробелые, маленькие, коротконогие. Четыре пулемета. Неизвестно кем оставленная телега с кирпичами. А дальше — мрак, частые выстрелы, сердитые яркие ракеты в ночном небе. То ли большевики в Смольном пускают, то ли матросы за Николаевским мостом.

В три часа Смольный предложил Временному правительству сдать оружие. В четыре — юнкера и женщины-добровольцы обещали министрам, что защитят их до последней капли крови. В шесть из Петропавловки опять предложили сдаться. Кто-то властно и грубо выключил телефоны, дворец очутился одиноким, обреченным островком среди Петербурга.

В слабо освещенной приемной напряженно-спокойно и уж нет суеты. Два молодых солдата в бессонной усталости опустились на подоконник, о чем-то думают.

Из створчатой двери большого кабинета кучкой вышли министры. Они почти все здесь, Временное правительство последнего состава. Недостает троих. Верховский странно исчез. Прокопович безнадежно застрял в Мариинском дворце.

А Керенский?

В Гатчине или Пулкове или еще где-нибудь, где остались верные войска Временного правительства, временного совета временной республики.

Только что кончилось совещание. Переговорено обо всем. Не осталось ничего. Надо только ждать. Сыграно. Больше не добавишь. Того или иного, все равно — ждать.

Александр Коновалов заменяет министра-председателя. Пиджак у него помят. Один рукав запачкан мелом.

Он смотрит в темное окно, потом снимает пенсне, устало щурится на окружающих умным бабьим лицом.

Терещенко медленно водит рукой по твердому, тщательно выбритому подбородку. Малянтович улыбается, вслушивается в темноту.

На площади сразу и громко, в дрожь вгоняя, загрохотали пулеметы. Может быть, Керенский подошел с казачьими сотнями? Или уже рвутся большевики?

1926

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

ВЫСТРЕЛ С НЕВЫ

21 ОКТЯБРЯ 1917 года шел мелкий дождь. «Аврора» стояла у стенки Франко-русского завода. Место это было знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей в 1901 году новорожденная «Аврора» под гром оркестра и салют, «в присутствии их императорских величеств», скользя по намыленным бревнам, сошла в черную невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь с трагического похода царской эскадры к цусимскому погрому.

По мостику, скучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катилась ко взморью вспухшая поверхность реки, серо-чугунного цвета, покрытая лихорадочной рябью дождя. Налево — омерзительно грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшее от дождя унылое пространство, заваленное листами обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеиными извивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоенные ржавчиной, как застарелой кровью.

Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки. Лицо мичмана было тоскливо-унылым и безнадежным, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски.

Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор как стало ясно, что все рушится и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными

крыльями мичманские плечи, мичман исполнял обязанности, изложенные в статьях корабельного устава, с полным равнодушием, только потому, что эти статьи с детства въелись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в ерунду. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилось только сомнительное удовольствие — записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле.

Такую вахту не стоило нести. И офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не странное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием. Матросы держались подчеркнуто подтянуто. Корабль убирался, как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе, в то время как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их.

Вот и сейчас. Вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сцену. Шлепая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взошел на мостик. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, черт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского образца не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля. А теперь...

Ну и пусть ходит кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим шпаком? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой преградил дорогу посетителю, как тот, горячась, говорил что-то и как часовой, холодно осмотрев гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение формальностей было ни к чему, но все же умаслило мятущееся сердце мичмана.

Подошедший дежурный взглянул в предъявленную посетителем бумагу и повел его за собой. Вахтенный начальник разочарованно зевнул и зашагал по мостику, морщась от дождевых капель.

Только что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Белышев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным адъютантом помощника министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их адъютантов.

В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс в распоряжение начальника Второй бригады крейсеров.

— Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено как срыв боевого задания и военная измена со всеми вытекающими последствиями,— сказал адъютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно.

Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от эмалевой краски каюте, за тонкими стеклами которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью.

— Ясное дело,— сказал Белышев, поднимая на адъютанта тяжелый взгляд, и вдруг улыбнулся совсем детской конфузливой улыбкой.— Мы и так понимаем, что такое измена,— выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово «измена».— Стрелять изменников надо, как сукиных сынов,— продолжал комиссар, повышая голос, и адъютанту морского министра показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься.

После его ухода Белышев прошел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похоже было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные записки родным и знакомым.

Не замечая унылости командира, Белышев положил перед ним приказ морского министра.

— Когда прикажете сниматься?— спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза.

— Между прочим, совсем наоборот,— ответил, слегка усмехаясь, Белышев.— Комитет имеет обратное приказание Центробалта: производить пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину верховноуговаривающему вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще не пойдем без приказа Петроградского Совета,— закончил Белышев официальным тоном.

— Слушаю-с,— ответил командир и сам удивился, почему он отвечает своему бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом.

— Посторонних нет?

Вопрос был задан для проформы. Комиссар Белышев и сам видел, что в помещении шестнадцатого кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания.

— А какой черт сюда затешется?— ответили ему.— Матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь.

Белышев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. Медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои, испытанные, боевые ребята, и все они жадно и загоревшимися глазами смотрели на бумагу в комиссарских руках.

— Так вот, ребятки,— сказал Белышев,— сообщаю данное распоряжение. «Комиссару крейсера «Аврора». Военно-Революционный Комитет Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту...»

В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубой заглушенно гудела динамо, да иногда под подволоку прогрохотывали чьи-то быстрые шаги. Члены комитета молчали. И несмотря на то, что глаза у всех были разные — серые, карие, ласковые, суровые,— во всех этих глазах был одинаковый острый блеск. И от этого блеска лица были похожи одно на другое. Их освещал одинако-

вый свет осуществляющейся, становившейся сегодня явью вековой мечты угнетенного человека о найденной Правде, которую сотни лет прятали угнетатели.

— По телефону передали из Ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича... Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут,— добавил Белышев тихо и проникновенно, и опять по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет.

— Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения,— обронил кто-то из моряков,— если он хочет, так скрозь что угодно пройдем.

— Значит, постановлено? Возражающих нет?— спросил комиссар. Он был еще молод, молод в жизни и молод в политике, и любил, чтобы дело делалось по всей форме.

Члены комитета ответили одним шумным вздохом, и это было вполне понятной формой одобрения.

— Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи.— Белышев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского Совета.— Сколько людей понадобится и каким способом навести мост.

— Способ определенный,— сказал, усмешливо скаля мелкие зубы, Ваня Карякин,— верти механизм, пока не сойдется, вот тебе и вся механика.

Но шутка не вызвала улыбок. Настроение в кубрике было особенное, строгое и торжественное, и Ваню оборвали:

— Закрой поддувало!

— Ишь, нашелся трепач... Ты время попусту не засти. Без тебя знаем, что механизм вертеть надо.

С рундука встал плотный бородатый боцманмат.

— Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны, на Сенатской и Английской набережной, юнкерье. Сколько их там и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видал. А может, там где-нибудь в Галерной и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. И думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не сделаем...

— Что ж ты предлагаешь? — спросил Белышев.

— А допрежде всего выслободить корабль из этой мышеловки. Черта мы тут у стенки сотворим. Первое дело — отсюда мы до Английской набережной не достанем через мост. Второе — на нас могут с берега навалиться.

Да и где это слыхано, чтоб флотский корабль у стенки дрался! А потому предлагаю раньше остального вывести «Аврору» на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту.

— Верно,— поддержал голос,— нужно к мосту выбираться.

Белышев задумчиво повертел в руках конец шкертика, забытого кем-то на столе.

— Перевести — это так,— сказал он,— да кто переводить будет? На офицерье надежды мало. Они сейчас — как черепаха, богом суродованная. Будто им головы прищемило.

— Пугнуть можно,— отозвался Ваня Карякин.

Белышев махнул рукой.

— Уж они и так пуганы, больше некуда. Начнешь дальше пугать — хуже будет. Теперь с ними одно средство — добром поговорить. Может, и отойдут. А то они даже самые обыкновенные слова не понимают. Я вчера на палубе ревизора встретил, говорю ему, что нужно с базой поругаться насчет гнилых галет, и вижу, что не понимает меня человек. Глаза растопырил, губу отвесил, а сам дрожит, что заячий хвост. Даже мне его жалко стало. Окончательно рассуждение потерял мичманок... Верно, думал, что я его за эти сухари сейчас за борт спущу. Ихнюю психику тоже сейчас взвесить надо. Земля из-под ног ушла...

— Потопить их всех!

— Рано! — твердо отрезал Белышев.— Если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Сейчас пойду с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение. Да присмотреть за эсеровщиной. А то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы...

Кубрик ожил. Члены комитета загрохали по палубе, торопясь к выходу.

Когда Белышев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая, и офицеры собрались за столом. Но как непохоже было чаепитие на прежние оживленные сборища. Молчал накрытый чехлом, как конь траурной попоной, рояль. Не слышно было ни шуток, ни беззаботного мичманского смеха. Безмолвные фигуры, угрюмо помешиваю-

щие ложечками в стаканах, низко склонив головы над столом, избегая смотреть друг на друга, напоминали людей, собравшихся на поминки по только что схороненному родственнику и не решающихся заговорить, чтобы не оскорбить звуком голоса незримо присутствующий дух покойника.

При появлении комиссара все головы на мгновение повернулись в его сторону. В беззвучной перекличке метнувшихся глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая.

— Добрый вечер, товарищи командиры! — как можно приветливее сказал Белышев и, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван.

Но, садясь, он зорко следил за впечатлением от своего прихода, отразившимся на офицерских лицах. Некоторые просветлели — очевидно, приход комиссара не сулил ничего плохого, а сам комиссар был все же парень неплохой, отличный в прошлом матрос и незлой. Двое насупились еще угрюмей. Это были кондовые, негнущиеся, ярые ревнители дворянских вольностей и офицерских привилегий, и самое появление комиссара в кают-компании и его независимое поведение резало, как ножом, их сердца.

Но этих было только двое. Остальные как будто оттаяли, и, следовательно, можно было говорить.

— Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант?— вежливо обратился Белышев к командиру. Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил:

— Прошу.

Белышев достал папироску и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдали за струйкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал:

— Через час снимаемся.

Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил:

— Позволено знать, куда?

— А почему ж не позволено? — беззлобно ответил Белышев.— Петроградский Совет приказал перевести крейсер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить



Художник Ю. Рейнер. «Которые тут временные, слазь!»

движение, нарушенное контрреволюционными силами Временного правительства.

Штурман вздохнул и зазвякал ложкой. Жирный артиллерист, бывший прежде заправским весельчаком и не раз смешивший матросов забавными рассказами, а теперь потускневший и слинявший, словно его выкупали в щелоке, не подымая головы, спросил напряженно и зло:

— А приказ комфлота есть?

Белышев пристально посмотрел на него.

— Проспали, товарищ артиллерист,— сказал он спокойно.— Командует флотом нынче революция, а в частности Военно-революционный комитет, которому флот и подчиняется.

— Не слышал,— ответил артиллерист,— я такого адмирала не знаю.

Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Белышев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру:

— Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться.

Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела. Губы мелко дрожали. На него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира после убийства прежнего командира, шкуры, дракона и истязателя. Новый командир был либерал, еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегальщину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности.

— Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?

— А то куда ж? — удивился Белышев.— Как будто ясно сказано...

— Но... но...— командир тщетно искал убегающие от него слова,— но вы понимаете, товарищ Белышев, что это... это невозможно?

— Почему?— тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар.

— Но дело в том... С начала войны расчистка реки в пределах города не производилась,— быстро заговорил командир, обрадованный тем, что уважительная причина

технического порядка, прыгнувшая в мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ.— Совершенно неизвестно, что происходит на дне. Фарватер представляет собой полную загадку. Я несу ответственность за крейсер как боевую единицу флота. Мы только что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище... оборвать винты... Я... я не могу взять на себя такой риск.

Артиллерист злорадно и весело кашлянул. Это было явное поощрение командиру. Но Белышев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он понимал, что командир сделал ловкий ход в политической игре. Это было похоже на любимую игру в домино, когда противник нежданно поставит косточку, к которой у другого игрока нет подходящего очка. Можно, конечно, обозлиться, смешать косточки и прекратить игру, вызвав на подмогу команду, пригрозить. Но хороший игрок так не поступает, а Белышев играл в «козла» отменно.

Он только искоса взглянул на артиллериста, и кашель завяз у того в горле.

Потом, обращаясь к командиру, Белышев произнес, напирая на слова:

— Соображение насчет фарватера считаю правильным.

Офицеры переглянулись: неужели комиссар сдаст?

Но радость оказалась преждевременной. Сделав паузу, Белышев продолжал:

— Крейсером рисковать нельзя, товарищ старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник... Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвехован...

Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан точно. Командир проиграл. Ему некуда было поставить свою косточку. Он безнадежно оставался «козлом». В кают-компании стало невыносимо тихо...

Белышев взял бескозырку и пошел к выходу. На пороге остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил:

— Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу.

— Это что же? Арест? — вскинулся артиллерист.

— Ишь, какой скорый! — засмеялся Белышев.— Зачем? Нужно будет — успеем. Просто дело рискованное.

Могут внезапно обстрелять, а я за вас, как за специалистов, вдвойне отвечаю. До скорого...

Дверь кают-компании захлопнулась за ним. Офицеры молчали. Это молчание нарушил штурман. Он покачал головой и, как бы разговаривая с самим собой, сказал вполголоса:

— А молодцы большевики, хоть и сукины дети!

Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту, обращенному к территории завода, осмотрев лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Белышев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета, сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобурой. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия.

— Готов, Серега? — спросил Белышев, кладя руку на плечо Захарова.

— А раньше? — ответил Захаров любимой прибауткой.

— Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракету в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров.

Они крепко сжали друг другу руки. Много соли было съедено вместе в это горячее время. И вот веселый, лихой парень, товарищ и друг, шел на тяжелое дело за всех, где его могла свалить в ледяную воду белая пуля.

У Белышева защекотало в носу. Он быстро отошел от трапа. Шлюпка отделилась от борта и беззвучно ушла в темноту. Комиссар прошел на полубак. Длинный ствол носовой шестидюймовки, задравшись, смотрел в чернильное небо. Чуть различимые в темноте силуэты орудийного расчета жались друг к другу. Ночь дышала тревогой. Белышев прошел к гюйсштоку. Неразличимая пустыня воды глухо шепталась перед ним. За ней лежал город, чудовищно огромный, плоский, чужой и враждебный. Город лощеных проспектов, дворцов, город гвардейских шинелей с

бобровыми воротниками, город министерских карет и банкирских автомобилей. Город, вход в который был свободен для породистых собак и закрыт для нижних чинов. Белышев чувствовал, как этот город дышит ему в лицо всей своей гнилью и проказой. Этот город нужно было уничтожить, чтобы на месте его создать новый — здоровый, ясный, солнечный, широко открытый ветрам и людям.

Набережные были темны. Фонари не горели. Зыбкие и смутные тени передвигались за гранитными парапетами. Вдалеке, очевидно с петропавловских верков, полосовал иглу бледно-синий меч прожектора. Он то взлетал ввысь, то рушился на воду, и тогда впереди проступали четкие разлеты мостовых арок, и вода стекленела, светясь.

Шаги сзади оторвали Белышева от созерцания. Он оглянулся. Член судового комитета Белоусов торопливо подошел к нему.

— Сейчас захватил в машинном кубрике эсеровского гада Лещенко. Разводил агитацию.

— Где? — спросил Белышев, срываясь.

— Не беспокойся. Забрали и засунули в канатный ящик. Пусть там тросам проповедует.

— Смотрите вовсю. Чтоб не выкинули какой-нибудь пакости,— сурово сказал Белышев.

— Комиссар, шлюпка возвращается,— доложил сигнальщик, острые глаза которого увидели в ночной черноте слабые очертания маленькой скорлупки.

— Ну хорошо... А то уж я боялся за Серегу,— мягко и ласково сказал комиссар и направился к трапу.

Со взятой у Захарова картой промера фарватера, влажной от дождевой воды и речной сырости, Белышев вернулся в кают-компанию. Едва взглянув на офицеров, комиссар понял — за время его отсутствия в кают-компании произошли какие-то события, и офицерское настроение сильно изменилось. Офицеры уже не были похожи на кур, долго мокших под осенним ливнем. Они выпрямились, подтянулись, и в них чувствовалась какая-то решимость. Казалось, они опять стали военными.

Это удивило и встревожило комиссара. Но, не давая понять, что он обеспокоился переменой, Белышев спокойно направился прямо к командиру и положил на стол перед ним карту.

На промокшей бумаге лиловели сложные зигзаги хи-

мического карандаша, которым Захаров прочертил линию благоприятных глубин.

— Вот,— сказал Белышев,— фарватер есть! Не ахти какой приятный, конечно. Можно сказать, не фарватер, а гадючий хвост. Ишь, как крутится. Но, между прочим, по всей провехованной линии имеем от двадцати до двадцати трех футов. Значит, пройти вполне возможно, и еще под килем хватит. В старое время штурмана друг другу полдюйма под килем желали, а у нас просто раздолье. С хорошим рулевым вывернемся. Начинайте съемку.

Командир встал, оперся обеими руками на стол и шумно вздохнул.

— Офицеры имели возможность обсудить положение и уполномочили меня сообщить...

Тут командир захлебнулся словом и замолчал. Белышев с усмешкой смотрел на его пляшущие по скатерти пальцы.

— Ну, что же господа офицеры надумали?

Командир вскинул голову, как будто его ударили кулаком под челюсть. Мгновенно покраснев до шеи и стараясь смело смотреть в глаза Белышеву, он сказал:

— Поскольку мы понимаем, что перевод крейсера к мосту является одним из актов намеченного политическими партиями плана захвата власти, офицеры крейсера, готовые в любое время выполнить свой боевой долг в отношении внешнего врага, считают себя не вправе вмешиваться в политическую борьбу внутри России. Поэтому... вследствие этого мы...— командир начал запинаться,— мы заявляем, что в этой борьбе мы соблюдаем нейтралитет...

— Так... так...— сказал Белышев беззлобно, кивая головой, и командир покраснел еще гуще.

— Мы ни за какую политическую партию... Мы за Россию... Мы против большевиков тоже выступать не будем.

Белышев сделал шаг вперед и положил свою тяжелую ладонь на плечо командира. От неожиданного этого прикосновения лейтенант вздрогнул и молниеносно сел, как будто он был гвоздем и сильный удар молотка смаху вогнал его в кресло. Было ясно, что он испугался.

— Еще бы вы против большевиков выступили! Я так думаю, что у вас и против своей тещи пороху не хватит,— презрительно, но так же беззлобно обронил комиссар и,

помолчав немного, покачал головой:— Эх-ма... а я-то думал, что вы все-таки офицеры. А вы вроде как мелкая салака...

— Ну, ну... комиссар. Просил бы полегче,— ехидно вставил артиллерист.— Посмотрим, какая из тебя осетрина выйдет.

То, что артиллерист не трусил, понравилось комиссару. Озлобления у офицеров явно не было. Была полная и жалкая растерянность, которой сами офицеры стыдились. И то, что артиллерист обратился к комиссару на «ты», тоже было неплохим признаком. Пренебрежительное выканье было бы хуже. Ясно одно: офицеры помогать не станут, но и мешать не рискнут. Белышев усмехнулся артиллеристу:

— Навару с меня в ухе, конечно, поменьше, чем с тебя будет,— кивнул он, тоже обращаясь на «ты» и как бы испытывая этим настроение. Если артиллерист обидится — значит, он, Белышев, ошибся насчет настроения. Но артиллерист не реагировал. Тогда комиссар отошел к дверям, захватив карту.

— Поскольку разговор зашел за нейтралитет, команда не считает нужным применять насилие. Вольному — воля, а вам, господа офицеры, до выяснения обстоятельств придется посидеть под караулом. Прошу прощения... Что же касается корабля, авось сами справимся. Счастливо!..

Была полночь. На баке глухо зарокотал якорный шпиль, и канат правого якоря, заведенного в реку, натягиваясь, вздрагивая, роняя капли, медленно пополз в клюз.

Белышев стоял на мостике. Отсюда лежащий под ногами корабль казался громадным, враждебно настороженным, поджидающим промаха комиссара. Желтый круг от лампочки падал на штурманский столик, на карту промера. Темный профиль Захарова, склонившегося над картой, четко выделялся на бумаге. Карандаш в крепких пальцах Захарова медленно полз по фарватерной линии и, казалось, готов был сломаться.

— Нет! — сказал вдруг комиссар злобно и решительно,— не выйдет эта чертовщина...

— Ты про что? — Захаров оторвался от карты и поглядел на Белышева.

— Пойми ты, чертова голова: если запорем корабль, что тогда делать станешь?

Захаров помолчал.

— А что будешь делать, если не выполним приказ Совета? Одно на одно... Так выходит — риск благородное дело... Да ты не дрефь, Шурка! Рулевых я лучших поставил. Орлы, а не рулевые. А я как-нибудь управлюсь. Насмотрелся за четыре года на дело, невесть какая мудрятина по ровной воде корабль провести.

Белышев выругался. Действительно, другого выхода не было. Если Серега берется — может, и выйдет. Парень он толковый.

Мостик затрепетал под его ногами. Очевидно, в машинном отделении проворачивали машину. Знакомая эта дрожь, оживлявшая крейсер, делавшая его разумным существом, ободрила комиссара. Он подошел к машинному телеграфу, нажал педаль и вынул пробку из переговорной трубы.

— Василий, ты? Здорово... Сейчас тронемся. Слушать команду внимательно!..

Крейсер уже отделился носом от стенки. Вода медленно разворачивала его поперек реки. Пора было давать ход. Белышев перевел ручку машинного телеграфа на «малый вперед». Палуба снова вздрогнула. В это мгновение на мостик выскочил из люка вооруженный винтовкой матрос.

— Товарищ комиссар... Белышев! — закричал он.

— Чего орешь? — недовольно отозвался комиссар. — Тишину соблюдай.

— Товарищ комиссар! Арестованный командир просит немедленно прийти к нему.

— Черта ему, сукиному сыну, надо! — выругался Белышев.— Скажи — некогда мне к нему таскаться. Пусть ждет, пока операция кончится. Раньше надо было думать.

Матрос замялся.

— Как бы чего не вышло, Белышев,— сказал он, потянувшись к уху комиссара.— Вроде, понимаешь, как не в себе командир. Плачет...

— Тьфу, анафема! — сплюнул Белышев.— Волоки его, гада, сюда. Сам понимаешь, не могу уйти с мостика.

Матрос нырнул в люк. Крейсер забирал ход, выходя на середину реки. Кругом была непроглядная тьма. Голос Захарова сказал рулевым:

— Вон Исаакия макушка поблескивает. На нее правь пока... Одерживай!

— Есть одерживать,— в один голос отозвались рулевые.

Минуту спустя на мостике появился командир в сопровождении конвоира. Шинель командира была расстегнута, фуражка висела на затылке. Даже в темноте глаза командира болезненно блестели.

— Я не могу,— заговорил он еще на ходу,— я не могу допустить аварии корабля. Я люблю свой корабль, я... Я помогу вам привести его к мосту, но после этого прошу освободить меня от дальнейшего участия в военных действиях...

Белышев смотрел на искаженное лицо, слабо освещенное отблеском лампочки над штурманским столиком. Он хорошо понимал командира. Он мог бы много сказать ему сейчас. Но разговаривать было некогда. В конце концов и это большая победа. И Белышев просто сказал:

— Ладно... Вступайте!..

Лейтенант шатнулся, всхлипнул, но через секунду выпрямился, и голос его зазвучал командирски уверенно, когда он скомандовал рулевым, наклонившись над картой:

— Лево руля!.. Так держать!..

На середине реки внезапно налетел ветер и хлынул проливной дождь. Все закрылось серой сетью мечущихся нитей. С мостика не стало видно полубака.

Сигнальщики, подняв воротники бушлатов, поминутно протирали глаза. Крейсер, извиваясь по фарватеру, медленно полз вперед. Мост должен был быть совсем близко, но впереди лежала та же непроглядная серая муть. Того и гляди «Аврора» врежется в пролет.

— Мо-ост! — диким голосом рявкнул первый, угадавший в темени смутные очертания быков.

— Тише! — шикнул Белышев.— Весь город всполошишь.

Под рукой командира зазвенел машинный телеграф. Сначала «самый малый», потом «полный назад». Судорога машин потрясла крейсер.

— Отдать якорь!

Тяжелый всплеск донесся спереди. Резко и пронзительно завизжал ринувшийся вниз якорный канат. «Аврора» вздрогнула и остановилась.

Командир отошел от тумбы телеграфа и, закрыв лицо

руками, согнувшись, пошел к трапу. Белышев не останавливал его. Теперь командир был ненужен.

— Прожектор на мост! — приказал комиссар.

Над головой на площадке фор-марса зашипело, зафыркало, замигало синим блеском. Стремительный луч рванулся вперед, прорывая дождевую мглу. Выступили быки и фермы. Слева у берега крайний пролет был пуст.

— Разведен,— злобно вымолвил Белышев, стиснув зубы и сжимая в кармане наган. Он вспомнил фразу из приказа Совета: «восстановить движение всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами». Он шумно вздохнул и посмотрел вниз на поднявшиеся стволы носовых пушек. Они застыли, готовые к бою.

Белышев поднял к глазам тяжелый ночной бинокль. В окулярах мост выступил выпукло и совсем близко. Стоило вытянуть руку, и можно было коснуться мокрого железа перил. За ними жались ослепленные молнией прожектора маленькие фигурки в серых шинелях. Комиссар различал даже желтые вензеля на белых погонах гвардейских училищ.

Он опустил бинокль и снял с распорки мегафон. Приставил его ко рту.

— Господа юнкерье,—рычало из раструба мегафона,— именем Военно-революционного комитета предлагается вам разойтись к чертовой матери, покуда целы. Через пять минут открываю по мосту орудийный огонь.

На мосту мигнул огонек и ударил едва слышный одинокий выстрел. Пряча усмешку, Белышев увидел, как юнкера кучкой бросились к стрелявшему и вырвали у него винтовку. Потом, спеша и спотыкаясь, они гурьбой побежали к левому берегу, к Английской набережной, и их фигуры потонули там, слизанные тьмой. Мост опустел.

— Вот так-то лучше,— засмеялся комиссар, поведя плечами.— Тоже вояки не нашего бога.

Он повернулся к Захарову и властно, как привыкший командовать на этом мостике, приказал:

— Вторую роту наверх с винтовками и гранатами. Катера на воду. Высадить роту и немедленно навести мост.

Запел горн. Засвистали дудки. По трапам загремели ноги. Заскрипели шлюп-балки. Вытянувшись по течению в пронизанном нитями ливня мраке, «Аврора» застыла у моста, неподвижная, черная, угрожающая.

День настал холодный и ветреный. Нева вздувалась. Навстречу тяжелому ходу ее вод курчавились желтые пенистые гребни. Летела срываемая порывами вихря водяная пыль.

Город притих, обезлюдевший, мокрый. На улицах не было обычного движения. С мостика линии Васильевского острова казались опустелыми каменными ущельями.

С левого берега катилась ружейная стрельба, то затихая, то снова разгораясь. Иногда ее прорезывали гулкие удары — рвались ручные гранаты. Однажды звонко и пронзительно забила мелкокалиберная пушка, очевидно с броневика. Но скоро смолкла.

Это было на Морской, где красногвардейские и матросские отряды атаковали здание главного телеграфа и телефонную станцию.

С утра Белышев беспрерывно обходил кубрики и отсеки, разговаривая с командой. Аврорцы рвались на берег. Им хотелось принять непосредственное участие в бою. Стоянка на мосту, посреди реки, раздражала и волновала матросов. Им казалось, что их обошли и забыли, и стоило немало труда доказать рвущимся в бой людям, что крейсер представляет собой ту решающую силу, которую пустят в дело, когда настанет последний час.

Среди дня по Неве мимо «Авроры» прошла вверх на буксире кронштадтского портового катера огромная железная баржа, как арбузами набитая военморами. Команда «Авроры» высыпала на палубу и облепила борты, приветствуя кронштадтцев, земляков и друзей. На носу баржи играла гармошка и шел веселый пляс. Оттуда громадный, как памятник, красивый сероглазый военмор гвардейского экипажа закричал:

— Эй, аврорские! Что лаптем щи хлебаете? Отчаливай на берег с Керенским танцевать.

Баржа прошла под мост с гамом, присвистом, с отчаянной матросской песней и пришвартовалась к спуску Английской набережной. Военморы густо посыпали из нее на берег. Аврорцы с завистью смотрели на разбегающихся по набережной дружков. Но покидать корабль было нельзя, и команда поняла это, поняла свою ответственность за исход боя.

С полудня Белышев неотлучно стоял на мостике. С ним был Захаров и другие члены судового комитета.

Офицеры отлеживались по каютам, и у каждой двери стоял часовой.

В два часа дня запыхавшийся радист, влетевший на мостик, ткнул в руки Белышева бланк принятой радиограммы. Глаза радиста и его щеки пылали. Белышев положил бланк на столик в рубке и нагнулся над ним. Через его плечо смотрели товарищи. Глаза бежали по строчкам, и в груди теплело с каждой прочтенной буквой:

«Всем, всем, всем! Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Белышев выпрямился и снял бескозырку. С обнаженной головой он подошел к обвесу мостика. Под ним на полубаке стояла у орудий не желавшая сменяться прислуга. По бортам лепились группы военморов, оживленно беседующих и вглядывающихся в начинающий покрываться сумерками город.

С точки зрения боевой дисциплины это был непорядок. Боевая тревога была сыграна еще утром, и на палубе не полагалось быть никому, кроме орудийных расчетов и аварийно-пожарных постов. Но Белышев понимал, что сейчас никакими силами не уберешь под стальную корку палуб, в низы, взволнованных, горящих людей, пока они не узнают главного, чего они так долго ждали, ради чего не покидают верков, не замечая времени, забыв о пище.

Он вскочил на край обвеса, держась за сигнальный фал.

— Товарищи!

Головы повернулись к мостику. Узнав комиссара, команда сдвинулась к середине корабля. Задранные головы замерли неподвижно.

— Товарищи,— повторил Белышев, и голос его сорвался на мгновение.— Временное правительство приказало кланяться... Большевики взяли власть! Советы —

хозяева России! Да здравствует Ленин! Да здравствует большевистская партия и наша власть!

Сотней глоток с полубака рванулось «ура», и, как будто в ответ ему, от Сенатской площади часто и трескуче отозвались пулеметы. Было ясно, что там, на берегу, еще дерутся. Белышев сунул бланк радиограммы в карман.

— Расчеты к орудиям! Лишние вниз! Все по местам!

Команда хлынула к люкам. Скатываясь по трапам, авроровцы бросали последние жадные взгляды на город. Полубак опустел. Носовые пушки медленно повернулись в направлении доносящейся стрельбы, качнулись и стали.

Опять наступила чернота октябрьской ветреной ночи. От Дворцового моста доносилась все усиливающаяся перестрелка. Черной и мрачной громадой выступал за двумя мостами Зимний дворец. Только в одном окне его горел тусклый желтый огонь. Дворец императоров казался кораблем, погасившим все огни, кроме кильватерного, и приготовившимся тайком сняться с места и уйти в последнее плаванье.

Судовой комитет оставался на мостике. Офицеры попрежнему сидели под арестом, кроме командира и вахтенного мичмана. Командир, прочтя радиограмму, сказал, что, поскольку правительство пало, он считает возможным приступить к выполнению обязанностей. Мичману просто стало скучно в запертой каюте, и он попросился наверх, к знакомому делу.

Стиснув пальцами ледяной металл стоек, Белышев не отрываясь смотрел в сторону петропавловских верков, откуда должна была взлететь условная ракета. По этой ракете «Авроре» надлежало дать первый холостой залп из носовой шестидюймовки.

Там было темно. Когда от дворца усиливался пулеметный и винтовочный треск, небо над зданиями розовело, помигивая, и силуэты зданий проступали четче. Потом они снова расплывались.

Сзади подошел Захаров.

— Не видно? — спросил он.

— Нет,— ответил Белышев.

— Скорей бы! Канителятся очень.

Белышев ответил не сразу. Он посмотрел в бинокль, опустил его и тихо сказал Захарову:

— Пройди, Серега, к носовому орудию, последи, чтоб на палубе не было ни одного боевого патрона. Потому что приказано, понимаешь, дать холостой, а ни в каком случае не боевой. А я боюсь, что ребята не выдержат и дунут по-настоящему.

Захаров понимающе кивнул и ушел с мостика. Белышев продолжал смотреть.

Вдруг за Дворцовым мостом словно золотая нитка прошила темную высь и лопнула ярким, бело-зеленым сполохом.

Белышев отступил на шаг от обвеса и взглянул на командира. Глаза лейтенанта были пустыми и одичалыми, и Белышев понял, что командир сейчас не способен ни отдать приказания, ни исполнить его. Мгновенная досада и злость вспыхнули в нем, но он сдержался. В конце концов что требовать от офицера? Хорошо и то, что не сбежал, не предал и стоит вот тут, рядом.

И, ощутив в себе какое-то новое, не изведанное доселе сознание власти и ответственности, Белышев спокойно отстранил поникшую фигуру лейтенанта и, перегнувшись, крикнул на бак властно и громко:

— Носовое... Залп!

Соломенно-желтый блеск залил полубак, черные силуэты расчета, отпрянувшее в отдаче тело орудия. От гулкого удара качнулась палуба под ногами. Грохот выстрела покрыл все звуки боя своей огромной мощью.

Прислуга торопливо заряжала орудие, и Белышев приготовился вторично подать команду, когда его схватил за рукав Захаров.

— Отставить!

— Что? Почему? — спросил комиссар, не понимая, почему такая невиданная улыбка цветет на лице друга.

— Отставить! Зимний взят! Но наш выстрел не пропадет. Его никогда не забудут...

И Захаров крепко стиснул комиссара горячим братским объятием.

Внизу по палубе гремели шаги. Команда вылетала из всех люков, и неистовое «ура» катилось над Невой, над внезапно стихшим, понявшим свое поражение старым Петроградом.

1938

НИКОЛАЙ НИКИТИН

ОКТЯБРЬСКАЯ НОЧЬ

Искры паровоза жгли нас. Днем припекало солнце. Нас мочил дождь и сушил ветер. Мы ехали на крыше вагона. На пути от Мценска до Москвы двух человек сбило мостами. Но мы все-таки ехали. Это было в октябре 1917 года. Добравшись до Москвы, мы кое-как устроились в вагон, впихнулись. Ведь мы были не очень разборчивы, я и мой спутник Егор Петров. Мы были рядовыми Ольвиопольского полка. Наш полк был расформирован. Мы стремились в Петроград, о котором говорил весь мир. Я ехал домой, я в Петрограде родился. А у Егора были совсем иные причины для этой поездки. Да, когда я сейчас вспоминаю об Егоре, мне кажется, что я вспоминаю какую-то сказку. Егор говорил мне, что все солдаты должны ехать в Петроград, чтобы освободить Ленина из плена, что Ленин взят в плен капиталистами. Я с газетами в руках доказывал ему, что это его фантазия, что Ленин избегнул ареста, что по решению партии большевиков он где-то скрывается. Но все мои доводы были бессильны. Егор даже не спорил со мной. Он хмурил брови и, сделав хитрые глаза, шептал мне, что все это брехня, что газеты нарочно замазывают это дело... Каюсь, впоследствии я понял Егора, но в ту минуту он казался мне даже не совсем нормальным человеком. Он почти не ел, не пил в течение последних четырех суток, так он рвался в Петроград.

Мы приехали вечером.

Мы вышли с Николаевского вокзала на Знаменскую площадь. Высоко в небе метался зайчик прожектора. Этот таинственный огонек над необъятным, пустынным городом еще больше усиливал беспокойство. Гулкие и тревожные шаги Егора нарушали повсеместную тишину. Когда мы

очутились у наших ворот, сердце мое сжалось от боли. Мы напрасно стучали. Три года жил я этой минутой возвращения, но всегда она представлялась мне совсем иной, чем сейчас. Я думал, что мы пройдем мимо нашего дома под музыку, и соседи, завидев меня, побегут к матери, она бросится вниз по лестнице навстречу мне... Эти мечты, заимствованные из картин, из книг, требовали улыбок, восклицаний, объятий. Мы же, как воры, не могли попасть в глухо запертый, невзрачный дом на Полтавской улице, неподалеку от вокзала. Егор рассердился и саданул прикладом в калитку. Тогда из-за ворот мы услыхали испуганный голос:

— Кто там?

— Свои... Солдаты! — басом ответил Петров.— Или ты откроешь, или мы тебе высадим ворота!

— А почему свои? — сказал уже другой голос, более молодой и нахальный.

— С третьего номера...— заторопился я, проговаривая все сразу.— Вернулся с фронта...

За воротами люди советовались. Наконец мы услыхали скрип замка. Я вспомнил этот звук. Калитка открылась не совсем... Она была на цепи... Я увидел нашего домовладельца. Он старался рассмотреть незнакомого солдата.

— Здравствуйте, Семен Семенович...— сказал я.

Я назвал себя, старик ахнул и снял цепочку. Мы очутились в подворотне. Рядом со стариком стоял мальчишка в драповом пальто и в студенческой фуражке. За плечом у него болталось двуствольное ружье.

— Вы, что же, на уток собрались или на зайцев? — насмешливо спросил Егор.

Студентик сообщил, что они здесь караулят по приказу комитета спасения родины и революции.

— Да разве революцию спасают под воротами? Что это за комитет?

— В городской думе,— ответил студентик.

— Ах, вот почему весь город на запоре... Нашлись спасители! Народ обманывают...— пренебрежительно оборвал его Егор.— Эх ты... головка ловка! На головке просвещение, а в головке тьма.

И Егор так выругался, что студентик прислонился к стенке.

Мать согрела нам чаю, подала еды. Егор чувствовал себя прекрасно. Похоже было, что он давно дожидался этого приезда в Петроград. С азартом и увлечением он рассказывал старухе о наших фронтовых делах.

— Наступили торжественные времена, мамаша,— говорил он.— Ленин — народный человек, корень наш... И произрастет дерево, и зацвести должно... Вот ты жалуешься, мамаша, на разруху, а мы, солдаты Румынского фронта, рады тому...

Он не успел кончить фразы, как вздрогнуло и даже заныло оконное стекло.

— Восьмидюймовая...— прислушавшись, пробормотал Егор.

Моя мать перекрестилась.

— Большевики... Восстание у них сегодня.

— Сегодня? То-то я думаю... Помнишь, комиссар какой-то на вокзале собирал солдат... Я сразу почувствовал, будто что-то началось. Да ты меня заторопил: «Домой, домой!» Вот тебе и домой... А там уж начали! Конечно, с вокзалов начали. А мы домой... Вот дела! Эх, парень, сбил ты меня... Значит, Ленин здесь! А ты говоришь — скрылся.

Егор побледнел и с укоризной посмотрел на меня. Потом, сомкнув брови, он встал и резко отпихнул от себя табуретку.

— Довольно возились тут с чаями... Пойдем! — приказал он мне.

Мать испугалась.

— Куда же вы, Егор Петрович?

— На улицу! За тем ехали!

Мне не очень хотелось оставлять тепло, свет... Оторванный от всего этого, я по-иному жил на фронте. Там нечего было жалеть. Жизнь была там грубей гвоздя.

— Город покажешь,— глухо проворчал Егор.

Очевидно, он понял, о чем я думал...

Я выбежал из комнаты, мать кинулась за мной. Егор неодобрительно посмотрел на нас обоих. Потом, войдя вслед за нами в кухню, он дотронулся до моего плеча и подтолкнул меня к старухе.

— Все-таки одна ведь на всю жизнь... Простись...

Я чмокнул мать. Он же по-настоящему обнял ее. Она заплакала. Мне сделалось стыдно, я поскорее взял винтовку, и мы ушли.

В темноте на Старом Невском мимо нас шмыгнул какой-то солдат. Егор ловко схватил его за плечо.

— Постой, товарищ... Какого гарнизона?

— Петроградского... Из третьего Финляндского полка.

Парень поправил папаху.

— Ты знаешь... где сейчас Ленин?..— неожиданно спросил Егор, не выпуская парня из рук.

— Не... не знаю.

— Что это такое? Петроградский гарнизон и ничего не знает.

— Я молодой еще...— оправдывался парень; он глядел на Егора изумленными глазами.— В Смольный, поди... Делегаты все наши в Смольном всю ночь будут. Там все известно...

Парень принялся объяснять, но Егору уже неинтересно было слушать... Он потянул меня, и мы зашагали дальше, оставив на перекрестке удивленного солдата. Егор часто снимал фуражку, вытирал пот, какие-то мысли томили его. Он требовал, чтобы я вел его самым кратчайшим путем.

Я не узнал Смольной площади. Она превратилась в вооруженный лагерь. Грузовики привозили ящики с наганами. Прямо с грузовиков раздавались патроны и оружие красногвардейским отрядам. Баррикады из дров были сложены около Смольного. В саду собирались люди. Некоторые тут же учились револьверной стрельбе. У главного входа стояли орудия. Кто-то тащил в коридор пулеметы. Броневики тарахтели под деревьями, наполняя воздух отработанным, удушливым газом. Длинный Смольный в сизом холодном тумане своими ярко горящими окнами напоминал огромный корабль. Красногвардейцы сказали нам, что в Большом колонном зале идет Второй съезд Советов.

— И Ленин там? — тихо, даже заикнувшись от волнения, спросил Егор.

— Конечно,— коротко ответил рабочий в меховой шапке.

Грудь у него была опоясана пулеметной лентой крестнакрест. Нервные, быстрые глаза внимательно скользили по Егору, но, успокоившись, он усмехнулся и сказал с какой-то особенной теплотой:

— Там батька... Работает... Но только здесь стоять нельзя, проходите, товарищи.

— Я пойду туда,— шепнул мне Егор.

Я попытался его отговорить:

— Тебя же не пустят!.. Видишь, караул у всех спрашивает пропуск.

— Нет, я пойду... Меня пропустят.

Кто бы мог удержать Егора?.. Какая сила? Он исчез, попросив меня ждать его полчаса...

— Стой там! — сказал он мне.

Я стоял больше часу у деревянного трактира «Хижина дяди Тома», на противоположной стороне огромной Смольнинской площади. Сюда красногвардейцы и солдаты забегали согреться стаканом жидкого чая. Площадь была черна от людей и машин.

Петроград слушал отдаленные раскаты выстрелов. Я думал, что мне уже не встретить Егора. Но он, как всегда, появился внезапно. Расхлябанная машина вдруг заскрежетала, остановилась, обдав меня клубами черного, густого дыма. Сверху, точно с темного неба, я услыхал веселый голос Егора:

— Едем... Садись.

Чьи-то руки помогли мне взобраться. Грузовик дернулся. Я упал на кого-то... Ныряя и качаясь, мы бешено неслись по улицам.

Егор крепко стиснул меня и, торжествуя, прокричал в ухо:

— Видел... Ленина видел!

Наш отряд был отправлен к Летнему саду. Здесь грузовик нас сбросил и опять умчался в темноту.

На берегу Лебяжьей канавки горели костры. Молчаливые полуобнаженные деревья еще более подчеркивали необычайность этой звездной и почти безветренной ночи. Редкие тучи приклеились к небу. Люди говорили шепотом и грели над огнем руки. Разговоры были самые простые.

— У нас сегодня стирка...— задумчиво сказал один из красногвардейцев, молодой парень в новой кожаной тужурке. Когда он двигался, она хрустела и сладко пахла, точно яблоко.

— Мыло-то достали? — поинтересовался Егор.

— Мыло есть... Все из дому ушли. Папаша мой с Путиловца, брат двоюродный да я... Ну, матери одной скучно.

— Понятно...

Егор вздохнул и голой рукой, не боясь огня, вытащил из костра уголек.

— Никого я так не жалею, как женщин,— точно са-

мому себе сказал Егор, закуривая.— Вот мы приставили их к корыту, царствуй у корыта. Вот твое счастье...

— Погоди, скоро забунтует баба,— с тяжелой и льстивой ноткой в голосе произнес пожилой рыжий ратник. Выгоревшая фуражка сохраняла еще след от ополченского креста. Он сидел на корточках, впившись взглядом в горящие головни, будто потеряв что-то в костре.

Егор спросил его:

— Какой губернии?

— Вологодские.

— Бабу-то небось согнул в бараний рог?

— Мы воевали...— уклончиво отозвался ополченец.

— Воевали! — заспорил Егор.— А баба твоя не воевала? Сколько у тебя ребят?

— Пяток набрался.

— Видишь... пять ртов! Пять душ! Надо было отвоевать их, пока ты на службе.

— Верно сказано...— горячо поддержали остальные.— Бабам в наши времена не легко пришлось.

Но ополченец не сдавался.

— Баловства тоже много пошло, избаловалась баба.

Егор покраснел и цыкнул на него:

— А ты не баловал? В Галиции по сеновалам не валялся?

Все захохотали. Захохотал и сам ополченец, засунув руку под фуражку.

— Мне что... Я — как ветерок.

— Вот и видно, что все мы ветерки. Покрутил и улетел... А кто виноват? Баба же...

— Верно...— опять поддержали Егора.— Скоро и баба свое спросит.

Один только ополченец еще пытался сопротивляться.

— Погоди, дело не в этом,— говорил он.— На германский фронт меня погнали, я шел! А сюда я пришел добровольно. И ты, и он, и все мы пришли добровольно. Здесь наша воля. За Советскую власть идем. За мир и пострадать можно... А где баба? Почему ее здесь нет?

Егор разозлился.

— Да ведь ты же оставил ее у корыта... Погоди да погоди... Я погожу, и ты погодишь... А время не погодит. Придет время, когда наша баба станет уже не тем, чем была. Будет она вольная. И вот такие, как ты, сознательные на четверку табаку, поклонятся ей в ножки... Вот ка-

кая баба вырастет! Вот и за это, помимо всего прочего, мы сейчас идем... идем по чувству, чтобы всю жизнь перевернуть... Понимаешь!

Люди взглянули на Егора. Догорели костры. Стихла беседа.

Мы посматривали вдаль, ожидая ординарца. Наш командир, опустив голову, спокойно похаживал в стороне от нас. Это не понравилось Егору. Он подозрительно следил за ним. Наконец, не вытерпев, задал ему какой-то вопрос. Тот ответил неохотно, односложно. Егор чиркнул спичкой.

— Ребята...— крикнул он, осмотрев командира.— Это бывший человек!

Народ обступил их. Офицер испугался. Хриплым голосом он очень длинно и путано пытался объяснить, что в эту ночь ему хотелось своей кровью искупить все грехи перед народом.

— Какие грехи? — Егор неодобрительно крякнул.— О каких грехах мы будем говорить? Расквакался, что старая баба. Ты лучше объясни, почему мы здесь сидим и ждем у моря погоды... Что мы пришли, площадь сторожить?

Красногвардейцы зашумели и увели офицера к Фонтанке. Мы двинулись к пыльному, голому Марсовому полю. Маленький бронзовый Суворов глядел на север. Мимо нас, пересекая огромнейшую площадь, проскакали галопом две батареи.

— Константиновское училище отступает...— сказал кто-то.

Мы увидели только спины ездовых-юнкеров.

Егор находился в голове отряда. Мы поравнялись с длинным строгим зданием Павловских казарм. Лепные орлы, раскинув крылья, приготовились упасть с фронтона. По пустым и черным окнам видно было, что в казармах не осталось ни души. Стрельба у Зимнего дворца усиливалась. На углу мерз часовой Павловского полка, кутаясь в короткую пехотную шинель. Мы прошли мимо него, невольно прибавив шагу. Штабной пикет направил нас в сторону Мойки. Везде густой цепью держались вооруженные рабочие и воинские батальоны. Было тесно. Несмотря на это, отряды в торжественном порядке ждали своего часа. Лица, настроение, камни, здания, вся эта ночь, нависшая над столицей, говорили об одном, чтобы нас ско-

рее послали на штурм дворца. Перестрелка внезапно стихла. Мы ждали криков наступающего отряда. Их не было. Где-то рядом, почти за нашей спиной, захлопал пулемет. Тревога оказалась ложной. Это автомобиль перекатился через горбатый мост канала, стреляя мотором. Медленно пробравшись сквозь наши ряды, он задел нас лучом своей единственной фары.

Три человека прошли вдоль чугунных перил Мойки. Разглядывая нас, они подошли к автомобилю. Затем один из них, коренастый, в шинели и с трубкой в зубах, отделился от своих и пригласил к себе командиров всех отрядов. Я не слыхал, что он сказал Егору, но вслед за этим Егор велел нам построиться. У Певческого моста он разделил нас на три цепи. Я остался в первой, стараясь не терять Егора из виду.

Александровская колонна подымалась в небо, как черная свеча. В Зимнем, скрывавшем старое правительство, то загорались, то тухли огромные окна, как будто люди, спрятавшиеся за ними, увлеклись какой-то странной и непонятной игрой.

К правому и левому флангу Дворцовой площади, одной из лучших в мире площадей, часто подъезжали автомобили революционного штаба. Выли сирены броневиков. Люди набрасывались на каждую машину, желая первыми узнать все новости из Смольного. Под высокой красной аркой Росси, за поворотом, на Морской пылали яркие костры, освещая мраморный фасад какого-то банка. Солдаты сидели около костров, сжавшись в кучу.

Из-за дворцовых баррикад, делая короткие передышки на перемену ленты, взвизгивали пулеметы. Цепь представлялась нам близкой. Каждый из нас надеялся живьем взять Керенского... Отовсюду доносились голоса наших отрядов. Они стягивались кольцом вокруг Зимнего. Площадь шумела, точно море. В Александровском саду кто-то зажег факел, озарив кружевные сучья лип. Может быть, это было сигналом, так как сейчас же ответила наша артиллерия с Петропавловской крепости. Егор приподнялся. Тень его под голубым прожектором на мгновение пересекла стену гвардейского штаба.

— С именем Ленина вперед! — крикнул он.

Я не помню, как это было сказано... Но даже теперь

мне вспоминается негромкий голос Егора, который я услыхал среди тысячи людей, гудевших около нас, точно огромный улей.

Мы выскочили из-под арки.

Открылись ворота дворца. Юнкера выкатили два орудия. Егор отправил свои цепи навстречу им. Работая винтовкой, мы прорвались к воротам и, опрокинув противника, кинулись в подвал, на лестницу, думая оттуда проникнуть дальше, внутрь дворца, и тут наткнулись на огонь засады.

В подвальной тьме мы еле-еле различали друг друга. Часть бойцов осталась в подвале, часть последовала за Егором в коридор первого этажа, тускло освещенный электричеством. Там на полу вдоль окон на грязных матрацах лежали юнкерские роты. Пахло нечистотами и потом. Всюду валялись объедки, мусор, окурки, пустые бутылки из-под старого французского вина. Юнкера пограбили дворцовый погреб.

Среди юнкеров стоял дворцовый слуга, низенький, седой швейцар в длинной темно-синей ливрее, обшитой золотым галуном. На золоте воротника были вытканы черные императорские орлы. Бритые, впавшие, почти черные от ужаса губы бормотали что-то по привычке, по инерции:

— Господа юнкера, так же нельзя... Это воспрещено, господа...

Старик закрыл глаза, как будто душа его не могла вынести всего этого развала. Молодые люди, полусолдаты, полуофицеры, с блестящими шевронами на погонах, именно те, кого он привык считать защитниками порядка, превратили дворец в помойку и толпились здесь, точно свиньи.

Юнкера, перепугавшись красногвардейцев и солдат, бросили оружие. Другие решили удрать. Егор не преследовал их. Он ждал, когда к этому месту подтянется весь его отряд... Из группы юнкеров вышел молодой изящный прапорщик. Угадав в Егоре командира, он отдал ему честь.

— Сопротивление бессмысленно,— сказал он и предложил Егору проследовать вместе с ним в штаб Зимнего дворца.

— Зачем? — спросил Егор.

— В качестве парламентера,— ответил прапорщик.—

Мы сдадимся... Насколько мне известно, вы же не хотите зря лить человеческую кровь... Мы — тоже!

Прапорщик покраснел. Егор поверил этой детской коже и голубым глазам, в которых можно было прочитать страх и надежду. Егор задумался только на минуту, внезапно его окружили юнкера и так же внезапно ими была открыта стрельба из-за угла вдоль коридора. Мы кинулись к лестнице, отстреливаясь на ходу.

К утру бой стих. Советская власть победила. На площади среди булыжника валялись расстрелянные патронные гильзы и разорванная пополам буханка хлеба. Арестованных министров повели по набережной в Петропавловскую крепость. Мы хотели тут же рассчитаться с ними, но моряки нам не позволили. Часовые уже несли караул около дворца. В садике, за оградой с царскими вензелями, лежали убитые в эту ночь матросы, солдаты и красногвардейцы. Их было немного. Здесь я нашел Егора. Глаза широко раскрыты, брови высоко подняты. Я увидел взгляд — чистый и спокойный.

Несколько лет назад совершенно случайно мне довелось встретить человека, видевшего смерть Егора. Он сообщил мне все подробности этого предательского убийства.

Обезоруженного, избитого Егора поставили к длинному столу, покрытому тонким красным сукном. Маленький бронзовый шандал с двумя зелеными шелковыми колпачками выхватывал из тьмы незначительный кусок почти пустого кабинета.

Инженер Пальчинский, облеченный особыми полномочиями Временного правительства, чувствовал себя диктатором Петрограда. Он сидел за столом, поминутно оглядываясь на окружавших его царских офицеров и генералов. Полувоенная форма нравилась ему. Он наслаждался ею. От измятого дорогого френча пахло шипром. Пальчинский нехотя задержал на Егоре свой рыхлый, рассыпающийся взгляд.

— Ну-с... Что скажете?

Егор молчал.

Брезгливо постучав ладонью по столу, Пальчинский обратился к маленькому, вертлявому толстяку в генеральских погонах.

— Меня забавляет одно, ваше превосходительство...

На что надеется эта кучка? Ведь через несколько дней все равно мы задавим их.

Егор посмотрел на Пальчинского, как на сумасшедшего. Багратуни, ничего не ответив, безразлично выпятил губы. Он стоял у окна, выходившего на площадь. Там вспыхивали выстрелы.

— Россия с нами,— как будто для себя, твердо и тихо сказал Егор.

Тогда оба они, и Багратуни и Пальчинский, обернулись к Егору.

— Разве вся Россия — солдаты? — спросил Пальчинский, и его губы изобразили что-то вроде ядовитой улыбки. Вопросы служили Пальчинскому только предлогом. Очевидно, командир восставших отрядов вызывал в Пальчинском просто экзотическое любопытство и ненависть.

— Россия с нами...— повторил Егор.

— Вы знаете, что вам грозит?

— Что? — Егор усмехнулся.

— Вы ведь офицер?

— Нет.

— Нет? Обыкновенный солдат?

В голосе у Пальчинского прозвенела удивленная нотка, и он даже помог себе жестом.

— Рядовой Егор Петров... Так именует устав! — усмехнулся снова Егор.— Вот что, ваше благородие... Или по-благородному кончайте лавочку, тогда действительно пошлите меня парламентером, или...

Тут он широко и гордо взмахнул рукой.

— А между прочим, что бы со мной ни случилось, вам-то определенно могила! Теперь мы говорим всему миру.

Пальчинский дернул губой, вскочил.

Адъютанты Багратуни вытолкнули Егора. Они кончили его двумя выстрелами, здесь же, возле высокой белой колонны.

1937—1944

АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ

КАТЕРИНА

ДОЛГО ехала Катерина Вишнякова в Питер, к мужу.

Поезд, как казалось Катерине, днем шел осторожно, с опаской, ночью же мчался во весь опор, оглашая топкие поля угрожающим криком, потом резко и неожиданно затормозив, подолгу стоял на каком-нибудь полустанке.

Пассажиры почти не спали.

На остановках они выбегали из вагонов, потом возвращались с серыми газетными листами и, стоя в тамбуре у окон, взволнованно и бурно спорили.

Катерина с детства побаивалась железной дороги, и сейчас возбужденное поведение пассажиров остро тревожило ее, заставляло думать о крушениях, несчастьях, изувеченных людях.

На соседней с Катериной полке ехал светлоглазый старичок, очень подвижный и суетливый. На каждой остановке он выбегал из вагона и, возвратившись, почему-то заговорщически подмигивал Катерине.

— Ну, мать, радуйся...

Катерина сокрушенно вздыхала, но светлоглазый старичок ей чем-то нравился.

«Хорошая душа, простая»,— думала она, а потом, достав из узелка хлеб и жареную рыбу, угостила старичка.

Тот сказал: «Спасибочко, сыт»,— но все же подсел ближе и взял кусочек рыбы.

— А рыбка, хороша... царская...— похвалил старичок, выбирая косточки.

— Архирейская,— поправила Катерина и, заметив удивление старичка, пояснила:

— Озеро мы забрали у архирея. Было у нас такое — в нем даже купаться не дозволялось без аренды. Дело-то, правда, не с озера началось, с землицы... Ждали мы, ждали, какое же распоряжение насчет земли выйдет, да и поделили помещикову землю... Вы кушайте рыбку-то, кушайте...

Катерина оглянулась, понизила голос:

— А теперь и опасаемся — по округе-то каратели ходят, как в пятом годе... Меня братья потому и в Питер послали, к мужу за советом,— муж-то у меня кузнецом на Путиловском. И что теперь мужику с землей делать?..

Поезд, резко затормозив, вновь остановился. Старичок поспешил к выходу. Вернулся он минут через двадцать.

— Опять в поле стоим... Крушение, что ли, где? — встревоженно спросила Катерина.

— Крушение... Всему, мать, российскому гнету крушение...— Старичок сделал выразительный жест рукой и опять почему-то восторженно подмигнул Катерине.

Наконец к полудню поезд пришел в Петроград.

Катерина, крепко сжимая в руке фанерный чемодан с гостинцами мужу, вышла на площадь.

Моросило. Дул резкий, пронзительный ветер. По улицам шли отряды вооруженных людей. Обдавая прохожих грязью, мчались грузовики, наполненные людьми, в кожанках, пиджаках, шинелях.

«И солдат с ружьем и не солдат с ружьем. И что война с народом делает!» — подумала Катерина. Она осторожно пересекла улицу и стала поджидать трамвая.

Катерина дважды была в Питере и знала, как доехать до квартиры мужа. Вот сейчас подойдет трамвай № 4, она сядет поближе к кондуктору, подаст ему бумажку с адресом, и кондуктор укажет, где ей сойти. А там уж совсем недалеко и квартира мужа.

— То-то Василий обрадуется. Только бы застать его дома, не ушел бы он в ночную смену.

...Кондуктор мельком поглядел на бумажку и вернул ее Катерине.

— До заставы не едем.

— Да нет, адресок верный,— не поняла Катерина.

— Говорю, до заставы не едем. Юнкера через мост не пускают.

Катерина растерянно замигала глазами, зачем-то крепче сжала чемодан коленями.

Какая-то женщина посоветовала Катерине пойти пешком.

— Пеших через мост, кажется, еще пропускают.

В переулке стоял извозчик. Лошаденка уныло опустила голову, извозчик схоронился от измороси под поднятым верхом пролетки.

Катерина, вывернув карман юбки, сосчитала оставшиеся у нее деньги и просительно заглянула в пролетку.

— Почтенный, подвезли бы малость...— Она протянула бумажку с адресом.

Извозчик назвал цену.

Катерина укоризненно покачала головой.

— Бога побойтесь... Далеко ли тут ехать.

— Теперь, мать, не с версты берем... Смотри, на улицах завируха какая.

Катерина медленно побрела к мосту.

С звонким цоканьем промчался конный отряд вооруженных и хорошо одетых людей.

Начищенные до лоска сильные ноги коней обдали пешеходов грязью.

Пешеходы отпрянули к тротуару, притиснули Катерину к стене.

Пожилой, рабочего вида человек, в тощей засаленной кепке стер со щеки ошметок грязи и зло отплюнулся.

— Катаются...— кивнул он Катерине на конников.— Пусть их напоследочках...

В ту же минуту со стороны моста раздались одиночные выстрелы. Пешеходы повернули от моста назад. Побежали, тесня и толкая друг друга.

Катерина, схватив чемодан, побежала вместе со всеми. Сосед в кепке ухватил ее за рукав.

— Сомнут же, мамаша... Давай-ка сюда.— Он почти силой втащил ее в открытые ворота какого-то дома.

— Похоже, матросы юнкеров с моста выбивают. Понятное дело... Я ж говорю, покатались и хватит...

Ветер сипло выл под аркой дома.

Катерина зябко куталась в отсыревшую одежонку.

— На фронте война, в деревне у нас драка, и у вас в Питере из ружей палят — и когда конец этому будет?

Человек в кепке не слушал. Поднявшись на носках, он напряженно смотрел в сторону моста, ждал исхода перестрелки. Выстрелы у моста участились.

— Да... Крепко схватились... Пойдем, мамаша... Тебе куда? За мост?

— Туда... к мужу приехала. Муж у меня на Путиловском... кузнец...

— Ну, так ищи по новому адресу. Сегодня у всех новая профессия — Зимний гвоздить будем.

Человек в кепке провел Катерину проходным двором и посоветовал пробраться к квартире мужа через другой мост, который еще с вечера заняли красногвардейцы.

Катерина шла и шла. Часто встречались патрули, заставляли возвращаться обратно, колесить по переулкам. Катерина устала, продрогла, чемодан казался непомерно тяжелым.

Переулок вывел Катерину на какую-то широкую улицу. На торцовой мостовой толпилось много матросов, солдат, рабочих с ружьями и без ружей. Вдруг Катерина услыхала песню.

Посредине улицы шел отряд Красной гвардии. Молодые рабочие обмотались крест-накрест пулеметными лентами, за поясом торчали наганы, пожилые легко несли за плечами винтовки; карманы были туго набиты патронами.

Песню вели сосредоточенно, негромко, но сильно, и боевые памятные слова ее звучали в эту минуту особенно проникновенно.

Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда
И водрузим над землею
Красное знамя труда!

Катерина выпустила из рук чемодан, забыла про холод, про моросящую водяную пыль и слушала, слушала. Ведь эту же песню мужики пели в деревне, после того как разделили землю помещика Репинского.

В толпе стало тихо.

— Хорошо путиловцы поют... С верой...— сказал кто-то рядом с Катериной.

Катерина вздрогнула, и вдруг ей показалось, что в середине отряда шагает муж.

Она кинулась вслед за отрядом. Ну да... это он, Василий. Широкие плечи, примятый порыжевший картуз, пушистые усы...

— Вася! Василь Митрич...— крикнула Катерина. Она бежала вдоль тротуара, толкала людей чемоданом, пока не прорвалась через толпу к отряду. Но муж был уже далеко.

Неожиданно кто-то ухватил ее за руку.

— Тетя Катя...— Это был подручный Василия по работе, живший с ним в одной комнате.— Что такое?.. Откуда?

— Миша... господи, что вы тут с Василием делаете?

— Гм... Зимний идем брать... революцию делаем...

— Ружья, ружья-то зачем?

— Говорю ж, Керенского вышибать будем... А вот ты зачем здесь?

— К Василию приехала... Дело есть... Миша, да какие же вы солдаты с Василием?..

— Теперь все солдаты...

— Мишенька... Убьют же вас...— Катерина цепко ухватила Мишу за рукав.

Тот, заметив недоуменные взгляды соседей, разжал вцепившиеся руки Катерины и легонько оттолкнул ее.

— Тетенька... идите домой... я ж через вас с ноги сбился... идите!

Сквозь слезы Катерина видела, как Миша, обернувшись, кивнул ей головой, потом поправил пулеметные ленты на груди и выравнял шаг.

— Тоже за Зимний, мамаша? — засмеялся какой-то матрос, ударившись коленкой о Катеринин чемодан.

— Она в распоряжение Смольного...— подхватил шутку другой матрос.

— Вы это оставьте... веселые,— подошел к матросам рослый бородатый солдат.— Видите, баба с колеи сбилась. Слушай, мать, куда тебе к дому-то?

— За мост надо... К мужу из деревни приехала, а он...

— Как там у вас? — Солдат придвинулся ближе.— Сиротно?

— Муторно. Правды нет, хлеба нет...

— А земля, земля у кого?

— У кого земля? — вытерла Катерина слезы.— У кого была, у того и осталась — у помещика Репинского. И он, этот помещик Репинский, над нами же издевку устраивает: луга не косит, коров удойных на мясо бьет, рожь скотом травит: «Мое добро... я ему бог, я ему царь...» А у мужика, сами знаете, сердце какое...

— Ну...— торопил солдат.

— Именье и подпалили... рожь по едокам роздали... Землицу тоже по едокам.

Солдат повеселел лицом, поправил шапку, победно посмотрел на подошедших товарищей.

— Гоже... толково поступили, толково... Да вам же теперь жить не тужить...

— Жить бы можно,— вздохнула Катерина,— да вот бумагу из волости прислали — вернуть все добро помещику...

— Обратно? — поразился солдат.

— А не вернешь, карателей пришлют. В Родниках, говорят, мужикам за самоуправство каратели такое прописали... чище пятого года.

— Родники... это какого будет уезда? — быстро и глухо спросил солдат.

Катерина назвала уезд.

— Тверской губернии?

— Тверской.

Солдат вдруг торопливо начал свертывать папироску — бумажка на закурку оторвалась неровным клином. Солдаты кругом переглянулись.

— Вот тебе и весточка с родины,— тихо сказал белобрысый солдат.

Зазвучали отдаленные выстрелы. Начало смеркаться. Передали команду строиться. Бородатый солдат взял Катерину за плечи.

— Мамаша, на мост вот этим переулочком выбирайся. А у нас тут последний разговор будет с временными... Про все разговор... и о земле, между прочим.— И солдат, зло вскинув на плечо винтовку, встал в строй.

Катерина долго провожала глазами уходящие к Зимнему отряды красногвардейцев и солдат, вытирала слезившиеся от холода глаза и шептала:

— Поговорите там, ребята, сурьезно поговорите.

Перестрелка вдали стала чаще, злее.

Катерина не помнила, сколько времени проблуждала она по переулкам, а к мосту так и не могла пробраться.

Усталая, она присела у подъезда высокого, из серого камня дома.

Вдоль панели молодой паренек вел под руку пожилого человека и уговаривал его.

— Пусти винтовку-то, Трофимыч...

— Обидно-то как, парень...— жаловался Трофимыч.— Два раза всего и пальнул по юнкерам, и подбили меня, свинячьи дети...

Трофимыч вдруг покачнулся и всем телом навалился на паренька. Тот оглянулся по сторонам, заметил прикорнувшую у подъезда женщину и позвал:

— Тетка, помогай...

Катерина подошла.

— Миша, опять ты,— перепугалась она, узнав в пареньке подручного своего мужа.— Кого это постреляли? Васю?..

— Жив Вася... Трофимыча юнкера подбили.

Вдвоем они донесли раненого до подъезда, положили на ступеньки. Катерина наклонилась.

Трофимыч глухо мычал от боли.

— В дом бы внести...— вслух подумала Катерина.

— Далеко дом, верст пять... кровью изойдет...

— Да вот дверь... стучи...

Миша смущенно оглядел высокий подъезд, тяжелую резную дверь, массивную литую ручку.

— Стучи, стучи... худо ж человеку,— Катерина заметила нерешительность Миши и осердилась: — Тоже: «революцию делаю»... И зачем тебе ружье дали? — Она поднялась и постучала в дверь кулаком.

Долго не открывали.

Тогда, осмелев, Миша грохнул в дверь подбитым подковками каблуком.

Дверь наконец приоткрыл дряхлый седой швейцар и заявил, что пускать никого не велено.

— Именем революции...— высоким срывающимся голосом крикнул Миша и потянул дверь к себе.— Открывай, открывай!

Вдвоем с Катериной они внесли Трофимыча в переднюю, положили на диван.

Катерина раздобыла воды, достала из чемодана холщовое полотенце, что везла Василию, скоро и ладно сделала перевязку.

Трофимыч слабым голосом бормотал:

— Вот жалость какая... подбили...— Потом забылся.

— А ты нишкни... всех не побьют... там еще Василий мой...— утешала Катерина и, заметив с беспокойством заглядывающего в окно Мишу, кивнула ему:

— А ты ступай... доделывай дело-то... Я покараулю тут.

— И то, тетя Катя,— обрадовался Миша, взял Трофимычеву винтовку и шагнул к выходу. От двери строго погрозил стоящему в углу швейцару.

— Ты наших тут не обижай... Я еще вернусь.

Катерина сидела у изголовья Трофимыча, думая о Василии, Мише, бородатом солдате с улицы, о всем сегодняшнем редком, незабываемом дне.

Незадолго до полуночи «Аврора» ударила по Зимнему. Загрохотали пушки с Петропавловской крепости.

— По дворцу бьют,— перекрестился швейцар и дрожащими руками принялся затягивать окна шторами.

— Погоди завешивать-то,— припала Катерина к окну.

...Далеко за полночь Миша привел Василия.

— Гляди и радуйся... Красная сестра милосердия.— Он показал на Катерину.

Катерина обмерла, потом, вскрикнув, кинулась мужу на грудь:

— Живой... Вася... целый?

Василий засмеялся, обнял жену.

— Ну, Катя, поцелуемся... с праздничком тебя... каюк Временному...

— С утра до тебя добираюсь, Вася,— пожаловалась Катерина.— С ног сбилась... Я к тебе от мужиков... с поручением. Да ты проголодался, поди?

Катерина выложила на стол рыбу, хлеб.

— Те-те... А рыбка-то знакомая,— испробовав рыбы, удивился Василий.— Да ведь это ж карп из архирейского озера. Каким это манером, Катя?

— Да уж таким. Позабрали мы озеро...

— И правильно сделали. Ну, а землю?

— И землю... Мне, Вася, лошадь с барской конюшни выдали — сытую, холеную; Лукашке, брату, плуг достался... Вот опасаемся только, как бы каратели не понаехали... В Родниках мужикам за самоуправство они такое прописали...

— Какие теперь каратели? — осердился Василий.— Мы, что ж, в шутку Зимний-то брали?

Василий поднялся, поправил усы.

— Вот что, Катя! Поедешь с Мишей домой. И Трофимыча отвезете. А я в Смольный... Там сейчас съезд начинается... рабочих и крестьян. Ленин говорить будет... о мире, о земле...

— Ленин! — всполошилась Катерина.— Мужики тоже и о Ленине просили узнать. Вася...— она льстиво заглянула мужу в глаза,— хоть бы одним глазком глянуть... какой он из себя.

— Ой, хитра,— крякнул Василий.— Где ж я тебе пропуск в Смольный достану? — Но заметив умоляющие глаза жены, нахмурился и махнул рукой: — Давай, пошагали. Еще опоздаем...

1938

ЛЕВ НИКУЛИН

ОКТЯБРЬСКАЯ НОЧЬ

ШИРОКОПЛЕЧИЙ человек в картузе и солдатской ватной куртке постучал в окошко деревянного дома на Средней Пресне. Никто не ответил. Он терпеливо стоял у окна, прислушиваясь к отдаленным звонкам трамвая, поглядывая в ночное небо и зарево огней Брестского вокзала. Подождав минут пять, он снова постучал в окно. Открылась форточка, и всхлипывающий женский голос произнес:

— Погоди, Григорий Иванович!

Хлопнула ободранная, вся в клочьях войлока дверь, и вышел парень в штатском пальто, в шляпе и с трехлинейной винтовкой на веревке через плечо. За ним шла пожилая женщина в платке.

— Анна Егоровна,— сказал стучавший в окно,— поцелуйте сынка и ложитесь-ка спать, Анна Егоровна.

Мать обняла сына, затем старший, названный Григорием Ивановичем, осторожно обнял женщину за плечи и повел к двери.

Как только захлопнулась дверь, оба ушли. Мать ушедшего парня погасила свет и легла. Форточку она оставила открытой, хотя уже наступили прохладные октябрьские ночи.

Тем временем сын Анны Егоровны Ваня Редечкин и депутат Московского Совета Григорий Иванович Казаков торопливо шли мимо Зоологического и продолжали разговор, начавшийся на Средней Пресне.

— Полностью наша школа называлась «Ремесленное училище товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры в Москве». По мысли господ Прохоровых, учи-

лище должно было конкурировать с ремесленной школой Морозова в Орехове.

Тут рассказывавший замолчал. Он и Ваня Редечкин остановились, пропуская шедший довольно стройно, в ногу красногвардейский отряд. Красногвардейцы поднимались в гору, в сторону Кудринской площади.

— Слушаешь, что ли? — продолжал Григорий Иванович.

— А как же.

— Родоначальник фамилии Прохоровых, Тимофей Васильевич, в своем сочинении «О богатении» высказал такую мысль: «Богатство допустимо иметь в том случае, ежели оно употребляется на помощь обездоленным или ежели оно способствует духовно-нравственному совершенствованию людей». Вот почему потомки почтеннейшего Тимофея Васильевича основали ровно сто лет назад училище, в которое отбирались смышленые крестьянские дети, обучались закону божьему и ремеслам во славу Трехгорной мануфактуры. Есть даже такая книжица, описывающая заслуги рода Прохоровых. Константин Прохоров любил искусства, умел шить башмаки и искусно одевал кукол. А нынешний хозяин кончил университет и ездит за границу. Однако, по примеру предков, завел большой церковный хор и ездит на Пресненские пруды глядеть кулачные бои. Особо отличавшимся в сокрушении ребер ближнего своего дарит из собственных рук красненькие. По-прежнему глохнут «барабанщики», а работницы стригального цеха болеют туберкулезом и заживо гниют в знаменитых прохоровских «спальнях»...

Григорий Иванович замедлил шаг и пошарил в карманах, разыскивая табак и спички. Распахнувшиеся полы куртки обнаружили у пояса тяжелый морской кольт.

— По этой причине трехгорцы-дружинники в пятом году геройски обороняли Пресню — «единственный уголок на земле, где царствует рабочий класс», как было сказано в последней нашей прокламации. Учеников в училище Прохорова было семьдесят, а после декабрьского восстания осталось полсотни. Прочих расстреляли в пятом же году. Кормили их в училище главным образом кашей, почему они у вас на Пресне называются «кашниками». Обороняли Пресню от пехоты, кавалерии и артиллерии четыреста с лишком человек. У шмидтовцев, мамонтовцев, же-

лезнодорожников были маузеры и винчестеры, у кашников и трехгорцев — бульдоги и смит-вессоны.

Ваня Редечкин подтянул веревку, резавшую плечо, и положил руку на холодный ствол винтовки.

— Умирали геройски. После февраля разбирали мы бумаги охранки. Нашлись списки. «Иван Михайлович Волков. Боевой дружинник. Что-либо показывать не желает». Рядом крестик, что означает расстрел, и подпись: «Поручик Аглаимов». На четвертушке бумаги десять фамилий и десять крестов,— тут тебе и протокол следствия и смертный приговор.

Голос Григория Ивановича пресекся. Он остановился и несколько мгновений смотрел в темноту, как бы увидев занесенные снегом, спиленные телеграфные столбы, опрокинутые вагоны конки, баррикады из сорванных с петель ворот, вывесок и бочек. И силуэты солдат в башлыках и бескозырках.

— И как сказано было в нашей прокламации: «Мы начали. Мы кончаем. В субботу ночью разобрать баррикады и разойтись всем далеко... Да здравствует борьба и победа рабочих!»

Девятнадцатилетний Ваня Редечкин уважительно посмотрел на своего спутника. В сиповатом негромком голосе Ивана Григорьевича появились влажность и теплота.

Они приближались к районному Совету. На перекрестке, где обычно стоял милиционер, теперь оказались три солдата и двое с винтовками в штатских пальто, подпоясанных солдатскими ремнями.

— Свои,— сказал им Григорий Иванович.— Депутат Московского Совета Казаков и красногвардеец Иван Редечкин. Да здравствует борьба и победа рабочих!

В четвертом часу ночи в форточку, которую оставила открытой Анна Егоровна Редечкина, влетел отдаленный грохот: нестройный ружейный залп. Опять, как в пятом году, поднималась Пресня.

1937

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

РАССКАЗЫ ОБ ОКТЯБРЕ

В ОХОТНОМ РЯДУ

ПУШЕЧНЫЙ выстрел, что прогремел на Скобелевской площади перед рассветом, был как сигнал. На выстрел испуганно ответили винтовки в Охотном ряду, на Воскресенской и Красной площадях, у Лубянки и дальше где-то у Крымского моста. Зловещие молнии запрыгали по низким облакам. Из Замоскворечья протянулся длинный луч прожектора; точно белый меч, он пронзил облака, угрожающе закачался над городом и упал на гребни крыш. Возле Кремля отчаянно застрекотал пулемет. В ответ отозвались пулеметы на Лубянке, в Охотном ряду. Москва сердито загудела в громе выстрелов. Гром разбудил спящих. В предрассветной мути у всех ворот, во всей необъятной Москве зачернели фигуры, везде послышались тревожные голоса. От окраин как-то очень быстро к центру потянулись группы вооруженных рабочих и помчались грузовики, переполненные солдатами. Солдаты стояли на машинах плечо к плечу, винтовки вразнобой торчали над их головами и угрожающе смотрели во все стороны. Машины мотали солдат из стороны в сторону и были похожи на вазы с огромными темно-серыми цветами. С Пресни, с Тверской, от Сокольников, от Крестовской заставы, от Лефортова — со всех сторон шли, ехали, бежали солдаты, рабочие,— еще не совсем проснувшиеся, но уже с буйством и решимостью в глазах. Резкие, вызывающие крики повисли над улицами:

— Ага-га-га!

— Не выдавай!

— Бей буржуев!

— Урра!

Так орали вслед автомобилям, мчавшим солдат к центру.

И с автомобилей отвечали грозным ревом. По главным улицам к центру, точно кровь по венам к сердцу, катилась страшная сила.

И в неудержимом стремлении она вываливалась, как в воронку, на Страстную площадь, а уже отсюда — через жерло воронки — в узкую Тверскую улицу к старинному генерал-губернаторскому дому, где находился Совет.

Еще с ночи на Страстной площади была поставлена цепь, не пропускавшая обывателей к Совету. Сперва попробовали опрашивать и рабочих, когда они добирались до Страстной площади. И даже солдат, какой они части. Могло случиться, что под видом рабочих или солдатского отряда к Совету прошли бы враги — «на войне как на войне». Но рабочих и солдат было так много, что цепь скоро стала пропускать без опроса. Останавливала только явных обывателей. По растерянным лицам, по крадущейся походке сразу было видно: вот идет человек, которого толкает сюда только любопытство, а делать этому человеку здесь совсем нечего.

И еще: цепь не пропускала ребят. Их сразу откуда-то набежала тьма-тьмущая. Они орали, свистали, прыгали — радовались неудержимо, как будто для них, бесшабашных мальчуганов, этот бой на улицах был самым занятнейшим зрелищем. Их не пропускали здесь, они тотчас пускались в обход:

— Айда, ребята! По Петровке пройдем к Охотному! Все равно пройдем!

И, как вода, текли в каждую щель, через дворы, через крыши, только бы туда, где сражаются. А на Страстную площадь подходили все новые и новые отряды — солдаты, солдаты, солдаты, рабочие, рабочие,— тысячи шли в неудержимом, сокрушительном стремлении. Рабочие, больше молодежь,— где-то возле двадцати лет,— а многие попадались и лет по шестнадцати, на вид совсем мальчуганы. С важным и важнейшим видом они тащили винтовки, сами только подпоясанные, как мешки, новыми солдатскими ремнями. И на ремнях холщовые подсумки с патронами. И среди молодежи лишь когда-когда попадали сорокалетние, отяжелевшие, с бородами. И было видать: на бой, как на простую черную работу, все одели одежду, что похуже,— должно, когда одевались, думали об окопах, о том, что придется лежать на земле, прятаться по крышам и чердакам; извозишься, измажешься — зачем же портить

хорошее зря? А может быть, у многих и не было этого хорошего,— шла самая голь перекатная. Шла — катилась за лучшей долей.

Через цепь отряды и одиночки проходили на Тверскую к Скобелевской площади. А над площадью уже повизгивали пули, внизу, под горкой, в Охотном ахали винтовки,— по улице надо было идти уже с опаской. Все шли тротуарами, прижимаясь поближе к стенам. И тугой, упорной лентой вливались в парадную дверь старинного дома, столь таинственного еще совсем недавно, месяцев десять тому назад, где жили только очень важные генералы и князья. Теперь этот дом был открыт для них, он ждал их. По широкой парадной лестнице солдаты и рабочие входили в Белый зал,— тут толкались сколько-то и отсюда уходили на посты — позиции. И уже скоро весь старинный дом, со многими десятками комнат и зал, переполнился восставшими. Везде — и у белых стен громадного, очень емкого Белого зала, и в уютных маленьких задних комнатках, обитых красным шелком, и в коридорах, на лестницах, на подоконниках сидели, стояли, лежали солдаты в шинелях, с винтовками, с котелками, с сумками, как в походе. И рабочие рядом — в черном, в поношенном, в рваном, тоже с винтовками, с подсумками. Густо запахло мокрыми шинелями, махоркой, непереваренным хлебом и едким трудовым потом. Человечьи потоки вливались и выливались. На парадной широкой лестнице всходили вверх плечом к плечу, грудью подпирали спину и водопадом скатывались вниз. Что, кто, куда — казалось, не разобрать! И скоро уже тесно стало в огромном доме, солдаты вылились во двор; там расположились бивуаком у стен, в каретниках, в маленьких домиках-службах.

А к подъезду все подходили новые — взводы, роты, отряды; над серыми шапками и черными картузами поднималась щетина штыков. Порой, раздвигая ряды, подкатывал к подъезду автомобиль с солдатами, и у всех светились в глазах буйство и решительность. Началась страшная игра, где ставкой была жизнь, а выигрышем — преображение мира.

Штаб едва справлялся с этим бесконечным потоком. И уже было у штаба много помощников-добровольцев. Асонов только заикался Волкову: надо туда-то и туда-то послать отряд. Волков бежал к двери, а там уже стояли жадные, ждущие:

— Куда? Куда надо?

— Товарищи! В Камергерском юнкера напирают! Туда надо!

И тотчас грудились серые и черные, шли с криками:

— В Камергерский, товарищи! В Камергерский!

Или говорил Асонов:

— Товарищ Волков, надо на Мясницкую, в Милютинский. Там стреляют отчаянно.

Волков опять к двери, в зал, там поднимался на золоченый стул, выкрикивал:

— В Милютинский надо, товарищи!

Тотчас грудились сотни, откуда-то являлись у них предводители — шли.

Разведка и связь действовали стихийно. Энергичный двинец Федотов распоряжался, кого-то посылал, кто-то к нему приходил,— все братья, все товарищи,— с простотой простых, бесхитростно, по-деловому. Знали точно, где напирают юнкера, туда посылали вовремя и много. Иногда и сами солдаты, помимо штаба, собирались отрядом, шли. Волков выскакивал и, увидев плотную толпу удаляющихся, удивленно спрашивал:

— Куда, товарищи?

И ответ был простой и ясный:

— Что-то на Петровке юнкера пошаливают. Товарищи подмоги просят.

И шли на подмогу. Были ли у них командиры, кто отвечал за их действия — никто не знал. Может быть, они и сами не знали, шли просто, будто им подсказывал инстинкт борьбы.

В человеке поднималось древнее, первобытное, не совсем осознанное, может быть, когда человек не разумом, а всем существом своим, природой своей чувствует, где враг и какой стороной идти надо.

Уходили, приходили, множества, тьмы.

Уже утром как-то из комнаты Военно-революционного комитета озабоченно вышел в коридор Смелевич и за ним черноватый, нервный Соков. Седая кудлатая голова Смелевича поплыла среди серых шапок и черных картузов. Солдаты и рабочие с некоторым недоумением смотрели на этого высокого седоголового интеллигента, и позади зашуршал почтительный шепот: «Наш старик, Смелевич». И в шепоте было удовлетворение.

Смелевич остановился на площадке парадной лест-

ницы. Лестница теперь была похожа на людную улицу,— человечьи потоки лились по ней вверх и вниз.

Смелевич долго смотрел на них, чуть улыбаясь, потом сказал раздумчиво Сокову:

— Глядите, сколько их. Библейский Моисей ударил жезлом по камню, и потекла вода и напоила всех. Мы позвали, и вот они текут.

Соков быстро взглянул на Смелевича: «Кто же этот библейский Моисей? Кто позвал силу?» — и тотчас спохватился, сказал, и смеясь и чуть раздраженно:

— Какой там библейский Моисей! Просто пролетариат наконец осознал себя как силу.

Смелевич посмотрел на него рассеянно:

— Да, конечно. Осознал...

Через толпу, продираясь, шел поспешно к парадной лестнице Асонов. Лицо у него было озабочено. Соков двинулся к нему:

— Что такое, товарищ Асонов? Куда вы?

— В Охотном что-то началось. Хочу посмотреть.

За Асоновым потоком шли солдаты и рабочие,— спешили. Соков вмешался в их ряды, дошел до парадной. Осенний ветер чуть подувал. Выстрелы ахали лениво. Без шапки Соков постоял у дверей и уже повернулся, чтобы уходить, вдруг резкий пушечный выстрел грянул рядом. Все покачнулись, кто-то присел, у кого-то вырвался невольно вскрик, вроде выдоха. По площади затопали торопливые шаги. Солдаты заметались у орудий. Снизу, с Тверской, бежали беспорядочной толпой солдаты и рабочие. Раздались резкие крики:

— Куда вы? Стой! Назад!

Асонов опрометью бросился навстречу бегущим. За ним побежали те, кто вышел из Совета и «Дрездена». Плотной фалангой, задерживая бегущих, бросились они вниз по Тверской. Асонов бежал впереди с револьвером в руке и орал:

— Назад! Не сметь убегать! Назад!

Позади него бежал матрос, он хлестнул одного убегавшего кулаком по лицу, исступленно ругаясь:

— А, убегать, та-та-та?!

Не останавливаясь, добежали потоком до угла Камергерского. Здесь уже никого не было. Улица казалась совсем пустой. И выстрелы смолкли. Только за домами еще стреляли. Возле винного магазина, что был на углу Твер-

ской и Камергерского, за крыльцом, согнувшись и выставив винтовки, стояли трое рабочих и два солдата. Они приготовились стрелять в кого-то, кто должен пройти с Тверской до Охотного ряда. Асонов подбежал к ним:

— В чем дело, товарищи? Кто тут палил из пушки?

Рабочие выпрямились.

— Броневик проехал по Охотному. Из пушки бахнул, аж в ушах зазвенело.

— Сюда не заходил?

— Сюда нет. Да мы его, признаться, только мельком и видали. Чу, никак опять идет?

Все настороженно прислушались. Из-за домов слышалось шуршание вроде змеиного шипения.

— Опять идет!

Все беспокойно начали оглядываться, бессознательно искали пути: если броневик пойдет сюда, то где прятаться? Против броневика с одной винтовкой ничего не поделаешь. Асонов, вдруг побледневший, стоял столбом на самом углу. Шипение все приближалось. На углу Долгоруковского переулка, что был виден за длинным высоким забором, беспокойно толпились солдаты и рабочие, тоже выглядывали к Охотному ряду, ждали, и по их порывистым позам было видно, что, в случае чего, они тоже готовы задать лататы. Кто-то упорно стрелял с чердака высокого дома с острыми шпилями, что как раз стоял на въезде Тверской от Камергерского. Стрелял через равные промежутки времени, будто равнодушная машина, и совсем неизвестно было, в кого он стреляет с таким упорным равнодушием.

На углу Долгоруковского переулка вдруг забегали и метнулись прочь солдаты, рабочие, только один остался у самого угла. Шипение броневика стало отчетливым, и на углу показалась серая ползущая коробка. Асонов замер, высматривая. Броневик медленно прополз и скрылся за углом — вниз на Моховую. Асонов почувствовал, как отлегло от сердца: не надо убегать и скрываться. К углу опять подошли все плотной массой. На Долгоруковском тоже ожили, вернулись назад, стали прицеливаться, кого-то высматривать. Паренек в рыжем пальто вышел на самую мостовую, поднял винтовку к плечу, выстрелил и нелепо качнулся от удара,— так отдала плохо принятая винтовка. Асонов хотел пойти туда, через дорогу, к Долгоруковскому, мимо длинного нелепого забора, из-за ко-

торого торчали огрызки красных кирпичных стен. Но едва он шагнул на мостовую, где-то вдали, у Воскресенских ворот, дружно грянули винтовки, пули ударили в мостовую, кусочки грязи подскочили у самых ног, и совсем рядом посыпался горох в стену. Асонов отскочил назад, за угол. Солдаты и рабочие, налегая на плечи друг друга, высунулись из-за угла, и дружный залп ахнул вдоль Тверской. Потом опять торопливо прицеливались, опять дружным залпом стреляли, с веселой яростью, с грубыми прибаутками. С угла Долгоруковского тоже палили бесперечь...

Но вот ответно загрохотали винтовки где-то совсем близко. На углу Охотного мелькнули серые и синие фигуры — студенты и юнкера,— и пули начали щелкать над головой в стену и у ног в мостовую. Перестрелка стала странно веселой — точно мальчики играли в забавную игру. Как-то сразу стрельба оттуда резко усилилась, и из-за угла быстро вылетел грузовик, наполненный студентами и юнкерами. Пули с визгом пронеслись по улице, солдаты и рабочие отскочили от угла. Грузовик проскочил дальше, к Театральной площади.

— Эх, мишень-то какую пропустили! — с досадой сказал Асонов.

Солдаты заговорили, заругались.

— Он сразу выскочил, сразу-то не сообразили.

— Приготовиться не дал, а то бы мы ему показали!

— А ведь он, ребята, назад поедет. Вот тут его и ловить.

— Слушайте, слушайте. Стреляют на Театральной. Должно, там его поймали.

— Как бы он нас не поймал. Объедет по Дмитровке — да сюда.

Все беспокойно оглянулись назад по Камергерскому. В самом деле, объехать может. Оглянуться не успеешь, а он вот здесь. И Асонов забеспокоился:

— Ловить бы его там надо. Мишень превосходная.

— Да ловят, ловят. Нешто не слышите, какая пальба? Это по нему.

Пальба две-три минуты удалялась, потом стала приближаться опять. Можно было понять: грузовик быстро передвигается. Стрельба перекинулась с Театральной площади назад к Охотному ряду. Возле Асонова все стояли, вытянув шеи, слушали.

— А ведь назад едет! Сюда! — с нервной дикой радостью сказал низенький черный солдат почему-то вполголоса, словно боялся, что юнкера и студенты подслушают.

— Ей-богу, сюда!

И крадущимися шагами он подбежал к углу, привстал на колено, выставил винтовку. И другие тотчас сгрудились на углу, приготовились к выстрелу. Асонов оглянулся: нет ли свободной винтовки? Нервное возбуждение вдруг забрало его до корня. Вот на охоте однажды — возле Мариинского посада, под Казанью, он вот так же ждал выхода медведя из берлоги... У стены безучастно сидел солдат с желтым лицом. Он равнодушно поставил винтовку между ступней, скучая смотрел на то, как его товарищи бешено готовятся. Асонов подскочил к нему, едва пробормотал: «Позвольте, товарищ, винтовку»,— и почти вырвал ее из рук, бросился к углу. В этот момент на Долгоруковском грянул залп, солдаты выскочили прямо на мостовую, стреляли, стоя во весь рост. И, высунувшись из-за угла, Асонов увидел на углу Охотного грузовик со студентами и юнкерами. На этот раз грузовик ехал медленно, будто победитель. Под выстрелами юнкера и студенты вдруг заметались. Из пробитой машины хлынула белая струя бензина, и грузовик остановился как раз на перекрестке.

— А-а-а! — заорал черный солдат и, забыв опасность, выскочил прямо на мостовую и, встав во весь рост, стрелял пачками. Асонов встал рядом с ним, бил яростно. Студенты и юнкера метались по грузовику, прыгали прямо под колеса, пытались прятаться за борта, как будто борта могли спасти... Ни один не ушел. Тяжелыми мешками все попадали или на мостовую у колес, или в грузовике внутрь на пол...

В одну минуту грузовик был мертв. Никто ни в нем, ни возле не шевелился. Выстрелы смолкли. Только с Долгоруковского продолжал стрелять мальчишка в рыжем пальто. Вдруг сильная молния засветилась в Охотном, как раз позади разбитого грузовика. Высокие струи белого пламени рвались вверх. То горел трамвайный провод, перебитый пулей и упавший на землю. Белое пламя, как похоронный факел, осветило разбитый автомобиль. Стрельба сразу прекратилась. Солдаты и рабочие нервно посмеивались, торжествуя:

— Вот здорово! Как мы их! А то разъезжают, будто и управы на них нет никакой.

Асонов, отойдя к углу, ждал. Вдруг из-за угла показался белый флаг с красным крестом, покачался несколько мгновений, просил прекратить стрельбу. Из-за угла вышла сестра милосердия в белой косынке, с белой краснокрестной повязкой на рукаве. Размахивая флагом, она подошла к разбитому автомобилю. Она забралась по колесу на автомобиль. Она перебрала там всех, возилась медленно. Вся улица и площади кругом были безмолвны. Все напряженно следили за ней. Нигде ни выстрела. И в тишине улицы был ясно слышен ее крик:

— Здесь один раненый! Возьмите!

И тотчас из-за того же угла вышли два санитара с носилками. Они открыли борта грузовика, выволокли кого-то в длинной серой шинели, положили на носилки, понесли. Сестра осталась у грузовика. Она опять перетрогала, пересмотрела всех, кто лежал у колес и на полу в грузовике, выпрямилась — и так остановилась. Больше не было никого, кому нужны заботы. Опять подошли санитары. Без носилок. Трое. Один подставил спину, двое положили ему на горб убитого студента — он попер. Так грузчики таскают кули.

— Ага, поволокли! — крикнул черный солдат.

Асонов мельком оглянулся на него, сунул винтовку тому же рыжему солдату со скучающими глазами, сказал:

— Ну, я пойду в штаб! Вы тут смотрите. Кто за начальника? Вы, товарищ Васютин? Смотрите тут. Главное, чтобы вас не обошли. Грузовик мог напасть сзади...

И он торопливо направился в штаб. Он шел, оглядываясь. Санитары все таскали убитых, как мешки, на спинах...

ВЗЯТИЕ ГРАДОНАЧАЛЬСТВА

Все первые дни восстания острым клином врезался в позиции красный дом градоначальства, что на Тверском бульваре. Или, скорее, не клином, а вроде был форт — форт, окруженный со всех сторон восставшими. Три сотни юнкеров, офицеров и студентов засели в этом старинном доме и стреляли из него во все стороны — на Тверской бульвар, в Гнездниковские переулки, на Тверскую улицу, к Никитским воротам, в Леонтьевский переулок. Главное, из двора этого дома, через каменный забор, велся обстрел Тверской улицы,— как раз в том месте,

где больше всего было движения. Тверская была единственной ниточкой, соединявшей Совет со всем остальным городом. Ежеминутно можно было ждать, что юнкера и студенты, предводительствуемые опытными офицерами, выйдут из этого форта и ударят в тыл восставших, отрежут Совет. Вместе с юнкерами там сидела сотня милиционеров, и среди них были такие, которые сочувствовали восставшим, но бежать из вражьего стана не могли. Только немногие из них, рискуя жизнью, прорвались,— рассказывали в разведке и в штабе, как живут в осажденном доме.

— Винтовок много, но патронов не хватает. Продовольствие на исходе. Каждый час звонят в Александровское училище Рябцеву, требуют подмоги. Рябцев обещает, но подмоги нет и нет. Некоторые буйные предлагают кинуться напролом к Совету. Надо ждать, что прорвутся, попытаются захватить.

Однажды перебежали сразу двое, и с ними в штаб пришел сам начальник отряда, что стоял против дома градоначальства со стороны Страстной площади, прапорщик Садыков. Он послушал, что сказали милиционеры Асонову, задергал плечами, сказал раздраженно:

— И какого черта вы церемонитесь? Надо немедленно разбить вдребезги этот проклятый форт Шавроль. Позвольте мне наконец расправиться с ним.

Асонов и Мусатов колебались: лобовая атака потребовала бы слишком много жизней: юнкера-александровцы будут защищаться в каждой комнате и в каждом закоулке.

— Подождем благополучного момента! — решил Мусатов. Садыков ушел озлобленный.

И опять: Тверская опасна, надо проходить перебежками, на углу Гнездниковского юнкера, глядящие через забор от дома градоначальства, ловят меткими пулями. И ожидание, что юнкера храбро прорвутся на улицу, отрежут Совет от всего города.

Красногвардейцы и солдаты теперь почти сплошным кольцом окружили дом. Прямо через бульвар со стороны Сытинского переулка они с веселой яростью стреляли в фасад дома ото всех углов, из-за каждого выступа, со всех крыш и из слуховых окон, били из пулемета со Страстной площади, били с Тверской улицы, с Леонтьевского переулка, и главное — с крыши двенадцатиэтажного дома Нирнзее, что в Гнездниковском переулке. Этот гигантский дом тучей висел над всем двором градоначаль-

ства, над садом, над заборами, над домом и флигелями. С него было видно все, что делалось во дворе.

Пулеметы и винтовки осыпали двор и все здания градоначальства градом пуль. Едва мелькнет где человеческая фигура,— в окне ли, в черном ли четырехугольнике двери, в закоулке ли между сараями,— тотчас туча пуль грянет туда. Все окна были разбиты в первый же день осады. И все стены изъязвлены, будто покрылись свежими оспинами. Но форт держался упорно. На третью ночь в заревой полутьме из ворот градоначальства вдруг вырвался автомобиль и вихрем помчался по переулку к Арбатской площади. Люди на момент растерялись, и автомобиль успел скрыться. Садыков промчался по постам, ругаясь и проклиная. Солдаты смущенно отмалчивались. Но через два часа автомобиль теми же переулками и к тем же воротам промчался снова и успел скрыться во дворе под стенами, прежде чем его достали солдатские пули. И ясно было всем: автомобиль привез какие-то подкрепления. Пулеметы юнкеров тотчас заработали с новой силой. Форт укрепился. Садыков послал донесение об этом случае в штаб к Асонову,— из штаба тотчас пришел Волков, и вдвоем Садыков и Волков обошли переулки, Тверскую, прошли на Страстную площадь, выясняя, можно ли все-таки взять дом приступом. На Страстной площади, прячась за трамвайную станцию, стояла артиллерийская батарея. Четыре орудия, подняв хоботы, смотрели вверх через дома к Кремлю, к Александровскому училищу, стреляя иногда перекидным огнем.

— Вот бы их из орудий пугнуть! — сказал Волков.

— Придется, если они еще такую штуку проделают. Я бы просто атакой взял!

— Как же возьмешь его из-за стен? Много поляжет наших. Лучше из орудий обстрелять.

Они прошли по Мамоновскому переулку к Сытинскому, чтобы выбрать позиции, откуда лучше вести обстрел. Вдруг за домами позади началась отчаянная стрельба. Пулеметы на крыше Нирнзее истерично заработали, им ответили из градоначальства юнкерские пулеметы, в улицах послышались отчаянные крики, кто-то бежал, гулко топая тяжелыми сапогами. Садыков и Волков метнулись назад к Страстной площади. Что такое? На Тверской, на углу Гнездниковского, кто-то отчаянно орал:

— Юнкера ид우ууут!

Винтовки били наперегонки.

— Атака! — крикнул Садыков и пустился бегом прямо через Страстную площадь к Гнездниковскому. Волков кинулся за ним. Ему показалось, что вот случилось чего боялись: юнкера вышли из форта, идут к Совету, сейчас захватят его. Группы солдат и рабочих густо обсели все углы Гнездниковских и Леонтьевского, пачками стреляли в кого-то. От Совета бежали толпы вооруженных солдат, на бегу заряжали винтовки. Волков выглянул из-за угла. В кого стреляют? В темном переулке не видно ни одной человеческой фигуры. И не вспыхивали огни выстрелов на гребне каменного забора.

— В кого стреляете?

— Юнкера прошли! Целый отряд! От Знаменки пробежали переулком. Вон видишь, убили троих наших.

На мостовой недвижно лежали три солдата. Волков помчался тотчас в Совет. Здесь стояли солдаты и рабочие с винтовками наготове, ждали нападения. Пулеметы глядели в окна и двери. На каждом шагу Волкова теребили:

— Что там? Что?

Асонов встретил его таким же вопросом и так же нетерпеливо:

— Что там?

— Отряд юнкеров прорвался в градоначальство. Вероятно, сейчас попытаются сделать вылазку против Совета.

Асонов оглянулся, призывая весь штаб прислушаться. Мусатов сказал ворчливо:

— Надо немедленно кончить с этим гнездом.

— Так позвольте начать действовать артиллерией! — стремительно попросил Волков.

— Валяйте как угодно, только скорей кончайте.

Волков повернулся на одной ноге, выбежал из штаба. Он нашел Садыкова в толпе солдат на углу Гнездниковского и залпом выпалил:

— Штаб разрешил действовать как угодно, только бы кончить скорее.

— А-а, наконец-то! Вот теперь мы им покажем,— ветром взметнулся Садыков.

Вдвоем они быстро обошли посты вокруг осажденного дома, всех предупредили: сейчас атака.

Солдаты и рабочие на постах радостно оживали, готовые сию же минуту рвануться в атаку.

Артиллеристы на Страстной площади торопливо переставили орудия. Высокий, как каланча, наводчик Лыкин долго прикладывался к панораме, измерил и, сам себе скомандовав «огонь», соединил запал. Выстрел ахнул оглушающе. Ближний трамвайный столб, составленный из чугунных труб, звонко загудел. Огромная дыра засияла в нем,— снаряд пробил его насквозь. Разрыв ахнул над бульваром, калеча липы. Хохот загремел залпом:

— Ха-ха-ха! Вот это попал! Ты всегда, Лыкин, так стреляешь?

Лыкин, смущенно ругаясь, припал к другому орудию. И опять сверкнула молния и ахнул гром. На этот раз снаряд улетел куда-то через крыши. От дома градоначальства посыпались выстрелы во все стороны. Пулеметы строчили как обезумевшие. В щитки орудий щелкали пули. Маленький солдат вдруг охнул и покорно свернулся калачиком возле колеса орудия. Другой, бросив винтовку, схватился обеими руками за бок и запрыгал на одной ноге, как шаловливый мальчик. Только глаза были безумные. Попрыгал полминуты и грохнулся с размаху на камни. Шутки и смех разом погасли. Все грудились позади трамвайной станции, кое-кто успел отбежать за угол. Весь воздух был переполнен визгом пуль. Точно жгучий ветер несся над площадью.

— Вот это качают! — закричал голос не то с возмущением, не то с восторгом.

— Пусть качают, скоро выдохнутся. Тогда мы им...

Безумная пальба продолжалась минут пятнадцать и затихла разом, точно оборвалась. Солдаты зашевелились. Осторожно они начали заглядывать на бульвар. Моросящий дождь сеткой мотался над деревьями и загородкой. Пушкин стоял, опустив голову, раздумывая над тем, что сейчас происходит вокруг него. Артиллеристы скачками опять пробрались за щиток, открыли затворы орудий, приготовились к новой стрельбе. Убитых отнесли за угол на Тверскую и положили на ступеньках магазина готового платья. И, положив, солдаты деловито вернулись к трамвайной станции. На лицах было упорство, озлобленная озабоченность и готовность бить, бить, бить.

— Ну, беритесь! Давай патрон! — кричал повелительно солдат с реденькой бороденкой.— Да ставь прицел как надо! Какого ты черта стреляешь по столбам и по крышам? Бей в стены и в окна! Стрелок тоже...

Высокий наводчик долго прикладывался к панораме, повертывал хобот орудия. Когда он выпрямился, приготовясь к выстрелу, все приникли к углу станции, чтобы видеть, куда полетит снаряд. Выстрел грянул, деревья на бульваре качнулись, стена градоначальства закурилась красной кирпичной пылью.

— Вот это так! Это по-нашему! Будто у немцев стрелять научился,— загалдели оживленно солдаты.

— А ну-ка еще!

На Волкова и Садыкова теперь никто не обращал внимания, будто их не было здесь. Каждый горел, кипел вот этой минутой, этой борьбой, забыв о всяком начальстве и о всяких командирах. У всех было одно общее: бить и разбить.

Второй и третий выстрелы легли там же. Пробоины закраснели резкими ранами, Волков крикнул:

— Теперь, пожалуй, можно и в атаку!

— Зачем в атаку? — возразил Садыков.— Они сейчас сами сдадутся. Ну-ка, товарищи, ставь другое орудие и попеременке мы их...

Пулемет градоначальства опять заработал, на этот раз с крыши небольшого флигелька, что во дворе. Солдаты успевали пригнуться за щиток или скакнуть за угол станции. Только один упал на мостовую и с минуту корчился, полз под защиту; кровавая струйка лилась у него изо рта прямо на камни. Но доползти не успел, ткнулся лицом в камни и так остался лежать. Все мельком смотрели на него, как он полз и умирал. И еще не успел смолкнуть пулемет, все озлобленно заметались, выставили винтовки из-за углов и принялись поливать выстрелами крышу флигелька. Человек двадцать побежали в обход по Бронной, чтобы тоже ловить пулеметчиков пулями. Пулемет задохнулся. Артиллеристы опять забегали возле орудий. Выстрелы загремели вперегонки. И после каждого выстрела липы на бульваре отчаянно вздрагивали ветвями, две или три уже белели расщепленной мочалой. У Никитских ворот началась отчаянная пулеметная стрельба, с Тверской прибежал солдат с винтовкой, закричал истерично:

— Товарищи! Юнкера наступают! На помощь!

Солдаты мешковато побежали за ним на Тверскую, чтобы переулками идти к Никитским воротам. Волкову захотелось бежать с ними, он беспомощно заметался: и туда надо, и здесь надо, потому что остается мало народа.

— Вы справитесь здесь? — наконец спросил он Садыкова.— Я бы туда побежал.

— Справлюсь! Бегите! — отрывисто бросил Садыков.

Он в самом деле был спокоен и уверен. Он только торопил: быстрей бы заряжали. Новые зарядные ящики были привезены с Тверской на руках, установлены за трамвайной станцией, артиллеристы не успевали заряжать, стреляли с торопливой веселой яростью,— и уже возле орудий валялась высокая куча медных артиллерийских гильз, дождь падал на гильзы, и они дымились, нагретые при выстреле. Синий дымок тонко окутал улицу. Садыков все приговаривал:

— Скорей, скорей!

Дом градоначальства стоял уже весь изрешеченный, и из него не отвечали...

Высокий артиллерист Лыкин вдруг подошел к Садыкову:

— Теперь, я думаю, они сдадутся.

Садыков посмотрел на него удивленно:

— Почему вы думаете?

— А позавчера мы вот так же били в юнкерскую школу, так сдались сразу. А этим уже как надо накрутили. Вишь, уже и не стреляют больше. Я бы сходил к ним, предложил сдаться.

— А ну, сходи.

Солдат вытащил из ножен саблю, навязал на нее белый носовой платок и смело, широкими шагами направился через бульвар к разбитому дому градоначальства, прямо к калиткам. Солдаты и рабочие, высунувшись из-за углов станции, смотрели ему вслед. Солдат смело перешел бульвар, подошел к калиткам, постучал. Его впустили. Дом градоначальства будто весь вымер. Садыков подошел к углу, к Пушкинской аптеке, нетерпеливо ждал. Ему хотелось самому пойти туда, но как оставить пост? Артиллеристы все стояли у заряженных орудий. Наконец из ворот градоначальства показалось шествие: шли два юнкера с завязанными глазами. Их провожал высокий Лыкин с поднятой вверх саблей, на которой болтался белый платок.

Садыков встретил людей с завязанными глазами за углом аптеки. Они оказались юнкером и поручиком. Осажденные считают борьбу бесполезной, согласны сдаться, но просят, чтобы им была гарантирована личная безопасность.

— Мы бы еще боролись,— угрюмо проговорил пору-

чик, как бы оправдываясь,— но в доме много семейных с женщинами и детьми. Мы не можем подвергать их напрасной опасности. Тем более что у нас нет артиллерии.

Садыков строго сказал:

— Личная безопасность вам будет гарантирована, если вы сдадитесь через пятнадцать минут. Так и передайте вашему штабу. В противном случае я не оставлю камня на камне от всего дома. Скажите там, чтобы немедленно сложили все оружие на автомобиль и вывезли за ворота.

Ровно через пятнадцать минут над воротами градоначальства и на балконе появились белые флаги, ворота отворились, из них выехал грузовик, доверху наполненный винтовками. Солдаты гурьбой вошли во двор. Садыков сам направился туда же, его встретил сам командир отряда — черный высокий полковник с измученным, злым лицом. В прихожей дома, где ветер шевелил разорванные занавески, наскоро подписали договор о сдаче,— и юнкера и офицеры и между ними несколько десятков студентов вышли во двор. Когда Садыков увидел эту толпу в три сотни человек,— все молодые и бравые,— он внутренно ахнул: «Какого же черта они сидели в этой ловушке? Почему не бросились в атаку, не отрезали Совет?» И у него похолодело под ложечкой от одной мысли, что эти триста прекрасно вооруженных, дисциплинированных молодых бойцов могли бы наделать неисчислимые беды восставшим. Он приказал им построиться в ряды. Они покорно построились и колоннами пошли к Скобелевской площади — в плен.

На грузовых автомобилях к Совету из градоначальства везли винтовки, ручные гранаты, четыре пулемета, ящики с патронами.

Асонов, Мусатов смеялись, когда Садыков рассказывал им про сдачу:

— Нас двадцать пять человек, а их три сотни с половиной. И оружия — хоть целый полк вооружай.

— Хороший признак,— сказал Мусатов.— Они уже теряют надежду.

— Не в том дело. Нам помогает артиллерия. Надо пускать ее на всех пунктах. Увидите, как они посыплют. Завтра же запросят пощады.

1933

ВЛАДИМИР КУРОЧКИН

СЛУХОВОЕ ОКНО

НАД домами послышался пронзительный свист. Он приближался и становился все громче. Через мгновенье свист достиг своего предела, к нему присоединилось еще пришептывание, затем странный звук удалился в направлении высокого и мрачного кирпичного здания. Там раздался глухой удар, вокруг задрожала земля, внизу посыпались стекла.

— Еще один,— шепнул Семка.

— Да, и все оттуда,— указал Тарасик на горизонт.

— Как к вечеру, так и начинают. Так и палят. Это наши?

— Наверно. Мамка говорила, что они установили пушку у Зоологического сада. Прямо в воротах.

— Ты, Караська, только не ври. Как это в воротах? Откуда мать знает?

— Я и не вру. Она к батьке ходила. Ты об этом никому не говори. Она носила ему ватную куртку и хлеба. Вот и видела все своими глазами.

Они помолчали. Потом Семка сказал:

— Значит, Карась, фабрика теперь не работает? Небось твой отец не один оттуда ушел.

— Все ушли. Еще до начала стрельбы работать бросили. По гудку. И не переодевались, а так и пошли в чем были. Ружья им где-то достали. Батька домой даже не зашел. Мать поэтому-то и ходила.

— Моего тоже пятые сутки нет... Он в Красной гвардии сейчас. Я знаю. Так всех наших называют. Мне Андрейка рассказывал.

Вверху опять засвистело. Это был протяжный, стонущий звук. Он проникал в самую середину тела. Давил

в низ живота, а голова при этом невольно вжималась в плечи: почти инстинктивно от страха. Семка и Тарасик высовывались в слуховое окно на чердаке четырехэтажного дома. Подоконник был расположен высоко от пола, и они, чтоб удобнее смотреть с крыши вниз, подложили под ноги полено. Ребята прятались за подоконник каждый раз, когда слышали этот свист.

— Хорошо, что сегодня нет дождя,— заметил Тарасик.— А вчера ночью был...

— Я все равно пришел бы сюда, пусть хоть и дождь,— сказал Семка.— Я не могу больше сидеть дома. Окна занавешены, света нет. Сестра и мать все время ревут. И главное, не узнаешь, что же там?..

Он привстал на носках и показал рукой вниз, где виднелся небольшой грязный дворик. Железные проржавленные ворота закрывали его от внешнего мира. В эти ворота упирался тупик, который в свою очередь выходил на широкую длинную улицу. Она была пустынна, так же как и другие улицы, на которых Семка и Тарасик не замечали ни одной живой души. По улице валялись разбросанные в беспорядке различные предметы: поломанные стулья, столы, полосатые матрацы. В некоторых местах вся эта рухлядь образовывала полуразрушенные баррикады, перегораживающие улицу. У одного фонаря лежала разбитая пролетка. Сам фонарь был согнут. Сокрушительная сила перекрутила его железный ствол вокруг оси, как витой хлеб. В этом месте у двухэтажного каменного дома не хватало угла. В отверстии торчала двухспальная деревянная кровать с отбитыми ножками. Висел на длинных белых электропроводах граммофон со сломанной трубой. Налево, далеко, в самом конце улицы, были повалены поперек мостовой грузовик и две подводы. Между ними и на них аккуратно лежали мешки с песком. Их было очень много. Они плотно прилегали друг к другу. Издали это походило на соты. Людей за этими укреплениями не было заметно. Сероватая мгла струилась над мешками.

Но больше всего Семку и Тарасика привлекал правый конец улицы. Там не виднелось баррикад. В обитом и облупившемся кирпичном здании, стоявшем поперек улицы, все окна были забиты мешками с песком и серыми валиками из свернутых тонких казенных матрацев. У кирпичного здания на крыше зияла огромная дыра, в стенах

темнели бреши, и поэтому дом имел мрачный вид. Он казался заброшенным, но от него веяло опасностью. Дом со своими дырами в стенах напоминал полуразвалившийся от времени череп, из которого вот-вот могла выползти змея. В одном из окон торчало древко с трехцветным царским флагом. В доме сидел враг. Это были казармы школы прапорщиков. В них с самого начала октябрьских событий укрепились юнкера. Они отсиживались там и мешали рабочим отрядам с Пресни пройти к Брянке и на Арбат. Изредка они делали вылазки в близлежащие дома и терроризовали жителей: уводили мужчин и расстреливали.

— Еще бы три снарядика, и им бы капут,— произнес Тарасик.

— Ну да, капут. Их там, наверно, больше сотни засело. Когда-то всех перебьют...

— Нет, если бы как следует нацелиться, тогда можно было бы. Дом-то ведь рухнет.

— Что дом! Разве в него с такого расстояния попадешь? Нашим и не видно его оттуда. Целятся наугад. Вон, смотри, опять не попало!

Оба быстро спрятались за подоконник, присев на корточки. Воздух внезапно с воем и грохотом раскололся. На чердаке ребятам сначала не хватило воздуха. Они раскрыли пересохшие рты, а затем в слуховое окно резко ударила воздушная волна и в уши будто бы воткнули пробки. Стало больно барабанным перепонкам. Этот взрыв был самым сильным за весь день. Тарасик даже зажмурил глаза.

— А что, если бы не долетело? — шепнул он через минуту.— Тогда бы в нас...

— Молчи,— оборвал его Семка.

— Пойдем вниз,— продолжал Тарасик.— Хватит уж.

— Ах, ты...

Семка крепко сжал пальцами деревянный край подоконника и повернулся лицом к Тарасику. Увидел красный остренький носик друга, покрытый капельками пота, пыльные и короткие рыжеватые волосы и глаза с длинными белесыми ресницами. Тараска глядел на него в упор, но Семка не чувствовал на себе его взгляда, словно тот смотрел сквозь стекло. Глаза его немного косили. «Вот связался на свою голову»,— подумал Семка и уставился на влажный лоб соседа. Вспыхнула злоба. «Ах, какой

ты,— рассмотрел он его,— трусищка безбровый». Но Семка чувствовал на своем лице противный липкий пот. От тошнотворного страха и у него дрожали ноги, отваливались руки, болел живот и хотелось лечь на грязный пол чердака. А тут еще этот странный блеск в глазах Тарасика и его вздрагивающие губы.

Семка искал успокоения, напряженно вглядываясь в товарища. Но Тарасик явно трусил, и от этого становилось еще страшнее. Действительно, ведь снаряд мог упасть на их крышу в любое время. И становилось сейчас же обидно за все эти мысли. Он ни за что не уйдет отсюда! Пусть дрожат колени. Пусть упадет снаряд,— он не уйдет и будет все видеть. Хочет все видеть! Если нельзя выйти за ворота, то он будет сидеть именно здесь, на чердаке. А Тарасик может уходить! Но Семка тотчас сообразил, что эта мысль вздорная. Если Тарасик уйдет, то вслед за ним по лестнице вниз сбежит и он. Одному остаться не хватит сил. Может быть, он сам сейчас первый убежит. Нет, нет, так нельзя! Семка сжал зубы.

— Пойдем же,— сказал опять Тарасик.

Семке стало жаль друга. Он вспомнил, что двенадцатилетний Тарасик моложе его на год и всегда безропотно доверял ему свою судьбу. Поэтому Семка почувствовал себя обязанным быть смелым и великодушным. Он дотронулся до руки Тарасика.

— Останемся еще немножко. Только одну минутку. Сейчас посмотрим, что там случилось, и тотчас же пойдем. Мы успеем убежать до следующего выстрела.

После оглушительного взрыва в ушах еще звенело. Потом постепенно вернулись все звуки улицы. Далекая и беспорядочная стрельба, шум, похожий на гудение большого колокола, и совсем рядом, на крыше, назойливый скрип раскачиваемой октябрьским ветром доски, полуоторванной от маленькой голубятни.

Семка и Тарасик опять высунулись в окно. Весь правый верхний угол казарм был разрушен, но в пролом ничего не было видно. Оттуда валил черный дым. В воздухе пахло гарью.

— Вот это здорово попал. Правда? — сказал Тарасик.

— Да. Хлестко ударил,— ответил Семка.— Так и нужно...

— Это им за нашу голубятню. Пусть офицеры запомнят. Они уж очень злые, даже голубей не пожалели.

— Вовсе это не офицеры, а юнкера. Прапорщиками их зовут, хотя это все одно и то же.

— Зачем их только вчера в наш двор впустили?

— Попробуй не пусти, они силой вошли. Ворота стали разбирать. Наверно слышал, как кричали: «Из вашего дома стреляют». Хитрые, черти. А как вошли, так сразу же полезли на чердак. Вон видишь, все перерыли и голубятню сломали. Что-то искали. Только все это они так, для отвода глаз делали. Запугать хотели.

— А как же они твоего брата увели?

— Да около наших дверей трое из них хромого сапожника, соседа, стали бить. Андрюха не выдержал и выскочил. Одного ударил, остальные его схватили.

— Куда же они его потащили? Может быть, он у них там в доме сейчас? Избили, наверно? А?

— Не знаю...

Семка отвернулся и стал смотреть на разрушенную маленькую голубятню. Ее когда-то сделал его брат. Теперь она валялась на краю крыши. Ее удерживали только две ржавые проволоки, прикрученные к дымовой трубе. Сквозь пробитые деревянные стенки было видно свинцовое небо. В белой рамке досок, омытых дождем, на сером фоне неярко желтела полоска света: на горизонте были разорваны тучи. И внезапно для Семки вся эта картина дрогнула и затуманилась...

— Ты что? — Тарасик удивленно заглянул ему в лицо.

— Отстань!

— Пойдем отсюда.

— Ну, побудем еще немножко. Что тебе стоит?

— Надоело уже. Смотри-ка, смотри-ка, дым перестал идти!

Лохмотья черного дыма расползлись по улице и исчезли за домами. Ветер не дал им подняться кверху. В проломе дома чернели обгорелые балки, торчали изломанные куски кровельного железа. Некоторые листы жести были смяты в комок, как газетная бумага. В глубине мелькали тени людей.

— Вот они, вот они. Юнкера! — зашептал Тарасик, быстро прячась за оконную раму и показывая на тени в проломе.— Затушили!

— Эх, и трус же ты! — сказал ему Семка.

Но сейчас же сам стремительно спрятался за подоконник. Соскользнул с гладкого полена и загромыхал но-

гами о мятые консервные банки. Вслед за ним на пол соскочил и Тарасик. Оба страдальчески глядели друг на друга. У Тарасика опять косили глаза.

— Что ты? — слабым голосом спросил он.

— Я? Ничего,— ответил Семка.— Там на улице юнкер... с винтовкой.

— Уйдем скорее!

— Сейчас. Взглянем только.

Ребята снова осторожно выглянули с крыши и оцепенели. По бокам улицы, прижимаясь к домам и заборам, перебегали и ползли с винтовками в руках люди в офицерских шинелях. На улице господствовала тишина, и люди с винтовками передвигались молча, не стреляя, согнувшись и не оглядываясь назад. Они напряженно разглядывали баррикаду у конца улицы, быстро перебегали от парадного к парадному, от тумбочки к тумбочке.

— Что же это будет? — крикнул Семка.— Юнкера!

— Не кричи! — заволновался Тарасик.— Они в нас стрелять начнут.

Семка замолчал. Он, подпрыгнув, лег животом на неудобный деревянный подоконник, схватился руками за желоб для стока воды и, подтянувшись к краю крыши, стал смотреть на улицу, где наступали юнкера. Они появлялись из-за угла. Видимо, они выбегали из ворот кирпичного дома, которых за углом не было видно. «Подать бы сейчас нашим какой-нибудь сигнал,— подумал Семка.— Что же они там на баррикаде не видят ничего?»

Юнкера тем временем добрались до тупика, в котором жили Семка и Тарасик. Командовал маленький толстенький офицер с краснощеким пухлым лицом. Он бежал, согнув голову, слегка путаясь в длинной шинели. В руках у него торчал маленький блестящий револьвер, который он держал короткими пальцами, как птичку. Когда толстяк добежал до тупика и поднял вверх руку, как бы призывая своих подчиненных бежать быстрее и не прячась, в конце улицы из-за мешков ударил пулемет. Выпустил одну очередь и смолк, затем опять раздались выстрелы. В чахлом саду за двухэтажными грязными домиками суматошно взлетели вороны. Толстяк с невероятной для своего тела легкостью в два прыжка очутился в тупике, а остальные поползли обратно к казармам. Они готовы были вмяться в мостовую, чтобы спрятаться от пуль. Многие из них не двигались, а валялись, раскинув в стороны руки

и ноги. Им уже было все равно. Пулемет стрелял коротким очередями. И каждый раз направо за чердаком, за домами, выстрелы повторялись, как будто там тоже стреляли из пулемета.

— Эхо,— сказал Тарасик, выглядывая наружу.

— Обожди ты,— не оборачиваясь, ответил Семка.

Толстяк в тупике нервничал, суетливо прыгал по тротуару, но до угла не добегал. Останавливался и топал еле видневшимися из-под шинели ногами, злобно кричал вслед отступающим. Он оставался один, понимал это, но у него не хватало смелости покинуть свое убежище.

— Это тот, ей-богу, тот,— вдруг сказал Семка.— Когда уводили Андрюшу, он бил его по голове!

С этими словами Семка оттолкнулся от желоба и быстро соскочил с подоконника на полено.

— Нужно что-нибудь кинуть,— заспешил он,— камень или железное. Потяжелее.

Бросился в глубь чердака и начал рыться там в хламе.

— Семка, Семка, он упал! — закричал Тарасик.

И Семка опять бросился к слуховому окну. Толстяк действительно уже не бегал. Он перебежал на другую сторону тупика и там сразу же попал под обстрел. Теперь он лежал на мостовой. Несколько минут еще пытался ползти, а затем утих, и лицо его стало серое. Стрельба усилилась. Пулемет на баррикаде работал непрерывно. В красном кирпичном доме также стрелял пулемет. Стреляли и из винтовок. На улице щелкали пули. Они били в мостовую. Рикошетом попадали в первые этажи домов. Там сидели за занавешенными окнами, может быть распластавшись от страха на полу, матери, сестры и дети тех, кто был за баррикадой.

Семка и Тарасик все еще высовывались из слухового окна. Они оглохли от стрельбы, но забыли о страхе и осторожности. Неожиданно за слуховым окном, за дымовой трубой послышался шорох. Кто-то крался по железной крыше, потом там загремело, раздалось тихое ругательство. Семка испуганно повернул голову и увидел лицо и плечи своего старшего брата Андрея. Тот, держась за дымовую трубу, переполз через конек и опять выругался, затем начал высасывать кровь из свежей царапины на левой руке. За плечами на ремне у него висела винтовка. От неловкого движения руки она загремела прикладом.

— Андрюша! — почти застонал Семка.

Он, спеша, неловко полез из слухового окна, не соображая, что может легко упасть вниз. Андрей вздрогнул от неожиданности.

— Зачем ты здесь? Как ты смел? — зашипел он.

— Мы посмотреть, мы с Карасем хотели видеть...— оправдывался Семка.

Он дополз до брата на коленках, цепляясь руками за железные швы на крыше.

— Я и он,— показал Семка на высовывающегося из окна Тарасика.— Иди, иди сюда! — крикнул он ему.

Тарасик тоже полез вверх, забыв все на свете.

— Андрюш, ты убег оттуда? — спросил Семка брата, показывая на полуразрушенный кирпичный дом.— Тебя не убили прапорщики?

— Ну, они слабы на этот счет,— улыбнулся Андрей.— Мало каши ели, я от них быстро сбежал. Не успели и до ворот довести. У меня ведь в кармане наган лежал. Я им показал...

Семка недоверчиво смотрел ему в лицо. У Андрея на правой щеке была содрана кожа, под глазом темнел синяк. У левого виска — кровоподтек. Прямой нос распух и стал странно курнос. Андрей уже не казался молодым, восемнадцатилетним. Он постарел и выглядел зрелым мужчиной. Его мягкие черные и длинные волосы были грязны и спутаны.

— Вот что,— резко сказал он,— мне некогда здесь с вами возиться. Раз залезли, так уж сидите, голубчики. Будете помогать!

Он вытер в последний раз кровь на расцарапанной руке и прищурил глаза. Усталые, с красноватыми жилками белки исчезли, на ребят уставились одни серьезные карие кружочки.

— Выполняю важное поручение! — оглядываясь, продолжал он.— Я убежал от этих гадов и махнул к нашим, на баррикады. Мне винтовку дали. Я там и отца видел,— зашептал он, еще раз оглядываясь.— Мы сейчас должны были идти в атаку. Выбивать их, сукиных сынов, из казарм. Но пулемет помешал. Вон куда его юнкерня упрятала...

Андрей указал на чердачное окно, темнеющее на ярко-зеленой крыше большого здания. Оно стояло на улице много правее их дома.

— О, это на том чердаке? — удивился Тарасик.

— Да. Им оттуда удобнее стрелять. Не знаю только, как они туда забрались. В бинокль их с баррикады видно,— ответил Андрей.

— А мы думали, это эхо.

— Как раз... От такого эха люди падают. Ну ладно, хватит разговоры разговаривать. Некогда. Мне поручили все это дело, поскольку я здешние крыши знаю. Вот! — Андрей заправским жестом голубятника, показывающего дорогого голубя, высунул из пазухи кончик гранаты.— Видели? Там быстро замолкнут от такой штучки.

Граната, видимо, побывала в сыром месте, и на ней была ржавчина, но все же она выглядела солидно, и ребята не сводили глаз с оттопыренной груди Андрея.

— Вы поможете мне? — сказал он.— Мы доберемся по крышам. Вон там вы меня подсадите. Я влезу и все сделаю. Поможете? — Он помолчал.— Для революции...

Эти слова произнес особенно серьезно, почти торжественно. Их ему точно так же сказали на баррикаде, когда давали поручение. «Для блага революции выполните, товарищ Тимошин?» — спросил командир. У Андрея тогда даже запершило в горле и сердце забилось. До того это было важно. Важнее всего на свете. Для революции... Он сначала даже не мог ответить от волнения, а потом сказал: «Ясно, выполню!» Теперь еще раз вспомнил эту памятную для него минуту.

Ребята переглянулись. Семка крепко сжал тонкие губы и сдвинул густые черные брови. Он стал похож на брата, только без синяков и кровоподтеков.

— Конечно поможем,— ответил он.— Разве трудно. За голубями-то ведь мы лазили.

— Только не трусить,— предупредил Андрей.— Я ведь вас знаю: душу в пятках всегда готовы держать. Ну, пошли быстрее!

Он приподнялся, снял с плеча винтовку и прикрепил ее кусками проволоки к трубе. Потом все трое переползли через конек на крыше, опустились к водостоку.

— Андрюш, а как же ты залез сюда? — спросил Семка.

— С задних дворов, по пожарной лестнице,— ответил ему Андрей.

Они доползли до конца своей крыши, через секунду очутились на чужой, давно уже потерявшей окраску, ржа-

вой и дырявой. Дома в этих местах стояли, плотно прижавшись друг к другу.

— Обождите, ребята,— остановился Андрей. Он стал снимать сапоги.— Вам-то легко — вы маленькие, а мне трудно. Очень скользят, и шуму много.

Снял тяжелые солдатские сапоги и на секунду растерялся, не зная, куда спрятать, потом сунул их в дыру на крыше. Один сапог сейчас же провалился внутрь. «Нехай лежит,— подумал Андрей,— после найду». Поползли дальше. Железо с хрустом подминалось под тяжестью тел. Андрей и Семка ползли на коленях, а Тарасик передвигался сидя. Глаза его были напряженно устремлены в одну точку и косили. Волосы торчали, как иглы ежа, но вперед он двигался весьма решительно.

— Сейчас самое трудное будет,— шепнул Андрей, когда они добрались до четвертого дома.

Крыша здесь имела скат в одну сторону, к улице, словно это была только половина дома. Наклон крыши был очень крутой, и, хотя внизу у конца ее был невысокий каменный парапет, все же ребят легко могли увидеть с улицы.

— Ложись на живот! — скомандовал Андрей.

Ребята живо растянулись на крыше и, прижимаясь к самому парапету, тихо двинулись вперед. Пулеметная стрельба на улице кончилась. Одиноко звучали лишь винтовочные выстрелы. Эта крыша была недавно выкрашена и пахла олифой. Ребята ползли, чуть ли не носом прижимаясь к красной поверхности железа. Дул порывистый ветер, он свирепо трепал их одежду. Дом был выше остальных на этаж, и поэтому Андрей и мальчики устремились вверх по крыше, к самому ее краю, где кое-как можно было зацепиться и влезть на дом, в слуховом окне которого юнкера замаскировали пулемет.

— Стой! — шепнул Андрей.

До конца крыши осталось не больше метра. Ребята остановились.

— Вот здесь вы встанете,— продолжал Андрей,— только не во весь рост. Нагнетесь вот так. Поближе к стене. Одной рукой друг друга обнимите, а свободными руками упритесь в стенку. Понятно? А я влезу на вас — и туда. Хорошо?

Семка и Тарасик кивнули головами и встали так, как велел Андрей. Они обнялись покрепче и уперлись ладонями в шершавую и холодную кирпичную стену дома. Анд-

рей осторожно встал на их спины босыми ногами. У Тарасика задрожали колени. Он взглянул на Семку. У того сморщился нос и около виска надулась жилка. Андрей схватился руками за край зеленой крыши и, подтянувшись, закинул на нее ногу. Потом дернулся и очутился наверху. Впереди был чердак, там сидели пулеметчики. Семка и Тарасик легли на своей крыше и стали молча дожидаться. У обоих пересохло во рту, сильно бились сердца. Оба ждали чего-то ужасного, но чего — они и сами не знали.

Андрей осторожно полз вперед. В семи метрах от него, как скворечник, торчал зеленый чердак. «Тише, тише,— думал Андрей,— иначе все провалится». Он старался не дышать, но сердце билось очень сильно, и дыхание было прерывистым. «Надо успокоиться,— мелькало в голове.— Успокоиться, думать о другом. Можно о матери. Она уверена, что я все еще в плену у юнкеров. Плачет... Но я же вернусь. Только вот... Тише, тише... Конечно, вернусь, но ненадолго. Навещу и уйду опять на баррикаду. Было бы только все удачно. Из орудий уже не стреляют. Это перед атакой. Там, на баррикаде, сейчас ждут моего сигнала. И отец и товарищи. Их много. Не подвести бы. Потише надо, тогда все удачно будет. К матери я все же после атаки зайду. Я брошу в окно гранату и сразу же вниз. Командир скажет: «Отлично!» И мы пойдем в атаку. Тише только...»

До чердака осталось три шага. Андрей перевел дыхание и ощупал рукою гранату, потом оглядел вокруг себя крышу. Взгляд скользнул и дальше, по всему горизонту. С пятого этажа хорошо были видны окрестности. Впереди возвышался золотой купол большого храма, справа видна была река, пустынный Бородинский мост, безлюдная набережная. Напрягая глаза, можно было увидеть Брянский вокзал и стеклянное перекрытие над перроном, похожее на опрокинутое оцинкованное корыто. Сзади прокалывала сизые тучи игла польского костела, торчала башенка обсерватории. Куда ни смотрел глаз — всюду были дома, низкие и высокие, грязные и нарядные. Они стояли сумрачные и притаившиеся, словно заштрихованные серым карандашом; без единой струйки дыма из труб. И только на севере темнели клубы густого дыма.

Андрей вынул гранату и пополз, держа ее уже в руке. Два шага! Он подобрался к чердаку, но не видел еще

окна. Оставался один шаг. Андрей стал огибать чердак. Внутри отчетливо слышался разговор, смех, чиркнули спичкой. Андрей вздрогнул. Проклятые! Они смеялись точно так же, когда вели его, на лестнице кто-то из них ударил его в нос, хлынула кровь. Он ненавидел их сейчас так же, как ненавидел и раньше в доме, во дворе, на улице. С такой силой, что ему показалось, будто бы в его груди все обожжено. Андрей глотнул воздух. Он никогда не любил драк, но сейчас готов был хватать, душить и уничтожать этих людей. Их нельзя жалеть, нельзя! Ни в коем случае. Только что на баррикаде он видел своего близкого друга Лешку Прохорова. Тот лежал в канавке на носилках и прятал от него свои глаза. Пуля попала в живот, и Лешка умирал. Очень медленно. И прятал глаза, потому что боялся смерти и стыдился этого перед товарищем. Это было ужасно еще тем, что они собирались дружить всю жизнь. Юнкера разбили их дружбу. Хотелось плакать навзрыд. И еще кричать и делать что-либо такое, от чего было бы больно тем, кто так страшно убил Лешку. «Посмеетесь сейчас! Нужно быстро подняться, увидать окно, схватиться рукой за край чердака, другой сильно бросить гранату внутрь, а самому отпрыгнуть»,— подумал Андрей и сейчас же вскочил. В один прыжок он был на месте и увидел черное отверстие слухового окна, хоботок пулемета, который лениво двигался из стороны в сторону. Ему показалось, что он увидел удивленные лица, погоны, но, ничего не разглядывая, рванул запальное кольцо, схватился, как рассчитал, одной рукой за край чердака, другой быстро кинул в черную дыру гранату. Сам отскочил боком в сторону и ничком упал на крышу, нога его уперлась в водосточный желоб. Раздался сильный грохот. Андрею же показалось, что его скинуло вниз; ощущение падения было настолько естественное, что он с ужасом раскрыл глаза, но все было в порядке: перед самым его носом — зеленая крыша, слева от него — синяя, полная дыма пропасть! Чердак был разворочен. Листы железа по краям этой ямы загибались, как кусочки березовой коры. Сверху опускались какие-то черные хлопья и дым. «Жив!» — решил Андрей, но в глазах у него закрутились зеленые круги, а потом они стали красными, и Андрей опустил веки. Лицо его было черно от копоти, ухо в крови. Внизу на улице возобновилась стрельба. Андрей вдруг вскочил и на четвереньках пополз вверх. Те, кото-

рых он ненавидел со всей своей юношеской силой, были уничтожены. И он мог бы отдохнуть здесь, где уже ни ему, ни его маленьким друзьям не грозит опасность. Но Андрей упорно лез вверх.

— Сейчас будет атака, сейчас будет атака. Надо помогать,— шептал он и лез.— Юнкерам нельзя давать опомниться, нельзя.

В край крыши защелкали пули: его увидали. Но Андрей благополучно добрался до того места, откуда начинал свой рейд. В правом боку немного пощипывало, тряслись руки, но сердце успокоилось и билось нормально. Он посмотрел вниз и свистнул. На него глядели ребята. Они были бледны, молчаливы, неподвижны от страха. В первый момент Андрей не разобрал, кто где. Семка справа или Карасик, потом они вскочили и встали по-старому, упираясь ладонями в стену. Тогда он лег на край зеленой крыши и опустил вниз ноги. Поболтав ими, спустился на спину ребят и осторожно слез на крашенное красной краской железо.

— Ну вот, все вышло как нужно,— обратился он к брату.

И неожиданно для себя сел, словно его кто-то толкнул. В первый момент не понял, отчего это произошло. В боку уже ныло сильнее, и он сидел, поджав под себя ногу, невольно держась за бок. Ребята смотрели удивленно, и тогда Андрей расстегнул куртку и ощупал себя. Правый бок был мокрый. Он посмотрел на руку. Она была в крови. Тарасик при виде этого не выдержал и тут же заплакал. Семка кусал губы.

— Это ничего, ребята,— сказал Андрей,— пройдет. Я отдохну немного. Устал.

Он прилег на больной бок и повернулся лицом к кирпичной стене, чтобы ребята не видели его лица.

— Я сейчас позову кого-нибудь,— сказал Семка. У него блестели глаза, и он щурил их, словно они болели.

— Я быстро. Ты, Карась, посиди с Андрюхой.

С этими словами Семка отодвинулся от стены и пополз вниз, но едва он достиг парапета, как о кирпичи ударилось несколько пуль. Вверх взлетели кусочки камня. Семка откинулся назад.

— Иди сюда, нельзя ходить, тебя убьют! — крикнул Андрей.— Я же ничего, я отдохну. Мы переждем, юнкеров скоро выбьют. Сейчас наши пойдут в атаку.

Семка вернулся на старое место. На улице не переставая стреляли пулеметы. «Я ранен,— думал Андрей,— ранен... Откуда же быть крови? Но это не пуля, наверно, осколок гранаты. Царапнула... Может быть, и не опасно. Не так, как Лешку. Ведь бок не особенно болит. Просто жжет».

Ему и в голову не приходило, что рана может быть смертельной, он не представлял себе, что так вот запросто может умереть. «Смерть ведь наступает быстро. Бежал, упал — и все кончено. И не дышишь и не думаешь, а я вот все замечаю и чувствую... Сбоку сидят ребята. Я понимаю, что они напуганы. А вот по кирпичной стене ползет черная мушка или жучок. Как хорошо видны блестящие черные крылышки. Я же все вижу и понимаю».

— Андрюш, Андрюш,— тихо сказал Семка,— течет...

— Что? — спросил Андрей.

Приподнялся на локте и взглянул себе под ноги. По крыше вниз бежала тоненькая струйка крови. Она, извиваясь, исчезала у парапета. У Андрея сразу же похолодело внутри. Как это он раньше не заметил?

— Кровь? — произнес он.— Разве это кровь? Почему же так много? Да, это кровь. Вот неприятность.

Сказал это очень спокойно, но про себя взволновался страшно. Закрыл на минутку глаза, потом повернулся спиной к стене, чтобы не видеть крови. Подсунул руку под куртку и положил ее на больное место, прижал ладонью. Пальцы нащупали словно дырку в ребрах. «Нет, нет, это просто складка на рубахе! Ничего,— подумал он.— Все будет как следует. Это царапина. Обидно только, атаковать без меня будут».

Но сам знал, что не царапина. Уж очень много крови. И внезапно он ясно почувствовал, что это и есть та самая ужасная минута, когда особенно хочется ходить и бегать, кричать и смеяться, шутить с товарищами, что-то делать, даже вылезать озорно под пулями на баррикаду, жить! Перед глазами возникла струйка крови. И потом другое: он был когда-то на пожаре. На земле валялся большой пожарный шланг. Огонь уже был затушен. И шлангом не пользовались. Он лежал на земле, из него медленно вытекали остатки воды. Сначала вода бежала сравнительно быстро, а потом все медленнее и медленнее, и затем из медного наконечника вытекла последняя капля. Упру-

гий брезентовый шланг обмяк и стал тонким. Так и он. Скоро будет последняя капля! Андрей вздрогнул. Скорей же послать за помощью! Но потом он понял, что это пока невозможно. За ними следят юнкера, и крыша находится под обстрелом. Его маленький брат может быть моментально убит. Нет, до атаки этого нельзя! Надо терпеть! Он хотел тогда сделать себе перевязку, но побоялся отнять от раны руку. Ему казалось, что кровь вся уйдет из него сейчас же, как только он это совершит.

На улице умолкла пулеметная стрельба. Внизу закричали «ура». Опять раздались выстрелы. Беспорядочно стреляли с обеих сторон.

— О, это наши с баррикады пошли в атаку! — закричал Андрей.— Молодцы, молодцы. Смотрите же, скорей, скорей, как они там?

Ребята поползли вниз.

— Нет, нет,— сказал Андрей,— ты оставайся со мной. Пусть один Карасик. Он нам скажет оттуда. Ты, Карась, не бойся, ты смотри в дырку, в водосточную дырку. В тебя не попадут.

Тарасик лег у парапета и стал смотреть на улицу.

— Ну как, что там, что там видно? — волновался Андрей.

— Они бегут,— сказал Тарасик, глядя сквозь круглое отверстие водостока.— Вылезают из-за баррикады и бегут. Здорово наступают. Вот легли. Нет, опять вскочили. Они бегут с ружьями прямо на юнкеров.

— Правильно, правильно,— шепнул Андрей Семке,— они теперь возьмут эти казармы. Они мешали двигаться нам вперед. Теперь мы покажем офицерам. Как там, не видно с нашей стороны высокого в кожаной тужурке? — крикнул он Тарасику.

— Да... вон... Нет, не этот. Все очень мелькает.

— Тебе больно? — спросил Семка.

— Что? А, нет, нет. Мне очень хорошо,— ответил Андрей.— Высокий в кожаной тужурке — это командир, Сергей Петрович. Он будет очень рад, что я выполнил его поручение.

— Я все-таки сбегаю...— сказал Семка.

— Нет, теперь уж все равно. Мне не больно... Подползи-ка поближе,— подозвал его Андрей.— Знаешь,— шепнул он ему,— ты не говори маме, что меня видел здесь. Пусть она думает, что меня взяли в плен. Не смей пла-

кать! Мне бы сейчас музыку хорошую надо, а ты нюни распустил!

— Теперь наши уже вбежали в дом! — закричал Тарасик.— И в ворота и в дверь. И ружьями бьют в дверь. Мешки упали, мешки упали из нижних окон. С баррикад еще бегут. С флагом, с красным флагом.

Он уже не заглядывал в отверстие, а смотрел прямо через парапет. Выстрелы не прекращались, стали слышны еще глухие взрывы.

— Это гранаты,— сказал Андрей.— Ну, теперь дело в порядке, они там все разрушат...

— У тебя бровь дрожит,— заметил Семка.

— Ничего, это — от радости. Теперь здесь тихо станет, и мать не будет бояться. Скоро весь город нашим будет. Ты винтовку не забудь, возьми с собой и спрячь.

— Андрюш, мне жалко. Как же ты...

— Не плачь ты! Мне-то разве не жалко? Молчи!.. Ты знаешь Надю? Девушку из третьего дома? Ну, что рядом с нашим...

— Это твоя невеста, да?

— Что ты болтаешь? Откуда ты взял?

— Мы с Карасем видели, как вы целовались.

— Вот тоже выдумал. Мы просто с ней разговаривали. Так ты скажи ей, что меня, меня... ну, увезли. Схватили, связали и увезли, а я дрался. Так и скажи, что сам видел.

— Она не поверит.

— Нет, поверит. Я знаю, что поверит. Ты скажи, что здорово дрался. Ты скажи, там был толстенький офицер. Такой толстенький и розовый.

— Его убили, — сказал Семка. — Мы видели.

— Он был противный, как жаба. Такая зеленая... Нет, постой, кажется, розовая. Зеленая или розовая?

— Он что-то не так говорит,— шепнул Семке подползший Тарасик, которому надоело глядеть вниз.

— Молчи, молчи, — оборвал его Семка. — Почему ты ушел оттуда?

— Там уже ничего не видно.

— Ну так сиди и молчи.

Семка понимал, что с братом что-то неладное, но не знал, что предпринять.

«Святой Николай-угодник, святой Николай, — говорил он про себя так же, как говорила во время всех несчастий его мать, обращаясь к темной иконке в кухонном углу.—

Спаси его и помилуй...» — Семка видел струйку крови, и его охватывал ужас, что он ничего не может сделать.

— Мы не пойдем с тобой больше ловить рыбу, — сказал Андрей и лег навзничь.

— Пойдем, что ты, конечно, пойдем, — испугался Семка. — Еще как пойдем-то.

— А? — поднялся опять Андрей. — Куда уж там! Течет, все время течет...

Он снова опустил голову и прильнул щекой к железу.

— Течет, как из дырявого мешка... Где же я читал про это: на полках лежали мешки с вином, и их прокалывали ножом? Вот и забыл... Ах да, это был офицер, тот толстенький. Он-то это и сделал. Так подстроил, что теперь все крутится. Видишь, Семка?.. Посмотри скорей, мне одному больно смотреть. Дрожит все...

Он лепетал еще, потом затих. В глазах у него мелькали зеленые и красные круги. Затем они стали расширяться. Все шире и шире. И от этого хотелось ему кричать.

— Знаешь что, ты все-таки посиди с ним, — сказал Семка,— а я сбегаю. Он не умер. Так не умирают. Он жив. Он просто устал. Ты посидишь?

— Да.

— Я побегу. Ты только не трусь. Он устал и заснул. Разве так умирают?.. Он, конечно, жив.

Семка быстро спустился к парапету и побежал по крыше открыто, не прячась. Стрельба прекратилась. На горизонте были разорваны серые тучи. Видно было, как догорал желто-лимонный закат и пепельные тучи отступали кверху. Андрей Тимошин шевельнул рукою и застонал. Около него, сжавшись в комочек, сидел Тарасик. А внизу в казармах шла рукопашная схватка между юнкерами и красногвардейцами. Дрались уже во втором этаже, и юнкера отступали, забираясь все выше, на третий и на четвертый этажи. Некоторые из них из малодушья выбрасывались из окон на мостовую и жалко умирали на камнях, боясь встретиться лицом к лицу с теми, кто победно поднимал красное знамя над великим городом.

1938

ВЛАДИМИР БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

НАША ВЗЯЛА!

Последняя ночь Октябрьских боев. Я получил приказ пробраться в штаб белых, доставить пакет.

— Ультиматум,— сказал кто-то мне на ухо.

Предельную усталость, когда подкашиваются ноги, а от бессонных ночей так мучительно клонит ко сну, что порой теряешь сознание,— при одном только слове «ультиматум» как рукой сняло, словно тела коснулся электрический ток. Я вздрогнул: «Ультиматум»,— значит, наша берет!..

В моем распоряжении закрытая машина «Красного Креста». Мне указали на двух вражеских парламентеров. Они в поношенных шинелях. Это переодетые офицеры.

Получив соответствующий пропуск, я вышел с ними на улицу. Офицеры быстро юркнули внутрь машины и торопливо захлопнули дверцу. Я взобрался на открытое сидение рядом с шофером.

Тихо, осторожно, с потушенными фарами повел шофер машину. Вокруг ни одного огонька. Все потонуло в глубоком мраке. После шума дневных боев ночная тишина казалась подозрительной, настороженной, зловещей. Чутко прислушиваешься... Кажется, будто и ночь затаила дыхание. В этом мраке неожиданное появление машины могло вызвать подозрение и у своих и у врагов.

Тихо, словно на ощупь, подвигались мы вперед, но шум моторов и колес не мог не нарушить мертвой тишины. И справа, сотрясая воздух, подобно частым ударам молота по железному настилу, загремели выстрелы. Над нашими головами стремительно, со свистом, словно вспугнутые птицы, пронеслись пули.

— В нас стреляют! — взволновался шофер.

Сложив руки рупором, я крикнул во мрак:
— Свои! Большевики!
— Стой! — твердо прозвучал впереди зычный голос.
Машина стала. Из мрака вынырнули три фигуры.
— Кто такие?
— Свои,— ответил я, протягивая пропуск. В свете спички сверкнули штыки, осветились небритые, загрубелые солдатские лица.
— Проезжай!
Время от времени, оглашая воздух криком: «Свои! Большевики!» — мы продвигались вперед...
И снова:
— Стой!
На этот раз спичка осветила бравую фигуру матроса, его широкое, мужественное лицо. На бушлате блестят медные пуговицы. Змеей извивается вокруг пояса и скрестилась на груди пулеметная лента. В левой руке — короткий карабин. Рядом стоял, опираясь на винтовку, высокий, пожилой рабочий с сосредоточенным устало-серьезным лицом.
— Куда? — прогудел матрос. Я протянул ему пропуск. Пробежав глазами, бросил на меня строго-испытующий взгляд, вернул пропуск:
— Катись!..
Но вот и Арбатская площадь. Неожиданно, откуда-то, вероятно с крыши, забарабанили пули. Машина стала.
Шофер растерялся.
— Давай ход! Давай! — толкнул я его. Рванув машину, он оглушительно и, очевидно сдуру, заорал:
— Свои! Большевики!
Машина, перемахнув площадь, влетела в улицу, наскочила на труп и, испуганно завизжав тормозами, сразу остановилась.
— Стой! Стой! — кричали впереди какие-то новые, чужие голоса.
— Кадеты,— шепнул шофер...
Три штыка почти коснулись наших тел.
— Что?!.. Не туда попал?! — злорадствовал молодой голос.
— Сходи! — скомандовал другой.
— Ну! — последовала матерщина.
— Чего лаешься? — огрызнулся я.— Дело есть!
— Какое дело?

— В штаб!

Привыкшие ко мраку глаза различили фигуры юнкеров. На шум голосов из машины выскочили парламентеры. Отрекомендовавшись, они предложили пропустить нас.

В сопровождении офицеров-парламентеров я вошел в вестибюль Александровского военного училища. Ослепил свет. Здесь толкались, казалось, без цели, офицеры, юнкера, попадались казаки. Мое солдатское обмундирование, давно не бритое лицо сразу обратили на себя внимание.

— Большевик! Большевик!— раздались голоса.

— Матерый! Попался!

Пожилой парламентер взял у меня пакет и помчался по лестнице наверх. Молодой усадил меня на стул и поставил рядом со мной юнкера с винтовкой. Через минуту и он исчез. Теперь выражение лиц присутствующих резко изменилось.

Пакет, мой независимый вид и отношение ко мне офицера-парламентера — все это говорило, что я не пленник. Мое присутствие здесь казалось необычайным и вызывало любопытство.

Среди этой публики особенно выделялся молодой, но бородатый (для солидности) приземистый офицер.

— Что, товарищ,— произнес он иронически,— плохи ваши дела?

У него изо рта несло спиртом.

— Почему плохи?— спокойно спросил я.

— За милостью приехал?

— Почему за милостью?

— Бьют вашего брата?

— Кто сказал?

— Я говорю! Я! — крикнул он, раздраженный моим спокойствием.

— Керенский и генерал Краснов разгромили красных под Петроградом. Вдребезги разгромили! Известно ли это «товарищу»? — кричал он, насмешливо произнося слово «товарищ» и хитро подмигивая своим.

— А у меня сведения иные,— произнес я с деланным равнодушием.

— А именно, какие? Какие?..

— Интересно послушать,— послышались нетерпеливые голоса.

— Насколько мне известно,— сказал я,— Керенский показал пятки, а генерал Краснов взят в плен!..

Взорвись бомба, она не произвела бы такого эффекта. Тут я понял: рядовая масса белых до последнего момента (как это потом и подтвердилось) была ложно информирована.

— Врет он, большевик! — завизжал тенорком бородач.

— Врешь! Врешь!

— Панику пришел наводить! Панику!

Наполовину обнажив клинок сабли, он шагнул ко мне, зверски закусив губу. Юнкер загородил ему дорогу штыком. Сдержав себя, я все так же спокойно осадил его:

— Не шуми, борода! Не шуми! Пожалеешь!

Последнее слово я произнес загадочно. Бородач вытаращил глаза. Я решил нанести второй удар:

— Если кто из вас, господа, сомневается в моих словах, пусть потерпит немного. Скоро узнаете... Скоро!

Это был нокаут! Не скрывая своего смущения, все отступили.

...Тревога! Где-то близко на улице стрельба. Сверху с лестницы бегом, щелкая затворами винтовок, спускались юнкера и офицеры. Стремглав бежали на улицу. По лестнице почти скатился старый сухощавый полковник.

— Кто смел снять посты? — истерически кричал он на дежурного офицера, сидящего в стороне за отдельным столиком.

— Кто смел? Кто? Кто?

Дежурный, вытянувшись и отдавая честь, что-то бормотал.

«Наши нажимают»,— подумал я.

Постепенно звуки выстрелов стали ослабевать. Тяжело дыша, возвращались юнкера и офицеры. Вестибюль вновь наполнился людьми. А через некоторое время сверху и снизу донеслись голоса:

— На собрание!

— На собрание!

Вестибюль мигом опустел. Остались только часовые и дежурный. Шум и говор в комнате справа затихли. Потом монотонно зазвучал чей-то голос. Как ни напрягал я свой слух, я мог только уловить обрывки фраз:

— Сдать оружие... Демаркационная линия... Советы...

Но вот чтение закончено. Последовала короткая пауза... Потом зашумели, закричали. Кто-то пытался возражать, но яростный голос резко оборвал:

— Смирно! Молчать! Это вам не большевистское собрание! Разойдись!

Как прорвавшаяся плотина, шумно выходила из комнаты толпа. Рыжий офицер со всклокоченными волосами орал:

— Продали! За тридцать сребреников продали!

Ему вторил тенорком бородач:

— Ох, и влетит же нам от большевиков!

Я понял: ультиматум принят...

Опустив голову, ни на кого не глядя, сопровождаемый небольшой свитой, спускался сверху среднего роста полковник в сером френче. Он был бледен. Это был полковник Рябцев, командующий силами врага в Москве. В его свите среди военных выделялась фигура в черном пальто и шляпе. Это был один из лидеров меньшевиков. Ко мне быстро подошел пожилой офицер-парламентер все в той же солдатской шинели.

— Едем в думу! — торопливо сказал он.

В думе предстояла встреча с представителями Военно-революционного комитета. Полковник Рябцев и весь его штаб втиснулись в машину Красного Креста, а я, как и раньше, взобрался на сиденье рядом с шофером.

— Едем в думу офицеров сдавать! — радостно шепнул я на ухо шоферу. Шофер только крякнул в ответ и с места рванул машину.

По городу изредка кое-где еще гремели выстрелы, но ночь уже не казалась мне такой напряженной и мрачной. Вдали чуть обозначилось какое-то светлое пятнышко.

— Наши,— сказал шофер.— Должно, костер развели, греются. Надо предупредить.

Я сошел с машины и зашагал вперед к этой светлой точке. Сложив руки рупором, бодро и весело, во всю мочь, крикнул:

— Свои! Большевики!

Оттуда донесся чуть слышный голос в ответ.

По мере приближения к своим я чувствовал все нарастающий прилив радости, как после долгой разлуки с самыми близкими и любимыми людьми.

— Свой! Свой! — звонко и далеко разносился мой голос.

— Давай! Подходи! — приветливо отвечали мне.

Машина двигалась следом за мной. И вот открылась слабо освещенная отблеском скрытого костра баррикада из бревен, булыжника и афишных тумб. Над баррикадой торчали дула, штыки и видны были головы солдат и рабочих. Меня буквально распирало от счастья. На баррикаде мне отвечали дружными улыбками.

— Подходи, товарищ, подходи! — просто и сердечно приглашали товарищи.

— Наша взяла! — задыхаясь, мог только выговорить я.

Но и этих слов было достаточно, чтобы товарищи поняли весь смысл их. Одним могучим рывком, как колоду, отбросили они в сторону тумбу.

— Проезжай, браток! Проезжай!

Машина рванулась в образовавшийся проход.

Итак, я выполнил свое задание. Оставив машину у городской думы, с трудом передвигая ноги, я пешком направился в штаб. Штаб Красных, Штаб Революции.

Предутренняя сырость и холодный ветерок не охладили моего пылающего лица; сердце переполнилось невыразимым чувством великой радости. И хотелось крикнуть на весь мир:

— Наша взяла! Наша взяла!

1939—1957

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

(Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске)

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот — именно 25-го, ни раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве — там решается почти все.

Там будет нужна наша помощь: мы должны им сказать, что сами готовы, что можем дать своих лучших солдат, что здесь, у себя, мы — победители.

Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и он победил, что и он готов к помощи,— только тогда победа. Деревня победит вослед... Мы это знаем и лихорадочно готовимся к роковым, решающим дням.

Рабочим за октябрь выдано по пяти фунтов дрянной муки. Больше не дадут ничего, надежд на близкую получку нет, достать неоткуда, а покупать им не на что и негде. Положение роковое.

Мы приходим на митинги, многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам.

Приходим, сами до тошноты голодные, говорить с ними о голоде.

— Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами — откуда мы добудем хлеба?.. Ближнюю неделю так и не ждите, не будет совсем... А там... там, может быть... твердо не заверяем, а надежда есть... Вы за октябрь получили только пять фунтов — это тяжело; но что же делать, коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуем...

— И картофельной-то нет,— простонет из гущи со

скорбью ткачиха, и ей глухо отзовется старая, строгая, мрачная соседка:

— Ах ты, господи, что же делать-то будешь...

— А вот что,— взвизгнет откуда-то женский крик,— вот что делать: у меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь, словарь какой нашелся (это уже к нам), на что мне слова твои, ты хлеба дай, хлеба, а то мне — тьфу на тебя... Вот што...

Это мать. Она не говорит, а, прыгая на месте, пронзительно и часто причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, ее уговаривать невозможно.

Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи, они понимают голодную мать — не помешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. И мы замолчим.

Так одна за другой, заражаясь скорбью, вспомнив плачущих голодных ребят, еще больней, еще острей почувствовав вдруг свою муку лишений, женщины-матери, измученные ткачихи взывают о помощи, бранят и проклинают — кого?.. Сами не знают кого, голосят, словно у дорогого гроба...

Спокойны, строги, серьезны, стоят без движения ткачи...

Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать; говоришь — и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из Совета, от этих вот стоящих на бочках людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий, голода, болезней и лишений на каждом шагу и каждый миг: свои, не обидятся.

Пробовали на эти митинги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали сами кричать, только по-своему, по-мясницкому... Их узнавали, иной раз колотили, выбрасывали из рабочих дворов:

— Не лезь в чужое дело — здесь свои бранятся, сами и столкуются...

Над толпой проносятся слова:

— Мы опутаны изменой и предательством. Правительство бессильно: оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами, не дает крестьянам зем-

лю... Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы все можем сделать!

— И сделаем... Но лишь тогда, когда власть возьмем в свои руки!

— Верно, верно! — вырывается из сотен и тысяч грудей.— Вся власть Советам! Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!

Забыли про голод, забыли про тяжелую нужду,— вот они стоят, рабочие, готовые на борьбу, самоотверженные, сознательные, неумолимые в своем решении...

— Подходят дни,— мчатся новые обжигающие слова,— последние дни. Решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою... Готовы ли вы, ткачи?

— Мы всегда готовы...

— Так знайте же, что в близком будущем нам придется постоять на посту!

Окончено собрание,— зашумела, заговорила, заволновалась толпа, рассыпалась, потекла в разные стороны...

Рабочие были готовы встретить врага.

На железной дороге — в депо, по мастерским, у водокачки — шныряли какие-то шептуны, задерживали рабочих, уверяли их, что надо скорее остановить движение, потому остановить, что в Питере и Москве захватчики хотят отнять народную власть... Им не надо, говорили, давать помощи, их надо оторвать от всех, оставить одних, там и добьют их молодцы юнкера...

Рабочие недоуменно смотрели на агитаторов, потом шли в железнодорожный комитет и докладывали об этом своим «вожакам». Хотели шептунов изловить, да пропали,— так и не узнали, откуда взялись, кто подослал...

Иваново-вознесенские железнодорожники по всему обширному узлу приносили немалую пользу в Октябрьские дни. Они всегда были с рабоче-солдатским Советом, имели в нем своих представителей, ничего не делали поперек его воли, обо всем договаривались вовремя.

Выбиваясь из сил, чинили паровозы и вагоны; справляли маршрутные поезда, гнали их за хлебом... В самую горячку восстания они перевозили в Москву наши рабочие отряды помогать москвичам... Железнодорожники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи, они были также готовы к действию.

В городе стоял 199-й запасный полк. В нем 11-я, 12-я, 14-я роты, а обучена из них и готова одна лишь 11-я. Ну что ж: и одна рота при случае сделает немалое дело.

В казармах сыро, холодно, грязно...

— Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придется выступать... Подлое и гнилое правительство не хочет, да и не может отдать трудовому народу все, что принадлежит ему по праву...

— Давно бы так! — крикнул кто-то из серой массы.

— Долой предателей...

От стены к стене по каменному холодному корпусу метались грозные лозунги, ухали проклятья, торжественно и гордо вырывались и застывали над серошинельной массой святые клятвы идти на бой...

— Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится — отстаивать Советскую власть...

— Да здравствуют Советы! — провозгласил кто-то в установившейся на миг тишине.

И масса неудержимо, в каком-то исступленье закричала:

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

— Да здравствуют Советы! — еще раз крикнул тот же голос.

И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв...

Солдаты были с нами...

Так рабочих-ткачей, железнодорожников и солдат мы готовили накануне великих дней... Им скоро пришлось сражаться, только не здесь — в Москве, куда их отправляли на помощь.

С этой ли силой не победим? Кто же совладает с нею? У нас и сомнений нет, что победа будет за нами...

Все ближе подходят сроки...

Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей, и — они пришли.

Совет рабочих и солдатских депутатов помещался в Полушинском доме, на Советской улице — лучшего места для тех времен не найти. Куда хотите — всюду близко: до станции рукой подать, на фабрики тоже недалеко, вот они: Бурылинская, Полушинская, Дербеневская, Ганду-

рина, Ивана Гарелина, Компания, Зубковская — до любой по шесть минут ходу. А это важно: там черпал Совет постоянную энергию, видел поддержку, там получал указания, узнавал желания — фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе.

На пленумах Совета, всегда многолюдных, шумных и оригинальных, в течение шести-восьмичасовых заседаний, тянувшихся часто за полночь, каких-каких только не разбирали мы вопросов: не хватает хлопка на фабрике, угля, железа, тесу, красок — разбираем; где-нибудь кто-нибудь «хапнул», кого-нибудь оскорбили, поколотили, выгнали, наказали самостийно — разбираем; объявился шпион, подмастерья загрубили с рабочими, где-то надумали организовать детский приют, анархисты захватили купеческий дом, крестьяне укокошили помещичью усадьбу — разбираем.

Не было вопроса, который прошел бы, минуя Совет: все стекалось сюда.

Двадцать пятого на шесть часов вечера назначено было заседание Совета. Что за вопросы разбирались — не помню, только настроение в тот вечер было исключительное: спорили как-то особенно горячо, неистово, безо всякого соответствия значению вопросов, возбуждались быстро, реагировали на все болезненно, то и дело подавались ядовитые реплики; протестовавшие вскакивали на лавки, словно пузыри на воде: попрыгают-попрыгают и пропадут. А там другие... И можно было видеть, что все эти разбираемые вопросы — не главные, что на них только вымещают что-то кипящее внутри, вот то самое главное, о чем так хочется говорить, чего ждут не дождутся собравшиеся делегаты... Ведь сегодня 25-е. Может быть, утром... может быть, в ночь придет... А может быть, и теперь, вот в эти самые минуты, гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь... Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче...

Три раза пытался я связываться с Москвою телефоном — не выходило. Наконец дали редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:

«Временное правительство свергнуто!»

Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говорив-

ших, — встала мертвая тишина,— и, четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!..

Через мгновение зал стонал... Жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели:

— Товарищи!.. товарищи!.. товарищи!..

Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с размаху едва не метнул его в толпу. Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой бессвязный гул...

Кто-то выкрикнул:

— «Интернационал»!

И вдруг из хаоса родились, окрепли и помчались звуки священного гимна... Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Мы не только пели — мы видели перед собой наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да, это поднялись рабочие рати.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Эти вести из Москвы — вот он и грянул великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей»...

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да-да, все как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в подполье рабы, за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам,— может ли ошибаться эта песня, вспоенная

кровью мучеников?.. Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..

Первые минуты бешеной радости прошли, но еще долго не могли улечься суетливость, нервность, торопливость. Вспоминалось, как два месяца назад, в «корниловские дни», вот так же, как теперь, сидели мы на этих самых лавках и торопились решить: что делать?

Да, так что же делать, с чего начать? Мы ведь пока узнали лишь о том, что «Александра IV» нет,— так Керенского в шутку звали у нас солдаты. Но дальше? Идет ли сражение, или окончилось, да и было ли оно вообще? Разговор по телефону оборвался в самом начале, его, быть может, оборвали сознательно, чтобы не дать нам знать про все, что совершилось. Мы еще не знали тогда о предательской, подлой роли, которую разыграли в великие дни некоторые ивановские почтово-телеграфщики, но предчувствие недоброго было уже у многих. Посыпались градом предложения — страстные, энергичные, но все больше какие-то фантастические, для дела совершенно негодные.

— Выслать немедленно в Москву на помощь наш полк, а во главу дать членов Советского Исполкома...

— Идти по фабрикам теперь же, сию минуту, оставив рассуждения, фабричными свистками собрать рабочих, объяснить положение, организовать на месте батальоны и слать их в Москву.

— Прекратить временно всю гражданскую работу, всем влиться в полк; одним — организаторами и политработниками, другим — стрелками...

Как это бывает всегда в подобных случаях — пока горячие головы фантазировали, другие за них думали, соображали, взвешивали обстоятельства, прикидывали разные возможности.

Было постановлено коротко:

Так как с Москвой и Питером подробности не ясны — будем их добиваться, а пока, вслепую, ничего не предпринимать. Это во-первых. Во-вторых, заняться организацией обороны у себя и помнить, что Иваново-Вознесенск, хотя и неофициально, является признанным центром огромного промышленного района, который надо обслужить, организовать, спаять, приготовить ко всем неожиданностям серьезного момента. В-третьих, создать особый боевой орган, которому вверить на самый горячий период все дело борьбы.

Орган создали, назвали «Революционным штабом», выбрали нас пятерых, дали общую директиву:

«Держитесь крепко, смотрите зорко».

Штаб ушел для выработки срочных мер.

Советское заседание продолжалось, но, видимо, путалось, не клеилось, да и не могло в такие минуты оно продолжаться,— попросту делегатам не хотелось уходить.

Через короткое время мы воротились и сообщили, что ставим сейчас же по всему городу караулы и специальную охрану в нужные места: на железнодорожную станцию, на телеграф, на телефонную станцию — всюду посылаем рабочий контроль; принимаем меры к оповещению города и окрестностей о событиях; связываемся тесно со всем районом; берем кого надо под надзор, намечаем заложников и так далее и так далее,— словом, те самые меры, которые мы применяли постоянно в решающие минуты. Совет одобрил — работа закипела. Делегаты разошлись. Наутро весь город знал о происшедшем. На железной дороге создали свой специальный орган; в полку уже сам собой организовался из пяти человек Военно-революционный штаб.

Непрерывно работал телефон — это нас тревожили каждую минуту Родники, Тейково, Шуя, Вичуга, Кинешма — все крупные рабочие центры; они не давали нам покоя точно так же, как мы Москве; что мы узнавали — сейчас же передавали дальше,— и в результате обширный район почти в одно время узнавал самые свежие новости... На телефонах буквально висели, устанавливались очереди, каждому отдельному рабочему центру назначали свои часы.

Наши рабочие восторженно встретили весть о перевороте: они собирались огромными массами по фабрикам, слушали советских депутатов, жадно ловили новости, присылали за ними своих посланцев, то и дело с песнями, с флагами кружили около Совета.

Железнодорожники посылали свои делегации с клятвами дружно работать, с заявлением о готовности умереть за Советскую власть.

Полк в боевом вооружении, блестя щетиною штыков, уже не раз демонстрировал перед нашими окнами...

Первые ночи не спали сплошь. Из здания Совета почти не выходили: разве только на час-другой съездишь по вызову куда-нибудь на фабрику.

Многие среди бела дня, не выдержав усталости, бросались на голые просторные столы и так засыпали под общий гвалт, под визг и хлопанье дверей, телефонные звонки, хрипы автомобилей, трескотню мотоциклеток.

Здание Совета представляло собой настоящий вооруженный лагерь: кругом рабочие с винтовками, на окнах пулеметы, у нас у всех торчат за поясами револьверы, многие увешаны бомбами, иные хватили лишку: протянули через плечо пулеметные ленты.

Первая ночь прошла. В три часа дня назначено заседание Совета. К нам приходят сведения, что на почте-телеграфе неблагополучно: служащие собираются кучками, о чем-то сговариваются, контроль наш совершенно игнорируют, всячески его оттирают, при случае глумятся и все время провоцируют — вызывают на брань.

Уже несколько телеграмм послано в Москву помимо контроля. Ясное дело, что тут затевается что-то неладное. Но как, как дощупаться до всего? Откуда возьмем знатоков дела? Кто поможет? Провести любого из нас не составляло ни малейшего труда. Мы хорошо понимали, что контроль наш действительно лишь «постольку поскольку», что если и не будет обмана, то не по дозору, а единственно из страха «спецов» перед нашим крутым наказанием.

В двенадцать часов почтово-телеграфщики заявили Совету свой протест по поводу контроля, «потребовали» его убрать, угрожая в противном случае приостановить работу. Они ссылались на беззаконность и ненужность самого мероприятия, то есть постановки контроля, указывали на грубости, которые якобы позволяли рабочие, говорили о том, что контроль осложняет всю технику дела и дальнейшую работу делает окончательно невозможной; что, наконец, у них, почтово-телеграфщиков, есть свой Центральный Комитет в Москве, и они еще не знают его точки зрения на нашу меру, и если точка зрения ихнего ЦК будет отрицательная, тогда, дескать, «во имя профессиональной дисциплины они не могут нарушить» и так далее и так далее.

Мы эту дребедень выслушали. Понимали, что за пустыми словами кроется самое явное, самое недвусмысленное дело: им немила рабочая власть, они борются за Временное — увы! уже свергнутое — правительство... Но от репрессий мы пока решили воздержаться, предложили им

выбрать представителя и прислать его на сегодняшнее заседание Совета в три часа.

Представитель явился: такой фертик в воротничках и манжетах, с высокомерным, надменным лицом... Впечатление производил отрицательное. Держался нагло, почти смело — будто за спиной у себя чувствовал непреоборимую силу. Надо сказать, что вокруг почтово-телеграфщиков уже стала группироваться беленькая, серенькая и даже совершенно черная интеллигентская обывательская масса.

Представителя фактами прижали к стене и заставили сознаться, что никаких оскорблений от рабочих контролеров в сущности не было, что технику дела контроль не убивает и так далее.

— В чем же дело? — задаем ему вопрос.

Минутку помялся, а потом заявил:

— Мы, организованные демократы почты и телеграфа, прежде всего являемся людьми совершенно беспартийными и к политике никакого отношения не имеем... Свою работу как вели, так и будем вести. Нам все равно, чьи отправлять телеграммы: ваши или фабрикантовы. Это мы и будем делать... Контроль требуем снять немедленно, а когда явится надобность в Совете — мы сами сюда пришлем извещение. Мы также думаем, между прочим, что власть должна быть выбрана всем народом, а захватов никаких поощрять не станем. Поэтому выбранное всем народом Временное правительство признаем как единственное законное и станем помогать...

Молодцу не дали договорить — поднялся невообразимый шум. Рабочие вознегодовали, услышав в своей среде вызывающие речи этого господина. Когда волнение поулеглось, представителя отпустили восвояси, только наказали ему снестись со своим московским ЦК и назавтра, к заседанию Совета, представить результаты переговоров.

Но каково же было удивление, когда наутро — это было 27-го — почта и телеграф объявили забастовку и прекратили работу. Что было делать? Мы оказались изолированными. Железнодорожники обещали пару-другую телеграфистов и телефонистов, но что же с ними одними поделаешь!

Сейчас же созвали к Совету рабочих, набрали группу хоть кое-что понимающих, послали их на место забастовавших.

В эту ночь и весь следующий день с телеграфом и телефоном намаялись мы немало.

Помню до сих пор, как трудно достался мне один № 88 телефона, как отчаянно пошла кругом голова от всей этой работы. Сгоряча, видя, как трудно работать с «чужими», мы решили создать из ткачей свою армию телеграфистов, телефонистов, почтовиков и открыть для этого в ближайшие дни специальные курсы.

Но дело обернулось по-другому — никаких курсов создавать не понадобилось.

На следующий день, 28-го, всю эту забастовавшую ораву (их было человек двести) мы арестовали и проводили в столовую Куваевской фабрики: помещение холодное, неприветливое, угрюмое.

Сначала арестованные геройствовали, держались с большим гонором, на что-то надеялись, чего-то ждали. Но чем дальше, тем быстрее падало их настроение.

Было уже, помню, около десяти вечера. В Совете шло заседание.

Решено было избрать теперь же человек двадцать из присутствующих, разработать специальные вопросы арестованным и ночью же отправиться в столовую для допроса. Уже готов был вопросник, его перед самым отправлением передумали, и нам, четверым, поручено было отправиться на «политическую разведку».

Разведка удалась — она превратилась даже в настоящее сражение, и это сражение окончилось нашей победой...

— Кто такие почтово-телеграфщики? — спросили мы себя.— Представляют ли они единую массу с едиными интересами?

— Конечно, нет.

— Все ли они враги наши?

— Нет.

— Так нельзя ли их раздробить по сему случаю?

— Ясно, что можно.

И мы принялись дробить.

Обращаясь главным образом к почтальонам, прислуге, мелким чиновникам, мы указали, разъяснили им, где чьи интересы, и рекомендовали отколоться от «высоких» чиновников, высказав нам свободно и совершенно безбоязненно свое мнение.

Результаты были чудесные: после двухчасовой перепалки, споров, беседы, протестов, ультиматумов мы доби-

лись того, что заключенные «генералы» остались в жалком меньшинстве, а вся масса порешила бросить забастовку, завтра же утром встать на работу, оставляя наш контроль и присоединяя к нему свой, для избежания технических осложнений. Отлично — мы согласились.

Политический вопросник остался неиспользованным. Арестованных выпустили. Перед тем как разойтись после примирения, спели даже «Интернационал», впрочем, слов они не знали и мычали за нами довольно сумбурно и нелепо.

Весь «инцидент» на этом и закончился.

Да диво ли! В рабочем центре, в таком котле пролетарском, как Иваново-Вознесенск, что тут могло быть за «движение», когда *рабочие фактически держали власть и до и после Октября.*

Дни были нервные, нервничали и мы: даже свой боевой орган, Штаб революционных организаций, не распускали целых две недели...

Как оглянешься назад,— дух захватывает от величественного пути, который открыли незабываемые Октябрьские дни.

1922

ГРИШКА

I

ГОРОДИШКО Мирополье стоял на горе. Из окна вагона он казался живописным: на зеленых склонах кое-где мелькали светло-голубые, светло-зеленые и темно-голубые маковки церквей, выше всего подымалось из зелени стройное белое здание.

Железная дорога проходила от города в шести километрах, по железной дороге проносилась мимо города жизнь. Редко, редко кто-нибудь направлялся от станции в рощу. Чаще всего проезжал на своей линейке Илья Иванович Пивоваров.

Линейка у Пивоварова новая, крылья ее окрашены в розовый цвет, красил линейку Гришка. Гришка держит в руках темно-красные вожжи и управляет золотистым жеребцом, не взятым на войну только потому, что засекается.

В прошлом году Илья Иванович ездил в губернский центр по делам и привозил оттуда целые ящики товаров, за которыми выезжали на подводе. Кое-что укладывали и на линейке — галантерею. А в этом году Пивоваров ездит неизвестно зачем, из всех карманов у него торчат газеты, а портфельчик каким тощим уезжает, таким и приезжает...

II

Ранней весной, когда только что оделись листвой вербы, Гришка выехал на станцию за хозяином. Это было гораздо приятнее, чем возиться в конюшне или перекладывать в магазине ящики. Кроме того, Пивоваров был приятный и разговорчивый хозяин, а Гришке только и приходилось с ним поговорить, что по дороге.

Гришка учился в школе и умеет довольно ловко читать. Илья Иванович несколько раз хвалил его. В школе Гришка привык к мировому устройству. Была, например, японская война, тогда убили Гришкина отца. А теперь тоже война — и убили на ней Гаврюшкина отца: всякому своя очередь. Высоко где-то царствовал царь, а еще дальше, за лесами, за ветрами и тучами, жили разные боги и святые угодники. О царе и о боге Гришка никогда не думал, но всем нутром своим чувствовал, что бог и царь Гришкой совершенно не интересуются. Гришка тихонько жил в таком именно мировом устройстве, работал у Пивоварова и получал три рубля на всем готовом.

Но вот, месяца полтора-два назад, царя, говорят, скинули. И в мировом устройстве что-то такое сдвинулось. Гришке, собственно говоря, и дела до этого нет никакого, а все-таки как-то интересно. И хозяин об этом часто разговаривает.

На станции Гришка недолго ждал Илью Ивановича. Он вышел на площадь веселый, румяный, даже подпрыгивал чуточку. Сел на линейку и сказал:

— Поехали.

Гришка чмокнул на жеребца, натянул вожжи: жеребец любил ходить на натянутых.

— Погоняй, погоняй, Гришук! — сказал хозяин.— Теперь некогда молоко возить. Раньше мы с тобой были обыватели, а теперь граждане. Дела другие пошли — молоко некогда возить.

В город ведет старенькая мостовая. Она называется «замостьем». На замостье булыжник от булыжника на аршин, а между ними разная дрянь и ямы. Кованое колесо провалится в яму, даже жеребец с рыси сбивается, а хозяин хватается за Гришку:

— Ишь ты, дорога называется, черт бы ее забрал! Правили, сволочи, дворцы строили да эполеты цепляли, а дорога хоть завались. Постой, Гришук, вот мы дорогу построим, дай с немцами управиться! Я тебя тогда на такой фаэтон посажу — во! Перышко на шапочку, а в руках не две вожжи, а четыре: пара — совсем другое дело!

— Пара, конечно, лучше,— говорит Гришка.— А кто теперь будет заместо царя?

— Народ будет, вот кто!

— А народу много...

— Ну вот и хорошо, что много. Из двух человек

один — дурак, а другой — сроду так. А со всего народу умного легче сыскать. Найдется кому.

Илья Иванович кивает на хаты, просторно разместившиеся по сторонам высокого замостья:

— Ишь живут! Соломенная жизнь! Привыкли и живут! На крыше солома, на воротах солома, на плетнях солома, на соломе спит, и в голове, кроме соломы, ничего нету. Другие государства все тебе делают: и часы, и очки, и коверкот разный, и манчестер, а у нас только солому умеют. А здесь построить нужно фабрику, например сукно делать. Сколько людей кормиться будет! Дело можно какое развернуть! Вот тогда мы с тобой и автомобиль купим!

— Это какой же? — спрашивает Гришка, немного пугаясь будущей сложности.

— О! Это, брат, чудо такое: без лошадей едет!

— Как поезд?

— Куда там поезд годится!

Гришка дальше не расспрашивает: ему все равно на чем ездить, главное, чтоб харчи были хорошие, а то в последнее время с харчами плохо стало...

III

Уже яблоки и арбузы поспели, когда снова выехал Гришка за хозяином на станцию.

Илья Иванович вышел на площадь сердитый и даже «здравствуй» не ответил. Сел на линейку и сразу заковырял спичкой в зубах. До самого моста возился с зубами. И только когда переехали мост, спросил неласково:

— Ну, пролетарий, был на этом собрании? Как там эти... выздоравливающие?

Гришке почему-то не хочется рассказывать о собрании — он вежливо чмокает на коня и отвечает между чмоканьем:

— Был.

— Солдаты разорялись?

— Как вы говорите?

— Солдаты были... Ораторы?

Гришка начинает вспоминать подробности собрания, и к нему приходит охота говорить:

— Солдаты больше говорили, а еще один из Благодухова здорово так говорил...

— Хе! Здорово, говоришь?
— Здорово говорил!
— А солдатня радовалась?
— Там не только солдаты. Всем понравилось.
— Понравилось? И тебе, значит, понравилось?
Гришка повернул к хозяину улыбающееся лицо. Из-под растрепанного козырька глянули на Пивоварова довольные, ясные глаза:
— Понравилось, а как же? Здорово понравилось!
— Хе! А что ж тебе, например, понравилось?
— Да все.
Гришка оперся черной ладонью о подушку линейки, и жеребец сразу понял, что можно идти шагом.
— И как это, чтобы войну кончать, потому что, говорит, довольно кровь проливать за их, сволочей.
— За сволочей?
— Так и сказал: за сволочей, за буржуев, значит, довольно кровь проливать! И власть Советам!
— О!
— Ага. Советы, сказал, должны быть для трудящихся. Кто трудится и работает. А кто не работает, того, говорит, к чертовой матери выкинуть.
— Действительно! Выкинуть! Разумный народ!
— Да, он разумный,— подтвердил весело Гришка.— Такой разумный! Прямо все хлопали и хлопали!
— А солдаты что?
— Солдаты больше всех хлопали. А он еще про одного говорил, про Ленина, и тогда тоже здорово хлопали.
— И ты хлопал?
— Ага.
— А чего ж тебе хлопать?
— А как же? А я что ж? Тоже... что ж... работаю.
— Да ведь ты Ленина не видел? Какой это такой, скажи пожалуйста, Ленин?
Гришка похлопал рукой по подушке, а на лице все то же довольное выражение.
— Ленин за всех трудящихся.
— Дурак ты, Гришка! Он за тебя беспокоится? Где он за тебя беспокоится? За тебя я беспокоюсь. Вон башмаки тебе купил? Купил. Деньги тебе плачу? Плачу. Кормлю тебя? Кормлю. А ты говоришь: Ленин. Пускай он тебе картуз купит, скажем...

Гришка поднял глаза на Пивоварова. В серых его зрачках отразились вербы, небо, какая-то радость и какое-то удивление.

— Спасибо вам, это я не говорю. А только он за всех.

— Значит, ты мой магазин заберешь? Хозяином станешь?

Гришка удивленно воззрился на хозяина.

— Да что вы, Илья Иванович! Зачем ваш магазин? Это ведь против буржуев так говорят! А ваш магазин, что же?..

Гришкины глаза погасли, он сердито глянул на жеребца: с какой стати шагом плетется и голову даже повесил.

— Но! Задумался!

Ехали молча до второго моста. И тут Гришка спросил:

— А вы видали большевиков? Хоть одного видали?

Пивоваров ответил неохотно:

— Вот добра нашел смотреть! Большевики!

— Интересно посмотреть: какие?

— Подумаешь...

Гришка почуял что-то неприятное в ответах Пивоварова. А ведь у Гришки приготовлены для него городские новости. Может, хозяин еще и развеселится. Правда, это не такие важные вещи, как политика, но все-таки интересно.

— А вчера Воротиловка горела... Куда тебе зарево! Ни одной звезды не видно.

— Воротиловка? — быстро спросил Пивоваров.

— Всю ночь горела. Ой, и здорово ж горела!

— Воротиловка?

— Ага. Мы с Гаврюшкой бегали.

— Много хат сгорело?

— Зачем хаты? Хаты все целые. Панский дом горел.

— Подожди. Как ты говоришь?

— Я говорю: панский дом. Хорошо горел!

— Да что такое?

— И солома, и конюшни, и клуни. Все начисто.

— Ай-ай-ай! — задохнулся Пивоваров.— Лошади там какие замечательные! Сгорели?

— Нет, зачем? Лошади нет. Лошадей мужики развели. Лошади у мужиков теперь. И машины. И так еще. Организованно!

— Ай-ай-ай!

— А чего? — оглянулся Гришка.— Мужики сказали: удрали паны в город, пускай там и сидят: и им спокойнее, и нам без хлопот.

Пивоваров почему-то до самого дома не сказал больше ни слова. Гришка чмокал, чмокал на жеребца, то натягивал вожжи, то отпускал, несколько раз оглянулся: непривычно для него было это молчание. Расстроился хозяин, видно, а может, и что-нибудь другое...

IV

На вербах уже ничего не осталось, а на замостье серая жижа закрыла и булыжники и ямы. Жеребец шел злой, шатался на ямах, спотыкался.

В городе возле управы стояла полусотня казаков. Откуда они взялись и для чего торчали в городе,— никто не знал. Говорили, что из этой полусотни будет сделан новый какой-то полк. Правда или неправда это, никто не знал, а казаки гуляли по улицам и ухаживали за девчатами.

Едучи на станцию, Гришка думал о казаках. Он тоже не прочь был сесть на коня и надеть черкеску.

Но это было не самое главное.

Самое главное было другое: в Петрограде Ленин выгнал Керенского, большевики взяли власть.

Пивоваров как услышал об этом, так и полетел в губернию. А чего ему летать, если и так все напечатано в газетах подробно?

На станционной площади Гришка насчитал человек двадцать из команды выздоравливающих. Они гуляли по площади, заглядывали на пути, собирались по три, четыре, болтали. С ними было несколько своих парней, миропольских. Гришка, привязав жеребца к столбику, прислушивался и присматривался к солдатам. Все говорили, что сейчас должны приехать большевики.

Из команды Гришка знает Власова. Подбородок у Власова маленький, тонкий, скулы широкие. Власов гуляет в старенькой шинельке, руки греет в карманах и посматривает на город.

— Вот постой, привезут мне сейчас того-сего. Хоть и не мой город, а поддам кое-кому коленом.

— А чего привезут? Чего привезут? — пристал к нему Гришка.

Власов засунул руки в карман по самые локти и смеется.

— Чего привезут? Пуки-туки-буки! Образца девяносто пятого года.

— Это ружья?

— Не ружья, деточка, не ружья — винтовки. Да ты помалкивай.

— Большевики привезут?

— Вот любопытный! Ну, а кто ж: меньшевики, что ли? Догадываться надо.

— А скоро привезут?

— Чего?

— Да эти...

— Ох, несознательный какой!

— Да чего я несознательный?

— Дубина просто! Ты ж видишь, что я с голыми руками. И другие. Чего ж ты орешь? Погулять выйти нельзя на станцию: так сейчас и пристанут.

Подошел пассажирский. Солдаты бросились к вагонам, но оказалось, что большевики не приехали. Гришке так стало досадно, как никогда в жизни не было. Солдаты собирались у входа и тихонько скучали. Но прибежал Власов, зашептал:

— Идет следом поезд. На Благодухов. И трехдюймовка с ними. Минут через двадцать будет... А этот чего здесь? Ох, и парень же любопытный!

— Какой это?

— Да вот этот, пивоваровский!.. Эй, парень! Вон бери своего хозяина.

Пивоваров вышел сам не свой, на Гришку и не посмотрел. Подошел к линейке и не садится, а стоит и смотрит куда-то, руку положил на крыло и пальцами постукивает. Гришка сидит на линейке, ожидает.

Хозяин вздохнул и полез на линейку. Поехали.

— Что в городе?

— А что в городе?

— Не понимаешь, что ли?

— Не понимаю...

— Казаки в городе?

— Большое дело,— казаки. Пока в городе.

— Как это ты разговариваешь?

Гришка опустил глаза, потрогал кнутовищем сапог, промолчал.

— Большевики, говорят, приезжают?

— А что ж?

— Что ж, что ж! Погоняй, чего плетешься!

Гришка ничего не сказал и погонять не стал: куда там погонять?

Все равно ямы.

Так и ехали молча до самого моста. А только вздернулись на мост, как оглушительно гакнуло сзади и пошло громом по свету. Пивоваров ухватил Гришку за плечи:

— Что такое? Господи!

А всмотрелся в Гришку, еще больше испугался: в серых глазах Гришки не отражается сейчас небо: они холодно смотрят на хозяина и улыбаются без шутки.

— Приехали, хозяин!

— Куда приехали? — с испугом оглянулся Пивоваров.

— К нам в город, большевики приехали!

И как бы в подтверждение этих слов снова взорвался мир, и снова резкий звон разошелся над городом.

Пивоваров закричал:

— Гони! Гриша, гони! Господи!

Взволнованный жеребец загремел по мосту.

— Да куда ж мы едем? На смерть, что ли? Сворачивай сюда! Сворачивай в этот двор...

По дороге навстречу шли два солдата. Они быстро шли под плетнями, всматриваясь вперед. Гришка неожиданно соскочил с козел.

— Куда ты, черт! — закричал Пивоваров.

Гришка глянул: под плетнями шли все двадцать, у каждого винтовка, а у некоторых и две.

— Власов!

— А! Любопытный! Возьми вон у него!

— Кого?

— Кого, дурень! Кого! Пуки-туки возьми!

— Да ну? — Гришка присел, может быть от удивления, может быть для того, чтобы лучше прыгнуть к винтовке.

— Ты что, сдурел?

— Дай ему, дай! Свой человек.

Гришка ухватил винтовку, сжал в руках перед собой. Его глаза теперь пылали серым, страшно горячим огнем.

— Власов, а где большевики?

— Ну и глупый ты, парень, просто непостижимо! Где большевики! Да ты ж и будешь большевиком, дурья твоя башка. Да довольно тебе болтать: в бой идем!..

Гришка только один раз ошеломленно хлопнул глазами, взял винтовку в правую руку, радостно вздохнул и пошел вперед...

1937

НАЧАЛО

СМОЛЬНЫЙ

1

ПОЕЗД подходил к Петрограду. Паровоз был стар, части его ржавы, товарные вагоны кренились набок, скрипели. В головной теплушке ехал отряд Красной гвардии с Ижорского завода. На одном из полустанков к вооруженным рабочим подсела старуха с кошелкой моркови и мешком картофеля. Красногвардейцы пели фронтовую песню про казака с Урала, чистили и собирали винтовки, добродушно посмеивались над пассажиркой.

— Ты, мамаша, одинока или замужем? — спросил рабочий с двумя револьверами за поясом.

— Вдовая,— весело ответила старуха.

— Замуж хочешь?

— В могилу мне пора, а ты шуточки! — беззлобно отозвалась старуха.— Вот приеду домой, поем картошки, а там что бог даст. А вы, внуки, воевать?

— Воевать, мамочка! — ответил молодой красногвардеец.

На шее у него висел огромный кисет с махоркой, товарищи подходили к нему, запускали в мешок руку и крутили толстые длинные папиросы. Прикуривали от угольков, тлевших на ржавом листе железа. Попросила табачку старуха. Ей дали, но взамен предложили испечь на весь вагон картошки. Старуха сказала на это:

— Я б спекла, только какие ж вы воины! В поход собрались, а сами не в ту сторону едете! Надо из города, а вы в город!

Красногвардейцы расхохотались. Молодой, с кисетом на шее, решил объяснить старухе, почему они едут в город, а не из города.

— Слушай, мамочка,— сказал он,— в Петрограде пар-

тия большевиков взяла власть над всей нашей Россией в свои руки. Понятно? Мы тоже большевики с самой колыбели, а для большевика первый враг есть помещик, фабрикант, кулак и всякая сволочь. Вот мы и едем на помощь нашему рабочему и крестьянскому правительству. Вот какие дела, мамочка! Так что прямая наша дорога ехать в город, а там — куда пошлют.

Старуха ближе придвинулась к говорящему.

— По-твоему выходит, что и враги у нас новые? — спросила она, о чем-то подумав.

— И совсем, мамочка, наоборот! Не новые, а самые старые-престарые враги, и твои они, и мои, и даже деда твоего враги!

— Значит, и Дубовского взашей погоните? — спросила старуха, сосредоточенно думая о чем-то своем.

— Какого такого Дубовского? — спросил молодой красногвардеец. Его товарищи приумолкли, вслушиваясь в беседу.

Старуха подняла с пола шомпол и, водя им, словно указкой перед невидимой картой, горячим шепотом заговорила:

— Дубовский — помещик наш. Под Псковом жил. Была у него сука Милка, и родила эта сука щенков, а сама сдохла. Моя мать тех щенков грудью своей выкормила. Крепостная была. Били ее, тиранили. А когда я родилась,— тут вот деревня Пустоши, а тут деревня Болоты,— обе эти деревни окрестили меня пёсьей сестрой. И пошла я с матерью в село Рудницы, что вот тут, подле Бежаниц. А там барин Брянчанинов да барин Елагин живут. Они моего отца в солдаты сдали. На двадцать лет...

Старуха кинула шомпол в угол и, утирая глаза грязным передником, зашептала что-то неразборчивое. Поезд с надсадой, одышкой и лязгом брал последнюю версту.

— Всякое говорят,— продолжала старуха.— Домовладелка наша, Зайцева, молебны служит, чтобы все по-старому было. Мне говорит: печать тебе ставить будут антихристовы наездники — все эти большевики. Это вы-то, внучки!

Красногвардейцы рассмеялись. Молодой, с кисетом на шее, внимательно оглядел старуху, покачал головой, заметив, что чулки на ее ногах разные: на правой — черный, на левой — коричневый. И захотелось ему сказать этой не-

знакомой старой женщине что-нибудь ласковое, теплое, такое, чтобы навсегда запомнилось...

— Тебе, мамочка, сколько лет? — спросил он ее.

— Шестьдесят восьмой, внучок. Как раз сегодня шестьдесят семь годков мне. Всего видела, всего перенюхала!

— А радости, получается, и не видела, мамочка,— сказал молодой с кисетом на шее.— Вот наша рабочая партия хочет и тебе и внукам твоим хорошую жизнь изготовить, понятно? Вот попомни наш тебе подарок! Одна живешь, мамочка?

— Одна, внучок. Только еще брат у меня есть, должен он в город приехать, жду. Земли там у него, во Псковской губернии, мало, плачут всем миром. Отписал мне, что едет хлопотать в город, да ночевать ему негде. В кухне я живу, из милости.

— Конец милости, мамочка! И слезам касательно земли конец! Точка то есть! Теперь вся земля наша! И ты живи как хозяйка! И голову держи вот как высоко! Ну, а мы вроде и приехали! Не плачь, мамочка, пришел черед другим заплакать!

— А картошки моей так и не поели, внучки! — спохватилась старуха.— Ну, воюйте, дай вам бог! Пули берегитесь!

Красногвардейцы вышли из теплушки, построились и пошли молча. Старуха взвалила на спину мешок с картошкой, в руки взяла кошелку и заковыляла по Лиговке. На углах стояли патрули из матросов и Красной гвардии.

В этот день Второй Всероссийский съезд Советов принял декреты о мире и земле и об образовании советского правительства — Совета Народных Комиссаров.

2

Старой армии уже не существовало, новая еще не была создана. Наступали немцы. Солдаты бывшей царской армии отказывались сражаться и покидали фронт. Полки, батальоны и роты поворачивали поезда в нужную им сторону и на полных парах подкатывали к своим Знаменкам, Усенкам и Липкам. Выскакивали из поезда на ходу, с песнями входили в свои деревни и здесь засыпали сразу на сорок восемь часов.

В Режице встречали немцев. Бывшие генералы, купцы

и чиновники ударили во все колокола. Готовились к встрече немцев и в Петрограде. Вечерний выпуск «Биржевых ведомостей» предложил своему читателю ответить на вопрос: «Придут немцы в Петроград или не придут?»

В цехах металлического завода голодные рабочие делали зажигалки, жены рабочих меняли их на картошку, хлеб, лук, пшено. Электрическое освещение в городе давали с восьми вечера до полуночи. На петроградских рынках за две свечи можно было получить три фунта хлеба, за бутылку керосина — двадцать квадратиков пиленого сахара. Больницы, театры, кинематографы и советские учреждения получили бронированный кабель, они пользовались светом с шести вечера до четырех утра.

В Смольном работали круглые сутки. Тысячи людей с утра до поздней ночи поднимались по скользким, мокрым ступеням главного входа, поворачивали налево и становились в очередь за пропуском. Комендант брал документ, вглядывался в просителя.

— Куда?

— За литературой. Во второй этаж.

— Много говоришь. Какая литература?

— Такая, которая. Много спрашиваешь!

Комендант кидал документ на стол и говорил своему помощнику:

— Пропустить в сорок шестую. Тебе куда?

— К Бончу-Бруевичу мне.

— Зачем?

— Надо.

— Зачем надо?

— С фронта.

— Твое удостоверение?

— Мое. Ты не томи!

— Крестик да медальку снять не мешало бы! Ты?

— Так это ж фотография!

— Вижу.

— Так сними, коли можешь! Посмотрю!

— Новую карточку прилепи, дядя!

— А ты командуй! Давай пропуск! Машина ждет. Звякни Гусеву, коли что. Поставили вас тоже...

Комендант улыбался и совсем нестрого приказывал своему помощнику:

— Дай этому георгиевскому кавалеру в шестьдесят первую.

В шестьдесят седьмую комнату пропусков никому не давали. У дверей комнаты № 67 стояли два красногвардейца. Они зорко и настороженно оберегали работавшего в холодной, неуютной комнате человека.

3

В ноябре семнадцатого года в комендантскую Смольного пришел бородатый, в зипуне и валенках, крестьянин. На вопрос коменданта: «Что надо?» — ответил:

— К начальнику.

— Какие тут тебе начальники! Говори толком!

— К председателю.

— Да тебе что нужно, отец? Из деревни?

— Мы из деревни. Псковские мы.

— Ну, и что же?

— Пришли мы, значит, поговорить с Лениным. Проведи к нему!

Комендант засмеялся.

— А тебе зачем к Ленину?

— Фу ты, какие у вас тут строгости! Не проводишь?

— Нет, отец, не провожу. Ленину не до тебя, некогда ему. Ты мне скажи, какое у тебя дело? Мы, может быть, и без Ленина решим. Садись.

Крестьянин сел. Комендант угостил его папиросой, предложил чаю. Шел восьмой час вечера, комендантская отдыхала. Крестьянин жадно потянул настоенный на брусничном листе кипяток, оглядел стены и запальчиво буркнул:

— Без богов живете!

Комендант улыбнулся.

— А ты зубы не скаль! Я шестьдесят девять годов с богом жил!

— Был счастлив?

— Всего бывало. А не смеялся!

— Чаще плакал, поди! Верно?

— Оно так. Только не пойму: то с богом, а то просто так, с голыми стенками! Пусть Ленин объяснит. Проводи к нему!

— Смешной ты, отец! К Ленину с такими пустяками!

— Не проводишь?

— Ни за что. Ленин занят, работает.

— А ежели просто так, посмотреть! Поблагодарить его желаю! Глаза раскрыл!

— Не одному тебе раскрыл, у меня они тоже хорошо смотрят. Поживи в городе — увидишь Ленина. С товарищами приходи, с ходоками,— понятно? Тогда Ленин поговорит, совет даст.

— Да не могу я, служивый, проживаться! У меня баба в тифу лежит. Помещика на днях жгли, душу грели. Наташка с богомолья вернулась, говорит, что бог все-таки есть. Проводи к Ленину! Он скажет — поверю!

— Глупости, отец! И мне нет времени с тобой калякать. Поди-ка ты вон туда, по коридору, поешь супу да каши, потом спать ложись.

— Куда ложись?

— Ко мне придешь, дам записку в общежитие. Завтра домой поедешь. Нехорошо больную жену одну оставлять.

— Оно нехорошо. Дай курнуть!

— Кури! Старый, а такой чудак. За богом приехал! Хозяйство у тебя какое?

— Изба у меня, собака, курица бегает. Барская пчелка залетает. Корова была. Тараканы есть. Тут, в городе, сестра живет.

Крестьянин выпил еще стакан чаю. В комендантской зазвонил телефон, затрещал звонок на стене. Комендант вскочил.

— Посиди, я сейчас! — сказал он крестьянину и выбежал в коридор.

По лестнице спускался Ленин. Он был одет по-зимнему, руки глубоко засунуты в карманы пальто, на губах играла довольная улыбка хорошо поработавшего человека. Ленин шел молодо и быстро, за ним едва поспевали Луначарский и Урицкий. Ленин остановился, поднял голову и громко сказал:

— Анатолий Васильевич! Поторапливайтесь!

Быстро сбежал с площадки второго этажа низенький, широкоплечий Урицкий и, оправляя на ходу пенсне в черной оправе, пошел следом за Луначарским — комиссар народного просвещения шагал неторопливо в своей длинной тяжелой шубе. Комендант остановился подле дверей, приложил руку к козырьку, поздоровался. Ленин пристально посмотрел в глаза коменданту, улыбнулся.

— Добрый вечер, товарищ комендант! Ну, как девочка?

Комендант смутился, сделал серьезное лицо и, шаря глазами по коридору, не глядя на Ленина, ответил:

— Это не у меня. Это вы, наверное, про девочку сторожа?

— Ну да, про девочку сторожа, конечно!

— Умерла, товарищ Ленин.

Мигнул красногвардейцу, отошел на шаг в сторону и вытянутой правой рукой попридержал какого-то человека в кепке. Человек нес чайник и кусок хлеба. Он прижался к стене и, не дыша и не моргая, смотрел на председателя Совета Народных Комиссаров.

— Умерла, говорите? Вот, ведь...— словно себе самому, неясным шепотом проговорил Ленин и боком вышел из узкого прохода. Подъехал автомобиль, шофер раскрыл дверцу. Первым прошел Ленин, за ним — Луначарский и Урицкий. Комендант долго глядел вслед автомобилю, потом, вспомнив о чем-то, зашагал к себе. Крестьянин сидел, пил кипяток и наблюдал, как огромный усатый красногвардеец чистит ржавый наган.

— Где был? — спросил крестьянин коменданта.

— А ты все сидишь? Вот что, отец, иди-ка в столовую, а потом спать ложись!

— Спасибо на добром слове. А Ленина повидать надо. Не пустишь?

Комендант молча писал записку в продовольственный отдел с просьбой выдать талон на обед приезжему товарищу. Писал комендант с трудом, пальцы его редко держали ручку с пером.

— Вот,— сказал он, подавая бумажку крестьянину.— Иди в семнадцатую комнату, там тебе все сделают.

— Золотой ты человек! — от всей души произнес крестьянин.— В следующий раз Наташку привезу. Наташка не я, Наташка достукается до Ленина! Ну, извини!

Еще раз оглядел все четыре угла комендантской, вздохнул и, протягивая руку золотому человеку, сказал:

— Коли так, работай с богом!

4

Сын красногвардейца Нарумова сидел на табурете и играл на балалайке. Инструмент был стар, разбит, колки развинчены, струны слабо натянуты. Нарумов и его жена

пили морковный чай и терпеливо слушали балалаечные польки и вальсы. Нарумов наконец не выдержал.

— Отставить! — сказал он.— Все равно музыканта из тебя не выйдет. Третий год играешь, а хоть бы раз ногой притопнул!

— Не обязательно,— ответил сын.— Дядя Вася двадцать лет на баяне играл и тоже ногой не притопывал.

— А как играл! — заметила Нарумова.— Другой так и на рояле не может!

— А он говорит! — Сын кивнул в сторону отца, ударил по струнам, топнул ногой.

Все рассмеялись и вспомнили, что в шкафу лежит хлеб, полученный на завтра. Нарумова встряхнула жестяную банку, в ней загремел сахар. Решили продолжить чаепитие. Сын отставил балалайку.

— Всякая работа свой притоп ногой требует,— сказал Нарумов.— В каждой работе своя манера есть, понятно? Вот, скажем, балалайка,— она требует притопа в полном смысле сути этого дела. Хороший балалаечник обязательно ногой по полу постукивает. Не стучит — значит, ремесленник он, и цена ему дешевая. Теперь возьмем гармониста. Ему притопывать не нужно. Он что делает? У него манера простая — он голову к ладам склоняет, он силу голоса слушает. Он, скажем, разворот мехов проверяет. Налей-ка еще стаканчик!

Нарумова слушали внимательно.

— Какое мое дело? — спросил он, глядя на сына.— Мое дело слесарное, у меня тиски. А у хорошего слесаря своя манера: чем мягче, округлее руки от тисков несешь — тем слесарь дороже стоит. У него рука думает. Кузнец — это совсем другое дело. У кузнеца один глаз завсегда прикрыт, когда он молотом бьет. Зачем? Затем, что другой глаз сам закроется, когда в левый, например, искра залетит. Да и не залетит она, глаз у кузнеца умный. Вот! Ну, а у нашей Красной гвардии, замечаю я, сторожкий глаз и полуоборот в сторону,— все ли, мол, в порядке? Потому что враг ужо силой попрет на нас, не по нутру ему наша рабочая власть. Ясно?

И сын и жена ответили: «Ясно». Нарумов продолжал:

— Потому и вырабатывается особая манера: начеку постоянно быть. Наша Красная гвардия в историю войдет.

Нарумова пила чай и на часы поглядывала: в два ночи нужно идти в очередь за хлебом. Сын понял, что это тоже особая, хозяйская манера. Он улыбнулся и ждал, что скажет отец по этому поводу.

— Вчера на Большом проспекте изловили убийцу,— начал отец.— Поставили к стенке, народ произвел самосуд. Я уговаривал — не помогло. Ну, расстреляли убийцу. За полминуты до смерти он крикнул, что у него есть помощница. Выволокли помощницу — бабу в буржуйском наряде. Народ стал расходиться. Привели бабу, поставили к забору. Увидела она труп своего любезного, покачала головой,— вот этак. И тут она улыбнулась. Это я заметил хорошо: улыбнулась. Ну, а в таком случае не улыбаются. Думаю: пригодится баба. Она нам порасскажет. А она и сама говорит: убить, говорит, всегда успеете, а я вам расскажу. Вы, говорит, обождите с полчасика.

— Рассказала? — спросила жена.

— Ошибка вышла,— ответил Нарумов.— Мы ее манеру в расчет не взяли. Сама на себя руки наложила. Привели в милицию, а она пить просит. Мы за водой, а она тем часом хвать со стола кольт и в самое себе сердце...

— Все равно — смерть,— шепотом произнес сын и потянулся за балалайкой. Отец схватил его за руку.

— Оставь! Не умеешь и не трогай! В девятом номере, под нами, квартирного хозяина на фронте убили. Сын остался, Лешка Гусев. О балалайке мечтает. Подари ему!

И улыбнулся — широко и светло, даже головой тряхнул.

— Ленина вчера слушал. Вот, у него все найдено! Он всю манеру вражескую чует! Сижу и думаю: такое счастье, что у нас Ленин есть!

Ударил себя по колену и сказал:

— Победим! С нашей партией победим! Тебе, Михаил, будущее изготовим! Не забывай отца, понятно? Вот только...

Часы пробили двенадцать. Нарумов встал, свернул папиросу, сплюнул в раковину, надел пальто, шапку с наушниками, взял винтовку.

— У Ленина точь-в-точь моя шапка,— сказал Нарумов, и голос его понежнел.— Ну, вылитая моя! Говорит это Ленин и глазом косит. Ну, приду завтра. Мой хлеб делите и ешьте.

5

Ленин заработался до глубокой ночи. Чуточку ломило виски, хотелось пить, но графин был пуст. Посылать за водой не хотелось. За окнами огромного полутемного Смольного металась вьюга, ветер с моря рвал голые сучья деревьев, играл с оторвавшимся листом железа на крыше. Ленин писал, прислушивался, улыбался и кому-то лукаво подмигивал. В глазах Ленина горел золотой, добрый огонек.

В Смольном разучились спать. Сердца и помыслы всех работавших в этом старинном доме невольно и вольно обращались к Ленину. Сердца и помыслы рабочих в городах необъятной России и солдат на фронте невольно и вольно обращались к Ленину. У большого дела был большой, умный мозг.

Не спал комендант Смольного, дежурил у телефона его помощник, у входа стоял часовой. Ленин сидел и писал. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров диктовал секретарю, в городе меркло и погасало электричество,— на одну минуту оно погасло и в Смольном.

Ленин встал, протер глаза, широко зевнул и сию же минуту снова сел к столу. Рука нащупала перо, бумагу. Припомнилась Женева, больница, операционная комната. Отнимали ногу фермеру, неожиданно погас свет, вовремя не распорядились, хирург растерялся, операция задержалась...

И вот сейчас, в минутной тьме, когда загрохотали по коридору чьи-то шаги и где-то послышался раздраженный разговор, Ленин представил петроградскую больницу, операционную комнату и хирурга над вскрытыми внутренностями больного.

«Есть ли у них там запасные лампы?» — подумал Ленин.

И записал на бумажке, лежавшей сбоку: «Больницы, инструменты». И поперек листа написал крупно и четко: «Ученые, питание». Подчеркнул эти слова, откинулся на спинку стула, нажал кнопку звонка.

Свет настольной лампы внезапно разгорелся особенно ярко. Ветер стучал в окно. В эту именно минуту сын красногвардейца Нарумова учил играть на балалайке Лешку Гусева, сына убитого на фронте солдата. Лешка играл и

притопывал левой ногой. Нарумов завистливо и в то же время одобрительно улыбался и говорил:

— Сегодня играешь, а завтра на войну пойдем!

— На какую войну? — спросил Лешка.— Мы мальчики еще. Нас не возьмут.

— Сами пойдем. Попрут на нас всякие разные, которым не по нутру наша рабочая власть,— я первый в помощь отцу соберусь. Увижу Ленина. Скажу ему что-нибудь. Отец видел Ленина.

— И я видел! — обрадованно произнес Лешка.— В Смольный ехал. Даже на меня посмотрел!

6

На входных дверях министерств и департаментов висели отпечатанные на машинке приказы и распоряжения. На стекле тяжелой дубовой двери департамента неокладных сборов, что у Биржевого моста, за подписью правителя канцелярии наклеена была бумажка — обращение к чиновникам и мелким служащим.

«Вменяю в обязанность,— говорилось, между прочим, в этом распоряжении — как чиновникам, так и всем прочим служащим департамента не приступать к работе до тех пор, пока не придут законные представители власти, кои и дадут дальнейшие распоряжения. Никакого доверия Ленину и его сподвижникам! Мужайтесь, граждане великой, неделимой России!

Правитель канцелярии *Н. К. Асташов*»

Бо́льшая часть учреждений занималась саботажем. Люди приходили, садились за свои столы, брали в руки перья и писали или письма своим родным и знакомым, или чьи-нибудь, случайно запомнившиеся стихи про умирающего лебедя и ликующий Рим. В четыре часа чиновники поднимались и уходили домой. Называлась такая работа «пережиданием событий». А события шли своим, положенным историей порядком. Народ приступал к войне за власть Советов. Ленин учил партию свою сложному искусству строительства, разрушения и борьбы. Чиновничья интеллигенция саботировала, пакостила, пережидала.

Первые русские эмигранты сколачивали первые белогвардейские газетки в Париже и Берлине.

К генералоподобному швейцару, охранявшему вход в министерство народного просвещения, подошел как-то в конце ноября семнадцатого года человек. Был он одет по-зимнему — в тулупе и валенках, на голове хозяйски сидела баранья шапка с наушниками. Оглядев наглую рожу упитанного холопа, его подбитую мехом красную крылатку, фуражку с позументами, человек усмехнулся и сказал:

— И не стыдно тебе этаким петухом на людях стоять?..— Толкнул дверь и прошел в вестибюль.

Швейцар неторопливо повернулся в сторону посетителя, оглядел его с ног до головы, спросил:

— Куда?

— Интересуюсь твоим курятником,— добродушно ответил человек. Сел на стул возле колонны, поглядел на стены, покачал головой.— Ох, гады! — от всего сердца произнес он.— Мало вам Николы, так вы еще Зосиму с Савватием повесили! Убрать бы надо, ваше благородие! Дым это один и ничего другого!

Швейцар подумал над тем, что и как ответить. Месяц назад с подобными посетителями не церемонились: брали за шиворот и отправляли куда следует. Сегодня этого не сделаешь. Все эти бараньи шапки, кепки, валенки, тулупы и бушлаты взяли власть и всерьез поступают по-своему. Что касается вот этого посетителя, то в одном случае он прав, в другом ровно ничего не смыслит. Об этом и решил поговорить швейцар. Он ближе подошел к незнакомцу и спокойно заметил для начала:

— Николай-угодник действительно присутствует. Ты, папаша, не ошибся! Своего деревенского заступника признал, это правильно! Но вот ниже висящая икона изображает учителей славянских — Кирилла и Мефодия. Это тебе не деревенский...— Швейцар наморщил лоб, подумал и многозначительно добавил: — И вовсе не деревенский кругозор мысли!

— С богами, значит, живете? — ехидно проговорил незнакомец.— Так! Шибко веруете? Понимаем! Какая ж это у вас тут контора? Какое дело делается? Целый каменный домина, а этакая тишина!

— А ты не комиссар? — спросил швейцар, на всякий случай предлагая посетителю хорошую папиросу. Не так

давно в министерство внутренних дел на место управляющего делами новая власть посадила малограмотного неспокойного человека в кепке. «Дожили! — подумал швейцар и с беспокойством вспомнил свое жалованье.— Двадцатое число, а денег не выдают. Казначей бастует, кассир болен, делопроизводитель и столоначальники разговаривают по-французски и ни словечка не пишут по-русски, словно разучились. Ежели подумать, так, может быть, окажется, что ты всю жизнь служил мошенникам, собакам, дармоедам. Хотя и такие вот доверия не внушают. Придут, сядут, и все это без воспитания и формы. Нехорошо».

— Буду ужо комиссаром! — помедлив, ответил незнакомец.— Только не у вас,— тут, я вижу, делать нечего. Народу никого, людей тоже, моторы не подъезжают, шкура на тебе холопская, борода барская. Что тут у тебя за контора, говори!

— Министерство народного просвещения,— сквозь зубы процедил швейцар.— Отсюда на всю Россию грамота идет!

Незнакомец захохотал. Швейцару это не понравилось, и он серьезно и важно заметил:

— Умному от нашего учреждения польза и наука, дураку и хаму смехи и глупость.

— А далеко уходила ваша грамота? — спросил незнакомец.

— По всей России, как выше уже сказано!

— Вот то-то оно и есть, что как сказано! А на самом деле до нашего села не дошла! До меня, к примеру, не дошла ваша грамота! Казенка перешибла! До Наташки не дошла — нужда отняла. До брата моего не дошла — господа эту грамоту переняли!

— А я думал, что ты комиссар...

— А я думал, что ты нашего поля клюква, а теперь вижу,— ты с дядина огорода баринов хрен!

— Иди-ка ты, гражданин, откуда пришел! — рассердился швейцар.— Мешаешь ты тут! Старый человек, а относительно просвещения глуп как пробка! Ужо, погоди, не вечно!

— Это да! Касаемо грамоты, которая шла да не дошла, это, конечное дело, не вечно! Теперь мы пустим! Теперь дойдет! А ты дурак! Вырядили тебя, что актера в пожарном депе на спектакле, а мозги на барщину пустили!

Закурил самокрутку и хозяйственно проговорил:

— Ухожу, видишь? Обедать в Смольный ухожу, понимаешь? А ты иконки сними! Посылали их до нас, доходили! Грамотны по этой части! Ну, будь здоров, ежели сумеешь!

7

Автомобиль трясло, отвратительно пахло бензином, у Ленина болела голова. Он уставал, недосыпал, порою не было времени пообедать, но работы предстояло не мало. На всю жизнь, и на жизнь многих поколений.

Ленин сидел, чуть наклонясь вперед, наморщив лоб и улыбаясь. В городе было по-осеннему ненастно и сыро, дома угрюмы и облезлы, небеса унылы. Автомобиль трясло. На одной из выбоин на неширокой грязной улице автомобиль тяжко накренился набок, но под умелой рукой водителя легко выправился и неторопливо, без толчков, помчался серединой дороги. Ленин схватился рукой за ремень дверцы и улыбнулся.

Он улыбался мечтам своим, он видел будущее города, страны, мира. Он прикрыл глаза рукой, и воображение его нарядило город в асфальт и брусчатку, по всем направлениям города понеслись автобусы, велосипеды, рабочие районы вдруг выросли и оделись в камень, по асфальту бежали дети, шли рабочие и работницы. Ленин взглянул в усеянное дождевыми каплями окно автомобиля. Длинный хвост истощенных, голодных людей тянулся от дверей магазина, доходил до угла, сворачивал на другую улицу и где-то терялся. Улыбка сбежала с лица Ленина. Он удобнее устроился на жестком кожаном сиденье, высоко поднял голову и сказал своему спутнику:

— Напомните мне — надо переговорить с Горьким. Вызвать Луначарского. Запишите!

Над улицами завился снежок. Когда миновали Николаевский вокзал, откуда-то донеслось длинное, тягучее завыванье заводского гудка. Тоненько и поспешно ответил другой. Ленин затаил дыхание, прислушался. Гудки разом смолкли.

— Сегодняшняя газета с вами? — спросил Ленин.

Спутник протянул ему меченную красным и синим карандашами газету. Ленин ушел в чтение.

Все в этой газете было наполнено Лениным, шло от Ленина — его дело начато было давно и сегодня продол-



Художник Н. Осенев. «Первое слово Советской власти»

жалось в конкретном боевом действии на огромном пространстве необъятной страны. Передовица, внутренняя хроника, телеграммы со всех концов мира, петроградские новости, партийная жизнь — во все вклинивалось дело Ленина. Длинный перечень партийных, общественных и профсоюзных собраний, заседаний и митингов Ленин прочел вслух, покачивая головой: так, хорошо, отлично, правильно!

— Приехали! — сказал спутник. Ленин аккуратно сложил газету, сунул ее в карман пальто, но сию же секунду вынул и протянул своему спутнику.

— Хватает ли газет на заводах и фабриках? — спросил он, выходя из автомобиля.

Спутник хотел было ответить, но — выпала из рук его газета, он нагнулся, чтобы поднять ее. Газета, подкинутая ветром, шурша и горбясь, отлетела в сторону, под ноги бородатому человеку в тулупе и бараньей шапке. Он схватил газету и протянул ее Ленину.

— Владимир Ильич! — крикнул он, задыхаясь от радости, восторга, счастья.— Товарищ Ленин! Газетинку обронили!..

Ленин улыбнулся, взял газету, на мгновенье задержался взглядом на человеке в бараньей шапке. «Где-то я видел его,— подумал Ленин.— И совсем недавно, здесь, в Смольном...» — И вслух произнес, задерживаясь в дверях:

— Спасибо, товарищ!

Человек в тулупе — бородатый, краснолицый, остроглазый — снял баранью шапку свою, протянул руки в сторону Ленина, словно удерживая его, крякнул и вдумчиво, строго произнес:

— Спасибо, Владимир Ильич! А ежели жизнь моя понадобится—бери! Больше нету слов моих, товарищ Ленин!

Ленин пристально вгляделся в лицо говорящего, протянул ему руку.

...Долго стоял под аркой Смольного бородач в тулупе и валенках, долго смотрел на свою грубую, заскорузлую ладонь, на свои короткие, толстые пальцы, о чем-то думал, соображал, вспоминал что-то. К нему подошел мальчуган в кепке и пальто с чужого плеча, взял под козырек, спросил:

— По какому делу стоишь? Стоять тут нельзя. Иди, папаша, туда или сюда!

Человек в бараньей шапке усмехнулся, мигнул парнишке левым глазом, незлобиво спросил:

— А какая твоя, например, фамилия?

— Фамилия? — не без гордости приосанился мальчуган.— Фамилия моя, к примеру, Нарумов. А что?

— Запомню,— сказал человек в бараньей шапке.— Хорошая фамилия! Запомни и мою: Горькушин Иван Степаныч с-под Пскова. Авось пригодимся друг другу! Будь здоров, товарищ Нарумов! Жизни не жалей, ежели что!

8

Вечером того же дня в одной из комнат вдовьей половины Смольного, за круглым столом красного дерева сидели брат и сестра Горькушины — Иван Степанович и Дарья Степановна. Они сидели рядком и пили морковный чай. Наливал им кипяток из манерки рядовой роты особого назначения товарищ Карасев, их земляк, кум и старинный приятель.

— Пейте, други, в Неве воды хватит! Пейте, а через час в путь тронемся. Дарья Степановна, чашечку!

— Благодарствую, кум! Себе наливай!

— Мне чашечку выдай, земляк! — попросил Горькушин.— До сих пор в себя прийти не могу — Ленина видел! А? Сестрица, Ленина видел! Вот этой самой рукой с Лениным здоровкался! Вот она, рука, работала на барина, а теперь на себя работать будет. Ах, дела! Ленин идет быстро, глазом косит. И ботиночки на нем стоптанные. Я ему, Ленину, от всего сердца сказал. Потом в его канцелярии представился. Вежливая публика, газету дали, книгу про землю, поговорили...

Кум Карасев рассмеялся.

— Спроси его, кумушка,— обратился он к Дарье Степановне,— как ему в банке земли нарезали! Уморушка, милые! В банк ходил!

— Ходил,— виновато сознался Горькушин.— Должен был пойти, затем и приехал. Послали меня мужички касательно земли хлопотать. Прихожу в земельный банк, сидит в комнате человек с оружием на всех боках. «Ко мне?» — спрашивает. «К тебе, говорю, сделай милость, пристегни нам Щукинские покосы!» А он встал, поднял бровки и говорит: «Революция уже пристегнула, тикай до

дому! И у меня под Конотопом и у тебя под Псковом — везде, говорит, вся земля крестьянская». Сел, в стол слазил, газету протягивает. «На, говорит, читай и будь другом рабочему классу!» Я ему на это говорю: «Я завсегда друг!»

— Двое сыновей померли на фабрике,— вставила Горькушина.

— Трое братанов на войне,— добавил Горькушин.

— Родной кум вестовым в Смольном,— подсказал Карасев.

— И выдали мне бумагу на проезд до самой моей станции. С парнишкой познакомился. Сурьезный такой! «Помни, говорит, мою фамилию. Нарумов я!» Камешек ногой поддал и пошел. А я в тоске от радости по Питеру ходил. Тебя, сестрица, вспомнил, к тебе заявился.

— Поздно вспомнили, дорогой братец! — обидчиво сказала Горькушина.

— Некогда мне было. Приеду это я домой, выйдут мне мужички навстречу, а я им...

— Без тебя твои мужички все знают,— заметил кум Карасев.— По телеграфу всюду объявлено. Погоди, кума, рабочий класс еще себя покажет! Держись только за него крепче! Ну, а теперь стройся!

Брат и сестра встали, опрокинули вверх дном чашки. Осторожно, на цыпочках, прошли коридор, вышли на улицу. Смольный, подобно маяку, был весь в огнях, и светил он далеко — на все стороны.

1936

ДВОРЕЦ

ОДНАЖДЫ, когда я был совсем маленьким мальчиком, мы пошли с бабушкой гулять. Петербург в те далекие времена, полвека назад, имел совсем другой вид. По улицам ехали извозчики, возы, которые везли огромные рыжие лошади, проносились кареты с завешенными окошками, слышались звонки конок, стучали колеса омнибусов, шли медленно пешеходы, на Неве, на серо-свинцовой волне, покачивались ялики, пробегали, дымя, маленькие узкие пароходики, набитые простым людом.

Мы свернули от моста на площадь, и передо мной встала громада Зимнего дворца, против которого дугой изогнулось здание Главного штаба. Мы шли прямо во дворец.

— Куда мы идем, бабушка? Разве туда пускают?

— Когда царя в городе нет, пускают,— сказала бабушка.— За деньги пускают, вроде прогулки, дворец посмотреть.

И действительно, дворцовые лакеи собрали группу посетителей, и мы начали ходить в их сопровождении из комнаты в комнату, из зала в зал. Потом я узнал, что во дворце свыше тысячи покоев, как говорили в старину, больше сотни лестниц и много всяких картин и статуй. Я скоро устал, но бабушка говорила мне шепотом:

— Тут садиться нельзя, ты иди, мы самого Петра увидим.

— Какого Петра, бабушка? — также шепотом спросил я.

— Какого Петра, дурачок? Да того, что Петербург построил, сам топором себе первый дом рубил...

— Так он плотником, значит, был...

— Каким плотником? Он царем был, дурачок.

Мы пришли к переходу через Зимнюю канавку, и я еще издали увидел, что посреди галереи в высоком кресле сидит очень высокий человек в зеленом камзоле, с сердитым восковым лицом, на котором топорщатся узкие черные усы, каждый волосок которых блестит, точно они смазаны маслом.

И вдруг сопровождавший нас лакей подбежал к сидевшему, наклонился к нему, будто что-то шепнул на ухо, и сейчас же, отступив, сказал громко:

— Царь Петр Первый приветствует вас!

При этих словах царь выпрямился, что-то зашуршало, тоненько звякнуло, и Петр встал во весь свой исполинский рост, посмотрел на нас невидящими стеклянными глазами и медленно поклонился. Потом так же медленно, с легким скрипом сел и снова замер. Какая-то женщина закричала от испуга. Бабушка крепко держала меня, как бы проверяя, не дрожит ли моя рука. Но моя рука не дрожала. Мне было очень интересно, и я спросил шепотом:

— Пусть он еще поклонится.

Но тут лакей заторопил нас, а бабушка сказала:

— Чего захотел! Только ему и дела, что тебе кланяться.

И мы пошли дальше и скоро оказались у окна, которое выходило в сад. Тут лакей собрал свою небольшую группу посетителей в кружок и, показывая на сад под окном, пояснил:

— Тут сада никогда не было, не полагалось тут саду быть. Но царь захотел в городе гулять при дворце и приказал, чтобы сделали сад. Ну и дорожки и клумбы — все по правилу, и, чтобы никто ему не мешал ходить по саду, обнес его вон какой высокой оградой.

— Это не Петр, это уже теперешний царь распорядился,— добавила бабушка.

— А можно в этом саду побегать? — спросил я лакея, смотря в окно, приподнявшись на цыпочки.

— Нет, мальчик,— серьезно отвечал лакей,— даже если ты и большим будешь, в этом саду гулять не будешь.

— Нет, буду! — воскликнул я с непонятной злостью, но тут бабушка засмеялась и сказала:

— Ну, ну, какой прыткий! Не говори глупостей. И пойдем-ка домой, пора.

Я бросил последний взгляд на таинственный сад, в котором никто не гуляет, кроме царя. Я никогда не видел

царя и только слышал, что все вокруг меня ругают его Николашкой, и он мне представлялся маленьким, тщедушным, противным карликом в фуражке и с длинной бородой клином.

Прошло четырнадцать лет, и революционный народ сбросил царя. Это было в феврале. А поздним октябрьским вечером того же семнадцатого года красногвардейцы, матросы и солдаты ворвались во дворец и одержали победу над врагом. Дворец перешел в руки победившего пролетариата.

Весной восемнадцатого года я шел мимо высокой гранитной ограды, окружавшей дворцовый сад. Было тихо и тепло. В саду пели птицы, их пение хорошо было слышно на пустынной площади. С ними перекликались птицы из Александровского сада, ныне Сада трудящихся, находящегося напротив Адмиралтейства. На Неве прошел лед, и порывы теплого ветра с моря будоражили воду, на которой еще кое-где крутились узкие ледяные осколки.

У дворцовой ограды стоял человек, широкоплечий, небольшого роста, со спокойным лицом, и сильными, короткими ударами бил молотком в стену. Несколько прохожих остановились и смотрели на его работу, не совсем понимая, что он делает. Остановился и я.

Работавший отложил молоток и взял лом. Так был странен этот человек, один боровшийся с высокой оградой, что наконец мы не выдержали и спросили:

— Что это вы делаете, товарищ?

— Со стеной-то? — сказал он.— Да вот срок ей пришел. Царя больше нет, запирать сад не от кого. Постановление такое вышло, чтобы эту стену поломать. Наша артель взялась. Вы не думайте, что я один. Ребята обедать пошли, а я остался тут посторожить инструмент, для порядку. Ну, вот и постукиваю.

Тут увидели мы, что к стене прислонены молотки, ломы, какие-то стальные клинья. Мы пожелали ему успеха и пошли по своим делам.

А через месяц на этом месте был общегородской субботник и такой шум и гам, такое веселье, что все происходившее походило на праздник, потому что играли оркестры, а кое-кто в промежутках, в минуты отдыха, пускался в пляс.

Тысячи людей ломали стену, сваливали плиты и тащили их к набережной, где стояли баржи, на которые грузили

камни. И хотя со стороны могло показаться, что каждый работает как хочет, без всякого общего плана,— это было неверно. План был, и очень точный. Разбитые на группы добровольцы — заводская молодежь, красноармейцы, матросы, женщины и мужчины, подростки — все с энтузиазмом работали на своих участках.

Среди работы, вытирая пот, на секунду остановившись, я оглянул все пестрое зрелище, и дворцовые стены, и сад и засмеялся. Мои соседи удивленно спросили, чему я смеюсь. Я не открыл им настоящей причины смеха, потому что мне было неловко сознаться, что я вспомнил то далекое время, когда я, маленький мальчик, смотрел на этот сад из дворцового окна и царский лакей сказал мне, что я никогда не буду гулять в этом саду, а я закричал: «Нет, буду!»

И вот я не только гулял, но и был хозяином этого сада, как и весь народ. И мне захотелось увидеть старого, угрюмого лакея. Что бы он теперь сказал?

К вечеру ограды уже не существовало. Не было и высокой решетки над ней. На обломках камней сидели девушки и юноши и пели революционные песни. Между клумб плясали моряки — неутомимые танцоры. Ленточки их бескозырок весело развевались.

Впечатление было такое, что пришли новые, молодые хозяева и начали перестраивать старый мир и ничто не может противостоять их победной, всемогущей молодости. Красные флаги плескались над головами, и я по-мальчишески подумал: «А что, если подтащить сидящего в кресле воскового Петра к окну, открыть окно, и пусть он встанет и поклонится строителям нового, революционного города!»

Прошли еще годы. Много раз гулял я по этому дворцовому саду, сидел на скамейках в его небольших аллеях. Не раз слышал, как отцы и матери, ведя своих маленьких дочерей и сыновей, рассказывают им про дворец, про старое время, про сад, в котором мог гулять только один человек с непонятным уже детям именем — царь.

И дети обычно удивленно и недоверчиво осматривались, потому что их уже не касались эти старые истории и они смотрели на этот большой дворец и на этот сад как на самые обыкновенные вещи.

А однажды я слышал, как старый рабочий говорил внуку, внимательно его слушавшему, как он в молодости брал этот Зимний дворец, как он бежал через ночной

мрак, освещаемый вспышками выстрелов, как потом перелез через баррикады и вбежал по лестнице в ярко освещенную картинную галерею, где на стене висели портреты генералов двенадцатого года. Он рассказал про то, как взяли в плен всех министров Временного правительства и как они стояли, подняв вверх трясущиеся руки, и смотрели на рабочих, солдат и матросов, как будто никогда не видели таких людей в жизни.

А когда он начал говорить про сад, как он ломал ограду и стаскивал решетку, мальчик засмеялся и сказал:

— А я знаю, где эта решетка теперь: у нас на улице Стачек, в новом саду. Вот как интересно! Значит, ты это ее туда принес?

— Отчасти и я,— сказал рабочий.

— Это ты хорошо сделал,— ответил мальчик хозяйственно.— Жалко такую решетку в мусор выбрасывать. А там она нам в самый раз, пускай стоит.

Они удалились, и я пошел по набережной, думая о том, как неузнаваемо изменила Октябрьская революция город, который назывался уже Ленинградом и жил такой новой и удивительной жизнью, что, если бы рассказать о ней во времена моего детства, никто бы не поверил этому рассказу.

1953

МИР ПОДПИСАН

М. И. Ульяновой

В это утро через фронт перелетели два ворона.

Тяжело поборая ветер, они летели наискось, оглядывая линии затихших окопов, и как бы одобряюще перекликались.

Окопники зорко следили за неровным полетом птиц на ветреной высоте. Чутко вслушивались в их заунывные голоса.

Раньше посыпались бы вслед зловещим птицам азартные выстрелы с обеих сторон фронта. Знали окопники: кормится проклятая нечисть не прибранными в лесах солдатскими трупами, потому и живет около фронта.

Теперь эта черная пара была вестницей наступающего мира. Ни одного выстрела не было сделано из русских окопов. Схватившегося за винтовку стрелка тут же осадили:

— Цыть ты! Слухай германа!

Запрокинув головы, все слушали. Над немецкими окопами стояла предупредительная тишина. Вороны, сбиваемые ветром, благополучно снизились к синевшему далеко за фронтом перелеску.

— К добру,— облегченно поправили шапки окопники.— Хоть бы одно ружье выстрелило. А?..

Здесь, где ближе всего сошлись траншеи, разделенные глубокой лощиной, где особо упорными были последние июльские бои, в стыке двух дивизионных участков была назначена сегодня встреча.

Еще задолго до назначенного часа к ближней рощице подкатил серый генеральский автомобиль, и один за дру-

гим исчезали делегаты в кривой щели ходов сообщения. Следом за ними, посвечивая в земле медью труб, пробиралась музыкантская команда.

Делегаты сгрудились в пулеметном гнезде. В узкие продольные щели бойниц смотрели в сторону немцев. Близко под окнами ветер гнул некошеные засохшие травы. И было тихо на фронте, каждый слышал взволнованное дыхание своего соседа.

Председатель комитета Семенов часто взглядывал на часы. Лицо его стало заливать серостью, заходили скулы.

— Так,— сказал он, пряча часы в кармашек.

И выглянул из-под навеса:

— Эй, кто там! Станови знамя!

Высокий солдат, жердеобразно качнувшись туловищем, легко взлетел на бруствер и выпрямился; с шорохом отвалилась от толчка сырая глина приступка.

Солдату подали свернутое знамя; он оглянулся по сторонам — огромно уходящий ввысь великан,— потом неторопливо поплевал в горсть и сильным тычком всадил шест в бруствер. Оглянулся еще раз и стал бережно развертывать плат.

Ветер подхватил легкую кумачовую ткань и понес. Как бы трепет легких крыл заплескался с серого неба в окопную яму. И тут же горнист поднял к небу сигнальный рожок и певуче заиграл встречу. Серебряные звуки округло покатились к лощине.

— Пошли! — сказал хрипло Семенов, и все увидели его вдруг обесцветившиеся глаза.

Сбившиеся толпой окопники услужливо подсаживали делегатов, подставляя ладони под залипшие глиной сапоги.

— Семенов, держись!..— услышал председатель вслед себе напутственный шепот кого-то из окопников.

Одновременно в этот условленный парламентерами час перескочили стенку окопов и немцы. С высокого бруствера Семенов сразу заметил солдат, стоящих напротив, высоко над краем лощины.

Обе делегации мерно и неторопливо, ровным военным шагом пошли за проволоку, навстречу,— туда, на смертный участок, где ворошился на ветру остриженный пулеметами молодой березняк.

Долго пробирались в запутанном лабиринте колючей проволоки, прошли через вскопанный снарядами бугор,

за ним обогнули забитый землей окопчик, где разрушенный артиллерией накатник высоко выставил из земли сломанные ребра бревен, где глина на срезе сочилась бурой сукровицей.

В последнем бою здесь погибла горсточка обманутых храбрецов, из них не вернулся никто.

— Вася? — вдруг вскрикнул один из делегатов в мятой вахлачной шинеленке, остановившись над торчавшими из земли сапогами.

Вася лежал, крепко приникнув лицом к земле, только на ветру трепыхался выбившийся из-под фуражки соломенный вихор его.

От дождей и солнца побелела шинель на выставившихся лопатках, и казалось, проросла уже шинель мертвеца тонкими нитями трав, как бы пришиты были к земле раскинутые полы белыми жадными корешками.

— Но, вы-ы! — зарычал Семенов на остановившихся перед неприглядным зрелищем смерти делегатов.

Он шагал впереди, бледный и разъяренный, круто выставив вперед рогатку усов.

Идущие позади слышали его грозное бормотанье:

— В-васю они увидели!.. В-вася им тут занадобился!..

Делегаты вышли в открытую лощину. Огромной казалась им снизу пустота лощины. Казалось, идут они, сопротивляясь резкому, сырому ветру, в ложе могучей реки, где-то близко остановленной на короткие сроки. И неуверенно озирались идущие на высокие берега: не обвалилась бы на горсточку затерянных людей притаившаяся стихия.

Внизу, на видимой с обеих сторон площадке, обе делегации одновременно остановились и одновременно же взяли под козырек. И сотни человеческих голов жадно вытянулись из земляных щелей с той и другой стороны. И напряженной стала тишина в лощине.

В короткую минуту успели делегаты оглядеть друг друга. И было для всех неожиданно, что с немцами пришел лейтенант, высокий, подтянутый и щеголеватый — даже в окопах, где офицер всегда старается походить на солдата.

«Штабной»,— подумал Семенов.

Лейтенант не мог не заметить этих косых взглядов и, быстро шагнув вперед, с любезной усмешкой протянул

портсигар Семенову. Тот взял плоскую турецкую сигарету, смущенно повертел ее и заложил за ухо.

Ни у кого из сошедшихся не было при себе оружия. Даже лейтенант пришел с безобидным стеком под мышкой.

— Начинай,— подталкивали Семенова сзади.

Семенов отставил вперед ногу и начал, трудно и громко дыша:

— Товарищи германцы! В России нет больше царской власти. Старый режим прикончен. Эта война была нужна царю и капиталистам... да...— Семенов покосился на лейтенанта,— и офицерам... а нам она не нужна. Так не будем мы больше истощать друг друга.

Переводил Левка Беркович. Он вытягивал худую шею и, вдохновенно сверкая глазами, сдабривал скупую речь председателя словечками, заимствованными в командировке из речей минских ораторов.

— Товарищи! — продолжал Семенов.— Сколь побито, поранено! Эту ямину вон по тот край можно налить кровью, кабы всю собрать. Рекой пойдет. А за что?

Дул в лощине острый, холодный ветер, усатые блеклые травы приникали под его тяжестью низко к земле. И зябко непроницаемы, казалось, были лица немцев. Высок и бесстрастен стоял офицер.

Семенов исподлобья взглядывал на немцев,— трудно было понять их твердые, нерусские лица.

И стал горячее от этого Семенов, будто скрытое раздражение поднимало его голос все выше:

— Товарищи! Докуда будем лить кровь ни за что и гнить в окопах? Не пора ли нам воткнуть штыки в землю? Чего ждем? Не пора ли всем сказать: «Мир — хижинам, война — дворцам»?..

Дрожащей рукой нащупал тут Семенов на поясе короткий ножевой штык с японской винтовки и с размаху всадил его меж расставленных ног в землю.

Было видно по лезвию — мирным целям служил этот штык: весь зарос он хлебным мякишем и желтой замазкой белорусского кислого сыра.

Махнул по этому штыку Семенов — вдоль по лощине.

— Товарищи, клянемся никогда через эту линию больше не переступать. Ни взад, ни вперед. Глядите все: вон наверху, на бруствере, что вы видите? Красный флаг! То

есть наше знамя. И кто на это знамя пойдет, тот есть враг рабочих и крестьян. Понятно?

Опять долго и вдохновенно переводил председателя Левка, но, кажется, теперь его поняли и так: вдруг подобрели тусклые, иззябшие лица немцев, и глаза их стали уважительно разглядывать плечистую фигуру Семенова.

Тут же вышел от них тяжелой перевалкой коротконогий увалень с ярким шрамом вдоль щеки. Увалень сказал, что он рабочий из Вестфалии, социал-демократ, что он пошел воевать против России из боязни, что победа русского царя бросит мрачную тень угнетения на всю Европу.

Грубым, как бы сердитым голосом говорил оратор. Левка переводил фразу за фразой. Солдаты слушали молча.

Лейтенант рассеянно обводил глазами высокие края лощины, вскопанные местами гвоздившей артиллерией.

На бугре взгромоздились оттащенные на сторону рогатки проволочных заграждений. Они уродливо рисовались вскинутыми к небу сочленениями, как пожирающие друг друга пауки.

Тут же голенасто вышагивал прапорщик Вильде, расставляя треногу фотоаппарата.

Вдруг лейтенант тревожно вскинул нос и, нацелив стек куда-то вверх, пошел вперед.

Сразу осекся оратор. Все смотрели вслед лейтенанту и ничего не могли понять. Он шел, не сводя глаз с горы и выкрикивая на ходу одну короткую фразу.

Левка перевел:

— Это не предусмотрено условиями.

Не сразу поняли, что стек лейтенанта был уставлен на прапорщика Вильде, только что нырнувшего под черную накидку фотоаппарата.

— Какого он там черта? — нетерпеливо оглянулся Семенов на размахивавшего стеком лейтенанта.

— Воспрещается снимать за проволокой,— вполголоса напомнил Левка заключенное накануне условие.

— А ну их!..

Прапорщик Вильде, заметив внизу встревоженного лейтенанта, неторопливо подхватил треногу аппарата на плечо и, раскачивая корпусом, двинулся в гору.

Лейтенант выждал, пока долговязая его фигура потерялась за гребнем бруствера, и, успокоенный, вернулся на

место. Он плотно сомкнул прямые ноги, подбросил стек под мышку и кивнул оратору:

— Продолжайте.

Немец-солдат стоял с перекошенным ртом, сизый от гнева. Он начал не сразу. Не подымая глаз от земли, заговорил он угрюмым, неподатливым голосом, как бы с трудом выталкивая слова. Только постепенно голос его стал набирать прежнюю силу.

И показывал немец заскорузлым пальцем туда, наверх, где на высоком бруствере русских окопов яростно метался огненный плат знамени.

Голос немца, хриплый и лающий, гулко звучал в лощине. Ветер срывал с губ эти чужие слова и уносил далеко. И сам он, крепко расставивший кованые башмаки, весь дрожал сейчас от внутренних усилий, как котел под паром.

Он говорил о том, что с Россией-республикой он воевать не хочет и не будет, что об этом то же самое говорят все солдаты в германских окопах.

Всем рядом немцы откликнулись согласно:

— Рихтиг.

Левка перевел, сияя довольством:

— Камрад спрашивает их: верно, ребята! И они все отвечают: правильно!

Все поняли это еще до того, как Левка начал переводить.

И как-то само собой вышло, что немец тесно сблизился с Семеновым,— они вдруг раскрыли руки и, сшибаясь, крепко и надолго обнялись и расцеловались.

— Русски карашо! — сказал немец, одобрительно пошатывая высокие плечи Семенова.

Семенов смущенно усмехался, придерживая его под тяжелые локти. Постояли так, держа друг друга, и поцеловались еще раз.

Делегаты сошлись и протянули руки. Запутались в десятке скрестившихся рук и дружелюбно усмехались, заглядывая в глаза.

— Мир! — говорили русские.

И немцы охотно повторяли это известное им слово:

— Мир! Мир!..

В ту же минуту неистовые крики полились из траншей в лощину, и медные звуки «Марсельезы» донес ветер из русских окопов.

Делегаты растерянно оглядывали неприступные высоты позиций. В разрывах музыки доносило вниз одну долгую ноту: «Э-э-э-э...»

Вспугнутыми галочьими стаями взлетали из траншей в небо и оседали вновь солдатские шапки.

На бруствер к знамени вспрыгнул опять высокий солдат. Раскачиваемый ветром, он несуразно размахивал руками и кричал что-то неслышное.

С обеих сторон лощины выбрались из земляных щелей окопники. Накапливались толпами над краями оврага.

«Э-э-э-э...» — плыла сверху тягучая нота.

Потрясенный этой минутой, один из русских делегатов, в измятой вахлачной шинеленке (это он по дороге сюда вскрикнул звенящим голосом: «Вася!»), отвернулся на сторону и страстно, навзрыд заплакал, уткнувшись в рукав себе.

О чем плакал этот бедный солдат? О мертвецах ли, которые истлевают в безвестных могилах, или просто от великой человеческой усталости?..

Холодными, непонимающими глазами смотрел на его прыгавшие плечи лейтенант.

А немецкие солдаты понурились и разбрелись — смешные в своих кургузых с разрезом сзади мундирчиках.

Мир был подписан.

Окопники качали Семенова. Они дружно вскрикивали: «Пошел!», и десятки рук выбрасывали председателя над окопной ямой. Он взлетал на воздух, держа руки по швам, прямой и строгий, как в строю.

1930

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

МОРЕ

Я угрюмо ехал в гремевшем, шатавшемся вагоне и не вслушивался в спор солдат с барыней, у которой качались перья на шляпе. В Лефортове сошло много народу. Окна бывшего Алексеевского училища, изъеденного снарядами, ярко светились. В манеж пропускали, строго контролируя: большевики встречали Новый год и не хотели, чтобы путалась посторонняя публика, и все-таки ухитрились и пробрались не только посторонние, но и враждебные. Митинг-концерт организовал Московский комитет РСДРП(б).

Я глянул: направо, налево — тонуло без конца в синеве море человеческих голов, без конца потому, что манеж тянулся вправо и влево, теряясь.

Сколько же тут народу? Тысяч восемь с лишним.

Не пролезешь. Стоит тяжко вздымающийся, медленно падающий говор людского волнующегося моря.

В середине, у самой стены — эстрада, красная. На ней — красный стол, красные знамена. Львиная голова Маркса глядит из-за зеленой хвои со стены. И около красного стола — устроители, с растерянными, беспокойно-тревожными, побледневшими лицами.

Ах, что же это! Уже семь, уже семь с половиной, уже без четверти восемь, а главные участники не приезжают. Начало назначено в семь часов. Медленно и тяжко волнуется говор теряющегося в синеве людского волнующегося моря.

Что-то оно скажет? Что-то скажут эти восемь тысяч? Не ближний свет. Зачем же вы нас собирали?

Устроители волнуются. Над эстрадой мечется, как шорох, подавленный раздраженно-испуганный шепот:

— Автомобиль надо было...

— Но где же его взять?.. Сами знаете...

— Товарищ, начните вы, ради всего...

— Да не могу же я... У меня свое задание. Я на четвертом месте, а тут надо вступительное слово,— надо же ввести публику. Что же это, какой-то взъерошенный вечер будет. Да наконец я скажу, а дальше... За мной опять никого, оборвем и будем ждать,— это еще хуже.

— Но ведь это же скандал...

— Да, скандал: восемь. Вечер сорван.

Людское море потемнело, придвинулось к самой эстраде, и издалека, оттуда, из синей глубины, вздымается грозное неудовольствие. Тысячи глаз смотрят: когда же?

Тогда в отчаянии предлагают перевернуть: начать вторым отделением — литературно-концертным.

Но ведь это же опять скандал. Куда же деваться?

Среди толпы показывается один из участников. С эстрады срывается вздох облегчения — хоть как-нибудь можно начать и кое-как провести митинг.

Открывается собрание.

Седой товарищ поднимает руки, водворяя тишину, взмахивает, и над восемью тысячами человек разливается «Интернационал».

К эстраде протискивается несколько молодых солдат с безусыми лицами: над ними колыхаются красные шелковые полковые знамена. Их вносят и ставят на эстраду по обеим сторонам Карла Маркса. Солдаты становятся почетным караулом.

— Слово принадлежит представителю восемьдесят пятого пехотного полка.

Гром аплодисментов.

К краю выходит бледный-бледный, точно только что поднялся от тифа, солдат. Говорит:

— Я пришел вас приветствовать... приветствовать, послан приветствовать...

И замолкает. Тягостное молчание. Восемь тысяч пар глаз смотрят на него,— ни одной улыбки: понимают, растерялся или просто не привык говорить перед громадным собранием.

С усилием, с перехватываемым дыханием он говорит:

— ...пришел приветствовать... приветствовать... от восемьдесят пятого пехотного полка... который... положил

тут много жертв... когда брал это училище, где вы теперь...

Взрывом дрогнуло все от рукоплесканий. Восемь тысяч нитей внимания, расположения, любви потянулись к эстраде. Этот слегка потерявшийся оратор сказал больше, чем десяток блестящих речей. И в гуле непрекращающихся рукоплесканий слышалось: «Мы тебя любим, восемьдесят пятый полк. Мы преклоняемся перед павшими твоими товарищами, благодаря которым мы вошли сюда».

И разом слетели тревога, неуверенность и напряженность внимания, наэлектризировалось все огромное пространство, залитое людьми.

Вышел товарищ и стал говорить. Он говорил вовсе не речь, он просто рассказывал кучке слушателей — даром что эта кучка в восемь тысяч! — рассказывал о далекой Якутке, где всего год назад в это же время встречал Новый год с товарищами, а на дворе трещал якутский мороз. Он говорил своим товарищам по изгнанию: будущий Новый год мы будем встречать среди революционного народа. Товарищи смеялись.

— Смеялись, а я угадал, и пророчество сбылось,— говорит оратор,— и мы с вами сейчас встречаем Новый год в здании, которое имело совсем другое назначение.

Товарищ говорит о протекшей революции, о наших братьях за рубежом, которые тонут в крови. Он говорит о том, что говорилось, что слышали, о чем сам много раз говорил, но почему же в этом старом так много новизны? Потому, что оно обвеяно далеким якутским пророчеством, и пророчество сбылось. И оттого бесконечно синеет в напряженном внимании человеческое море, и все головы жадно повернуты в одну сторону, к красной эстраде, где в белой рубашке просто и ясно рассказывает человек.

И когда он кончил, из конца в конец заплескалось синеющее море, гулом наполнив колоссальное здание.

— Товарищ Иоанн,— заявляет председатель,— будет говорить сейчас.

Выходит небольшого роста, в гимнастерке защитного цвета, военнопленный и говорит изломанным, таким странным для уха русским языком, и в глазах его печаль.

— Я плохо говорю по-рюсски, но я этому не виноват.

— Ничего... ничего... говорите, слушаем...— несется из зала.

— Вы, рюсские, весело встречаете ваш революционный Новый год, а мы... мы не имеем права... Мы печальны, мы ощень печальны... у наших братьев там темнота... у вас праздник. Вы сделали свое дело, мы — нет, и мы печальны...

Что это? Не вздох ли пронесся над тысячами людей?

Нет, это печаль стала, как темное опустившееся покрывало.

И сквозь эту печаль, сквозь этот вздох молчания раздался голос нашего солдатика:

— Ничего, не тужите, у вас то же будет.

И разом просветлело, а товарищ Иоанн улыбнулся:

— Да, борьба, только борьба несет счастье. Есть легенда, ощень красивая легенда, и я вам ее скажу. Когда Христа распяли и он умираль на кресте, лицо его было светло — он проповедоваль любовь, и всепрощение, и непротивление. И прилетель к нему сатана, черный и мрачный, и сказаль: «Я тебя искушаль два раза, и ты не поддался. А теперь я тебя не буду искушать, я скажу тебе правду. Слюшай же. Ты всю жизнь училь только любить, только прощать, только подчиняться, гнуть свою шею — это рабам. А я училь: жизнь — борьба, счастье — борьба, свобода — борьба. Хочешь рабом,— прощай всех, хочешь свободы и счастья,— борись». И отлетель сатана, и умер Христос, а на лице его быль отчаяние.

Он замолчал, и секунду стояло молчание, и взрыв аплодисментов покрыл его.

Интер-на-ци-о-нал.

Выступил венгр, секретарь Будапештского комитета социал-демократической партии, и на венгерском языке, резком, как орлиный клекот, обратился к синевшим в толпе венграм, а русские слушали, не проронив ни слова.

Выступил серб, и зазвучал мягкий красивый сербский язык,— наполовину его понимали.

И холодно, бесповоротно, как судебный приговор, говорил по-немецки еще один товарищ военнопленный, решая революционные судьбы германского народа, а русские слушали, угадывая сердцем.

Это все интернационалисты. Весь земной шар заселен братьями рабочими. Уже слышен набат. Уже колеблются стены тысячелетней стройки эксплуатирующих, и восходит из-за них заря нового человеческого строительства, заря социализма — вот смысл их речей.

От Московского комитета РСДРП (большевиков) им отвечал по-немецки товарищ:

— Русская революция 1905 года приоткрыла густое покрывало века, лежавшее на лице русского народа. Революция нынешнего года сорвала долой это покрывало, открыла глаза русскому народу и вплотную придвинула его к социализму. Теперь очередь за вами, нашими братьями, за западноевропейским пролетариатом.

И опять русские внимательно слушали. И русские и немцы проводили его долгими аплодисментами.

Перерыв. На эстраду ставят рояль. Но второе отделение отдыха и развлечения никак не может начаться,— выступают с приветствиями делегаты от университета Шанявского, от украинской СДРП (большевиков), от союза молодежи и другие.

Наконец председатель поднимается и говорит:

— Деловая общественно-политическая часть нашего вечера окончена, теперь прослушаем наших товарищей артистов, музыкантов и литераторов. Сейчас будет исполнена «Легенда» Венявского.

К краю эстрады скромно подходит девушка в белом с черным, со скрипкой, с милым девичьим, спрашивающим у жизни лицом: «Что ты есть? И что ты таишь?».

Она прижимает скрипку и медленно, легко и странно изгибая руку в сквозном рукаве, подымает смычок, а я опускаю глаза:

«Эх, напрасно она «Легенду»... Надо считаться с публикой — не поймут: начнется сморкание, кашель... Напрасно...»

Я стоял хмуро, опустив глаза, и в ту же секунду от эстрады к человеческому морю медленно, звеняще потянулась певучая, не обрывающаяся нить, похожая и непохожая на человеческий голос, то едва уловимая, готовая погаснуть, то густо свертывавшаяся грудной жалобой низкого контральто, потянулась и погасила все звуки, царствуя...

И я поднял глаза...

Видали ль вы остеклевшее море?

И в нем забытые повисли облака, и отразились горы, и берег, и дальний полет белой чайки.

Слыхали ль вы, как перестают дышать восемь тысяч человек?

Так, так вот о чем поет эта черноволосая девушка, вот о чем поет она из-под длинного нескончаемого смычка.

О чем?

И о том, что есть счастье и печаль, и есть прошлое, и подернуто волокнистой синевой неведомое будущее...

Все стало прозрачным: лишь оброненные неподвижно облака, да отраженный берег, да опрокинутые горы, да замерзший дальний полет чайки...

Потом смычок тянулся, истомно слабея, и без конца, и никто не заметил, никто не знал, когда он погас. В зале стояла огромная пустота...

... Я не хочу больше печали, я не хочу больше печали, тонко впивающейся в душу...

Все помутилось, заколебалось, поломалось... Пропали облака, берег, горы, чайка, и проступило синеющее людское море. Все дрожало, и от края до края неумолчно мелькали руки, блистали глаза.

Девушка принесла свое чудесное искусство, свое творчество; его бережно приняли и теперь благодарили.

А я радостно смотрел на возбужденные лица.

Выходили певцы — пели. Выходили артисты — читали.

Поэты читали свои стихотворения.

Двенадцать часов...

Председатель поднялся:

— Товарищи, на рубеже Нового года даю слово представителю нашей революционной армии.

— Товарищи,— раздается крепкий голос военного,— Новый год начался не сегодня, не сейчас, не в эти двенадцать часов, Новый год начался с Октябрьской революции, когда наконец власть перешла к рабочим и крестьянам. Много еще работы впереди революционному народу, революционной армии, много борьбы. Но прежняя армия состарилась, устала. Ее нужно сменить. Нужно создать новую армию на иных, революционных началах. Мы с вами празднуем сейчас здесь Новый год, а наши братья умирают там, на Дону, в борьбе с Калединым. Ударит час,— и мы пойдем этим борцам на смену.

И опять потрясающе гремит манеж из края в край.

—Товарищи, — подымается председатель, — вечер наш закончен, заседание закрывается. Наши товарищи, трамвайные рабочие, прислали наряд вагонов, чтобы

доставить граждан по домам, больше они не могут ждать: уже начало первого. Надо расходиться.

Но никто не хочет уходить, даже равнодушные, даже враждебные. Хотелось еще и еще продолжать этот необычайный вечер, полный напряженности, точно все было наэлектризовано.

Молодежь сгрудилась на эстраде, уже несется оттуда песня о «кузнецах», кующих счастье народа. В другом месте взмывает «Интернационал». Гремит прощальный привет оркестра.

И я ухожу с радостным сознанием моей ошибки. Если митинги и стареют и делаются шаблоном, то жизнь умеет до краев влить в них новое животворящее содержание и вдунуть живой созидающий дух, оставляя в сердцах неизгладимый след.

1918

АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД

Дом № 4 по Малому Харитоньевскому переулку встретил нас ярким плакатом, торжественным гулом, веселым пением. Путь до столика мандатной комиссии показался делегатам триумфальным шествием победителей. Ну, что же? Так это и было. Мечта осуществилась. Съезд созван.

Юноши и девушки, делегаты I съезда союзов молодежи, держали в руках мандаты, написанные в большинстве случаев от руки, с диковинными, порой самодельными штампами и печатями, включавшими слова с буквами «ять», «и с точкой». Товарищ, сидевший за столиком, читал вслух наименования организаций молодежи, и все сразу смогли узнать имена своих соратников по борьбе, ставших участниками съезда.

— Московский Союз рабочей молодежи «III Интернационал»...

— Первый свободный Союз Новоладожской молодежи...

— Кружок Союза молодежи Большой Вишеры...

— Порецко-Глазовский кружок крестьянской молодежи Можайского уезда...

— Смоленский Союз рабочей молодежи...

Слова «рабочей» или «крестьянской» стояли в заголовке почти всех мандатов. Но вот встретился мандат со словом «учащейся», и вокруг него завязалось немало споров. Делегата с пристрастием допрашивали, какова политическая платформа кружка, что за люди входят в него. Ведь это были те времена, когда в средних учебных заведениях было еще очень мало детей трудящихся; а к мелкобуржуазной интеллигенции, хотя она и клялась

в любви к революции, нужно было относиться с большой осторожностью.

Все оказалось в порядке.

Дав на всякий случай товарищу совещательный, а не решающий голос, председатель мандатной комиссии взял в руки огромный мандат с типографским штампом и с явным уважением прочел, вернее продекламировал:

— Социалистический Союз рабочей молодежи. Петербургский Центральный Исполнительный Комитет...

Медленно продвигаясь в очереди, делегаты слушали разговоры товарищей, знакомящихся друг с другом, и перед ними прошла живая биография юношеского движения Советской страны, его героические будни и праздники, его победы и достижения.

Молодой рабочий завода «Красный выборжец» оказался участником штурма Зимнего дворца, высокая девушка в кожаной тужурке — участницей Октябрьских боев в Москве. Делегат из Вязников был командиром молодежного отряда, влившегося в полки, ликвидировавшие белогвардейский мятеж в Ярославле. Вот товарищ, сражавшийся против кайзеровских полчищ, против Краснова. Вот люди, громившие интервентов — десант с английского крейсера «Глори», войска французских захватчиков, американский десант в Мурманске, отряды генерала Денстервилла в районе Баку...

Делегат Урала на ходу делился опытом работы Союза молодежи по ликвидации неграмотности. Смоленский товарищ сообщал о помощи, которую оказали члены Союза «III Интернационал» семьям красноармейцев. Делегат москвич радовался тому, что московская организация Союза молодежи сильно двинула вперед дело защиты экономически-правовых интересов рабочих-подростков...

Получив мандаты с «решающими» голосами, мы, владимирцы, направились в общежитие съезда, помещавшееся в том же доме.

— Выбирайте любую койку,— гостеприимно сказал сопровождавший нас москвич,— перины одинаковы, балдахины тоже.

«Перинами» оказались голые доски. «Балдахины» были пущены, конечно, для красного словца. Никого не смутил вид подобного ложа, ибо мы давно уже привыкли пользоваться солдатским методом спанья: шинель под

себя, шинель под голову и шинель сверху. А шинель у каждого была одна...

Сложив на доски коек свои немудреные пожитки, делегаты выстояли не менее часа в очереди за получением талонов в столовую и тогдашнего хлебного пайка в восьмушку весом. После этого все уселись за стол и получили суп из воблы («карие глазки»), жаркое из воблы и кислый компот из каких-то непонятных продуктов. В следующие дни вобла иногда сменялась чечевицей, плохо очищенной перловой крупой («шрапнелью») или — о роскошь! — порцией пшена. Чай пили с сахарином, а порою только «с удовольствием»...

— Делегатов из провинции просят собраться в комнате около зала заседаний! — раздался чей-то возглас. Понимая, что это обращение относится и к ней, владимирская делегация двинулась наверх. Народу в комнате собралось много.

— Товарищи! — сказал высокий воронежец почти плачущим голосом,— нам надо сорганизоваться, а то Питер и Москва нас затрут на съезде.

— Это кто меня затрет? — промолвил парнишка из Гусь-Хрустального.— Питер и Москва? А зачем это им делать? Выдумал тоже противников! Для меня они — самые дорогие друзья.

— Друзья-то друзья,— не унимался воронежец,— а небось отхватят себе наибольшее количество мест в президиуме.

— Это им по праву полагается,— тут же возразил ему статный уралец.— Они созвали съезд. Они объединили наибольшее число рабочей молодежи. Питер и Москва — наша гордость. Где началась большевистская революция? В Питере. Где живет Ленин? В Москве. Впрочем, может быть, у тебя более верные сведения. Сообщи нам, в каком воронежском доме помещается Совнарком?

Дружный хохот был ответом на этот добродушный вопрос.

Слово взял делегат Москвы.

— Никто никого не собирается затирать. Все мы — соратники и товарищи, бойцы одного великого дела. Предлагаем выбрать президиум из девяти или одиннадцати человек. Два — от Питера. Два — от Москвы. Пять или семь — от остальных делегаций. В секциях съезда и на самом съезде любой делегат сможет высказать все, что най-

дет нужным. Меньшевистских речей мы, конечно, не потерпим, но что касается деловых предложений — спорь сколько хочешь. Так ведь?

Вопрос был исчерпан. «Провинция» принялась намечать кандидатов в президиум.

— Первый съезд союзов молодежи объявляется открытым. Да здравствует Российская Коммунистическая партия большевиков!

О, как спели мы тогда «Интернационал»! Каждое слово великого гимна сливалось с биением сердца любого из нас, каждая строчка гимна была нашей клятвой партии большевиков, навечной присягой советской молодежи в верности идеям коммунизма. Почетным председателем съезда под нескончаемые овации был избран Владимир Ильич Ленин...

После выборов президиума и мандатной комиссии начались приветствия. Один за другим выходили на трибуну делегаты. Они говорили о том, с каким нетерпением ожидала молодежь Советской страны радостного дня открытия съезда и как жаждет она объединиться в единую мощную организацию, чтобы успешнее продолжать путь под большевистскими знаменами.

Затем начались доклады с мест.

Перед делегатами развертывались славные страницы истории возникновения и первых успехов союзов молодежи «III Интернационал», несших на своих юных плечах вместе со всем народом огромную тяжесть военной и созидательной работы в своей дорогой отчизне.

— К лету этого года наш трехтысячный союз исчез из городов и деревень,— улыбаясь, заявил товарищ из уральской организации.— Не подумайте, что он испарился или распался. Просто ушел на фронт вместе с губкомом. А в августе опять мы объединили не менее трех тысяч человек. Если понадобится снова уйти на фронт — пойдем. А наш союз опять возродится!

Точно такие же события произошли в Курской губернии и в Северной области...

— А наша организация дала сотни бойцов в продотряды,— сообщил делегат Нижнего-Новгорода.

— Союз молодежи создал по призыву партии молодежный батальон, разгромивший кулацкое восстание в

Юрьевском уезде,— доложил наш владимирский делегат.— Когда же начался Ярославский мятеж, двинулись в бой вместе с частями Красной Армии отряды Союза молодежи из Владимира, Мурома, Коврова, Иванова и Шуи...

Единственный добравшийся до Москвы представитель Киева рассказал съезду о героической борьбе украинской молодежи против немецких оккупантов и клики гетмана Скоропадского...

Простыми, скромными словами говорили посланцы советской молодежи о своей государственной, общественной и культурно-просветительной работе. За краткими сообщениями вставала величественная работа юношей и девушек в труднейших условиях разрухи и голода.

Союзы молодежи помогали партии создавать комитеты бедноты. Союзы молодежи организовали клубы, кружки текущей политики, послали тысячи людей на ликвидацию неграмотности среди населения. Товарищи из Вологды открыли книжный магазин и походный киоск с газетами. Питерцы сумели разместить много сотен рабочих-подростков на фабриках и заводах, успешно борясь с существовавшей в те времена безработицей. Москвичи по призыву Интернационального бюро социалистических юношеских организаций провели 15 октября 1917 года пятитысячную демонстрацию рабочей молодежи против войны. Демонстрация закончилась грандиозным митингом на Скобелевской площади (ныне площади Моссовета). Москвичи создали школы грамоты, клубы и читальни, начали издавать журнал.

Все без исключения делегаты говорили о трудовых подвигах молодежи, о борьбе с саботажем, о том, как члены Союза учатся военному делу, борются с меньшевиками, эсерами и анархистами, помогают чекистам...

В некоторых докладах с мест встречались сообщения, могущие показаться наивными, но они отражали могучие стремления молодежи к созданию правил коммунистической морали. Так, например, курский делегат сообщил, что губернская конференция Союза единогласно приняла постановление, запрещающее членам Союза молодежи брать приданое за девушками, ибо это оскорбляет женское достоинство...

Съезд прервал доклады, чтобы выслушать сообщение о новом зверстве банд Скоропадского, убивших коммунистов Сытина и Потемкина. Съезд почтил вставанием па-

мять жертв контрреволюции и при бурных аплодисментах принял постановление послать привет молодым рабочим и крестьянам Украины.

На следующий день на вечернем заседании съезда слово для доклада о текущем моменте было предоставлено представителю Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков) Емельяну Ярославскому. Не было конца здравицам в честь партии.

— Да здрав-ству-ет Ле-нин!— мощным хором скандировал весь зал.— Ве-ди нас, пар-ти-я, за со-бой в ре-ши-тель-ный бой! Ура-а-а-а!..

Передав съезду привет от ЦК и пожелание успеха в работе, товарищ Ярославский подробно осветил внешнее и внутреннее положение Советской республики.

Он указал на то, что, несмотря на все победы, положение Советской республики очень серьезно, и не следует недооценивать грозящие нам опасности, но и победы, завоеванные нами, также не будем недооценивать: мы национализировали все заводы и предприятия, банки и орудия производства; мы отделили церковь от государства и школу от церкви; борясь на фронтах внешнем и внутреннем, мы все-таки сумели реформировать школу; мы отдали всю землю в руки трудящегося крестьянства; мы имеем миллионную закаленную армию, и мы объяснили солдату, чем для него является социалистическая революция. Рабочие, крестьяне и солдаты видят в нас своих действительных представителей и защитников. Строительство Советской России идет быстрыми, твердыми шагами.

Он говорил о том, как ненавидят Советскую республику враги. С буржуазией сомкнулись вплотную подлые меньшевики и эсеры. Социал-предатели, слившиеся с черной стаей белогвардейцев, приглашают интервентов. С севера и востока мы почти предотвратили опасность, но хуже обстоит дело на юге, где алексеевские войска при помощи интервентов наступают. Краснов, работавший на немецкие деньги, теперь берет английские, американские и французские. Белогвардейцы бесчинствуют на Дону и на Украине.

Докладчик подчеркнул, что английская, американская и французская буржуазия всегда будет пытаться уничтожить Советскую страну, но не только буржуазия суще-

ствует на свете. Есть на свете рабочие и крестьяне, есть народ, который может остановить преступную руку всемирных эксплуататоров, занесенную над нами и тем самым над трудящимися всего мира. Растет и будет расти революционное движение в других странах. Народы поймут, где их подлинные интересы, и наступит то время, которое предсказывал Энгельс: короны повалятся дюжинами, и не будет желающих их подбирать.

Опасностей немало, но мы их видим и сумеем преодолеть. Побед у нас немало, и мы сумеем их стократно увеличить!..

Товарищ Ярославский закончил свою речь призывом к молодежи быть верными помощниками Коммунистической партии в строительстве коммунизма.

В холодных комнатах общежития делегаты продолжали обсуждать все, что привлекало их внимание на съезде, спорили, пели, мечтали.

— Хорошая книга,— сказал мой сосед по койке, откладывая в сторону «Мартина Идена».— Парень из наших, а добрался до вершин знания. Добрался — а вышло ни к чему, на то капитализм. Вот я доберусь — и мне будет хорошо и стране польза...

— Постой, постой,— вмешался в разговор чубастый орловец,— ты, что ли, университет кончить хочешь?

— Хочу.

— В буржуи лезешь?

— Слепец ты, как я погляжу,— спокойно ответил мой сосед.— Самое дорогое, что есть в жизни, ты буржуям отдаешь. Я, мол, весь век лаптями щи хлебать буду и тем горжусь. А знания пусть буржуи имеют — так, что ли? Да чтобы построить заводы и дворцы, которые нам нужны, вот какие знания требуются!

— Тебе и дворцы нужны?

— И дворцы. Вот переселили мы тысячи семейств рабочих из чердаков и подвалов в лучшие барские особняки. Плохо, что ли? Только мы, трудовые люди, и имеем подлинное право жить в дворцах!

— Небось и галстук наденешь? Ты какой предпочитаешь: «собачью радость» или гаврилку?

Сосед на минуту задумался.

— Галстук, может, и не надену. Но чисто одетым быть

хочу. Даже красиво одеваться — и то хочу. Не брать же пример с той дивчины, которая выступала вчера на съезде. Волосы нечесаны, юбка висит косо, неряха она несусветная — и это, мол, потому, что так принципиально полагается пролетарскому революционеру. Еле-еле из грязи начинаем выбираться, а она опять в грязь тянет. Да еще прин-ци-пиально!

Орловец расхохотался:

— Профессор! Трубадур красоты! Васька-токарь — трубадур!

— Звание принимаю,— серьезно сказал, вставая, Вася-токарь.— Все красивое в мире будет нашим. А сами мы построим такую красоту, что никаким буржуям не снилась. И отдадим мы ее трудовому человечеству...

Он сел на койку и задумчиво проговорил:

— Эх, будет ли такое время, когда войдем мы с тобой, Саша, в огромный зал, полный народом, оглянемся и увидим: все в зале — рабочие и крестьяне, и все с высшим образованием,— ну, пускай хоть со средним. А?

— Будет, Вася, обязательно будет,— убежденно ответил я.

— И в это время страна Советская будет богатой, счастливой и нарядной, не так ли?

— Именно так, Вася.

— Спасибо. Развеселил ты меня, друг. Давай споем, что ли?

— Давай споем.

Я сел за рояль. Со всех сторон сбежались делегаты, и полился широкий напев могучей волжской песни. В комнате стало тесно, мы перетащили рояль в пустой зал, где обычно выдавали нам сухари, и продолжали петь.

Однако в зале было так холодно, что даже веселые песни согреть нас не смогли. Тогда сыграли мы в чехарду, а потом устроили состязание делегаций в русской пляске. Пол ходил ходуном...

Трубадур красоты Васька-токарь оказался сильнее своего орловского оппонента и разумом и юношеским задором в танце.

С большим вниманием слушал я доклад о социалистическом юношеском движении на Западе. Однако назойливый шум, возникший где-то рядом, заставил меня вспом-

нить, что я являюсь очередным председательствующим на съезде. Шум рос, чьи-то взволнованные голоса повторяли имя, заставившее радостно дрогнуть сердце. Один из членов президиума шепнул мне, что немедленно надо предоставить слово для оглашения полученной приветственной телеграммы.

Я предоставил слово товарищу Кржижановской.

Передав привет от внешкольного отдела Наркомпроса, она огласила только что полученную телеграмму от германской молодежи и Карла Либкнехта:

«Германское юношество, собравшееся в Берлине со своим Либкнехтом, приветствует русских товарищей и заявляет, что готово последовать их прославленному победой примеру. 27 октября. Берлин».

Грянуло «ура!». Все встали, в воздух полетели кепки и картузы, стихийно возник «Интернационал».

Овации были нескончаемы. На этом же заседании был принят текст ответного приветствия Карлу Либкнехту.

Все обитатели нашей комнаты общежития уговорились торжественно провести вместе последний вечер перед заключительным заседанием съезда. Каждый из нас притащил малую толику продуктов, кто-то добыл сахарину, а один из нижегородцев обменял ради товарищеского праздника запасную рубашку на отличную курицу.

Хотели мы начать вечер диспутом с анархистом-индивидуалистом, обнаруженным среди делегатов мандатной комиссией.

Васе-токарю поручено было разыскать его и привести в комнату.

Ко всеобщему изумлению, анархистом-индивидуалистом оказался скромный городской парнишка, не вымолвивший ни слова на съезде, усердно аплодировавший большевистским ораторам и даже голосовавший на секции съезда за строгую дисциплину в РКСМ. У парнишки не оказалось ни бомбы, ни ножа, ни пулеметной ленты через плечо.

— Выкладывай свою веру,— сказали мы ему.

Парнишка виновато взглянул на нас и тихо вымолвил:

— Незачем...

— Это почему же?

Парнишка так смущенно почесал затылок, что трубадур красоты Вася-токарь сразу смекнул, в чем дело.

— Скажи, приятель! А не назвал ли ты себя таким страшным именем, чтобы перед девчатами пофорсить?

Выражение лица нашего оппонента не оставляло сомнений в том, что это так и есть.

— Эх, ты! — добродушно улыбнулся Вася.— Раз так, садись за общий стол и больше не дури.

Диспут не состоялся. Пришлось сразу перейти ко второму пункту программы вечера — ужину.

— Братцы! — вымолвил нижегородец, занося нож над курицей,— сия птица принесена с Сухаревки, но разве она виновата в том, что попала в руки спекулянтов? Давайте разобьем врагов, уничтожим капитализм, и тогда курица сможет каждодневно попадать на стол любого представителя освобожденного человечества, навеки забыв, что ее давний предок слышал такие мерзкие слова, как «спекулянт», «капиталист», «интервент», «голод»...

— Предложение принимается,— ответил ему стеклодув из Гусь-Хрустального.

— Каждому попадет сегодня довольно символический кусок,— продолжал нижегородец,— но примем его как аванс будущих благ. Когда мы с вами встретимся на будущих съездах нашего Союза, нас будут кормить... чем бы, вы думали?

— Чистым пшеном,— сказал делегат из Курска.

— Нектаром и амброзией,— сказал Вася-токарь.

— Пельменями,— сказал уралец.

Нижегородец замотал головой.

— Нет, не угадали. Телячьей отбивной, вот чем! Не так ли?

— Предложение принимается,— торжественно возгласил стеклодув из Гусь-Хрустального, и всем стало очень весело.

— А как вы думаете, сколько членов Союза будем мы объединять лет этак через сорок?

— Не знаю,— сказал курянин.

— Сто тысяч!— выпалил уралец.

— Миллион!— сказал я.

Нижегородец задумался:

— Ты, пожалуй, слишком зафантазировался, хотя это тебе так и полагается, как поэту. Ну, миллион не миллион,

а тысяч триста это уж наверняка. А как, по-вашему, будет выглядеть Москва?

Вася-токарь даже встал:

— Изумительно!— произнес он, явно волнуясь,— волшебно! Все будет в ней громадно и уютно, светло и радостно. Домищи — во! Свету — во!

— Не очень вразумительно, однако правильно,— засмеялся нижегородец.— Я тоже так думаю, а сказать не умею. Уверен, что действительность перекроет любые наши мечтания.

— На будущих наших съездах вся страна придет приветствовать Союз молодежи,— сказал Вася,— он совершит много замечательного, правда ведь?

После того как были прочтены стихи, исполнены танцы и спеты все известные нам песни, нижегородец закрыл наш вечер следующими словами:

— Ну, пора. Скоро разъедемся по домам, а я на фронт пойду. Встретимся ли — не знаю. Но если встретимся, через год или через четверть века, на съезде Союза или на первом всемирном празднике коммунизма, хочу я, чтобы мы увидели, как гордится народ и партия Союзом молодежи, Российским Коммунистическим Союзом молодежи. И расскажем мы товарищам об этих черных сухарях и сахарине, о твоей рваной тужурке, Павел, о твоих зевающих во весь рот ботинках, Вася, и о том, как мы все точно предугадали, какой будет Москва через сорок лет. Чем красивее будет жизнь, тем веселее мы будем рассказывать, как было трудно. И особенно хорошо надо рассказать, как дрались мы за Советскую власть. Вот сообщим мы это нашим потомкам, а потом спляшем — да так спляшем, чтобы никто не смог забыть, как великолепно плясали и жили на первом съезде молодежи!

— Предложение принимается,— серьезно сказал стеклодув из Гусь-Хрустального, и все обменялись крепким рукопожатием.

1955—1957.

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

НОВАЯ СТРОЙКА

Среди развалин и разрухи торопливо работает одна фабричка. Небольшая, согнулась, как старушонка, но здоровенная фабричная труба ее хлопотливо дымится, не угасая.

Кругом, то и видишь, замолкли станки, не видать дыма, а наша старушонка и в ус не дует, суетится и все посылает со двора подводы с выделанным добром.

Заинтересовался я, поехал в Лефортово, глядь, на Большой Переведеновке, 40, за скучным забором суетится старушонка.

Вошел. Низко, тускло, полутемно, неуютно,— ну, это же наследие от буржуя: капиталист для выжимания пота из рабочих дворцы не станет строить. Капиталист поставил калеку-здание, калеки-машины, приник, впился зубами и стал сосать из живого человеческого труда прибыль.

А тут война. Задымилось море крови, а к капиталисту в карман толстым жгутом побежало, сверкая, золото,— не успевал в банк сгребать; надрывались рабочие, изнашивались машины, инвентарь; он ничего не поправлял, не ремонтировал, не восстанавливал, только хрипло гнал рабочих в неустанном труде.

Пожар, крыша провалилась, — не беда! Застраховано.

Грянула Октябрьская. Капиталист исчез. Стоят рабочие перед пожарищем, перед расшатанными, изношенными, разбитыми машинами, чешут в затылках — эхма!

Ни денег, ни специалистов, все высосано, нечем взяться, нечем погасить неуплаченную заработную плату.

Слезами горю не пособишь,— засучили рукава, натужились и давай строить. Призвали своего же плотника. Прикинул аршином.

— На крышу столько-то бревен, досок надо.

— Ищи!

— Да где я их найду?— взмолился.

— Хоть роди, да найди. А то и не показывайся.

— Наше-ол!

Приволокли и бревен и досок. А как их приходилось выманивать, выклянчивать, выворачиваться в платежах,— долго рассказывать.

Во главе — старинный работник фабрики, склизким вьюном вертится,— где слабо, где вот-вот оборвется, там он.

— Денег, денег же надо! Поймите: все лопнет! Товару на складе от хозяина осталось, подманули спекулянта — бери товар, горы наживешь. Загорелись змеиные глаза, заворотил полу, достал тугую мошну, отсчитал пятьдесят тысяч, как копеечку, и не крякнул, нагреб добра на складе — на подводу и повез. Барыши-то, барыши, аж голова кружится! А его тово... гм!.. в Чеку.

Что!.. Да ведь годы, века сосали такие-то детишек, женщин. Горы рабочих костей гниют в земле, а у этих, со змеиными-то, рекой льется роскошная жизнь из замученных жизней. Заткните же подлую глотку, лицемеры.

Так два раза напоролись спекулянты.

Оперились маленько наши, затянули крышу, заделали пол, поставили машины, заработала старушка. Чешет, набивает ворс на сукно, красит, посылает красноармейцам на шинели, рубахи, штаны, работает старушонка.

— Да как же так: другие фабрики стоят?

— Стоят.

— Почему?

— Нет дров.

— А старушонка как же?

— А вот как:

Одной большой фабрике дали дров на станции верст за тридцать от Москвы. Но с условием: погрузить и вывезти в *восемнадцать часов*. Фабрика отказалась: немыслимо в такое короткое время погрузить и вывезти.

Узнали ребята с нашей фабрики, кликнули клич, выступило шестьдесят рабочих. Кинулись на железную дорогу, сбили состав в тридцать вагонов, марш на станцию. Рвались в работе, погрузили и вывезли в шестнадцать часов. Большая фабрика осталась с носом, а старушонка —

с дровами. Оттого так весело дымится ее труба, когда другие угрюмо молчат.

На фабрике только рабочие. Директор — рабочий (слесарь), заведующий красильным отделением — рабочий, бухгалтер — рабочий.

Каждую копеечку, каждую работу распределяют домовито, по-хозяйски.

Надо ремонт дизелю. *Прежде*, бывало, машину останавливали, рабочих распускали и приступали к ремонту.

Теперь выудили где-то электромотор, который и трудится, пока починят дизель, фабрика-то и во время ремонта двигателя работает.

Подобралась работа в стригальном — рабочие не ждут сложа руки, а становятся у красильных чанов красильщиками.

Рабочим негде помыться. Разыскали валявшийся годами на дворе бак, налили водой, провели змеевик от паровика, мойся сколько влезет, любо-дорого.

От чанов с краской густо подымается отрава. Рабочих тошнит, голова идет кругом. При хозяине был ледащенький вентилятор.

А теперь, оберегая себя, поставили еще пять сильных вентиляторов, воздух чистый.

При хозяине в кочегарке валился народ: из топки зноем несет — пот градом катится, а отворят двери прямо наружу, дрова ввозить — страшный сквозняк несет, рубаха леденеет. Выстроили пристрой, навесили вторые двери, свет ясный увидели.

А знаете, как работают? 7 процентов переработки против четырнадцатого года. А знаете, какие прогулы? 2—3 процента.

Так во всем.

Пока еще — согнувшаяся старушонка, но дайте срок: раздавят ядовито ползучих эсеров, меньшевиков; окончательно прорвется блокада, и какой же чудесный трудовой дворец воздвигнут мозолистые руки.

А пока старушонка хлопотливо дымит и хлопочет.

Приходите же, товарищи, посмотреть и поучиться, как надо строить новую жизнь.

1918

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ

ФЛАГИ НАД ГОРОДОМ

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это.

1

ПОСЛЕ революции началась новая жизнь. Прогнали мы буржуев, и настала свобода!

Не было у нас больше царя, отменили бога. Кажется, и воздух в поселке стал чище, солнце в небе сверкало веселей, и всюду, куда ни погляди, полыхали на ветру красные флаги революции.

Просто не верилось, что совсем недавно по городу разъезжали в богатых колясках баре, ходили по улицам усатые городовые с саблями. Владельцем завода был англичанин Юз, а рабочие трудились в огне, как в аду. Даже Васька работал на коксовых печах и чуть не умер там. А ему было всего только одиннадцать лет — чуть-чуть побольше, чем мне.

Теперь каторга кончилась: в городе не было ни одного буржуя, ни одного полицейского, и нигде не слышно ненавистных слов: «господин», «ваше благородие», «барин».

По улицам ходили вооруженные рабочие и называли друга друга по-новому:

— Товарищ!

Товарищ! Какое красивое слово! Сколько теплоты и счастья в этом слове!

Раньше его произносили шепотом, чтобы, не дай бог, не услышал городовой, а то живо закуют в кандалы:

— Против царя идешь.

Теперь это слово стало свободным, как птица, выпущенная на волю. Я полюбил его и повторял двести раз

на день. Даже ночью, укрывшись с головой старым пиджаком и чувствуя спиной теплую спину Васьки, я твердил про себя тихонько:

— Товарищ, товарищи...

Днем я бродил по городу и заговаривал с прохожими, чтобы лишний раз произнести слово «товарищ». Рабочий с винтовкой на плече обернется и спросит: «Тебе чего, мальчик?» Ответишь что-нибудь: рукав измазан в глине, или: смотри, мол, винтовку не потеряй. Он улыбнется, скажет «спасибо», а ты идешь дальше, отыскивая, к кому бы еще обратиться.

На углу нашей улицы торговала семечками бедная бабушка Ивановна. Я подходил к ней и, стараясь быть строгим, спрашивал:

— Товарищ бабушка, почем семечки?

Должно быть, старушке тоже нравилось это слово. Улыбаясь, она протягивала мне горсть семечек:

— Возьми, сыночек. Лузгай, сиротка.

Однажды я встретил Алешу-пупка — нищего мальчика из поселка «Шанхай». Было уже начало зимы, а он шел без шапки, втянув нестриженую голову в воротник рваного женского сака. Я остановил Алешу и спросил:

— Почему ты без шапки, товарищ?

— Нема,— тихо ответил Алеша,— порвалась шапка.

— Возьми мою,— предложил я, снимая с себя выцветший, драный картуз без козырька.

Алеша отказался взять у меня картуз и ответил:

— Обойдусь. Спасибо, товарищ.

И мы улыбнулись друг другу, согретые теплом этого слова.

Расставшись с Алешей, я поспешил в город. Там было столько интересного, что не хватало дня, чтобы успеть все увидеть. Давно нужно было поглядеть, как дядя Митя — наш председатель Совета рабочих и солдатских депутатов — заседает в Совете. Хотелось заглянуть и в банк.

Васькин отец Анисим Иванович стал теперь «уполномоченным финансов». Он уже не ползал на своей маленькой тележке, а ездил на линейке, запряженной буланой лошадкой. Через плечо на тонком ремешке он носил наган, чтобы охранять народные деньги. Я представлял себе, как Анисим Иванович сидит у дверей банка, набитого до потолка деньгами, и держит в одной руке наган, а в другой палку — попробуй-ка сунься за денежками!..

Каждый день появлялось что-нибудь новое. То в бывшем благородном собрании открыли рабочий клуб. То на пожарную площадь парни и девчата сносили иконы и под пение «Интернационала» сжигали их. (Мы с Васькой тоже сняли и забросили в костер свои медные крестики. Если бога нет, зачем дурака валять, чтобы на шее всякая ерунда болталась!) То в бывшей судебной палате «именем революции» судили колбасника Цыбулю. На главной улице срывали старые эмалированные таблички: «Николаевский проспект» — и прибивали новые, деревянные: «Улица имени рабочего Егора Устинова». Вывески были плохо оструганы, и от них пахло кровельной краской. Зато улица называлась именем моего отца. Мой отец погиб за революцию. Белые казаки сожгли его живьем в коксовой печи. Ребята говорили, что отцу поставят в городе памятник.

Нужно было сбегать и на завод. Управляющим рабочие выбрали Абдулкиного отца — дядю Гусейна. Посмотреть бы хоть в щелочку, как дядя Гусейн управляет заместо Юза! Говорят, отобрали имение у генерала Шатохина и землю роздали крестьянам. Еще интереснее было то, что женщины после революции поравнялись с мужчинами. Не все, правда: Васькина мать, тетя Матрена, как и раньше, была выше Анисима Ивановича, а мать рыжего Илюхи совсем коротышка, но другие поравнялись — я это сразу заметил.

Много было дел, много в городе новостей, и разве можно пропустить хоть одну?

2

По дороге в центр города мне встретилась большая колонна рабочих. Вместо винтовок они зачем-то несли лопаты, пилы, кирки. Шагая в ногу, они дружно пели:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.

Впереди плыл красный флаг. Он весело похлопывал о древко, будто хотел взлететь в голубое небо. Я смотрел, как рабочие свернули в боковую улицу, ведущую к заводу. Вот скрылась за домами последняя шеренга, и только доносились слова песни:

И водрузим над землею
Красное знамя труда.

Из разговоров людей я узнал, что это был Первый Коммунистический трудовой отряд. Оказывается, вышел новый закон: «Кто не работает, тот не ест». Мне стало совестно, ведь я вчера и сегодня ел хлеб и даже тюрю, и узвар пил, а сам не работал. Как стыдно, когда есть — ешь, а не работаешь! «Теперь не буду ничего есть,— решил я.— Ни за что не буду».

В городе, в бывшей лавке Цыбули, открыли потребительскую кооперацию. Возле нее стояла длинная очередь за хлебом. Где-то здесь должен быть Васька, мой друг и защитник, верховод всех заводских ребят.

Женщины, закутавшись в платки, сидели на скамеечках, принесенных из дому, лузгали подсолнухи и рассказывали о том, как сегодня ночью у богатея Цыбули в земле под сараем нашли сто мешков муки и сколько-то много пудов конфет. Совет депутатов приказал раздать рабочим, кроме хлеба, еще по фунту муки.

Узнал я из разговоров в очереди и о том, что за станцией Караванной идет бой Красной гвардии с белогвардейским генералом Калединым и что туда уехал сам председатель Совета товарищ Арсентьев, или попросту — дядя Митя.

Ваську я нашел в середине очереди. Здесь же были одноногий гречонок Уча, Илюха и сын конторщика Витька-доктор.

Хлеб еще не привозили, стоять в очереди нужно было долго. Мы решили пойти в Совет и узнать, верно ли, что скоро откроется школа для детей рабочих.

Мы оставили в очереди Илюху, передали ему свои хлебные карточки, а сами пошли в Совет.

По главной улице разъезжали конные красногвардейцы. Они были одеты кто в чем: кто в пиджаке, кто в пальто, кто в шинели. Сбоку на поясах висели разные шашки: у одних — загнутые на концах, точно колесо, у других — совсем прямые, у третьих — самодельные, без чехлов. Зато за спинами покачивались карабины, кони весело гарцевали — приятно было смотреть на красногвардейцев.

На длинном заборе поповского дома мы увидели лозунг, написанный красной краской:

«Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем раскрепощения...»

Мы шли вдоль забора и читали пятисаженную надпись. Прочитав одну строчку, мы вернулись и принялись за другую:

«Раскрепощаются крестьяне... солдаты и матросы. Раскрепощаются рабочие... Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков».

Уча стукнул костылем в то место, где стояло слово «оков», и спросил:

— А что такое оковы?

— Кандалы,— объяснил Васька.— Помнишь, как Абдулкин отец, дядя Гусейн, из тюрьмы в цепях вышел?

Уча нахмурил угольные брови, поднял камень и запустил им в дом колбасника Цыбули. Камень, не долетев, упал в снег около забора.

В Совете рабочих и солдатских депутатов, в просторном зале, толпилось много народу — женщины с грудными детьми, рабочие, барышни в красных косынках. Всюду стоял гомон, треск каких-то машинок.

На столах, поставленных в беспорядке, виднелись таблички: «Продкомиссар», «Отдел по борьбе с контрреволюцией», «Народное просвещение».

За самым дальним столом, в углу, где стояло пробитое пулями красное знамя с надписью: «Это будет последний и решительный бой!», мы увидели Васькиного отца Анисима Ивановича. Перед ним красовалась табличка: «Уполномоченный финансов».

Положив тяжелые руки на стол, Анисим Иванович спорил с дядей Гусейном — управляющим заводом.

— Давай три миллиона, ничего я знать не хочу,— требовал Абдулкин отец.

— Нема же денег,— отвечал Анисим Иванович.— Не веришь, вот тебе ключ — проверь.

— Не хочу я проверять! Я должен пустить завод, а жалованье рабочим нечем платить.

— Ну, а я что могу поделать? Все мы сейчас работаем бесплатно: и я и ты.

— О себе не говорю, черт меня не возьмет, а рабочим нужно платить, понимаешь?

— Понимаю, а ты пойми, что денег в банке нема — буржуи увезли с собой все деньги.

Анисим Иванович повернулся к соседнему столу с табличкой: «Реквизиционный отдел», за которым сидел матрос:

— Слушай, товарищ Черновол, нельзя ли потрясти богатеев насчет денег?

Матрос, тихо разговаривавший о чем-то с группой вооруженных рабочих, ответил:

— Трясем, товарищ Руднев. Клянутся всеми святыми, душу отдают, а деньги прячут. Но ты, товарищ управляющий, не горюй, для рабочих денег найдем.

Когда дядя Гусейн ушел, мы протиснулись к Анисиму Ивановичу.

— А вам чего, шпингалеты? — спросил он с доброй улыбкой.

— Дядя Анисим, верно, что у нас школа будет? — спросил Уча.

— Это не по моей части, хлопцы. Во-он туда идите, третий стол от двери.

Уча поскакал на костыле туда, где виднелась табличка: «Народное просвещение», и тотчас вернулся, громко крича:

— Будет! Сказали: будет!

Шумной ватагой мы высыпали на улицу и у входа столкнулись с Абдулкой, который откуда-то прибежал.

— Ребята, айда в завод! — сказал он, с трудом переводя дыхание.— Там народу тьма собралась, музыка играет.

Мы прислушались. В самом деле, где-то далеко гремели литавры, доносился рык басовой трубы.

3

Чтобы не обходить далеко, мы перелезли через забор. Завод теперь наш — кого бояться?

Абдулка сказал, что люди собрались около доменных печей. Туда мы и устремились.

Первым на нашем пути стоял прокатный цех — огромное безлюдное здание. Сквозь прорехи в крыше на железный пол падали холодные косые снопы солнечного света. Так просторно вокруг, так весело на душе! Захочу вот — и стану работать в каком угодно цехе: теперь наш завод!

За прокаткой стояли на путях мертвые заводские паровозики «кукушки», сплошь занесенные снегом. Мы обогну-

ли высокую, пробитую снарядом кирпичную трубу кузнечного цеха и вдали, у подножия доменных печей, увидели большое скопление народа. Пестрели красные косынки женщин, одетых в телогрейки.

Обгоняя друг друга, мы подбежали и протиснулись в самую гущу толпы, поближе к железной бочке — трибуне.

Выступал бывший помощник моего отца по заводу, молотобоец Федя.

После гибели отца Федя жалел меня — часто заходил к Анисиму Ивановичу, где жил я, и приносил мне то ломоть кукурузного хлеба, то кулечек с сахарином.

— Товарищи! — восклицал Федя, оглядывая собравшихся.— Республика Советов находится в смертельной опасности. У нас нет денег, нет хлеба, нет топлива. Заводы и шахты стоят. Нам нужно скорее пустить завод, чтобы делать оружие для защиты добытой кровью свободы. Нам не на кого надеяться, товарищи. Мы должны сейчас же начать работу. Пока у нас нет денег, мы будем работать бесплатно, на пользу революции!

Взметнулось громогласное «ура». Тучи галок, сидевших на вершинах домен, взлетели и загорланили, кружась над печами. Заиграла музыка. Федя что-то еще кричал, но уже ничего не было слышно.

На трибуну взобрался управляющий заводом дядя Гусейн. Он говорил про какого-то американского буржуя Вильсона, который приказал задушить нас голодом, про разруху и про то, что буржуи не простят нам того, что мы отняли у них власть, и пойдут на нас войной. А поэтому мы должны делать снаряды и пушки, патроны и винтовки.

Когда дядя Гусейн закончил свою речь, заколыхались знамена, полетели в воздух шапки, грянула музыка, и молодые рабочие запели:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Я видел, как Васька, сняв шапку, пел. Я тоже стал подтягивать, и мне казалось, что тысячеголосое, могучее пение вырывается из одной моей груди.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

После митинга рабочие разделились на отряды и с веселыми шутками разошлись по цехам.

В пустынном, заброшенном заводе зазвенели голоса, здесь и там застучали молотки, раздался лязг железа. Одни очищали от снега заводские пути, другие растаскивали баррикады, сложенные из опрокинутых вагонеток, третьи грузили в вагоны рассыпанный уголь.

Потом, радуя слух, донесся откуда-то свисток паровоза, и по шатким рельсам из-за доменных печей приползла чумазая маленькая «кукушка». На трубе развевался красный лоскут, а спереди и по бокам, на буферах и подножках, стояли рабочие и радостно размахивали руками, шапками. Их встретили дружным «ура».

— Первая ласточка, товарищи! — закричал один из рабочих, спрыгивая на ходу с паровозика.— Ласточка революции! — И он мелом написал на боку паровозика эти слова.

«Кукушку» обступили, ласково ощупывали, грелись о ее теплые бока. Я тоже погрел руки, а Уча даже взобрался на буфер и сидел там, побалтывая ногой и весело размахивая деревянным костылем.

Управляющий заводом дядя Гусейн пожал машинистам руки и сказал:

— Придет время, товарищи, когда у нас будет много больших паровозов. А эту «ласточку» мы сбережем как память о первых днях Советской власти, память о нашем свободном, коммунистическом труде.

«Кукушка», казалось, тоже слушала дядю Гусейна, тихонько сопя и пуская по сторонам белые усы из пара. Потом она подцепила вагон с углем и, отдуваясь, повезла его в кузнечный цех. Скоро она снова вернулась, притащив паровозный кран с длинным изогнутым носом. Он стал грузить на платформы железный лом.

Вдруг невдалеке раздался взрыв, за ним другой. Земля вздрогнула так, что я чуть не упал.

— Козлы рвут! — услышал я чей-то радостный возглас.— В доменной козлы подрывают!

Напрасно я испугался. «Рвать козлы» — это значит очищать внутренность печи от застывшего чугуна. Теперь ожидай, что скоро пустят доменную печь, а потом — мартеновские, а за ними — прокатные станы!

Невозможно было удержаться, чтобы не работать. Вместе со взрослыми мы принялись за дело — собирали

разбросанный инструмент, очищали от снега дороги. Я даже снял старую телогрейку, чтобы легче было. Никакая игра не казалась мне такой увлекательной, как эта работа. Особенно радостно было оттого, что я работаю бесплатно, на пользу революции. Если бы мне давали тысячу рублей, я и то не взял бы. Бесплатно работаю, на революцию! Сам товарищ Ленин пожал бы мне руку.

— Молодцы, ребята! — подхваливали нас взрослые.— Старайтесь, это все для вас делается: вам доведется в коммунизме жить!

— Мы и так не отстаем,— ответил за всех Васька.— Шибче, ребята, лучше старайтесь!

— Правильно, Вася, подгоняй хлопцев.

Один из рабочих увидел вдали, над трубой кузнечно-костыльного цеха, черный дым, и зазвучали отовсюду оживленные возгласы:

— Дым, дым!..

Галки, горланя от радости, закружили над дымом — погреться слетелись. До чего хорошая жизнь началась: даже птицы повеселели!

В самый разгар работы Уча, рывшийся в снегу, закричал нам:

— Сюда, скорее сюда!

Из-под железного хлама он вытащил ржавые, покрытые инеем кандалы — страшную, похожую на живую змею, цепь с двумя «браслетами» на концах.

— Оковы,— мрачно проговорил Васька, шевеля звенья цепи.

Ребята, притихшие, молча разглядывали цепь. Я тоже робко притронулся к холодной стальной змее. Васька выпустил кандалы, и они скользнули из рук, звякнули и свернулись клубком.

— Это в них Джон Юз рабочих заковывал,— сказал Абдулка.

— Конечно,— подтвердил Васька.

— Хорошо бы заковать буржуя! — угрожающе выговорил Абдулка.

— Давайте Сеньку-колбасника закуем,— предложил я.

— А что? Верно! — сказал Уча.— Поймаем и закуем!

Васька молчал, не то обдумывая, как лучше заковать колбасника, не то колеблясь — стоит ли пачкать руки.

— Сеньку неинтересно,— сказал он.— Юза бы заковать!

Заковать Юза, конечно, было бы хорошо, но Юз сбежал, а Сенька под рукой. Выманить бы его сейчас из дому, затащить в сарай и заковать — пусть бы орал. Вот почему я, когда Васька, размахнувшись, закинул кандалы в снег, пошел туда, где они упали, поднял и опустил их за подкладку телогрейки через дыру в кармане. Неловко было ходить — кандалы перевешивали на один бок и противно звякали, но я не захотел расстаться с находкой, затаив злую думу против ненавистного колбасника. Ведь я не забыл и никогда в жизни не смог бы забыть того, как сын лавочника Сенька катался на мне верхом.

Помню, Васька тогда болел тифом, и доктор сказал, что если он не съест кусок мяса, то умрет. Я помчался к Сеньке.

Разве можно забыть то, как Сенька стоял тогда у дверей лавки, сосал конфеты и говорил мне: «Ладно, дам, только не за деньги. Буду кататься на тебе верхом».

Разве можно забыть, как он ездил, ездил на мне, а потом убежал. Тяжело было даже вспоминать про этот случай, и я давно собирался отомстить колбаснику...

Весело было в заводе, хорошо работать под музыку, но кто-то из ребят вспомнил об очереди за хлебом. Нужно было спешить, а то Илюха, чего доброго, съест наш хлеб. Ведь давали нам по четверти фунта на душу. Положи в рот — и нет пайка.

Мы с сожалением покинули завод и вернулись в город. Там уже выдавали хлеб и очередь наша приближалась. Скоро мы получили полфунта хлеба и фунт муки в шапку. Я вспомнил о новом законе: «Кто не работает, тот не ест», а сам подумал, что теперь этот закон не про меня. Я ведь работал! Ох, и вкусный хлеб, когда наработаешься!

4

Не прошло и двух дней, как нам объявили, чтобы мы собирались в школу. Это была самая радостная новость.

Школа! Сколько мы мечтали о ней, сколько раз проходили мимо гимназии, с завистью поглядывали на окна, за которыми учились буржуйские сынки! Сколько раз бородатый сторож, заметив нас, припавших к окнам, го-

нялся за нами с метлой! Если он уходил куда-нибудь, мы целый урок стояли под окнами.

Однажды мы видели, как отвечал урок Сенька-колбасник. В классе, развалясь, сидел красноносый поп отец Иоанн, перед ним, понуро опустив голову, стоял Сенька. Не то он не знал урока, не то был тупой (недаром три года сидел в одном классе). Поп злился и кричал на него:

— Тебе говорят, болван, бог един в трех лицах: бог отец, бог сын, бог дух святой!

Колбасник моргал глазами и молчал. Поп Иоанн под конец сказал ему:

— Тупа главы твоей вершина, нужна дубина в три аршина,— и велел идти на место.

Мы с Васькой смеялись, а Сенька показывал нам сквозь окно грязный кулак.

Когда раздался звонок, целая орава гимназистов под командой колбасника выбежала со двора и со свистом, гиком осыпала нас грудой камней.

— Бей сапожников! — кричали они. Мы защищались как могли, но нас было двое, а гимназистов — человек сто.

Огорченные, мы ушли домой. Не то обидно, что нас избили гимназисты, а то, что нам нельзя учиться. Меня отец кое-как научил читать и писать, но Васька не знал ни одной буквы. А как он хотел учиться!

И вот пришло счастье.

Собираясь в школу, я надел свою драную телогрейку, хотел было выбросить кандалы, но раздумал — вдруг Сенька встретится!

Тетя Матрена дала нам по куску хлеба с солью, по луковице, и мы отправились.

Над бывшей гимназией, как пламя, колыхалось красное полотнище. Ребят собралось около сорока. У многих висели через плечо холщовые сумки, но в них не было ни книг, ни тетрадей, ни карандашей. В длинных светлых коридорах гимназии было холодно. Окна почти все выбиты, парты изрезаны ножами. «Наверно, это Сенька-колбасник сделал со зла»,— подумал я.

Веселый шум, беготня наполнили гулкие классы.

Всех нас собрали в большой комнате. Там в ряд стояли поломанные парты. Расселись кто где. Мы с Васькой облюбовали самую высокую парту в отдаленном углу.

Взволнованные необычайным событием в нашей жизни, мы бегали, возились, и некогда было подумать, кто же

у нас будет учителем. Поэтому мы удивились и не сразу поняли, что происходит, когда в класс вошел механик Сиротка. Через плечо у него висел наган (Сиротка работал в отделе по борьбе с контрреволюцией).

— Товарищи ребятишки! — обратился к нам Сиротка, когда шум улегся и наступила тишина.— Именем революции объявляю первую рабочую школу открытой. Вы, дети горькой нужды, получили право учиться, чтобы стать грамотными и прийти на смену отцам, которые, может быть, сложат головы за рабочее дело. Тогда вы возьмете наше знамя и пойдете с ним дальше, к светлому коммунистическому будущему.

Ветер свистел в разбитых окнах, дребезжали торчащие в рамах осколки стекол. Мы сидели тихо и внимательно слушали Сиротку.

— Буржуи говорят, что мы, рабочие, не сумеем управлять государством. Докажите этим вампирам, на что вы способны, оправдайте великое звание рабочего класса! Все теперь принадлежит вам: школы, заводы и ваша судьба. Учитесь больше и лучше. Нам надо победить борющиеся с нами классы и пойти дальше. Таково веление жизни, товарищи ребятишки: на земле началась эпоха мировой революции.

Помолчав, Сиротка закончил свою речь словами, удивившими нас:

— Жалко, что учителей для вас мы пока не нашли. Некоторые учителя находятся в Красной гвардии, другие частично расстреляны бывшим царским правительством, а еще есть такие, что убежали с кадетами. Совет рабочих и солдатских депутатов приказал мне временно быть вашим учителем, пока найдем настоящих.

Хотя из речи нашего учителя я не понял половины слов, зато слова эти были полны тайной красоты: «веление жизни», «эпоха мировой революции».

После речи Сиротки в класс вошел товарищ Арсентьев — дядя Митя. Он окинул нас внимательным взглядом, что-то сказал Сиротке, и они пошли по рядам, внимательно оглядывая каждого из нас, ощупывая одежду. Около Алеши-пупка дядя Митя задержался особенно долго, даже присел на корточки и потрогал его рваные калоши, подвязанные веревками.

После осмотра дядя Митя вышел в коридор, а затем вернулся, но уже в сопровождении двух красногвар-

дейцев, нагруженных ворохами разнообразной одежды и обуви.

Все стало ясно. Мы заволновались.

Сиротка начал вызывать нас по очереди к доске, где дядя Митя разбирал кучу вещей и выдавал кому новый пиджак, кому теплую шапку, кому тяжелые солдатские ботинки с обмотками.

Ваське досталась зеленая военная гимнастерка, а мне — новые ватные штаны и черная жилетка. Вернувшись на место, я осторожно, чтобы не звенели кандалы, снял свою телогрейку и напялил на себя жилетку. Она была без рукавов, грела плохо, но зато в ней имелось четыре карманчика.

В классе раздался смех, когда Уче дали сапоги. Дядя Митя и Сиротка растерялись: сапог пара, а у гречонка одна нога. Обрадованный, Уча сам нашел выход и сказал, что он сперва износит левый сапог, а потом на той же ноге будет носить правый.

Всем понравилось, что Алешу-пупка одели с ног до головы. Сиротка снял с него женский сак и выбросил в коридор. Вместо этого на Алешу надели новое пальто, теплую шапку-ушанку, дали новые ботинки и огромные синие галифе с красными лампасами.

Никого не обделили — каждому что-нибудь досталось. Когда дядя Митя ушел, Сиротка сказал, что подарки прислал нам Совет рабочих и солдатских депутатов.

— Я знаю,—тихонько шепнул мне Васька,—это Ленин прислал нам вещи.

Растроганные, мы долго не могли угомониться.

Потом начался урок. Тетрадей не было. Откуда-то принесли кипу старых газет «Русское слово» и роздали каждому по газете. Вместо карандашей дали по кусочку древесного угля. Если им провести по газете, получалась ясная линия.

Снова поднялся шум: шуршанье газет, шепот. После этих приготовлений учитель опросил всех по очереди, кто грамотный, а кто совсем не знает букв.

Васе пришлось пересесть в левую часть класса, где собрались неграмотные. Вместо него ко мне посадили Витьку-доктора.

Сердце зашлось от счастья: мы в школе и сейчас начнем учиться. Но вдруг опять открылась дверь, и в класс

вошли какие-то люди с винтовками. Они вызвали Сиротку. По громкому разговору за дверью я понял: поймали какого-то буржуя и красногвардейцы пришли спросить у Сиротки, что с ним делать.

— Не отрывайте меня по пустякам,— говорил Сиротка.— Не знаете, что делать? Посадить в кутузку до моего прихода.

Не успели уйти эти, как явились новые, опять вызвали Сиротку и сказали, что его срочно требуют к телефону. Наш учитель в сердцах хлопнул дверью и не пошел.

Урок начался с того, что Сиротка вывел мелом на доске букву «а» и приказал неграмотным десять раз написать эту букву у себя на газетах. Умеющим писать — мне, Витьке-доктору и еще двоим ребятам из поселка «Шанхай» — он стал громко диктовать с какой-то бумажки.

Разгладив свою газету на парте, я старательно выводил:

«Товарищи — рабочие, солдаты, крестьяне, все трудящиеся!

Рабочая и крестьянская революция окончательно победила в Петрограде...»

Руки мои дрожали. Напрягаясь изо всех сил, так что на лбу выступил пот, я аккуратно выводил каждую букву. Сначала писал на полях газеты, а когда не хватило места, начал чертить буквы прямо на газете, где было напечатано отречение царя: «Божию милостию мы, Николай Второй...»

«Дождался, царюга-зверюга!» — невольно подумалось мне, и я с удовольствием подчеркнул написанную мною строчку: «Революция окончательно победила». Я хотел еще яснее обвести эти хорошие слова, но у меня сломался уголек. Писать было нечем. Я оглянулся: Васька тоже сидел сложа руки; нос у него был испачкан в угле. Оказалось, что у многих ребят кончились угольки, и они сидели, не зная что делать.

Васька сообразил: он попросил разрешения сбегать на улицу и скоро вернулся с пригоршней щепок. Тут же, в классе, их обожгли с одного конца. Неважные получились угольки, но все-таки...

Занятия возобновились. Сиротка ходил по классу и диктовал:

—«...Революция окончательно победила в Петрограде,

рассеявши и арестовавши последние остатки небольшого числа казаков, обманутых Керенским...»

Чтобы Витька-доктор не толкнул меня под локоть, я отодвинулся. Витька уже давно написал и теперь вертелся и заглядывал ко мне в газету. Ему было хорошо — он еще при царе учился в приходской школе, но мне не хотелось уступать Витьке, я старался написать не хуже его. Повернувшись к нему спиной, чтобы он не заглядывал, я трудился. Но Витька вдруг засмеялся и крикнул учителю:

— А Ленька неправильно пишет!

— Как так неправильно? — возмутился я.

— Слово «Керенский» он пишет с маленькой буквы, а нужно с большой.

— Вот так сказанул: Керенский рабочих расстреливал, Ленина хотел арестовать, а мы его будем писать с большой буквы?

— Рабочие здесь ни при чем,— заявил Витька.— Если фамилия, значит нужно с большой.

— Может, скажешь, что и царя Николая нужно писать с большой буквы?

— Конечно.

Это было уж слишком. В классе поднялся шум. Как Сиротка ни успокаивал, ребята кричали.

— С маленькой! — заявляли даже те, что сидели слева.

Васька поднялся с места и сказал:

— Довольно, попили нашей крови! Нехай буржуи пишут с большой, а мы будем с маленькой.

— Писать будем так...— сказал Сиротка, нахмурив брови.

Мы насторожились. Воцарилась тишина, ученики впились взглядами в Сиротку.

— Писать будем так, как требует грамматика, то есть с большой буквы. Керенский от этого больше не станет, он для нас теперь маленький, вроде блохи. А кричать в классе не разрешаю,— продолжал Сиротка строго.— Вы не в буржуйской школе, а в пролетарской. Должна быть дисциплина и сознательность. Если нужно спросить — подними руку и скажи: «Прошу слова».

— Съел? — прошипел Витька, поворачиваясь ко мне.

— Только выйди, я тебе дам! — пригрозил я.

Сиротка продолжал диктовать, а мы старательно шуршали угольками по газетам.

«За нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире. За нами дело справедливости. Наша победа обеспечена...»

Подождав, пока отставшие закончат писать, Сиротка стал диктовать дальше:

«Товарищи-трудящиеся! Помните, что *вы сами* теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете *все дела* государства в *свои* руки... Берегите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт — все это отныне будет *всецело* вашим, общенародным достоянием...

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».

Слово Ленин мне захотелось написать красным, но чем? Потом я вспомнил: у меня под полой телогрейки должен лежать кусочек бурой шахтной породы. Я пошарил и нашел. Слово «Ленин» получилось таким красивым, что ребята запросили: «Дай!» Не хотелось мне, чтобы у других было так же, как у меня, но я подумал: «Нельзя быть жадным, ведь мы все теперь товарищи». Я роздал ребятам по кусочку породы, только Витьке-доктору не дал.

Когда закончился диктант, Сиротка прошел по рядам, и у кого было чисто написано — хвалил, а кто размазал уголь по газете — ругал. Меня он даже погладил по голове и сказал:

— Молодец.

На переменке никто не кувыркался, не скакал. Все ходили степенно — боялись помять подаренную одежду. Абдулка даже не захотел подворачивать рукава новой телогрейки, и они висели до колен. Я решил помочь ему, но он зашипел на меня:

— Отойди, не цапай!

После урока чистописания рассказывали стихи. Витька-доктор, задаваясь, рассказал: «Дети, в школу собирайтесь». Я прочитал: «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет». Васька удивил всех, он вышел к доске и громким голосом рассказал по-украински стих: «Поховайте та вставайте...» Горящее от волнения лицо Васьки было красивым, а глаза — точь-в-точь два огонька.

На этом уроки закончились. Две работницы внесли в класс большую тарелку, накрытую газетой, и роздали каждому ученику по кусочку селедки без хлеба и по два сладких леденца.

5

Счастливый день! Все было радостным: и слова Ленина, которые диктовал нам Сиротка, и светлая классная комната, и подарки Совета, и наш однорукий учитель, вооруженный наганом.

Уплетая на ходу селедку, мы высыпали на улицу.

Около дверей школы стоял мрачный Илюха. Теперь он жалел, что не пошел учиться. Глаза у него загорелись злым огнем, когда он увидел надетые на всех нас обновки: сапоги, валенки, новые пальто.

— Илюха, ты чего не захотел учиться? — спросил Витька-доктор, подбегая к рыжему.

— Я уже грамотный,— важно ответил тот.

— Эх ты, грамотный! — сказал Витька-доктор.— Ну, скажи, если ты грамотный, скажи: слово «дверь» какого падежа?

Илюха тупо глядел на Витьку и молчал, потом спросил:

— Чего?

— «Чего, чего»! У тебя спрашивают: дверь какого падежа: именительного или, например, творительного?

Илюха ухмыльнулся:

— Думаешь, не знаю? Конечно, отворительного и еще... затворительного.

Витька так и присел от смеха, и я, хотя и не знал, что такое падежи, тоже смеялся. «Илюха отворительный, Илюха затворительный!» — дразнил я. Илюха злился, а мне было весело.

По дороге домой Илюха пощупал мои ватные штаны и спросил:

— Почем платил?

— Сто рублей.

— А мне можно учиться? — спросил Илюха.

— Ты же грамотный.

Илюха не ответил. Он остановился и начал всматриваться в даль улицы.

— Глядите! — вскричал он.— Глядите, буржуи работают!

Посреди мостовой, под охраной четырех красногвардейцев, выковыривали ломами вмерзшие в землю камни, носили песок буржуи. Здесь были толстые барыни в шляпах с перьями, жирные купцы в меховых шубах. Даже городовой в фуражке без кокарды стучал по камням молотком. Потом я рассмотрел в толпе богатеев колбасника Цыбулю. С недовольным видом он тыкал в землю лопатой и то и дело вытирал платком лоб.

Толстые барыни в туфлях на высоких каблуках носили малюсенькие камни и хныкали, как будто им было очень тяжело.

Прохожие обступили буржуев и посмеивались:

— Копайте, копайте! Поработайте хоть немножко в своей жизни!

Цыбуля покосился злыми бычьими глазами и пробурчал себе под нос:

— Не шибко радуйтесь! Недолго продержится ваша власть.

— Чего они здесь копают? — с удивлением спросил Уча.

— Осужденная буржуазия,— объяснил Васька.

Кто-то из ребят увидел Сеньку-колбасника. Он стоял невдалеке и, глядя на своего отца, ревел.

Я толкнул Ваську и тихо, чтобы не спугнуть колбасника, зашептал:

— Вась, давай закуем Сеньку?

— Брось пачкаться! Охота тебе!

Охота! Нет, не охотой нужно было назвать мое желание расправиться с колбасником,— у меня даже ноги тряслись, так я хотел поймать Сеньку. Кандалы были при мне.

— Учаг, закуем? — шепотом, чтобы не слышал Васька, предложил я гречонку.

— Давай! — И Уча поскакал на дребезжащем костыле.

Сапоги, перекинутые через плечо, подпрыгивали и ударяли его по спине.

Я бросился наперерез Сеньке. Но все дело испортил Илюха. Он побежал прямо на Сеньку и закричал:

— Лови его, держи!

Колбасник увидел меня и пустился во весь дух вдоль улицы. Уча снял с плеча сапоги и швырнул их вдогонку

Сеньке. Сапоги угодили тому в ноги, он запутался в них и, не добежав до калитки, упал.

Два прыжка — и я очутился верхом на своем исконном враге. Абдулка, Илюха и Уча держали Сеньку, я, торопясь, тянул из кармана кандалы.

— Руки ему заковать! — хрипел Абдулка.

— Лучше ноги. Держи ноги.

Как назло, кандалы зацепились за подкладку, и я никак не мог их вытащить.

— Карау-ул! — дрыгая ногами, завопил колбасник.

Наконец я достал кандалы, но тут понял, что не знаю, как нужно заковывать. Почему-то мне сделалось стыдно, вспомнились слова Васьки: «Охота тебе пачкаться». Я поднялся и сказал ребятам:

— Пустите его к свиньям.

Сенька, всхлипывая, поднялся и, ни слова не говоря, поплелся по улице. Отойдя, он вдруг закричал:

— Подождите, оборванцы! Скоро до нас немцы придут — тогда всех вас на сук!

Я размахнулся, чтобы запустить в колбасника цепями, но кто-то сильный взял меня за руку. Я повернулся и увидел перед собой коренастую фигуру управляющего заводом, дядю Гусейна.

— Ты что делаешь? — строго спросил он.

— Это буржуй,— пытался оправдаться я.

Ко мне подошел Уча и добавил:

— Он угнетал Леньку.

— Верхом на Леньке катался,— поддержал подошедший Васька.

Дядя Гусейн отобрал у меня кандалы, молча оглядел их.

— Довольно, откатались,— сказал он негромко и задумчиво: вспомнил, наверно, как сам был закован в цепи,— откатались, Вася. А кандалы мы сдадим в революционный музей, чтобы трудящиеся люди никогда не забывали о том, что значит буржуйская власть. Айда по домам, хлопцы!

6

До поздней ночи я ворочался в постели — никак не мог уснуть. Сколько интересного было в этот день! А сколько еще будет впереди! Теперь у нас свобода. Хотя

нет у меня ни отца, ни матери — все люди для меня родные, все товарищи.

Товарищ! Стоит только прошептать это слово, и возникает перед глазами яркое утро. В зелени акаций поют птицы, а небо над городом высокое и просторное — кажется, оттолкнись, взмахни руками, как крыльями, и взлетишь высоко-высоко, а там, в небе, только разводи руками в стороны и плыви. Вот движется навстречу белое облако, ты облетаешь его стороной или становишься на облако ногами и громко кричишь: «Товарищи, я товарищ!» Далеко земля, никто не слышит, только птицы летают вокруг. А ты плывешь, сидя на облаке. Куда хочешь плыви, хоть в самый Петроград. В этом городе тоже развеваются красные флаги, и подходит сам Ленин, подходит и говорит: «Ну, товарищ, слезай». Обняв за плечи, как когда-то делал отец, Ленин поднимает меня и смеется: «Ах ты товарищ!..»

1954

МИХАИЛ КОЧНЕВ

ПРИКАЗ КОМИССАРА

(Рабочая быль)

1

ВСЯКИЙ замечал, как весело, будто помолодев, шелестят зеленеющей листвой вековые дубы, когда привольно пройдет над открытой солнцу землей весна с первыми громами и грозами, с шумными ливнями. А приходилось ли вам видеть, как молодеют лица, как загораются жаром юности глаза бывалых людей, ветеранов, много всего повидавших на своем веку, при встрече с молодой сменой, порывистой, кипучей, только что начинающей свой путь? Задор и кипение молодости как бы вешними лучами проникают в мужественные сердца убеленных сединами собеседников и широко распахивают двери в их честные и прямые души. И тогда-то как-то особенно сердечно и просто льются их слова о пройденных путях и дорогах.

Пытливой, настойчивой и любознательной молодости есть чему поучиться, есть что взять за пример себе у тех, чья жизнь, как говорится, прошла у всего народа на виду.

В тени высоких берез, на скамье, под окнами нового четырехэтажного молодежного общежития, мне как-то раз погожим августовским днем привелось слушать одного из таких интересных людей — Канаева. Он, по приглашению комсомольцев фабрики, не чванясь, не жалуясь на недуги, опираясь на легкую палочку, пришел потолковать по душам с неугомонной молодежью, а по пути, чтобы беседа прошла интереснее, захватил еще двоих, по его словам, «почесть одногодков» — Кожугина с Иволгиным. Дорогой, пока шли до общежития, он, как потом сам мне признался, так расшевелил своих одногодков, раздул в них огонек былого, что они под березами первыми повели

свои невыдуманные рассказы-были, то суровые и полные драматизма, а то и веселые, о тяжких годах революционного подполья, о победах и поражениях, о неисчислимых жертвах.

А Канаев, сухощепый, приземистый, сидел да помалкивал до поры до времени, благо беседа идет на лад: мол, ихние рассказы лучше моих.

Но и до него дошла очередь. В миг он оживился каждой жилкой,— таков уж у него характер, таков его склад,— когда Кожугин в разговоре вспомянул светлое имя Фрунзе,— какой-то особый блеск вспыхнул в проницательных глазах Канаева и лицо его просветлело, будто откуда-то из-за облака хлынули яркие лучи на слушателей и на рассказчика.

— Да, вот еще что мне припомнилось, друзья мои,— послышался его задористый голос.— Может, на ваше разумление, случай и не велик, да сквозь него нечто большее видно...— Голос его прервался.

Он чуть прищурился, словно пытался что-то оживить в памяти. Канаев обычно ходит в полинявшей, исписанной, как географическая карта, трещинами желтой кожаной куртке. Он, несмотря на свои годы, энергичен, подвижен. Он с фронтовых времен привык носить кожаные сапоги и поныне не меняет их ни на какую иную обувь. Его маленькие глаза кажутся при первом взгляде чуть насмешливыми. Товарищи не зря зовут его «хлопотуном»: он любит всегда что-нибудь делать, любит, если только умело расшевелить его, вспоминать пережитое. Верно, в последнее время он все чаще обижается на свою память.

— Стареет,— говорит,— выгорает вместе вот с этой курткой...

В своих рассказах-былях он обычно имеет приверженность к сплаву невыдуманного с доброй улыбкой, а иногда и с забавным приключением; и даже в то, что порой не вольешь в мехи забавного происшествия, он все-таки старается как бы походя положить, рассказывая, свою «веселую изюминку». На что иногда прямодушный и медлительный Кожугин сквозь усмешку, покачивая седой головой, довольно мягко указывает:

— Мартьян, не хватил ты тут лишечку? Не прибавил?

— По-моему, в самой дозволенной былью-истиной мере.

Морщинки под глазами у Канаева сгладила, свела на

нет вновь вспыхнувшая в его груди неизбывная любовь к человеку завидной судьбы, к человеку удивительного ума и мужества.

— У многих из нас, старых большевиков, старых рабочих,— заговорил с увлечением Канаев,— хранятся в памяти странички воспоминаний об этом славном коммунисте. Да какие, скажу вам без хвастовства, странички-то! Живые, самой жизнью в память и в сердце нам накрепко врезанные! Вот и хочется из нашего старого сердца побольше отдать в ваши задорные молодые сердца, чтобы они стали еще тверже, чем наши! Крепость духа в человеке не молотом, а правдой выковывается! Правда никогда двуликой не бывает! Так вот, послушайте мое от самой жизни взятое рабочее слово...

2

...Не зря мы поздней осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года собирали свой рабочий отряд из лучших рабочих людей. Не опозорил себя наш продотряд, не уронил своего честного пролетарского имени ни перед земляками, ни перед крестьянами-тружениками. Тем отрядом довелось командовать мне.

Голод, что надвинулся на наш город, после возвращения продотряда на короткий срок отступил.

Уже по санному пути наш отряд доставил иваново-вознесенским ткачам тысячи пудов хлеба.

Немножко полегче стало рабочему.

Когда хорошо сделал дело, как говорят, гуляй смело.

Но годы были такие бурные, такие тревожные, что, и сделав одно порученное дело, об отдыхе некогда было думать. Одно дело сделал, а уж тебя ожидают двадцать не менее трудных.

Прибыли в Иваново. Поблагодарил нас Михаил Васильевич от всего горячего большевистского сердца. Наш отряд распустили.

Зима задиристая, вьюжливая, морозная, без устали ткала свои нескончаемые белые полотна. Снег в тот год выпал рано и сразу словно прилип к земле.

Тот хлеб, что мы привезли, для такого края, как наш, не спасение. Голоду на подмогу выходила свирепая зима с лютыми морозами. Промерзали гнилые стены нетоплен-

ных лачуг так, что, помню, ночами примерзало одеяло к стене. Замерзали мертвые фабрики, каменные стены ткацких изнутри покрывались густым инеем. Не хватало хлеба, топлива, хлопка. Все пути-дороги к хлопку перерезаны фронтом. К революционному сердцу России рвались отборные белогвардейские полчища.

Один какой-нибудь год рабочие прожили без ситцевых королей — и каждой горячей кровинкой своей поняли, что как ни холодно, как ни голодно, но воздух свободы стал слаще, небо яснее, солнце ярче. Люди поняли, что их судьба — в их собственных руках. Поняли, что теперь каждый человек в ответе за свою судьбу и за судьбу всех других, таких же, как и он, людей обновленной земли, за судьбу всей Советской родины.

В те годы у нас в Иваново-Вознесенске был штаб военного округа. После белогвардейского мятежа в Ярославле штаб переместился к нам. Окружным военным комиссаром был Михаил Васильевич Фрунзе.

Уцелевшие белогвардейцы, не находя себе опоры, уползали, как мокрицы, в темные углы, в сырые щели, подальше от света, от людей, изнемогая от злобы и ненависти, отсиживались там до поры до времени, все еще веря в какое-то свое несбыточное счастье.

Белобандиты, участники ярославского мятежа, переодетые, сменив личину, сумевшие ускользнуть из Ярославля после разгрома, рассыпались по лесам, деревням и селам, по маленьким городам.

Окрестные леса кишели дезертирами.

Тревожно было в городе в ту осень и зиму.

Жуть охватывала, когда в полночь приходилось возвращаться домой по темной улице, на которой ни огонька, ни человеческой души, куда-нибудь на Ямы или в Хуторово.

В губкоме я встретился с Ольгой Афанасьевной Варенцовой. Она тогда была секретарем губкома. Я знал ее еще с 1906 года. Знало ее все наше революционное подполье как одну из лучших большевичек.

Я всегда удивлялся, глядя на нее, невольно спрашивал себя: «Откуда в ней столько силы, жизнерадостности, животворящей энергии?»

Она была небольшого роста, с виду уже пожилая, хрупкая. На первый взгляд, тому, кто ее не знал по борьбе и работе, она могла показаться очень мягкосердечной.

Ольга Афанасьевна спросила меня:

— Ну как, Канаев, привез хлеба?

— Привез, Ольга Афанасьевна.

— А как там крестьяне встречали вас?

— Бедняк и середняк братски встречали, а кулак клыками лязгает и за обрез не прочь схватиться. С такими у нас и разговор был особый.

— Мы тебя, товарищ Канаев, назначаем комендантом города.

Признаться, я испугался, думаю: не по Сеньке шапка, не справлюсь, вся беда моя — никакого комендантского ученья я не проходил. У этого коменданта из худых сапог солома торчит, как усы. Да и с виду-то я не особо казист.

— Не по зубам,— говорю,— мне этот пост.

— Стыдно, товарищ Канаев! Не боги горшки обжигают. Господа из-за моря не придут за нас Советское государство строить.

— Да я же себя знаю.

— Нет, партия тебя лучше знает. Мы все учли. Принимай новые обязанности. В помощи не откажем. Михаил Васильевич Фрунзе с нами, чего же бояться-то? Укажет, растолкует. Ведь он тоже военных академий не кончал, но партия поставила его окружным военным комиссаром. Работает. И ты будешь работать. Есть также товарищ Батурин, обратись к нему, он тебе разъяснит твои обязанности. Свои же мы люди, одной правде служим — большевистской.

Тихо и ласково со мной говорила Ольга Афанасьевна, и мне даже как-то неловко стало за себя.

Думаю: дай схожу к Михаилу Васильевичу, посоветуюсь, он теперь человек военный. А уж слово Михаила Васильевича — это закон.

Отправился я в штаб округа.

Доложил обо мне адъютант окружному комиссару.

Вхожу. За столом сидят двое. Один с темно-русой бородкой, с ясными умными глазами, круглолицый — это сам Михаил Васильевич Фрунзе. Рядом с ним военный с седой бородкой, строгим лицом — начальник штаба Новицкий. Они оба меня знали.

— Товарищ военный комиссар...— начал было я.

Как только он эти слова услышал, спросил:

— Как ты сказал?

Я, конечно, повторил.

— Чтобы я этого больше не слышал. Когда ты приходишь ко мне, я для тебя Михаил Васильевич... Понятно? Садись, рассказывай.

Я присел у стола.

— Что, товарищ Канаев, новенького скажешь?

— Есть, товарищ Фрунзе, новенькое, да такое, что занозой мне в душу вошло,— жалуюсь я.

— Давай мы ее вытащим, занозу-то твою.

— Я затем и пришел... Простите меня, Михаил Васильевич, но я боюсь стать комендантом города...

— А кем же ты хочешь быть? Может быть, областным военным комиссаром? — с уважением смотрит мне в глаза он.

Объясняю товарищу Фрунзе все свои статьи, которые воспрещают, на мой взгляд, быть мне комендантом. Фрунзе, слушая, глядит мне в глаза прямо, потом и говорит:

— Это я все знаю. Все нами было учтено. Отправляйся к товарищу Батурину в военкомат, вступай в исполнение своих обязанностей. О вступлении донесешь мне рапортом. Зря ты испугался. Никто в комендантской шинели не родится. Ясно, товарищ Канаев?

— Понятно. Только у меня и сапог-то нет, какой я комендант! — Подымаю ногу, показываю валенок-отопыш, из-под задника торчит солома измятая.

— Это не беда. Сапоги получишь комендантские. Хочешь, дам со шпорами, с колокольчиками? — смеется Фрунзе.

— Нет, уж лучше без колокольчиков, и так звону много будет, как приду домой.

— А что?

— Да Маша-то больно любит меня и за жизнь мою печется.

— Это жизни твоей не повредит и дружбу с Машей не нарушит.

— Значит, и шинель надо, а то куда я в своем растегае покажусь!

— Все — и шинель, и ремень, и пуговки светлые — получишь,— успокаивает Фрунзе.

Опять не с того козыря я пошел. Дай, думаю, пойду с туза.

— Да на меня и шинель-то не подберешь. Комплекция у меня как у осинового кола.

— Неважно, какие плечи, были бы умные речи,— отвечает товарищ Фрунзе.

Опять он меня срезал. Новицкий поглядывает на меня, поддакивает:

— Я не нахожу особых пороков. Вид у вас бравый, а выправка вместе со службой придет сама.

— К кому придет, а к кому и позабудет прийти. Я же отродясь шинель не нашивал, не знаю, как направо, как налево повернуться. Ходить военным шагом не выучусь. Штатский я до корней волос. Ей-богу, ни под барабан, ни под трубу ходить не умею.

Михаил Васильевич вышел из-за стола.

— Ну?! Ходить не умеешь?

— Вот то-то и оно, Михаил Васильевич. Нога за ногу заплетается. Засмеют меня. А ведь в гарнизоне есть старые офицеры — сто собак съели, знают, где носком, где каблуком пристукнуть в торжественный час.

— Ну, покажись, покажись, порадуй,— говорит он.

Начальник штаба тоже встал и отошел к стене. Я повернулся, оглянулся, кашлянул и пошел дрова рубить.

— Хорошо! Чудесно!— заметил Новицкий.— У вас же от природы кость солдатская...

— Павел Первый и то бы тебе, Канаев, позавидовал, увидев тебя на плацу. А еще бы барабан — так и вовсе ты души потряс бы. Солому-то собери, а то ноги озябнут,— советует Фрунзе.

Пока я шагал, из валенок соломы понасыпал на пол.

— Итак, товарищ Канаев, жду вашего рапорта. Больше смелости и решительности! Желаю успеха!

Ну, что делать? Если Фрунзе сказал — значит так должно и быть. Приходится принимать весь гарнизон под свою команду.

Пошел к помощнику губвоенкома по политчасти. Отворяю дверь, навстречу мне выходит Павел Степаныч Батурин, как всегда немного задумчивый и грустный, с добрыми карими глазами. На нем кожаная черная тужурка.

— Я к тебе, Павлуша, с горем.

— С каким? Что случилось? Садись, рассказывай.— Беспокойно подвинул стул к столу, сел рядом со мной.

— Я в коменданты попал.

— И это он горем считает?! Ах, он вечно с причудами! А я-то испугался... Я давно знаю о твоем назначении. Трудно будет — приходи, не откажу. Ум — хорошо, а два — лучше. Я вот тоже боялся, что руки до всего не дойдут: и здесь дел горы, и губернским отделом народного хозяйства ведаю,— а справляюсь. Лежала бы только душа к делу. Справишься!..

В управлении коменданта города я принял дела, донес рапортом о своем вступлении. В новой шинели со светлыми пуговицами, в кожаных сапогах со скрипом и при шашке, как смеркаться стало, пошел к себе домой.

Иду — шашка мне шагать мешает, висит на боку. Зачем? Чтобы все на меня глядели? И только... Не привык к шинели, не знаю, руки-то куда деть, как их держать: в карманы уберу и обратно выну. Все мне кажется, нет у меня той выправки, которая подобает.

Прихожу домой. Маша сидит за переборкой — картошку трет.

Засветила моя Маша коптилку, глянула на меня:

— Свят, свят!

— Машенька! Это я, не пугайсь. Я! Твой законный...

Прошелся по комнате со всей выправкой.

— Ну как, Маша?

— Больно полы-то длинны, затаскаешь ты их, обобьешь, дай я их убавлю,— предлагает Маша.

— Нет, нет, боже тебя упаси! Это так в уставе гарнизонной службы записано: у комендантской шинели полы должны быть непременно до земли.

Утром встаю и шинель свою не узнал, укоротила Маша полы, по колени обрезала!

— Что ты наделала! Лучше бы голову мне срезала!— воскликнул я во гневе.

— Успокойся, полы при тебе, я их подогнула да подшила. Надо добро государственное беречь. Зачем мостовую подметать казенной одежей?

Однако я взял ножницы и решительно придал шинели свой прежний облик.

Стал я в гарнизонную жизнь вгрызаться. И тут только понял, что военный комендант в городе — это сердце всего гарнизона. Работает сердце без перебоя — и в гарнизоне во всех частях и соединениях настоящий революционный порядочек.

Чуть что мало-мало стало сердце пошаливать — и сейчас же это скажется на всем гарнизоне.

Хоть и не проходил я нужного ученья, а как гарнизон весь пообъехал да каждую мелочь своими глазами увидел, само сердце стало подсказывать, где, что и как нужно сделать. Заботы много, а радости у меня еще больше: вижу, что не зря бегаю, ночей недосыпаю, не зря ношу комендантскую шинель. Освоился со всем. И больно рад, что насколько сил хватает помогаю Михаилу Васильевичу.

3

Вскоре получаю распоряжение губвоенкомата — явиться в штаб округа с докладом окружному военному комиссару о состоянии гарнизона.

Иду по Дмитровке. Снег под сапогами скрипит, и слышится мне, будто выговаривают сапоги что-то тревожное...

Первый мой военный доклад. Как-то я отрапортую, что-то Михаил Васильевич скажет мне?

На этот раз в кабинете Михаила Васильевича было много народу — командиры частей, губвоенкомы и другие лица, которых я раньше не видел и не знал. Я сел и стал ждать своей очереди, держа наготове письменный рапорт.

Жду, а у самого сердце токает.

Михаил Васильевич сидел за столом, прямо смотря в глаза собеседнику, внимательно слушал. Можно было заметить по выражению его лица, что он слушает о том, что ему во всех подробностях знакомо, слушает — проверяет, так ли все это.

Я всегда, когда видел перед собой его ясные проницательные глаза, чувствовал, что будто он читает всю мою душу, все мои мысли, знает все наперед. Как это возможно — в разговоре с ним сказать неправду, что-нибудь утаить или черное назвать белым! Уж больно откровенны и правдивы были его глаза. Силу такую они имели, что кто бы ни был, но вот как встанешь перед Михаилом Васильевичем, так сразу всю душу свою вывернешь перед ним наизнанку. Уж если завелось в тебе какое небольшое пятнышко, так поскорее сам его обнажишь и покажешь, чтобы твоя совесть перед Михаилом Васильевичем осталась чистой.

Ясность необычайная светилась в его глазах. Порой они казались мне робкими и чуточку застенчивыми. Но это были зоркие очи и бесстрашные!

Перед столом Михаила Васильевича по всем правилам, с заметным щегольством старого офицера, стоял и докладывал командир одного артиллерийского дивизиона.

Михаил Васильевич внимательно слушал, иногда заглядывал в блокнот, что лежал на столе перед ним, и делал в нем какие-то коротенькие заметки.

— Так. Отлично. Прекрасно,— время от времени замечал Михаил Васильевич.

Командир, красный, как кирпич, от волнения, очевидно почуяв конец своего донесения, стал палить как из пулемета. Когда вся заранее припасенная обойма кончилась, он сразу смолк, покосил в сторону, как бы спрашивая присутствующих: как-де, по-вашему, ловко я рапортую?

— Все? — спросил Михаил Васильевич.

Я заметил — чуть заметная морщинка легла на его лбу.

— Так точно-с, все, товарищ окружной военный комиссар,— отрубил командир.

— В первом взводе дивизиона пушки по-прежнему под открытым небом стоят?

— Не успели еще убрать, товарищ комиссар!

— Когда распоряжение получили?

— Пять дней назад, товарищ комиссар...

— И все же не успели?

— Виноват-с, товарищ комиссар,— то побелеет, то покраснеет командир.

— Приказы и распоряжения пишутся не для того, чтобы их только на стену вывешивать, а для точного исполнения.

— Не успели, товарищ комиссар.

— Это разгильдяйство.

— Сегодня же будет исполнено, товарищ комиссар!

Фрунзе молчал. А с бедного командира семь потов сошло за эту минуту.

— Красноармейца Сидякина отвезли в лазарет?

— Представления не имею, товарищ военный комиссар, — хотел увильнуть незадачливый докладчик.

— Вы не знаете людей своего подразделения? Это плохо.

Попытался на ходу исправиться командир и совсем сел в калошу:

— Простите, это тот самый, что у стены лежит? Он только вчера заболел. Отвезем.

— Куда отвезете?

— Куда следует.

— При такой поворотливости и внимательности к своим бойцам не удивительно, что вы отвезете его на кладбище.

— Будет исполнено, товарищ военный комиссар...

От бедного малого аж пар валит. Обожгли его спокойные слова Михаила Васильевича, словно на противне с жаром стоял командир Епишкин, переминаясь с ноги на ногу.

— Исполнить и доложить мне лично. К двадцати двум часам.

— Будет исполнено!

Круто повернулся и вылетел.

У меня засосало под ложечкой: как же это так — военный комиссар округа знает, что у Епишкина в подразделении боец Сидякин захворал, а я вот тоже не знал? Я удивился: откуда Фрунзе знает все подробности, ни о чем не забывает — спросить, напомнить, указать, потребовать и проверить исполнение?

Правда, почти все части гарнизона были расквартированы в городе. Я знал, что Фрунзе часто днем, вечером, утром появлялся в солдатских казармах, в красных уголках, на полигоне, на стрельбищах, в красноармейских столовых. Каждый красноармеец знал его в лицо. Многим посчастливилось поговорить с ним запросто, что особенно было по душе нашим орлам.

День, когда заглядывал Фрунзе в казарму, был праздником для всех. Возможно, и сказал-то Фрунзе всего немного — одному-двум бойцам, но так сказал, что на всю казарму этих слов хватило, все солдатские сердца те слова душевные обогрели.

«Не иначе Фрунзе вчера был в казармах, но об этом я не знаю»,— так я решил, но и минуты не прошло, как я удивился еще больше.

Михаил Васильевич, оказывается, также прекрасно знает дела в самых отдаленных уездных военкоматах округа, где уж он, конечно, лично не успел побывать. Да так знает, что сами областные комиссары, которые бывали в уездах, полностью не знают всего того, что известно окружному комиссару.

После Епишкина стал докладывать Михаилу Васильевичу один областной военный комиссар о своей области,

о делах уездных военкоматов. Втайне полюбовался я: что стать у него, что осанка, складно сложен! Язык поворотливый, говорит как по-писаному, складно, красиво.

«Ну, думаю, этого соловья никто не собьет со своей песни».

Михаил Васильевич слушал внимательно, порой проводя ладонью по коротко остриженным под бобрик волосам. Стал комиссар расписывать, как слаженно работают у него уездные военкоматы,— я слушал, даже втайне завидовал: «Да, этот гусар умеет свой товар показать лицом».

— Как послушаю — дела у вас надо б лучше, да нельзя? — спросил Фрунзе, когда тот высказал все.

— Как видите, товарищ окружной военный комиссар.

— Я вижу нечто такое, что, очевидно, вы упорно не хотите видеть или еще не успели увидеть.

Сразу осекся, погас соловей.

Фрунзе перелистнул страничку в своем блокноте.

— В Заречье из рук вон плохо поставлено обучение допризывников.

— Дано распоряжение, товарищ комиссар,— поправился докладывающий.

— А вы сами лично проверяли выполнение распоряжения?

— Собираюсь, товарищ комиссар.

— Дать распоряжение — это еще половину дела сделать. Вторая половина, не менее важная,— проверить выполнение. Вы знаете, что ротный уехал на рождество в гости и неделю гостит? Глядя на него, и допризывники разбрелись по домам. Вам об этом известно?

— Да, товарищ комиссар...

— Почему же вы об этом не упомянули сейчас?

Облвоенком зарделся, словно красная девица, не знает, куда глядеть; со стороны понятно, что ай, горько, стыдно стало ему стоять перед окружным комиссаром.

— Простите, товарищ окружной военный комиссар. Упустил, так сказать, запамятовал...

— Похвалиться вот не забыл. От чрезмерной похвальбы до зазнайства — воробьиный скок.

— Немедленно будет исправлено, товарищ комиссар.

— Исправьте и доложите.

Подошла моя очередь. Я, признаться, уж заранее приготовил свои бока... Вон какие ухарцы передо мной,

прямо сказать, мастера своего дела, настоящие военные и то заработали на орехи. А я же еще не научился шинель-то подпоясать по всем правилам новым желтым ремнем с большой медной пряжкой.

— Слушаю вас, товарищ Канаев,— обратился ко мне Фрунзе.

Словно большая стальная пружина, туго скрученная, вдруг развернулась, подбросила меня. Встрепенулся я, паркет трещит под каблуком, ринулся к столу.

Фрунзе и Новицкий оба встали.

Доложил о состоянии гарнизона. Подаю письменный рапорт.

Фрунзе принял доклад. Протягивает руку.

— Садитесь, пожалуйста.

Я сел в кресло около стола.

— Ну как, привыкаете к новой работе?

— Помаленьку, товарищ комиссар.

— Ничего страшного нет?

— Пока что страшного не видел...

Сам собой пошел разговор наш. Михаил Васильевич засыпал меня вопросами. Я отвечал начистоту, что знал обо всем, как оно было на самом деле. Хотя меня Михаил Васильевич не журил, особых недостатков в гарнизоне пока не находил, но мне сделалось жарко, наверное, я был в ту минуту такого же кирпичного цвета, как и два моих предшественника. Им так горячо было — мне, грешному, показалось, что они сквозь начищенные кожаные сапоги до того нагрели паркет, что он ожег мои ноги, как я только вступил на нагретое место.

Я отвечал, рассказывал. В то же время вновь и вновь словно бес шептал мне в уши:

— Смотри, не прихвастни, смотри, не лукавь, потому что комиссару все твои дела давно известны. Он все знает, вызвал он тебя и спрашивает лишь только затем, чтобы убедиться, не выучился ли комендант приукрашивать...

— Каково состояние частей гарнизона?

Отвечаю подробно.

— Расположение частей гарнизона?

Объясняю, описываю.

— Как несут караульную службу?

Промахов пока не было. За это поблагодарил Михаил Васильевич.

— Как с питанием в частях?

— Товарищ комиссар, я, конечно, извиняюсь, бесплатно обедать мне не полагается, но везде, где побывал, заглядывал на кухню, первого и второго отведал. Могу сказать, что не заметил ненормальностей. В одной части пришлось выговорок повару дать: больно пестра на нем рубашка; как маляр, выкрасился соусом...

— Правильно. Нерях нужно подхлестывать.

Оказывается, у коменданта и к рубашке повара должен быть живейший интерес.

И за здоровье бойцов комендант первый в ответе.

— В лазаретах были?

На этом осекся я. Мне и в голову не пришло, что о лазаретах тоже моя забота.

— Простите, товарищ комиссар, в лазаретах не был,— чего зря вилять!

Жду нахлобучки от комиссара. Я даже встал и руки по швам.

— Сидите, сидите! Только напрасно вы о лазаретах забыли. Святая ваша обязанность — знать состояние лазаретов. Нужно знать, в чем нуждаются раненые и больные бойцы. Там, в красном госпитале, говорят, у повара половник худой, мясо проваливается. Больные бойцы на этот половник жалуются. Надо бы помочь повару починить половник... А то, говорят, у него хватило ума купить своей жене шубу на меху, а вот половник, половник-то у него худой... не хватает, знать, сметки починить самому. Нужна подмога...

Михаил Васильевич с еле заметной лукавинкой во взоре переглянулся с Новицким.

— Нынче же там буду, товарищ комиссар.

— Учтите это, товарищ комендант, и в следующий раз доложите.

— Будет исполнено, товарищ комиссар.

— Еще что есть у вас ко мне?

— Товарищ комиссар, я, как еще не привыкший человек, очень бы желал получить инструктаж. Я ведь бываю неугомонный, могу в чужие сани сесть.

— Ты из своих не вылети,— пошутил Фрунзе.

Потом вполне серьезно обратился к Новицкому — начальнику штаба:

— Федор Федорыч, необходимо дать указание товари-

щу Канаеву, даже лучше в письменной форме, в виде инструкции.

— Будет исполнено,— заверил начальник штаба.

Я встал.

— Товарищ комиссар, разрешите идти?

Фрунзе подал руку.

— Можете идти. Желаю успеха в работе. Надеюсь, товарищ комендант, мои указания будут исполнены? Если что будет непонятно, приходите — разъясним, поможем.

Я выбежал из штаба взбудораженный, с еще большей жадностью к работе. Хотелось все сделать, что было в моих силах, так, чтобы заслужить товарищеское одобрение со стороны давнишнего нашего друга Арсения, нынешнего окружного комиссара.

4

В первую очередь я решил побывать во всех лазаретах. Следовало начать обход с того самого лазарета, в котором будто бы появился злополучный худой половник, выяснить на месте: в силу какой-то совершенно непонятной для моего ума взаимосвязи худой половник оказался в прямом родстве с шубой, в которой форсила жена повара.

По дороге в лазарет я завернул в артиллерийский дивизион, где был командиром Епишкин.

Епишкин, сбросив с себя шинель, вместе со своими бойцами озабоченно и деловито возился около орудия. На лице его было столько озарения, радости, что я даже с первого взгляда не понял, с чего это он так вскипел душой после недавней взбучки, которую заслуженно получил от комиссара. Ведь не к награде его представил комиссар, не благодарность по подразделению вынес, прямо и резко назвал разгильдяем!

Но он, планиде вопреки, радовался, да так, что, со стороны глядя на него, брала зависть!

— Ты что больно весел нынче? — спросил я Епишкина, когда мы отправились с ним пройтись казармами.

— С наградой, вот и веселюсь!

— С какой?

— А с той самой, что при вас получил,— заулыбался Епишкин, обнажив завидной белизны ровные, плотные, как кукурузные зерна, зубы.— Знаете, товарищ комендант, клянусь именем нашей молодой социалистической республики, непонятный я человек. Странный, хотя и красный командир. Влетело мне от Фрунзе, отругал он меня, а я после этого еще больше уважаю нашего окружного комиссара. Да и как же не уважать его! Сами посудите: может, этой зарядки мне хватит на всю на гражданскую войну, а жив останусь да не остарею — и на вторую войну, если таковая мировым развитием буржуазии будет заварена. Потому что за дело отругал. Еще хлеще бы надо помолотить меня. Но как он ругал! Ругань ругани рознь. От полной революционной души ругал. А это-то важно. Зато уж теперь не помирюсь меньше как на благодарность командиру Епишкину в письменной форме по гарнизону. Добьюсь! Я ведь на ногу легкий, только меня расшевели. Я знаю, Фрунзе проверит, как я выполняю его приказ, и тут-то я блесну.

Я побывал в лазарете, где худой половник. Попал как раз к обеду, заглянул к больным в чашки, проверил, какой похлебкой угощают их.

В мисках потолок виден, словно в зеркале, как у нас говорят — крупина за крупиной бегает с дубиной. Словом, похлебка прозрачнее слезы богородицы.

На кухню завернул. Повар, как кот сытый, с пушистыми усами, веселый толстяк в белой кофте, по кухне похаживает, сам напевает:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

Ужели из матросов затесался в повара?

Глянул я в меню — написано: «Похлебка с мясом».

— Где же мясо? — спрашиваю.

— Мясо, товарищ комендант, еще варится, коровятина нынче попала такая, никак ее не сваришь.

Взял я половник, гонял, гонял им, вытащил две мостолыги, а мяса так и не заудил.

— У тебя, товарищ повар, говорят, худой половник? Правда ли?

— Мясо, товарищ комендант, выварилось оно, так сказать, по котлу-с разошлось, потому что долго варилось.

Жир не терпит большой жары. А я сухой березкой калю плиту.

— Да, товарищ повар, придется твой половник чинить-паять, припаивать, как полагается...

Сразу настроение понизилось у веселого повара. Велел я немедленно снять с него белую кофту, чтобы он ее больше не марал.

Вхожу в одну палату, а там: кто на костылях приковылял, кто на одной ноге припрыгал к койке, что стояла у окна. Собрались кучкой, что-то читают. Да так увлеклись, что даже нас не заметили, когда мы с начальником лазарета вошли тихо по мягкому половичку в палату.

На койке у окна лежал молодой боец с бледным, совсем еще детским лицом. Он держал перед собой листок бумаги, а вокруг собрались его товарищи.

— Во как обернулось, и сам не ждал!

— Да правда ли? Может, только утешают, знают, что тебе и без того солоно? — недоверчиво спросил усатый сосед.

— Верно, верно! Сама сестренка пишет.

— Ну-ка, ну-ка, прочти еще раз!

Было уже начал читать письмо парень, но я помешал чтению:

— Здравствуйте, товарищи раненые бойцы!

Все дружно обернулись. Лица у всех были радостные, но особенно запомнился тот, который лежал у окна. В палату заглянуло декабрьское солнце, озарило его бледное лицо. Он, смутившись, глянул в мою сторону — при солнечном свете его глаза блеснули.

— О чем спорите, товарищи? — спросил я.

— Мы не спорим, товарищ комендант. Мы рады за товарища Осинкина. Письмо вот... Только правда ли, что все так и вышло?

Я заинтересовался: что у них за письмо? Молодой красноармеец Осинкин сбивчиво поведал мне о своем семейном горе, о котором он узнал, лежа в госпитале.

Отца Осинкина убили немцы в 1915 году. В 1916 и самому Осинкину чуб забрили. Остались дома мать и две сестренки. Одна пяти лет, другая семи, Ариша да Манька... И вот недавно ранили нашего красноармейца Осинкина, привезли в лазарет. Стало ему получше. Соседка прислала письмо: мать заболела тифом, умерла, Ариша и Манька раздеты; коровенку мать до хвори проела;

остались сироты на произвол судьбы, пошли по миру. Как снаряд вражий разорвался над головой Осинкина, когда получил он это письмо. В безотчетной горячке, никому ничего не сказав, ночью, в одном халате, со скрюченной, забинтованной ногой, он попытался убежать из госпиталя, чтобы съездить домой, помочь сестрам, пристроить куда-нибудь да попутно набить костылями морду волостным начальникам, у которых не хватало времени подумать о сиротах.

Но медицинские сестры заметили Осинкина, остановили больного в дверях. Он был возмущен, обозлен, отбивался от сестер костылями. Ругался, кричал на весь госпиталь. На все уговоры и просьбы успокоиться отвечал одно:

— Черт с ней и с ногой моей! Там сестры у меня пропадают! Пустите!

Но его не пустили. Водворили в палату. Он начал буянить. Его обескостылили. Прикрутили полотенцем к койке.

Утром ему стало стыдно глядеть в глаза врачу, сестрам и своим товарищам. Его развязали. Он отвернулся к окну и так пролежал весь день, глядя в неприветливый заснеженный бывший купеческий сад.

А через сутки эту палату посетил Фрунзе. Он приехал посмотреть госпиталь.

Паренек, у которого в кошельке хранилось два георгиевских креста, рассказал о своем горе окружному комиссару.

В тот же день из штаба окружного военного комиссара полетела телеграмма в отдаленную волость. Фрунзе был озабочен судьбой двух осиротевших девочек с такой же взволнованностью, как и думами о том, каким образом прокормить обширный край, как оживить, хотя бы частично, замерзшие фабрики.

Прошла неделя. Старшая сестренка написала Осинкину, что приезжал из уезда дядя со звездой на шапке, в шинели, обеих их устроил в детский дом. Теперь они обе ходят в валенках, едят досыта, бегают в школу, Манька — в первый класс, Аришка — в третий. Подружки с ними дружат, только больно жалко мамку. Потому они часто украдкой, уйдя в тихий уголок, плачут, но их успокаивает тетя Оля...

Вот и все, что мне поведал Осинкин!

— Теперь я спокоен,— добавил он.— Вот вылечусь, приду домой, возьму своих птенцов к себе. Не увидите ли, товарищ комендант, Михаила Васильевича Фрунзе? Скажите ему, как отцу родному, большое красноармейское спасибо от Спиридона Осинкина.

— Передам обязательно!

— И от нас всех! — зашумели красноармейцы.

— Вот человек! Прямо скажем — золотой души, чистой пролетарской совести.

— Если бы не такой-то был, не доверил бы ему товарищ Ленин такой работы. Шутка ли — целый округ! Без мала пол-Европы. Эва, громадина какая!

Побывал я в лазаретах и в скором времени собрался доложить об этом Михаилу Васильевичу.

Доложил. Поклон от красноармейца Осинкина, от его товарищей передал. Рассказал, что в одном лазарете в палатах вода мерзнет.

— Что же ты предпринял? — спросил Фрунзе.

— Перво-наперво, по-партийному, по душам потолковал с начальником госпиталя.

— А он что?

— Жалуется: разруха, лошадей нет, саней нет, подвезти не на чем. И что, мол, не вечно же зима будет. Ждет, скоро ли ласточки прилетят.

— А ты что?

— Я ему приказал переночевать две ночки в палате вместе с больными. Думаю — и лошади и сани найдутся, и тепло в госпитале будет. Заеду, проверю.

— Прекрасно! Главное — ничего не пропускать, ко всему относиться с душой. Инструкцию получил?

— Получил, товарищ комиссар,— ответил я.

Без такой точности и аккуратности нельзя было стоять на капитанском мостике, успешно править большим кораблем.

5

Я постепенно освоился со всеми комендантскими обязанностями. И вдруг... свалилось на мою голову одно дельце, которое ни в какой инструкции не записано. Да такое дельце, что потрясло оно меня, можно сказать, с вершины и до корня, на трое суток лишило сна-отдыха.

Заварилось все это просто.

В конце декабря получаю приказ за подписью товарища Фрунзе. Читаю, и глаза лезут на лоб. Не мерещится ли мне после бессонной ночи? Нет, не мерещится. Написано черным по белому: назначается парад частей гарнизона, парад принимать будет товарищ Фрунзе, а командовать парадом должен я.

Час от часу не легче!

Легко сказать — командуй парадом! Любой сумей, попробуй, встань на мое место! Я отродясь парадами не командовал.

Вот горе! И кто это только на белом свете придумал парады? На что они?.. Однако что же делать?

Я скорее приказ в карман, пока не поздно, полетел с рапортом к Фрунзе. Я знал, что Фрунзе хороший, отзывчивый товарищ, войдет в критическое состояние моей души. У меня же ни комплекции, ни голоса. Почему бы, скажем, начальнику штаба не командовать парадом? Он из бывших военных. А я без году неделя как шинель ношу, еще и пуговицы застегивать не научился. А тут на́ тебе!

Бегу с рапортом.

Дело вечером было. Фрунзе находился в штабе; очевидно, он на несколько минут оторвался от работы, отдыхал. Настроение у него было, как я понял, уважительное к моему рапорту.

Как только я вошел, комиссар кинул на меня такой изумленный взгляд, словно я вкатился без собственной моей головы. Спросил:

— Что, товарищ Канаев, стряслось? Уж не лазарет ли сгорел?

— Хуже, товарищ комиссар. Спасайте! С рапортом я. Разрешите доложить?

— Докладывай.

Я доложил:

— Согласно вашему приказу я назначен командовать парадом. Поэтому прошу отстранить меня от командования парадом на обосновании нижеследующих причин...

Много этих причин привел я и передал письменный рапорт.

Фрунзе принял рапорт, покачал головой и положил мое сердечное чистописание под стекло.

— Ох, Канаев, Канаев! И во горе жить — не кру-

чинну быть. Приказ отменять не могу. Страшного ничего нет. Получишь указание, как нужно построить части. Рапорт отдать сумеешь. Я сейчас прикажу инспектору строевой части дать указания.

Помутился в моих глазах белый свет.

— Михаил Васильевич, вы же знаете...

— Знаю, знаю, все знаю, товарищ Канаев! Все! Приказ остается в силе.

— Погибаю я, Михаил Васильевич! Прямо-таки ни за что погибаю.

— Как это понять?

— Как швед под Полтавой.

Малость очухался я, сижу. Ничего, вижу, не попишешь, приходится браться за гуж.

— Хоть бы тренировочку маленькую сделать, товарищ комиссар!

— Дома потренируешься сколько желательно твоей взыскательной душе.

— Условий для такой деятельности в масштабах моей голубятни нет. Супруга моя терпеть не может, когда я дома занимаюсь строевой подготовкой.

Фрунзе как-то задорно, захватисто, от полной души, раскатился громким смехом. Я же и бровью не повел.

— Потренируйся здесь.

Нам не стать привыкать. Ведь одно дело — командовать продотрядом, но, сами посудите, командовать парадом — это же выше моих талантов.

— Товарищ военный комиссар Ярославского военного округа, части гарнизона к параду готовы! — гаркнул я, сбившись с должного тона.

— Хорошо, только кричи потише. Ты не только перед горсоветом — перед Кремлем московским сумеешь командовать парадом,— успокоительно оценил мое старание военный комиссар.

— Нет, товарищ комиссар, на такую высоту не поднимут меня мои крылья, с детства из них много пера повыщипано.

— Перья, видишь ли, отрастают. Словом, что тебе в душу положено — зря не заморожено. Желаю успеха. Прикажи вывести на парад артиллерийский дивизион, караульный батальон ЧК. Свяжись с губкомом партии, чтобы народ с фабрик принял участие. Парад назначается не ради забавы. Подумай над этим!

— Есть подумать! — отрапортовал я.

Хотя и учил меня инспектор по строевой части, как нужно проводить парад, но, признаюсь, я все же не имел еще ясности о предстоящем испытании.

Кроме всего прочего, предстоит мне речь держать перед народом. Но я оратор, прямо скажу, незавидный. А ведь много знакомых явится. Будут, конечно, и с нашей фабрики. Да и перед гарнизоном не к лицу коменданту терять авторитет.

Признаюсь, наедине с самим собой я заметил, что и у меня есть признаки новых военных качеств. После тренировки дома я вовсе воспрянул духом. Не тужи, мол, голова, не пропадем!

Жена вернулась поздно вечером с плетеной сумкой. За мороженой картошкой в очереди стояла, да не досталось. Немножко обиделась она на меня.

— Бросил бы ты свою шинель да ехал бы с мешком за хлебом в Самару. С голоду пропадем!

— Голубушка, я без тебя дорогу в Самару не найду.

— Погоди, погоди, найдешь! Вчера четвертку хлеба отвесили, нынче и того не достало. Найдешь...

Беседа сразу приняла неприятный характер. Сто бед насулила мне жена.

— Маша, Маша, ты подумай, рассуди...

Но ведь и сам понимаю: не сознание ее сейчас говорит горькие слова,— говорят нужда да минутная слабость. Скоро мы помирились. Но когда я поведал жене, что мне предстоит командовать парадом, она так недоверчиво глянула и рукой махнула.

— Выдумал тоже... Кроме тебя, некому?

— Приказ, Маша, все решено.

— Ради шутки, чай, приказали-то.

— Ты, Маша, приходи да послушай. Ведь сам товарищ Фрунзе будет на параде.

— На него-то приду поглядеть, на тебя и не гляну, ты мне дома надоел.

Ведь вот какая! Знаю, что любит она меня, уважает, но никогда прямо в глаза не скажет.

Гарнизон усиленно готовился к параду.

Декабрь с морозами — мужики с обозами, волк на опушку — голод в избушку. В городе холод, в городе голод, да рабочий народ духом молод. Цвет человеческой души не сгубят никакие лютые морозы!

Помню тот морозный декабрьский день. Еще дважды рожденный, ни разу не крещенный первый пророк у соседки на поветке не успел глянуть на часы, прокричать петушиное «доброе утро» на всю слободку, я уже был на ногах.

6

Утро выдалось дивное. Бурая корова через прясло глянула на зимние поляны. Глядеть глядит, на месте не стоит, как всегда, идет своим ходом. Небо зимнее — синь-синева ситцевая по-над городом. Над домишками заснеженными дым темными столбами стоит под небеса. Снег приветистый, под каблуком шепчет: «Друг, друг, друг, друг!» На фабричных крышах, на заборах бревенчатых, на каменных оградах снежные белые подушки. Усы, шинельное сукно на груди заиндевело, закурчавилось. Мороз по бревенчатым лачугам то тут, то там постреливает.

Только мне в то утро и мороз не в мороз. Весь город мой, казалось, закружился перед моими взорами каруселью.

Перед двухэтажным белокаменным зданием горсовета — бывшей городской управы — владимирские плотники-красноармейцы из запасного батальона по моим чертежам на славу сладили дощатую трибуну из свежеструганного теса. Попахивало живительно смолой и мороженой березой. Люблю запах свежего дерева!

В десять приступочек лестница на трибуну. Половицы нехоженые переговариваются под ногой. Красным кумачом обтянута трибуна. По уголкам ветер полощет оранжевые флаги. Зеленых еловых веток привезли.

«Ну, Канаев, держись, приближается твой час!» Прошелся я по трибуне, как по лобному месту. Не здесь ли моя роковая ступень?

Большой город, как обычно, просыпается рано, дружно. Еще полчаса назад белая скатерть лежала нетронутой на тихих улицах и малолюдных площадях, но вот появились первые следы и вскоре уже как не бывало снежной пелены, вся изрыта, истоптана, поблекла.

Гулок утренний морозный воздух. Далеко слышен скрип сапог, человеческий голос. Где-то в отдалении приветственно, бодро ударил барабан, взлетели голоса

медных труб. На горе за рекой, на широкой улице, взвилось навстречу солнцу алое полотнище, за ним другое, третье; из переулков, с соседних улиц на главную улицу потекли толпы рабочих.

По-хорошему радуя комендантское сердце, с выправочкой, твердо отбивая шаг, вышла на площадь школа курсантов — молодых красных соколят. Не помещичьи, не купецкие сынки — все дети рабочих да крестьян, вчерашних подневольных, яремных, кабальных тружеников. Новая сила мира. Взыграло комендантское сердце при виде шагающих за командиром-усачом в кожаной черной тужурке молодых воспитанников. Хоть картину с них пиши, прошли — порадовали. За курсантами отряд особого назначения. В этом отряде цвет всей нашей партийной организации. Тут и совсем молодые парни и старички, что совсем недавно по солдатской необходимости сняли свои окладистые бороды.

Выкатил орудия артиллерийский дивизион. Артиллеристы — на подбор ребята, сразу видна силушка в жилушках.

Все гуще и гуще лес знамен поднимается над площадью, над прилегающими улицами. Не подвели коменданта мои бойцы, не опозорили. Прибыл караульный батальон, батальон ЧК — это беззаветные рыцари революции, которых растил Феликс Эдмундович Дзержинский. Прошли дружно, спасибо молодцам!

Море людских голов разлилось вокруг площади под кумачовыми флагами. Свирепый мороз пробирал всех. Одежонка у фабричных вестимо какая: пояс енотовый, а под ним рыбий мех.

Колонна за колонной шли к площади рабочие бакулинские, гарелинские, маракушевские, шли студенты, учащиеся и вольного люда великое множество. Мороз нипочем!

На соседних заборах, на заиндевелых березках над оврагом у моста гроздьями висели разрумянившиеся мальчишки. Мороз щипал у них носы и щеки, леденил коченеющие руки, но любопытство подталкивало все вверх, все вверх. Мальчуган, примостившись поудобнее в развилке березы, охватив одной рукой ствол, другую отогревал, засовывая в рот пальцы, холодные, как льдинки. Более смелые пробивались к трибуне, шныряли под ногами, мелькали между стройно застывшими рядами красно-

армейцев, вились около командиров и политработников.

Тысячи любопытных, которые не сумели попасть в организованные колонны, прихлынули полукругом к обширной площади, запрудили соседние улицы. Нетерпеливые взоры всех устремлены к трибуне, где в окружении прибывших на парад командиров был устроитель распорядка, комендант Канаев, то есть я, но не было еще главного виновника торжества — товарища Фрунзе.

На декабрьском ветру город расцвел, как маков сад, сотнями флагов. «Держись, Канаев! Вся округа смотрит на тебя ныне. Выше грудь, тверже шаг!»

Полыхали флаги, гремели медные трубы, возбуждение сияло на лицах. Одна песня перехлестывала другую. Пели дружно, душевно, от всей глубины,— так только, кажется, поют в дни неповторимых событий.

Только сейчас, глядя на людское вешнее половодье, я понял, что парад — это демонстрация нашей силы, чтобы друзья ликовали и радовались, укрепляли в себе веру в полную победу нашего дела, закаляли волю к борьбе, а враги, если пришли посмотреть (а такие были), чтобы знали, что, несмотря на голод и разруху, Советская власть крепка и крепнет она не по дням, а по часам, силы ее неисчерпаемы. Пусть не ждет пощады тот, кто в безумстве занесет свою преступную руку на народное завоевание.

Где-то далеко-далеко, там, под горой, у Деревянного моста, приглушенно грянуло тысячеголосое: «Ура-а-а-а!» — и покатилось, покатилось по заполненной народом улице, по рядам, по колоннам, над колыхающимися красными стягами, все гуще, все мощнее, с каждым шагом нарастая. Громовым раскатом бушевало оно над праздничным городом, в гулком морозном воздухе. Слышали эти раскаты пригородные поля, заснеженные леса, отзываясь многоголосым эхом. Будто сама земля вдруг разверзла уста, будто ее голос катился по-над улицей, все ближе и ближе к площади.

— Ур-ра-а-а-а!

— Ур-ра-а-а-а!!

— Ур-ра-а-а-а!!!

Галки с криком взвились с каланчи, напуганные ураганом голосов. Хлопья снега посыпались с карнизов, с кромок крыш. Вот уже могучие волны приветствий

хлынули на площадь. Все, кто был здесь,— ткачи, мастеровые, ремесленники, мальчишки на заборах и деревьях — единым дыханием подхватили:

— Ур-ра-а-а-а-а!..

Протяжное, долгое приветствие бушевало над людской гущей, словно тысячные стаи турманов с жестяными крыльями взвились над площадью. Криками и рукоплесканиями народ приветствовал появление Фрунзе.

Орловский рысак подкатил к трибуне. Из санок поднялся Михаил Васильевич в серой барашковой папахе, в шинели.

Площадь еще бушевала, кипела, клокотала, то смолкая, то вновь воспламеняясь, снова и снова шумели, кричали.

Тут на минутку растерялся бывалый комендант.

Но признаться — вроде и сам-то Михаил Васильевич впал в мимолетное смятение. Видимо, не ждал он такой горячей бури. Он даже показался мне в тот миг немножко застенчивым, несмелым. На какое-то время он застыл будто в нерешительности. Вдруг, сняв шапку, он приветственно поклонился во все стороны.

Наконец площадь затихла. Михаил Васильевич по-военному приветствует меня.

— Ну, видишь, ничего страшного нет?

— Пока что все в порядке!

— Прекрасно! Действуй согласно инструкции.

Откозырял я, повернулся. Вижу — у моих орлов гарнизонных возгорели, воссияли очи. Только команду дай — отчеканят с понятьицем всей государственной своей силы-важности. Это-то и любо-дорого. Когда солдату свое занятие мило, в таком солдате сила!

— Стройся! — гаркнул я.

— Смирно! — покатилось от части к части.

Стройно зыблемые ряды замерли, трубы блещут на солнце, сияют победные знамена пролетарские. Командиры, политработники встали впереди своих частей. Тишина небывалая разместилась на многолюдной площади. Только слышно, как снег поскрипывает да изредка перешептываются восхищенные мальчишки на деревьях, любуются не налюбуются геройскими командирами.

Я подхожу и по всем комендантским правилам рапортую:

— Товарищ военный комиссар, сводные части гарни-

зона к параду готовы. На парад прибыли: артиллерийский дивизион, отряд особого назначения, школа курсантов, караульный батальон и батальон ЧК. Парадом командую я,— отбарабанил я с расстановкой, без запинки, без заминки.

Пошли с товарищем Фрунзе делать смотр частям. Рука, как полагается военным, под козырек.

— Здравствуйте, товарищи артиллеристы! — приветствует Фрунзе красных орлов.

— Ур-ра-а-а! — грянуло в ответ.

Да так гаркнули, выше всех моих ожиданий, показалось, что от дружного возгласа здания подвинулись с места. «Ого, думаю, молодцы артиллеристы, знают, как порадовать своего коменданта!»

— Здравствуйте, товарищи чекисты!

— Ур-ра-а-а!

Не народ — золото!

— Здравствуйте, товарищи курсанты!

— Ур-ра-а-а!

Вижу я, что доволен комиссар пролетарской дисциплиной воинов, солдатской выправкой, большевистской выучкой, крепким духом, что в груди у каждого. Если Фрунзе рад, то уж комендант тем более. Будто сама собой удача мне закатилась за пазуху, отогрела мое беспокойное сердце.

Отряд особого назначения и караульный батальон гаркнули, как из царь-пушки.

Вот повернули мы обратно. Не иду я — лечу, земли под собой не чую. Такое во мне пыланье — водой не зальешь, землей не засыплешь.

— Объявляю вам, товарищ Канаев, благодарность!

Оторопь, неуверенность, робость, застенчивость ровно ветром сдунуло с меня.

Мы на трибуне. Рядом товарищи из губкома, из горсовета, словом, ото всех уважаемых советских организаций. Коль я командую парадом, мне и митинг открывать. Первый раз говорил я с высокой трибуны перед многотысячной толпой. Говорил — сам все держался за пуговку, чтобы «это самое-то» не подвертывалось на язык. Говорю, народ слушает. «Дай, думаю, в конце-то погорячее вверну тезис приветственный». Здесь, нужно признаться, я увлекся и пошел и пошел без тормозов...

— Хватит, пожалуй,— шепчет Фрунзе.

Закончил я. Тут только вспомнил я: ведь не поприветствовал своего комиссара. А уж успел, объявил, что, мол, предоставлено слово товарищу Фрунзе.

Я было сунулся опять наперед комиссара:

— Одно словцо только, простите... От взволнованности — я всю неделю о том думал — выпало из памяти.

— Что выпало?

— Забыл вас поприветствовать, Михаил Васильевич.

— Потом, дома, поприветствуешь. Сочтемся, свои мы люди.

По-доброму глянули его глаза. Обошелся Фрунзе без моего приветствия.

— Ты вот, товарищ Канаев, сам видишь — не боги горшки обжигают.

Это замечание было брошено им тихонько, опять же в знак поощрения, поддержания моих военных дарований.

Все вокруг на площади, на ближних улицах притихло, призамолкло. В морозном воздухе слышно, как пролетит галка. Слышно, как рысак, потряхивая головой, гремит удилами. Блещут медные трубы у музыкантов. Блещет холодное золото на старинном соборе. Белесыми облачками над тесными людскими рядами поднимается парок. Потирают люди носы и щеки. На ресницах, на усах, на бородах ткачей, на поднятых воротниках, на повязках ткацким пухом оседает иней. Ярится неуступчивый мороз, словно ему тесно стало, словно хочет он поскорее проводить по домам продрогший, усталый, голодный люд.

— Новый мир за нас не построят господа из-за моря! Мы его отстоим, отвоюем, создадим царство свободы своим трудом, своей беззаветной борьбой...

Церемониальным маршем, под гром барабанов, высоко водрузив знамена, торжественно прошли части гарнизона. Заботой, раченьем, непреклонной волей, усилиями могучей, богатырской натуры ленинского соратника Фрунзе вызвана к жизни, выращена, выпестована, обучена, поставлена на верный пролетарский путь — путь борьбы, служения своему народу — эта полная кипения молодая сила, которая есть кость от кости, плоть от плоти трудового народа.

Один за другим проходили стройные ряды чекистов, артиллеристов. Горящие глаза красноармейцев были

вновь устремлены на дорогого человека, который стоял несколько впереди нас на возвышении.

Вновь и вновь раскатывалось над рядами:

— Ур-ра-а-а-а!

Поднятая рука Фрунзе чуть подрагивала. Части шли и шли. Но народ не хотел расходиться с площади. В тысячах глаз, на тысячах лиц теплилось то же сияние, как в глазах самого Фрунзе, при виде шагающих красных воинов. Нет, не один Фрунзе и комендант Канаев проводили смотр революционных сил, весь рабочий город вышел полюбоваться на свои революционные войска.

Скрылось за поворотом последнее орудие. Еще ближе к трибуне понадвинулись ряды демонстрантов, еще гуще, выше, ярче вспыхнули кумачовые знамена.

С той же клятвенной верностью во взорах, с пламенной озаренностью на исхудалых лицах, с несокрушимой революционной волей и восторгом в сердцах проходили перед Фрунзе ткачи, прядильщики, челночники, печатники, шпульницы, заварщики, раклисты — армия труда. Ослепленные безграничной далью широких дорог в свободную, светлую жизнь, как красное знамя неся высоко вольную песню молодости, проходили первые студенты текстильного города и их меньшие собратья — учащиеся, дети ткачей, дети трудового люда.

Декрет об открытии института для ткачей лишь недавно подписал Ленин. А ныне идут уже сотни студентов.

— Гляди, Канаев,— кивнул Фрунзе на проходящих студентов,— сбывается то, о чем мы давно мечтали, как о сказке. Сказка становится былью! Вот эти люди будут служить Советской власти, как родной матери, не за страх, а за совесть.

Под красными знаменами мелькали кубовые полушалки, кумачовые повязки, клетчатые шали, заячьи шапки, островерхие солдатские шлемы со звездами, картузы с каркасами, летние кепки, нагольные полушубки, черные рабочие пиджаки, дубленые шубы с борами, шинели, шугайчики, дипломаты ветхого покроя, с бархатными воротниками, изредка шляпы и шляпки, всякие продуванчики, которые зимой и летом одним цветом, гремели по ледышкам, чистым и ясным, как алмаз.

Не богато жилось народу,— до хлебосольства ли, до сытости ли, до роскоши ли? И все-таки каждый нес те-

перь голову выше, видел дальше, был готов на смертный бой до конца за свое счастье.

Клокотала, бурлила разноликая, пестрая в своем незавидном одеянье людская река. Но никто не торопился домой. Многие, пройдя в колоннах мимо трибуны, возвращались вновь, становились в сторону, любозались.

Я видел, как в ветхих шинелишках дышали на синие пальцы студенты, подталкивая друг друга плечами, разминались, грелись, пожилые женщины отбивали чечетку березовыми подметками, но оставались на морозе до конца.

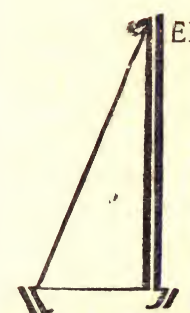
С честью выполнил я приказ комиссара и возвращался домой продрогший, но такой счастливый, что казалось — счастливее меня нет человека на земле.

1954

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

ТЕАТР

I



ЕПУТАТ Конвента Эро де Сешель резко обрывает Камилла Демулена:

— Дантон распустился,— говорит он.— Им овладела спячка. Он уезжает из Парижа, не говорит больше в Конвенте. Непонятно, что с ним стало. Кто его видел в последние дни? Где он? Что делает?

Все молчат. В этот момент Дантон, огромный, монументальный, с головой бульдога, входит в комнату с генералом Вестерманом. Могучий голос Дантона потрясает своды:

— Дантон кутит. Дантон ласкает девушек. Дантон отдыхает от одних своих трудов за другими, как Геракл...

...Да, это была роль.

Артист Владислав Закстельский, белокурый красавец, с выправкой гвардейского офицера, появился в нашем городе в февральские дни 1917 года.

Дебютировав в роли Отелло и сразу завоевав своим талантом весь город, играл он, однако, редко.

Большую часть своего времени Закстельский уделял политике. Числился он в партии социалистов-революционеров, и наши эсеры пользовались им как приманкой.

Могучий голос Закстельского великолепно звучал на эсеровских митингах, и трудно было иногда различить — где говорит Закстельский свои слова, а где читает монолог из какой-либо классической мелодрамы.

После Октября Закстельский сразу признал Советскую власть и часто разъезжал по селам и красноармейским частям, выступая со специальным агитационным репертуаром. А разъезжать по уездам было далеко не безопасно.

Обстановка в прифронтовой губернии была тревожная и напряженная.

Октябрьская революция прошла в нашем городе почти бескровно. Даже ближайший друг мой и одноклассник Ваня Фильков, сын учителя истории, председателя большевистского комитета, только в самый день победы Советской власти узнал о том, что адвокат Шемшелевич больше не комиссар Временного правительства, а отец Вани — Василий Андреевич Фильков — руководитель городской власти.

Однако борьба еще далеко не закончилась. Бывший губернский начальник милиции, эсер Никитин-Черкасский, организовал банду, действовавшую главным образом в нашем уезде. Никитинцы сжигали целые деревни, убивали коммунистов, грабили крестьян, жестоко расправлялись с захваченными в плен красноармейцами.

Несомненно у никитинцев были связи и в самом городе. Все попытки настигнуть и уничтожить банду терпели неудачу.

В тот год мы с Ваней Фильковым особенно увлекались театром. Режиссером городского театра был Андрей Андреевич Барков. Он принадлежал к режиссерам-новаторам, пропагандировал левые театральные идеи, считал себя учеником Мейерхольда и даже сделал однажды публичный доклад об уничтожении рампы.

Для нас все это было незнакомо и малопонятно. И по одному этому заманчиво и прекрасно. Мы сочувствовали Баркову, и он давал нам бесплатные контрамарки.

Театр из-за отсутствия революционных пьес ставил Островского и Шиллера. Мы по десятку раз смотрели «Коварство и любовь» и были по уши влюблены в первую актрису театра Валерию Феликсовну Драгину. Мы мечтали о ее благосклонности. Но она — прекрасная и далекая — даже не замечала нас, хотя мы были вождями Совета ученических депутатов.

В поисках революционных пьес Андрей Андреевич Барков наткнулся на пьесу Ромена Роллана «Дантон».

Он лихорадочно перечитал ее несколько раз. Да. Это была подходящая пьеса! На этой пьесе решил Барков проверить все свои левые театральные идеи.

Постановка пьесы «Дантон» сломает все каноны ста-

рого театра. Эта пьеса принесет ему славу и победные лавры.

К постановке пьесы «Дантон» Андрей Андреевич готовился как к сражению.

II

Роль Дантона в пьесе Ромена Роллана была поручена премьеру труппы Владиславу Закстельскому.

Роль пришлась ему по вкусу. Здесь было чем блеснуть.

Барков решил ставить пьесу Роллана по-новому. Уничтожить рампу. Привлечь публику к участию в пьесе.

Обвинитель и защитник Дантона в сцене суда должны были выдвигаться из публики. Зрители должны были сами избирать и присяжных заседателей, решающих судьбу Дантона.

Это было ново, смело и оригинально. Посвященные в замыслы Баркова, мы с нетерпением ждали спектакля.

А город жил своей напряженной прифронтовой жизнью. В самый канун постановки «Дантона» бандой Никитина был схвачен и зверски растерзан председатель Губчека матрос Зубов.

Ваня Фильков совсем не видел своего отца. Дни и ночи сидел Василий Андреевич в Губревкоме или разъезжал по уездам. Однако вечер спектакля оказался у Филькова более свободным, и он пошел с нами в театр.

Старый городской театр был переполнен. В ожидании говорили о насущных заботах: о банде Никитина, о налогах, об отсутствии сахара, об измене красного командира Горохова, бежавшего к Деникину.

И вот поднимается занавес и перед нами проходят суровые и великолепные дни французской революции 1789 года. Прекрасная Люсиль Демулен (Валерия Феликсовна Драгина), и совсем юный, женственный Камилл, слабый, мятущийся, противоречивый, и генерал Вестерман, одетый почему-то во френч и галифе с кавалерийскими лампасами, и неподкупный Максимилиан Робеспьер, и решительный, волевой Сен-Жюст.

Мы слушали, затаив дыхание. Мы переживали каждое слово. Казалось, действие происходит сегодня, в наши дни. И не было ста двадцати пяти лет, отделявших нас от той суровой эпохи.

Но вел спектакль, конечно, Закстельский. Театр дрожал, когда Дантон произносил свои монологи. Часто, точно петарды, взрывались аплодисменты в разных местах зала. Состав зрителей был необычайно пестрый — рабочие, служащие, лавочники, учителя, школьники, адвокаты, красноармейцы.

— Во имя родины, Робеспьер,— восклицал Закстельский, потрясая огромными кулаками,— во имя родины, которую мы обожаем одинаково пламенно и которой мы все отдали, дадим полную амнистию всем, друзьям и врагам, лишь бы они любили Францию...

А между тем дни Дантона были уже сочтены. Мы с Ваней знали это. Мы прошли уже эпоху французской революции по новой истории. Василий Андреевич Фильков рассказывал нам о Дантоне, Марате, Робеспьере. Но большинство сидящих в театре не знали судьбы Дантона. Не меньше половины театра было заполнено красноармейцами, и они с напряженным вниманием следили за развитием исторического спора между Робеспьером и Дантоном. Они не могли решить, кто прав.

Громкие речи Дантона-Закстельского туманили их. Но вот появился на сцене молодой Сен-Жюст. Прямо с фронта. Прямо из-под огня. Симпатии красноармейцев сразу были обеспечены этому решительному, суровому человеку, почти юноше.

Сен-Жюста играл наш приятель, молодой актер — комсомолец Вениамин Лурье. Мы знали, что он долго готовился к роли, перерыл всю городскую библиотеку и даже заставил Василия Андреевича оторваться от ревкомовской работы и дать ему консультацию.

Он не декламировал, как Дантон. Он говорил о чести революции, о добродетели, о народе и его врагах.

Он выступал против чувствительности. Клеймил предателей и изменников.

— В Республике,— сказал Сен-Жюст,— раскрыт организованный за границей заговор, цель которого путем подкупа помешать установлению свободы.

Он сказал это просто, слишком просто, так естественно, словно выступал не на сцене, словно произносил не слова, заученные по пьесе, а сам он, комсомолец Вениамин Лурье, выступал свидетелем в Революционном трибунале.

Он указал рукой на скамью подсудимых.

— Дантон,— сказал он, почти не подымая голоса,—

ты был сообщником Мирабо, д'Орлеана, де Бриссо. Ты изменил Республике! Волны света упали теперь на твою политику. Ты был на Горе точкой контакта и отражением заговора Дюмурье, жирондистов и д'Орлеанов.

Он обернулся к публике, и мы не узнали нашего приятеля, веселого веснушчатого Вениамина Лурье. Это был суровый Сен-Жюст, друг неподкупного Робеспьера. Голос его звучал твердо и резко.

— Мы решили не медлить больше с виновными. Мы объявили, что разрушим все заговоры. Они могут снова оживиться и снова стать опасными. Время их разрушит.

— Я говорю,— требовал Сен-Жюст,— если друг твой развращен и развращает Республику, отсеки его от Республики... Если брат твой развращен и развращает Республику, отсеки его от Республики. Республика должна быть чистой!..

Судьба Дантона была решена. Но половина зала еще не знала этого.

К последнему акту — к заседанию Революционного трибунала — весь зал находился в необычайном напряжении. Не было прошедших ста двадцати пяти лет. Сегодня решалась судьба Дантона.

В перерыве Василию Андреевичу Филькову принесли пакет из Чрезвычайной комиссии. Он быстро прочел его. Глаза Филькова заблестели. Он, усмехнувшись, посмотрел на соседнюю ложу, где беседовал с поклонницами отдыхающий Дантон-Закстельский, и спросил нас:

— Ну, ребята, как вам нравится Сен-Жюст?

— Отец, разве можно сравнить новичка Веню Лурье с Закстельским? — сказал Ваня Фильков, стараясь говорить авторитетно, как старый театрал.

Василий Андреевич опять усмехнулся и забарабанил пальцами по барьеру ложи.

III

Третий акт был кульминационным. Перед поднятием занавеса к публике вышел Андрей Андреевич Барков и объяснил свой замысел уничтожения рампы. Он предложил зрителям выделить обвинителя, защитника и шесть присяжных заседателей.

Предложение Баркова было встречено шумно-одобри-

тельно. Защитником Дантона вызвался быть адвокат Шемшелевич. Он руководил объединенной меньшевистской организацией, а в нашем городе считал себя старым социал-демократом и любил рассказывать о том, как много лет назад за границей встретился с самим Карлом Каутским. При упоминании имени Каутского Шемшелевич многозначительно подымал бровь, давая понять всю важность этого исторического события.

После Февраля Шемшелевич выступал на многочисленных митингах. Свой длинный черный сюртук он сменил на щегольский френч с каким-то непонятным значком над левым карманом. Он был назначен комиссаром Временного правительства и даже волосы подстриг бобриком по примеру своего шефа Керенского.

...Теперь блестящая звезда Шемшелевича закатилась. Он вернулся к частной адвокатуре, сменил исторический бобрик на стандартную прическу с пробором и только изредка писал желчные статьи в меньшевистской газете.

Итак, защитником Дантона вызвался быть адвокат Шемшелевич. А обвинять...— удивлению нашему не было границ,— обвинять согласился председатель Губревкома — Василий Андреевич Фильков.

Занавес поднялся. Председатель суда — его роль играл сам Андрей Андреевич — сурово допрашивал обвиняемых.

В этой сцене Закстельский показал себя. Да, это был актер! Он ревел так, что тряслись кресла в театре, а у коменданта суда слетела плохо приклеенная борода.

— Подсудимый,— спросил Закстельского председатель, Барков,— ваша фамилия, имя, возраст, звание и место жительства?

— Место жительства,— отвечал Дантон-Закстельский,— скоро будет небытие. Имя мое в Пантеоне....

В зале многие аплодировали. Закстельский упивался успехом. Да, это была роль!..

— Дантон,— продолжал председатель,— Национальный конвент обвиняет вас в том, что вы состояли в заговоре с Мирабо и Дюмурье, знали их планы удушения свободы и тайно их поддерживали.

Закстельский встал. Это был его коронный монолог. Он зловеще захохотал и ударил кулаком по бархатной обивке барьера. Ветхий театральный барьер треснул и упал. Облако пыли поднялось над судьями.

— Свобода,— сказал Закстельский,— в заговоре против свободы. Дантон злоумышляет против Дантона. Мерзавцы!.. Посмотрите мне в лицо. Свобода — она здесь! — Он обеими руками взял себя за голову.— Она в этой маске, вылепленной по ее суровому образцу,— в этих глазах, пылающих ее вулканическим пламенем, в этом голосе, раскаты которого потрясают до основания дворцы тиранов. Возьмите же мою голову, пригвоздите ее к щиту Республики. Подобно медузе, она своим видом будет повергать в прах врагов свободы.

Это было сильно сказано. И хотя мои симпатии при изучении курса истории склонялись к Сен-Жюсту и Робеспьеру, я едва не зааплодировал Закстельскому, как многие его поклонники, сидящие в зале.

Я посмотрел на Василия Андреевича Филькова. Он иронически глядел на актера. Синяя жилка дрожала на его виске. И я почувствовал, что Фильков волнуется, что для него тоже нет прошедших ста двадцати пяти лет, что он будет сейчас обвинять живого, сегодняшнего Дантона.

Не раз еще грохотал бас Закстельского. Я не пропускал ни одного слова. Я был потрясен игрой актера.

Акт подходил к концу. В ответ на предложение Вестермана поднять народ, Дантон поднялся во весь рост и, указывая размашистым жестом на театр, сказал:

— Эта сволочь? Брось!.. Публика комедиантов! Они забавляются зрелищем, которое мы им устраиваем. Они здесь для того, чтобы рукоплескать победителям. Слишком привыкли, чтобы я за них действовал.

С каким презреньем произнес эти слова актер! Неужели он так ненавидел свой народ, Жорж-Жак Дантон?

Речей обвинителя и защитника не было в пьесе Ромена Роллана. Их ввел сам Барков.

Василий Андреевич Фильков вышел на авансцену. Красноармейцы, сидящие в зале, знали его и приветствовали хлопками.

Дантон-Закстельский выжидающе-презрительно смотрел на прокурора, опустив на барьер свою огромную голову.

Фильков говорил кратко. В нескольких словах он сообщил о роли Дантона в революции, о его предательстве и привел факты этого предательства и измены.

— Дантон,— сказал Фильков,— много и красиво декламировал на суде и в жизни, но он связался с генералом Дюмурье, он изменил Республике.

— Прав был сегодня гражданин Сен-Жюст,— сказал Фильков и указал на Вениамина Лурье,— прав, когда сказал: «Горе тому, кто предал дело народа!» Прав был гражданин Робеспьер, когда сказал с трибуны Конвента: «Те, кто готовит войну против народа, против свободы, против прав человека, должны преследоваться не просто как противники, а как убийцы, как негодяи и предатели».

— Граждане судьи,— сказал Фильков, обращаясь к нам, присяжным.

Мы сидели уже на сцене, и я был необычайно горд и чувствовал себя по меньшей мере депутатом Конвента, что не мешало мне искать в зале предмет своей любви — Нину Гольдину. Пусть она видит меня!

— Граждане судьи, не будьте чувствительными. Истинный гуманизм (тут я впервые услышал это замечательное и туманное слово) состоит не в том, чтобы даровать жизнь одному предателю, а в том, чтобы, уничтожив этого предателя, спасти сотни и тысячи жизней.

— Во имя счастья человечества,— взволнованно сказал Фильков, и тут он, к неудовольствию Баркова, несколько вышел из роли,— мы будем беспощадно уничтожать бандитов и изменников, как уничтожили сейчас бандита Никитина!

Это уж никуда не годилось и не имело никакого отношения к французской революции. Но Фильков тут же поправился:

— Граждане судьи. Я требую смертной казни для гражданина Дантона и его сообщников...

Весь зал зашумел. Дантон вздрогнул и пошатнулся.

Он здорово играл, Закстельский! Все это было совсем как в жизни.

Потом говорил защитник Шемшелевич. Он был бледен и от волнения заикался. Он говорил о заслугах Дантона, о жестокости якобинцев. Он требовал состраданья.

— Гражданин председатель, и вы, граждане судьи,— поднял Шемшелевич палец,— объявляя смертный приговор Дантону, вы вынесете смертный приговор Республике.

Он повторял сегодняшнюю передовицу из меньшевистского листка. Откуда только хватило у него наглости! Не

думал ли он, что действительно сто двадцать пять лет отделяют его от сегодняшнего дня?!

Председатель Барков, смущенный, испуганный, подал ему стакан воды. Все смешалось на сцене, и нельзя было разобрать, где история и где действительность.

Все это называлось в театральном мире «уничтожением рампы»...

— Граждане судьи. Я требую свободы для Жорж-Жака Дантона,— совсем тихо сказал Шемшелевич и, обессиленный, сошел со сцены.

Суд удалился на совещание.

IV

Никогда в истории не происходило столь изумительного совещания присяжных заседателей. Судьбу французского депутата Конвента и министра, гражданина Жорж-Жака Дантона из департамента Арси Сюр Об, проживающего в Париже на улице Кордильеров, должны были решить: гражданин Соломон Розенблюм, бывший подрядчик, ныне производитель работ Комитета государственных сооружений, гражданин Федор Сепп — учитель чистописания и пения, бывший заместитель председателя «Союза русского народа», гражданин Степан Войнович (под псевдонимом «Степан Алый») — поэт и фельетонист, гражданин Аронштам — аптекарь, гражданин Василий Снегирев — красноармеец, и я, гражданин Александр Штейн, ученик пятой группы и секретарь Совета ученических депутатов.

Мы сидели в уборной Дантона — Владислава Закстельского. Настенные зеркала отражали наши фигуры, а на стульях валялись парики, пышные бутафорские костюмы и оружие.

Нашего решения ждал весь народ, весь театр.

По сценарию Баркова, заседание присяжных должно было длиться три минуты. Вышло, однако, не так.

— Я предлагаю,— сказал Федор Иванович Сепп, избранный старшиной,— вынести оправдательный приговор. Дантон невиновен. Это самая светлая голова Республики. Если бы Дантон остался жить — Республика не погибла бы. Граждане присяжные, мы должны быть гуманными.

Второй раз я слышал это слово. Но Сепп, по-видимому, вкладывал в него другой смысл, чем Фильков.

Я переживал мучительные минуты. Я сомневался в необходимости осудить Дантона. Я жалел его. Все-таки Закстельский сильно подействовал на меня своей игрой. Дантон ошибался. Но он был героем. Разве можно было его сравнить с Вениамином Лурье или с суховатым Кудриным, игравшим Робеспьера!

Соломон Розенблюм поддержал Сеппа. Я понимал в какой-то мере, что, оправдывая осужденного народом и историей Дантона, они бросают вызов и Филькову и всем большевикам. Я понимал, что мне (а себя я считал представителем большевиков на этом необычайном совещании) нужно добиться осуждения Дантона.

Но я не мог послать этого замечательного человека под нож гильотины.

Вот уже и Степан Алый, из соображений гуманности и из дружеских чувств к своему собутыльнику Закстельскому, присоединился к Сеппу.

Вот уже и аптекарь Аронштам голосует за оправдание.

Надо спешить. Уже стучат в дверь и напоминают, что это все-таки театр и зрители ждут.

А неизвестный красноармеец в большой папахе, Василий Снегирев? Снегирев встал, оправил гимнастерку, огладил рыжеватые усы.

— Товарищи,— жестко сказал Снегирев,— то есть граждане,— поправился он.— Неправильно. Я считаю так: товарищ Фильков доказал ясно — Дантон помогал белому генералу. Значит, продавал своих. Значит, не может быть пощады. А что говорил он красно, так это пустяки. Предлагаю — расстрелять Дантона.— И он тяжело сел, решительно махнув рукой.

Сепп что-то шепнул Розенблюму.

Пришла очередь и мне сказать свое слово. Я хотел произнести большую политическую речь. Я хотел блеснуть своими познаниями из области истории французской революции. Но опять стукнули в дверь. Сепп торопил меня. И я не мог ничего решить. Все смешалось в моем разгоряченном мозгу. Гуманность. Жестокость. Прекрасная Люсиль Демулен. Василий Андреевич Фильков. Вениамин Лурье. Дантон-Закстельский. «Свобода в заговоре против свободы». Слишком тяжелую ответственность возлагала история на мои плечи. И я не мог убивать Дантона.

— ...Я... я... воздерживаюсь,— задыхаясь и презирая себя в ту минуту, сказал я.

Красноармеец Снегирев сокрушенно посмотрел на меня. И я тут же понял, что совершил непростительную ошибку. Но было уже поздно.

Сепп, усмехнувшись, сказал:

— Итак, четыре против одного, при одном воздержавшемся. Гражданин Дантон оправдан.

Соломон Розенблюм легонько похлопал. Остальные молчали.

Так через сто двадцать пять лет после осуждения Дантона ему опять была возвращена жизнь.

За кулисами я увидел бледного, усталого Сен-Жюста. Узнав о приговоре, он презрительно смерил меня глазами и сразу отошел. Мы вышли на сцену. Смущенный и обескураженный, я искал глазами Филькова. Он никогда не простит мне этого предательства. Но Филькова не было. Зрительный зал наполовину опустел. Шел третий час ночи. Дантон-Закстельский нервно ходил по сцене. Приговор, видимо, мало интересовал его. Известие о том, что ему дарована жизнь, он встретил холодно и безразлично.

Сразу после спектакля я пошел в Губревком. Я хотел видеть Василия Андреевича. Я хотел рассказать ему о приговоре, покаяться...

Я столкнулся с Фильковым в дверях. Его ждала машина. Он спешил.

— А, Саша,— остановился он.— Ну как? Оправдали Дантона? А ты что горюешь, нервничаешь?.. (Он ничего еще не знал, Василий Андреевич.) Ну, не падай духом, Сашок... Суд еще не закончен.

Он посмотрел на меня в упор и засмеялся.

— Едем вот пьесу доигрывать. Эту самую пьесу, о Дантоне...

А через два дня мы узнали из газет, что арестован и расстрелян по приговору Военного трибунала непосредственный вдохновитель и участник банды эсера Никитина — актер Владислав Закстельский, исполнитель роли гражданина Жоржа-Жака Дантона из департамента Арси Сюр Об.

1939

ВИКТОР АВДЕЕВ

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

I

От лимана тянул ветер, донося звуки снарядных разрывов. Сторож прилаживал к спице над крышей станичного правления красный флаг. На ступеньках валялась вывеска с царским гербом. В исполком, прихрамывая, вошел солдат в жесткой шинели. Он объяснил секретарю, что хочет организовать музыкальную школу.

— Чего-о? — отозвался из кабинета матрос, обвешанный гранатами.— За станицей фронт, а ты — с искусствами...

— Для революции я это,— упрямо сказал солдат Юсалов,— агитировать буду.

— Балалайками?

Солдат рассказал, что сам он тамбовец, безродный. У людей вырос, работал по экономиям. Семья была. Ребенок помер, жену сманил управляющий в горничные. Самоучкой Юсалов стал понимать ноты, обучился на гобое. Когда мобилизовали на германца — был зачислен в казачий полковой оркестр. Капельмейстер невзлюбил его и посадил за барабан. Началась революция, полк снялся с позиции, ушел домой. Юсалов — контуженный — застрял в этой станице. Без дела — скучно, вот он и предлагает организовать оркестр.

— А музыкальные инструменты где возьмешь? — перебил матрос.— В кузне закажешь? Опять же учителя надобны.— Матрос вынул из кармана завернутую в бумажку печать и старательно подышал на нее.

Они просидели в комнате недолго, и солдат вышел от председателя исполкома с мандатом в кармане. По вызову к Юсалову явился регент церковного хора и учитель пения из гимназии. Мобилизованные властью, они уби-

рали с площади навоз. Юсалов предложил им вместо общественных работ перейти в новую школу. Регент и учитель охотно согласились.

На станичных заборах запестрели афиши:

ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КРАСНАЯ ШКОЛА

Беднота и граждане, желающие поступить, приносите, кто имеет, мандолины, гитары и другое.

Обучение бесплатное.

Да здравствует искусство — народу!

В школу понабились угреватые гимназисты с портсигарами в карманах, барышни, скучавшие без флирта, приказчики с напомаженными волосами, пожилые батраки в неуклюжих сапогах. Инструменты, реквизированные у беженцев-прасолов, атамана, чиновников, были разбиты, струны порваны. Окруженная бандитами станица не могла купить новые в городе. Юсалов решил создать оркестр. В нем участвуют домры и балалайки разного калибра от пиколки и до контрабаса. Юсалов надел фартук и принялся за переустройство оркестра. Итальянский инструмент мандолину он приладил на квартовый строй: из восьми оставил три струны — получилась домра. Гитары переделал на басы. Балалайки-примы имелись.

Преподаватели начали знакомить учеников со скрипичным ключом, с гаммою. Юсалов добавил, что попутно, в трехдневный срок, надо изучить одну песню. Ее он перенял от проходившего красного отряда и положил на ноты.

Педагоги возмущенно зашушукались.

— Позвольте,— выступил регент,— но ваш метод просто, извините... безграмотен. Это равносильно тому, что если бы вы учеников заставили выдолбить наизусть целую книгу, а уж только после объяснили азбуку. Мы — люди честные и калечить людей не позволим.

Солдат сжал челюсти:

— Я вас не держу. Можете возвертаться на общественные работы. А песню эту ребятам сам растолкую: на слух запомнят. Мы и ноты заучим и песню тем временем разучим.

Педагоги пожали плечами.

На первом уроке Юсалов обратился к ученикам с короткой речью.

— Школу эту открыл я для бедняцкого класса, пускай и он понимает искусство. Довелось мне при старом режиме побывать в опере. Очень художественные песни там играют. И наилучшей считается, которая ближе к народу. Вот мы теперь сами и организуем свое искусство. После еще и то: я сам служил в полку в оркестре и знаю, как музыка в бою душу вздымает. Оружием нашим против белых генералов должно быть все: и шашка и песня.— Юсалов сделал паузу.— А товарищей, которые пришли сюда щипать девок, прошу освободить училище.

После занятия в оркестре гимназисты, барышни, сидя дома за вечерним чаем с пышками и каймаком, передавали родне речь своего заведующего. Станица насторожилась, стала относиться к солдату подозрительно.

II

Светлый май закурил пылью, с вербы полетел розовый пух сережек. На площади вокруг первомайской трибуны толпился празднично одетый народ. Звонили колокола двух станичных церквей, заглушая речи ораторов. Митинг кончился, и оркестр музыкальной школы грянул «Интернационал». Громкие, нестройные звуки взвились к солнцу, как развернутое знамя. Обнажились головы. Председатель исполкома приложил руку к матросской шапочке, отдавая честь.

У ограды храма, опираясь на клюку, стоял старый казак. Из-под ладони, приставленной к бровям, он удивленно озирал народ.

— Кум,— проговорил он,— что же это за такая песня будет? Я ее, кубыть, не слыхал раньше?

Его сосед, безносый, в красном бешмете, хихикнув, ответил:

— Мабуть, их новый гимн...

Воровато оглянувшись по сторонам, оба обнажили лысины, желтые и круглые, как репа.

Руку Юсалова, улыбаясь, потряс председатель исполкома:

— Добре, капельмейстер. Какое же тебе положить жалованье за усердие?

Юсалов хитро улыбнулся:

— Два химических карандаша и бумаги. Ноты линевать буду.

Он объяснил, что подрабатывает уроками музыки на дому, за жалованьем не гонится. Председатель обещал выписать ему продовольственный паек.

Когда оркестр уходил с площади, старик с клюкой и казак в красном бешмете плевались и показывали в их сторону жилистые, волосатые кулаки.

У себя в кармане Юсалов нашел конверт, распечатал его. Сверху тетрадочного листа был нарисован черный гроб. Под ним надпись: «Это для тебе, коли не оставишь играть большевицкие панифиды».

Капельмейстер медленно выпил два стакана воды и пошел в школу.

Ученики в классе сильно поредели: гимназисты были разочарованы долбежкой нот, барышням запретили мамаши. И только старательно потели батраки, преодолевая мудреные гаммы. Регент с брезгливым видом ходил по классу, постукивая камертоном.

Солнце упало за осокорь. Хлопнула калитка, и во двор школы вошло трое здоровенных хлопцев. Они уселись на дубовом крыльце, напротив окошка. Передний, с плоским рябым лицом, в болотных сапогах, закурил пенковую трубку. Никто из них не проронил ни слова.

Юсалов глянул в окно и побледнел. С хрустом скомкал в кармане найденное письмо.

— Ребята,— сказал он хрипло,— играйте «Интернационал».— И палочка его стремительно взлетела и опустилась, точно ведя за собой музыку. Удивленные ученики отложили ноты с гаммами. Юсалов стоял лицом к оркестру, чувствуя свою спину — огромную, точно она заслонила все окно. Когда обернулся — хлопцев не было.

Они пришли на другой день в этот же час и поместились под окном на дубовом крыльце, подпирая крышу, точно три столба. Рябой покуривал трубочку. И опять ученики школы удивлялись, почему им надо прерывать занятия и играть «Интернационал». Едва затихали последние звуки гимна — хлопцы исчезали.

На третий день крыльцо было пусто, и ученики доиграли гаммы до конца. И когда с востока к станичной околице подступила густая тьма, в окошко юсаловской хибарки легонько постучали. В углу на кривоногой железной койке лежал тощий солдатский тюфяк. Ставни хибарки были перехвачены крючьями, дверь приперта тяжелым столом, в замочной скважине торчал ключ.

Стук повторился.

Голос с улицы глухо окликнул:

— Отвори, хозяин, по делу надо. Пакет из Совета.

Юсалов, одетый в одни исподники, осторожно взял топор, попробовал пальцами зазубренное лезвие и стал в простенке между окнами.

В станице была власть Советов. За станицею в плавнях — власть бандитов. Когда поднималось солнце, по улицам ходили работники из политпросвета. Когда подымался месяц — из плавней вылезали бандиты с обрезами. Они растекались по знакомым проулкам. Они заходили в хаты к родне, гуляли у невест, пили самогон и сбивали каблуки под гармонику, позванивая в карманах серебряными рублями царской чеканки.

Церковный ктитор следил, кто из станичников изменяет православной кубанской земле, и царапал карандашом бумагу, старательно вырисовывая вязь славянских букв. И хлопцы ходили с этим списком по окраинным проулкам, тихонько стучали в отмеченные крестом дома и, когда хозяин открывал,— вырезали его с семьею.

И только на площадь, где висел красный флаг, освещенный керосиновым фонарем, путь бандитам перерезал чоновский отряд. Не раз устраивал отряд облаву: бандиты проскальзывали, как вода между пальцев. Все эти кулацкие сынки брали в руки пилы, грабли: докажи, что они не мирные хлеборобы. Порука — волчья. Кто бы и сказал — боится.

Всю ночь не спал Юсалов. Утром о «гостях» рассказал в исполкоме. Матрос кивнул головой в угол, где в козлах стояли синеватые, смазанные маслом винтовки.

— Возьми одну, пригодится.

Капельмейстер пожал плечами:

— Для чего? Одной винтовкой не обережешься. Мне оружие — во,— он вынул из-за голенища дирижерскую палочку,— музыка, она что пуля.

Он похудел, рыжая щетина сухим репейником обме-

тала скулы, побаливала контуженная нога. В трех домах отказали ему от уроков музыки. Чужой был кубанцам он — голый пришелец из дальней сторонки.

III

Двое достойнейших станичных богатеев зашли к Юсалову. Долго оглядывали училище, инструмент оркестра, плакаты на стене.

— Большая голова у тебя, солдат,— осторожно заговорил ктитор,— да не по ней подушка стелена.

Он вопросительно зажал в кулак острую, серебристую бородку. Юсалов молчал. Он помнил, как, не имея угла, где бы можно было повесить на гвоздь шинель, он четыре месяца проработал у ктитора плотником. Богатый казак уплатил ему без обмана, но не пускал в дом дальше порога, презирая «голопупого лапотника».

— Возможно, пошел бы ты к нам в церковный хор? — продолжал ктитор.— А то играл бы по свадебкам? Ибо песни твои... очень они непристойную грубость имеют для уха. Власть, она, конечно, тебе родня, да про то сказать, нищие с испокон веку тем и славились, что на плечах лохмотья, в животе колотья. А мы бы тебе инструментик справили духовой, как в хорошем полку, ну там... пшенички-гарновочки отвесили бы, свинку закололи бы к рождеству. Только уважь. Много нам музыка потребна. Отгадай загадку: отчего колосу в поле просторно, как на воле, а осоту нигде нету доли?

Юсалов ответил, с трудом сдерживая себя:

— Отблагодарил бы я вас, дорогие гости, да кнута в доме не держу. Отвечу и вам присказкой: репой меня посеяли, на дереве яблоком не расти. А двери мои — вон они.

Июльским лазоревым утром шел Юсалов мимо домов под цинковыми крышами, высоких заборов, за которыми гремели чернозевые псы. От обедни из церкви валил народ. Юсалова догнала молодка в цветастом полушалке.

— Об чем задумался, музыкант? — сказала она, как бы нечаянно толкнув его плечом.— Погляжу я — ой, жалко мне тебя становится. Бобылю, что кораблю: море велико, до берега далеко, так один и мается.

Он искоса глянул на молодку. Щеки у казачки словно два румяных яблока, грудь высокая, нога в зашнурованном полуботинке — точно выточена.

Подошли к углу.

— Очень полюбился ты мне, служивый. Музыку играешь интересно.— Казачка лукаво повела горячим карим глазом, вдруг прильнула, зашептала торопливо:— Приходи вечерком... Вина я припасла, целовать буду крепко. Вдова я и на любовь удобная. Эх, музыкант, забудь большевицкие песни, приставай ко мне в мужья, казаки примут тебя в свое обчество, подмогут поставить хозяйство.

Юсалов крякнул. На мгновение соблазнительно мелькнуло: «А может, я и в самом деле приглянулся ладной казачке?» Давно ему опостылела одинокая жизнь. И тут же хмуро усмехнулся:

— Совесть моя не продается ни за рубль, ни за побаску, ни за бабью ласку. Захотели, чтобы вол сам опять в ярмо полез? — он повернулся.— А еще скажи хлопцам, что тебя подсылали, что каплей им пожара не залить.

Казачка стояла потупив голову. Улыбнулась, обнажив ровные зубы.

— Ой, и глупый ты, музыкант. Ладно уж, поджидай, вечерком сама приду.— И только взмахнула зеленым подолом юбки.

Она приходила ночью и, заглядывая в темное оконце, долго просилась впустить ее. Юсалов, не вздувая жирника, держал руку на раме. Сердце колотилось: «А может, открыть? Что, если она и взаправду?..» Дверь осторожно затрещала: кто-то пробовал со двора.

И Юсалов не отозвался.

Учеников в школе прибавилось, валила молодежь. Она подхватила революционные песни, перенесла их на посиделки, гулянки. «Интернационалом» начинались театральные постановки в нардоме, им кончались собрания. Юсалова выбрали в члены исполкома, положили зарплату.

Оркестр дал первый платный концерт. Слушать его съехалась вся округа. Музыкальные номера прошли под несмолкаемые аплодисменты,— казалось, в нардом влетела стая голубей. Ученики исполняли «Народные думы», советские марши. Когда программа окончилась, на эстра-

ду поднялся дюжий безносый казак в красном бешмете. В руке он держал баранью папаху.

— Дорогие други,— заговорил казак тонким сиплым голосом,— когда народился Иисус Христос, то на небеса взошла звезда вифлеемская. И кто уверовал, тот ей поклонился. Так и этот оркестр. Кто уверовал в Советскую власть, тот ему поклонится,— казак повернулся к Юсалову, согнулся, точно складной нож.— От имени соседней вам станицы Старо-Щербиновки, иде я жительствую, прошу и у нас организовать большевицких музыкантов.

IV

Воскресным утром Юсалов бодро, прихрамывая, вышел из дому. Старо-Щербиновку было видно от околицы. Гладкий шлях вел к ней, подковой огибая плавни. Голубело ясное небо, и, точно надутые ветерком, плыли по небу белопарусные ладьи облаков. В воздухе ныряли жаворонки. Серебряными рублями блестела вода в мочажинах.

Но не отошел Юсалов и трех верст от станицы, как дальше не оказалось дороги. Из плавней вышло трое хлопцев, с казаком в красном бешмете, и перерезали ему дорогу. Капельмейстер оглянулся. На четыре стороны стелилась степь, ровная, как скатерть: с четырех сторон глядели на него дула обрезов. Понял: не уйти ему.

— Молись богу,— сказал ему передний, рябой, в болотных сапогах, и в ожидании закурил трубку.

Отошел Юсалов от дороги к старому кургану, прошептал побледневшими губами:

— Ляжу тут, чтобы не мешать людям на быках ездить. А заместо молитвы дозвольте мне лучше, господа бандиты, сыграть песню. Помирать будет легче.

Он снял домру, висевшую за плечом, ударил по струнам, затянул ладным голосом:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов...

Стояли хлопцы, слушали. Потом переглянулись. Безносый казак в красном бешмете поднял обрез. Облачком поднялся дым, и пуля срезала песню. Метелки куги и чакана закачались и сошлись за их спинами.

Лежал солдат, крестом раскинув руки, и на губах его запеклись слова великой песни. Высоко над курганом проплывали облака. Высоко с облаков падал коршун. Проносился ветер, и тихо, но неумолчно пели, звенели струны домры.

1937

ПЕРВЫЕ БИТВЫ

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

1

ОТСТАВНОЙ штабс-капитан Чекалин попал сюда случайно.

Он шел по Невскому, в черном пальто, в котелке, в хлюпающих калошах, как вдруг на Морской услышал выстрелы.

Он встрепенулся в восторге. Вена надулась на его желтом виске — штабс-капитану шел шестой десяток. Четыре дня назад большевики свергли Временное правительство, и штабс-капитан мечтал о гибели большевиков. Услышав выстрелы, он свернул на Морскую и быстро зашагал по панели.

Уже издали он увидел патруль юнкеров и понял, что юнкера заняли телефонную станцию. Он мысленно одобрил их — связь необходимо держать в своих руках. Он остановился против телефонной станции как раз в ту минуту, когда юнкера задержали проезжавший по Морской автомобиль.

Это был голубой фиат, отобранный реввоенкомитетом у итальянского консула. Фиат этот, забрызганный грязью, только что вернулся с фронта, с Пулковских высот, где красногвардейцы сражались с наступавшими на Петроград войсками Керенского и Краснова. В фиате, кроме шофера, находились трое — член реввоенкомитета, сопровождающий его матрос и молоденький рабочий фабрики «Дукат», которого называли просто Павлик.

Член реввоенкомитета спал сидя. Странно было видеть его закрытые глаза на неподвижном лице среди бела дня на шумной, полной вооруженных людей улице. С двадцать пятого числа он ни разу не ложился. Ему удавалось спать только в автомобиле. Он проснулся, когда юнкер за рукав шинели стал выводить его из машины.

Павлик уже отдал свой револьвер и стоял на торцах, подняв руки,— синяя подпоясанная рубаха пузырилась у него на спине. Рядом с Павликом, подняв руки, стоял матрос. Член реввоенкомитета тоже отдал револьвер и тоже поднял руки.

— А, господин комиссар, очень приятно! — сказал портупей-юнкер, заглядывая в лицо.— Четыре дня назад мы встретились с вами в Зимнем дворце.

— Да что тут смотреть, кокнуть его! — крикнул кто-то из юнкеров и щелкнул затвором.

— Не трогать! — сказал портупей-юнкер.— Он нам пригодится. Ведите во двор!

Павлика, матроса, шофера и члена реввоенкомитета повели к воротам.

Портупей-юнкер шел рядом с членом реввоенкомитета.

— Что, спета теперь ваша песенка, господин комиссар? — спросил он.

— Ну что ж,— ответил член реввоенкомитета.— Зато песня была хороша.

В эту минуту снятый с автомобиля матрос вдруг распихнул юнкеров и нырнул в толпу.

Низко нагнув голову, побежал он через улицу, шныряя из стороны в сторону между шинелями и юбками. Юнкера сразу потеряли его из вида. Он бежал к противоположной панели, как раз к тому месту, где в черном пальто, в котелке, в запачканных грязью калошах стоял отставной штабс-капитан Чекалин.

И штабс-капитан Чекалин, вытащив из кармана револьвер, выстрелил в матроса в упор, в низко опущенную его голову.

Матрос упал ничком на мокрые торцы, потом перевернулся и замер. У него было широкое молодое лицо с черными бровями.

Штабс-капитан спрятал револьвер и наклонился над убитым. Небольшою желтою рукою деловито обшарил он все карманы черного матросского бушлата. Но в карманах не было ничего, кроме одной маленькой скомканной бумажонки. Штабс-капитан вытащил бумажонку, расправил ее и поднес к глазам.

Это был пропуск за номером 4051, выданный 29 октября 1917 года военным отделом Петроградского совета. Отставной штабс-капитан тщательно сложил пропуск и,

расстегнув пальто, сунул его себе во внутренний карман. Тут к отставному штабс-капитану подошел портупей-юнкер и спросил, кто он такой. Штабс-капитан назвал себя и показал свои документы.

— Рад служить правому делу,— сказал он.

У штабс-капитана были вставные челюсти. Они слегка отставали от десен и сухо пощелкивали, когда штабс-капитан говорил.

Портупей-юнкер подумал.

— Следуйте за мной во двор,— сказал портупей-юнкер.

2

Павлика, шофера и члена реввоенкомитета ввели в ворота телефонной станции.

В воротах под аркой стоял броневик, на зеленом боку которого было выведено белой краской: «Федор Богданов». Броневик пыхтел и трещал — что-то не ладилось с мотором. Вокруг него возилось несколько юнкеров.

На дворе пленных принял маленький офицер с расцарапанной щекой. Суетливый и беспокойный, он повел их, семеня, торопясь и подскакивая. Подведя их к стене, он скомандовал:

— Становись!

Они стали рядом возле стены.

Павлик заглянул в глаза члена реввоенкомитета, стараясь по лицу отгадать, что их ждет. Там, в Пулкове, среди наскоро вырытых окопов, Павлик привык по этому лицу угадывать, что думать, что делать, чего ждать. Однако теперь лицо члена реввоенкомитета не сказало Павлику ничего. Но шофер вдруг заплакал. И, видя, как слезы текут по немолодым небритым щекам шофера, застревая в усах, Павлик понял все.

— Пулемет, за работу! — крикнул офицер куда-то в открытую дверь.

За дверью на лестнице что-то загремело, послышались голоса, но пулемет не появлялся. Офицер с расцарапанной щекой, подождав, оставил пленных под охраной юнкеров и вошел в дверь. Оттуда долго раздавался его срывающийся высокий голос.

Наконец пулемет был вытащен на двор. Его навели на пленных.

— Смирно! — скомандовал офицер.

Павлик прижался плечом к рукаву члена реввоенкомитета и закрыл глаза.

И вдруг наверху, над головой, услышал он пронзительный дикий, многоголосый визг.

Этот странный визг ошеломил Павлика, и Павлик съежился, жмурясь.

А визг все разрастался, доносясь сразу со всех сторон.

Павлик открыл глаза и поднял голову.

И во всех этажах, во всех окнах за стеклами увидел он женщин. Телефонные барышни смотрели во двор, на пленных и на пулемет и кричали, стуча в оконные рамы.

Офицер с расцарапанной щекой тоже поднял голову и тоже оглядел этажи. Он, видимо, не знал, как поступить.

— Пулемет отставить! — крикнул он внезапно.

И пулемет оттащили.

Пленных ввели в здание и по длинной лестнице повели куда-то наверх. Потом миновали несколько просторных комнат, уставленных аппаратами. Женщины, толпившиеся по углам, молча провожали пленников глазами. Так довели их до двери, возле которой торчало человек десять юнкеров.

— Вот вам вчерашний владыка! — крикнул офицер с расцарапанной щекой, показывая юнкерам члена реввоенкомитета.— Вот вам мерзавец, который стрелял в вас, когда вы защищали Зимний дворец!

Пленных втолкнули в дверь, и они очутились в тесной комнатенке с канцелярским столом. На столе и вокруг стола сидели арестованные. Тут было несколько солдат Кексгольмского полка, охранявших здание перед тем, как его захватили юнкера, да несколько матросов, случайно пойманных на улице.

Член реввоенкомитета, войдя и усевшись, сразу опустил голову на стол.

И сейчас же снаружи, со стороны Морской, послышались выстрелы.

— Это наши! — сказал Павлик члену реввоенкомитета.— Наши окружают станцию!

Но член реввоенкомитета ничего не ответил. Он уже спал.



Художник М. Греков. «Тачанка»

3

Броневик «Федор Богданов», гремя железом и воняя бензином, выполз, наконец, за ворота телефонной станции.

Осаждавшие станцию солдаты Кексгольмского полка, красногвардейцы и матросы слегка расступились перед ним. Несколько пуль брякнуло в его броню. И сейчас же в ответ заговорили оба пулемета «Федора Богданова».

Толпа осаждающих отхлынула и побежала, оставляя убитых на опустевших торцах. И «Федор Богданов», неуклюже повернув налево, неторопливо двинулся по Морской, стуча пулеметами и давя трупы.

В него стреляли из окон, в него стреляли с крыш, но пули отскакивали от его тяжелой брони. Четыре юнкера, сидевшие согнувшись в гремучей и сумрачной утробе «Федора Богданова», с наслаждением и ненавистью наблюдали, как перед ними бежали и падали матросы и рабочие, не находя никакого прикрытия на узкой и прямой улице, стиснутой домами.

Так «Федор Богданов» дополз до угла, до гостиницы «Астория». Юнкер, сидевший за передним пулеметом, увидел в глазок простор Исаакиевской площади, заставленной штабелями дров, и Николая Первого на бронзовом коне. Площадь казалась пустынной,— толпа, заполнявшая ее, спряталась за дровами.

И тут, в этот миг торжества, у «Федора Богданова» разом лопнули две покрышки и две камеры.

Трудно установить, отчего это произошло — то ли шины не выдержали тяжести стальной брони, то ли их пробили пули красногвардейцев. Но броневик остановился.

Стоя на месте, он долго пыхтел, выл и трещал, заткнув, словно пробкой, проход с площади на Морскую. Он нелепо вздрагивал и дергался, как раненый мамонт. Пулеметы его работали безотказно, и он по-прежнему поливал площадь пулями, выпуская одну очередь за другой. Он все еще был страшен и смертоносен. Но матросы и красногвардейцы, следя за ним из-за штабелей дров, уже знали, что он обречен.

Они обошли громаду Исаакия и вернулись между собором и гостиницей «Англетер» на площадь. Угол гостиницы «Астория» загораживал эту часть площади от «Федора Богданова». Здесь нападающие были в безопасности.

Отсюда они хлынули к броневику.

И «Федор Богданов», лязгом, грохотом, смертью наполнявший площадь, умолк.

4

Потеряв «Федора Богданова», юнкера сразу потеряли улицу. Они засели в здании телефонной станции и закрыли ворота, завалив их разным хламом, а Морская наполнилась матросами и красногвардейцами.

Завязалась перестрелка. Юнкера стреляли из окон и из ворот, а матросы с крыш соседних домов.

Суетливый офицер с расцарапанной щекой — звали его Владимир Михайлович Михаленко — приказал поставить пулемет на крышу станции. Но приказ его не был выполнен, так как никто не знал, где находится лестница, ведущая на крышу. Красногвардейцы все время пытались атаковать ворота. Их разгоняли выстрелами, и они отходили, унося убитых, но через минуту снова шли в атаку. Юнкеров могли выручить только подкрепления.

Михаленко ждал подкреплений с часу на час. Ему было известно, что Керенский вместе с войсками генерала Краснова идет из Гатчины через Пулково на Петроград. Пора бы уже этим войскам вступить в город, а их все нет и нет.

Но и в самом городе есть силы, которые могут прийти на помощь осажденным юнкерам. Бывший начальник военного округа полковник Полковников утром занял Инженерный замок и организовал там из меньшевиков и эсеров «Штаб спасения Родины и Революции». Этот штаб захватил все броневики, стоявшие в Михайловском манеже. Если бы Полковников прислал к телефонной станции хотя бы один броневик на смену погибшему «Федору Богданову», юнкера перешли бы в наступление и могли бы очистить от красногвардейцев все ближайшие кварталы.

Михаленко пытался поговорить с Полковниковым по телефону. Но Инженерный замок на вызовы не отвечал. Там не работал ни один телефон.

Тогда Михаленко призвал к себе Шилина, главного механика телефонной станции. Шилин был человек еще

молодой, с небритым и невыспавшимся лицом. Он раздражал Михаленку тем, что, разговаривая с ним, не глядел ему в глаза.

— Вы сами велели мне выключить Инженерный замок,— сказал Шилин.

Это был явный вздор: Михаленко, заняв станцию, приказал Шилину выключить телефоны Смольного и Петропавловской крепости, чтобы лишить большевиков связи. Не мог же он самого себя лишить связи со своим штабом.

Однако Шилин, глядя в угол, упрямо продолжал утверждать, будто ему было приказано выключить, кроме Смольного и Петропавловки, еще и Инженерный замок. «Это он нарочно! — думал Михаленко, разглядывая серое от усталости лицо главного механика.— Тайный большевик...» Он охотно ударил бы Шилина по лицу, но опасался, что тогда никак не удастся наладить связь с Полковниковым.

Он велел Шилину немедленно соединить телефонную станцию с Инженерным замком. Шилин ушел к своим аппаратам и долго над ними возился. Михаленко хрипло орал в трубку, вызывая Полковникова, но из трубки в ответ доносился только бессмысленный гул, треск и грохот.

Связь не налаживалась. Шилин во всем винил младших техников, которые не то где-то попрятались, не то в самом начале событий умудрились удрать домой. Михаленко, уже красный от натуги, лаял в трубку, но в ответ раздавались только отдаленные взрывы и раскаты. А время шло, и атаки красногвардейцев на ворота становились все отчаяннее, чаще и упорнее. Нестройный треск винтовок доносился уже со всех сторон, сверху и снизу.

— Позвольте дать совет,— услышал вдруг Михаленко у себя за спиной чей-то скромный, но полный достоинства голос.— Не лучше ли просто послать кого-нибудь в Инженерный замок за броневиком?

Михаленко бросил трубку и обернулся. Перед ним стоял отставной штабс-капитан Чекалин.

Михаленко уже несколько раз видел его,— и здесь наверху в коридорах и внизу на дворе,— но очень смутно представлял себе, кто он такой, и в суматохе ни разу к нему не приглядывался. Теперь он впервые оглядел калошки отставного штабс-капитана, его обывательское

черное пальтецо и молодящие рот вставные челюсти, которые пощелкивали при каждом слове.

— Ни один дурак не согласится выйти отсюда,— ответил Михаленко.— Мы здесь как в мышеловке.

— Я схожу,— сказал отставной штабс-капитан и показал ему пропуск Петроградского совета за номером 4051, найденный на убитом матросе.

И уже через три минуты штабс-капитан Чекалин, вынырнув как бы невзначай из ворот, подошел к красногвардейской заставе возле Кирпичного переулка. Он показал свой пропуск, и его пропустили.

Неспешно вышел он на Невский. Холодный ветер гнал обрывки листовок, воззваний, газет, накопившихся за бурное и многословное лето. Большинство магазинов и контор было закрыто по случаю юнкерского восстания. Тускло сияла Адмиралтейская игла. Отставной штабс-капитан повернулся к ней спиной и зашагал по тротуару.

На телефонной станции о нем почти сразу забыли.

Михаленко отправился разыскивать директора станции инженера Басса, чтобы тот заставил Шилина соединить его с Полковниковым. Инженер Басс находился в одном из самых дальних и безопасных помещений,— пули туда долетать не могли, так как окна выходили во двор. Это был эсер, назначенный на должность директора эсеровско-меньшевистской городской управой. Расставив короткие ноги, толстый и лысый, он стоял на письменном столе, среди чернильниц и папок, и держал речь перед собравшимися здесь служащими телефонной станции.

Он предложил принять резолюцию, где говорилось о преданности законному Временному правительству и о необходимости борьбы с подонками общества, захватившими власть. Он особенно настаивал, чтобы в резолюции было выражено доверие генералу Краснову, который шел на Петроград для спасения России от большевиков. Десятка полтора заплаканных телефонисток слушали его, толпясь вокруг стола.

Они спрашивали инженера Басса:

— А когда нас отпустят домой?..

— А когда прекратится стрельба?..

— А если мы примем резолюцию, нас отпустят домой?..

Увидев Михаленку, инженер Басс спрыгнул на пол с неожиданным для толстяка проворством. Он немед-

ленно согласился оказать Михаленке содействие, отправился с ним в аппаратную, обругал Шилина и принялся сам налаживать связь с Инженерным замком.

И действительно, уже через десять минут Михаленко беседовал с полковником Полковниковым. Полковник говорил мягким басом, в котором преобладали успокоительные интонации. Он предложил Михаленке держаться и ни о чем не беспокоиться. Броневик он прислать обещал, но в несколько неопределенных выражениях. Михаленке почудилось даже, будто Полковников и сам не совсем уверен, есть ли у него броневики. Выслушав еще ряд внушительных и успокоительных фраз, Михаленко повесил трубку.

Слегка приободренный разговором с начальником штаба, он хотел тут же арестовать главного механика Шилина, как несомненного большевика. Но инженер Басс испугался и запротестовал, уверяя, что арест Шилина только усилит нежелательные настроения среди служащих станции. Михаленко хмуро отвернулся и пошел во двор посмотреть, как защищают ворота. Он сразу понял, что дела обстоят неважно.

Юнкера, без толку слонявшиеся по двору, спросили его, скоро ли явится Краснов. Он сообщил им, что через несколько минут на помощь придет броневик, но по угрюмым лицам понял, что это известие не очень их радует.

— Не стоило выступать, если не знали наверняка, что Краснов придет,— сказал один из юнкеров.

И никто не возразил ему.

Мимо проносили раненых. Во время последних атак красногвардейцам два раза удалось подойти к воротам вплотную. Пули попали под арку, и человек семь юнкеров пострадали.

Затем внезапно появился зловредный слух, будто матросы скоро заберутся на крышу станции и начнут поливать двор из пулемета. На чем основан был этот слух — неизвестно, но юнкера то и дело с унынием поглядывали вверх, на крышу.

Михаленко понимал, что нужно немедленно предпринять что-то решительное, иначе у осажденных не хватит духа дождаться броневика. Он задумал устроить вылазку и попытаться очистить от красногвардейцев Морскую до угла Невского. В успех этой вылазки он сам не вполне верил, но надеялся, что она приободрит юнкеров, займет их

на некоторое время, а там подойдет броневик и решит все дело.

Он приказал строиться под аркой и готовиться к вылазке. Человек двадцать юнкеров сгрудились перед воротами, остальные сделали вид, будто не слышат Михаленки, и продолжали слоняться по двору. Михаленко ничего им не сказал, чтобы не затевать пререканий, которые все равно ни к чему не приведут.

После долгой толчеи осторожно приоткрыли ворота.

И навстречу юнкерам в ворота под арку вошел старик в котелке, в черном пальто и в калошах. Это был отставной штабс-капитан Чекалин. Он сделал знак закрыть ворота, и ворота немедленно захлопнулись. Взяв Михаленку под руку, он отвел его в сторону, в угол двора.

— Когда придет броневик? — спросил его Михаленко шепотом.

— Никогда,— ответил штабс-капитан.— Инженерный замок сдался большевикам.

5

Иван Гаврилыч Федоров, командир маленького отряда красногвардейцев-железнодорожников, молчаливый и солидный слесарь лет сорока, уже четыре раза ходил в атаку на ворота и четыре раза возвращался к Кирпичному переулку, потому что отряд не выдерживал огня. Юнкера отчаянно стреляли из окон станции.

Вместе с Иваном Гаврилычем ходил на ворота его старший сын Афанасий, мальчик лет шестнадцати. Афанасий увязался за отрядом с утра, и отец никак не мог прогнать его домой. Присутствие сына раздражало и тревожило Ивана Гаврилыча, хотя он немного гордился перед товарищами, что у него такой большой лихой сынок.

— Дурак! — после каждой атаки вполголоса говорил он Афанасию.— Я тебе покажу, как соваться вперед! Погоди, придешь домой, у нас будет другой разговор...

Афанасий отворачивал от отца веснушчатое круглое лицо и отмалчивался, шмыгая носом.

После четвертой атаки Иван Гаврилыч пришел к убеждению, что матросы-пулеметчики, сидящие на крыше против станции, неправильно стреляют. Им надо бы метить по окнам, по этажам, а они осыпают пулями только

улицу перед воротами, где и без того пусто. Иван Гаврилыч решил выяснить, в чем дело, и отправился.

Он довольно долго блуждал по каким-то дворам и черным лестницам, наугад разыскивая дорогу. Наконец он попал на чердак и, бредя, согнувшись, между красных кирпичных труб, увидел оконце, возле которого стоял пулемет.

Над пулеметом возилось двое моряков. Один принес в ведре воду, чтобы остудить разогревшийся ствол, другой лежал рядом ничком на полу.

— Вы бы по окнам, ребята,— сказал морякам Иван Гаврилыч.— Гнать их нужно от окон, а то нам никак до ворот не дойти.

— По окнам нельзя,— ответил матрос, лежавший на полу.— Там бабы. Погляди сам.

Иван Гаврилыч нагнулся и через чердачное оконце оглядел фасад телефонной станции. Во всех этажах увидел он женщин, кучками толпившихся возле подоконников.

— Они нарочно к окнам телефонисток пригнали, чтобы мы стрелять не могли,— продолжал матрос.— За юбками прячутся.

«Да, по женщинам стрелять нельзя,— подумал Иван Гаврилыч.— Нехорошо стрелять по женщинам».

Ему больше нечего было здесь делать, и он побрел к выходу.

Но матрос с ведром остановил его.

— Нужно в атаку вдоль самой стенки идти,— сказал матрос с ведром.— А вы бежите посреди улицы, вот они вас из окон и валят.

«Правильно!» — подумал Иван Гаврилыч.

И сказал матросу:

— Попробую.

Через несколько минут отряд Ивана Гаврилыча уже шел гуськом вдоль стены к воротам. Иван Гаврилыч шагал впереди, низко нагнувшись. За собою Иван Гаврилыч слышал топот многих ног. Там, позади, был и Афанасий. Иван Гаврилыч ни разу не обернулся, но присутствие Афанасия чувствовал беспрерывно.

Едва они дошли до телефонной станции, началась стрельба из окон. Они еще теснее прижались к стене. Юнкерам мешали карнизы — пули, пролетев мимо красногвардейцев, дырявили торцы.

За спиною Ивана Гаврилыча кто-то вскрикнул и с глухим шумом упал.

Может быть, Афанасий?

Ивану Гаврилычу мучительно хотелось обернуться и посмотреть.

Но он пересилил себя. Он знал, что, если он обернется и увидит убитого Афанасия, он не выдержит и кинется к нему. Тогда весь отряд, идущий за ним следом, остановится, смешается, и атака опять не удастся.

Иван Гаврилыч не обернулся. Он первым дошел до ворот и гулко ударил в ворота прикладом.

За воротами щелкнул выстрел, и Иван Гаврилыч, почувствовав резкий удар в плечо, прислонился к стене. Потом медленно сполз на землю.

Красногвардейцы перескакивали через него на бегу. Их все больше становилось перед воротами. Ворота трещали под ударами прикладов и вдруг распахнулись, лязгнув.

Толпа хлынула во двор, крича и стреляя.

И мимо Ивана Гаврилыча пробежал Афанасий. Он размахивал на бегу винтовкой, рот его был открыт.

«Жив!» — подумал Иван Гаврилыч радостно.

Все уже мутилось и путалось перед Иваном Гаврилычем. Он почувствовал, как чьи-то руки подняли его, и потерял сознание.

6

В комнате арестованных, возле запертых дверей, дежурили четверо юнкеров. Они запрещали пленникам разговаривать.

Но Павлику все равно говорить было не с кем, так как член реввоенкомитета спал, положив сухое лицо на стол, а остальных он не знал. Павлик сидел у стола и прислушивался, стараясь по звукам выстрелов понять, что происходит вокруг.

А стрельба становилась все оглушительней, все ближе, все гуще, стреляли всюду — наверху, внизу, на всех этажах. Синеватые веки члена реввоенкомитета вздрагивали во сне.

Внезапно дверь приотворилась, и кто-то вызвал юнкеров из комнаты.

Пленники остались одни.

— Им жутко приходится! — воскликнул Павлик, толкнув члена реввоенкомитета.

Член реввоенкомитета открыл глаза и поднял голову. Внимательно прислушался он к стрельбе, гремевшей отовсюду. И улыбнулся.

Один из арестованных матросов предложил забаррикадировать дверь. Член реввоенкомитета выслушал его и подумал.

— Не стоит,— сказал он матросу.— Они продержатся не больше часа.

Он снова опустил голову и, едва щека его прикоснулась к столу, заснул.

Грохот стрельбы еще усилился. Слышно было, как за дверью метались юнкера. Пронзительно и многоголосо плакали женщины.

Потом все внезапно стихло.

И в полной тишине дверь отворилась.

В комнату вошел высокий, полный, краснощекий мужчина, чисто выбритый, в странном одеянии не то альпиниста, не то содержателя тира, с фотографическим аппаратом на перекинутом через плечо ремешке. Он оглядел всех и шагнул прямо к спящему члену реввоенкомитета. По его пятам семенил какой-то маленький чернявый человечек в пиджачке.

Краснощекий великан в костюме альпиниста издал глухой свистящий звук и положил руку на плечо члена реввоенкомитета. Член реввоенкомитета открыл глаза и поднял голову.

— А, это вы, мистер Вильямс! — сказал член реввоенкомитета.— Как вас сюда занесло?

Вильямс произнес несколько слов по-английски, а затем заговорил маленький черненький, служивший ему переводчиком.

— Мистер Вильямс, корреспондент американских социалистических газет, явился к вам посредником для переговоров,— сказал он, обращаясь к члену реввоенкомитета.— Юнкера просили мистера Вильямса передать, что они готовы сдаться в плен вам лично, на условии...

Член реввоенкомитета захохотал. Случай действительно забавный — семьдесят шесть вооруженных юнкеров сдаются в плен одному безоружному человеку, да притом своему собственному пленнику!

— А не проще ли им сдаться тем, кто их осаждает? — спросил член реввоенкомитета.

— Они не решаются вступить в переговоры с толпой,— сказал переводчик.— Они боятся, что толпа перебьет их. Но вам лично они сдадутся охотно, на условии, что вы, как член реввоенкомитета, поручитесь за их свободу и жизнь.

— Нет,— решительно сказал член реввоенкомитета.— Попросите мистера Вильямса передать юнкерам, что эти условия мне не подходят. Я не стану ручаться за их свободу. Двадцать пятого числа, когда мы захватили их в Зимнем, они получили свободу, и вот как они ею воспользовались!..

Переводчик сказал что-то по-английски мистеру Вильямсу, и оба они вышли из комнаты.

Но через минуту они вернулись.

— Юнкера больше не требуют, чтобы вы поручились за их свободу,— сказал переводчик члену реввоенкомитета.— Они просят вас поручиться только за их жизнь.

— Хорошо,— сказал член реввоенкомитета.— Пусть несут сюда оружие.

Дверь комнаты пленников была теперь распахнута настежь. За дверью в коридоре стояло полсотни юнкеров. Они испуганно прислушивались к шуму, доносившемуся с нижних этажей, куда уже ворвалась осаждавшая станцию толпа. Они стремились как можно скорее проникнуть в комнату, но у двери стоял матрос и впускал туда поодиночке.

Входя, юнкера бросали на стол винтовки, револьверы, шашки, патроны и подымали руки. Член реввоенкомитета подходил к каждому и каждого обыскивал. Павлик сортировал и раскладывал оружие, загромождавшее уже весь стол. Наконец в комнату втолкнули пулемет, тот самый, из которого пленных чуть было не расстреляли во дворе. Павлик поставил его в угол. Шофер осторожно пихнул пулемет ногой и отошел в сторону.

Матросы и красногвардейцы уже заняли все здание. Возбужденные борьбой, многие из них требовали расстрела юнкеров. Но член реввоенкомитета сдержал свое слово.

Он свел юнкеров вниз во двор и построил их. Затем дал распоряжение отряду матросов отвести пленных юнкеров под конвоем во второй гвардейский экипаж для ареста.

Американский корреспондент, мистер Вильямс, щелкал фотоаппаратом. Его широкое красное лицо было сковано профессиональным бесстрастием.

На Морской толпа, увидав юнкеров, чуть было не прорвала охранявшую их цепь матросов. Но матросы оказались стойки, и ни один пленный юнкер не пострадал.

Кексгольмский полк снова принял на себя охрану телефонной станции и выставил в воротах патруль. А член реввоенкомитета, шофер и Павлик опять уселись в голубой фиат итальянского консула, стоявший во дворе.

— В Смольный! — сказал шоферу член реввоенкомитета.

Лицо его посвежело от сна. Он выспался впервые за четверо суток.

И голубой фиат выполз из ворот на Морскую.

7

В это время штабс-капитан Чекалин, попирая пол калошами, все еще бродил по коридорам и аппаратным телефонной станции. Старый, сгорбленный, в черном штатском пальто, он не был замечен ни испуганными телефонистками, ни солдатами. Он спускался из этажа в этаж, все ниже и ниже и, наконец, добрел до двери, ведущей в кухню. На кухне, среди медных начищенных баков, за кухонным столом сидел человек в поварском колпаке и белом халате. Он пил чай с блюдечка. Лицо его, вымазанное сажей, показалось отставному штабс-капитану знакомым. Это был тот самый портупей-юнкер, который утром задержал на Морской фиат реввоенкомитета.

Портупей-юнкер, ряженный поваром, слегка подмигнул отставному штабс-капитану. Штабс-капитан помедлил у двери и поманил портупей-юнкера пальцем.

Портупей-юнкер поднялся с табуретки, подошел к плите и еще раза два мазнул себя сажей по щекам. Потом вышел к штабс-капитану. Они вместе спустились во двор.

В воротах их остановил часовой. Штабс-капитан показал ему пропуск за номером 4051, выданный военным отделом Петроградского совета. Часовой пропустил штабс-капитана.

— Этот со мной,— сказал штабс-капитан часовому, показав на портупей-юнкера в поварском колпаке.

Часовой пропустил портупей-юнкера.

Темнело, брызгал мелкий дождь. Улицы были уже пустоваты. Они вместе дошли до Невского. На углу, протянув портупей-юнкеру руку, штабс-капитан при свете фонаря взглянул ему в лицо. Вымазанное сажей лицо портупей-юнкера было усталым, печальным. Штабс-капитан разглядел бесформенный нежный рот, окруженный мягким пушком.

«Из хорошей семьи»,— подумал штабс-капитан.

И сказал:

— Сорвалось, молодой человек. Ничего не поделаешь, на этот раз сорвалось...

1937

ИВАН ЖИГА

ПЕРВЫЙ БОЙ

(Рассказ бойца)

Я имею в виду, молодые друзья мои, бой Красной гвардии с войсками Керенского под Царским Селом 30 октября 1917 года. Заметьте, 30 октября, или 12 ноября по нынешнему календарю, то есть всего на шестой день рождения Советской власти.

Это был первый полевой бой только что народившихся, еще не окрепших, неопытных, неорганизованных, младенческих можно сказать, отрядов революции против обученных, закаленных в огне империалистической войны, оснащенных лучшей по тому времени боевой техникой матерых сил контрреволюции, руководимых к тому же кадровыми офицерами и опытным в военных делах генералом Красновым.

Бой, о котором я говорю, был настоящим боем на широком фронте, в полевых условиях, грудь в грудь, при наступлении со стороны контрреволюции, с применением не только винтовок и пулеметов, но и полевой артиллерии, и конницы, и бронепоезда.

Об этом бое в сообщении штаба Военно-революционного комитета от 30 октября 1917 года говорилось так:

«У станции Александровской произошло столкновение с войсками Керенского. Наши войска обстреливались пулеметами и орудиями с блиндированного поезда. Наша артиллерия энергично отвечала. После артиллерийской подготовки казачьи части Керенского двинулись со станции Александровской на Новые Сузы, но были встречены пулеметным огнем наших броневиков. Со стороны казаков Керенского легло около полутора тысяч ранеными и убитыми. С нашей стороны потери около двухсот человек».

Это был первый бой в истории вооруженных сил Советского Союза.

Я тогда был солдатом, но участвовал в этом бою в составе красногвардейского отряда и попал в этот отряд случайно.

Вслед за разгромом юнкеров, после бессонной ночи, проведенной в Смольном, шел я на Выборгскую сторону, чтобы там у своих знакомых хотя бы немного отдохнуть. Усталость была невероятная. Начиная с 24 октября, когда развернулось восстание, мы все эти ночи «спали на ходу»... Сменишься, присядешь — и спишь. Вздрагиваешь, трясешь головой... В комнате тусклый свет, дым от махорки, говор, духота, а проснешься — в глазах туман, туман, и чувствуешь, как неудержимо куда-то падаешь...

Раза два я ловил себя на том, что в ответ на вопрос товарища молол какую-то чепуху. Рядом сидевший рабочий толкал меня под бок и, смеясь, говорил:

— Да ты спишь? Вот черт, а я ему говорю, говорю!..

Вскакиваю, беру свою винтовку, бегу на улицу.

Было часов одиннадцать вечера. На Литейном мосту навстречу мне — отряд вооруженных рабочих. При свете фонаря вижу несколько знакомых лиц.

— Куда вы,— кричу,— товарищи?

— Чудак, а куда теперь люди с винтовками ходят?

— Так юнкера же,— говорю,— подавлены...

— За городом нашлись, сволочи! Идем!

Встретил тут я и Тимофея Кузьмича. Это — старый рабочий, был на фронте, демобилизован по ранению, работал теперь токарем на заводе. Как опытного солдата и большевика, рабочие выбрали его своим командиром и под его командой шли теперь на фронт. Я примыкаю к строю и отправляюсь с отрядом дальше.

Мы шли по пустынным темным улицам Петрограда. И странное дело! Чем дальше уходили мы от центра города, чем темнее, мрачнее становилось на улицах и чем чаще мы попадали в грязь, тем оживленнее, веселее становились рабочие.

Есть замечательная черта у русского человека: попав в необычайное или даже рискованное положение, он не теряется, не падает духом, а, наоборот, становится энергичнее. Чудесная это черта! Она скрашивает жизнь, она дает возможность претерпевать лишения, она очень часто толкает людей на величайшие подвиги, рождает

храбрость, заставляет человека забывать себя, жить идеей, высокой целью.

Шли мы за город, к Царскому Селу, на позиции.

Современному советскому солдату трудно представить себе внешний облик воина тех дней. Кепка, шапка, а то и шляпа, пальто, замасленная блуза или костюм под галстук; штиблеты, брюки навыпуск, винтовка на плече или на ремне, патроны в карманах и — кусок черного хлеба. К этому — горячее сердце, рабочая шутка и песня голосистая.

Молодые ребята, а их было абсолютное большинство, посмеивались над теми, у кого «зазноба слезу проронила»... Кузьмич, шедший рядом, говорил мне:

— Ты знаешь, вчера, как только получили приказ, мы сразу, конечно,— митинг. И решили: у нас на заводе чертова пропасть пушек: подготовить бы их против Керенского. Ночь работали напролет, завтрак и обед жены на завод приносили, и к вечеру кончили... И вот пошли!

К полночи мы выбрались за город. Темь отчаянная. Грязь... Нет ни карты, ни компаса; хлеб всего лишь на один прием, нет ни сахара, ни чайников, ни котелков. Ясно было одно: идем на позиции, к утру должны быть на месте, надо отбить контрреволюционные части и — «никаких гвоздей».

Позади сверкали огни Петрограда. Мы незаметно поднимались в гору — к Царскому, а город остался в низине. Непроглядная темь. Кругом тихо, только из города доносятся свистки паровозов да глухие, неясные шумы.

Мы шли, не видя ничего впереди, и нас никто не видел; никаких признаков врага не было. Какой-то рабочий вдруг поднял винтовку и бахнул в небо. На него закричали.

— А какого черта, надо хоть попугать кого-нибудь,— ответил он.

— Правильно,— поддержал другой,— идешь вроде на фронт, а на тебя и собака не лает, даже обидно...

Светало, когда мы вышли на железную дорогу. Слышим, впереди что-то шумит. Рассыпаемся по обеим сторонам полотна. Кто-то спрашивает:

— Неужели поезд?

— Не может быть, теперь поезда не ходят.

— Стой!.. Движется... непонятное что-то...

Кузьмич закричал:

— Ложись,— бронепоезд!

Но красногвардейцы, наоборот, поднялись на насыпь и с любопытством рассматривали невиданную ими диковинку.

Медленно, точно слон с поднятым хоботом, шел на нас бронепоезд. Рабочие стояли открыто. Бронепоезд подошел уже совсем близко и остановился, рассматривая, кто перед ним. Вдруг, словно для проверки, застучал пулемет, выпустил две очереди и замолчал. Тогда и с нашей стороны стукнул выстрел, за ним другой, третий — и пошло... Кто-то крикнул «ура», все подхватили и кинулись в атаку на бронепоезд.

Мы бежали прямо по полотну. Расстрелять нас — пара пустяков. Но враг выжидал. Кузьмич пытался остановить товарищей, приказывая залечь, но где там ложиться, когда бронепоезд — вот он, совсем близко, голыми руками можно взять.

— Наш будет, наш!

Бронепоезд уже в ста шагах. Видна черная морда пушки, заметно движение пулемета. Кто-то — наивный — закричал:

— Сдается!

— Ура-а-а!

Тут ударила пушка, застучал пулемет, зашипели у нас над головами пули, снаряд ухнул позади: кто-то взвыл от боли, кто-то упал на рельсы и не поднялся. А бронепоезд на наших глазах дал пар и неторопливо пошел назад.

— Обманул!.. Обманул, подлец!

Остановились, осмотрелись: трое оказались убитыми, четверо ранеными. Погибших положили рядышком у насыпи, окружили тесным кольцом, сняли кепки и долго стояли молча. Это угрюмое, задумчивое молчание было красноречивее слов: кровь закаляет воина. Кузьмич, крепко сжав кулаки, взволнованно произнес:

— Вот вам, товарищи, и война... Но мы с вами пошли на это добровольно — во имя заветной нашей пролетарской идеи. И что значит в этой борьбе смерть когонибудь из нас? Это океан потерял несколько своих капелек... Но разве он от этого станет мельче? Разве в нем сила убавится?.. Не в том дело, что люди гибнут в бою,— это всегда было,— а дело в том — за что? Сколько за годы империалистической войны зря погибло людей!

А мы с вами, если кому из нас суждено умереть, жизнь свою отдадим за великую идею освобождения всех угнетенных, за счастье свое и других... Пошли! — вдруг скомандовал он. Тут же приказал пятерым бойцам остаться, разыскать лошадей, раненых и погибших товарищей отвезти домой.

Часам к восьми утра пришли мы на позицию. Было сумрачно, слякотно, холодно. Накануне целый день шел проливной осенний дождь со снегом. Земля раскисла. Штиблетики у многих красногвардейцев расползлись, запросили «каши». Ноги промокли. Одежда превратилась в холодный компресс.

Хлеб, полученный перед уходом на фронт, давно уже был съеден. Горячей пищи не было... Солдатских-то кухонь красногвардейцы не имели, и, как я уже говорил, не было у них ни котелков, ни чайников, ни даже ложек и кружек.

Наш отряд на позиции встретили не жалобами, не унынием, а заботой и тревогой о Питере.

— Что в городе? Все ли спокойно?..

И уверенно говорили:

— Лишь бы там был порядок, а тут мы «их» успокоим!

Позиция проходила, насколько можно было видеть простым глазом, от станции Александровской, пересекая железную дорогу, на которой мы повстречались с бронепоездом, по склону Пулковской высоты и дальше вправо — в сторону деревни Новые Сузы. Это была единственная линия обороны с центром в Пулкове, где находился штаб.

Кое-где наспех были вырыты окопы, и в них стояла вода. Красногвардейцы, матросы, солдаты располагались по фронту своими отрядами. Между отрядами оставались значительные, никем не занятые пространства. Связь поддерживалась на глаз, голосом и через посыльных.

Кузьмич опытным глазом старого солдата сразу увидел, где нужно было «заткнуть дыру» на фронте. По его указанию мы заняли свободный участок между отрядом кронштадтских моряков и красногвардейцами своего, Выборгского, района. Кузьмич побежал в штаб, чтобы доложить о нашем прибытии и получить указания, а я начал обучать товарищей, как надо ставить винтовки в козла. Они ведь этого не знали.

Нам повезло. Мы еще не успели продрогнуть, как при-

бежал Кузьмич и сообщил, что скоро пойдем в наступление. Молодые наши ребята заплясали от радости.

— Вот хорошо, по крайней мере мерзнуть не будем!

Да, мерзнуть нам не пришлось.

Через час примерно на Пулковских высотах послышалось «ура». Видно было, как поднимались рабочие в черных длинных своих пальто и, размахивая кепками, шапками, шляпами, потрясая винтовками, побежали по склону высоты к видневшейся вдали деревне Большое Кузьмино, занятой противником.

«Ура!» — прокатилось по всей линии нашего фронта. Всюду подымались люди и, распахнув полы пальто, расстегивая ватные пиджаки, бежали что есть силы вперед. Видел я, как справа от нас поднялись матросы. Многие из них сбрасывали с себя бушлаты и налегке, в одних фланельках, в ботиночках, держа винтовку в одной руке, как палку, другой грозя кулаком и выкрикивая флотские словечки по адресу врага, бежали по жидкой грязи — только брызги летели в стороны.

Поле боя стало черным от людей.

Это шел сам народ в естественном своем гражданском облике — воинственный и грозный, поднявшийся на защиту завоеванной свободы.

Так начался этот первый бой.

Вдруг над нашими головами начала взревывать шрапнель; солдаты, побывавшие в боях, знали, что это такое...

Белогвардейские офицеры, командуя опытными артиллеристами, открыли заградительный огонь. Перед ними было голое поле, сплошь усеянное людьми в штатской одежде. Матросы в черных своих бушлатах и синих фланельках, так же, как и рабочие, отчетливо видны были врагу. Красновские артиллеристы получили возможность бить по ясно видимой цели, на глаз, прямой наводкой. И несколько полевых батарей накрыли нас беглым прицельным огнем.

Кузьмич и командиры других красногвардейских отрядов закричали:

— Ложись! Ложись!

Некоторые красногвардейцы валились на землю и, не зная, как применяться к местности, так и лежали на открытом поле. Окапываться не умели, да и нечем было.

В этот момент истинное геройство проявили наш Ти-

мофей Кузьмич и такие же, как он, красногвардейцы, побывавшие на войне. С самоотверженной заботой о товарищах они бегали под огнем, валили на землю тех, кто, растерявшись, стоял, указывали бугорки и ямочки, борозды и канавки, где бы люди могли укрыться. Вот уж поистине началась учеба «применительно к реальной обстановке боя».

И эта учеба сразу дала свои результаты. Красногвардейцы залегли, потери уменьшились, страх начал проходить, и,— удивительно! — как только люди прикоснулись к земле и освоились с обстановкой, сразу же у них пробудилась и заиграла неуемная, всепобеждающая «русская жилка».

Впереди меня залегли два паренька лет по восемнадцати. Обыкновенные рабочие хлопцы. Вначале их явно лихорадило: дрожали, бедняги, ужасно. А потом, смотрю, у них пробудилось любопытство:

«А как это все происходит?»

Вот слышен беглый огонь батареи. Парни прижимаются к земле, а потом вслух отмечают:

— Сразу четыре!

После разрывов шрапнели один говорит:

— Слышь, она словно крякает.

— А ты голову не подымай, а то она тебя как крякнет...

— Голову не враз, маленькая, а у тебя вон, гляди, сзади все наружу торчит — секанет, совестно будет на глаза показаться.

Помолчали, потом опять:

— А посмотри, какой она дым интересный дает! Как овечья шерсть — кучерявый, с завитушками. Вот будет что рассказать на заводе!..

И, казалось, они уже забыли об опасности. Верх взяла жизнеутверждающая сила.

Мы лежали недолго. Под прикрытием артиллерийского огня Краснов бросил против нас в атаку спешенных казаков. Они шли по всем правилам полевого устава: рассыпным строем, перебежками. Но дух красногвардейцев уже достаточно окреп. Они встретили атакующие цепи таким, можно сказать, вдохновенным, ободряющим каждого бойца огнем, что казаки сразу же опешили и залегли. У красногвардейцев росла уверенность. Они стреляли с

таким ожесточением и яростью, что пришлось их останавливать, чтобы понапрасну не расходовали патроны.

Краснов, видя, что цепи его залегли, бросил сотню казаков в конном строю по шоссе, чтобы нанести нам удар с фланга и тыла. Задумано было правильно, и все это могло бы для нас кончиться плохо. Но красновский план и тут сорвался.

Шоссе оборонял отряд колпинских красногвардейцев. У них был один броневик. Как потом говорили, он застрял в грязи, и на него уже перестали рассчитывать.

Казаки с шашками наголо устрашающе кинулись по шоссе в атаку. Они хотели захватить броневичок. Но тут-то он и пригодился.

Подпустив врага на близкое расстояние, красногвардейцы резанули из пулемета. Ну, вы понимаете, что может сделать хороший пулемет...

Сотня была порезана, растрепана.

У наших бойцов поднялся такой дух, что — давай атаку и больше никаких!

Было уже часов двенадцать дня. К этому времени Военно-Революционный комитет, стало быть, Ленин и Сталин, успели подбросить из Питера революционную артиллерию. Три конных батареи на полном скаку развернулись позади нас. Тут уже красногвардейцы не могли лежать. Буквально все как один поднялись и так же, как первоначально, всей массой, с криком «ура» бросились на врага.

С ходу мы ворвались в деревню Большое Кузьмино, а к вечеру заняли ставку Керенского — Царское Село.

В тот же день командование сообщало:

«Всем Советам рабочих и солдатских депутатов!

В ожесточенном бою под Царским Селом революционная армия наголову разбила контрреволюционные войска Керенского и Корнилова...

Да здравствует революционная армия!»

Можно представить себе, с какой гордостью читали мы эту радиограмму.

С Керенским было покончено.

1948

ВЛАДИМИР ТОБОЛЯКОВ

ВЕРА

ДЕНЬ жаркий. От неподвижно стоящих берез с сухими листьями и серебристых елей падают на могилы густые и короткие тени. На кладбище тихо, и потому громким кажется плач женщины, одетой в черное платье. Плечи женщины вздрагивают, она прижимает к губам белый платок. Бабочки, похожие на светло-зеленые лепестки, беззвучно перелетают с цветка на цветок, с могилы на могилу.

У надгробных памятников — серых каменных деревьев с косо обрубленными ветвями — тяжелые стволы нагреты солнцем. Муравьи бегут по сухой кладбищенской земле, торопливо перебираются через узкие трещины и тащат что-то в траву.

Вправо от широкой песчаной тропы возвышается среди зелени могила, окруженная каменным поясом. В возглавии лежит плита, на которой тусклым золотом вытиснено:

ВЕРА (БЕРТА) КЛИМЕНТЬЕВНА
СЛУЦКАЯ
погибла 30 октября 1917 года.

Где-то вдали, словно в ответ на ленивое пенье кладбищенских птиц, глухо гудят паровозы. Их голоса напоминают заводские гудки, которые двадцать лет назад — в октябре семнадцатого года — созывали василеостровских рабочих к райкому, на шестнадцатую линию, для борьбы с Керенским.

1

Слуцкая, секретарь Василеостровского райкома, худощавая женщина в очках, в белой кофточке, коротко сказала на рассвете:

— Давайте гудки.

Она села на стул, через спинку которого было переброшено пальто, посмотрела на большой стол. Очень хотелось спать. Положила руки на кучку газет и коснулась их горячим сухим лбом. В это время раздался первый тревожный заводский гудок. Слуцкая выпрямилась и подошла к окну. Широкая шестнадцатая линия была еще пуста. Стайка голубей сидела на серых булыжниках. Теперь можно было насчитать не один десяток гудков.

— Заговорили! — крикнул в дверях какой-то рабочий, рассовывая по карманам патроны.— Заговорили-и-и!

Голуби быстро поднялись. Красногвардейский отряд приближался к райкому. Не прошло и часа, как вся шестнадцатая линия, на углу Малого проспекта, была заполнена красногвардейцами, автомобилями с продовольствием, с медикаментами. Некоторые красногвардейцы были уже обстреляны — участвовали в ночном октябрьском бою при взятии Зимнего дворца. Другие еще не выпустили ни одной пули из винтовок, едва умели держать винтовки в руках.

Рыжеусый рабочий, из-под синей блузы которого выглядывал расстегнутый ворот черной рубахи, прижимая бритую щеку к гладкому коричневому ложу, целился в бездымную трубу пятиэтажного дома и говорил охотно и с любовью:

— Ай, винтовочка так винтовочка! Вот это винтовочка! Из такой винтовочки не то что Керенского, а кого хочешь побьем.

Его сосед в солдатской телогрейке хмуро заметил:

— Ты, пожалуй, побьешь. Ты какой глаз зажмурил?

— Какой? — спросил рыжеусый, ставя не спеша винтовку между стоптанных сапог.

— Какой, какой! Правый глаз зажмурил и целится. Левый надо.

— Левый?

— Конечно... Стрелок!

— Левый. Ну, это ничего. Я могу и левый. У меня оба глаза в подчиненности.

И как бы в доказательство крепко прикрыл левый глаз.

Закуривая, красногвардейцы спорили:

— А откуда он идет, этот Керенский? Будто из-за Невской заставы?

— А кто говорит — из-за Московской.

— Я слышал — из-за Невской.

— Из-за Московской, у Пулкова.

— Ну, будем там, сами разберемся,— примирил спорщиков высокий красногвардеец.— Ваш завод на какой линии стоит?

— Да на той же, наверное, что и ваш. На большевистской линии стоит.

— Это само собой... А на уличной линии какой?

Слуцкая вышла. Поверх белой кофточки было накинуто на плечи пальто.

Близстоявшие рабочие сразу узнали ее.

— Товарищ Слуцкая!

— Здравствуйте, товарищ Вера!

— Василеостровцы какие,— мигнул красногвардеец, поднимая ладонь с растопыренными пальцами,— и гудок еще не простыл, а уж собрались.

Брови Слуцкой резко очерчены, под глазами лежит усталая синева. Чуть опустив уголок рта, Слуцкая улыбнулась словам красногвардейца. Взобралась на грузовик, скинула пальто, сняла шляпу. Пробор рассекал жесткие волосы на две равные части. На линии становилось все тише и тише.

— Товарищи! — хриплым голосом со страстью произнесла Слуцкая.— Вновь утвержденной власти рабочих и крестьян грозит опасность со стороны сбежавшего бывшего председателя министров Керенского.

— Сашки Четвертого! — не выдержав, крикнул красногвардеец с винтовкой без штыка.

— Он авантюрист, этот Керенский,— продолжала Слуцкая, сводя брови.— Он плохо кончит...

Ее впалые щеки порозовели. Она потрясла маленьким кулаком:

— Мы верим в мощь пролетариата. Красная гвардия докажет свою силу.

Окончив речь, Слуцкая пошла мимо красногвардейцев к автомобилям с медикаментами и продовольствием.

— С броневиками, Вера Климентьевна,— вполголоса сказал ей на ходу рабочий с пулеметными лентами и красной повязкой,— не ахти как.

Кухарка детской столовой, сидевшая на грузовике с хлебом, сахаром и папиросами, поздоровалась со Слуцкой и спросила:

— Что к нам в столовую вчера не заходили, Вера Климентьевна?

И, развязав головной платок, повернулась к сидевшей рядом работнице и зашептала:

— Откуда только у ней силы берутся. Поспевает везде, везде побывает. Все увидит. Строгая она, эта Вера Климентьевна...

Показала головой на угловой дом:

— У нас в столовой все ее боятся. Убирайтесь, дескать, скорее, мойте чище, как бы не пришла Слуцкая. А придет...

Кухарка щелкала пальцами, подносила их к глазам:

— Придет, перевернет всякую тряпку, каждую вилку переберет, сама ее, вот те крест, перетрет в случае чего.

Наклонившись, кухарка вытянула шею:

— В котлы заглянет. А уж когда ребятам обеды отпускаем, обязательно сама явится и за всем глядит.

Передохнув, провела концом платка по губам:

— У нас ее железной зовут. Всю ночь другой раз не спит. Посидит, подремлет за столом час и снова бежит на какую там фабрику.

— Да что,— сказала соседка, которой давно уже хотелось перебить кухарку,— только у вас ее железной зовут? Везде ее железной зовут. Не у вас только.

Слуцкая остановилась у санитарных грузовиков с работницами с завода «Сименс и Гальске». Пожилая работница в зеленом старом пальто с двумя рядами огромных пуговиц на бортах обратилась к Слуцкой:

— Помнишь, товарищ Слуцкая, прибегала к нам на завод в июле, чтоб не выступали?

— Помню,— согласилась Слуцкая.

Действительно, в июльские дни Слуцкая была на заводе «Сименс и Гальске», убеждала рабочих воздержаться от демонстрации, говорила, что правительство приготовило солдат для расстрела демонстрантов.

— А теперь всей силой в наступление идем,— сказала работница, передвинув на плече сумку с красным крестом.

— Теперь наша власть,— проговорила Слуцкая и быстро добавила: — А доктор есть у вас?

На грузовике молчали. Потом сидевший рядом с шофером реквизированного автомобиля рябой фельдшер в стеганой ватной телогрейке протянул нехотя:

— Я вроде как бы и доктор... Фельдшер, конечно. Военного времени.

Слуцкая повернулась ко второму грузовику:

— У вас тоже доктора нет?

— Да где они, доктора? — заговорили сразу работницы.— Пойдут они с нами, доктора! Как же, доктора пойдут!

Фельдшер достал из кармана пучок бумаг и сказал с живостью, похлопывая по бумагам ладонью:

— Что доктора, дорогой товарищ... Вот сколько обращались в госпитали, опять же в лазареты. Оказать поддержку, хотя носилками да медикаментами.

— Ну и что? — резко прервала Слуцкая.

— А то, дорогой товарищ, что где прямо отказали, а где волынку играют, поговорим-де. Обождите. Керенский, он тебя ждать будет... Из заводских амбулаторий только чего и достали.

Красногвардеец с суровым морщинистым лицом поклонился грузовикам с работницами:

— Великая им благодарность, нашим сестрам-пролетаркам. Эти уж, товарищ Вера, не подведут...

Красногвардейцы построились и двинулись неровными рядами по широкой линии к Неве.

— До свиданья, товарищ Слуцкая! — кричали красногвардейцы.

— До свиданья, товарищи! — отвечала Слуцкая.— Встретимся на фронте.

В середине отряда запели. Песню подхватили все красногвардейцы:

...Сами набьем мы патроны...

Красногвардейцы шли посередине линии, мимо заводов, которые принадлежали теперь им, мимо деревянных с мансардами домишек с голыми тополями у окон; в окнах, прощаясь, махали платками. Ветер дул с Невы и нес вдоль линии к райкому волнующие слова песни:

...К ружьям привинтим штыки...

— До свиданья, товарищи,— тихо повторила Слуцкая.

И, подумав: «Доктор. Броневики»,— открыла дверку автомобиля, сказав шоферу:

— В Смольный, товарищ!

2

В годы войны Слуцкая находилась в ссылке около Петрограда, в маленьком городишке Любани. Это была ее далеко не первая, но зато последняя ссылка.

Слуцкая была уже старая большевичка, делегатка Лондонского партийного съезда. Культурный, широко образованный человек, она много училась в России и за границей — в Германии и Швейцарии. Но главным содержанием всей ее жизни, начиная с самой ранней юности, была революционная борьба.

Обреченная в Любани на вынужденное бездействие, Слуцкая временами очень тосковала. На ее нервы действовала еще и война, которую Слуцкая воспринимала как страшное народное бедствие.

Закончив как-то прием в своем зубоврачебном кабинете (Слуцкая имела звание зубного врача и добывала себе средства к существованию как дантистка), Вера Климентьевна пошла с Самойловой, товарищем по партии и по ссылке, на вокзал. Там стоял поезд с пленными австрийскими солдатами. Накрапывал мелкий скучный любанский дождик. Солдаты в голубых кепках жались к окнам теплушек. Поглядывая на молчаливую толпу обывателей, окружавших поезд, протягивали несмело мокрые ладони и бормотали что-то по-своему. Слуцкая приблизилась к одному из вагонов и спросила по-немецки у солдата с землистым, чисто выбритым лицом:

— Вы хотите есть?

Солдат, услышав родную речь, сначала с удивлением взглянул на Слуцкую. Потом, показав ровные красивые зубы, быстро ответил:

— Мы не ели уже несколько дней.

— Только воду пьем. Только горячую воду,— добавили поспешно и другие солдаты.

Слуцкая вынула из кошелька деньги и послала какого-то мальчика за хлебом.

— Мигом, тетенька! — весело крикнул мальчик и умчался.

Солдаты, получив хлеб, все еще не верили, что этот хлеб для них. Затем высокий австриец с нашивками, отдав Слуцкой честь, вынул перочинный ножик и стал делить буханку на ровные аккуратные ломти.

Солдаты хватали куски. Некоторые, прежде чем на-

чать есть, целовали куски, прижимали к сердцу и благодарили Слуцкую.

У Слуцкой дрогнули губы, она круто повернулась. Но на дороге стоял приказчик из мучных рядов, в картузе с твердым козырьком.

— Ты чего, политика,— проговорил он с ненавистью и злобой,— врагам нашим помогаешь? А?

Слуцкая хотела обойти приказчика, однако возле него топтался агроном в крылатке и повторял:

— Это черт знает что такое! Это черт знает что такое!.. А еще, кажется, интеллигентка. Хлебом кормить убийц русских солдат. Скажите, какое милосердие! Какое неуместное милосердие!..

— Австрийские солдаты,— громко, с негодованием сказала Слуцкая,— австрийские солдаты нам не враги, а братья, втянутые в эту войну. И я всегда, всегда им буду помогать...

Она пошла прямо на приказчика. Он отскочил в сторону и пробормотал, придерживая картуз:

— Ух, змея!

Дома Слуцкая долго не могла успокоиться. Дождь все так же лил без конца, и дождевые капли вытягивались на оконных стеклах в длинные нитки.

— Какое человеконенавистничество! — говорила Слуцкая, кутаясь в платок.— Когда сама в детстве поголодаешь, великолепно понимаешь голодных людей. У этого солдата прекрасные зубы, а есть ими нечего... А где-нибудь на австрийских станциях стоят вагоны с нашими голодными солдатами...

И так не раз, в тяжелые минуты, на память приходил вдруг товарищ, в смерти которого Слуцкая считала себя виноватой. Осенью 1905 года демонстрация минских рабочих была обстреляна казаками и жандармами. Толпа кинулась врассыпную. Слуцкая осталась на середине узкой улицы. Солдаты и казаки стреляли теперь и в эту худощавую бледную женщину с сильно очерченными бровями и резко сжатыми губами. Гибель Слуцкой казалась близкой и неизбежной.

— И понимаешь,— рассказывала Слуцкая,— сначала я почему-то вспомнила курсы Лесгафта и анатомию, которую я там изучала. Мелькнуло какое-то латинское название. А потом такая злоба охватила меня. Готова была схватить булыжник и одна идти против жандармов.

Неожиданно один из демонстрантов бросился к Слуцкой и заслонил ее собой.

— А через мгновение он уже упал окровавленный. Все мои ботинки были в его крови... А я осталась жить,— волнуясь, передавала Слуцкая.

Самойлова обняла ее за плечи:

— Лезут тебе в голову всякие мысли. Убит товарищ. Что ж поделаешь? Но ведь ты-то осталась не просто жить, а жить и бороться с самодержавием, убившим этого товарища...

— Ты права,— сказала, помолчав, Слуцкая.— Завтра же удеру денька на два в Питер... Не беспокойся. Никогда не попадусь. Я за границу без паспорта ездила. Узнаю, что делается в партии, как ведется партийная работа. Да кстати передам товарищам немного денег. Хоть этим пока поможет партии дантистка Слуцкая.

— Дантистка Слуцкая принимает? — одновременно со стуком раздалось за дверями.

— Принимает,— ответила Слуцкая и впустила агронома в крылатке.

— Извините,— бормотал агроном,— должно быть к дождю, так разболелись зубы. Личная боль, здесь все забудешь. На вокзале этот прискорбный случай. Принципиально я все равно не согласен с вами, но я иду к вам как к дантистке. Тем более личная боль...

Слуцкая посмотрела на Самойлову и усмехнулась. Спустя полчаса, выпуская агронома, Слуцкая предупредила:

— Через три дня зайдете. Не раньше. Нет, не раньше. Да, да через три дня. Вторник, среда, четверг. В пятницу значит.

После февральской революции Слуцкая сразу же вернулась из ссылки в Петроград. Как старый подпольный работник, она вошла в Петербургский комитет и была прикреплена к Василеостровскому району.

Все представлялось ей чудесным, удивительным. Даже лозунг в «Правде» — «Читайте «Правду» вслух на улицах и митингах» — глубоко волновал Слуцкую.

— Вслух,— повторяла она,— вслух, а давно ли за это вслух...

В кинематографе «Форум» на одном из первых митингов открыто встретились большевики, разобщенные до

этого тюрьмами и ссылками. Радостно пожимая руки товарищам, Слуцкая смеялась:

— Ну, мне повезло. У меня, кажется, самая близкая ссылка была. Любань... Теперь надо позаботиться о помещении для партийной организации.

Старый василеостровский рабочий заметил:

— Есть у меня один дом на примете. Давно за ним присматриваю. Целехонький. Его и займем. На шестнадцатой линии.

Слуцкая с полным самоотвержением отдалась заботам о Васильевском острове.

Она воевала в Совете с меньшевиками-оборонцами, выступала на десятках заводских, солдатских и уличных митингов. Порой ей казалось, что никогда и не было никакой Любани и тоскливых тяжелых переживаний в ссылках и тюрьмах.

Работы было столько, что Слуцкая все реже и реже ночевала дома в своей комнате. Вернувшись как-то, закрыла на ключ дверь. В комнате было очень тихо и чисто. Белые чехлы на креслах, светлый шкаф, белое одеяло на кровати. Слуцкая сняла туфли, подошла к зеркалу. Оттуда смотрела на нее худощавая женщина с пыльными губами и резко очерченными бровями.

— Ты хорошую резолюцию, Вера, провела,— прошептала Слуцкая, похвалив женщину, стоявшую перед ней.— Хорошую.

— Безмен...— усмехнулась Слуцкая и вспомнила сегодняшний солдатский митинг.

Солдаты сначала недоверчиво и даже враждебно отнеслись к ее речи. Солдат с длинной рыжей бородой, с ополченским крестом на фуражке, язвительно перебивал Слуцкую:

— Ты погоди, ты погоди. Что ты понимаешь, скажем, в крестьянстве? Правительство, правительство! Да они все одинаковые, эти правительства. Вот вино на складах лежит, а его нам не дают. Я вот Иван-солдат, приехавший с фронта. И не выпей. Да нет, ты обожди. Ты женщина, да еще видать некрещеная...

Другой солдат с тремя нашивками — по числу полученных ран — вскочил:

— Что ты мельтешишь?.. Ну, что ты мельтешишь?.. Женщина, некрещеная. Вот, скажем, безмен. Видал безмен? Он не крещеный, а правдой живет... И вот эта то-

варищ женщина тоже как безмен. Пусть некрещеная, а она правдой живет. И правду говорит. Рвет Керенский лоскут за лоскутом от знамя свободы. Долой это правительство! Оно нас расформировать не может, а мы его можем. Нам этих министров не надо, нам надо наших, своих министров!

И в принятой резолюции было написано: «Выражаем полное недоверие Временному правительству».

— Безмен-то безмен,— повторила Слуцкая,— а чулки все-таки у тебя порвались, да и кофточка совсем запылилась.

И Вера Климентьевна направилась к гардеробу, который стоял за люстрой в белом чехле.

Часто Слуцкая появлялась в маленьких переулках Васильевского острова или на поле за Смоленским кладбищем. Здесь можно было видеть взводы рабочих с винтовками. Слуцкая внимательно смотрела на красногвардейцев, на их перебежки, на упражнения.

Она предлагала немедленно провести тщательный учет красногвардейцев и оружия. А по пути в комитет партии заезжала в столовую проверить, хороша ли манная каша, которой кормят сегодня ребят. Казалось, что она помнит и думает о всем — и о крупных политических делах и о всяких мелочах жизни. И подготовка к вооруженному восстанию и каша не уходили из ее внимания. Единственно, о ком она меньше всего думала и заботилась,— это о самой себе.

Зато в октябрьские дни Васильевский остров и не был каким-то отдельным островом, его мосты быстро заняли красногвардейцы и матросы, он составил тогда одно крепкое целое со всем рабочим Петроградом.

3

Рано утром тридцатого октября Слуцкая отправилась на Пулковско-Царскосельский фронт. Обгоняя грузовые, санитарные автомобили, разбрызгивая лужи, автомобиль Слуцкой мчался по Пулковскому шоссе. По сторонам шоссе тянулись на фронт красногвардейцы, матросы, солдаты, а навстречу им двигались беженцы из Царского Села, из Гатчины.

Момент был очень серьезный, Краснов пытался все

еще наступать, в Петрограде только что было подавлено юнкерское восстание.

Слуцкая хотела лично побыть на позициях, проверить помощь Василеостровского районного совета Красной гвардии, поговорить с красногвардейцами, узнать их нужды, сделать все возможное для эвакуации раненых.

На околице деревни около Пулкова часовой красногвардеец остановил автомобиль Слуцкой и, коснувшись штыком радиатора, крикнул:

— Пропуск!

Слуцкая хотела уже предъявить мандат, но красногвардеец оказался василеостровцем. Опустив винтовку, сказал:

— Проезжайте, товарищ Вера, я и не узнал вас сразу.

В одиночных, неумело вырытых окопах, защищая Петроград, лежали путиловцы, выборжцы, василеостровцы. Слуцкую долго и жадно расспрашивали:

— Ну, как, что в Петрограде?

— Как на фронте?

— А на Невском говорят, что Керенский уж у Московских ворот,— ответила, усмехаясь, Слуцкая.

— И близко к воротам не пустим,— сказал красногвардеец.— Вот только у нас артиллерии мало, а у него и орудия и еще поезд этот.

— Да что поезд! — вскочил вдруг солдат с оборванным шинельным хлястиком.— Все равно мы его придушим! С винтовками на поезд полезем!

— Скорей бы в наступление! — закричали и другие.

Краснов выдвинул бронированный поезд на изгиб железной дороги у Пулкова и взял под обстрел шоссе.

На траве стонал тяжелораненый матрос из Гельсингфорса. Слуцкая опустилась на колено возле матроса. Его только что вывела из боя василеостровская работница в зеленом потертом пальто с огромными пуговицами. Сквозь марлевую повязку проступала кровь.

— Сестрица,— сжал руку Слуцкой слабеющими пальцами матрос,— неужели наши отступают? Неужели Петроград возьмут изменники народа?..

Матрос тяжело и глубоко вздохнул:

— Если да, то все погибло. Предатель Керенский покроет Россию виселицами...

Слуцкая положила ладонь на его влажный лоб:

— Никогда, никогда, товарищ матрос, не быть Керенскому в Петрограде!

Слуцкая решила немедленно вернуться в Петроград, чтоб рассказать в Смольном обо всем виденном и усилить работу по оказанию помощи фронту.

Начальник отряда Красной гвардии Еремеев, высокий, с трубкой в зубах, хорошо знавший смелость и энергию Слуцкой, уговаривал все-таки ее не ездить сейчас:

— Товарищ Вера, подождите немного. Краснов очень сильно обстреливает шоссе.

— Нет, нельзя ждать, товарищ Еремеев. Мне надо теперь быть в Питере... Очень плохо у нас с пушками?

— Снарядов не хватает. Один снаряд вот бережем специально для поезда.

— Тем более ехать надо.

Слуцкая в упор взглянула на шофера:

— Поедем, товарищ?

— Садитесь,— коротко ответил шофер.

— На Средней Рогатке у перевязочного пункта остановитесь.

— Хорошо,— сказал шофер, заводя мотор.

— Не ездили бы, Вера Климентьевна,— повторил еще раз Еремеев,— смотрите, как поезд палит и палит.

— Никак нельзя. Едем, товарищи.

Слуцкая села. По бокам ее поместились два василеостровских работника.

Над шоссе то и дело рвались шрапнели, картечины выбивали искры из булыжников. Гранаты копали глубокие ямы, и мокрая земля летела на кузовы подбитых и брошенных автомобилей. У одного из автомобилей, валявшегося на правом боку, была пробита маленьким осколком шина, из нее вытекал воздух с тоненьким свистом, напоминавшим полет пули.

Шофер, объезжая ямы, автомобили, развил большую скорость.

— Выедем? — крикнула Слуцкая.

Шофер не ответил. У Слуцкой болела голова. Вера Климентьевна сняла шляпу, которую сдергивал ветер, и, держась за колени соседа, как в лодке, осторожно пересела на край. В это время шрапнель разорвалась возле самого автомобиля. Шофера оглушило, он инстинктивно повернул автомобиль в сторону. Осколок шрапнельного

стакана врезался в голову Слуцкой и рассек ее около пробора, разделявшего волосы на две равные части.

Слуцкая уронила окровавленную голову на плечо соседа. Несколько мгновений еще дергались пальцы, сжимавшие поля шляпы. Когда шофер оглянулся, Вера Слуцкая была уже мертва.

Закрытый гроб с телом Слуцкой, увитый красными лентами, был поставлен в комнате, из окна которой Слуцкая видела, как собирались красногвардейские отряды против Керенского.

Второго ноября Слуцкая навсегда простилась с Васильевским островом.

«Правда» писала о похоронах:

«Под звуки похоронного марша процессия пересекла весь Невский и в конце Шлиссельбургского проспекта была встречена рабочими и работницами Невского района, возложившими на гроб живые цветы».

Товарищ Вера жила при Советской власти только пять дней.

Она умерла на сорок четвертом году жизни, проведя около девяти лет в тюрьмах, ссылках и эмиграции.

А через двадцать лет людям, знавшим ее, слышавшим ее страстные горячие слова, помнившим ее светлую блузку, казалось невероятным, что Вере Слуцкой шел тогда сорок четвертый год — настолько по-молодому смела и деятельна была эта женщина, первый секретарь Василеостровского райкома.

Дорога в город от кладбища, где похоронена Слуцкая, идет мимо низеньких тихих деревянных домиков с белыми занавесками на маленьких окошках. Гуси щиплют траву, зеленеющую между досок тротуара.

Но гул нашей жизни нарастает с каждым шагом. С веселыми криками бегают ребята в испанских шапочках. Громкоговорители сообщают о канале Волга — Москва и великих перелетах. В небе гудят аэропланы. Похожие на маленькие Эйфелевы башни, шагают столбы высоковольтной передачи.

По недавно открытому мосту спешит через Неву трамвай, в стеклах его отражаются литой воротник, пальто, очки, рука Володарского. И ласточки вьют гнезда в каменных устоях нового моста.

1937

БОЛЬШОЕ НЕБО

КОМАНДИР отряда, матрос Белокопытов, отрываясь от бинокля, прокричал в ухо красногвардейцу Григорьеву, чтобы тот пробирался в обсерваторию и принял меры для защиты здания от снарядов.

Григорьев, токарь Путиловского завода, курчавый, низкорослый, приложив растопыренные пальцы к грязной солдатской фуражке, сказал громко:

— Будет исполнено, товарищ командир.

Григорьев объяснял задание посланным с ним красногвардейцам:

— Небо сторожить, ребята, это не коров пасти. Комета какая-нибудь сорвется — они сейчас в трубу посмотрят, а в трубе увеличительные алмазные стекла, через них как есть все видно. Опять насчет религии ими точно доказано: бога нет, а звезды — расплавленный металл. Понятно?

Шел блестящий и крупный дождь. Туман медленно сполз в низину. Отяжелевшие, облепленные грязью ноги разъезжались. Но когда один поскользнувшийся боец, чтобы не упасть, оперся о землю прикладом винтовки, Григорьев грозно крикнул:

— Зубами цепляйся, а оружия пакостить не смей!

Раздобыв лопаты, красногвардейцы копали в огороде землю. Набив ею мешки, они носили их с побагровевшими, склоненными лицами в обсерваторию через внутреннюю железную лестницу и складывали на крыше.

Глядя на грязный пол обсерватории, Григорьев заметил огорченно:

— Ишь, наследили, разуться б надо, ребята.— Потом, указав на купол и на свои босые ноги, добавил: — Чисто в мечети мусульмане, — и громко рассмеялся.

Зябко потирая желтые руки, к Григорьеву подошел худощавый румяный старик в белом халате — профессор Стрижевский. Нервно моргая, он спросил:

— Что тут происходит, господа?

Григорьев, не обижаясь на «господа», бойко ответил:

— А вот вашу небесную канцелярию обороняем: если из тяжелых ударят, вашим трудам крышка.

— Но ведь это обсерватория,— сердито оборвал его профессор.

Григорьев отступил на шаг, оглядел профессора и, мотнув головой в сторону города, сказал злобно:

— А там, товарищ, женщины и дети, и ничего — долетают.

До ночи возились красногвардейцы на крыше обсерватории, устилая хрустальный ее купол мешками с землей. И когда они хотели уже спускаться, над люком появилась голова профессора. Задыхаясь, он тащил на крышу огромную пухлую перину. Пряди седых сухих волос спадали на его влажный лоб.

Григорьев, принимая из обессиленных рук профессора перину, сказал, просияв глазами:

— Вот за это спасибо!

Ночная тьма, казалось, тяжело вздыхала от орудийного гула.

Придавливая рукой окурок, Григорьев дружелюбно спросил профессора:

— Сказывают, звезда такая есть — Маркс. Это что, в честь нашего учителя называется?

— То Марс, товарищ,— поправил тихо астроном,— в честь бога войны.

— Бога? — переспросил Григорьев.— А Маркса нету? — И, взглянув серьезно в утомленные глаза профессора, сказал озабоченно: — А нужно было бы завести, товарищ профессор.

— Да, но это должна быть новая звезда, ее нужно сначала найти.

— Чего искать! — задорно воскликнул Григорьев.— Вот она! — и, протянув руку к небу, он указал на самую большую звезду.

Профессор вышел проводить красногвардейцев; спотыкаясь, он расстроенно бормотал:

— Как же так, а я вас чаем хотел угостить!

— Благодарствуем, нельзя нам,— за всех отвечал Григорьев,— нас и так совесть замучила — долго прохлаждались тут.

Пожав руку профессору, красногвардейцы скрылись во тьме.

Красногвардейский отряд имени Карла Маркса пятые сутки, зарывшись в землю, отбивался от противника. Взбесившийся враг забрасывал отряд снарядами. Пули роились в воздухе, и нельзя было оторваться от земли, но красногвардейцы подымались и бросались в атаку.

Григорьев, лежа у горячего, трясущегося пулемета, испуганно оглядывался, когда снаряд, описав высоко в небе дугу, тяжело плюхался далеко позади, там, где возвышалась на бугре хрупкая стеклянная голова обсерватории.

В минуту затишья, толкая локтем пулеметчика, Григорьев тревожно шептал:

— Досада меня мучает. Случай был взглянуть на звезды, какие они есть на самом деле, а я застыдился профессора попросить: все ж таки интеллигенция...— и, приподнявшись на локти, он оглядывался.

Внезапно что-то черное с грохотом пронеслось мимо, как поезд, и Григорьев удивился, что боль может быть такой сильной и нестерпимой. Погружаясь в темноту, он чувствовал, как по лицу у него что-то текло...

Красногвардейский отряд имени Карла Маркса, покинув ненужные теперь окопы, расположился на временный отдых.

Отряд сильно поредел, а все оставшиеся в живых носили на себе страшные следы тяжелых битв.

Двор обсерватории был устлан сеном, на нем вповалку спали измученные бойцы. У Григорьева на правом глазу чернела повязка, забинтованная рука висела на ремне. Мучимый лихорадкой, он баюкал ее, как младенца, сидя на крыльце в накинутой на плечо трофейной шинели.

В высоком, чистом небе вздрагивали звезды. Григорьев глядел на небо и искал сиротливым глазом среди трепетно пылающих планет звезду, которая еще не имеет названия.

На крыше обсерватории возились люди; они осто-

рожно освобождали прозрачный купол от тяжелых мешков земли.

Из флигеля вышел профессор Стрижевский; зябко кутаясь и шаркая ногами, он осторожно шел по двору, обходя спящих людей.

— Товарищ профессор! — слабо окликнул его Григорьев. С трудом поднявшись навстречу, он спросил, протягивая руку:— Ну как, нашли звезду-то?

— Ах, это вы, голубчик? — наклонился к нему профессор и вдруг воскликнул: — Боже мой, что у вас с глазом?

— Уполовинили,— объяснил Григорьев и добавил: — Ну, ничего, зато вы за меня теперь в оба посмотрите.

Потом, вытянув руки по швам и подняв подбородок, он попросил застенчиво:

— Товарищ профессор, разрешите поглядеть?

— Ах, прошу вас, пожалуйста! — засуетился обрадованный астроном.

— А ребятам тоже можно? — взволнованно спросил Григорьев.

— Но они же спят.

— Для такого дела...— И Григорьев зычно крикнул: — Кто желает звезды смотреть, вставай!

Сев на высокий металлический табурет, Григорьев припал единственным глазом к рефрактору. В таинственной тишине обсерватории он слушал рассказ профессора о величавой жизни вселенной. Небесный океан раскрывал перед ним свои глубины.

А на улице, в холодной ночи, выстроились кашлявшие, продрогшие бойцы, чтобы увидеть далекое небо.

Вспыхивали и гасли огоньки папирос, люди шутили хриплыми голосами, толкались, пробуя согреться.

Но, входя в помещение обсерватории, движимые каким-то инстинктом, они почтительно снимали фуражки.

Выходившего из обсерватории человека охватывало великое волнение от виденного, хотелось молчать и думать, и уже никто не помышлял о сне.

1938

ПАВЕЛ БЕЗРУКИХ

ЛИТЕРНЫЙ ЭШЕЛОН

ОПАЛОВЫМ облаком клубится над черноземными полями белесый туман. Из невидимых садов в теплушки врывается терпкий запах опавших листьев и аромат созревшей антоновки. Эшелон уже пятые сутки пробирается через забитые составами железнодорожные узлы, с Западного фронта к донским степям.

Пораженные большевистской «заразой», кишащие агитаторами и серошинельными толпами демобилизованных солдат, большие станции эшелон старается проскочить без длительных стоянок, отстаиваясь для снабжения на тихих промежуточных станцийках. Офицеры зорко следят за состоянием эшелона, оберегая казаков от соприкосновения с населением.

На стоянках короткие отлучки разрешаются только проверенным фуражирам да надежным казакам из сверхсрочных «шкур». Эшелон идет черноземными полями Воронежской губернии. Из раскрытых дверей теплушек, вместе с клубами табачного дыма, несутся в туман обрывки песен, перебранка, конское ржанье, свист и хохот.

Рядом с желто-синим офицерским микстом прицеплена теплушка — караульное помещение эшелона. Двадцать шесть казаков с урядником Лучкиным во главе расположились кто на сене, посредине вагона, кто на дощатых нарах, приспособив под головы конские седла. Дымят самокрутками, лениво переговариваясь. От близкого жилья потянуло кизячьим дымом, и глухо, отрывисто залаяли собаки.

— Должно, хутор близко,— задумчиво говорит рябой Паушкин,— славно кизяком пахнет, будто в станице поутру.

— Небось там бабы теперь пироги ладят,— вставил кто-то с нар.

— Смотри, как бы тебе твоя баба к приезду чего не приладила,— загоготал озорной Камчатов.

— Ай твоя уж тебе приладила? — огрызнулись с нар.

— Эх, ребятки, милые, хорошо бы да теперь ба...— сладко жмурясь, медленно говорит белокурый весельчак Решетков.

— Ты, слышь-ка, Ермил, спел бы что-нибудь,— ласково предлагает ему седоусый урядник Лучкин.

Ермил запускает пятерню в буйно зачесанный золотистый чуб и, строя уморительные рожи, визгливым дискантом пищит:

Пой, Коленька, пой,
Порт-Артур не твой.

— Вот еще чертовину выдумал,— добродушно скалится урядник,— ты песню давай.

— Какую хотишь, Степаныч?

— Дык какую же, позабористей какую, хорошую.

Ах я свою хорошую,
Ды по скуле калошшаю...—

продолжает дурачиться Решетков.

— Не дури, Ермил. Какого еще идола,— ворчит Лучкин.

Ермил упрямо мотнул головой, улыбнулся, потом сразу посерьезнел:

— Ну-к што ж. Споем.

Как бы задумавшись на миг, он вперил в пространство грустные невидящие глаза и запел:

Ах туманы вы, да туманушки,
Вы туманы непроглядные...

Молодой задушевный лирический тенор, полоня, покоряя, обволакивает сладкой грустью.

Как печаль-тоска, вы, туманушки,
Добру молодцу ненавистные.

И, словно давно спевшийся хор, двадцать пять голосов стройно подхватили:

Как печаль-тоска, вы, туманушки,
Добру молодцу ненавистные.

А Ермил, полузакрыв глаза, продолжал:

Не подняться вам, знать, туманушки,
С моря синего выше гор крутых,
Не отстать тебе, злой кручинушке,
От ретивого сердца молодца.

— Брось, Ермил, хватит! — крикнул Антип Дудкин, швырнув фуражку на пол.— Брось, бога ради!

— Ты что, Антип, белены объелся? — удивился урядник.

— Ай чирий в неудобном месте сел? — хохотал Камчатов.

— Не, ему вошь гашник переела, портки валятся,— поддержал Паушкин.

— Ну и псы. Слова не дадут сказать,— рассердился Антип.

— Ну-ну, скажи.

— Вот и скажу. Хорошо, мол, поем, да где сядем.

— Это ты к чему? — спросил Ермил.

— Да все к тому же... Что, скажем, к примеру, ты дома будешь делать?

— Я-то? — Ермил захохотал, потом, сделав глуповатую рожу, вытянулся во фронт, приложив руку к околышу, и отрапортовал:— Докладаю вашему высокородию, что по прибытии в станицу Цымлянскую, первым делом расквартирую свою кобылу гнедой масти, потом отправлюсь в курень. Там целый месяц стану: водку пить, баб любить, на печи спать, пироги жрать, чего и вам желаю.

— Значит, отдыхать собрался?

— А ты разве не хочешь?

— Может, и тебе не придется.

— Да что ты все обиняками, говори прямо. Ай слыхал что?

— Да так, есть слушок.

— Какой слушок? — строго спросил Лучкин, топорща густые усы.

— Будто опять воевать будем.

— С бабами, что ли?

— С большевиками будто, с рабочими.

Казаки повскакивали со своих мест, заволновались, загалдели все разом:

— Это, что же, пятый год наизнанку?

— Хватит, повоевали!

— Нехай атаманы воюют, а с нас хватит!

— Молчать! — заорал вдруг побагровевший урядник.— Прекратить разговоры. В караульном помещении запрещены посторонние разговоры. А ты, Антип, язык прикуси. Вот доложу сотнику, он те покажет слушок. Тоже слухач нашелся. Ермил, запевай другую.

Ермил почесал затылок, пригладил чуб и снова запел:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала.

В два часа ночи Пимокатова вызвали к прямому проводу. На центральном телеграфе кипела ночная работа. Вдоль стены большого зала, ссутулившись над желтоканареечными аппаратами, наперебой стучали морзисты. Из соседних комнат неслись разнообразные металлические звуки аппаратов Бодо, Уитстона и Юза, где-то непрерывно дребезжал приглушенный звонок, назойливо стрекотали пишущие машинки, шуршала бумага и, как большой шмель, гудел и бился в форточке вентилятор. Пахло краской, клеем и бумажной пылью.

— Вас вызывает Миллерово,— говорил старший телеграфист Тимчук, провожая Пимокатова к одинокому Морзе прямого провода в самом конце зала.

— Миллерово? — удивился Пимокатов.— Там же калединцы сидят.

— Теперь ничего не поймешь, кто где сидит,— язвительно ответил Тимчук.

— А пора бы понимать.

— У аппарата Пимокатов, кто вызывает? — выстукал Тимчук.

— Никита, ты? — спросили из Миллерово.

— Пимокатов у аппарата. Кто спрашивает? — повторил Тимчук.

— Говорит Макуха. Разговор секретный. Удали посторонних. Ленту забери с собой. Следи за лентой, длинная черта — прекращение разговора. Давай отзыв.

— Что ответить? — насупившись, спросил Тимчук.

— Отзыв — Чабан. Сейчас все уходят. Принимаю.

Тимчук выстукал ответ и ждал.

— Ну, спасибо вам,— сказал Пимокатов, нажав ключ аппарата,— теперь я останусь один.

Тимчук молча отошел от аппарата. Пимокатов подождал, пока Тимчук уйдет дальше, чтобы нельзя было принять передачу на слух, и отпустил ключ. Тотчас же бойко

застучал старенький Морзе, выпуская из медных челюстей, как балаганный фокусник изо рта, бесконечную ленту.

Член ревкома, маленький подслеповатый телеграфист Гашкин сидел на кровати и по-детски тер глаза, недоумевая, как к нему попал предревкома.

— Подумаешь, какая мудрость. Толкнул дверь — не заперта. Свет горит, а ты храпишь во все носовые завертки. Вот и все. А между прочим, ты бросай-ка чесаться, да поскорей прочитай эту китайскую грамоту.

— Какую грамоту?

— Да эти вот точки-тире. Оперативная с фронта.— И Пимокатов протянул ему комок смятой телеграфной ленты. Гашкин спустил ноги на пол, быстро расправил ленту и, держа ее почти у самого носа, стал читать:

— «Час назад мы заняли Миллерово»... Ух ты черт, вот это здорово, товарищ Пимокатов!

— Еще бы не здорово, читай дальше.

— «Офицерская и юнкерская сволочь откатилась за Донец к Каменской. Будем развивать наступление. Сил маловато, зато ребята боевые. Если сможете прислать подмогу — будет хорошо, а нет — сами справимся...» Ну и молодцы ребята!

— Читай дальше, пожалуйста.

— «Главное же прошу проследить за шифрованными телеграммами. Мы сегодня узнали, что от Каледина пошла депеша какому-то литерному эшелону «К». Узнай, где этот эшелон, не идет ли он к нам в тыл, и если так, прими меры, какие найдешь нужным и сообщи мне. Обнимаю тебя и всех ребят. Макуха. Точка. Кавычки».

— Ну и Макуха — золотой парень,— восхищался Гашкин.

— Это верно, Миша. Теперь очередь за нами. А дела такие — на телеграфе у нас плохо. Как видишь, мимо нашего носа идут калединские шифровки, а мы ничего не знаем... Тимчук мне не нравится. Тут у нас ошибка вышла...

— Ага, теперь не нравится,— обрадовался Гашкин,— а когда я на ревкоме доказывал, что Тимчук контра зловредная, все смеялись...

— Может, извиниться прикажешь?

— Да не из-за этого я! — отмахнулся Гашкин.

— Ну, тогда все в порядке. Сейчас пойдем на телеграф. Тимчука я сниму, а ты примешь дежурство.

— То есть как это я?

— Очень просто. Примешь дежурство и немедленно возьмешь под контроль все проходящие телеграммы. Загляни за сутки назад. А для шифровок я подошлю к тебе Николая Чубрина, он мастак по таким делам.

— Да ведь я, собственно, не к тому, чтобы мне...

— Не теряй времени, Миша. Может, этот чертов эшелон уже где-нибудь под носом у нас.

— Так тогда пошли, товарищ Пимокатов.

Ровно в семь утра на небольшом внутреннем дворике вокзала собрался красногвардейский отряд ревкома. Сквозь багряно-золотой ажур деревьев сада, в легкой дымке тумана, медленно поднималось осеннее солнце. Семьдесят два бойца, одетые в одинаковые стеганые телогрейки, издали походили на регулярную воинскую часть. Вблизи это сходство исчезало. Через груди бойцов извивались, перекрещиваясь, пулеметные ленты, на шапках алели, наискось пришитые, полоски кумача, у поясов болтались бутылочные гранаты, многие, кроме трехлинейных винтовок, были вооружены револьверами и шашками.

Бойцы осматривали винтовки, проверяли обоймы, курили, острили, смеялись. Юный боец Березкин рассказывал о первом боевом крещении, когда красногвардейский отряд выбивал из епархиального училища кадетов.

— Видим, затихли они; мы в двери, а оттуда вдруг: «бах, бах, бах» — упал Федя Шамурин. Постреляли мы еще в окна и двери, а они ни звука, молчат, берегут патроны. Тогда я полез по водосточной трубе на второй этаж и бросил в окно гранату.

— Бойцы вспоминают минувшие дни,— засмеялся подошедший Пимокатов.— В каком году произошел случай? — спросил он до ушей покрасневшего рассказчика.

— На прошлой неделе. Да ведь ты, товарищ Пимокатов, тоже там был.

Пимокатов, не ответив, перешел к другой группе, спорившей о качестве стали для резцов самоточек.

Поодаль, возле пулеметов, командир отряда, коренастый, голубоглазый крепыш Баландин, оживленно беседовал с членом ревкома Бочко.

Бочко — высокий, худой, в пенсне с черным шнурочком и копной длинных волос, был затянут в блестящую черную кожу от фуражки до сапог.

— Исправных из них только два — Максимки, а Кольты дохлые,— говорил Бочко.

— Возьмем и дохлых для декорации. Ты же понимаешь, что мы должны всеми способами показать эшелону свою силу, а бойцов — кот наплакал.

Запыхавшийся Гашкин доложил, что эшелон только что вышел с соседней станции и будет принят на первый путь.

— А порожний состав на второй путь поставили? — спросил Баландин.

— Все готово.

— Ну, Витя, давай действовать. Сейчас же с несколькими ребятами собери всех пассажиров из вокзальных помещений, сотни три-четыре наберется, и грузи их в порожний состав на втором пути.

— Это что, тоже декорация?

— Безусловно. И притом очень серьезная. С этим народом разбросай по вагонам деповских ребят: Синева, Филькина, Граба и других. Я уже говорил с ними. Задание — когда подойдет казачий эшелон, из этого состава должно раздаться пение революционных песен. В случае надобности они должны кричать «ура», рваться в бой и вообще...

— Изображать из себя резервный эшелон Красной гвардии,— докончил Бочко.

— Вот именно. Остальные деповские ребята пусть идут сейчас же сюда. Они будут расположены сзади отряда, для увеличения его численности.

— Замечательно придумано. Ну, я пошел.

— Отряд, стройся! — скомандовал Баландин.

Поезд осторожно подходил с левой стороны перрона. У всех чугунных колонн правой стороны, подпиравших навес, стояли красногвардейцы с винтовками наперевес. Между ними на разном расстоянии один от другого грозно выставили свои хоботки шесть пулеметов. За первой линией бойцов вытянулась вторая цепочка красногвардейцев, за ней третья и, наконец, толпа деповских рабочих, вооруженных дымогарными трубами.

Посредине пустынной платформы, заложив руки за борт бобриковой тужурки, стоял Баландин. Как только эшелон остановился и из классного вагона выпрыгнул молодой казачий офицер с погонами сотника, почти одновре-

менно из всех теплушек спрыгнули часовые с винтовками за плечами.

— Глянь-ка, Степаныч, большевики! — крикнул Решетков уряднику.

— Не разговаривать,— зашипел Лучкин, спрыгивая на перрон.

— Отряд, слушай мою команду! — звонко крикнул Баландин.

Навстречу ему, из глубины платформы быстро шел Бочко.

— Товарищ Бочко! Вторую роту ведите справа, взвод пулеметчиков расставьте сзади состава! — еще громче крикнул Баландин.

Из стоящего на втором пути состава раздалось, постепенно нарастая, грозное пение:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!

— Мать честная, вот дык штука! — сказал Решетков.— Ай драться будем?

— Вот те и пироги с чебаками.

— Не беда, ребята,— говорил Антип.— Главное, не торопись стрелять. Может, обойдется.

Баландин подошел к офицеру.

— Где начальник эшелона?

— К вашим услугам. С кем имею честь?

— Командир революционных войск. Предлагаю вам немедленно сдать оружие, в противном случае...

— Разрешите одну минуту, доложу командиру.

Бочко громко, чтобы слышал эшелон, докладывал Баландину:

— Товарищ начальник отряда, ваше приказание исполнено. Докладываю, что сейчас подошла третья рота и второй пулеметный взвод.

— Расположите их рядом с четвертой ротой в пункте семь.

Из вагона вышел высокий седоусый старик — войсковой старшина.

— Именем революции предлагаю вам отдать распоряжение о немедленной сдаче оружия, иначе прикажу открыть огонь,— отчеканил Баландин.

— Позвольте, позвольте, молодой человек! — закричал, багровея, войсковой старшина.— Это немыслимо! Как

же мы без оружия будем добираться, нас по дороге как кур передушат. И вообще я не могу подвергать риску жизнь моих казаков.

— Смотри, каким соловьем заливается,— вполголоса сказал Камчатов.

— Революционный комитет гарантирует вам благополучное следование до пункта назначения.

— Я не могу принять никаких гарантий,— резко крикнул войсковой старшина.— Мой священный долг привести казаков на родину в полном порядке.

— Ваша часть демобилизована. Зачем же вы едете домой в боевом порядке?

— Вы не знакомы с обычаями казачества. Вам не понять, какой позор для казака возвратиться в станицу без оружия.

— Подавись ты своим оружием,— прошептал, сжимая кулаки, Антип Дудкин.

— Во, как войсковой заливает-то! — хихикнул Решетков.

— Кроме того, вы идете вразрез с указаниями Временного правительства и распоряжениями моего начальства — войскового правительства Дона.

— Короче говоря, вы не желаете подчиниться воле революционного пролетариата?

— Разоружаться не буду! — крикнул войсковой старшина.

Из теплушек торчали казачьи головы, прислушиваясь к переговорам.

В соседнем эшелоне с громким свистом и притопыванием пели солдатскую песню:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке...

— Отряд, к бою готовсь! — скомандовал Баландин.

Красногвардейцы враздробь защелкали затворами, пулеметчики демонстративно наводили пулеметы.

— Товарищи казаки! — крикнул Баландин на всю платформу.— Революционный комитет, ваши братья-рабочие не хотят кровопролития и предлагают вам добровольно сдать оружие, которое и без этого намозолило вам руки за годы проклятой войны.

В теплушке переговаривались казаки:

— Верно ведь говорит.

— Ну да, правильно, хрен с ним, с оружием.

— Через день дома б были, а тут на тебе.

— Ваши командиры,— продолжал Баландин,— отказываются выполнить это законное требование революционной власти и хотят подставить вас под пулеметы. Неужели вам не надоело быть пушечным мясом? Бросайте оружие, братья-казаки, и езжайте спокойно к себе на Дон, по родным станицам, по родным домам, где вас ждут любимые жены, матери, отцы, дети, братья и сестры.

— Смирно! Слушай мою команду! — исступленно заревел войсковой старшина.

В этот момент из теплушки караульного помещения с треском упала на перрон одна винтовка, за нею еще две и через секунду, заглушая рев войскового старшины, с грохотом и звоном дождем посыпались винтовки, шашки и пики.

— Урра! — раскатилось по платформе. Это красногвардейский отряд приветствовал разоружение.

— Урра! — загремело сзади со второго пути.

— Ура! — загремело из казачьего эшелона.

Седой полковник растерянно жестикулировал руками перед носом мертвенно-бледного сотника.

— Что, что они делают? — задыхаясь, кричал он. Потом, спохватившись, заорал, стараясь перекричать всех: — Отставить! Смир-ррна!

Но в ответ гремели слившиеся в одном могучем торжественном крике «ура» голоса красногвардейцев, рабочих, казаков и случайных пассажиров, собранных в составе на втором пути.

Через сутки в двенадцать часов ночи Пимокатова вызвали к прямому проводу.

— Что, опять Миллерово? — спросил он старшего телеграфиста Гашкина.

— Нет, говорят с фронта.

И когда Пимокатов назвал себя, маленький Морзе выстукал:

«Спасибо, Никита. Разоруженные вами казаки литерного эшелона сегодня вместе с нами идут в наступление на Новочеркасск. Смерть Каледину, да здравствуют Советы!»

1935

БАХЧЕВНИК

I

ОТЕЦ пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки: таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, ссунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерью обедать!

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы.

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице...— Помолчал и добавил: — В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, говорит, Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а

Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал — ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красногвардейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услыхал Митька от побледневшего брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая... А на что тебе?

— Надо, значит.— Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал: — Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

— Куда?

— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну, так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму.— Повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот:

— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни... Будить не хотел.

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся.

— Так и говори...— Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом, коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем — лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал — напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор, поди, у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Федор где?

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?..— загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?..— Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой.

Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону; сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, гро-

мыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались.

Опять знакомый-знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим, как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька... испеки пышек... я бы отнес этим, какие в сарае сидят... пленным.

У матери на глазах мокрая пленка.

— Отнеси, сынок, может, и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже небось ночами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали...

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным принес.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

— Погоди, Прохорыч, никак это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да...

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Нет-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не могешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батеньке твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маманька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод за атаманскую землю. Вернулся на другой день утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зелени, и пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу,

мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни...

— Ми...ми...тя...тя...тя...тя...

И смех, глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые, слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился.

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору, мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов, внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам казаки из конвойной команды, в середине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-тук, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и звоном наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не бреши. Строго ответишь за это!

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради бога!..

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?

— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял:

— Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с пес-

чаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых,— не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стремена, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька бледнея:

— Федя... отец скачет!

Рыжая отцовская борода пóтом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира пóтом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась изпод воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и тебя на распыл пущу!..

— Нету... не знаю...

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нем.

— Посмотрим.— Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами.

Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана.

Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светало, где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло-румяную каемку протянул рассвет.

1925

ВИКТОР АВДЕЕВ

КАЗАК

1

ОФИЦЕРСКИЕ части подступили к станице. Старый казак Гудыля оседлал огромного гнедого мерина и наказал трем сынам собираться в поход.

— Дозвольте сказать, батя,— выступил старший Федько, здоровенный детина с белыми усиками.— Для чего нам идти напротив ветру. Станица белых принимает.

Толстая шея Гудыли налилась кровью.

— А хоть бы для того, сукино дите, что я, твой родитель, иду до партизан. Иль своим умом жить задумал? Давно плетка по спине не гуляла. Побольше от меня понимать стал.

Он подвез с току солому, развалил по двору и своей рукой поднес серник. Саманная хата запылала с четырех углов...

— И бревна на колодце генералам не оставлю,— сказал Гудыля.— Когда победим, вся земля будет наша,— хоромы достанем. Когда нас побьют, все одно в станицу не вертаться. А смерть принять сумеем и в степи.

Трое его сыновей-крепаков стояли, опустив чубатые головы. Пламя отсвечивало на газырях их черкесок, на выложенном серебром оружии. Под уздцы они держали коней, навьюченных саквами, кони храпели и били копытами.

В огромной толпе, окружавшей пожарище, все чаще стали мелькать городовики, казачья беднота — кто с японской винтовкой, кто с шомполкой, кто и просто с рогатиной. Они скапливались за спинами гудылинских хлопцев.

Власти в станице не было: атаман сбежал, ревком организовать не успели. Зажиточное население опасалось помешать «самодурству» старика и сбору партизан.

Когда огонь погас, Гудыля широко перекрестился, взял горсть родимого пепла, положил в сумочку от поминанья и повесил ее на шею. Глаза его сухо блестели. Он тяжело сел на мерина, и отряд тронулся.

Проехали мимо ветряных мельниц с неподвижными крыльями. Казаки хранили угрюмое молчание. Внезапно наперед лихо вынесся Ивашко Гудыля,— ладный, тонкий в поясе, как оса. Затянул сильным, пронзительным голосом тут же сложенную песню:

Ой, на добрых конях за Кубань-рекою
Шли там партизаны-казаки,
Попереду батько, он ведет до бою,
И в руках у них горят вострые клинки.
Ой, пади, неволя, сгинь ты, злая доля!
Оторвем вам головы, атаманы и попы.
Наши будут степи, наши будут крали-девки.
Пей, гуляйте, джигитуйте, партизаны-молодцы.

Ивашко вдруг гикнул, вскочил ногами на козловую подушку седла и стал отплясывать вприсядку. Казаки подхватили песню, охнула взятая кем-то гармоника, и пыль дружнее закурилась по степному шляху.

Суровые морщины разгладились на лице Гудыли. Любил он песню. Гордился старый Гудыля, что одинаково относился ко всем своим сынам. Все же больше других он баловал меньшого, Ивашку,— за веселый запев, за отвагу. Выравняв с Ивашкой мерина, он спросил:

— Как, сынок... Может, ты в станицу воротишься?

— А кого я, родитель, в станице забыл? — сказал Ивашко и засмеялся. Он поиграл темляком шашки.— Я войну люблю, родитель. Ковырять землю — это не казачье дело. Пращуры наши в запорожцах ходили и нам такой завет оставили.

И, словно не заметив насупившихся бровей батьки, Ивашко отъехал в строй.

Степь кудрявилась чернобылом, домником. В раскаленном зное возникали курганы, точно верблюжьи горбы. А позади, в затянутой маревом станице, еще виднелся сизый штопор дыма над развалинами пожарища.

2

Обходя города, железную дорогу, отряд Гудыли двигался на запад: там партизаны хотели пристать к революционной армии.

В хуторах Гудыля устраивал митинги и сам чинил суд и расправу. Везде к партизанам присоединялись и родовое казачество и пришлые батраки. Особенно охотно Гудыля принимал кубанцев — народ все голосистый. В одной схватке, когда белые запели гимн, он, морщась, сказал бойцам:

— Рубайте, хлопцы, это донские: им верблюд на ухо наступил.

Чинов в отряде никаких не существовало. Приказы отдавались устно. Вся канцелярия состояла из выборного писаря Петра Мироновича Сердоб, рабочего с золотых приисков. Он носил в табакерке очки в стальной оправе, рассказывал о большевиках, и бойцы в шутку называли его «комиссаром». Гудыля первое время косился на «пролетария». Но привык. Петро Миронович — человек пожилой, степенный — скоро завоевал в отряде уважение умением прочитать газету, толково объяснить декрет о земле. Он же исполнял и должность казначея, хотя жалованья никому не выписывал. Если у казака падал конь, изнашивалась бурка, ему выдавали из общего котла.

— Нам штабы ни к чему,— сказал Гудыля,— чиновники, они на земле, как осот в хлебе.

Сам он любил простоту, черкеску носил без украшений и всякой пище предпочитал хлеб с молодым луком.

Направление, в котором двигаться, решали всем отрядом.

Под большим степным хутором партизаны напоролись на отряд белых, вероятно тоже бродячий. После двухчасовой перестрелки, отбросив врага, красные заняли хутор, захватили несколько мажар с фуражом и знамя.

Победа была значительная.

После митинга на крыльцо атаманского дома вынесли вольтеровское кресло. В него сел Гудыля — в бараньей папахе, с гранатой и роговой пороховницей у пояса. Он закурил трубку и стал чинить суд и расправу. Сквозь полузастегнутую холщовую рубаху виднелась его бурая грудь в седом волосе, с медным нательным крестом на гайтане. Любой из хлеборобов мог подать Гудыле жалобу по какому угодно вопросу: разбирал он ее справедливо и бескорыстно. Рядом с батькою сидел писарь Петро Мироныч с чернильницей и бумагой. Присутствовал он больше «для проформы». Свои решения Гудыля выносил тут же на месте и выполнял их неуклонно.

Облака в небе стояли грузные, душные. Широкую площадь, заросшую вокруг церкви лебедой и белоголовником, заполнял народ. Вдалеке синели отроги гор. По дороге шла отара мериносов, подымая завесу пыли.

— Ой, господи, ой, убили! — послышался в толпе плачущий голос, и к столу протолкнулась жирная бабенка. Ее черное, вышитое стеклярусом платье было порвано, в руках она держала подобие грязных пеленок и трехногий таганок.

— Чья такая? Что надобно? — спросил батько.

— Ой, лишенько! — опять заголосила баба.— Ограбили. Солдат измордовал. Ой, батюшка ты мой, пришел большевик, сундук ломает. Я его Христом-богом молила, а он как толкнет меня под дыхание, я и чувств лишилась. Всю чисто разорил. Ой, люди добрые, спасите!..

Лицо Гудыли омрачилось.

— Погоди,— цыкнул он на бабу.— Кто тебя обидел? Казак с моего отряда? А не обозналась ли ты, баба? Ну-ка, иди, ищи: тут все мои бойцы в сборе, и уж я его ра-зочту! А коли ты, баба, с наговором...— и он положил на стол маузер.

Перепуганная баба стала пятиться, бормотать:

— Ой, лишенько, бог с ним, с добром!

Но Гудыля сурово приказал ей найти обидчика. Она боязливо стала ходить по рядам казаков. Толпа хуторян сумрачно притихла. В полуденном зное охали петухи, в соседнем дворе скрипел журавель колодца. Внезапно баба ткнула пальцем в только что подошедшего партизана.

— Вот он! Ей-ей! Ой, уби-или!

Бойцы расступились, и Гудыля увидел Ивашко. Казак стоял, отставив ногу, заложив большие пальцы рук за тонкий пояс, выложенный собачьей костью. Батько повернулся так, что скрипнуло кресло.

— Это... ты сделал?

Ивашко презрительно дернул плечом, глянул исподлобья:

— Я.

— Что же... отца славишь!

Старик поднялся грузный, могучий, с клокастой бородкой. Подойдя к сыну, остановился, почти касаясь лбом его лба.

— Утешил на старости! — сказал он, с трудом выговаривая слова.— Добиваешься для батьки, чтобы соромился

в очи людям глянуть! — Он отдышался.— Давно слухи доходили, с женским полом ты силком обращаешься, да все не верил я, старый пес. Не верил, чтобы ты — плоть моя и смог... я ведь выхаживал тебя. И в кого ты удался! Не было еще в нашем роде воров. Дед твой на земле ворочал, пока земля его не призвала. Я всю жизнь ходил как буйвол в упряжке, на моем поту пшеница возрастала. Я зерна с чужого лана не взял. Совесть, она ведь точно кровь: ранил трошки, а потерял — все. Свою темную душу ты никакой одеждой не прикроешь. Ты для кого пошел в партизаны? Мы кинули свои наделы, чтобы все люди были одинаковые и светлые, как дождевые капли, чтобы офицер, богатей не давил слабого, а ты напротив того...

Ивашко перебил:

— Я не грабил. Я одну рясу взял на портянки. Сапог мне ногу растер.

Хуторянин в осетинской войлочной шляпе наклонился к Гудыле, заговорил что-то вполголоса, указывая на бабу. Батько выслушал его и отстранил движением руки.

— Что же с того, что баба — попадья,— заговорил он громко.— Про то есть народная воля. Сходка, она и отберет хозяйство у всех этих пиявок и поделит промеж тех, кто на них его наживал мозолями. А бойцу кто мародерничать дозволил? Он идет под красным знаменем, которое есть святая кровь его братьев, пролитая в угнетенном режиме. Для партизан у нас есть общий котел в отряде.

Ивашко стоял бледный, опустив голову. Кубанка с алым верхом, перекрещенная серебром галуна, низко срезала ему лоб, ветерок шевелил черную прядь волос. Федько тихо уговаривал его принести батьке повинную, дать зарок не посягать на чужое добро.

— Я голову свою кладу,— ни к кому не обращаясь вдруг громко сказал Ивашко,— а мне нельзя взять у буржуйки портянки. С испокон веку повелось на войне: победил — твоя добыча.

— А... вон оно что... Так ты еще упираться! — Голос Гудыли зазвучал почти зловеще.— Под военный закон. А судить буду я,— и дрожащей рукой взял маузер.

Поднялся Петро Мироныч, оправил рубаху, подпоясанную патронной лентой, произнес степенно:

— Обожди, Миколай Семеныч. Ты родитель и тебе больно. Только не всякий дубок корчевать надо, может,

от пенька новые побеги вскинутся. Очень сурьезно ты судишь. Ивашко — казак молодой, в бою исправный, взыскать с него следует, но под корень подрезать — это не резон. Хлопец и выправиться может. Пускай отряд сам обсудит и как решит, так и быть по тому.

Среди бойцов поднялись крики, спор. Ивашку любили.

Тогда опять возвысил голос старый Гудыля: он был страшен в своем горе и железном упорстве. Он сказал, что не потерпит в отряде бандита. Выгнать его вон. Пусть остается один и хоть к белым уходит: дело его. А коли загладит свою вину,— будет видно, как с ним поступить дальше.

— А зараз трубите сбор к наступлению.

При последних словах отца Ивашко вздрогнул и поднял голову. Казаки расходились к своим коням. Прогрохотала тачанка с единственным пулеметом.

— Куда же я-то?.. братцы!

Ивашко с мольбой протянул руки. Казаки торопливо и жалостливо отворачивались. Отряд построился. Гудыля на своем тяжелом мерине — черный, с воспаленным взглядом, растрепанный, важно стал под вылинявшим коленкоровым знаменем, и мерно зацокали подковы.

И пока партизаны не свернули с улицы в леваду, Федько все оглядывался на одинокую фигуру, неподвижно стоящую посреди площади.

3

Отряд четверо суток шел по гладкому плато на соединение с Красной Армией. Не слышалось песни, не жал враг. Об Ивашке при командире не говорили. В одной из стычек Гудыля потерял крест с гайтаном. Он постарел, не молился, был угрюмо молчалив, но еще суровее берег дисциплину.

Казаки дремали в седлах, положив руки на луку. Только слышались топот копыт да позвякивание трензелей. Яркий месяц низко стоял над степью. Вдали за Кубанью смутно чернел лес.

> Оглянитесь, батя, оглянися, войско.
> Ворон в небе крячет, он добычу чует.

Песня родилась неожиданно. Многие партизаны прислушались.

— Кубанец поет,— сказал Федько и натянул повод у коня.

Остановился и Гудыля: крупные черты его лица смягчились. Вот песня затихла, то ли ее заглушило расстояние, то ли у песенника не хватило слов. Одну минуту слышался монотонный звук цикад. Из придорожного куста с треском вылетела птица: не то чирок, не то утка. С юго-востока набежал ветерок, качнулись тени мокрых от росы трав, по степи волной прокатился смутный шепот. И опять явственно донесло песню:

Кости белы зацветут да на поле брани,
Красный флаг там упадет, стоптанный ногами.
А в засаде ворог будет насмехаться,
Он своей победой станет потешаться.
Зарядите ж, хлопцы, ружья...

Внезапно песня оборвалась, вдали стукнул выстрел (то ли это показалось), и опять все смолкло.

Отряд сгрудился, казаки приподнялись на стременах, вытянули шеи, точно ожидая песни.

— Ивашко! Его голос,— сказал Федько, побледнев.

Огрев мерина по морде плеткой, Гудыля тяжело вынесся наперед, крикнул на скаку отряду:

— Оставайтесь в боевой готовности!.. Вышлите разведку! Я зараз буду обратно....

Хвост мерина распустился по ветру. Из рядов следом вырвался Федько, оголенная шашка блеснула в его руке. Петро Мироныч, потрясая винтовкой, дал шенкеля своей муругой кобыленке, и весь отряд без команды наметом понесся в сторону смолкшей песни.

Надвинулся крутояр.

Далеко внизу блеснули ртутные воды реки.

И внезапно из тьмы навстречу казакам тонко засвистели пули.

Отряд, не останавливаясь, пошел в бешеную атаку. Схватка была короткой: белые, не ожидавшие натиска, побежали. Прижатые к обрывистому берегу, они бросали оружие, подымали руки, иные прыгали с конями в крутопенные волны Кубани и гибли десятками.

Погоня красных вернулась на место боя. Казаки стали обыскивать поле и около молодых побегов кизила нашли тело Ивашки. Оно было обезображено шашками, и признали его с трудом. На груди, в кармане бешмета, нашли

кусочек письма: лист бумаги, коряво исписанный карандашом. Верх страницы был залит кровью. Петро Мироныч надел очки в стальной оправе и, держа письмо на вытянутой руке, прочитал его вслух:

— «Дорогой батя, Миколай Семеныч и одноутробные братцы Федько и Порфир Миколаич и одностанишники-товарищи, не имейте обо мне черной памяти. Я вижу, корысть нашу казацкую кинуть надо, рубиться за советскую родную...» — на этом письмо обрывалось.

Долго листок ходил по рукам партизан. Каждый осторожно брал его в руки, внимательно оглядывая, точно видел облик, последнее дыхание и завет погибшего товарища.

— Прощай и ты, дорогой братец,— проговорил Федько, поцеловал разрубленный лоб Ивашки и отошел, вздрагивая.

— Добрый был казак,— тихо сказал партизан с серьгой в ухе.

Петро Мироныч и казаки завернули труп Ивашки в бурку, покрыли знаменем и шашками стали рыть могилу.

Гудыля низко поклонился останкам сына, снял с шеи и торжественно положил ему на грудь сумочку с родимым пеплом. По щекам старого батьки текли слезы, и он не отрывал взгляда от тела все время, пока его забрасывали землей.

Отряд тронулся по степному бездорожью.

А позади, под закатным месяцем, остался холм из свежевыкопанной глины, примятой сапогами, и сверху папаха, положенная по казачьему обычаю.

1938

ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ

СМЕРТЬ НИКОЛЫ БУНЧУКА

Ну, так що ж, братику, меняемось конями?

— Ни, друже, ни, и не подходь. Разве ж у тебя конь? У казака конь должон быть справный, гладкий и на ходу скорый. А у тебя не конь, а калека. На нем не то что от врага, а от бабы не ускачешь.

— Факт! Конь для казака — первое дело. Казаку без бабы легче, чем без коня,— поддержал кто-то из рядов.

Кони пофыркивали. Впереди маячили спины казаков и высокая, серая папаха есаула.

— Ни, не буду. Не хочу, Скиба, хучь зарежь, не хочу. Мой конь — орел, а твой — як та курица.

Скиба сплюнул.

— А ну тебя!.. Не хотишь, не надо. Видали мы твово коня.

Стучали копыта, и мягкой волной поднималась слезящая глаза пыль. Сотня за сотней проходила бригада. Голова колонны уже вышла из станицы и черной неровной лентой вилась по извилистой дороге. Проскакивали отсталые казаки, и с грохотом, звеня и сотрясаясь, скакала артиллерия. Двадцать широких рессорных тачанок, плавно покачиваясь, одна за другой шли в середине колонны. Любовно укутанные в чехлы пулеметы черными точками глядели по сторонам, и кучера-кубанцы еле сдерживали сытых упряжных коней. Перейдя через мост, бригада разделилась. Запорожцы свернули влево, и два орудия и десяток тачанок послушно потянулись за полком.

Великокняжеская осталась позади. Внизу по холмам зеленели низкие сады, облепившие сытую станицу. Белые пятна хат, желтая церковь и ярко горевший на солнце крест смотрели вслед уходившим казакам. Капризный

Маныч, запутавшийся в песках и камыше, поблескивал ровной и спокойной полосой и снова уходил в серые буруны. Впереди широкой скатертью лежала зеленеющая степь. По краям, далеко на горизонте, маячили чуть видные хутора, сливаясь с синеющей мглой. Утренний туман, сырой и нездоровый, клочьями отрывался от земли и плыл в воздухе седыми пятнами, тая под робкими лучами раннего солнца.

Теплый пар шел от вспаханной земли, и она, слежавшаяся, сырая, сочная, пахла навозом и перегноем.

Казаки приподнялись на седлах. Бунчук оглядел раскинувшуюся внизу станицу, вздохнул и, стягивая кудлатую папаху с головы, тихо и торжественно произнес:

— Ну, прощай покеда, родная... Мабуть, и не придется свидеться с тобой.

Казаки закрестились и, не сводя глаз с исчезавшей за холмом станицы, рысью поскакали под гору. Дорога свернула в ложбину, прячась среди холмов. Цокая копытами и звеня оружием, шел полк, торопясь к хутору Коваля, конечной точке своего назначения. Радостное июньское утро всходило над полями, и нежные зеленые побеги тянулись к солнцу. Черными квадратами темнели яровые, и веселой, смеющейся радостью смотрели зеленя.

Ой, да как мне нонешнею ночкой,
Ой, да малым-то, малым спалось...—

затянул чей-то неуверенный голос.

Во сне много виделось,—

поддержали ряды, и заунывная, грустная песня пробежала по рядам.

Ой, будто коник мой вороной...—

на высокой ноте тянул запевала.

Ой, да разыгрался подо мной...—

звенели тенора...

Да под мной...—

вторя, гудели басы.

Пели тихо... вполголоса. Лица были серьезные и сосредоточенные. Озабоченные, поющие без улыбки лица волновали казаков.

— Не петь,— зазвенел впереди голос есаула.

— Не петь... Не приказано петь,— пробежало по сотне.

Песенники смолкли, и только высокая, нарочито бабья нота подголоска, взятая высочайшим фальцетом, с секунду звенела над головами.

Десятка два скирд окружали прятавшийся в них хутор Коваля. Длинные одноэтажные амбары для хлеба и конюшни для скота были заполнены войском. Вся «экономия» скорее походила на военный лагерь, чем на мирную усадьбу степного помещика. На скирдах расположился штаб. Офицеры, наводя бинокли на синеющую, уходившую на Ельмут дорогу, обсуждали план наступления. По двору бродили спешенные казаки, виднелись кони, поблескивали спицы тачанок. По амбарам, пугая одиноких, чудом уцелевших кур, сновали пулеметчики, выискивая среди забытого и второпях брошенного скарба что-либо поценнее. Несколько пехотинцев, пользуясь отдыхом, раздували костры, устанавливая на них свои убогие котелки. С грохотом въехала артиллерия и, лихо развернувшись, остановилась, уставя черные дула пушек на синевшую степь. По холмам, окружавшим хутор, тянулись группы отсталых казаков. Где-то вдалеке ухали пушки, и черные столбы разрывов время от времени вставали за холмами. Низко, прямо над головой, пролетел аэроплан, держа направление к северу, на Царицын.

— Наш чи его?

— Видать наш, должно на разведку.

— А ну как сыпанет оттеда дождичком по нас, поминай как и звали.

Казаки сонно и равнодушно поднимали головы, провожая взглядами удалявшийся аэроплан.

— Нехай льет, лишь бы не застудил,— спокойно сказал кто-то.

Воцарилось молчание. Казаки позевывали. Бездействие тяготило людей, а прохлада и лень тянули ко сну.

— Хучь бы поспать,— сонным голосом протянул Скиба.

— Чего там поспать, каждую минуту в поход надо идтить. Вон, вишь, господа-то ровно вороны по скирдам запрыгали.

Глаза казаков перешли на волновавшихся и горячо споривших офицеров.

— А что, братцы, я ровно ничего не пойму. Что же это и значит. Только с турецкого фронта вернулись, опять на новый, на свой иди.

— Что-с? Ничего, воюй знай да помалкивай,— сказал молчавший до этой поры казак.— Наше дело маленькое, за нас офицеры на фронтах думают.

— За нас и жалованье получают,— добавил чей-то неуверенный голос.

— Нет, братцы, чтой-то не так, чтой-то не то. Значит, так друг дружку колошматить и будем... А?

— Поди их спроси,— снова вмешался угрюмый казак, кивая головой на видневшуюся на скирдах штабную группу.

— Хо-хо-хо...— засмеялись кругом,— они тебе расскажут. Так размухлюют, что и сам черт не разберет.

Казаки помолчали, окидывая недружелюбными взглядами расположившийся невдалеке штаб.

— И какие они, братцы, снова важные да храбрые стали, ровно ничего и не было. Как начнут опять они над нашим братом мухлевать да как вспомню я, как мы с фронту уходили, так вся середка огнем кипит...

— А как вы уходили, расскажите, дядько,— взмолился Никола, которому было невыразимо приятно лежать на траве и, глядя в ясное небо, слушать, что говорили казаки.

— Да так, уходили и вся,— буркнул угрюмый казак и, обводя взглядом соседей, продолжал:— А напередки решили мы с нашими драконами посчитаться. И вот, братцы мои, прямо чудно, что тогда со мною изделалось... Гляжу я на них, ровно баранта в поле, куда что и поделось, как поскидали с них кресты да еполеты, совсем други люди оказались, по-другому обозначились. Дивлюсь и глазам своим не верю. Господи, думаю, да неужто ж я вот им, вот этим харям, всю свою жизнь отдавал?.. Да ведь они мово дерьма вовсе не стоют... а полковник стоит перед нами, побелел весь, трясется... одно молит: «Не убивайте... за все простите, за все каюсь, только жизни не решайте». Сам белый, пузо круглое, а по щекам слезы так и скочут... Посмотрел я на него, а в сердце не токмо что жалость, а вовсе ничого нема... одна пустота. И вспомнил я, как он над нами измывался, и ровно кто покров с глаз снял. Поднял винт, да так его с винта и вдарил...

— Ну,— затаив дыхание и задыхаясь от сладкого, благоговейного ужаса, переспросили слушатели.

— Ну и все... захрипел, да и помер.

— И ничего?

— А как же... вестимо ничого. В те поры на это запрету не было. С нами рядом солдаты свой штаб решали, так там не то что одного, там их человек до ста прикончили, и ничого.

— А поди страшно было человека живота лишать? — протянул Никола, глядя круглыми испуганными глазами на спокойное лицо рассказчика.

— Чего страшно... чай не свой живот отдаешь,— неторопливо бросил угрюмый казак.

— На войне приобыкнешь ко всему,— проговорил Скиба и весело добавил: — Просто, как раз со сто, ну а впервой душу холодит.

— Н-да... она научит всему... Теперь, почитай, во всей Расее мало кто человека не убил. Факт!..

— А я так думаю, братцы, свою жизнь легче отдать, чем другого человека уничтожить. Я бы не мог.

Казаки дружно засмеялись, и их смех смутил Бунчука.

— Тебе бы, Никола, в послухи идти, вот бы из тебя праведник важный произошел,— сказал Скиба.

На минуту воцарилось молчание.

Высоко над степью проносились облака. Синее-синее небо было прозрачно и бесконечно, и солнечные брызги наполняли душу Николы радостным, счастливым чувством.

«Господи... и зачем это только воюют люди... нешто плохо жить на свете?» — думал Никола, и в его круглых глазах виднелось странное недоумение и любопытство.

— А ну, Скиба, расскажи яку-нибудь балачку,— прерывая молчание, сказал один из казаков, обращаясь к Скибе, голова которого лежала на ногах Николы.

— Яку ж балачку... вы ужо все слыхали,— деланно равнодушным тоном протянул втайне польщенный Скиба, и Никола, чувствуя это, поддерживая друга, сказал:

— А про Ленина ты давеча не все досказал, Панас.

— Ну-ну, досказывай про Ленина,— зашумели казаки.

— Ну, що ж, раз громада требовает, расскажу и про Ленина,— сказал удовлетворенный Скиба и скороговоркой начал: — Да-а... и, значит, надоело казакам воевать, воюют, воюют, а за что дерутся — и невдомек. Вот и выбирают они одного казачка для спосыла в Москву. А був

вин здоровенный дядько з великими по-казацкому усами донизу. И приходит, значит, той казак к самому главному комиссару и говорит ему: «А ну, ваше благородье, товарищ дорогой, веди меня к вашему набольшему, к самому Ленину. Я с им, говорит, разговор должон иметь».— «А какой, говорит, разговор, желательно и нам знать?» — «Не могу,— говорит казак,— сказать вам, господин товарищ, а, значит, могу это обсказать только самому Ленину». Бились, бились с ним две недели, казак уперся — нет да нет; ну, ладно, делать нечего. Хучь верть-круть, хучь круть-верть, а спосылать надо. Послали. Приехал наш Гаврилыч в Москву. Ведут это его к самому Ленину, в штаб, а кругом все комиссары жужжат, ровно пчелы в улье. Массым-масса. Ввели. Смотрит казак, сидит малый такой человечек, вроде как на троне, вокруг его все товарищи, министры ходят. Которы познатней — поближе, которы похуже — подальше. И баб середь них не оберешься. Вот поклонился Гаврилыч Ленину и говорит: «А скажите, товарищ набольший, вы здесь, скажем, вроде царя существуете, вот и просим вам обозначить нам, казакам, что меня до вас спосылали, правда это или нет, будто вы сословию нашу казацкую уничтожить желаете и нас всех вместе с женами и детьми в коммунию поворотить?» Засмеялся тут Ленин, а министры-товарищи как загрохочут, ровно в пушки вдарили, а бабы ихние платочками закрываются, чтобы, дескать, казак не видел, как над его словами смеются. «Нет,— говорит Ленин,— нет, Гаврилыч. Не хотим мы волю казацкую рушить, жен и отцов в коммунию забирать, а хотим, говорит, правду народную в Расеи укрепить да всему трудовому люду помощь дать».— «Ну, ладно. Дело хорошее. А каку вы помощь мужикам обещаете?» — «Землю, говорит, землю-матушку, чтобы трудился на ней кажный, кто ее могит вскормить, вспахать и в дальнейшем ей во всем соответствовать».— «Так, дело хорошее, а только чи не у нас, казаков, хотите вы прирезать землицы для мужичков? Потому что, если так, мы на это не согласны, и вы уж меня извините, товарищ главный комиссар господин Ленин, но раз нашего согласу не будет, станем всем войском с вами биться». Снова как загрохочут все, ровно пушки в Черкасске на параде вдарили, даже сам Ленин этак маленько ухмыльнулся и говорит: «Эх, седой ты, Гаврилыч, как волк, и ума у тебя на целый полк, а вот одного не сообразишь,— ты, говорит,

посмотри на Расею-матушку, хучь взад, хучь вперед ее проезди, коня уморишь, себя угробишь, а конца-краю не найдешь. Да разве в вас, казаках, вся сила? Вас горсть одна, а мужиков копна. Вас сотня, а мужиков мильен. Разве вашими землями накормить голодных мужиков? Нет, братцы, нам вас обижать не резон, мы да вы одна кость, черная да трудовая. У вас землицу брать — себя обижать, а мы ее, кормилицу, в другом месте нашли».

Скиба сделал паузу. Он оглянулся по сторонам. Собеседники невольно осмотрелись. К ним подходил вахмистр Дудько.

— Що, Скиба, опять балачки разводишь?

— Ни, Василь Тимофеич, про турецкую войну сказываю, как под Эрзерум ходили в шестнадцатом году.

Дудько недоверчиво скосил на казаков глаза, помолчал, скрутил папиросу и, уже отходя, многозначительно бросил:

— А ты брось брехать, дурья голова, тебе говорю, от твоих балачек как бы твоя жинка вдовой на станице не осталась. Не забувай того.

Наступило молчание. Только слышалось мерное сопение коней и равномерный храп уснувших казаков. Ясное прохладное утро уступало место солнечному полдню. Казаков разморило.

— А чи не завалиться поспать? — не обращаясь ни к кому, спросил Скиба и минуту спустя спал, уткнувшись лицом в слежавшуюся сырую траву.

Кони пофыркивали, хрустя упругими стеблями сочной травы.

Никола лежал на спине, уставясь голубыми, ясными глазами в такой же голубой и чистый небесный свод. Рядом с них похрапывал Скиба. Пушки ухали не переставая, и их сочный грохот как будто перенесся ближе. Никола глядел на проплывавшие вверху облака и не отводил от них бесцельно устремленного взора.

Вдруг затрясся воздух, загрохотал тяжелый оглушительный взрыв, и саженях в тридцати от казаков взметнулся к небу черный, тягучий, расползавшийся по земле, дымный столб. Блеснул огонь, и тяжелые мокрые комья земли вслед за свистящими и завывающими осколками гранаты тяжело обдали полусонных, беспечно отдыхавших казаков. Через секунду так же внезапно сверкнул

второй огонь и снова, вздымая к небу комья чернозема, ухая и свистя, разорвался второй снаряд. Кто-то охнул и застонал. Падая и приседая, пробежали артиллеристы, и по полю заметались вырвавшиеся перепуганные кони.

— По коням! — раздалась взволнованная команда есаула. Штабные офицеры в один момент слетели со стога и исчезли за холмом. Сонные казаки вскакивали в седла, другие метались по полю, ловя убежавших коней. Пулеметчики наметом скакали к холмам, увозя драгоценные тачанки подальше от внезапно посыпавшихся снарядов. Несколько минут по полю в беспорядке носились перепуганные кони и люди, спеша к холмам, за которыми они были невидимы противнику. От хутора, огибая осыпаемое снарядами место, бежали пехотинцы, ныряя и прячась в неглубоких ложбинах.

Со стороны Ельмута, медленно, почти не двигаясь, полз бронепоезд красных, с которого, не переставая, трещали пулеметы и гулко ухали орудия.

— Вот тоби и балачки,— еле сдерживая горячившегося коня, сказал Никола скакавшему рядом Скибе.— Трохи не убила, подлая.

Оба казака уже проскакали холмы и теперь были почти в безопасности, спешившись в глубокой ложбине между двумя холмами. Из-за горы то и дело скакали казаки, прятавшиеся от снарядов около них. Снаряды с ревом и свистом проносились над ними и бесполезно рвались где-то в степи. Почти вся сотня была в сборе, недоставало только десяти казаков, по всей вероятности заскакавших в сторону от своих. Есаул спешил казаков и вместе с хорунжим заполз на холм, откуда в бинокль стал разглядывать широкую, разметавшуюся под холмами степь. Почти к самому хутору Коваля, где полчаса назад расположился отряд, медленно подошел бронепоезд и, не останавливаясь, двумя орудийными выстрелами поджег его и так же медленно пополз дальше, в сторону Великокняжеской, изредка постреливая по сторонам. Клубы черного дыма кружились над экономией, ярко и весело горело сено, сложенное в стога, и длинные беспокойные языки пламени любопытно облизывали сухие, выцветшие от солнца амбары. Где-то в стороне за холмами ухнула раз и другой казачья пушка, и чуть поодаль от паровоза, взметая землю, разорвался снаряд. В ту же секунду бронепоезд вздрогнул и, задымив черной струей, дал задний

ход и стал быстро отходить назад. Невидимые казачьи пушчонки преследовали его, давая сильные перелеты. С бронепоезда яростно огрызались и, гудя и завывая, летели через головы притаившихся казаков снаряды куда-то назад, откуда в свою очередь неслись такие же веселые подарки. Постреляв минут пять, бронепоезд исчез за поворотом и еще несколько секунд дым от его паровоза медленно таял и расходился за холмом.

В стороне от хутора по-прежнему бухали орудия, и их гулкое, слегка заглушенное эхо гудело по долине.

— Видать, дюже бьются у станицы,— проговорил один из казаков, вслушиваясь в бесконечную, не прерывающуюся пулеметную трескотню.

Несколько запоздавших пуль, неведомо откуда пущенных, с жалобным свистом прорезали воздух.

— Полетела сдыхать,— приподняв голову, пошутил вслед низко прожужжавшей пуле Бунчук.

— Пошла шукать доли...

— Або крови...— добавил другой.

Это была последняя пуля, и через минуту степь снова погрузилась в мертвую тишину. Порывистый ветерок набегал на курганы и трепал мягкий ковыль и жесткие рыжеватые бороды казаков.

— По коням! — протяжно скомандовал есаул.

Казаки лениво поднялись с мягкой, чуть сыроватой земли и не спеша спустились в ложбину, где прятались коноводы.

— Са-а-дись! — снова пропел командир, и черные фигуры повскакали на коней.

Сотня, усиливая шаг, поднялась на курган и, придерживая повода, быстро спускалась к покинутому хутору. Впереди, отделившись от колонны, скакал со взводом хорунжий Горобец, посланный в дозоры есаулом. Пушки бухали за холмами, хотя звук их становился все глуше и удалялся в сторону Кривой Музги.

Красные, по-видимому, отходили, и этот неожиданный налет бронепоезда был сделан для того, чтобы остановить продвижение резервов и задержать наступавшие колонны белых, дабы дать возможность красной пехоте, потрепанной около станции казаками Улагая, отойти спокойно к Кривой Музге.

— Убиты двое, господин есаул,— нахмурив брови и сдерживая горячившегося коня, доложил Горобец.

— Кто? — отрывисто спросил есаул.

— Иван Карпенко из Мекеней и урядник Довгаль.

— Шрапнель?

— Так точно.

— Где трупы?

— Повезли в штаб полка. Родственники отвезут тела в станицу.

— Ладно. Подайте рапорт и спишите их с сотенного довольствия. Коней передать в обоз.

— Слушаю-с, господин есаул,— хорунжий козырнул и хотел отъехать, есаул задержал его:

— Сейчас пойдем на соединение с полком.

Сотня, не задерживаясь, продолжала путь.

Красные отступали по всему фронту, и казаки беспрепятственно шли по их следам. Прикрывавший отступление бронепоезд беспрестанно огрызался горячим свинцом, безнаказанно вертясь под выстрелами казачьих батарей. Обе стороны, уставшие от долгого похода и боев, стреляли больше для острастки, и только орудия казаков и бронепоезда вели между собою серьезную перебранку, посылая друг в друга звенящие и завывающие тяжелые трех- и шестидюймовые снаряды. Кое-где по полю гнали пленных красноармейцев, словно белые цветы пестревших на темном фоне холмов. Казаки почти донага раздевали пленных, снимая с них новенькую амуницию и крепкие солдатские сапоги.

— Ось бачите, яки свиточки в поле засвитились,— засмеялся вахмистр, указывая на красноармейцев, которых конвоировали несколько казаков.

Солнце сильно палило, и только прохладный степной ветерок освежал истомившихся за день усталых людей.

— Куда гоните? — спросил есаул пехотного офицера, кивком головы показывая на истерзанных красноармейцев.

— В штаб генерала Покровского, господин капитан,— ответил офицер и, многозначительно улыбнувшись, добавил: — В гости.

Пленные, подгоняемые казаками, прошли мимо сотни.

— Эх ты господи,— снизив голос, сказал Скиба,— вот тебе и свои погнали, ровно стадо с выгона.

Казаки ничего не ответили, сумрачно глядя вслед удалявшейся толпе.

Казаки отобедали, похлебав жидкого супа, наскоро

сваренного пришедшей из обоза кухней. Утомленные дневным боем и бесконечными переходами люди с наслаждением отдыхали. Солнце уже уходило на покой, и вечерняя прохлада ласкала усталые тела. Кони с хрустом разгрызали свежий ядреный ячмень, в изобилии найденный в полусгоревших амбарах экономии. Невдалеке, верстах в трех от сотни, расположился штаб отряда, левый фланг которого должны были охранять отдыхавшие казаки.

Никола уютно примостился на земле, подоткнув под себя разостланную бурку и положив голову на мягкие подушки седла. Рядом с ним возлежал довольный Скиба, на розовом лице которого было написано блаженство и покой. Отдохнувшие казаки полукругом уселись возле них и, покуривая, перебрасывались словами.

— Теперь бы домой... работать охота,— мечтательно сказал Никола,— дома небось и вишенья зацвело. Так бы, кажись, взял да и пошел бы.

— А ты, Никола, сыми с себя голову, спрячь ее за пазуху, целей будет, да и вали домой. Ночь-то темна, дорога черна, а ты иди да щупай, тут ли она,— скороговоркой посоветовал Скиба.

Казаки засмеялись.

— А ну тебя,— заливаясь добродушным смехом, махнул рукой больше всех довольный Никола.

Каждая частица его тела отдыхала после утомительной однообразной езды, и теперь, сытно поев горячего супа, ему хотелось долго и бесконечно лежать в этой ленивой и беспечной позе и полусонно слушать довольные голоса казаков.

Слова долетали до его полудремлющего сознания и, не задерживаясь в памяти, падали и растворялись в ленивой истоме.

— Ну-к що ж, ну служил... так-то ж я по мобилизации,— доходит до дремлющего Николы голос Скибы.— Всех забирали,— ну взяли и меня,— снова слышит Никола и понимает, что это Скиба рассказывает о своей службе у красных на Кубани. Никола знает, что Скиба врет. Никто его не мобилизовал. Он сам добровольно пошел в большевики, но Никола любит Скибу и никогда, ни за что не выдаст этой тайны никому.

— Врешь, поди охотою к красным побег,— смеются казаки.

— Ему жупана обещали, вот он в коммунию и ти-

кал,— открывая глаза и толкая друга в бок, хохочет Никола.

— Жупана,— обиженно тянет Скиба,— ты, Никола, зажми рот да не говори с год, верней будет.

Казаки хохочут, а Никола заливается больше всех, довольный своею шуткой и обиженной физиономией друга.

— А ну, хлопцы, нишкни, кажись, опять шкура идет. Ох, и вредная стерва.

Казаки замолчали и оглянулись. От холма молодцеватой, танцующей походкой шел Дудько, беспокойно и пытливо разглядывая бесстрастные и деланно безразличные лица казаков.

— Опять балачки... и что вы, ровно бабы, все балясы разводите? Первый взвод в ружье... живо.

Казаки, недоумевая, поднялись.

— Ну-ну, поторапливайся там, ироды. Становись! — рявкнул вахмистр и, оглядев строившихся казаков, проходя перед фронтом, стал тыкать пальцем в людей, отбирая их:

— А ну... ты, Хфедько, ты, Пацюк, ты, Леванда, ни, тебя не треба, Пузанков, Ткаченко, Гулыга, Скиба, тебе говорю, Скиба... ходи вперед.

Отобрав двенадцать человек, Дудько решительно скомандовал:

— Кого торкнул пальцем, два шага вперед.

Отмеченные вышли на два шага вперед и замерли перед вахмистром.

— Ровняйсь... Смирно... Справа по три... правое плечо вперед шагом ма-арш,— скомандовал Дудько и, идя сбоку маленькой колонны, направился к видневшимся вдалеке курганам.

— Куда потянул казаков, чертова шкура?

— Не иначе как в штаб,— пытаясь разгадать причину ухода, мудрствовали оставшиеся казаки.

— Старается, сука. Нема ему спокою без золотых погон.

— И получит. Такая стерва завсегда выскочит вперед, хай ему грець на морду,— провожала теплыми напутствиями вахмистра оставшаяся сотня, глядя вслед усердно шагавшему перед колонной Дудько.

Холмы медленно росли и приближались. Уже можно было разглядеть небольшую группу людей, копошившуюся у подножия кургана. По степи пробегал низовой вете-

рок, и перед ним, словно в пшеничном поле колос, дрожа и сгибаясь, приникал седой усатый ковыль и ложился серебряными волнами к сыроватой земле. Воздух таял и сквозил, и даль казалась колеблющейся и прозрачной. В горбинках холмов чуть поблескивал Дон и высокой стеной чернел разбросавшийся камыш.

— А ну дывысь, Никола, и хорошо же тут, ровно в раю... Эх, кабы моя воля была бы, ни трохиночки не оставался бы тут. Хай ее бис с войной. Тикал бы к себе на Кубань. А и гарно у нас, братику, в краю. От так Лаба промеж садов текет, туточки скрозь хутора, степ, буденок гарненький, роскошь кругом, та и зелено, зелено...

— А ну там без разговорчиков. Опять, Скиба, матери твоей черт, балачки развел.

Скиба сконфуженно умолк.

Колонна уже подходила к холму.

У подножия кургана стояло семеро бледных, растерзанных, раздетых людей, с немым отчаянием глядевших на подходивших казаков. Около них стояло несколько солдат, с равнодушным видом озиравшихся по сторонам. Два конных ординарца да штабной адъютант, важно восседавший на серой кобыле, завершали всю группу.

— Колонна, стой!— скомандовал Дудько.— Стоять вольно, оправиться,— милостиво разрешил он и, отдавая честь адъютанту, доложил:— Все готово, господин капитан.

Адъютант слез с коня и, устало разминая отекшие ноги, подошел к казакам. Его утомленные глаза глядели пытливо, и Николе показалось, будто на одну секунду они задержались на нем.

— Братцы,— надорванным тенорком начал офицер, глядя поверх казаков,— по приказанию командира корпуса, генерал-лейтенанта Покровского необходимо расстрелять этих негодяев, захваченных нашими войсками. Это комиссары, отступники от православной веры, продавшиеся за золото жидам...

Затем, не меняя голоса, так же надорванно и устало закончил:

— Вахмистр, начинайте.

Стоявший навытяжку перед ним Дудько встрепенулся и, молодцевато поводя плечами, решительно шагнул вперед:

— Команда, смирно-о!

Послушные окрику вахмистра, казаки вытянулись и замерли.

— Вин...товки! — раздельно бросил Дудько.

Моментально сверкнуло двенадцать блестящих стволов, и сухое щелканье затворов огласило мертвое молчание степи. Солдаты, разинув рты, с любопытством глазели на заряжавших винтовки казаков. Лица приговоренных посерели.

Суетливые, дрожащие пальцы не попадали на обойму, и патроны никак не могли войти в гнездо. Не сводя глаз с лица одного комиссара, Никола внезапно для себя почувствовал, как липкий ужас заполнил и захватил все его сознание и холодный пот заструился под бешметом. Он сделал усилие и еле оторвал испуганный и подавленный взгляд.

— Ох, господи,— чуть слышно, не шевеля губами, простонал Скиба, и этот еле ощутимый звук, изданный приятелем, отрезвил и вернул к жизни Бунчука.

Обойма, наконец, с треском улеглась в магазинке, и это успокоило его. Никола искоса взглянул на Скибу и, к своему великому удивлению, увидел, что Скиба, не поднимая винтовки, стоял с посеревшим лицом и что-то бессвязно шевелил губами.

— Ну, живо там, раз-два и готово! — закричал Дудько.

В ту же секунду, расталкивая казаков, нетвердым шагом вышел Скиба и неуверенным, срывающимся голосом сказал:

— Василь Тимофеич... ослобоните меня... занедужил... не могу.

Глаза Дудько округлились и налились бешенством. Его покатые плечи заходили, а круглое курносое лицо покрылось багровым румянцем.

— Становись в шеренгу, сукин сын, я те дам «не могу»! Сволочь босяцкая!

Адъютант прищурил глаза и медленно и внимательно стал всматриваться в почерневшее, перекошенное мукой, лицо казака.

— Не могу... хучь зарежьте... никак не буду...— стоном вырвалось из судорожно прыгающих, дергающихся губ Скибы.

В ту же секунду он затрясся и упал от могучего удара в лицо. Его глаз и нос залились кровью, и алая, липкая

жижа закапала на грязный воротник и засаленную грудь бешмета.

— У-у, сука... Один всю казацкую семью поганишь,— наносся второй удар, прохрипел Дудько.

Скиба вздрогнул и, лежа у ног вахмистра, охнул и, прикрывая руками голову, застонал.

Казаки вздрогнули и зашумели. Солдаты заволновались и сбежались к курганам, спеша к своему адъютанту.

Дудько хищным взглядом окинул волновавшуюся, беспокойную толпу и, быстрым движением отстегнув покрышку кобуры, ловко выдернул наган и с размаху, не целясь, выстрелил в первого, ближе стоящего к нему, большевика. Тот охнул, судорожно схватился за грудь и, сгибаясь и нелепо приседая, ткнулся вперед и ничком упал на траву.

— А ну... кто ще? — вращая глазами и бормоча ругательства, завопил Дудько.— Смирно-о... мать вашу!..

Казаки онемели. Начинавшееся было недовольство разом стихло. Выстрел вахмистра заглушил на минутку разбуженную совесть, и простая, человеческая скорбь вновь испуганно растворилась в животном страхе за себя. Глаза казаков потеряли осмысленное выражение, и его сменило покорное и безвольное чувство подчиненности.

— А ну... прямо по комиссарам... пальба взводом! — коротко бросил Дудько, и высокие звенящие нотки команды резанули наступившую тишину. Казаки машинально, словно автоматы, выбросили вперед перед собою винтовки, ровной четкой линией застывшие в их руках. Шестеро спокойно смотрели на черные дула направленных на них ружей, и только бледные лица и неестественно расширившиеся зрачки выдавали волнение расстреливаемых людей.

В груди Николы пробежал знакомый холодок, и его сердце остро и учащенно забилось. Он заморгал глазами и, чувствуя, что его руки больше не могут держать направленные на людей винтовки, тяжело вздохнул, с шумом втягивая воздух, словно желая вместе с ним набрать в себе решимость и отвагу.

— Взвод... пли!.. — растягивая слова команды, раздельно бросил вахмистр.

В ту же секунду, зажмуря глаза и не отдавая себе отчета от обуявшего его безотчетного страха, не глядя вперед, Никола дернул курок, выпуская, как ему показалось, пулю над головами осужденных людей.

Неровный и недружный залп сухо прорезал воздух и гулким эхом отдался в прибрежных камышах. Звук пробежал над сонными водами Дона и, пугая уток, растаял на другом берегу реки.

Опуская винтовку, Никола открыл глаза, еще бледный и испуганный процедурой расстрела.

На зеленой траве, шагах в десяти от казаков, лежало пять недвижных, залитых кровью людей. Шестой, еще живой, судорожно корчился, хрипя и тяжко выдыхая из себя воздух. Из простреленной шеи комиссара текла густая кровь.

Дудько деловито оглядел расстрелянных и, вкладывая револьвер обратно в кобуру, доложил:

— Готово, господин капитан.

Адъютант удовлетворенно вздохнул и, пожимая руку обрадованному вахмистру, многозначительно произнес:

— Благодарю вас за распорядительность и энергию. Обо всем сегодня же будет доложено генералу, а этого негодяя,— он указал на Скибу,— арестовать впредь до распоряжения из штаба.

Он тяжело взобрался на седло и, еще раз козырнув вахмистру, поскакал галопом в сторону расположившегося на станции отряда. За ним крупной рысью затрусили вестовые. Оставшиеся солдаты вяло и недружно стали рыть могилу для расстрелянных большевиков.

— Команда, смирно! Справа по три, правое плечо вперед, шагом марш! — скомандовал Дудько и тем же тоном обратился к апатично, с обреченным видом стоявшему Скибе:— Ну, ты, сукин сын, ходи впереди колонны, да коли хучь на шаг отстанешь, я сам расквашу тебе башку!

Обезоруженный казак виновато и испуганно прошмыгнул вперед. Когда команда поднималась на бугорок, какая-то неведомая сила заставила Николу оглянуться назад, и он, помимо своей воли, посмотрел вниз...

Двое солдат рыли могилу. Другие стаскивали в кучу убитых. Заходящее солнце, глядя через курган, косыми лучами играло на блестящих лезвиях лопат. Втянув голову в плечи и опустив глаза, Никола быстрее зашагал, стараясь отогнать из памяти ужасную картину расстрела.

Впереди больше и больше рос квадрат коновязей и расположенной бивуаком сотни.

Ночь текла вяло и монотонно. В черно-серой мгле темнели недвижные курганы, и за ними неясно отсвечивала река. Высокий камыш шуршал свежей осокой, и от воды несло предутренним ветерком. Ровная степь, чуть обезображенная бугорками и курганами, разбросалась на широком просторе от самого Азова и до верховьев, уходивших краями в необъятные астраханские степи и зеленые поля Воронежа. Черная как смола ночь опустила свой полог над просторами степи, окутав мраком неровную линию, отделявшую два стана, две разбросанные громады враждующих людей. Наступившая темнота прервала бой.

Равнодушная луна искоса поглядывала на примолкшую степь и снова проваливалась в серые и липкие облака. Частые звезды слабо мерцали, уходя ввысь и постепенно сливаясь с бледнеющим горизонтом. Рассвет был недалек, и серая густая мгла поползла по равнине. От реки оторвался туман и, слабо цепляясь за курганы, потянулся по земле. Меж холмов пробежал ветерок. Туман все рос и крепчал. Луна в последний раз глянула на Дон и, внезапно качнувшись, провалилась в облака. Горизонт стал затягиваться сизой пеленой, и ближайшие холмы ярче и рельефнее обозначились в предрассветной мгле. Предутренняя сырость пронизывала до костей, и воздух стал влажным и густым. Казаки забились под бурки и, поеживаясь, теснее прижимались друг к другу, прячась от набегающего ветерка.

Кони пофыркивали, тяжело сопели и шумно переступали с ноги на ногу, поматывая пустыми, повешенными на морды, торбами. На востоке слабо обозначился рассвет. Серые дрожащие тени ползли по курганам, колеблясь и тая в воздухе. Где-то по-над Доном дважды прокричала встревоженная сова и хрустнул обломившийся камыш. Часовые черными комочками серели на буграх, бесполезно поглядывая слипающимися глазами в подползавшую густую мглу.

Положив голову на ногу соседа, Никола сладко спал, чуть похрапывая во сне. Справа и слева от него спали казаки, тревожно вздрагивавшие от тяжелых сновидений и липкого, всюду заползавшего тумана. Тяжелое неровное дыхание висело над спящими. По пухлым, еще юношеским губам Бунчука бродила довольная улыбка. Николе снилась его станица и широкий густой сад попа Евгения, куда он залез с Панасом Скибою «натрусти алычи». Обоим

лет по десяти, не больше. Никола залез на дерево и с азартом рвет поповское добро, полные сочные сливы, а Скиба, оставшийся внизу, с тайной надеждой, умоляюще смотрит вверх, и Никола без слов знает, что Скиба просит его, Николу, бросить вниз хотя бы пару желтых наливных слив. Усовещенный Никола загорается жалостью к обойденному другу и, сорвав самую большую и спелую сливу, бросает ее вниз. Как вдруг... из-за деревьев к ничего не подозревающему Скибе осторожно крадется поп Евгений и, страшно исказив свое изрытое оспой лицо, тянет к нему длинные цепкие руки. Никола видит это... его рука отпускает ветку, он широко раскрывает глаза и, весь полный ужаса и страха за Панаску, хочет ему громко отчаянно крикнуть «беги»... но язык его нем, голос беззвучен и ни один звук не может вырваться из его груди. «Беги, беги...» — силится выкрикнуть Никола, но поздно... длинные руки попа уже схватили перепуганного, забившегося в ужасе Панаску, и сухие, цепкие пальцы душат помертвевшего от страха друга. И видит Никола, что Панаска уже не мальчик, ворующий поповские сливы, а казак Скиба, а поп Евгений уже не поп, а вахмистр Дудько, изо всех сил сжимающий Панаске горло. Лицо Скибы побагровело, в его глазах слезы, он что-то жалобно и громко кричит, но Дудько неумолим, он сильнее и крепче сжимает Скибе горло, и по цепким скрюченным пальцам вахмистра стекает липкая Панаскина кровь.

— О боже...— всхлипывает во сне Никола, и сердце его обливается болью и страхом за судьбу друга, попавшего в безжалостные лапы Дудько. И хочет Никола оказать помощь ему и не может. Смертельная слабость сковывает его руки, а язык, как подвязанный, молчит. Вахмистр валит Скибу на землю. Панаска падает, издавая долгий и протяжный стон:

— Нико-о-ла!..

И кажется казаку, будто этот крик погибающего друга переворачивает в нем его сердце и заливает всю душу теплой братской любовью к уже погибшему Скибе и острой печалью о невозвратимой утрате.

— Господи,— бормочет Бунчук и, еще полный страха и тоски по бедному Скибе, открывает глаза.

Над ним висит широкое донское небо с белесоватым рассветом и бледными немигающими звездами. Холодный ветерок тревожит высокую траву и бродит по лицам

спящих казаков. Подгоняемый им туман отрывается от земли и, редея, плывет неровными клочьями, сквозь которые чернеют невысокие курганы.

— Приснилось, — и Никола облегченно вздыхает, вспоминая свой тяжелый сон. Он приподнимается и осторожно, чтобы не разбудить соседей, потягиваясь, встает и еще сонный бредет вперед. В душе Николы хаос. Мысли не совсем ясны, а острый осадок от кошмарного сна и печаль еще не улеглись.

«Неужто сказнят? — буравит голову тревожная мысль.— Сказнят... не иначе... вон и хлопцы то же сказывают». И скорбь об обреченном на смерть Панаске снова теплой и жалостной волной заливает все существо Николы.

«Надо бы пойти хучь взглянуть на него»,— думает он и медленно пробирается между спутанных, сонных, вздрагивающих тел и понуро стоящих апатичных коней...

На пулеметной тачанке, укутав башлыком голову и сунув ноги в ароматно пахнущее сено, спал есаул. Рядом с ним, скрючившись самым невообразимым образом, лежал хорунжий Горобец, а внизу у колес тачанки, разметавшись сильным огромным телом, лицом вверх, храпел Дудько. Около него в землю была вставлена пика, на которой болтался голубой сотенный значок. Это был штаб сотни. В стороне от тачанок сидел дремлющий часовой, на обнаженной шашке которого изредка поблескивали бледные утренние зори. Восток заалел и покрылся розовой пеленой. Густые, как вата, обрывки тумана сильнее поползли по степи, тая и растекаясь в наступающем утре. Где-то тревожно и неуверенно чирикнула птичка, и робкие, еще неверные лучи солнца глянули из-за Дона, пробежав веселой улыбкой по насупившимся холмам.

Наступило утро. Даль медленно прояснялась, и четкие контуры степи яснее проступали сквозь убегавшую мглу.

Около часового лежал недвижный черный комочек, от которого неслось частое и неровное дыхание. Это был завернувшийся в бурку Скиба, арестованный и отделенный от других казаков. Никола медленно приблизился к часовому:

— Здорово, Пацюк.

— Ну,— выжидательно и опасливо спросил тот, бросая косой тревожный взгляд в сторону тачанки.

— Спит?

— Спит,— так же недоверчиво, шепотом сказал Пацюк и, не меняя тона, продолжал: — Ходи ты отседа, Никола, к бисовой маме.

Никола нерешительно повернулся и, замедляя шаги, пошел обратно ко взводу, еще раз на ходу оглянувшись на черный свернувшийся комок.

Когда он подходил к своему месту, люди уже просыпались. Дневальные бродили меж коновязей, и чей-то сонный осипший бас надорванно гудел:

— Да иди вже... тю... иродова твоя душа.

Солнце властно и победно выползало на горизонт.

«Неужто так вот легко лишить жизни другого человека? Поднял винтовку, нажал курок и конец... нету жизни...» — думал Никола, вспоминая вчерашний расстрел.

— Чудно,— протянул он, недоуменно окидывая глазами расстилавшуюся степь.

— Чего ты? — буркнул Пацапан, пожилой и хмурый казак, неведомо почему попавший в эту мобилизацию.

— Чудно, дядько Пацапан, как я подумаю. И как это все творится на свете, один господь ведает. Живет вот человек, и ест, и пьет, и службу свою справляет как надо, и все для него имеется — и земля, и солнце, и цельный мир... а вот другой захотит лишить его всей радости, вскинет на него винта и конец. Нету уж ни солнца, ни света, ничего нема. Одна червя, да и та под землей. И отчего это, дядько Пацапан, так выходит? Где ж правда-то?

— А кто ее знае. Правду, говорят, свиньи съели,— буркнул тот, осторожно обкусывая маленький огрызок сахара и со свистом втягивая в себя чай.

— А я так думаю, что это не по-правильному. Каждый человек хочет жить, и каждая травка на солнце цветет, и ласку живая душа больше принимает, чем злость. Ни к чему это все,— не умея передать своих мыслей, путано и взволнованно закончил Бунчук.

— Чего — ни к чему? — не отрывая губ от кружки, спросил Пацапан.

— А все, дядько, и война, и злость людская, и начальство. Не по-хорошему это, не по-божью.

— Эх, Никола, Никола... погляжу я на тебя и див-

люсь. Чудной ты. Тебе бы и впрямь в монахи идти. Какой с тебя казак? Водки не пьешь, войны не любишь.

— Я, дядько, жизнь люблю,— оттого и чудной,— добродушно улыбаясь печальными глазами, сказал Никола, глядя на собеседника.

— Ласковый ты, Никола, ровно блаженный. Ну, ничего, ласковое слово вкусней пирога,— сказал Пацапан, пряча кружку в переметную суму.

Казаки попили чай и, разморенные долгим сном и теплым радостным утром, лежали, довольные и бодрые, на траве, лениво перебрасываясь словами. Вдалеке за холмами показался дымок паровоза, и тающая темная труба дыма обозначила движение бронепоезда. От станции чуть слышно долетали заглушенные свистки, и тяжело дышали стальные квадраты бронепоезда.

— Должно, на разведку,— протянул кто-то из казаков.

— Верно, снова бой,— тоскливо и неуверенно предположил Пацапан и тяжело вздохнул.

Никто не ответил, провожая хмурыми взглядами удалявшуюся дымку бронепоезда.

— А ну там... Пацапана да Бунчука до командира! — во всю силу здоровых легких закричал Дудько, появляясь из-за командирской тачанки.— Живей, живей, не копайся.

Никола вздрогнул и, еще не ведая зачем зовут его к есаулу, быстро вскочил и, оправляя на бегу измятую гимнастерку, бросился к тачанке. За ним, тяжело ступая коваными сапогами, спешил Пацапан.

— Чего изволите, господин есаул?

Оба казака вытянулись перед сидевшим на тачанке есаулом.

Командир оглядел казаков и, слегка задержавшись на круглом растерянном лице Бунчука, сказал:

— Отвезете в штаб этот пакет и сдадите арестованного,— поняли?

— Так точно, поняли,— в один голос подтвердили казаки, глядя немигающими глазами на командира.

— А ну ты, повтори,— обратился есаул к Николе, с добродушной усмешкой глядя на пухлое полудетское лицо казака и его лучистые, неестественно серьезные глаза.

— Должон, господин командир, пакет в штаб отвезти и Скибу в арест сдать,— тихо и раздельно повторил Никола, с усилием выговаривая последние слова.

— Не Скибу, а арестованного,— сухо поправил есаул и, делая строгие глаза, уже коротко и по-военному сказал: — Иди.

Оба казака повернулись налево кругом и заспешили к коням. Через минуту они съехались вместе и, подъехав к вахмистру, приняли из его рук пакет и арестованного... Скиба стоял бледный с неуверенным и жалким лицом. Вчерашние побои резко обозначились на его истерзанном лице. Огромный сизый кровоподтек шел через весь правый глаз, и опухшая щека уродливо выделялась на его лице. Глаза казака робко и испуганно смотрели на вахмистра, а согнувшаяся спина и покорно втянутые плечи, казалось, ожидали новых побоев.

— Ну ты, большевик, седай на коня... должно, в последний раз,— грубо и насмешливо сказал Дудько и, повернувшись к конвоирам, проговорил: — Коли чего там случится, рубайте его на месте.

Пацапан сделал покорно-понятливые глаза и, сунув пакет за пазуху, тронул коня. За ним двинулись Скиба и Бунчук. Проезжая мимо сотни, Скиба отвел в сторону смущенные глаза, но Никола искоса наблюдавший за ним, заметил, как покрылись грустью глаза казака.

— А что, братцы, казнят меня в штабу? — тихо и печально спросил Скиба своих конвоиров.

Никола опустил глаза и придержал коня, стараясь не смотреть в глаза другу, Пацапан же медленно и деловито свернул папироску и, сильно затянувшись, равнодушно сказал:

— Должно, сказнят... Не иначе как да.

Скиба, не ожидавший другого ответа, тихо и печально опустил голову, уйдя в свои безрадостные думы. Никола глядел на его понуро согнувшуюся спину, смотрел на знакомую, грязную гимнастерку, серый затылок и выбивавшиеся из-под папахи русые кудри Опанаса, и вчерашняя скорбь с новой силой разлилась в нем. Никола видел, что Скиба уже примирился с мыслью о смерти, и эта спокойная и равнодушная обреченность еще больше и сильнее огорчала Бунчука. Не понукаемые седоками кони еле шли, и дорога в штаб все еще была далека. Позади за холмами спряталась сотня, и где-то впереди, верстах в трех от нее, у самой железной дороги расположился штаб. До-

рога кружилась между курганами и близко подошла к реке. Высокий камыш густой стеной поднимался над берегом, подрагивая своей нарядной, коричневой бахромой. Яркое солнце дрожало в воде, и тихие заводи были полны золотистых скользких и неуловимых лучей. Серебристая рябь дрожала на волне, и вода, тихо колеблясь, отражала в себе тихий опрокинутый небосвод. Быстрые нырки и хлопотливые ласточки резали крыльями густой и сочный воздух, а тысячи разноцветных стрекоз и шмелей своим гудом и писком наполняли веселый и солнечный день.

— Господи, какая благодать! — ни на кого не глядя, прошептал Скиба и, стянув с головы шапчонку, подставил круглую белокурую голову под прохладные порывы набегающего ветерка.

— Последний раз, остатний разок гляжу я на тебя, тихий Дон,— так же тихо, нараспев проговорил он и еще тише и строже сказал:

— А не хочется умирать, братики... уж вот как неохота!

Казаки не проронили ни слова, молча глядя на Скибу, прощавшегося с тихим Доном, с широкой степью и светлым миром.

Перед Николой снова выплыл его вчерашний сон и хищные окровавленные руки Дудько. Предсмертный стон друга зазвенел в его ушах. Он с усилием отвел глаза от печального лица Скибы и, пересилив себя, взглянул на другой берег реки. На той стороне курились сизые облака и ровной полоской вставали зеленые сады и хутора. Это были Борзиковские хутора, уже третий день занятые красными. Из садов поднимались приветливые дымки, и между дерев неясно маячили люди.

Никола оглянулся. Между холмами было тихо, и ровная спокойная степь казалась безлюдной. Только впереди на станции громыхали поезда и немолчно пыхтел невидимый бронепоезд.

— Ну, хватит... поехали,— прервал молчание Пацапан и тронул коня.

— Погоди... дай наглядеться,— тихо сказал Скиба и, не отрывая глаз от противоположной стороны, быстро и торопливо зашептал: — А кони свои... красные... братцы,— дрогнувшим голосом сказал он, и сердце Николы дрогнуло от бесконечной жалости к нему,— так близко свои, и неужто помирать?

— Ну, будя брехать! — сурово и сухо крикнул Пацапан.— Езжай вперед. Тоже за вас неохота пропадать. Слыхал, что вахмистр наказывал?

Скиба тяжело вздохнул и, не отрывая взгляда от зеленого хуторка, тихо повернул коня и, опустив голову, тронул за повод.

— Стой, стой, Панас! — неестественно высоким голосом закричал Бунчук, и дрожащие, надорванные нотки зазвенели в безмолвном воздухе.

— А ну, руки вверх, дядько Пацапан, руки вверх, кажу я тебе! — неожиданно и для себя и для других закричал Никола, вскидывая на изготовку ружье и наводя дуло в самое лицо побелевшего от неожиданности казака.

— Ты ще, Никола, очумел, чи що? Не шуткуй! — забормотал Пацапан, поднимая над головой руки и с недоумением разглядывая Бунчука.

— Молчи, дядько, молчи, прошу я тебя,— с усилием простонал Никола, и по его глухому голосу и широко открытым зрачкам Пацапан понял, что еще один звук — и этот тихий и «блаженный» Никола застрелит его. Он испуганно заморгал глазами, стараясь не глядеть в побелевшее от отчаяния и решимости лицо Бунчука.

— А ну, Панас, сымай с него винтовку,— торопливо кинул Никола опешившему Скибе.— Так, так, а теперь сходьте, прошу вас, дядько Пацапан, с коня.

— Братики, родные, що ж вы со мной робите, да ведь колы воны меня найдут — пропала моя головушка, под расстрел пойду,— растерянно взмолился Пацапан.

— Не бойсь, дядько, мы вас чумбуром да уздечками свяжем. Нехай на вас за то начальство не обижается,— радостно и весело заговорил Скиба, и его бледное лицо залилось ярким румянцем.

— Не поминайте лихом, дядько Пацапан, и передавайте поклон казакам. Ну, дядько, не гневайтесь на нас... прощайте.

И оба казака крепко поцеловали в губы связанного Пацапана и, раздвигая камыши, въехали в реку.

— С богом, братики,— сказал Пацапан, провожая взглядом уплывавших казаков.

Впереди плыл Скиба, держась за гриву коня и усиленно работая ногами. Сбоку и чуть позади от него виднелась круглая голова Николы в черной барашковой кубанке.

— Ну, Никола,— фыркая и отплевываясь, заговорил

Скиба, переворачиваясь на спину и отдыхая на воде,— вовек не забуду этого, браток.

Никола приподнялся над водой и, выпуская изо рта воду, ласково и радостно улыбнулся. Скиба, хотевший еще что-то сказать, вдруг неожиданно вскрикнул и, делая круглые испуганные глаза, закричал:

— Плыви скорее, Никола, казаки!

Никола приподнял голову и через плескавшуюся залитую солнцем воду увидел позади себя на оставленном берегу кучку конных людей. Они что-то кричали и суетливо сбрасывали с плеч винтовки. Несколько пеших бегали по кургану и, припадая на колени, целились из винтовок в беглецов.

— Ээй-эй!— глухим эхом разнесся невнятный крик, и звуки голоса, перегоняя плывущих, побежали вперед к уже приближающемуся другому берегу, где тоже заметили беглецов ожидавшие их красные. Резко и торопливо щелкнули выстрелы, и частым сухим дождем посыпались пули, будоража вокруг беглецов спокойную гладь. Несколько пуль шлепнулось у самого носа Скибы, и он, выпустив гриву коня, глубоко нырнул, уходя от настигавших его пуль.

В ту же секунду красноармейский пулемет глухо и дробно застучал с противоположного берега, облегчая плывущим путь.

Напрягая последние усилия, Скиба выплыл наверх и, делая судорожные движения, подплыл к низкому, пологому берегу, на котором навстречу ему радостно улыбались веселые лица красноармейцев. Из кустов непрерывным воем стучал пулемет, сгоняя с кургана стреляющих людей.

Когда усталый и обессиленный Скиба вылез на берег, его подхватили сильные дружеские руки, он торопливо обернулся назад, ища плывущего сзади Николу...

Посередине реки, колеблясь на небольших волнах, плыла, покачиваясь, черная кубанка Николы, и к берегу, отряхиваясь и пофыркивая, подплывал одинокий конь Бунчука.

1927

ЗЕЛЕНЯ

1

ДНЕМ копали окопы за станицей, в поле, а ночью собрались все на площади, около ревкома. Солдаты пришли со своими винтовками и сумками и держали себя строго и деловито-важно. Так они, вероятно, держали себя и на войне и эту привычку принесли домой. Парням выдали винтовки в ревкоме, и они долго не знали, что с ними делать: гремели затворами, вскидывали на плечи и целились в небо.

И не думалось, что там, за станицей, за далекими курганами и вербовыми балками, не торными дорогами, а зелеными овсами и озимями саранчой ползут сюда белые толпы — офицеры, господа и казаки. Было все просто и обычно: тополи на бульваре чистят свои листья, как птицы, в раскрытом окне ревкома горит лампа, звенят колеса запоздавшей телеги, покрикивает паровоз на вокзале...

Все эти люди с винтовками — свои ребята. Всех их Титка знал с самого детства. Днем, когда они рыли окопы в поле, в зеленях, они делали это так же истово и заботливо, как и обычную работу по хозяйству, и говорили не о белых, не о борьбе, а о своем, о маленьком, о простом и понятном — о земле, о хозяйстве, о своих недостатках. Вот и теперь они собрались здесь, будто на артельный деревенский труд.

Огненная полоса из раскрытого окна падала прямо на тополь в палисаднике. С одной стороны он горел, а с другой — был черный. Через дорогу перекидывалась ветвистая тень и пропадала во тьме площади. На лилово-пепельной дороге стоял пулемет. На корточках, опираясь на

ружья, сбились в кучку солдаты и говорили, как надо делать «чертову поливку».

В комнате горела висячая лампа с белым абажуром, похожим на макитру. Сосал, как всегда, мокрый окурыш брат Никифор Гмыря, предревкома, натужливо кашлял и разговаривал с солдатами, которые стояли перед ним.

Солдат Шептухов, бывалый веселый парень, подмигивал в сторону Гмыри и смеялся:

— Как по чертежу разъясняет... Башка. Любому охвицеру даст сорок очков вперед. Знай наших!

Около крыльца Титка наткнулся на человека с винтовкой. Стоял он как-то скрючившись, словно мучился в лихорадке. Это был учитель Алексей Иваныч, у которого еще недавно учился Титка.

— Вы зачем сюда пришли, Алексей Иваныч? Да еще больной: идите домой! Вам здесь нечего делать.

Учитель строго спросил его:

— А кто тебе, мальчишке, позволил взять винтовку? Тебе надо в коники играть, а не с беляками драться. И я не болен. Я задумался — даю себе отчет в прожитой жизни.

Титка взволновался: как же это можно, чтобы Алексей Иваныч пошел в окопы? Он — учитель и человек уже пожилой: у него уже седеют волосы, и всем известно, что у него чахотка.

— Я пойду к брату, Алексей Иваныч, и скажу ему, чтобы он вас домой отправил и винтовку отобрал.

Учитель вспылил и стал как будто выше ростом.

— Ты не посмеешь это сделать, Тит. Белогвардейцы мне такие же враги, как и тебе, как всем этим людям. Я вас всех учил мужеству и не жалеть жизни за правду. Как же я смогу отойти в сторону? Ты подумай! Наоборот, я должен идти впереди всех.

О чем думать? Ведь все так ясно и просто: все — вместе, все — свои, и так спокойно и хорошо на душе.

— Алексей Иваныч, тогда я с вами пойду... в одном отделении.

— Ну, что же... пошагаем... Все равно ведь домой тебя не прогонишь. Теперь и ребятишки — бойцы революции.

С вокзала, от броневика, приехали двое верховых, матрос и мальчик с ружьем за плечами. Матрос пристально оглядел всех, вытянулся, отдал честь и засмеялся.

— Ну, вояки-забияки! братишки! Готовь оружие! Беляки очень интересуются, как вы их встретите — с трезвонами, с поклонами или пугаными воронами?

Кто-то сердито крикнул:

— Боевыми патронами... а тебя на акацию за твою провокацию!

Матрос засмеялся и даже икнул от удовольствия.

— Вот молодчаги, братишки! Под стать нашей моряцкой удали...

И он скрылся в дверях ревкома.

Титка подошел к лошадям. Взмахивали мордами кони, раздували ноздри и храпели. Кожа у них лоснилась и переливалась перламутром. Он гладил их и похлопывал по спине, между ногами, по крупам, наслаждаясь упругой теплотой мускулов. Вспомнил о своем рабочем пузатом гнедке. Хрумкает он сейчас месиво под навесом.

Мальчишка озорно хлестнул его нагайкой и, как взрослый, строго прикрикнул на Титку:

— Не тревожь лошадей, лопоухий! Отойди в сторону! Как ты винтовку держишь, дуболом?

— А ты что за блошка? Скачет блошка по дорожке, споткнулась через крошки — бряк!

— А ты — мозгляк! Ты — мазун, а я в революции — уже год. Из дому бежал, школу бросил... У меня отца расстреляли в Харькове... железнодорожника. И я сказал себе: буду их колошматить, как крыс... до конца! И вот этой винтовкой сам застрелил двух белых офицеров. И буду бить их!.. до последнего!

«Какой злой!»— подумал Титка и доверчиво улыбнулся парнишке.

— Неужто тебе не страшно... ежели — в упор?

Мальчик посмотрел на него сбоку, по-птичьи:

— Что значит — страшно? Страшно, когда ты — один, безоружный, а на тебя лезет орава чертей. Но я и тогда плевал бы им в морды... потому что я ненавистью сильный... и у меня — революционная идея.

2

Выступили взводами, один за другим. Шептухов командовал отделением, где были Титка и учитель. Они были вместе, плечом к плечу. И Титке казалось, что они идут

не в бой, а в поле, на ночевую. Солдаты тихо переговаривались и вспоминали германский фронт.

Нигде по станице не было огней, как это было обычно в весенние ночи, и всюду во тьме жутко таилась густая тишина. Еще недавно около ветряков ежевечерне пели девчата, и тогда казалось, что звезды слушали их и смеялись.

Теперь здесь по дороге солдаты отбивали шаг и сдержанно перекидывались словами:

— Вот окаянные куркули! Как вымерли... Поди, оттачивают кинжалы...

— То-то и оно: оттачивают и офицерью подначивают. А генеральство чешет — не успевает салом пятки намазывать.

— А ты думал как? С народом никакая сила не справится. Генералы да эксплуататоры были — и нет их. А народ живет и множится. Он — как земная растения: сколь ни топчи, ни ломай ее — она растет еще гуще. Народ — сила вечная, неистребимая. И чего только они, эти беляки, лютуют? Вот черти не нашего бога! Все равно им — конец... никакие антанты не помогут!

Шли по улице и зорко глядели по сторонам: хаты во дворах, в садах и акациях, дышали, как притаившиеся звери. Каждый ожидал, что в этой непроглядной тьме вдруг вспыхнет выстрел и пуля пронижет одного или нескольких человек.

Шептухов, пробегая перед взводом, бормотал шуточки, ободряя бойцов:

— Ну, други, подтяните подпруги! Крепче винтовки, ребята! Ползет саранча — истребляй саранчу огнем и свинцом, чтобы саранча дала стрекача... Не впервой и врага отражать и в атаки ходить. Хоть и мы умели драпу задавать, да в нашем деле сейчас мы можем стоять только до последнего патрона, до последней гранаты. Стоять будем до смерти, как черти, а драться за жизнь, за свободу, за Ленина! Не забывай: бей без промашки — в сердце, в лоб, чтобы мордой в гроб.

Но никто не смеялся от его шуток.

Учитель шел спокойно, хотя и задумчиво сутулился.

— Ты не боишься, Тит?

— Нет. А чего бояться-то, Алексей Иваныч! Нас, гляди, как много... Своя братва. За свое, за нашу власть и драться охота.

— Да, ты хорошо сказал: за свое и драться охота. Лучше смерть, чем жить в рабстве и потерять свое.

— А зачем умирать, Алексей Иваныч? Давайте об этом не думать.

«Зачем пошел? — с изумлением думал Титка.— Мутит его... не выдержит...»

Учитель взял под руку Титку и заговорил в раздумье:

— Мне сорок лет, Тит, и в вашей станице я работал со дня твоего рождения. Брата твоего, Никифора, я знал еще юнцом. Вы были бесправны и как иногородние могли жить только по найму. Батраки не имели ни голоса, ни опоры, ни защиты. А чем я отличался от вас? Ничем. Я тоже был батрак — интеллигентный батрак, и мое положение было вдвойне мучительно: душу мою насиловали, жизнь распинали. Но я учил вас с детских лет любить и стоять за правду, воспитывал вас как борцов за свободу, за великое будущее. И мне радостно, что я вот иду вместе с тобой, моим учеником, со всеми вами как простой солдат на бой с черными силами за власть трудового народа. Я неотделим от вас, потому что я сам сын народа. И мне было горько, что ты, мой ученик, отнесся ко мне в эти роковые минуты, как к постороннему,— хотел прогнать меня домой.

Титка смутился и почувствовал себя виноватым перед ним. Он любил Алексея Ивановича, и ему просто хотелось вывести его из-под пуль. Ведь он и ружья не может держать по-настоящему...

— Я, Алексей Иваныч, всегда считал вас своим. И ваших наставлений не забывал. С кем же вам идти-то, как не с народом? Я это для того, чтобы охранить вас.

— Отделить от борьбы? — строго оборвал его учитель.—Неверно думаешь, Тит. Надо каждого, кто живет народной правдой,— каждого звать к борьбе... потому что это последний и решительный бой. Но... я понимаю тебя, Тит. Спасибо за доброе чувство, за любовь. А драться будем вместе — бок о бок, плечом к плечу. Это замечательно: учитель и ученик — в одной линии фронта, на линии огня.

Пока дошли до ветряка на конце станицы, встретили два разъезда. Около ветряка остановились и послали разведчиков до следующего поста для связи.

Совсем незаметно подошла к Титке молоденькая девушка. Это была Дуня, его ровесница. Вместе они учи-

лись, вместе и кончили школу. Он был уже рослый парень, хотя ему пошел только что шестнадцатый год, а она казалась еще подростком. Может быть, это оттого, что она была худенькая и слабенькая девчонка: после школы она нанялась батрачкой к богатому куркулю, и ее заездили тяжелой работой.

Она тихо засмеялась и схватила его за руку.

— Это — я, Дуня. Я искала тебя. Хоть не вижу, а узнала...

— Ты зачем тут? Кто тебе позволил? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ну, вот тебе! Я же сестрой иду! Вот и перевязки. Видишь?

Она подняла узелок к его лицу и опять засмеялась.

— Я же — сестра. Нас еще пять девчат. Вот видишь, в школе учились вместе, а теперь вместе на позиции идем. Как хорошо!

Она заметила учителя и радостно рванулась к нему.

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Вот и я — с вами.

— А-а, Дуня,— растроганно отозвался он.— Как славно, что опять мы вместе. Не забыла еще меня?

— Я вас, Алексей Иваныч, всегда в сердце ношу. Тяжело бывает — горько, обидно... А вздумаешь о вас — и на душе легко станет. Вы вот нынче под пулями будете: и убитые будут и раненые. Я не о вас говорю — нет... Ну, а я перевязывать буду... С вами я и останусь!

И вплоть до окопов они шли вместе, и будто не в бой шли, а на ночевую в поле.

3

В окопе пахло весенней прелой землей и медовым соком молодого овса. Тянуло хмельным запахом сурепки, и близко и далеко, до самых звезд, ручейками пели сверчки. А из тьмы, из-за курганов невидимо и неудержимо катится сюда дикая орда с ружьями, пулеметами и пушками. И не торными дорогами движется она, а полями и балками. Казаки и офицеры! Откуда и куда выйдут они к ним, чтобы напасть на них с яростью волков?

По фронту, по обе стороны Титки, люди лежали тихо, и было похоже, что они спали. Только когда кашляли и переговаривались между собою, Титка чувствовал, что они так же, как и он, зорко смотрят во мрак.

Проходил мимо несколько раз Шептухов и шутил, как всегда:

— Ты, Тит? Лежишь, чубук? Рот — вперед, глаза — на лоб!

Так же, как и дорогой, неслышно подошла Дуня и села на краю окопа.

— Уже скоро рассвет, надо быть, Титок. Побыть с тобой хочу. Мне — что? Я — какая есть, такая и буду... а ты — вместе со смертью...

— Пуля-то ведь не разбирает: она одна и для меня и для тебя.

— Вот тебе славно! Ты — с ружьем, ты — в бою. А я буду ползать да раны зализывать. Какая есть, такая и буду.

Титка посмотрел на нее и усмехнулся.

«Не понимает... глупенькая...»

— Ты, Титок, за свободу воюешь, за трудящих... за нашу Советскую власть. А я что? Что я могу? Ты говоришь — одна пуля... Ежели смерть моя нужна, и — не дыхну. Да и не будет этого — трусиха я: буду ползать да раны перевязывать.

И в ее тихом голосе, во всей ее худенькой фигурке Титка почувствовал такую готовность пожертвовать собой, что ему стало жалко ее до слез. Он понял, что она пришла к нему затем, чтобы отдать ему все, что он хочет от нее. И такой родной и близкой ощутил он ее, что невольно обнял ее и прижал к себе.

— Убьют тебя, Дуня... Сгинешь ты... Иди домой!

А она взяла его голову, прислонила к своей тощенькой груди и, как маленького, уговаривала:

— Ты, Титок, не бойся. Не страшно... А ежели страшно, покличь...

Он вылез из окопа и лег около нее. А она ласкала его и шептала:

— Ты не бойся... Какая есть, такая и буду. Я вся тут у тебя, Титок...

Он пробыл с ней до того момента, когда по всей линии волной пробежала тревога и где-то недалеко раздалась команда Шептухова:

— Приготовьсь, ребята! Сами не стреляй! Слушай мою команду!

Дуня ушла так же неслышно, как и пришла, но Титка

еще продолжал переживать восторг, удивление и радость.

На востоке, за двумя курганами, по небу зеркалилась половодьем река. Позади, на вокзале, робко горело несколько огоньков, таких же маленьких, как звезды. Чуть слышно, перебивая и перегоняя друг друга, спросонья хрипели петухи по станице. Эти дураки ничего не хотели знать и напролом, глупо и упрямо исполняли свои обязанности.

4

Впереди, за курганом, загрохотал гром, и воздух упруго задрожал от гула. Что-то затрещало ближе, и Титка услышал, как над ним и около него запели комарики. Учитель стоял неподвижно и прижимался к ложу винтовки. Шептухов подал команду, и по всей линии началась трескотня, щелкали затворы, точно ссыпали в кучку железо. Раздавалась команда Шептухова, и — опять трескотня и звон комариков сверху и по сторонам.

Где-то позади Титки, в стороне, потрясающе разорвался снаряд, и горячий воздух пронизывающе толкнул его в затылок. Кто-то недалеко застонал и глухо завыл, как придавленный возом. Промелькнула ползком фигурка Дуни и исчезла. С другой стороны кто-то крикнул спокойно и деловито:

— Готово! Сестрица, ползи сюда,— у меня готово.

После полудня Титка увидел в мареве солнечного горизонта, на горбылях курганов, бегущие одинокие серые комки, похожие на испуганных овец. Понял, что это они — «кадеты». Из передовых окопов бежали товарищи, останавливались и стреляли. Два человека упали в зеленый овес и больше не вставали. Сорвавшимся голосом командовал Шептухов, но из окопов начали выскакивать по одному и по два солдата и перебегать назад.

Учитель по-прежнему стоял неподвижно и безостановочно палил по курганам.

Титка стоял около него и старательно целился в отдельных человечков на кургане. А когда человечек кубарем падал на землю, он радостно вскрикивал:

— Ага!..

И смеялся от радости.

Через него перемахнул солдат без шапки и больно ударил сапогом по голове. Он очухался и почувствовал

около себя пустоту: в окопах никого уже не было, только, скорчившись, лежал мертвый солдат поперек канавы.

По всей глади зеленого поля перебегали люди, низко наклоняясь над землей. У Титки замерло сердце и похолодело в животе от страха. Он выпрыгнул из окопа и, низко наклонившись, побежал за другими. Как во сне, он увидел бородатого человека, который старался приподняться на руки и, с вытаращенными глазами, хрипел:

— Товарищ... милый! Не дай на муку... не кидай, браток!

Титка отбежал несколько шагов. Неудержимо хотелось стрелять, целиться и стрелять... бить — и бить подряд. Нельзя отступать! Где же Шептухов? Почему нет брата Никифора?

— Да что же это такое?— закричал он.— Да как же это так? Не выдержали, черти, побежали!..

По всему полю перебегали товарищи. Они падали, стреляли, опять перебегали и опять стреляли. Пули визжали, как ветер, и шлепались впереди него, и взрывали землю и зеленую озимь. Он тоже бежал, прижимаясь к земле, подчиняясь общему движению, ложился на озимь и тоже стрелял. Но не видел уже ни дула винтовки, ни фигурок впереди: он плакал, захлебываясь слезами,— плакал навзрыд, как плакал в детстве. Он упал на незнакомого солдата и стал окапываться. Солдат свирепо бормотал и толкал его прикладом в бок. Титка не чувствовал боли и ощущал удары тупо и далеко — и сейчас же забывал их.

Он положил винтовку на бугорок земли и замер. Неподалеку от себя, на одной линии с окопами, он вдруг увидел Дуню. Она лежала на боку, подвернув под себя руки и спрятав в них подбородок. Юбчонка задралась выше колен, и худенькие ноги белели, прижавшись одна к другой.

Он вылез из ямки и пополз к Дуне, не спуская с нее глаз. Солдат рявкнул и схватил его за ногу.

— Лежи!

А он, карабкаясь вперед, не замечал, как чья-то рука изо всей силы тащила его назад,— карабкался, оставаясь на месте и не спуская глаз с Дуни. Голова ее вдруг вздрогнула, и Титка увидел, как брызгами разлетелась она в разные стороны. Кровавые капли ударили прямо в лицо.

Опомнился он опять в ямке, и солдат яростно шептал:

— Путаетесь только тут, иродовы души! Наплодили вас, сморкачей, на нашу шею!..

Все поле до самого горизонта взрывалось вихрями земли и травы и взлетало к небу громадными черными снопами. Уж не было воздуха: был только один визгливый и хрипящий гул.

Когда Титка снова увидел Дуню с кровавым пучком вместо головы, сразу пришел в себя и, задыхаясь, закашлял от рыданий. Потом сразу успокоился и стал целиться вдаль, высовывая голову из ямки.

5

Бежал он вдоль железнодорожной насыпи. Здесь было безопасно: пули звенели пчелками над головою и изредка чакали о рельсы. В сторонке шел Шептухов — неторопливо, широкими шагами. Он скалил зубы и что-то кричал Титке. Титка радостно бросился к нему, но Шептухов вдруг зашатался, как пьяный, взвыл и громыхнулся вниз брюхом. Крепко запомнил Титка, как высоко поднимались его лопатки и выпирали из-под гимнастерки.

Титка налетел на кучу навоза, уже промытого дождями, запутался в нем и с размаху кувыркнулся в канаву.

По всему простору комкастых полей трещоткой разливчато скрежетали пулеметы, а винтовки били беспорядочно — то отрывисто одинокими выстрелами, то дробными залпами.

Ярко врезалось в память Титки голубое небо, простое и родное, и два облачка подряд: одно — большое, другое — маленькое, и солнечный воздух, и запах весенней солоделой земли и гниющей травы.

Станица была недалеко, но не видна за насыпью, и только четко, растопыркой вырезались на небе из-за насыпи два крыла ветряка. Сейчас же около станицы, под насыпью, была большая дыра. Из нее шла в поле черная дорога с застывшими комками грязи по бокам. Вдали, где насыпь врезалась в бурый подъем и переходила в степь, среди оторванных от станицы станционных казарм дымился броневик. К нему бежали толпы людей и барахтались около грузных вагонов, зашитых в железные листы.

На крутую насыпь взбирался учитель с винтовкой под мышкой. Поднимался он спокойно, не оглядываясь. Раза два он поскользнулся, но упорно карабкался наверх.

Небоязливо, во весь рост перешел через рельсы, и Титка увидел конец дула и дымок от выстрелов.

На улице не было ни души. Направо, за станицей, черным табуном быстро ползла колыхающаяся лента конницы. Чем ближе подвигалась она, тем становилась длиннее и тоньше, охватывая станицу черным муравьиным полукругом.

Среди мертвой пустоты улицы Титка впервые почувствовал страх. Спотыкаясь, едва добежал до очерета, окружавшего хату. В глубине двора испуганно перекликались голоса женщин и детей, ревел грудной ребенок.

Калитка была заперта. Титка прыгнул на забор и оседлал его, но сразу же отпрянул назад. С дрючком в руках бежал к нему волосатый казак и хрипло рычал матерщину.

Титка спрыгнул на улицу, и в то же мгновенье дрючок ударился о верхний край забора и пролетел над его головой. Он опять побежал, держась близко к огороже, не пытаясь забегать во дворы. Был он один, окруженный врагами. Они еще не пришли, но были уже всюду.

Стрельба шла по окраинам. Изредка стреляли где-то на улице — может быть, из засады.

Впереди, из переулка, выбежал хромой, лысый человек с ребенком на руках. Вслед за ним на лошади выскочил черкес в огромной лохматой папахе, с белой повязкой наискось. Он настиг лысого человека и со всего размаху ударил его по голове. Ребенок полетел на землю. Человек пробежал два-три шага, грузно осел вниз и свернулся калачиком. Черкес все еще держал на отлете запачканную кровью шашку, вертел измученную, бесившуюся лошадь на одном месте, зорко смотрел во все стороны, как ястреб, и искал чего-то в пустой жуткой улице.

Титка прижался в уголке палисадника маленькой хатки. Он присел на корточки, прилепившись лицом к частоколу, и не спускал глаз с верхового.

Лошадь юлой завертелась на месте, поднялась на дыбы и сделала большой прыжок в сторону, где лежал Титка. Оскалив зубы, черкес рванул поводьями, остановился и опять хищно и пьяно осмотрелся вокруг, потом повернул лошадь, ударил ее шашкой по боку, и она галопом скрылась в переулке. Близкий к обмороку, Титка выполз из засады и, скрючившись, опять побежал вдоль улицы, прилипая к забору. Из-за угла переулка он посмотрел в

ту сторону, куда скрылся черкес. Вдали тусклым пламенем горела пыль, и в ее облаках бешено носились поперек улицы, навстречу друг другу, еще человек пять конников в таких же самых шапках и с шашками на отлете.

Далеко, в конце улицы, черкесы охотились за людьми. Ослепительно вспыхивали шашки на солнце.

На выгоне начался пожар. Горело в трех местах в одном квартале. Долетел одинокий исступленный женский визг, повторился раза два и замолк. В той же стороне раздалось несколько одиночных выстрелов, и опять все смолкло, и в станице стало так же неподвижно и мертво, как ночью. Выли и истерически тявкали собаки. Звенела дробно перестрелка.

Титка повернул в переулок, перебежал улицу и прыгнул в пустой двор, заросший мелкими акациями. Как слепой, он споткнулся о свинью, и она пронзительно завизжала. Он не заметил, как залез в закуту, и не почувствовал вонючей грязи, в которую он погрузился и плечом и коленями.

6

Первое время ему казалось, что он в безопасности. В закуте было темно, и звуки долетали сюда отрывисто и глухо. Раскатисто ахали одиночные выстрелы, и во весь опор далеко топотали лошади.

Рубашка и штаны пропитались вонючей жидкостью, и было очень неудобно лежать. Сапоги его высовывались наружу, и когда он заметил это, ему стало опять страшно. Он хотел скорчиться в комочек, чтобы втянуть ноги в норку, но клетка была маленькая и весь он поместиться в закуте не мог.

Недалеко скрипнула дверь. Титка посмотрел в щелку между досками и увидел, что из хаты вышел молодой казак и, держа в обеих руках винтовку, тихонько стал подкрадываться к закуте.

Это был Ехим — тот самый Ехим, с которым они сидели в школе на одной парте, а потом дружили и гуляли с девчатами. Со страхом и надеждой Титка вылез из закуты и вскочил на ноги.

— Брат!.. Ехим!

Казак опешил, потом оскалил зубы и вскинул винтовку к плечу.

— Стой! Держись, бисова душа!..

Титка со всех ног бросился в пустырь, весь забитый прошлогодним бурьяном, лопухами и мелкими кустами акации. Он слышал позади себя бегущие шаги и щелканье затвора винтовки. Его толкнул выстрел, и шею полоснул ожог. Он наскочил на низкий плетень, одним прыжком перемахнул на другую сторону и побежал по картофельному огороду, увязая в рыхлой земле и путаясь в ботве. И опять очутился на улице. На другой стороне был пустырь, загороженный полуразвалившимся пряслом, а дальше — куча хат над прудом, забитым зеленым камышом, и белые хаты на той стороне, на взгорке.

Он оглянулся назад и увидел, что Ехим с винтовкой наперевес летит к нему с таким же лицом, какое было у казака с дрючком. Титка остановился.

С визгом и оскаленными зубами Ехим размахнулся прикладом. Тит посторонился и сбоку со всего размаху ударил его по рукам. Винтовка упала на землю и, дребезжа, отпрыгнула в сторону. Ехимка обхватил его шею и вцепился зубами в грудь. Титка ударил его коленкой промеж ног, и Ехим закорчился, застонал и отпрянул от него с ужасом и болью в глазах.

Из-за угла нестройно и торопливо вышел отряд с белыми повязками на шапках. Неслась пыль вместе с ними и окутывала всех, как дым. Лица были черные. Мелькали только белки да скалились зубы, и от этого все казались свирепыми.

Ехим радостно завыл и схватил Титку за грудь.

— Ото ж вин... Тытко! Хотив вбиты мене... Бачьте, одняв... винтовку в мене... Большевык!.. Бачьте!

— А ты — кто такой?

— Казак, ваш-бродь... Ехим Топчий...

— А это?

— Городовик, ваш-бродь... из окопов тикав. Сховавсь у нашом закути... а его поймав.

Ехимка бубнил, едва переводя дух, а лицо его уродовалось радостью и торжеством:

— Это ж я его, ваш-бродь!..

Титку втолкнули в толпу и погнали вдоль улицы. Раза три во время пути его толкали прикладом и орали:

— Ну, тёпай, пока живой! Вояка тоже... молокосос!

Улицы были по-прежнему пусты. Пальба уже прекратилась, и впереди по одному и по два спокойным шагом

проезжали верховые. По дороге попадались трупы. Это были свои, станичные, городовики. Они, должно быть, бежали по дороге и были убиты во время стрельбы.

7

На площади пленникам приказали сесть на комкастую землю, у ограды церкви, и разуться. Казаки, солдаты и верховые прибывали группами изо всех улиц. Покорно, дрожащими руками все сняли обувку. Подошел волосатый черкес и стал откидывать ее в сторону, в кучу. Потом приказали скинуть штаны, куртки и пиджаки. И это они сделали так же обреченно и покорно, с тем же неугасимым ужасом в глазах. Тот же черкес собрал все это в охапку и отнес в ту же кучу, где лежала обувка.

Титка стоял неподвижно и смотрел на детей, играющих на школьном дворе. Он не разувался и не раздевался, как другие,— не то не слышал приказа, не то не захотел. Подошел черкес и толкнул его прикладом:

— Испальнай прыказ! Снимай сапог, тарабар — шаровар!

Титка отвернулся и засунул руки в карманы. Черкес рассвирепел и ударил его прикладом в спину. Титка закрутился на месте, но не упал.

— Санымай, болшавык-собака!

Титка прищурился от ненависти и злобно крикнул:

— Не сниму! Снимай, когда дрягаться не буду...

Черкес стал серым, оскалил зубы и опять замахнулся на него прикладом, но, встретив взгляд Титки, остановился. Должно быть, его поразил и обезоружил взгляд молоденького парня. Он пошел прочь, бормоча что-то по-своему.

Пришла партия офицеров с новыми пленниками. Опять все были свои — городовики. Среди них Титка увидел мальчика, того, что встретил у ревкома, и старуху Передерииху — ту самую, которая недавно ударила палкой по голове генерала, захваченного в соседней станице, и плюнула ему в лицо. Она стыдливо улыбалась, бродила среди толпы и бормотала одно и то же:

— Та люды добри! Чого ж воны визьмут з мене? Бо я ж стара та слипа... стара та слипа... Оба-два сыны у мене на войни вбыты... А я — стара та слипа... Чого з мене?

И никак не могла успокоиться. А на нее никто не обращал внимания.

На дворе школы играли двое мальчиков. Один — лет шести, с длинными белокурыми кудрями, в черном костюмчике, а другой — серенький, грязненький, должно быть, сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку здания и ловили его.

А Передерииха все бродила между пленниками, сидящими в нижнем белье, и бормотала надрывно одно и то же:

Та скажить мени, люды добри! бо я стара та слипа...

Раздалась где-то в стороне команда, ей ближе откликнулась другая. Офицеры и казаки, отдыхавшие под тенью тополей, вскочили, быстро построились в две шеренги и, держа у ног винтовки, повернули головы в улицу. К бульвару подъезжал седой генерал, в белой черкеске, на белой лошади.

— Смиррна!

Генерал подъехал к строю и что-то невнятно и небрежно пробормотал.

— Здра-жла-ваш-при-ство!

Генерал проехал вдоль строя, и Титка услышал, как он строго и холодно сказал:

— Спасибо, ребята, за прекрасную работу!

— Рад-страт-ваш-при-ство!

Генерал подозвал офицера и что-то сказал ему. Офицер суетливо бросился к огороже бульвара и крикнул:

— Эй вы, азиаты! Волоки сюда их! Живо!

Черкесы вскинули винтовки на плечи и взмахнули руками.

— Арря!

Пленники побрели вместе с конвойными к генералу.

При входе на бульвар генерал взмахнул нагайкой и остановил их. Он въехал в самую середину толпы. Пленников расставили полукругом. Откуда-то внезапно подошли станичники и стали таким же полукругом за конвоем.

— Почему захвачен мальчишка? А ну, чертенок, кто ты такой?

— Свой... немазаный, сухой...

— Как?

— Так... попал дурак впросак... Не все дураки — есть и умные.

— Что-о? Ах ты поросенок!

В толпе блеснули улыбки.

— Откуда мальчишка?

— Захвачен за станицей с оружием в руках.

— Почему с оружием? Откуда у тебя оружие?

Мальчик прямо смотрел на генерала, оглядывался на товарищей и улыбался. Он увидел Титку, обрадовался и кивнул головой: «Ни черта, мол,— не бойся!»

— Откуда у тебя оружие? Вместе с большевиками был? Что делал за станицей?

— Сорок стрелял.

— Как это — сорок?

— А так... сорок-белобок. С кадет сбивал эполет...

Мальчик продолжал смотреть на генерала дерзко и озорно.

— Поручик! — генерал взмахнул нагайкой.

— Слушаю-с!

Поручик взял мальчика и потянул его из толпы. Мальчик озлился, вырвал рукав из рук офицера. Заложив руки в карманы, он посмотрел на него звериными глазами. На бледном лице дрожали насупленные брови.

— Ну, иди, иди!

— Не трожь! Не цапать!

— Ах ты урод этакий! Кубышка!

— А ты не цапай! Мерзавцы! Мало я вас перестрелял...

Офицер с изумлением взглянул на мальчика.

— Ах ты комарья пипка!

И с усмешкой взял его за ухо. Мальчик яростно ударил его по руке.

— Не смей трогать, белый барбос!

Офицер нахмурился и покраснел. И непонятно было, не то он был оскорблен, не то смутился. Он отвернулся, молча и хмуро подвел мальчика к старухе и поставил около черкеса с винтовкой.

Титка слышал, как кто-то взял его за рукав и, царапая ногтями по руке, потащил на бульвар. Около него шло огромное существо, тяжелое, как глыба, и смердило потом, перегорелым спиртом и горклой махоркой. Ему стало непереносно лихо.

— Брысь, чувал! Сам пойду...

Казак засопел и захлебнулся слюною.

— Убью, сукин сын!

Широкими шагами Титка зашагал вперед, не оглядываясь. Было похоже, что он качается в огромной качели и видит, как колыхаются и плавают тополи и облака. Да-

леко, не то на той стороне, за рекой, не то в глубине его души, большая толпа пела необъятную песню, и песня эта звучала как призрачно-далекие колокола.

Мальчик хватал его за руку и дрожащим голосом кричал, задыхаясь от ненависти:

— Я им не позволю цапать! Я не какая-нибудь слюнявка... Я ихнего брата много перестрелял. Стрелять — стреляй, а цапать — не цапай! Тебя как зовут? Меня — Борис. Мы будем вместе с тобой... Когда нас будут стрелять, мы будем рядом. Хорошо?

— Я хочу пить...— сказал Титка и все прислушивался к песенному прибою волн.

8

Генерал уехал, и толпу пленников повели вслед за ним по улице, к реке.

Подошли четверо казаков с нагайками, молодые, веселые ребята. Они скалили зубы, как озорники, и ломались около Передериихи. Один из них взял ее под руку и, изображая из себя кавалера, потащил к скамье под тополем. Остальные трое шли за ними и надрывались от хохота. Передерииха бормотала, как полоумная:

— Та я ж — слипа та глуха... хлопчата! Хиба ж я — дивка? Вы ж таки гарны та веселы... веселы та гарны...

Казаки корчились от хохота.

Передерииху посадили на скамью. И тот казак, который вел ее, гаркнул хрипло и остервенело:

— Ложись!

Передерииха опять плаксиво забормотала. Казак жвыкнул нагайкой. Передерииха заплакала и онемела. Казак толкнул ее. Она упала на скамью и осталась неподвижной. Двое других задрали ей на спину юбку, и Титка увидел дряблые ноги с перевязочками под коленками и сухие старческие бедра.

— Катай ее, старую стерву!

Один казак сел на ее черные босые ноги, а другой опирался руками на голову. Третий с искаженным лицом зашлепал нагайкой по сухому телу... Скоро она замолчала. А казак все еще хлестал ее и при каждом ударе хрипел:

— Х-хек! Х-хек!

Тот, который сидел на ногах, слез со скамьи и махнул рукою:

— Стой, хлопцы!

Казаки стали завертывать цигарки. Один вытащил из кармана веревку, стал на скамью и начал торопливо и ловко укреплять ее на суку тополя.

— А ну, хлопцы! Треба по писанию...

Казак задрал старухе юбку вплоть до живота, сделал ее мешком, спрятал в ней руки Передериихи и подол завязал узлом. Двое подняли ее, и первый накинул на голову веревку.

— Есть качеля!

И пошли прочь.

Борис кричал им вслед и ядовито смеялся:

— Дураки-сороки! Куркули! Вздернули бабку. Тряпичники! Барахольники!

Казаки оглянулись и заматершинничали. Один из них погрозил нагайкой:

— Ото ж тоби забьют пробку в глотку.

— Сороки-белобоки! Бабьи палачи!

Со стороны реки загрохотали выстрелы. Два черкеса, которые охраняли Титку и Бориса, подтолкнули их прикладами и погнали к церковной ограде. Мальчик шел сурово, как взрослый, только ежился, словно ему было холодно. Он часто сплевывал слюну.

— Они думают, я боюсь... Много я вас перестрелял, мерзавцев... Плевать на вас хочу! Не бойся, Тит! Давай руку!

Титка слышал, как сквозь сон, голос мальчика и не понимал, что он говорит. Он одно чувствовал, что не идет, а плывет, качается по волнам. Чудилось, что он качается на небесной качели и вместе с ним плавает и несется весь мир.

Их поставили около ограды. Черкесы стали в нескольких шагах от них и оба разом наперебой скомандовали:

— Легай! Арря!

Титка смутно слышал это и не понял, а мальчик забился около него, как связанный, и закричал в исступлении:

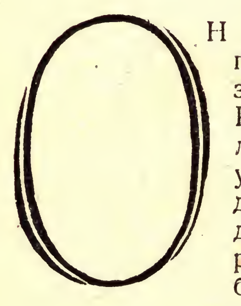
— Не лягу! Вот! Мы — оба! Вот!..

Черкесы вскинули винтовки, и крик мальчика унесли с собою два оглушительных взрыва.

1922

АГИТВАГОН

I



Н ПОЯВИЛСЯ у нас... постойте-ка, дайте припомнить. Я пошел на репетицию при зеленых третьего июня прошлого года. Концерт мы ставили пятого июня при налете казаков, а повторили его десятого — уже при красных. Так вот прибавьте еще две недели... Совершенно правильно, день в день. Он и появился у нас двадцать второго июня в десять часов утра, можете быть уверены в этом, как в собственном дне рождения.

Рассказчик сделал перерыв, чтоб налить себе в кружку, где на донышке осел выжатый ломтик лимона; откусив изрядную порцию ситного, усеянного, как мухами, жирным черным изюмом, он не спеша глотнул горячего чая и снова утвердил кружку на ритмически подрагивающем откидном столике.

Время было летнее, окна открыты справа и слева. В коридоре юго-восточные люди дымили густым сухумским табаком. Ветер, гулявший между окнами, заносил с собой запах нагретой степи и сладкого клевера.

Поезд летел на юг.

— Гражданин, что же дальше?

Рассказчика, худого мужчину в пиджаке из альпага, потного от жары и чая, обсели слушатели. Все глядели ему в рот, одни из любопытства, другие с бессознательным аппетитом соглядатаев,— уж очень поджарый мужчина вкусно ел и пил. Ни одной крошки не уронит, все соберет с пиджака, встряхнет на ладони, посмотрит, да и отправит себе в рот. А неровные места ситного, обкусанного зубами, выровняет тотчас же острым перочинным ножом, отрезанный ломтик направляя все в ту же аккуратную глотку, как

топливо в печку. И добро бы резал сыр-пармезан или чарджуйскую дыню,— а и всего-то ситный не первой свежести. Слюнки закипали во рту у соседей. Впрочем, он не только вкусно ел, он и говорил очень вкусно. В его лице, изрезанном бесчисленными морщинами, было что-то, напоминавшее хорошую топографическую карту, складывавшуюся квадратиками. Глаза, как озера, поросли полуседым кустарником бровей. Подглазные пятна вклинивались глубоко в худые щеки. Подбородок хранил следы бесчисленных бритвенных порезов. Верхняя губа то и дело приподымалась, как у кролика над зеленями. И усы над ней, будто выкорчеванные корни деревьев на лужайке, отмечались только глубокими точками впадин и бугорков.

Внимательному человеку стало бы ясно, что перед ним опытный притворщик по профессии. Стрелки, избороздившие кожу, точно показывали привычное направление его улыбок, гримас и мимики. Складное лицо превратилось бы в маску, если б не грустные и прямые глаза, всякий раз встречавшиеся с вашими непринужденно и внимательно. Эти глаза говорили о высокой интеллигентности незнакомца. Было ясно, что он понял, взвесил и разместил каждого своего слушателя в строгом иерархическом порядке, вывел среднюю равнодействующую и весь применился к ней, ассимилировавшись со средою ровно настолько, чтобы не быть ни на иоту ни выше, ни ниже ее. Эта внутренняя «аккомодация» стала бы заметна, повторяю, только очень внимательному наблюдателю, но его сейчас не было. Единственный тонкий пассажир, горбун-коммунист, с лицом насмешливым и значительным, был сейчас невозмутимо равнодушен и спокоен. Убаюканный поездом, он просто-напросто спал, обращая столько же внимания на все происходящее, сколько на мух, ползавших у него по лицу. Остальные — поддевки и русские рубашки, красноармеец, две женщины в шляпах да коридорные брюнеты коммерческого вида, как я уже сказал, с восхищеньем глядели говорившему в рот и чувствовали себя с ним в одной тарелке.

— Некуда спешить,— наставительно заметил рассказчик нетерпеливому слушателю,— рассказ, как монпасьешку, только дурак грызет, а умный на языке держит да исподволь посасывает. Вот, значит, он и появился у нас ровно двадцать второго июня в десять часов утра.

— Гражданин, да разъясните, кто появился-то,— не

терпелось соседу, вихрастому юноше из железнодорожных служащих.

— А вам бы, молодой человек, самую чуточку обождать, тогда бы и вопрос свой не задавали неправильно. Не «кто», а «что»... Ибо я рассказываю о необыкновенном вагоне. Но прежде разрешите вам сказать, что перед вами знаменитый артист труппы Раздувай-Печурина, двадцать восемь лет кряду не покидавший сцены. Собственно, я даже тенор. Я пел Фауста. Но по мере надобности пришлось и актерствовать и режиссерствовать, а последние пять лет, благодаря оживлению политики, заниматься куплетами. Бывало, спою куплет на каждый образ правления, он и ходит по городу. А в междуцарствие у нас особая песня пелась, «Васькой» звали. Домовая охрана при охотничьих ружьях, уголовная тюрьма вся поразбежалась, а у нас зала приказчицкого собрания полным-полна, и публика с меня требует «Ваську». Ну, выйдешь, споешь им:

Васька Тертый говорит:
Что такое колорит?
Это, брат, такое дело:
Слева красно, справа бело,
У Деникина черно,
А у Махно — зелено.
Отвечает Васька Тертый:
Очевидный мелешь вздор ты.
Колорит, брат,— в спирта литре
Слить все краски на палитре...

Рассказчик спел это приятным тенорком и продолжал дальше, покосившись на спавшего горбуна.

— Так вот, двадцать второго июня по новому стилю, после переворота, ранним утром бегут ко мне мальчишки с нашего двора и кричат во весь голос: «Дяденька, дяденька, за вами солдаты пришли». Вышел, в чем был,— на пороге два красноармейца с винтовками: «Так и так, товарищ, нам нужны сознательные силы для борьбы с деревенской темнотой. Устраиваем летучий митинг в образцовом вагоне и, как мы наслышаны, что вы очень хорошо куплеты говорите, то за вами из исполкома присылают, и хоть без бумажки, а явка обязательна».

Я взял фуражку и пошел. Исполком помещался у нас в бывшей городской управе, на площади, прямо против городского сада. И что же я вижу? Стоит перед самым крыльцом огромнейший, длинный вагон на колесах, запряженный четверкой лошадей. Вагон покрашен в красную

краску, совсем как в прежнее время странствующие театры ездили. По обе стороны окошечки с занавесками, а между окошечками выведены желтой краской эмблемы республики, агитационные надписи и лозунги. И все это сделано не как-нибудь, а чисто, нарядно, с хитростью. Куда ни посмотри, отовсюду действует. Особенно сзади был хороший рисунок — звал рабочий, поднимая тяжелый молот над старым миром, к будущему, сиявшему над ним пламенной пятиконечной звездой; и так он заразительно звал, что смотреть нельзя было без подъема. Вокруг вагона столпилось множество мальчишек; кто ни проходил по площади, остановится и смотрит.

Поднимаюсь по лестнице в исполком. Навстречу молодой человек в гимнастерке и с револьвером у пояса, красивенький, как ангелы художника Перуджино. Назвался секретарем.

— Вы,— говорит,— гражданин такой-то, куплетист нашего города?

— Именно,— отвечаю.

— Так вот, не возьмете ли вы на себя задачу выступать на наших летучих митингах с импровизированными куплетами? Тему мы вам заблаговременно укажем, условия назначьте сами. Вагон направляется по всем окрестным деревням и в первую очередь в казачью станицу Молчановку.

Я подумал минуты две и согласился. Хотел было уж и домой повернуть, но секретарь останавливает:

— Нет, товарищ, не успеете. Если кого предупредить надо из домашних, пошлите записку. А только в десять часов соберутся сюда все участники митинга, и мы должны выехать.

— Чаю,— говорю,— не пил.

— В дороге напоим...

— Почему же,— говорю,— в такой ударной поспешности?

Он мне рассказывает, что у них все уже давно было устроено и разработано, а только ночью заболела их концертная певица, и было решено заменить ее кем-нибудь из городских. А уж тут им про меня столько наговорили, что загорелось им непременно везти с собой куплетиста, да и только. Этаким образом мне осталось лишь закупить поблизости четвертку табаку и усесться в ожидании на площадку вагона.

Проходит с полчаса, и, наконец, собираются мои попутчики. Я наблюдаю со стороны и вижу, что они сами-то не знают друг друга. Одни — шапочно, а иные — совсем никак. Первым подходит высокий такой, ростом с добрую подворотню, весь в парусине, штаны широкие, пояс ремешком, лицо не наше,— оказался грузином. Этот и еще другой, худенький, в синей рубашке, были партийные ораторы с мандатами от парткома. Поздоровались они молча и — в вагон. Как я потом узнал, синенький был из очень важных, прикомандированный к нам с войском, а грузин — местный работник, до переворота в тюрьме сидел. За ними машинистка, девочка молоденькая и хорошенькая; пятеро человек музыкантов и секретарь исполкома с лицом Перуджинова ангела. На переднюю площадку взгромоздился казак с винтовкой, взял в обе руки вожжи, цокнул на лошадей, и мы поехали. Покуда ехали, весь город, кто ни попадался, смотрел на нас выпуча глаза.

II

В вагоне же было на первый взгляд, как в читальном зале. Чистенько, пол крашеный, будто на квартире, стены в портретах, картах и плакатах. А посередине, на столе, множество брошюрок и книжек, одно и то же названье по двадцати — тридцати экземпляров; тут же в ящиках листовки и газеты.

Едем мы, подзакусили, курим. Занавесочки на окнах колыхаются, как паруса. Выехали из города, пахнула нам в окна степь. Летом в наших кубанских степях хорошо, как в американской прерии: трава по пояс, кругом глаз не охватит простору, дорогу меж волнами ковыля не разглядишь, ни людей, ни животных, дергается иной раз в траве перепел да свистит иволга, и таким манером не верста и не две, десятки верст. Станицы затеряны, до хуторов не докричишься. А встретится хуторянин в широкой шляпе-осетинке из белого войлока — издалека ни дать ни взять сомбреро. Компания моя в фургоне, видно, давненько за городом не была. Худенький в синей рубашке посмотрел в окошко, скинул пенсне на шнурочке, оглянулся на нас, и лицо у него сразу другое стало; барышня-машинистка до того развеселилась, что непременно пожелала за фургоном босиком бежать, а грузин, как уселся, ворот расстегнул,

ноги на другую скамейку перед собой положил и давай тянуть грузинские песни, одна другой заунывней. Музыканты ему на духовых инструментах подыгрывали.

Разговор у нас как-то вначале не клеился. Только мы с секретарем условились насчет темы для куплетов, и я тут же набросал несколько стишков, прочел ему и получил одобренье. А жара все распаривает, земля сладким соком исходит, дышать тяжело от благовония. Скинули тужурки, сапоги... Лица начали загорать ярко-розовой краской. Барышня обожгла себе спину и руки до локтя так, что они пузырями покрылись. Свернули мы с верстовой дороги на проселочную, сделали привал и к вечеру должны были подъехать к станице Молчановке. Только к самому закату, когда вся степь клубилась в огне и рыжие пятна плыли перед глазами у того, кто глядел на небо, вдруг вдалеке послышалась частая трескотня. Сыпалась она, как горох через сито, без умолку. Кони наши остановились, казак слез с козел и подошел к нашему окошку, откуда выглядывал худенький в синей рубашке.

— Пожалуй, лучше нам будет поворачивать.

— А что такое? Выстрелы из Молчановки?

— Да, больше неоткуда. Я эти места наскрозь знаю. Тут не приведи бог застрять, окружат со всех сторон, как в мышеловке. Может, белые отбили Молчановку.

— Как это может быть, если мы утром ничего не слышали? Местность была очищена до самой Тихорецкой.

— Всяко случается, о чем вперед не услышишь,— философски заметил казак и взял пристяжную под уздцы, чтоб повернуть вагон обратно.

Нам стало как-то досадно. Что за дурацкое положение: едем честь честью в агитвагоне, разубраны, как на свадьбу, а тут здравствуйте: поворачивай оглобли перед самой целью. Не сговариваясь, переглянулись мы, и у каждого одна и та же мысль в глазах.

— Эй, послушайте,— крикнул грузин казаку в окно,— не лучше ли будет нам здесь устроиться на ночь, а наутро можно разведку сделать! Может быть, белые к утру очистят Молчановку, вот тогда мы и въедем.

Казак в сомнении покачал головой. Он был из надежных красноармейцев, родом неподалеку, из маленькой станицы. Не так давно бился с родным отцом, зарубившим младшего сына — большевика. Родичи его воевали под Врангелем. Он знал, что нарваться на белых в этих хол-

мистых степях, где каждый клочок земли еще ослежен проходившими войсками, где в оврагах не подобраны раненые, в кустах засели партизаны и бандиты,— дело возможное и далеко не пустяковое. Он ковырнул кнутовищем землю и нехотя ответил:

— Тут за Молчановкой наши в прошедший год, уходя, хутора поразоряли. Лютей здешних хуторян вы не найдете по всей Кубани. Чуть что — они наших в полоску исполосуют. Бабы на Молчановке, говорят, красноармейцев в банях душили: казаков-то ведь на Молчановке, кроме стариков и ребят, не осталось никого, Врангель всех угнал с собой.

— Видите, товарищ,— пробасил грузин,— никого, кроме баб, не осталось, а вы Молчановки боитесь. Баб мы с вами так распропагандируем, что они и мужей обратно не примут. Распрягайте лошадей, обождем до утра, тут кстати же и хворост есть для огня.

Действительно, мы стояли возле крутого глинистого овражка, голого с нашей стороны и поросшего с противоположной сухим кустарником... Выстрелы смолкли. Оставаться на ночь в благословенной степи, развести костер, дышать запахом мяты, молочая и тмина, было куда приятней, чем возвращаться. Барышня-машинистка спрыгнула наземь и легонько ударила казака в спину:

— Бросьте вы ваши страхи! Ишь какой зловещий! Посмотрите вокруг, тут курица не испугается.

Казак все так же нехотя и, видимо, неодобрительно распряг лошадей, опутал им ноги и пустил на лужайку. Потом он сходил за версту на родничок, собрал хворосту, и мы, развеселившись как дети, принялись зажигать костер, из предосторожности на самом дне овражка. Вагон пламенел в последних лучах заката, надписи и плакаты выделялись, как огненные. Должно быть, его видно было издали. Это опять не понравилось нашему красноармейцу. Он снял с козел рваную рогожу и накинул ее на самый яркий угол вагона.

Около костра мы, можно сказать, в первый раз нащупали друг друга и перезнакомились между собой. Очень много значит в таких случаях уютность человеческая, уменье наладить, вовремя подать, вовремя сказать. Обычно это дело женское, но наша единственная дама оказалась из тех, кто, кроме своей службы, ничего не умеет. Она бегала, приставала с вопросами, веночки нам на го-

лову плела и умножала беспорядок. За хозяйство же взялись грузин и один из пятерых музыкантов, кларнетист, удивительный человек. Как сейчас его вижу: лицо у него было круглое, губы враскидку, бровей ни следа, глаза смотрели из двух щелок весело-превесело, и все у него под руками размещалось на свое место. Он нам и кашу сварил, и кофеек приготовил, и все это с прибауточками, со стишками. Грузин был тоже мастер на всякое дело, только он не умел шутить и лицом отпугивал — очень суровое, рябое лицо, нос кривой — кем-то переломлен был и сросся, руки жилистые, огромные, корявые. Маленький товарищ в синем первое время никак не проявлялся. Он только недавно приехал к нам из Москвы и юг знал, как он выражался, «больше теоретически». Улыбка выходила у него робкая, слабая, и весь он казался щуплым и слабоватым. Никто не знал среди нас ни силы, ни значительности этого тощего человека; узнать пришлось попозже. А покудова он молчал, на шутки улыбался, ел рассеянно и понемножку, объяснив, что после двухлетней голодовки от пищи поотвык и есть в полную меру остерегается. Если б не почтительность, с какой обращался к нему херувимчик-секретарь, мы бы вовсе забыли этого щуплого человека, а вместе с ним и всякую политику. Остальные четыре музыканта бесхитростно, как говорится, поддерживали «ансамбль».

Так вот, сидим мы у костра, спать не тянет, никому неохота со свежего воздуха в фургон лезть. Выстрелы утихли, казак тоже поуспокоился, достал кисет, свернул себе кручёнку и подсел к огоньку.

— Скажите, товарищ, на какую аудиторию вы рассчитываете в Молчановке? — спросил грузин у худенького человечка.— Имейте в виду, что казаки народ ехидный, они менее всего побеждаются красноречием. Они привыкли к нему со дня рождения, у них даже между собою в разговоре патетический тон. Разные там аллегории, метафоры, гиперболы в обиходе у последнего безграмотного, а грамотей до такой степени витиеват, что я, признаться, сам их не всегда понимал.

— Что правда, то правда,— вмешался казак,— они разговаривать умеют. Казачья речь гуще поповской. Вы их разговорами не прошибете.

— В агитации на словах никогда ничего и не строится,— ответил худенький человек,— надо зацепить и

увлечь, а это всякий раз достигается новыми средствами. Вразумлять людей — дело затяжное, долгое; тут же надобно заставить их захотеть быть с вами, сразу, без раздумья, и если это удалось, начало положено.

— Как под музыку вприсядку пуститься,— вставил кларнетист,— слова тут самое последнее дело.

— Вы так понимаете агитацию, будто это магнетизм или истерика,— продолжал грузин,— если на этом стоять, так самые лучшие агитаторши — наемные бабы-плакальщицы или эпилептики.

— А что вы думаете? — серьезно заметил худенький, обведя нас взглядом.— Эпилептики агитируют с потрясающей силой. Я такого действия, такого возбуждения, такого скопления нигде не наблюдал, как вокруг упавшего эпилептика. Будем говорить начистоту, без книжного шаблона. Учить может знающий, а возбуждать — чувствующий. Высший тип агитатора — лицо страдательное. Ваш пример с эпилептиком великолепен. Тут ничего не осталось преднамеренного, человек весь ушел в напряжение, и окружающие этому поддаются, заражаются.

— Я, как агитатор, всегда пытаюсь действовать на интеллект,— возразил грузин,— и считаю странным, товарищ, что именно от вас слышу такие немарксистские речи. Я никогда не забываю основной цели: разогнать туман в головах, убедить логикой или очевидностью. Конечно, с мужиком я балагурю, зубоскалю, к нему совсем иной подход, нежели к рабочему, но цель одна: убедить, привести к умственному суждению и сознательному выбору.

— Все это так, но это не агитация. Нельзя путать разных задач. Мы с вами получили задание агитаторское, а не пропагандистское. Для пропаганды к вашим услугам время, грамота, интеллект, даже дискуссия. Для агитации ничего этого нет и не требуется. Вы промелькнули, как метеор, и зажгли. У вас нет времени на разбор, на ответ, на логику. Вы поставлены в положение электрического провода, и вам необходимо найти отрицательное электричество, чтоб образовать положительное и зажечь. В этом вся штука. Мы, товарищ, наделали много ошибок, путая обе задачи. Мы шли с пропагандой туда, где нужна была агитация, и, наоборот, насаждали хроническую агитацию там, где уже надобилась пропаганда. Нельзя, товарищ, на митинге ставить проблему, а в книге или в фельетоне преподносить голый лозунг.

Говоря так, худенький весь оживился, черты лица у него стали сильней и выразительней, голос окреп. Мы все подумали, что он должен быть превосходным оратором. Но грузин никак не хотел угомониться и, поспорив еще с полчаса, ушел спать. На меня меж тем речь худенького агитатора произвела большое впечатленье. Как куплетист, я часто сталкивался с толпой, и задачей моей было возбудить ее. Я отлично понимал все, что он сказал о положительном и отрицательном электричестве. Материалом для агитации, магнитным полем всегда в таких случаях становишься ты сам и твоя нервная система, и чем это полнее, безостаточней, тем лучше удается увлечь толпу. Я даже не раз думал, что мы все — мелкие агитаторы сцены, паяцы, клоуны, комики, трагики,— мы все сплошь постоянные жертвы в прямом значении слова; наше дело — жертвоприношение, мы каждый вечер идем на заклание. Вся нервная сила уходит на это, а для жизни мы обезличиваемся, стираемся, обмякаем, тускнеем, ходим с ослабшими мускулами.

С такими мыслями, разбередившими мне мое прошлое, скоро пошел и я спать. Мы устроили барышню за перегородкой, а сами улеглись на лавках, не раздеваясь. В окна глядели большие острые звезды, такие острые, что впрямь казалось, будто они прокалывают усиками занавеску. Из долины несло ночной сыростью, кони наши, выйдя из зарослей, шевелились возле вагона, вскидывая завязанными ногами и дергая головой, отчего по земле прыгали огромнейшие тени. Возница и не думал спать. Закутавшись в бурку и взяв ружье, он ходил взад и вперед вдоль овражка, время от времени скручивая папироску.

Я долго ворочался, потом свежий воздух свалил меня, и я заснул.

III

Как вдруг, среди самого крепкого сна, чувствую — бьет меня кто-то кулаком по уху, раз, два, три, четыре... Вскочил я как безумный — оказывается, бьет в ухо треск перестрелки. Да какой еще! Не поймешь откудова, с какой стороны. Вокруг меня бегали, проснувшись, музыканты, не решаясь выскочить из вагона, выглянуть из окошка.

Я, однако же, отдернул занавеску. Мне представилось ужасное зрелище. Возле самой стены, вздыбившись от вы-

стрела, стояла наша лошадь. Она казалась в этой позе огромной. За ее спиной отстреливался казак, ухватившись за ее гриву. Внизу валялась другая лошадь, должно быть убитая. А вокруг, справа, слева, со дна овражка, лезли на нас страшные существа, косматые, как черти, в смутном предутреннем свете казавшиеся призраками. Они орали неистово. Они стреляли без умолку. Их еще сдерживали меткие выстрелы нашего возницы, прятавшегося за раненую лошадь. Но вот пуля попала ей в брюхо. Тяжко захрипев, она содрогнулась, выпрямилась, как человек, и обеими передними ногами подмяла под себя казака, рухнув с ним вместе наземь. Я слышал, как у казака хрустнули кости. Потом в стенку вагона застучали, как град, пули, и, прежде чем я опомнился, чья-то рука за шиворот оттащила меня от окна.

— На пол! — крикнул мне хриплый голос грузина.— Товарищи, у кого есть оружие — к дверям!

Оружие — револьвер — оказалось только у него одного. Он выхватил его из-за пояса и бросился к дверям.

Музыканты сбились на полу в обезумевшую кучку. Кто-то залез под скамейку. Барышня-машинистка в одной рубашке стояла у стены, белая как полотно, зажав уши руками. Она не кричала, только беспрерывно шептала что-то. Почти бессознательно водя глазами по комнате, я встретился с еще одной парой глаз, спокойных до жуткости. Это был худенький человек в синем. Он сидел в углу вагона, где лежали его портфель и подушка, и занимался необычайным делом: он натягивал сапоги. Каждая мелочь врезалась мне с этой минуты в память. Я увидел, что носки у него были розовые в полоску, что вокруг пальцев и на пятке они потемнели от пота и облегали ногу плотнее, чем на щиколотке. Заметив, что я смотрю на него, он сказал совершенно просто:

— Казак был прав, а мы безрассудны. На нас наехал разъезд белых. Постарайтесь спастись, если уцелеете в первую минуту. Скажите, что вы, музыканты и барышня были насильно мобилизованы для участия в митинге.

В эту минуту грузин, отстреливавшийся в дверях, упал. За мной протяжно охнул кларнетист. Барышня закричала отчаянно, истерически, каким-то чужим голосом:

— Спасите! Спасите! Не трогайте!

В двери раздался залп, мы услышали крики:

— Сдавайся!

Один из музыкантов был ранен. Мы крикнули в ответ:

— Сдаемся! Среди нас женщина.

— Комиссара! — продолжали реветь снаружи.— Выходи поодиночке, руки вверх, комиссара вперед!

Тогда худенький человек взял в одну руку портфель, в другую фуражку, пошел как ни в чем не бывало к двери, и я услышал отчетливый голос, упругий, как мячик, ясный, пронзительно-спокойный:

— Я — комиссар.

Много довелось мне читать всяких романов. Я испортил себе глаза над описанием разных героических подвигов. И скажу вам, что в ту минуту, как при свете молнии, увидел, насколько лгут книги. Ничего не доводилось мне читать подобного тому, что я увидел. Вы понимаете, в голосе, в позе, в лице худенького человека была, как бы это сказать, экзальтация совершающегося, при полной наружной трезвости. Впечатление было настолько сильно, что покрыло нас, отодвинуло нас от самих себя, мы на несколько мгновений позабыли о всякой опасности. Нет, мало того, скажу больше, мы все, по крайней мере я, ощутили вдруг, на это самое мгновение, чувство полнейшей безопасности. Вот что я называю теперь героизмом, и это нельзя понять, не пережив...

На секунду воцарилась тишина. Худенький человек стоял. Солнце начинало заниматься и лизнуло крышу нашего вагона, бросив розовый отсвет на лицо человека с портфелем. Вдруг, сразу, как со дна пропасти, завизжало, заорало, захрипело десятками нутряных голосов:

— Сука!

— Жид!

— На кол его! Ребята, бей в морду!

— К стенке! На кол!

В ту же секунду мохнатая лава людей серым комком облепила нашего комиссара, сорвала его с порога и увлекла вниз. Я слышал команду:

— Назад! Не добивать прежде времени! Допросить и на кол!

Потом те же мохнатые люди (они казались нам такими, потому что носили высокие мохнатые шапки,— это был один из именных полков деникинской армии), так вот, эти мохначи ринулись на нас, связали и выволокли поодиночке на воздух. Я не мог в ту минуту простить грузину, что он позабыл о девушке и не застрелил ее заблаговременно.

Несчастная так и осталась в рубашке. Ее оголили и, схватив поперек тела, потащили в кусты.

Нас стали допрашивать. Тут вылез вперед кларнетист и, как он неподражаемо умел, развел им целое слезное море; по его словам, нас мобилизовали под угрозой смерти, держали под прицелом. На вопросы о положении в городе врал без зазрения совести: будто бы там чуть ли не бунт, белых ждали как избавителей; словом, не прошло и десяти минут, как офицер угостил его папиросой. Каюсь, в эту минуту он был мне противен, между тем он спас нам жизнь. Кто-нибудь из нас должен был проделать всю эту дипломатию; есть люди, которые добровольно берут на себя худшие роли,— все им обязаны, а вместо благодарности чувствуют брезгливость.

Одним словом, нас арестовали, но не тронули. Пока допрашивали, солдаты выволокли из вагона тело нашего херувимчика-секретаря: он был раньше всех, еще во сне, убит первою пулею.

Потом началось допрашивание комиссара. Впрочем, нельзя было назвать издевательство допрашиванием. С лица его лилась кровь. Верхние зубы были выбиты. Отвечая, он плевал кровью. На вопросы офицера он отвечал ясно, коротко, почти весело. Близорукие глаза (пенсне было сорвано и разбито) смотрели необычным взором, усиливая то впечатление экзальтации, о котором я говорил. Видно было, что по близорукости он не различает ни лиц, ни направления чужих взглядов и смотрит прямо перед собой на какую-то умственную, одному ему видимую, точку.

— Пытать,— кричали солдаты,— чего с ним канителиться!

Худенький человек выпрямился, поднял руки, как оратор, и воскликнул звенящим голосом:

— Товарищи, близок час, когда вы поймете, что вы делаете! Разве не ради вас, жен и детей ваших борется Красная Армия? Подумайте, за кого вы стоите? Подумайте, где обещанная вам земля?

— Молчать, собака! — крикнул офицер.— Сажайте его на кол!

Знаете вы, что такое кол? Это деревянный обрубок, самый настоящий. Вот такую дубинку вгоняют человеку в задний проход. Я видел, как его посадили на кол, вогнав с силой так, что хрястнули раздираемые внутренности.

И человек корчился, пригвожденный, а с востока взошло большое, белое, горячее солнце, зачирикали птицы, занялась вся степь и ослепительно засиял наверху наш агитвагон всеми своими лозунгами и плакатами. Он стоял к нам как раз той стороной, где веселый рабочий размахивал огненным молотом, зовя к сияющей пятиконечной звезде.

Корчившийся на колу увидел эту звезду, он протянул руки к вагону. И... содрогаюсь до сих пор, как вспомню. Вдруг сильным, нечеловеческим голосом, будто не рвало ему внутренности, стал говорить. Это была его агитационная речь. Он успел сказать:

— Да здравствует рабоче-крестьянская республика! Вы все поймете, вы будете с нами. В вагоне приготовлена для вас ли-те-ра-тура. Берите себе вагон!

Слово «вагон» резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла. Действие было нечеловеческое, потрясающее. Солдаты буквально оцепенели, многие попятились от него. Офицер с проклятием выстрелил в лицо тому, кто агитировал с кола. Он был вне себя, когда заорал, чтоб жгли вагон.

Тут-то я и увидел самое необычайное во всей моей жизни. Да, милые вы мои, солдаты ринулись к вагону, набились в него и — пусть я провалюсь, если вру,— делая вид, что разрушают вагон, совали себе, кто во что успел, нашу литературу. Один за голенища, другой за пазуху, третий в рукав, под шапку. Я видел в окошко их лихорадочные движения — это казалось полусознательным, сомнамбулическим. Должен сказать вам, что и я сохранил на память, подобрав тихонько, обгорелую щепку от нашего вагона и сохраню ее до самой своей смерти.

Шесть месяцев после этого весь юг был окончательно очищен от белых. Я встретился случайно с одним из тогдашних наших мохначей,— он был уже красноармейцем.

— Почитай, целиком перешли мы в Красную,— сказал он мне между прочим.— С того дня и задумались.

Вот что я считаю образцовой агитацией. Живите тысячу лет и еще тысячу, а большего не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле нет ничего.

Кажись, станция. Пойду возьму свежего кипяточку.

Рассказчик встал, взял большой медный чайник и двинулся к выходу. Спящий в углу пассажир-коммунист внезапно открыл глаза, вскочил и, взяв фуражку, вышел за

ним. На лесенке он слегка ударил его по плечу. Рассказчик живо обернулся и, казалось, ничуть не удивился.

— Вот что, товарищ,— сказал пассажир,— рассказ хорош, хотя и есть некоторая скрытая тенденция... Вы меня понимаете, насчет жертвы. Только одно плохо: постепенно сбились с тона. Вели вначале соответственно аудитории, а потом вдруг перешли на высокий стиль и засерьезничали, словно для более тонкого слушателя рассказываете. Эта неровность — единственный недостаток.

— Разве вы не догадались, что это — для вас? — усмехнувшись, ответил рассказчик.— Я заметил, что вы не спите. И тенденция, может быть, вам не повредит.

И, прежде чем тот успел опомниться, он взмахнул чайником и исчез в толпе.

1923

ГОРДОСТЬ

И за сотней сотни уходили,
Уходили за курганы в синь.
Кони пылью по дороге заклубили,
Кони били, мяли горькую полынь.
Георгий Бороздин.

Дым утренних костров стлался по лугу будто овчина. Расседланные кони дремали, сбившись в табунки, ветер заворачивал на сторону свалянные гривы и подстриженные хвосты. Залитые сном бойцы храпели вокруг огней, бредили сраженьями, бормотали и тревожно выкрикивали полуслова команды. Иные, стуча зубами, вскакивали, проделывали гимнастику, потом грели котелки, жевали обвалявшееся в сумах сало и, по привычке все делать торопливо, обжигаясь, хлебали из мятых кружек настоенный, ровно деготь, крепкий чай.

Невдалеке в черных развалинах лежал сожженный хутор. Над пожарищем торчали закопченные тулова печей и труб. Заплаканные бабы сидели на узлах, на окованных жестью сундуках и кутали в тряпье сморенных сном ребятишек. Хмурые мужики лазили по горелому и, тыча кольями, извлекали из-под дымящихся головешек осмоленные огнем глиняные горшки, плуги, лопаты и всякую мелочь.

Единственную уцелевшую хату занимал штаб кавалерийской бригады. По лавкам, по полу, на печке храпели на разные голоса ординарцы, писаря и квартирьеры. Облаком висел прогорклый табачный дым, воняло портянками, кислой овчиной и промозглой человеческой вонью. На широкой кровати под атласным одеялом лежал молодой командир Иван Чернояров. Он посасывал трубку и харкал через всю горницу к порогу.

С улиц в раму забарабанил увесистый кулак, задребезжали стекла.

— Ей, штабные!

Чернояров поднял чубатую голову:

— Чего там? Кто орет?

— Иван Михайлович,— подтянулся к высокому окну да так, вытаращa глаза, и повис на руках подчасок Федулов,— чечен прискакал, вас самолично требует... Мы его пока заарестовали.

— Какой чечен? Где он?

— Готово, привели... Дожидает! — крикнул Федулов и оборвался.

Комбриг, босой и заспанный, вышел на крыльцо.

На зудкой маленькой лошаденке в кругу казаков вертелся чеченец. Сверкая зубами и коверкая слова, он что-то рассказывал.

Казаки смеялись.

Узнав командира по смоляному чубу, горец принял под козырек и отрапортовал:

— Товарищ Чернаар, мы ночим в атак не хадил, мы дынем в атак не хадил.

— Как? — потемнев, спросил Иван.

— Мы усталь, мы канчай война.

— Где стоит полк?

— Куторь Расшеват.

— Ладно. Передай своему начальнику Хубиеву приказание немедленно выстроить полк. Приеду сам.

— Уассалам! — Чеченец дернул повод влево и полетел в степь, как черная тень.

— Во, сукины дети,— остановился проходивший мимо с конным ведром подхорунжий Щебутько,— грабить они первые, а воевать их нет.

— Не скажи,— возразил ему Назарка Чакан,— тоже есть страсть храбрые... Их только раззадорь, черта в дрожь кинет.

— Нагляделся я на азиатцев... В окоп не ложится и в лаву ходить не охотник. Догонят где втроем одного, зарубят. Не дай бог, ежели у них какого-нибудь Ахметку убьет. Вмиг слетится сотня братьев, дядьев, сродников, бросают позицию и на рысях везут хоронить Ахметку в свой аул, будь он хоть за сто верст.

— Наш русак,— вступился опять подхорунжий,— русак смекалкой берет. Где надо бежать, хоть ты его моли,

проси, пристрашку давай, все равно убежит, а где видит, ударить можно — ударит.

— Ты, Щебутько, и хитрый, а не хитрее теленка, языком под хвост не достанешь,— сказал Назарка.— Смекали мы с тобой смекали, да пол-России немцам и провоевали.

— Дурак,— обернулся к нему подхорунжий,— там нас продали и пропили. Не духу, снаряду не хватило, а то мы бы еще потягались с германом... Я говорю, что храбрость без сметки гроша ломаного не стоит. Возьми, к слову сказать, китая. Дерется, стервец, важно, отступать не любит и плену не признает... Сядет, ножки калачиком подвернет, насыпет в коленки патронов и стреляет до последнего, да и стреляет-то не с плеча, а с пуза. Какой от него прок?

— Мы надысь,— ухмыльнулся разведчик Осадчий,— отступали из немецкой колонки. Забавы ради приставили китайца сортир охранять, а сами смылись. Да-а, позавчера захватили тут в балочке двух юнкарей и давай их про нашего китайца выспрашивать. Што бы вы, головы, подумали? Шестерых кадетов ухлопал. На него бегут, кричат: «Бросай винтовку!» — он стреляет! В него гранаты мечут, он, стерва, стреляет! Его штыками порют, а он свое — стреляет.

Взорвался хохот такой гулкий да грозный, что спавшие по лугу бойцы повскакивали.

...По степи, полон дикой силы, скакал Чернояров. Шалим еле поспевал за ним. Из-под мелькавших копыт высоко взлетали комья мерзлой грязи, низко плыли растрепанные тучи, по жнивью, подпрыгивая, катились шары курая, и по ветру, как придушенные вздохи, доносились далекие пушечные выстрелы.

Из-за косогора выкатился белый — в тополях — хутор.

Скакали по улице... В оконцах мутными пятнами мелькали испуганные лица, под ноги коням с хриплым лаем бросались собаки.

За ветрянкой на открытом месте был выстроен смешанный ингушско-чеченский полк, который совсем недавно, после разгрома Шариатской колонны, присоединился к бригаде Черноярова. Холодный резкий ветер перебирал гривы, полы черкесок и концы наброшенных на плечи башлыков. Развевались, пересыпая золотую лапшу нашитых

букв, и хлопали на ветру обхлестанные полотнища двух знамен — красного и зеленого.

Командир полка Хубиев, офицер старой выучки, на высокозадой горской кобыле выехал навстречу комбригу, поздоровался и, привстав, начал докладывать:

— Вторую неделю полк в беспрерывных переходах, лошади раскованы и вымучены, фуража невозможно достать, бойцы требуют отдыха, бойцы требуют...

— Ну! — нетерпеливо крикнул Чернояров, перебивая его.— Довольно! Где противник?

— В шести верстах на запад хутор занят дроздовским полком и сотней Запорожского кавполка. Слева на кургане батарея, справа в роще два пулемета.

— Тебе, Хубиев, была вчера дана боевая задача?

— Да.

— Ты ее выполнил?

— Нет.

— Знаешь, чем я жалую трусов?

— Ха! — как укушенный крикнул Хубиев, хватаясь за кобуру, и серые твердые глаза его блеснули, точно штыки.

Они разъехались, не спуская глаз друг с друга.

Чернояров дал своему коню плетей и, сломав строй, врезался в самую гущу полка. Он вскочил на седло ногами, и его заветная шашка, свистнув, описала над головой круг.

— Отдыхать вздумали? Вся армия дерется, а вы устали? Кишка отдала? Вы не бойцы! Вы старые бабы! Нынче же я прикажу откомандировать вас в тыл, в богадельню, старухам сопли обсасывать! — С лету он бросил шашку в ножны и, выбравшись на простор, шагом поехал прочь.

Хубиев тоже вскочил на седло ногами и, задыхаясь от ярости, перекричал слова комбрига сперва на ингушском, потом на чеченском наречии.

Две сотни шашек, как одна, вылетели из ножен, две сотни глоток завизжали, заорали, залалакали. Кони пришли в движение, туча пыли прикрыла полк.

Через версту адъютант Шалим догнал Черноярова:

— Ух, рассерчали, костогрызы... Тебя, Ванушка, зарубыть кричаль, ну, а потом порешиль идти в атаку.

...Вечером Шалим доложил комбригу, что азиатский полк вернулся из боя и строится перед штабом.

Чернояров вышел.

На улице полк уже выстроился. Взмыленные кони стояли, расставив дрожащие ноги, и качались от усталости. Всадники сидели в седлах прямо, отвагой и гордостью дышали их жесткие запыленные лица, и глаза горели, как драгоценные камни, врезанные в рукоятки старинных кинжалов.

Хубиев, завидев комбрига, спрыгнул с коня и побежал ему навстречу.

Рапорт его был краток: сотня Запорожского полка уничтожена, дроздовцы разбиты и отогнаны, захвачена батарея в полном составе, четыре пулемета, две кухни, обоз первого разряда в количестве десяти повозок... От своего полка в строю осталось двести двадцать сабель, подобрано пятьдесят семь своих раненых...

Чернояров отстегнул шашку и протянул ее Хубиеву. По древнему обычаю они поменялись оружием, поцеловались и с этой минуты стали братьями.

Потом комбриг резко повернулся к полку:

— Джигиты, благодарю вас от имени бригады! Даю вам неделю отдыха и отпускаю в Моздок пополняться! Кормите и куйте коней, гуляйте веселей и грейте баб!

Горцы без перевода поняли похвалу, привскочили в стременах и, собрав последние силы, прокричали «ура».

Ветер спускал с осени рыжую шкуру, мир плутал в кромешном разливе метелей и мятежей.

1928

ПОЛИТКОМ

Как из весенней земли густо и туго пробиваются молодые ростки, так из глубоко взрытого революционного чернозема дружно вырастают новые учреждения, люди, новые общественные строители и работники.

И не потому появляются, и живут, и крепнут, и развиваются, что новые учреждения вновь организуют сверху, новые должности вновь создают сверху, а потому, что в рабочей толще и в толще крестьянской бедноты произошел какой-то сдвиг, какие-то глубокие перемены, которые восприняли эти новые ростки и дали им почву.

Передо мной открытое юное лицо политического комиссара Н-ской бригады. Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых радостных глаз, из молодого рдеющего румянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в шинель и перетянутой ремнями, от револьвера и сабли.

Коммунист, крепкий партийный работник из Петрограда. И, радостно смеясь, лицом, всей своей фигурой, глазами, говорит:

— Ведь, знаете, даже смешно. Один ведь в сущности среди массы красноармейцев. Все вооружены, часто усталые, раздражены, а слушаются одного. Часто заберутся на подводы и едут. Подходишь и сгоняешь. Это необходимо. Все соскакивают и идут. Есть что-то, что заставляет их слушаться, заставляет слушаться, помимо боязни: признание моей правоты, что правда на моей стороне. В этом сила политического комиссара. А все-таки красноармейскую массу надо держать, и крепко надо держать в

руках. Тут уж не ротозейничай, слюни не распускай. Политком должен на такой недосягаемой высоте стоять, и — твердость! ни малейшей уступки! Уступил — все пропало! И это не во внешних отношениях. Тут с ними и шутишь и балуешься, а как только к делу, политком для них — бог, на высоте. И чтоб ни одного пятнышка! Другой может устать, политком — нет. Другой захочет выпить, ну, душу хоть немного отвести, это же естественно, политком — нет. Другой поухаживает за женщиной, политком — нет. Другой должен поспать шесть-семь часов в сутки, политком бодрствует двадцать четыре часа в сутки. И так и есть. И в этом сила. А в красноармейских массах — признание правоты всего этого. И от этого та глубокая почва, на которой вырастают побеги железной дисциплины.

Он на минутку примолк, все такой же юный, румяный, крепкий, и все с такими же радостно смеющимися глазами от своей молодости, от переизбытка сил.

У меня больно заныло сердце.

«Убьют. Политком, как бог, без пятнышка, стало быть, всегда в первых рядах, а пулеметы косят».

— А иногда жуткие бывают минуты,— сказал он, глядя на меня и ласково смеясь милыми глазами,— жуткие, не забудешь. Звонят мне по телефону: «Вторая рота отказывается выступать на позицию». Видите ли, командный состав прежде подделывался под старших, под свое начальство, ну, а теперь под армейскую массу, боятся. Вот ротный, вероятно под шумок, и шепнул: «Товарищи, просите, чтоб соседнюю роту послали. А то все вы да вы. Небось заморились». Ну, рота обрадовалась и уперлась. «Не пойдем, замучились, посылайте соседнюю роту». Ну, тут, знаете, одной секунды упустить нельзя. Беру трубку и говорю спокойным и отчетливым голосом: «Я иду в роту. Если к моему приходу рота не уйдет на позицию, то ротный будет расстрелян, взводные будут расстреляны, отделенные будут расстреляны»,— и положил трубку, не слушая никаких объяснений. Потом пошел в роту. Шаги делаю коротенькие, и кажется, будто бегу. С четверть версты идти, а мне кажется, будто я их пробежал. Вхожу — никого... Гляжу, из балки хвост роты подымается — на позицию пошли. Гора с плеч свалилась: если бы застал, расстрелял бы, как сказал, иначе нельзя. И вот это напряжение постоянно.

— Устали?

— Да нет,— заговорил он радостно,— чего уставать-то? Некогда уставать-то — день и ночь ведь.

Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена клочьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу. Таким в работе, в строительстве армии, в строительстве дисциплины армии был этот юноша с залитыми румянцем щеками.

Среди боевой тревоги, среди реющей смерти, бессонницы, напряжения, как непрерывно падающие капли, комиссар непрерывно внушает красноармейцам, за что они бьются, что было прежде и что теперь и что грядет огромное мировое счастье человечества.

Маленький городишко, заброшенный и скучный — в снегах по самые окна. Сверху низкое иссера-снежное небо.

За крайними избами дымятся по пустынным степям метели.

А мы сидим в теплой низенькой мещанской комнатке. Печка столбиком посреди комнаты. На стенах деревянные фотографии с одинаковыми черными точечками в глазах. И, странно выделяясь, как музыкальный аккорд среди уличной шарманки, молча стоит пианино. Дочка-гимназистка играла. Вышла замуж, ну и пианино не нужно.

Мы сидим за столом. Керосин на сегодня есть, и в комнате светло. На столике у стены то и дело цыплячьим голосом поет телефон.

Комиссар поминутно встает, отдает приказания, запрашивает, проверяет, цела ли цепь, и опять говорим, говорим, говорим.

Ведь я же свежий человек для него — оттуда, где он так давно-давно не был, и принес кусочек того мира, той жизни. Приносят пакеты. Он посылает. Иногда на полуслове подымается и уходит. А когда приходит, папаха, шинель, лицо — все занесено обмерзлым снегом.

— Я — литвин,— говорит он, глядя на меня серо-голубыми глазами,— мой отец крестьянин. Знаете, у нас народ такой неподатливый, упорный, идет своей дорогой, его не своротишь. Бедный народ, но твердый. Вот и у отца бедность тяжелая, но он молча и упорно пробивал жизнь железным трудом.

Я смотрю на него: белолицый, под ушами бачки. Молодой, а фигура железная, видно, крестьянский сын, но речь, но движения руки — интеллигента.

— Я ведь художник. А как это вышло? Вот как. Рисовал я хорошо в школе; учитель говорит: «Тебе учиться надо». Я к отцу. А он сурово: «Мы — мужики, жили в лесу да в поле, тут нам и назначено, тут и делай вовсю свое дело». Но ведь я — литвин, и в отца пошел, и вырос в лесу и в поле. Отец сшил мне сапоги. Это было целое событие. Сапоги! Сапоги — вечно босоногому лесному мальчику. Я готов был их на руках носить. Но я их потихоньку отнес и незаметно поставил у отца под кровать. У отца вынул три рубля, оставил отцовский дом и пошел, полуодетый, разутый, через леса и поля в неведомые города. Только я дал себе клятву, что это не будет воровство, а я из первого же заработка пришлю отцу. И еще дал клятву: как бы туго мне ни пришлось, хоть с голоду буду умирать, но отцу не буду писать, пока не стану на ноги. И клятву сдержал. Где и чем только я не был: и у сапожника учеником, и у парикмахера, и у слесаря, и у живописца. И всюду пил кровавую горькую чашу ученичества. Наконец я сколотил пять рублей, первые пять рублей, и послал отцу. Получил отец, железный старик, долго смотрел на эти пять рублей, и гордостью засветилось лицо. Не оттого засветилось оно, что сын, которого все считали уже мертвым, нашелся, а что пробился своими руками, пробился сын и вырвал у матери-земли, такой суровой к детям полей и лесов, вырвал у нее первый заработок. «Живи, сын»,— сказал отец. Это было его благословение.

В конце концов я попал в художественную школу в Риге. И вот тут-то стал из меня выковываться социалист сознательный. Несознательно, как и в отце, как и во всех нас, крестьянах, среди наших полей и лесов, жило постоянное чувство борьбы, чувство всегда готового вырваться отпора. На моих глазах великолепно жили бароны, учившиеся в школе, я нищенствовал. Они были бездарны, меня профессора и художники выделяли как даровитого. Я едва мог сколотить на плохие краски, на плохие кисти, полотно; у баронов было всего вдоволь и все великолепное. Бароны презирали меня за нищету, я их — за бездарность. Вы понимаете, я не мог быть ничем иным, как большевиком. И я — литвин.

Он достал несколько своих альбомов. Великолепный, смелый, подчас оригинальный рисунок. И в каждом — свое внутреннее содержание.

Я долго и внимательно рассматриваю альбом и говорю:

— Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков человеческих лиц. Ведь вы все это можете черпать безгранично рукой художника.

У него засветились возбужденные ласковостью голубые глаза.

— Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я...— он опустил потемневшие глаза,— я... комиссар.

— Что ж такого? Ведь не пьянствовать же вы будете, не в карты играть, а заносить на полотно то, что кругом совершается. Да ведь эти рисунки, эскизы, этюды драгоценностью будут. За них вам бесконечно будут благодарны и современники и потомство. Ведь сейчас и революционная и гражданская борьба проходит мимо молча. Это не то, что в буржуазную войну. Тогда на фронте тучи корреспондентов были, журналистов, бытописателей, беллетристов. Ведь тогда все, как в огромном зеркале, отражали и перо писателя и кисть художника. А теперь мертвое молчание. Разве это справедливо? Вам судьба дала талант и возможность закрепить на полотне все виденное, а вы упускаете время.

Он опять твердо сказал:

— Я — комиссар.

— Ну, так что ж из того? Вам еще видней, больше народу перед вами проходит, больше всяких положений.

— Нет. У всех есть время, свободное от обязанностей,— у командного состава, у красноармейцев. Нет его только у политического комиссара, у политкома части. Все двадцать четыре часа он принадлежит не себе, а своей части. Конечно, я мог бы улучить минутку каждый день, чтобы сделать зарисовку, набросок, этюд без ущерба для дела, но, вы понимаете, сейчас же подымется кругом: политком только и знает, что рисует. Нет, я лишен этой возможности, этого счастья.

Мы заговорили о Репине.

Он так и вскинулся:

— Да ведь это же гениальный художник. Я учился у него.

Мы, забыв обо всем, заговорили о живописи, о судьбе художников, о будущем творчестве. Он весь горел, охваченный жаждою высказаться после долгого молчания в уфимских степях. Но поминутно подходил к телефону, который по-цыплячьи пищал; входили с пакетами; он, на полуслове отрываясь, отдавал приказания. И опять мы, как два заговорщика, в зимние сумерки в мещанском домике, занесенном по окна снегом, жадно говорили об искусстве и литературе, о человеческих судьбах, о судьбе России и Литвы.

Стояли и слушали молчаливое, на котором никогда не играют, пианино, печка, как белый столбик, посреди комнаты, мещанские портреты, одинаково напряженные, с одинаковыми черными точечками в глазах.

— Отчего вы не закончили вашего художественного образования?

— На войну взяли, война сожрала. Четыре года на войне да вот второй год в революционной борьбе. Пулеметным огнем ранен в обе ноги. Ноют, подлые. Сильно контужен был... И... и вам только, по секрету,— устал. Но никто этого не видит, никто этого не должен знать. Комиссар не знает усталости, ни болезни, ни последствий ран. Он не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать четыре часа на ногах, готовый каждую минуту отдать приказание, или впереди цепи идти в атаку, или расстрелять ослушника, и чтоб ни на одну секунду не мелькнул в глазах меркнущий огонек усталости.

А сколько у него жадности жить жизнью художника, жизнью творческого созидания! Все задавил в себе, все принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

— Нате, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Разумеется, несомненно есть и комиссары, не отвечающие своему назначению, но я таких не встречал. Политком день и ночь на виду у тысячи глаз, и малейший промах, малейшая ошибка, пятно — и он летит с места или идет под расстрел.

Жива Красная Армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции,— все это идет на служение ей.

1918

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

РАССКАЗ О ПЕРВЫХ КОМАНДИРАХ

1

Всю весну тысяча девятьсот восемнадцатого года вокруг Оренбурга шла ожесточенная партизанская война с белоказаками; ни на минуту не прекращалось брожение в казачьих станицах.

В то самое время, когда рабочие дружины Блюхера и Кадомцева громили дутовцев на севере под Верхнеуральском и Троицком, в южных казачьих округах усилилось контрреволюционное движение. Белым атаманам вновь удалось сколотить в районе Илецка белоказачьи сотни и начать вооруженную борьбу с Советской властью. Вновь по дорогам стали рыскать волчьи белоказачьи стаи: они громили поселковые и станичные советы, рубили и вешали советских активистов, совершали налеты на железнодорожные станции, разрушали пути на Среднеазиатской железной дороге, взрывали мосты, убивали железнодорожников и нарушали нормальное железнодорожное движение на Туркестан. Вновь по ночам в степи пылали зарева пожарищ и дымилась человеческая кровь.

Двадцать пятого марта в теплый весенний день под Илецкой Защитой появились белоказачьи разъезды. Вечером того же дня белоказачий отряд занял Илецк и разгромил местный совет. Не многим работникам удалось спастись от казачьей расправы. Станичники перепились, ездили по дворам и грабили.

У церкви на площади соорудили виселицы, всю ночь возле них горели костры и качались трупы повешенных. Всю ночь казаки, бродя по городку, распевали хмельные песни...

...Наутро присланный из Оренбурга отряд выбил

белоказаков из Илецка. Казаки побежали по степным дорогам, побросав награбленное. Победители срыли виселицы и в тот же день с воинскими почестями похоронили погибших товарищей в братской могиле на городской площади.

У толстопятой просвирни нашли двух спрятанных есаулов. Офицеры с вечера перепились, и в то самое время, когда шел бой, дебелая просвирня разрыла перины и упрятала обоих.

Есаулов нашли задыхающимися от жары, распаренными, с них ручьями лил пот, словно их сейчас стащили в бане с полков. Толстый коротенький есаул с пухлыми щеками и с глазами как чернослив стоял перед красногвардейцами и, пошатываясь, просил:

— Господа, вы меня не расстреливайте, я вам на гитаре сыграю. Я, господа, удивительно умею играть на гитаре... Эй, Дуняша,— взывал он к просвирне.

Просвирня незаметно мигала ему: «Опомнитесь». Она повела круглыми плечами и певучим голосом стала просить красногвардейцев:

— Не в своем уме они, в большом расстройстве человек, проигрались в карты, вы уж, господа-товарищи, пощадите его.

Второй, высокий есаул, губастый, с выпученными глазами, злой и едкий, непримиримо посмотрел на красногвардейцев и крикнул:

— Жалко, что оружие отняли, морды вам покрошил бы. Ну, ведите на расстрел!

Есаулов увели в отрядный штаб. Всю дорогу они ругались и укоряли друг друга. В штабе губастого есаула опознала потерпевшая:

— Это он, он вешал наших,— женщину трясло от нервного возбуждения; она не могла оторвать гневных глаз от убийцы.

Он безразлично смотрел перед собой, икал:

— Верно, я развлекался. Мой грех...

Толстенький поднял кверху плечи, его пухлые щеки вытянулись, глаза заюлили:

— Но я здесь, господа, ни при чем... Я чудесно играю на гитаре...

В рачьих глазах высокого блеснула злоба:

— Ну, хватит дурака валять, вместе приговоры подписывали...

Толстенький есаул сразу скис и повесил голову. Разводя руками, он прохрипел:

— Не вышло. Ах, как жаль, господа!

Есаулов вывели за город и расстреляли...

Стояли теплые ночи, со степи дул южный ветер, из-за курганов густо-малиновым шаром поднимался большой месяц. По ночам степными дорогами к Илецку стягивались белоказачьи сотни. Станица за станицей слали белогвардейские стайки. Они накапливались по балкам и березовым рощам, охватывая городок мертвой петлей...

Командир красногвардейского отряда товарищ Шапко, белоглазый блондин, в кожанке, выстроил на площади малочисленных бойцов. Был ясный мартовский вечер. Впереди лежала широкая улица, мирная и красивая от белых мазанок; против заходящего солнца блестели стекла. Он внимательно посмотрел на ряды:

— Товарищи,— сказал он и загорелся весь,— нас всего двести пятьдесят, а их, той волковни, тысячи, а может более. Но мы идем за Советскую власть, за себя — за рабочий класс, и каждый из нас — большевик. Они думают перебить нас, но мы покажем им, как большевики умеют драться и побеждать...

Ряды бойцов замерли, только возбужденно блестели серьезные и сердитые глаза. Из-за занавесок на площадь выглядывали любопытные лица. Ветер шевелил еще оголенными верхушками тополей. Голос командира зазвучал тверже и решительнее:

— Товарищи, мы должны выйти из вражьего кольца. Это запомните,— и мы выйдем. Слушать мою команду... На плечо!

Прямо с площади он повел свой небольшой отряд в бой. Из рощи по ним строчил белоказачий пулемет, конные сотни с гиканьем и свистом бросались на них в атаку, за каждым бугром, в каждой канаве и в кустах красногвардейцев поджидала смерть.

Впереди бежал командир Шапко и подбадривал:

— Вперед, не робей, товарищи...

Они шли уверенной поступью небольшими группами по двадцати — тридцати человек, горячо отстреливаясь, и, близко подпустив к себе белых, бросались в штыки. Они не боялись дикого гиканья и свиста, не боялись казачьей лихости,— они цепко держались друг за друга и шли все вперед и вперед.

Шальная пуля ранила товарища Шапко в голову, он оторвал рукав и перевязал ее. С окровавленным лицом, с винтовкой наперевес, он появлялся впереди отстающих групп:

— Вперед! Не робей, товарищи...

Они шли без пищи и питья восемнадцать часов. Восемнадцать часов с тыла, с флангов и впереди их встречал огонь. Еще раз казачья пуля полоснула товарища Шапко в подбородок и раздробила челюсть. От нестерпимой боли из глаз у него посыпались искры и темная земля под ногами заходила кругами, но, передав винтовку бойцу, он вытащил из кобуры наган и снова пошел вперед:

— В штыки!

На крутом косогоре, под свинцовым дождем, они прорвали казачьи цепи и ринулись дальше.

Снова шли, не оглядываясь назад, на трупы павших, неся в сердце ярость к врагу.

Все больше становилось раненых, их брали под руки и вели; в рощах красногвардейцы рубили гибкие березки, делали носилки и на них клали искалеченных товарищей.

Потемневшие от усталости, жажды и страданий, многие из них просили оставить их умирать в степи. Тяжелый, плечистый молотобоец товарищ Волох, раненный в грудь и в живот, собрав последние силы, выбросился из носилок. Захлебываясь своей кровью, он хрипел:

— Куда меня несете? Не видите — все равно смерть. Кидайте! Пробивайтесь вы, там народ нужен...

Его подняли и снова положили на носилки. На синих щеках бойца стыли слезы:

— Дурни, не бережете себя! Кто же будет с контрой драться...

В третий раз командира товарища Шапко ранили в ногу. Он обнял за шею красногвардейца и пошел вперед. В этом человеке жили только одни прекрасные лучистые глаза, они горели, искрились. От боли он не мог говорить, но за него кричали и звали жгучие его глаза...

В канавах, на дорогах, у березовых околков, в ковыле сиротливо оставались тела павших товарищей.

Наступила вторая ночь. Все небо усеялось яркими мохнатыми звездами. Не уставая дул теплый южный ветер, и чувствовалось — с ветром с юга шла бодрящая весна.

Командира товарища Шапко уговаривали лечь на но-

силки, но он словно не слышал слов. Указывая на далекие огни станицы, говорил:

— Вот еще последний переход... Последний, и мы у своих.

Тогда пустились на хитрость:

— Ты командир, для общего дела ты дороже всех нас. Если ты погибнешь — погибнем и мы без тебя. Кто выведет?

Он молчал, по пыльному и окровавленному лицу нельзя было разобрать, о чем он думает.

Потом он тяжело поднял голову и с трудом сказал:

— Среди вас много добрых бойцов. Чем не командиры? Вперед!

С восходом солнца под станицей Мертвецовской их встретил высланный им в помощь из Оренбурга отряд товарища Гурьянова в триста штыков.

— Ур-ра! — зарокотало над степью.

Отступающие от усталости не могли кричать; они медленно сомкнулись в колонну; поддерживая под руки, вывели вперед товарища Шапко и маршем пошли навстречу оренбургскому отряду.

Товарища Шапко подвели к Гурьянову, оба подтянулись и по-военному отсалютовали:

— Товарищ командир,— приложив к козырьку руку, рапортовал Шапко,— вверенный мне отряд выведен из белогвардейского окружения. В отряде действующих сто двадцать бойцов...

Он пошатнулся. Высокий сухой Гурьянов бережно подхватил его.

— От имени рабочих Оренбурга, товарищ Шапко, приношу вам благодарность...

Командир собрал остатки сил, открыл глаза и, встретив проницательный взгляд Гурьянова, сказал:

— Они храбро дрались.

Его уложили на носилки и перенесли в санитарную двуколку.

2

Объединив отряды, товарищ Гурьянов повел их на станицу Мертвецовскую. У станицы окопалось около тысячи белоказаков. Гурьянов построил роты и взводы и повел в бой. В лицо наступающим дул ветер, осыпая пылью; в

лощинах стояла вешняя вода, и влажный чернозем глыбами прилипал к ногам.

Казаки встретили наступающие цепи пулеметным огнем. Красногвардейцы прятались за каждый бугорок, за комья вспаханной пашни, быстро перебегали и лавиной двигались на окопы.

Тогда во фланги ударила белоказачья конница. Гурьянов быстро перестроил цепи и встретил конницу дружным залпом. Не доскакав до красногвардейских цепей, белоказаки повернули и стали отступать в станицу...

За ними ворвались в станичную улицу красногвардейцы...

Еще не затих бой на другом конце станицы, когда в станичной церкви зазвонили колокола, и церковный причт с хоругвями и иконами вышел на площадь служить «благодарственный» молебен. Козлообразный, хитренький поп торопился с многолетием. Несколько бородатых станичников, кряжистых и мордастых стариков, стояли рядом с попом; у одного из них в руках был поднос с хлебом-солью.

На площадь вступал красногвардейский отряд. Гурьянов, издали завидя предстоящую встречу, поморщился, подозвал ординарца:

— Скажите попу, чтоб сию же минуту прикрыл свою лавочку.

Ординарец на маленькой мохнатой лошаденке бойко помчался к площади. Поп высоким фальцетом понес:

— Мно-г-а-е л-е-т-а...

Румяные старики станичники вслед за попом рявкнули басом:

— Мно-г-а-е л-е-т-а...

Кривоногий ординарец ловко спрыгнул с лошаденки и, не снимая шапки, подошел к попу.

— Извиняюсь,— перебил он многолетие,— извиняюсь, отцы. Сегодня представление отменяется... Понятно?

Он отошел шага три назад, снял папаху и поклонился:

— Извиняюсь, что нарушил порядок, но рекомендую выметаться с площади... Понятно?

Он выразительно посмотрел на священника.

Поп поспешно свернул епитрахиль, опрокинул чашу с водой, взял кропило и заторопился в церковь. За ним, сопя, как медведь, тяжело затопал станичник с подносом...

В Мертвецовской товарищ Гурьянов устроил дневку. Бойцы отдохнули, умылись. По избам развезли раненых.

Товарища Шапко привезли и уложили в просторную горницу того самого станичника, который держал на молебне хлеб-соль. Хозяин, сощурив лисьи глаза, заюлил:

— Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Я вашим от души рад... Всякая власть от бога...

Шапко то впадал в забытье, то пробуждался. Вот он открыл глаза и уставился в неприятное, сверкающее потом, косматое лицо станичника.

— Не вертись бесом,— прошептал раненый и отвернулся к стене.

Время от времени он просыпался и подзывал сестру, худенькую большеглазую оренбургскую работницу.

— Стеша, как там Степанов, выздоравливает?

Она наклонялась над ним:

— Выздоравливает.

— А Ване Егорову лучше?

Она спокойно поправляла повязку:

— Лучше... Лежите спокойно, тихохонько, и вам лучше будет...

Пришел Гурьянов, он сбросил у двери шинель, аккуратно повесил ее на гвоздь, тихо на носках подошел к постели и уселся на табуретку. Наклонив остриженную ежиком черную голову, он долго и внимательно прислушивался, как спит больной. Шапко проснулся, протянул руку:

— Ну, здоров...

Поморщившись от боли, он зашептал:

— Пощипали гадов...

Командир лежал весь забинтованный, сверкали только жизнерадостные глаза. Он страдал от боли в изуродованной челюсти; посинела и распухла нога: рана все еще кровоточила.

Раненый потянулся к Гурьянову, но тот приложил к губам палец:

— Тсс, молчи. Видишь, Стеша сердится!

Но Шапко зашептал, сдерживая боль:

— Я ведь умру — факт. У меня к тебе просьба...

Он поманил ближе к себе Гурьянова, тот наклонился ниже.

— У меня там, в Оренбурге,— продолжал он,— сын и дочь. Ты воспитай их комсомольцами. Будет?

— Будет,— пожал его руку Гурьянов.

Красногвардейцы зарезали курицу и для своего больного командира сварили бульон. Варил бульон красно-

гвардеец первого взвода товарищ Чуфыркин — первоклассный повар, променявший поварешку на красногвардейскую винтовку.

Пять красногвардейцев, во главе с Чуфыркиным, пришли с подношением к любимому командиру. Увидев жестяную манерку с куриным бульоном, Шапко улыбнулся глазами.

— Теперь, ребята,— зашевелился он,— я буду жить. Стеша!

Он знаками показал на рот.

Здесь же при красноармейцах он выпил около стакана бульона. Чуфыркин отставил ногу в огромном желтом башмаке, вытянул руки по швам, лицо его светилось,— он с замиранием сердца следил за командиром, как тот глотал куриный бульон. Может быть, никогда в жизни Чуфыркин не был так счастлив и польщен своим искусством первоклассного повара-супника, как в эту минуту...

Угасал весенний день. Раскаленным ядром скатилось солнце за дальние курганы, запылал и скоро погас закат, покрываясь синью и пепельными сумерками.

Весь день пустынна была станичная улица, и вечером в казачьих куренях не зажигались огни.

Быстро опускалась темная степная ночь.

3

Оставив раненых и небольшую охрану, утром следующего дня товарищ Гурьянов повел наступление на Изобильную. Он быстро и неожиданно вывел роты на волнистую равнину под станицей, раскинул их цепью и стал наступать.

Разведка донесла Гурьянову, что под станицей скопились большие силы противника. Через час выставленные на флангах заставы сообщили, что в балках скапливаются конные лавы белоказачьих сотен. На серой лошади командир проехал вдоль цепи, подбодряя бойцов. На сердце росла тревога, в эту минуту он не думал о себе, он вспомнил оставленного в станице Мертвецовской Шапко и раненых красногвардейцев. «Что будет с ними?» — подумал он.

Казаки близко подпустили красногвардейские цепи и встретили их ураганным огнем. Под Гурьяновым подбили

серого коня; он пересел на другого; но ехать под огнем стало невозможно и безнадежно, он спрыгнул с лошади и, нагибаясь, побежал вдоль цепи. Красногвардейцы лежали, плотно прижавшись к земле.

С трудом отрываясь от земли, они пробегали два-три шага и снова падали, обливаясь холодным потом.

Вдоль линии наступления строчили пулеметы, унося десятки бойцов.

Часа два дрались красногвардейцы за каждую пядь земли, за каждый кустик, за каждую рытвину. Шагов за двадцать до белоказачьих цепей бойцы из отряда товарища Шапко на правом фланге первые вскочили и пошли в атаку, за ними поднялась вся живая цепь штыков.

Они шли, все теснее и теснее смыкаясь друг с другом; под их чеканным твердым шагом гудела земля; солнце дробило лучи об их острые сверкающие штыки...

Навстречу стеной поднялись густые грозные валы встречной лавины. Бородатые, потные казаки шли, тяжело ступая,— казалось, катилась каменная громада, грозившая все смести на пути.

Начался штыковой бой — залязгало железо, по волнистой равнине зарокотало продолжительное «ур-ра-а!». Рокот то рос и повышался, и тогда казалось, что где-то вблизи катают дубовые бревна; то рокот опускался, затихал и медленно угасал, чтобы через минуту вспыхнуть с новой силой.

Красногвардейцы все шли неудержимым потоком. Они кололи, били прикладами, сами падали под стремительными ударами, но шли вперед. Сбоку наступающей цепи шел товарищ Гурьянов, сухой и длинный, он быстро подвигался вперед, по нему подравнивались бойцы.

Казаки, привычные к конной рубке, не выдержали, дрогнули и стали отступать. Стоило только одному из них повернуть спину, как за ним бросались другие.

Снова загремело по волнистой равнине раскатистое «ур-ра!».

Гурьянов на мгновенье оглянулся и поразился: все скаты холмов были усеяны телами, ползли и ковыляли раненые. Белоказаки поспешно отступали, за ними катилась жидкая цепочка красногвардейцев.

— Вперед, вперед!

«Надо на их же плечах проскочить в станицу»,— думал Гурьянов.

Обе цепи стали скатываться в лощину и вновь подниматься к подошве холма...

И разом опять затрещали пулеметы, и жестокий ружейный огонь встретил своих и чужих. Бойцы смешались и заметались. Стреляла метко и уничтожающе вторая линия белоказачьих цепей.

— Окапываться,— крикнул товарищ Гурьянов, и красногвардейцы залегли.

Разбитая белоказачья цепь свернула в сторону и скрылась за холмами.

Минуту спустя из-за тех же холмов показалась конница противника. Казаки с гиканьем и свистом неслись в атаку...

В эту решительную минуту Гурьянов быстро на ходу построил свой отряд в каре.

«Отбиться и отступить к Мертвецовской»,— подумал Гурьянов и скомандовал:

— По противнику огонь...

Они упорно отбивались от наседавших казаков; патроны были на исходе; по полю ползли раненые, стремясь скрыться в сторону от губительного огня; носились кони без всадников и топтали тела убитых.

— По противнику огонь! — не уставая командовал Гурьянов.

Но из-за холмов поднимались новые и новые цепи белоказаков.

Он окинул быстрым взором поле битвы и понял, как неравны их силы. До последней кровинки ощутил, что никому не будет пощады, и огромная клокочущая ненависть к врагу охватила его...

Какая-то смутная надежда тлела в нем — прорваться назад к Мертвецовской, но сквозь огонь и вражьи цепи на взмыленном коне проскочил красногвардеец — один из оставленных в охране. Задыхаясь, он успел крикнуть:

— В Мертвецовской восстание, всех перерезали... Идут сюда...

Гурьянов взял себя в руки, спокойствие овладело им, мысль работала прекрасно,— все было ясно. Он снял свою флягу с водой и протянул гонцу.

— Ты хочешь пить,— сказал он спокойно,— пожалуйста.

Красногвардеец жадно опорожнил флягу.

— Ну, теперь в бой...

Он выстроил уцелевших бойцов треугольником и, сам во главе его, повел их в новую атаку. Над степью светило яркое солнце, голубело небо. Отважная горсть красногвардейцев, идя вперед, несла торжествующий гимн:

— *Это есть наш последний и решительный бой...*

Огненный град косил бойцов, они падали, поднимались и вновь шли. За ними ползли подкошенные пулями, а те, которые не могли больше ползти и двигаться, протягивали руки.

— *Это есть наш последний и решительный бой...*

И все тянулось вперед в последнем и грозном шквале. Гурьянов шел впереди со взятой из рук погибшего бойца винтовкой, на солнце поблескивал вороненый штык. Он шел гордо, высоко подняв голову, и звонче всех нес победные слова гимна. В него он вкладывал весь огонь ненависти к врагу, месть и угрозу.

«Вы уничтожите нас, но за нами идут тысячи и миллионы, они сотрут вас с лица земли. Вы чувствуете их поступь»,— ясно и четко работала его мысль, и он всем телом и душой ощущал, что это так будет, что это неизбежно.

...За ним шли только четыре красногвардейца...

Их окружили казаки и стали рубить... Умирая, они бились до последнего. Падая, хватали всадников и стаскивали с коней на землю, сдавливая их в последнем смертном объятии, грызли зубами...

Последним погиб смертью непобедимых отважный командир товарищ Гурьянов.

1938

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

НОЧЬ МЕЖДУ ДВУМЯ БОЯМИ

ПОТНЫЙ Телегин, широкоплечий человек, с обветренным, широким, бритым лицом, зевнув, присел у костра, где ярко горел, брошенный сверху, железнодорожный щит.

Было лето восемнадцатого года. Свежая ночь над кубанской степью пышно раскинулась звездами, булькала перепелиными голосами. Огонь освещал наверху, на насыпи, товарные составы — кирпично-красные вагончики, ободранные и разбитые. Иные прибежали от берегов Тихого океана, иные из полярных болот, из песков Туркестана, с Волги, из Полесья. На каждом имелась пометка: «срочный возврат». Но все сроки давно прошли. Построенные для мирной работы, многотерпеливые вагончики, с немазаными осями и проломанными боками, готовились сейчас, отдыхая под звездами, к совершенно уже фантастической деятельности. Их будут сбрасывать целыми составами со всем содержимым под откосы, набив в них, как сельдь в бочку, пленных русских мужиков и наглухо заколотив двери и окошки,— угонят за тысячи верст с пометкой мелом: «непортящийся груз, медленная скорость». Они превратятся в кладбища сыпнотифозных, в рефрижераторы для перевозки мороженых трупов. Они будут взлетать в огненных взрывах под самое небо... В сибирских дебрях их двери и стенки будут растаскиваться на заборы и скотные дворы... И, уцелевшие, обгорелые, разбитые,— они еще не скоро, очень не скоро приплетутся по требованию срочного возврата и станут на ржавых путях для ремонта.

— А что, товарищ Телегин, как в Москве пишут,— скоро кончится гражданская война?

— Покуда не победим.

— Видишь, как пишут... Значит — надеются на нас...

Несколько человек у костра — бородатые, обгорелые,

черные — лежали лениво. Спать не хотелось, шибко разговаривать тоже не хотелось. Один попросил у Телегина махорки.

— Товарищ Телегин, а кто это такие — чехословаки? Откуда они взялись у нас? Раньше будто бы не было таких людей...

Иван Ильич объяснил, что чехословаки — военнопленные, славяне, из них еще царское правительство начало формировать корпус, чтобы перебросить на Западный фронт, к французам, но не успели...

— А теперь Советская власть не может их выпустить, раз они едут на империалистический фронт... Потребовали, чтобы они разоружились. Они взбунтовались где-то, кажется, в Пензе.

— А ведь наш комиссар, ребята, так же объяснял... Что же, товарищ Телегин, неужели и с ними будем воевать?

— Никто сейчас ничего не знает... Сведения — самые неопределенные... Думаю, что вряд ли... Их всего — тысяч сорок...

— Ну, это — побьем... У нас народу много...

Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал, видимо только так, для уважения:

— Гнали нас при царе под Сарыкамыш в Закавказье. Никто ничего не говорит — за что должны бить турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь,— эх, думаешь, родила тебя мать не в той люльке... А теперь не то,— эта война веселая, для себя, отчаянная... И все понятное — и кто и за что...

— Ну, вот я, скажем, прозвище — Чертогонов,— густо проговорил другой солдат, поднявшись на локте, и сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у него борода. Вид его был страшный, черные волосы падали на лоб, на рябом лице горели круглые глаза.— Может, я — цыган, может — индеец какой-нибудь, мне не известно... Два раза был на Дальнем Востоке, в кутузках сидел без счета за бродяжничество. Летом — на Черном море, на Волге, на пристанях, зимой батрачу по хуторам... Ну, Чертогонов и Чертогонов, разве я человек! Хорошо. Все-таки меня закрючили,— в казарму, воинский билет и — на войну... Шесть ранений... Вот, гляди.— Он залез пальцем в рот, отодрал его на сторону, показал корешки выбитых зубов.— Изловчился я попасть в Москву, в ла-

зарет, а тут — большевики... Конец моим мукам. Вопрос: «Социальное положение»? Я им: «Дальше не ищите, я — тут, потомственный почетный батрак, род-племени не знаю, может цыган, может индеец,— словом, интернационалист»... Как они засмеются! Мне — винтовку, мне — мандат. И стали мы в то время обходить город, искать злостных буржуев... Зайдешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, сробеют... Смотришь — где у них что попрятано — мука, сахар... Сволочи, ведь боятся, дрожат, а разговору не выходит и не выходит... Иной раз остервенишься,— не человек, что ли, я, гладкая твоя морда, разговаривай, ругайся, умоляй меня... Пустишь его матюгом, а разговора не выходит... В чем, думаю, дело?.. И так мне стало обидно, весь век молчал, на них, дьяволов гладких, работал, кровь за них проливал... И меня за человека не считают... Вот они, думаю, каковы буржуи, сподобился их повидать. И стала меня жечь классовая ненависть! Узнал я свою силу... Хорошо... Надо было реквизировать особняк купца Рябинкина. Пошли мы туда четверо с пулеметом, для паники. Стучим в парадное. Через некоторое время отворяет нам трясогузка, горничная, вся, голубушка, побледнела и заметалась,— ах, ах,— на цыпочках... Мы ее отстранили, входим в залую — огромная комната со столбами, и посередине стоит стол, а за ним сам Рябинкин с гостями едят блины. Дело было на масленицу, все, конечно, пьяные... Это в то самое время, когда пролетариат погибает от голоду!.. Как я винтовкой стукну об пол, как я на них закричу! Смотрю — сидят, улыбаются... И подбегает к нам Рябинкин, красный весь, веселый, глаза выпученные: «Дорогие товарищи, говорит, ведь я давно знаю, что вы мой особняк со всем имуществом реквизируете, дайте доесть блины, а между прочим, садитесь с нами... Это не стыдно, потому что это все народное достояние»,— и показывает на стол... Мы потоптались, но сели к столу, держим винтовки, хмуримся... А Рябинкин нам — водки, блинов, икры... И говорит и хохочет... Про что он только не рассказывал, все в лицах, с подковыркой... Терпенья нет, гости грохочут, и мы стали смеяться. Пошли разные шутки про похождения буржуев, начались споры, но — чуть кто из нас ощетинится — хозяин глушит его ликером,— чайный стакан, в другой посуде не пили... Начали откупоривать шампанское, и мы винтовки поставили в уголок... «Чертогонов, думаю, ты ли это ходишь по

залаю, цепляешься за столбы?» Песни начали петь хором. А к вечеру поставили у входа в парадном пулемет, чтобы кто не вломился. Полтора суток пили. Отыгрался я за всю мою бессловесную жизнь. Но все-таки Рябинкин нас обманул,— ах, дошлый купец!.. Покуда мы гуляли, он успел,— горничная ему помогала,— все бриллианты, золото, валюту, разные стоющие вещицы переправить в надежное место... Реквизировали мы одни стены да обстановку!.. Уж как с нами прощался Рябинкин, с похмелья, конечно: «Дорогие товарищи, берите, берите все, мне ничего не жалко, из народа я вышел, в народ и уйду...» И в тот же день скрылся за границу. А меня в Чеку. Я им: «Виноват, расстреливайте». За бессознательность только не расстреляли. А я и сейчас рад, что погулял... Есть что вспомнить, а пуля все равно пришибет.

— Много злодеев среди буржуев, но и среди нас не мало,— проговорил кто-то, сидевший за дымом. В его сторону посмотрели. Тот, кто спрашивал махорку у Телегина, сказал:

— Раз уж кровь переступили в четырнадцатом году, народ теперь ничем не остановишь...

— Я не про то,— повторил голос из-за дыма,— враг — враг, кровь — кровь, а я про злодеев.

— А сам-то ты кто?

— Я-то? Я и есть злодей,— ответил голос тихо.

Тогда все замолчали, опустили головы, глядели на угли в догоравшем костре. Холодок пробежал по спине Телегина. Ночь была свежа. Кое-кто у костра поворочался и лег, подложив шапку под щеку.

Телегин поднялся, потянулся, расправляясь. Теперь, когда дым сошел, можно было видеть по ту сторону огня сидевшего, поджав ноги, злодея. Он кусал стебелек полыни. Угли освещали его худое, со светлым и редким пушком, почти женственно мягкое, длинное лицо. На затылке — заношенный картуз, на узких плечах — солдатская шинель. Он был по пояс голый. Рубашка, в которой он, должно быть, искал,— лежала подле него. Заметив, что на него смотрят, он медленно поднял голову и улыбнулся как-то по-детски — жалобно.

Телегин узнал,— это был боец из его роты, девятнадцатилетний Мишка Соломин, из-под Ельца, из пригородных крестьян, взят был как доброволец еще в Красную гвардию и попал на Северный Кавказ из армии Сиверса.

Он только на секунду встретился взором с Телегиным и сейчас же опустил глаза, будто от смущенья, и тут только Иван Ильич вспомнил, что Мишка Соломин славился в роте как сочинитель стихов и безобразный пьяница, хотя пьяным видели его редко. Ленивым движением плеча он сбросил шинель и стал надевать рубашку. Иван Ильич полез по насыпи к классному вагону, где бессонно в одном окошке у командира полка, Сергея Сергеевича Сапожкова, горела керосиновая лампа. Отсюда, с насыпи, были яснее видны звезды и внизу, на земле, красноватые точки догорающих костров.

— Кипяток есть, иди-ка,— сказал Сапожков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко.

Керосиновая лампа, пристроенная на боковой стене, тускло освещала ободранное купе второго класса, висевшее на крючках оружие, книги, разбросанные повсюду, военные карты. Сергей Сергеевич Сапожков, в грязной бязевой рубашке и подтяжках, обернулся к вошедшему Телегину:

— Спирту хочешь?

Телегин сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетало булькание перепела, пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего спросонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко прогорланил петух,— был уже первый час ночи.

— Это как так — петух? — спросил Сапожков, кончая возиться с чайником. Глаза его были красны, и румяные пятна проступали на худом лице. Он пошарил позади себя на койке, нашел пенсне, и, надев его, стал глядеть на Телегина:

— Каким образом в расположении полка мог оказаться живой петух?

— Опять беженцы прибыли, я уже доложил комиссару. Двадцать подвод, с бабами, ребятами, живностью... Черт знает что такое,— сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем.

— Откуда?

— Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние, беднота. У них за станцией, в камышах, два казачьих офицера собрали отряд, ночью налетели, разогнали Совет, пятьдесят чело-

век повесили на воротах, стали отнимать скот, ломали плуги, бороны...

— Словом, обыкновенная история,— проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян и зазвал Телегина, чтобы отвести душу...— Скажи, пожалуйста, на кой черт ты пошел в Красную Армию?

— Я тебе уже объяснял...

— Ты, что же, в партию ловчишься?

— Нужно будет для дела, пойду и в партию.

— А меня,— Сапожков прищурился за мутными стеклами пенсне,— вари в трех котлах, коммуниста из меня не сделаешь...

— Вот уж если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич...

— Ничего подобного. У меня мозги не диалектические... Дикая порода,— один глаз всегда в лес смотрит. Гм! Так ты говоришь — я странный... (Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением.) С октября месяца дерусь за Советскую власть. Гм! А ты Кропоткина читал?

— Нет, не читал.

— Оно и видно... А Кропоткин — хороший старик: поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик: «Дайте людям анархическую свободу, разрушьте узлы мирового зла, то есть большие города, и бесклассовое человечество устроит сельский рай на земле, ибо основной двигатель в человеке, это — любовь к ближнему». Хи-хи...

Сапожков принялся беззвучно смеяться, пенсне запрыгало на горбатом его носу. Смеясь, он полез под койку, вытащил железный бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил и хрустко разгрыз кусочек сахару...

— Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права и революции испугались не то что до смерти, а прямо — до мозговой рвоты... Нельзя же так пугать нежных людей! А? Посиживали мы в тиши сельской беседки, думали под пенье птичек: «А хорошо бы, в самом деле, устроить так, чтобы все люди были счастливы»... Вот откуда пошли мы, несчастные... На Западе интеллигенция, это — мозговики, отбор буржуазии, выполняет железное задание: двигать науку, промышленность, индустрию, раскидывать по белу свету утешительные миражи гуманизма... Там интеллигенция знает, зачем живет... А у нас, ой,

братишки!.. Кто мы такие? Кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы — плоть от плоти славянофилы,— духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? — российский помещичий гуманизм. С другой стороны: деньги нам платит отечественная буржуазия, на ее иждивении живем, из чувства признательности даже выдали мандат товарищу Чернову. А при всем том служим народу... Вот так чудаки: народу!.. Ей-богу, мы же искренно старались изо всех сил... Трагикомедия! Так плакали над горем народным, что слез не хватало... И когда у нас эти слезы отняли,— жить стало нечем... А? Революция виновата, большевики виноваты,— это они вооружили вилами наш богоносный народ... Мы мечтали,— вот-вот дойдут наши мужики до Цареграда, влезут на кумпол, водрузят православный крест над святой Софией... Земной шар мечтали мужичкам подарить,— панславянство! А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев — вилами... Неслыханный скандал! Испуг ужасный... И начинается, милый друг, саботаж... Интеллигенция попятилась, голову из хомута тащит,— не хочу, попробуйте-ка без меня обойдитесь... Это когда Россия на краю чертовой бездны... Величайшая непоправимая ошибка. А все — барское воспитание, нежны очень... Не в состоянии постигнуть революции без морального обоснования, вне гуманитарного мышления... Без этого — не революция, а бессмысленный бунт, стихийное зверство... Нам ризы нужны для революции, а тут народ бежит с германского фронта, проходит по городам, топит офицеров, в клочки растерзывает главнокомандующего, жжет усадьбы, ловит купчих по железным дорогам, выковыривает у них из непотребных мест бриллиантовые сережки... Ну нет, мы с таким народом не играем, в наших книжках про такой народ ничего не написано. Что тут делать? Океан слез пролить у себя в квартире, с коврами и телефонами, на Фурштатской? А народ и квартирку реквизировал и ковры увез в деревню... Вдребезги разбиты мечты, жить нечем... И мы со страха и отвращения — головой под подушку, другие из нас — дирака за границу, а кто позлее, за оружие схватился... Получается скандал в благородном семействе... А народ, на семьдесят процентов неграмотный, не знает, что ему делать с его ненавистью, мечется — в крови, в ужасе... Продали, говорит, нас, пропили! Бей зеркала, ломай все под корень!.. И в интеллигенции нашлась одна

только кучечка, понявшая революцию,— коммунисты... Когда гибнет корабль,— что делают? Выкидывают все лишнее за борт... Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с гуманизмом, кованые ящики с тысячелетней моралью, бидоны с эмоциями... Облегчились, и народ сразу же, звериным чутьем почуял: «Это свои, не господа, эти рыдать не станут, у этих счет короткий...» Вот почему, милый друг, я — с ними, хотя произращен в кропоткинской оранжерее, под стеклом, в мечтах... И нас не мало таких, ого! Ты думаешь, интеллигента на капустку потянуло,— может быть, может быть... Ты зубы-то не скаль, Телегин, ты вообще эмбрион, примитив жизнерадостный... А есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть себя наизнанку, мясом наружу и, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе сейчас одну волевую силу — ненависть... Драться без этого нельзя... Мы сделаем все, что в силах человеческих,— поставим впереди цель, куда пойдет народ... Вот так,— с двумя револьверами в руках,— прыгнем в самую пучину... Но ведь нас — кучка... А враги — повсюду... Ты слыхал про чехословаков? Придет комиссар, он тебе расскажет... Не верю,— месяц, два, полгода — больше не продержимся... Разве что... Нет! Обречены, брат... Кончится все генералом... И я тебе говорю — виноваты во всем славянофилы... Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: «Беда, гибнем, Европа нас сожрет! Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, нужно бешеное развитие промышленности, поголовное образование... Пусть придет новый Пугачев, Стенька Разин — все равно — вдребезги разбить крепостной костяк...» Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы, вот на чем воспитывать интеллигенцию... А мы изошли в потоках счастливых слез: боже мой, как необъятна, как самобытна Россия, и мужичок теперь свободен, как воздух, и помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа народа у нас,— не то что на скаредном Западе,— рвется не к фабрикам и чернозему, а к тому, чтобы водрузить славянский крест над святой Софией... И вот я теперь, Телегин,— ногами топчу всякую мечту.

В проходе вагона послышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купе приотворилась, и показался широкий, среднего роста человек с прилип-

шими к большому лбу темными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки; на обветренном грубом лице его редкие морщины казались шрамами, глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был товарищ Гымза.

— Опять шпирт достал? — спросил он негромко и серьезно.— Смотри, товарищ...

— Какой такой спирт? Ну тебя к свиньям. Видишь — чай пьем,— сказал Сапожков.

Гымза, не шевелясь, прогудел:

— Так еще хуже, что врешь. Спиртищем из окна так и тянет, в теплушках шевеление началось, бойцы принюхиваются... Бузы у нас мало? Во-вторых,— опять философию завел, дурацкую волынку, отсюда я заключаю, что ты пьяный...

— Ну — пьяный, ну — расстреляй меня!

— Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо знаешь, и если я терплю, то принимая во внимание твои боевые качества...

— Дай-ка табаку,— сказал Сапожков.

Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет. Затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тер жернова:

— Каждый раз одна и та же недопустимая картина: на прошлой неделе мы расстреляли троих подлецов, я сам допрашивал,— гниль, во всем сознались... И он сейчас же достает шпирту... Сегодня расстреляли заведомую сволочь, деникинского контрразведчика, он же сам его и поймал в камышах... Готово, нализался и тянет философию... Такая у него получается капуста,— ну, вот я сейчас стоял под окном, слушал, рвет, как от тухлятины... За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел, потому что он же разлагается... Он потом два дня болен, не может командовать боем...

— А если ты расстрелял моего университетского товарища? — Сапожков прищурился, ноздри у него затрепетали.

Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Телегин опустил голову. Сапожков придвинул коленки вплоть к коленям Гымзы, в упор глядел ему в темные впадины глаз.

— Могу я иметь человеческие чувства, или я уже все должен в себе сжечь?

Гымза ответил так же, не спеша:

— Нет, не можешь иметь... Другой кто-нибудь, там уже не знаю... А ты все должен в себе сжечь... От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается... Это ты, товарищ, заруби себе да вспоминай почаще...

Долго молчали. Казалось, воздух был тяжкий. За темным окном затихли все звуки.

Гымза налил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и стал есть, как очень голодный человек. Потом, поцыкивая зубом, он начал рассказывать о чехословаках. Новости были тревожны. Чехословаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись к Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это: простой военный мятеж или ими руководят какие-то силы извне. Очевидно — и то и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями.

К окну снаружи кто-то подошел. Гымза замолчал, нахмурился, обернулся. Голос позвал его:

— Товарищ Гымза, выдь-ка...

— Что тебе? Говори...

— Секретное. Выдь, говорю, скорей.

Опустив брови на впадины глаз, Гымза уперся руками о койку, сидел так секунду, сильным движением поднялся и вышел, задев плечами за оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели, звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха.

Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул несколько раз в окно. Снял, швырнул пенсне и вдруг рассмеялся:

— Вот в чем весь секрет,— прямо ответить на поставленный вопрос... Есть бог? — Нет! Можно человека убить? — Можно! Какая ближайшая цель? — Мировая революция!.. Тут, братишка, без эмоций...

1927

ЧИСТАЯ ВОЙНА

ОТСТУПАЯ, белые заняли село Иваньково. Чурилин видел в бинокль избы, скучившиеся на крутой горе, и белую, устремившуюся ввысь колокольню со шпилем.

Он не сомневался, что в темных амбразурах ее прячутся пулеметы. Скупое осеннее солнце слегка позолотило медный шар купола.

«Хорошая цель,— подумал Чурилин.— С первого же снаряда можно поразить».

Но в полку Чурилина не было пушек, а овладеть Иваньковом нужно было безотлагательно, потому что здесь проходила железная дорога, по которой противник мог получить подкрепление.

Полк был утомлен беспрерывными боями. Воспользовавшись короткой передышкой, люди валились на землю. Они лежали на траве, охваченные глубоким сном, похожим на смерть, раскинув руки, выронив винтовки, прижавшись к стылой осенней земле.

Руки Чурилина, державшие бинокль, дрожали от усталости. На мгновение колокольня качнулась, и бинокль, выпав из рук, тяжело рванул шею. Чурилин, преодолевая сон, приказал поднять людей.

Красноармейцы поднимались медленно, с усилием отрываясь от земли, и, пошатываясь, становились в строй.

Знаменосец Микрюто, прозванный за неказистую внешность и шепелявость Михрюткой, вышел вперед, держа на плече полковое знамя, гордо вскинув голову и выпячивая узкую грудь. Ослепительно сверкало медное копье древка, начищенное мелом, который Михрютка выпросил у школьного учителя в обмен на старый, простреленный шлем. Михрютка остался доволен этой сделкой,— он получил большой кусок мела, которого, по его расчетам,

должно было хватить до полной победы над белыми гадами.

Чурилин повел полк. Нужно было пересечь гладкий, открытый луг и штурмом взять село, представлявшее собой естественную крепость. Рассыпавшись в цепи, красноармейцы двигались навстречу подозрительной тишине.

«Будут расстреливать в упор»,— подумал Чурилин, поглядывая на колокольню, и тотчас же отдаленно затрещали выстрелы, земля под ногами закипела, задымилась.

— Ложись! — крикнул Чурилин, распластываясь на земле.

Рядом с ним грузно плюхнулся Михрютка и, вытирая потное лицо концом бархатного знамени, прошипел:

— Ш колокольни штреляют, шволочи! Шнарядом бы их.

«Да, только бы один выстрел из трехдюймовки!» — думал Чурилин, разглядывая колокольню,— розовая в отблесках заката, она казалась еще выше, шпиль ее торчал как штык.

— Беш пушки не возьмем... Вшем тут шмерть будет...

Чурилин понимал, что дальше продвинуться не удастся.

— Ух, шволочь! — вскрикнул Михрютка, хватаясь за бок; рубаха быстро темнела под пальцами.— Шкрябнула только,— улыбнулся он, облегченно вздыхая.

Лежали, пока не стемнело. Отходя, уносили на плечах убитых и раненых.

Штаб полка расположился на ночь в школе. Из классов выносили парты, доски, шкафы.

— Осторожно, пожалуйста... Прошу вас, не поломайте,— упрашивал учитель, прижимая к груди глиняных раскрашенных папуасов, негров, индейцев.

Михрютка предложил учителю в обмен на негра новые обмотки, но учитель отверг и обмотки и даже новый френч.

Пол густо устлали сеном. Чурилин написал записку в соседний полк, чтобы прислали одно орудие, и, приказав Михрютке доставить ее, повалился на сено. Слышно было за перегородкой, как Михрютка говорил учителю:

— Меня за пушкой пошлали. Дай мне кушочек хлебца... Мы утречком по колокольне шнарядом шарахнем!

— Как по колокольне?! — воскликнул учитель.— Снарядом?

— Очень прошто,— невнятно ответил Михрютка, он, по-видимому, уже набил рот хлебом.

Чурилин уснул, но вдруг услышал свой храп и проснулся. Он увидел белую фигуру, плывущую на него в желтом тусклом свете фонаря как привидение.

— Кто здесь? — окликнул он, ощупывая кобуру.

— Это я... учитель... Товарищ командир, я прошу выслушать меня... Я не от себя... от всего мыслящего человечества. Я желаю вам победы, но не могу допустить, чтобы вы стреляли из пушки по колокольне... Это — творение ученика Растрелли...

— Кого расстреливают? Что вы болтаете?

Чурилин приподнялся на локтях, протирая глаза.

— Колокольню строил ученик великого Растрелли,— торжественно проговорил учитель.

— Ну и что? Какое мне дело до этого?

— Так вы просто не знаете, кто такой Растрелли!

— Откуда мне знать?—горько усмехнулся Чурилин.— Я ходил в школу две зимы...

— Только? — удивился учитель.

Он уселся рядом с Чурилиным на сено, маленький, в длинной, ниже колен, рубахе, и, поправляя очки в медной оправе, заговорил о чудесном зодчем, который украсил землю великими произведениями искусства. Правда, это — дворцы и храмы, но это неважно. Истинно прекрасное вечно.

— Лев Толстой проповедовал непротивление злу злом... Но вот вы противитесь этому злу, свергаете его силой своего оружия, и это совершенно разумно,— говорил учитель, обдавая Чурилина горячим дыханием.— Но я учу детей на книгах Толстого, и у вас не поднимется рука на его сочинения. И дети ваши, товарищ командир, будут воспитывать детей своих на великих творениях Толстого...

Чурилин слушал с недоумением, недовольный, что прервали его сон.

— Война есть война,— раздраженно сказал он, снова падая на сено.

— Нет, не согласен! Вы не правы, товарищ командир... Вы ведете особенную войну... чистую войну... Да, да! Именно чистую,— обрадовался учитель, найдя нужное слово.— Так зачем же осквернять ее? Вас осудят гряду-

щие поколения! Но вы можете возвыситься в глазах их, если спасете колокольню...

Высшим законом для Чурилина был закон победы. Он взрывал мосты, электростанции, вокзалы, уничтожал все, что служило укрытием для врага. Чурилин любил все созданное неутомимыми человеческими руками, но, если нужно было, не колеблясь сметал на пути своем все, что мешало победе.

«Потом выстроим»,— думал он, и эта мысль смягчала чувство вины и боли.

— Вы что делали до войны? — спросил учитель.

— Плотничал.

— Благородное ремесло! Вы строили жилища для людей... И разве вы не любили хорошо выстроенный вами дом? Разве не вкладывали вы в него частицу своей души?

Чурилин молчал.

В селах под Кимрами он возводил дома с затейливыми балкончиками, башенками, украшая их тонкой резьбой, похожей на кружево. Да, он мечтал построить такой дом, каких до него никто не строил...

Учитель не уходил. Он сидел скорчившись, маленький, зябкий, похожий на ребенка в длинной своей рубахе.

— Послушай-ка, комиссар,— Чурилин разбудил спавшего рядом молодого человека.— Дело тут заковыристое...

— Я все слышал,— сказал комиссар, зевая.— Он прав.

— Что же будем делать?

— Предложить белым снять с колокольни пулеметы во избежание бомбардировки...

— Вот чудак! — Чурилин рассмеялся.— Да кто же пойдет к ним с таким предложением?

— Я пойду! — сказал учитель.— Оденусь сейчас и пойду... Нина! — позвал он жену.— Дай мне чистый носовой платок, я сделаю себе белый флаг.

— Убьют они вас,— с жалостью сказал Чурилин,— не ходите.

— Они же культурные люди, товарищ командир. Они-то уж знают, кто построил эту чудесную колокольню! И они поймут меня,— убежденно сказал учитель.

Чурилин с изумлением взглянул на него и, вырвав из полевой книжки листок, написал крупным неустойчивым почерком:

«Командиру части белых войск, занимающей Иваньково. Чтобы не попортить произведение искусства, пред-

лагаем исключить село Иваньково из театра военных действий, обязуюсь взаимно не применять артиллерии. А потому давайте драться где-нибудь в сторонке».

Учитель прикрепил носовой платок к школьной квадратной линейке, залитой чернилами, обернул шею теплым шарфом и, взяв фонарь, сказал:

— Я принесу ответ скоро, так что прошу не палить из пушки до моего возвращения.

Спустившись с крыльца, он поднял над головой «флаг» и торопливо пошел мелким, старческим шагом. Чурилин смотрел ему вслед, пока желтый кружок фонаря не растаял во тьме. Он улегся снова, но сна уже не было,— казалось, что он забыл сказать учителю что-то очень важное.

На рассвете застучали колеса, послышалось фырканье лошадей, и в класс вбежал Михрютка.

— Доштал пушку и дешять шнарядов,— отрапортовал он. И Чурилин, взглянув на его изможденное, но сияющее лицо, вдруг вспомнил то, что беспокоило его всю ночь: учитель ушел в Михрюткином шлеме.

«По рассеянности, видно, надел... А не нужно было...»

— Скажи артиллеристам, чтобы ехали обратно,— угрюмо сказал Чурилин.

— Как же так? Я шкакал, думал — конь шдохнет... а теперь обратно?

Чурилин молчал. Он обдумывал план взятия Иванькова. Михрютка громко хлопнул дверью, тотчас же во дворе послышались возбужденные голоса.

Чурилин вышел во двор, его окружили бойцы. Он заговорил о мастере, воздвигшем иваньковскую колокольню, о том, что нужно уберечь это неповторимое произведение искусства, что нужно обождать возвращения учителя.

Уже занималась унылая осенняя заря, но учителя все не было. Густой туман затянул луга, и Чурилин решил этим воспользоваться, чтобы незаметно подойти к Иванькову. Он отдал приказ строиться.

Луг прошли благополучно. Впереди показались смутные очертания строений и белый столб колокольни, упиравшейся в низкое небо. Резко прозвучал одинокий выстрел, и в ответ с колокольни дружно, захлебываясь, застучали пулеметы. С криком «ура» красноармейцы ворвались в село.

Чурилина обогнал Михрютка, выкрикивая:

— Шволочи! Говорил, надо шнарядом...

Он споткнулся, упал ничком и, подложив под голову руку, замер. Белые, застигнутые врасплох, выбегали из домов босые, без оружия, поднимали руки, моля о пощаде. Через полчаса все было кончено.

Еле передвигая ноги, Чурилин подошел к колокольне. Задрав голову вверх, он долго разглядывал ее, удивляясь высоте и легкости сооружения. Вдруг что-то заставило его оглянуться,— он увидел оголенную старую липу, протянувшую толстый черный сук к каменной ограде. На суке, вытянув руки вдоль тела, висел старый учитель, касаясь земли носками разбитых ботинок, и казалось — он привстал на цыпочки, чтобы лучше разглядеть колокольню.

1937

СЕМЕН КОТКО

I

Через несколько дней после змовин воротился Семен Котко из Балты, куда ездил за подарками для невесты, и привез новость: немцы наступают на Украину.

Тут же на базаре узнал он и многое другое. Было доподлинно известно, что по договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна была отпустить Германии до конца апреля тридцать миллионов пудов хлеба, а также разрешить свободный вывоз руды. Немцы предпочли заключить союз с изгнанной радой, это значило, что немцы не только рассчитывали выкачать украинский хлеб, но главным образом задушить на Украине Советскую власть, признанную всем трудовым народом, и вернуть старый режим.

— От це тоби и рада,— говорили, крутя головой, сельчане, приехавшие на базар по своим делам.— Она рада, только народ не радый.

И спешили назад, до дому, сообщить людям новости.

Очевидцы рассказывали, что севернее Волочиска идет наступление широким фронтом в направлении на восток и отчасти юго-восток: Луцк, Ровно, Сарны, Коростень, Киев.

Одна мещанка, приехавшая на румынский фронт, разыскивая пропавшего без вести мужа, и вместо этого в суматохе попавшая в Балту на базар, божилась, что собственными глазами видела немецкие эшелоны в Шепетовке и Казатине.

Она даже показывала людям пропуск, напечатанный на машинке, по-видимому, по-немецки, за печатью с чудацким орлом и подписанный немецким комендантом.

— Впереди всех,— говорила она, проворно затыкая под платок растрепавшиеся волосы несгибающимися паль-

цами с серебряным кольцом,— впереди всех идут гайдамаки в смушковых шапках с красным верхом и с желто-блакитными бантами на грудях, за теми гайдамаками идут какие только завгодно офицера — тут тебе и русские с погонами и кокардами, тут тебе и польские с чисто белым орлом на фуражке с розовым околышком, и мадьярские, и украинские, и галичанские. Ну злые все беспощадно! За теми офицерами идут военные-пленные галичане и украинцы. А уже за теми военными-пленными начинаются самые германцы. И чего только у ихних у эшелонов нема! Один полк — кавалерийский, один полк — королевский, один полк — чисто весь на велосипедах, один полк такой, что все германцы сидят в броневиках — ни одного человека на плацформе не видно...— Мещанка вдруг сморщила нос, по носу побежали слезы, заголосила: — Пропала наша Россия! Ратуйте, люди! Ратуйте! — и повалилась грудью на чей-то воз, заставленный мешками с кукурузой.

«Эге»,— подумал Семен и не теряя времени поворотил лошадей назад.

В полдень, когда люди воротились с поля, голова сельсовета Ременюк созвал сход. Коротко, но не торопясь он рассказал, что произошло, и, рассказавши, вдруг закричал во весь голос:

— Товарищи селяне! Слухайте все и понимайте. Сюда до нас идет немец, а вин шутковать не любит. Он хотит взять в кабалу рабочих, забрать землю у крестьян, отнять волю у народа. Он хотит выкачать хлеба тридцать миллионов пудов и всевозможное продовольствие в Германию, хотит задушить Украину и Россию. Таковы цели германских и австрийских помещиков и капиталистов. Теперь не время разговаривать много. Надо робыть. Товарищи селяне, мы должны теперь показать на деле, что мы — не продажные шкуры, а будем до конца бороться с нашествием иноплеменников, как и наши предки боролись, например сказать, со шведами, которые тоже один раз, слава богу, заскочили до нас на Украину и не знали, как потом оттуда вытягнуть ноги; то же самое французский контрреволюционер Наполеон Бонапарт, нарвавшийся мордой об стол. Что это значит? Это значит — не давать им продовольствия, заморить их к черту голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его германцам! Все как один человек встаньте на защиту революции и свободы!

II

А на другой день перед вечером в хату к Коткам пришли на разгляды всем семейством Ткаченки.

Софья, которая, по обычаю, впервые в этот день хозяйничала в доме своего будущего мужа и принимала гостей, не могла отвести глаз от всего этого богатства. Со скрытой гордостью она кланялась пирующим и ставила на стол миски, говоря изредка:

— Кушайте, мама, ложкой, не обращайте внимания.

Или:

— Наливай себе, Фросичка, в люминевый стаканчик.

Семен же, натужив скулы и тесно, изо всех сил, сдвинув клочковатые брови, что, по его мнению, придавало человеку вид справного, самостоятельного хозяина, с небрежной строгостью бывалого мужа замечал:

— Что ж ты стоишь, София, я не понимаю, и руки сложила? Может быть, дорогие гости ще хочут исты. Там мама поставила у погреб холодец с телячьих ножек. Знаешь, где наш погреб? Принеси и поставь на стол, будь ласковая.

А сам исподволь посматривал на старого Ткаченку, будущего своего тестя,— какое на него производит впечатление их хозяйство?

Но бывший фельдфебель и бровью не вел, как будто ни на столе, ни в хате ничего не было достойного внимания. Только один раз, как только вошел в хату, покосился на вещи и сказал:

— Ну и покупил себе наш Котко предметов полный цейхауз. На все гроши. Ничего не забыл. Дорого стоило?

Лошадью, коровой и овцами будущий тесть и вовсе не поинтересовался. На просьбу матери Семена посмотреть, какая у них скотина, он ответил:

— А чего мне смотреть. Я ее добре знаю. С того времени, как она еще была помещиков Клембовских.

И пасмурно усмехнулся.

Другой на месте Семена, может, и почувствовал бы в словах Ткаченки лютую, неистребимую ненависть, скрытую за этой короткой усмешкой. Но не до того было Семену, занятому своим счастьем.

После разглядов полагалось назначить день свадьбы. Тут уж дело целиком зависело от тестя. Все, а главным образом Семен и Софья, хотели сыграть свадьбу как можно скорее. Но шел великий пост. Надо было дожидаться красной горки. С этим и приступили к Ткаченке. Однако он решительно заявил, что, раньше чем уберут с поля хлеб, о свадьбе нечего и говорить. А там как бог даст.

Всем стало ясно, что Ткаченко нарочно тянет. Но ничего нельзя было поделать. Это было его право.

Семен, впрочем, попытался нажать на тестя. Ткаченко посмотрел на Семена со странной лаской и сказал:

— Не лезь, Семен, попередь батько в пекло. Сперва я тебе уважил. Теперь ты мне уважь.

И Семен понял, что уломать упрямого фельдфебеля — мертвое дело.

На этом покончили.

Семейство Котко проводило Ткаченок до палисада. Семен отчинил ворота, и Ткаченки, минуя калитку, вышли гуськом на улицу в ворота.

Не отошли еще Ткаченки от хаты Котко и на десять шагов, как по улице пробежали, задрав головы, два хлопчика и одна девочка, крича в восторге:

— Ой, бачьте, иэроплан летит!

Высоко в чистом и нежном небе над селом летел аэроплан.

Село было глухое, дальнее, и появление аэроплана заинтересовало всех. Люди выбежали из хат и подняли головы к небу.

Аэроплан летел в глубь страны. Невысокое солнце отчетливо освещало его светлые ребристые крылья, немножко загнутые на концах назад. И на этих крыльях люди увидели два черных креста невиданной формы.

— Герман! — сразу сказал Семен, опытным взглядом увидев врага, и побежал в хату за биноклем.

Аэроплан скрылся из глаз, но скоро появился с другой стороны, опять пролетел над селом назад, блеснул и пропал окончательно.

Люди молча переглянулись.

Это был немецкий военный самолет.

В ту же ночь Ткаченко заложил коней и выехал со двора. Вернулся он лишь на другой день к вечеру.

III

Прошел великий пост. Прошла поздняя пасха. Южная весна кончалась роскошно и уже сторонилась, уступая лету пыльную дорогу, заросшую по краям будяком и бледно-розовыми граммофончиками вьюнка.

И вот однажды бабы, выдиравшие из зеленого жита перекати-поле и молочай, увидели на шляху трех человек в серых мундирах, с винтовками на ремнях. Они шли в село.

Поравнявшись с бабами, окаменевшими от страха и любопытства, один из них, по солидности, видать,— старший, приложил руку к блину бескозырки, пошевелил задранными усами тараканьего цвета, надул тугие щеки и низким басом буркнул нараспев, как из желудка:

— Мо-оэн!

— Бок помочь! — крикнул другой, приподымая над головой свой блин с круглой кокардочкой, малюсенькой, как точка.

Бабы упали в жито и, накрыв голову спидницами, кинулись утекать.

Прежде чем чужие солдаты добрались до кузни, все село уже знало, что пришли немцы.

Из-за плетней и палисадов, с завалинок и порогов смотрели сельчане вдоль улицы скорее с любопытством, чем со страхом, на троих солдат с касками, привязанными сзади к толстым поясам.

Немцы шли посередине широкой деревенской улицы, поросшей кучерявой летней травкой. На них были хоть и узкие, но вместе с тем мешковатые мундиры с расходящимся разрезом сзади и толстые сапоги с двойным швом.

Судя по этим пыльным сапогам, порыжевшим от украинского солнца, и по ядовитым пятнам под мышками, было ясно, что немцы уже прошли верст не менее пятнадцати.

Время от времени они останавливались возле какого-нибудь двора, и тогда старшой прикладывал толстую руку к бескозырке, надувал щеки и бурчал нараспев:

— Мо-оэн!

После этого вперед выступал другой, по-видимому считавшийся у немцев знатоком русского языка, и, приподняв над головой блин, бодро кричал:

— Бок помочь, казаин! Добри ден! Как есть здесь идти находить деревенски рада, пожалуйста?

Но хозяин или хозяйка,— а то и хозяин и хозяйка вместе да еще в придачу с парой голопузых хлопчиков, уцепившихся за мамкину юбку,— смотрели на гостей с молчаливым любопытством. Постояв немного у палисадника, немцы шли дальше.

Так они ходили по селу часа полтора, пока не попался старик Ивасенко, на двадцать верст кругом известный своим образованием и способностью говорить по любому поводу до тех пор, пока у собеседника не заболит голова.

— Так что же вы хочете? — начал старик Ивасенко и, предвидя интересный и длинный разговор, попрочнее установил локти на плетне.— Так что же вы хочете, господа? Вы хочете знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или — теперь одно и то же — сельская рада.

— Так есть,— радостно кивнув головой, сказал знаток русского языка.

— Ще подождите радоваться,— строго заметил старик Ивасенко, который совершенно не выносил, чтобы его перебивали.— Ваше слово ще впереди. Так что же вы таки хочете? — назидательно продолжал он, наслаждаясь плавностью и красотой своего слога.— Вы хочете, или — то же самое — вам треба явиться, согласно воинского приказа, до нашей сельской рады. Так я вам на это могу ответить только одно. Того сельского присутствия, или — то же самое — той сельской называемой рады у нас нема в помине с сего января месяца. Теперь вы можете спросить: где же оно тое присутствие, или — то же самое — называемая рада? На это я вам отвечу так. Ее нема. Ее уже нема. Ее уже нема давно, потому что она благополучно кончилась, или — то же самое — разогната сего месяца января. А ее место доси заступает присутствие, или — то же самое — но только теперь не называемое сельская рада, а называемое теперь сельский Совет рабочих и крестьянских и солдатских депутатов. А рады уже нема в помине. В помине нема уже рады. Теперь. Вы хочете знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или — то же самое — теперь сельский совет. То на это я вам могу ответить одно, но только не сразу, а трошки подумав...

Немцы слушали-слушали, а потом, не дослушав, поправили винтовки и пошли себе дальше, шаркая тяжелыми сапогами по вьюнкам.

Старик Ивасенко долго смотрел им вслед с ядовитой обидою в глазах и презрительно качал головой:

— И нехай. Когда они все такие умные — нехай шукают сами. Нехай. Побачим.

Наконец немцы кое-как добрались до сельсовета.

На камышовой крыше, рядом с аистом, стоявшим на одной ноге возле своего гнезда, они увидели похилившийся красный флажок, порядочно выгоревший на солнце.

По-видимому, это их очень удивило, так как старшой долго смотрел на флажок, потом надул щеки, высоко поднял брови и сказал желудочным басом:

— О!

Затем они вошли в хату.

В хате, как всегда, околачивалось много народу. Ременюк в своем неизменном брезентовом пальто с капюшоном, которое он не скидал ни зимой, ни летом, как ни в чем не бывало сидел за столиком и старательно вырисовывал водянистыми чернилами ведомость на распределение комбедовского сельскохозяйственного инвентаря между незаможными дворами.

— Бок помочь,— хотя уже несколько утомленно, но все еще довольно бодро воскликнул знаток русского языка, снимая свой блин.— Добри ден.

С этими словами он строго обернулся лицом в угол и размашисто перекрестился слева направо на новенький московский цветной плакат, изображавший попа с лукошком яиц, со стишками:

Все люди братья —
Люблю с них брать я.

После этого старшой произнес свое утробное «мо-оэн» и положил на стол бумагу, вынутую из внутреннего кармана.

— Битте.

— Пожалуйста,— перевел лингвист.

Ременюк развернул добре таки пропотевшую бумагу и не торопясь вслух прочел напечатанное на машинке по-русски требование начальника императорского и королевского соединенного отряда в трехдневный срок доставить на склад полевого интендантства 1200 пудов жита или пшеницы, 200 пудов свиного сала, 3750 пудов сена и 810 пудов овса. В случае невыполнения этого приказа виновные будут арестованы.

При общем молчании Ременюк сложил бумагу вчетверо, провел по сгибу ногтем, твердым, как ракушка, сунул ее себе под локоть и снова, наморщив лоб, принялся вырисовывать ведомость.

— Альзо? — после длительного молчания сказал старшой.

— Герр унтер-официир,— перевел знаток языка,— что есть по-российски — господин унтер-офицер, имеет знать от вас, господин, ответ для герр обер-лейтенант.

— Скажи ему, что безусловно,— ответил голова равнодушно, продолжая лепить свои закорючки.

Старшой одобрительно кивнул головой, но затем строго надулся, поднял к потолку толстый указательный палец и отрывисто произнес желудочное слово:

— Абер!..

— Можешь не сомневаться,— сказал голова.

Немцы еще немного потоптались, суясь по углам. Как видно, искали напиться. Но воды не нашли.

Затем переводчик опять перекрестился на попа с лукошком, сказал общительно:

— Добри ден. Спокойной ночи.— И, провожаемые молчаливыми взглядами, немцы вышли из совета.

И о них забыли.

Но ровно через четыре дня они появились снова и прямо направились в совет.

На этот раз совет был заперт на замок, а на двери имелась прилепленная житным мякишем записка: «Кому меня треба, то я нахожусь старостой на змовинах матроса Царева у хате Ременюков за ставком. Председатель сельского совета Ременюк».

Знаток языка отнюдь не умел читать по-российски, и немцы стояли перед запертой хатой в некотором затруднении.

Но тут невдалеке за ставком им явственно послышались звуки скрипки, гармони и бубна. Немцы посовещались и побрели по направлению музыки. Обогнувши ставок, они сразу наткнулись на палисад, в котором происходили змовины матроса Царева с Любкой Ременюк.

Матрос пировал широко. Хата не вместила гостей. Столы поставили на дворе. Ременюк, хотя и был занят выше горла, все же не мог отказать матросу. Голова сидел на видном месте с полотенцем на рукаве и с посохом и неторопливо вел змовины.

Старшой немец подошел ближе к столу, в упор выкатил на председателя глаза, светлые, как пули, страшно надулся, двинул усами и гаркнул по-немецки так, что со стола свалилась ложка.

— Герр унтер-официир спрашивает,— объяснил переводчик,— где есть должные продукты?

— Какие продукты? — сказал голова.

Унтер-офицер достал из бокового кармана записную книжку, раскрыл ее и грозно постучал по страничке химическим карандашом с резинкой на конце.

— Айн таузент цвай гундерт,— сказал переводчик,— то по-российски будет: одна и две сот тысяча пуд пшеница и две сот пуд свинское сало и три и семь сто пятьдесят тысяча пуд сено и восемь сот диесать пуд овес. Где есть эти?

— Та вы что, смеетесь над нами, чи шо? — воскликнул матрос после некоторого общего молчания. Затем он налил из штофа полный стаканчик и подвинул унтер-офицеру.

— Лучше на — выпей, чтоб дома не журились. Такого у вас в Германии нет и не будет.

— Найн! — сказал унтер-офицер и ребром ладони решительно, но вместе с тем осторожно, чтобы не разлить, отставил стаканчик, после чего произнес довольно длинную фразу и снял с плеча винтовку.

Переводчик немного помялся, оглядываясь на многочисленных подруг, гостей, бояр, любопытных и музыкантов. Он сделал осторожно улыбку и отступил на шаг назад.

— Герр унтер-официир обладает сделать, господин председатель, что вы есть сейчас арестованный и должный иметь направление в комендатуру.

— Я! — сказал унтер-офицер.— Ште ауф! — и взял винтовку на руку.

— Та вы что, на самом деле,— смеетесь? — простонал матрос, чуть не плача от раздражения, что ему мешают змовляться, вырвал из рук унтер-офицера винтовку, молниеносно ее разрядил и с такой силой зашвырнул за погреб, что по дороге туда она вдребезги разнесла собачью будку и положила на месте серого гусака, подвернувшегося на тот несчастный случай.

Гости повскакали с мест, и через минуту остальные две винтовки тоже пронеслись через двор, подскакивая как палки, пущенные в городки.

Немцев заперли в погреб и дали им туда большую

миску холодца из телячьих ножек с чесноком, целый хлеб и манерку вина.

Змовины шли своим чередом.

Сначала немцы страшно стучались кулаком в дверь и что-то кричали, но мало-помалу успокоились.

Змовины кончились на рассвете, и тогда немцев выпустили из погреба. Они потребовали обратно свои винтовки, но винтовки пропали.

До утра немцы ходили по дворам, спрашивая, не видел ли кто-нибудь их винтовки. Сельчане молчали. Тогда унтер-офицер приложил руку к бескозырке, пробурчал «мо-оэн», сделал своей команде знак поворачивать и зашагал из села с трясущимися от негодования щеками. А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на шляху встало облако пыли.

Село было окружено немцами.

Пока серые солдаты снимали чехлы с четырех пулеметов, поставленных кругом на возвышенностях, взвод драгун ворвался в село. Возле церкви он разделился на три части. Один разъезд, не меняя аллюра, поскакал прямо к сельсовету. Другой — к хате Ткаченки. Третий остался на месте и спешился.

На этот раз немцам было прекрасно известно расположение села.

Старик Ивасенко, страдавший бессонницей и поднимавшийся раньше всех, видел, как Ткаченко разговаривал со старшим немецкого разъезда, остановившегося около его хаты.

Сельчане еще не успели проснуться и выскочить на улицу, как драгуны, ездившие к сельскому совету, уже на рысях возвращались на площадь. За разъездом, в брезентовом пальто, разодранном сверху донизу, спотыкаясь и дергаясь, бежал голова Ременюк, скрученный по рукам веревкой, концы которой держали драгуны.

Сейчас же следом за первым разъездом показался второй, волочивший матроса. Вид Царева был ужасен. Из разбитого прикладом рта на полосатый тельник широко падала кровь. Наполовину вырванный чуб прилип ко лбу, вывалянному в земле. Скрученная веревкой рука судорожно сжимала лохмотья гармоники, которой матрос отбивался, и на длинной георгиевской ленте, попавшей под веревку, болталась и била по босым ногам матросская шапка.

Перед церковью стояла старая сухая груша, в прошлом году разбитая молнией. Под ней, привстав на стременах, медленно поворачивался немецкий вахмистр.

Драгуны окружили пленных и накинули на них петли. Вахмистр махнул палашом. Казнь совершилась в ту же минуту. И тотчас раздался женский крик такой силы, что на колокольне явственно дрогнула и зазвучала медь большого колокола.

Любка Ременюк вытянула вперед руки, остановилась как вкопанная, с остекленевшими глазами на равнодушном лице, и рухнула навзничь, пяти шагов не добежав до груши.

В село при звуке рожков, с кухнями и обозами, входила немецкая пехота.

IV

Обер-лейтенант фон Вирхов, немецкий комендант уезда, прибыл в мятежное село после полудня.

В дороге было жарко.

Обер-лейтенант снял замшевые перчатки — почти белые, но со слабым лимонным оттенком,— вывернул их наизнанку и повесил на эфес сабли, поставленной между колен. Но при въезде в село обер-лейтенант снова натянул перчатки.

Часовой в глубокой каске, ходивший под деревом, на котором, уронив головы, висели Ременюк и матрос, остановился и вытянул руки по швам.

Обер-лейтенант, не переставая смотреть вперед, приложил два пальца к фуражке.

Экипаж прокатил через село и въехал в экономию Клембовских, где уже был расквартирован штаб.

Во дворе дымилась кухня. Команда связи расставляла на желтых лакированных палках телефонный провод. Драгунские лошади у коновязи свистели хвостами, отмахиваясь от слепней. На крыльце стоял пулемет.

Часовые вытянулись. Обер-лейтенант поднялся по ступеням и сбросил на руки вестового серый плащ.

Иссиня-черная, пороховая туча заходила с краю, поднимаясь над прошлогодними скирдами и неподвижными акациями села.

В этот день большая честь выпала дому Ткаченок.

Проголодавшееся начальство не погнушалось отобедать у нового старосты.

Никогда еще хата фельдфебеля не видала у себя таких именитых гостей. Господин обер-лейтенант фон Вирхов, его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский, чиновник министерства земледелия Соловьев попробовали в этот день молочного супа, вареников со сметаной и жареной свинины подпрапорщика Ткаченки. Красавица Софья, бледная как смерть и оттого еще более прекрасная, подавала гостям блюда, не смея поднять слипшихся ресниц.

Отец приказал ей для такого случая надеть лучшую юбку и лучшую кофту и лучшие свои мониста повесить на шею. Он осмотрел ее с ног до головы и, осмотревши, сказал;

— Одно: не выкинешь из головы — убью; ступишь на порог — убью; скажешь лишнее слово — убью.

Туча закрыла солнце. Ветер побежал и дунул жарким запахом конопли.

Лучшего девяностосемиградусного спирту, в меру разбавленного кипяченой водой, поставил на стол Ткаченко. Три чарки поднимали гости. Первую чарку поднимал его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский.

— Пью эту чарку,— сказал он,— за спасителя моего Никанора Васильевича Ткаченко, верного моего слугу и друга; а также пью я за то, чтобы вперед господа помещики знали, как надо владеть и править своей землей, не чурались бы деревенской жизни, водили хлеб-соль с богатыми и преданными людьми и жен себе брали из наикращих сельчанок, не стесняясь их крестьянством; потому что за землю надо держаться не одной рукой, а двумя,— а то не удержишь.

При этих словах его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский как бы вскользь окинул взглядом застывшую у дверей Софью и одним духом выпил свою чарку.

Вторую чарку поднимал чиновник министерства земледелия господин Соловьев.

— Эту чарку, господа, я предлагаю выпить за любовь.

И гости выпили по второй чарке.

Третью чарку пил обер-лейтенант фон Вирхов.

— За Индию! — сказал он по-французски и, заметив, что от него ждут продолжения, продолжил: — Да, господа. Здесь, в этой далекой украинской деревне, за этим грубым крестьянским столом я пью за Индию.

Его глаза налились прозрачной голубой пустотой. Они были устремлены вдаль.

— Мы даем вам успокоение. Вы даете нам хлеб и открываете безопасный путь на Индию. Англия задушила нас на Западе. Но путь на Восток идет не только через Стамбул — Багдад. Он также идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь. Оттуда германские корабли идут на Батум, Трапезунд. Я вижу Месопотамию. Аравийский ветер дует в лицо германских солдат. И — Индия! Индия! Мы вырвем у Англии сердце. За Индию!

Четвертую чарку поднял хозяин:

— Покорнейше вами благодарный, что не отказались от моего посильного угощения. Пью эту чарку за то, чтобы оправдать ваше доверие и справиться с народом.

В хате стало темно. Мимо окон пронеслась вырванная из акации ветка, до последнего листика освещенная на лету молнией. Гром взорвался, как бомба, попавшая в зарядный ящик, и посыпался на железную крышу.

Гости выпили четвертую чарку.

Ливень плющился о стекла.

Дымные водопады ливня один за другим пробегали по селу. Хаты стали тотчас с одного бока черно-лиловые. Улица вздулась, как река. По серой воде среди пузырей и сметья буря гнала в ставок убитую грозой ворону.

Небо, со всех сторон подожженное молниями, ежеминутно рушилось на потрясенную землю.

Тем часом по селу, закинув вверх слепое, но оживленное безумьем лицо, шла против ветра мокрая до ниточки Любка Ременюк. Она шла не спеша, в длинной праздничной юбке, в сорочке с расшитыми рукавами, вся в монистах и лентах. Буря вырывала их из слипшихся волос, черных, как деготь.

На каждом шагу она останавливалась и простирала к хатам руки, о которые вдребезги разбивался ливень.

Она пела страстным голосом нечеловеческой высоты и однообразия:

Ой, рано, раненько!
За городом дуб та береза.
А в городі червона рожа.
Там Любочка та рожу щипае.
Пришла до неі матінка:
— Покинь, доню, та рожи щипати,
Хочу тебе за Василька віддати.

— Я Василька сама полюбила,
Куда пішла — перстень покотила,
А де стала — другий положила...

И она продолжала брести, шатаясь и расталкивая коленями сильную воду.

Гроза гремела за полночь, то уходя из села, то вновь в него возвращаясь.

V

Поздней ночью в хату Котков постучали. Семен бросился к окну. При судороге отдаленной молнии он узнал платок Софьи. Он торопливо отчинил дверь. Софья вбежала и обхватила его трясущимися руками. С ее волос на его рубаху текла вода.

— Семен, бежи!

— Что? Батька?

— Батька.

— Лютует?

— Хуже собаки. Ой, меня больше ноги не держат!

— Сядь.

— Бежи за ради бога!

— Пей воду.

— Бежи, я тебе говорю...

Семен похолодевшей рукой нашарил на загнетке коробку серников. Она зашуршала.

— Стой. Не зажигай света. Может, с улицы смотрят.

Фрося и мать неслышно метались по хате, закладывая окно.

— Теперь свети,— прошептала Фрося, дрожа всем телом.

Маленькое неспокойное пламя каганца осветило хату с окнами, заложенными красными подушками.

Софья сидела на скамейке под печкой, быстро крутя на груди стиснутые руки, и облизывала губы. Ее глаза блестели сухо и дико на бледном лице, заляпанном грязью.

— Бежи, Семен,— говорила она скоро и монотонно, как в беспамятстве.— Бежи сегодня, бо завтра уже будет поздно! Бежи, пока ночь. За ради святого господа Исуса Христа запрягай лошадь. Той старый черт, той проклятый сатана — батька — доказал на тебя немецкому коменданту. Он бумагу на тебя подавал, и немецкий комендант сказал: гут.

— Так,— сказал Семен, глядя в землю, и губы его горько тронулись.— Так. Выходит дело, что должен я темною ночью запрягать в подводу коней и выезжать потихоньку, со своего же собственного двора. Было у меня родное семейство: мама-вдова, сестричка-сиротка и дивчина, с которою мы ненарушимой любви заручились. Была у меня какая ни есть хата, и хозяйство, и земля, моими руками поднятая и пóтом моим политая. А теперь — выходит дело — налетели на нас откуда ни возьмись теи злодии, стали поперек крестьянской жизни и выжинают меня от моего счастья к чертовой матери, куда глаза смотрят, в ту темную ночь кочевать по степу, все равно как бродягу, цыгана или того серба с обезьяной. И должен я, не дожидаясь солнца, тикать из села, все на свете покинув — и мáть родную, и сестричку-сиротку, и землю посеянную, и дивчину зарученную, и сватов своих, без погребенья повешенных на добычу воронам.— Тут Семен вспомнил свою батарею, командира Самсонова, прощальные его слова — и заплакал с досады.

Насухо вытер он концом бязевой солдатской рубахи слезы, выпил полную кружку воды и, стиснув мелкие зубы, заиграл скулами.

— Так нет же, злодии, не дождетесь вы такого позора! Идите, мамо, во двор, положите в повозку сала с хлебом и потихонечку выведите из сарайчика клембовскую Машку. А ты, Фросичка, надень на ноги чоботы и раз-раз бежи до Ивасенков. Скажешь своему черту Миколе, чтобы он той же секундой потихонечку завел до нас во двор своего Гусака. Я его думаю запрягать вместе с Машкой. Бо все равно того Гусака завтра заберут обратно в экономию.

Фроська проворно сунула ноги в громадные чоботы, но бежать ей не пришлось.

Дверь, которую забыли заложить палкой, приоткрылась, и в хату заглянула лохматая голова самого Миколы. Он увидел, что в хате не спят, но не удивился. Навряд ли в какой-нибудь хате люди ложились спать в эту проклятую ночь.

— Извиняйте, что заскочил в такое неподходящее время. Я до вас, дядя Семен...

С того дня как Микола стал гулять с Фросей, он проникся к Семену страхом и уважением. Он не называл его иначе как «дядя».

Микола был одет для дальней дороги, и его молодое, еще ни разу не бритое, почти детское лицо было полно суровой решимости.

— Я вам, дядя Семен, давал своего Гусака, когда вы ездили в Балту. Теперь позычьте мне вашу Машку. Я ее думаю запрягать вместе с Гусаком.

— А я только что до тебя Фроську посылал с тем же самым.

Семен внимательно посмотрел на хлопца.

— Собираешься кудась ехать?

— Собираюсь.

— Посреди ночи?

— Эге ж.

— Куда?

— Куда бы ни было. И еще, дядя Семен, низко вам кланяюсь и не откажите. Видел я у вас добрый револьвер-наган с патронами...

— А ну, выйдем на одну минуту из хаты,— сказал Семен, не дав Миколе договорить.

Они вышли, а не больше как через полчаса за кузней стояла подвода Семена, запряженная Машкой и Гусаком. Семен выносил из кузни и клал в подводу выкопанное оружие и шанцевый инструмент. Микола закладывал их соломой.

Софья кинулась к Семену на грудь.

— Не бросай меня тут. Забери с собою!

— Ни, Соню. За это и не мечтай. То не ваше женское дело, а наше — солдатское. Дожидайся меня, не журись. Даст бог, скоро побачимся. Ще не долго тем злодиям хозяйновать на нашей земле. С тем до свиданья.

Они обнялись и долго целовали друг другу мокрые от слез руки, как и в тот счастливый час их змовин.

Затем Семен низко поклонился матери, и мать низко поклонилась ему. А Фросе достался добрый братский тумак по спине.

Семен и Микола уселись в солому. Подвода тронулась. Но едва она обогнула кузню, как Фрося легче ветра полетела за ней и вскочила на ступицу.

— Так-таки мне ничего напоследок не скажешь? — шепнула она Миколе.

— Скажу то же самое: дожидайся и не журись. Скоро побачимся.

— Куда ж вы, скаженные, едете?

— Будем живые — услышишь.

Микола ударил по коням, и подвода пропала в непроглядной темноте.

— Ну, кавалер, у тебя ще душа в теле или уже вышла наружу? — вполголоса спросил Семен своего будущего зятя, когда подвода выехала на площадь против церкви.

Ни одной звезды не виднелось на небе. Но дождя уже не было. Старая груша еле выделялась из темноты.

— А я и не чую, что такое за душа,— пробормотал зять, вдруг осаживая лошадей.— Я ще не воевал.

— Гальт! — раздался вдруг рядом с подводой повелительный возглас немецкого часового.

И в тот же миг страшный удар прикладом обрушился на его голову в каске. Оглушенный часовой свалился без звука. Семен с драгунской винтовочкой в руках и Микола с солдатским наганом выскочили из подводы, наклонились над телом. Семен успел перехватить руку зятя.

— Не стреляй, дурень. Тихо. Без паники.

Микола сорвал с головы часового шлем и несколько раз подряд изо всех сил ударил по ней рукояткой револьвера. Потом он неслышно взобрался на дерево и перерезал складным ножом веревки. Два несгибающихся тела тяжело, но мягко свалились на мокрую траву.

Семен и Микола уложили их на подводу, заложили соломой, а сверху поспешно кинули труп часового,— и погнали лошадей. Возле ставка они остановились и, раскачав немца, зашвырнули его в воду подальше от берега.

Осторожно выбравшись из села, они своротили с дороги в жито, сделали по степи несколько громадных кругов, чтобы сбить со следа и, наконец, подались в глубь уезда, что есть мочи подгоняя коней.

На рассвете, проехав верст восемнадцать, если не все двадцать, они достигли узкой и глубокой балки и спустились в нее. Место было глухое. Отсюда, продвигаясь по дну балки, можно было незаметно добраться до одного не многим известного лесочка.

Стало развидняться. Солнце подымалось среди туч уходящей грозы. На колеса медленно наворачивалась толстая шина грязи с прилипшими к ней степными цветами.

Микола сидел, опустив голову и закрыв лицо руками.

— Боже ж мий, боже,— шептали его побелевшие губы.— Прости мени кровь, пролитую моими же собственными руками.

— Вот и сразу заметно, что ты ще настоящей войны не чуял,— строго сказал Семен.— Бога не проси, бо он тебе все равно не уважит. Даже разговаривать с тобой, с дурнем, не схочет. А люди тебе простят. Еще спасибо скажут.

Желтое солнце мутно сияло в узеньких, серебристых, как бы суконных листинках дикой маслины, на которой качалась сонная горлинка.

За полдень они въехали в лесочек, и в ту же минуту из орешника выскочило человек пять с поднятыми ручными гранатами и винтовками наперевес.

— Стой! Кто такие?

— Сельчане.

— Це нам подходит. Куда едете?

— Туда, где злодиев нема.

— Ще больше подходит. Значит, до нас. Оружие е?

— Револьвер-наган солдатского образца, драгунская трехлинейная винтовка, две ручные гранаты лимонки и четыре немецких ружья — бис его знае, сколько они линейные.

Семен говорил чистую правду. Немецких винтовок было действительно четыре. Одна, доставшаяся от часового, а три остальные — как раз те самые, что пропали у немецкого патруля на змовинах матроса Царева и Любки Ременюк. Их тогда потянул и сховал в соломе не кто иной, как Микола.

— Це добре... Патроны до немецких винтовок тоже е?

— Патронов до немецких винтовок нема. Не сообразили разжиться.

— От, ей-богу, люди! И таскают, и таскают, и таскают теи немецкие винтовки, а чтобы кто-нибудь за патроны побеспокоился, то того нема. Продовольствие е?

— Сало е, хлеб.

— Це у нас у самих до чертовой матери. А случаем пулемета якого-нибудь нема?

— Пулемета нема.

— От, ей-богу, люди! Все равно как маленькие дети! А ще что лежит в подводе?

Семен и Микола отгорнули солому. Люди заглянули в подводу и молча скинули шапки. Кое-кто перекрестился.

— Наша Советская власть,— потупившись, сказал Семен.— Оба мои сваты. Оба меня заручали и оба меня змовляли. А на свадьбе гулять так и не пришлось. Ни им обоим

не пришлось, ни мне. Налетели откуда ни возьмись теи злодеи и нарушили всю нашу крестьянскую жизнь.

А уже подводу окружало не пять, а по крайности человек сорок беглых селян, собравшихся сюда из разных волостей и сел, в которых хозяйничали гайдамаки и немцы. Собравшихся для того, чтобы с оружием в руках встать за свою долю.

В молчании, поскидав шапки, фуражки и шлемы, проводили они подводу в глубину леса, где были разбиты землянки и в казанах варился кулеш, и тут на поляне под молодым дубом схоронили матроса Царева и председателя сельского совета Ременюка, а на дубе вырезали их имена, крест и прибили матросскую шапку.

VI

Лето кончалось. Шел последний летний месяц — август.

От Ростова до Троянова вала, и от Курска до Джанкоя, и дальше вплоть до самого Черного моря; по-над батькой Днепром, по-над тихим его братом Доном и по-над быстрым его братом Днестром; среди шведских могил и скифских курганов; вокруг мазанных мелом хат, примостившихся в тени пирамидальных тополей и акаций; вокруг одиноких степных ветряков; вдоль некошеных балок, где за полдень, как в люльке, спит лиловая тень тяжелого облачка; и по всей богатой, обширной и красивой Украине — в свой срок заколосились хлеба, зацвели, побелели на зное, склонились, и скоро украинские поля из края в край уставились соломенными ульями копиц, и вся Украина, как необозримая пасека, заблестела под убывающим солнцем.

Но не радовались люди в этот страшный год красоте и обилию своей земли. Сеяли свободными, а убирать урожай довелось рабами...

«Теперь для всех трудящихся Украины стало ясно, что они потеряли с Советской властью»,— говорилось в воззвании Съезда Революционных комитетов и штабов Киевской губернии к рабочим и крестьянам Украины.

«И сердце рабочих и крестьян снова горит желанием бороться за Советскую власть, штурмом взять себе прежнюю крепость революции.

Не сегодня-завтра немцы увезут весь хлеб с крестьянских полей.

Хлеб останется только у богатых. Рабочие и бедные крестьяне хлеборобной Украины будут умирать с голоду, а помещики будут считать марки и кроны за крестьянский хлеб. Всем должно быть ясно, что если еще хоть неделю похозяйничают немцы и помещики со Скоропадским во главе, то нам неминуемо грозит голодная смерть.

Теперь или никогда!

Через неделю будет поздно. Мы должны немедленно поднять массовое восстание, вступить в бой с врагами трудового народа. Кроме цепей, нам терять нечего. Или мы, как рабы, как скот, будем умирать голодные, умирать под ликование мировой буржуазии, или, на радость мировому пролетариату, мы сбросим наших угнетателей и завоюем царство труда и свободы — Советскую власть. В этот момент уже началось восстание по селам и деревням».

Бил народ панских сынков гетмана Скоропадского под Коростенем. Щорс со своими богунцами под Киевом и вместе с батькой Боженком на Черниговщине наводили ужас на гайдамаков и немцев, захотевших попробовать украинского хлеба и меда. На север от Могилева-Подольского в области Куковки, Перебиловки и Немирца восстало две тысячи селян. Той же ночью у самого Проскурова под откос свалился поезд. За Лубнами горели помещичьи скирды.

Вылезли из-под земли с ног до головы черные шахтеры Донбасса и посмотрели на солнце отвыкшими от света белыми глазами.

Луганский слесарь Клим Ворошилов, бившийся с врагами весной под Змиевым, теперь собрал вокруг себя целую армию и с боем шел к Царицыну.

И где только ни показывались над степью его выжженные солнцем и пулями продранные знамена, всюду навстречу им выходили рабочие и селяне.

Выходили из-под земли и шли навстречу по рельсам отвыкшие от белого света шахтеры. Шли, таща за собой пулеметы и ведя крестьянских коней, одичавших в лесах, до самых глаз заросшие и пять месяцев не видавшие бани партизаны. Шли целыми взводами беглые солдаты ненавистной гетманской армии. Шли с Кубани и Дона казаки, вставшие за свою долю.

Шли и становились под те самые знамена и нашивали поперек шапок червонные ленты.

VII

В том лесочке, где под молодым дубом схоронили матроса Царева и председателя сельского совета Ременюка, теперь уже пряталось не сорок человек, а жили, самое малое, человек полтораста, если не считать двух отчаянных ревнивых баб, не захотевших далеко отпускать от себя своих чоловиков и обосновавшихся тут же, вместе с детьми и овцами.

Это уже не была маленькая шайка беглых, но — хорошо вооруженный повстанческий отряд, с собственным штабом, походной кухней, пулеметной командой, конницей и артиллерией.

Артиллерию представляла горная пушка, которую наш богатый партизанский отряд выменял у пробиравшегося мимо лесочка другого, бедного партизанского отряда на два ручных пулемета, четыре немецких винтовки, австрийскую палатку и шесть фунтов сала.

Пушка была без передка, без зарядного ящика, и к ней не имелось ни одного снаряда. Но ходили слухи, что за восемнадцать верст в селе Песчаны у одного человека в погребе закопан целый лоток подходящих снарядов, так что была надежда как-нибудь выменять и его.

Пушкой командовал Семен Котко. Он учил молодых, еще не побывавших на войне хлопцев ставить прицел и обращаться с оптическим прибором.

В лесочке, возле молодого дуба под брезентом стояли отбитые у немцев интендантские повозки, двуколки, мешки с мукой и сахаром, ящики табака, бочка керосина. Если бы не пулеметы, расставленные на опушке, и не кони под военными седлами, привязанные к деревьям, то легко можно было подумать, что это раскинул свою лавочку странствующий бакалейщик.

Теперь лесочек, как полагается по всем правилам позиционной войны, соединялся с балкой глубоким и со стороны незаметным ходом сообщения, на дереве день и ночь сидел с рогатой трубой наблюдатель, и у входа в землянку с надписью на фанерном листе химическим карандашом «Штаб отряду» стоял на коленях Микола Ивасенко в солдатской фуражке козырьком на ухо и плачевным голосом кричал в полевой телефон Эриксона:

— Степа, ты меня слухаешь? Наблюдательный! Степа, ты меня слухаешь? Наблюдательный! Наблюдательный!

Та наблюдательный же, ну тебя, на самом деле, к бису!

Но наблюдательный не отвечал.

Микола вполне по-солдатски обложил «той проклятый эриксон, чтоб ему на том свете так разговаривать» и пошел проверять линию.

В тот день штаб отряда с нетерпением ожидал конного разведчика, тайно посланного для связи с подпольным губернским ревкомом. Уже давно отряд был готов к наступлению. Не хватало только артиллерии и точной боевой задачи.

Но еще на прошлой неделе губернский ревком сообщил, что на соединение с отрядом идет легкая батарея Красной Армии, застрявшая на Украине и пять месяцев отсиживавшаяся от германцев и гетманцев по лесам и глухим пограничным уездам Приднестровья.

Сейчас это может показаться невероятным, но в то легендарное время, когда в иных крестьянских дворах, случалось, были спрятаны в сене, дожидаясь своего часа, четырехсполовинойдюймовые гаубицы с полным комплектом снарядов,— ничего необыкновенного в этом никто не видел.

Таким образом, за артиллерией дело не стояло. Батарея должна была приехать вот-вот. На крайний случай можно было бы ударить и так, с одними пулеметами.

Дело стояло за боевым приказом. Легко можно себе представить, с каким нетерпением весь отряд дожидался конного разведчика.

Между тем наблюдательный пункт не отзывался по довольно простой причине: наблюдатель, сидя на дереве, разговаривал с худой, рыжей девчонкой лет четырнадцати, вдруг появившейся на опушке.

Она была в лохмотьях, покрытых густым слоем тяжелой, августовской пыли. Длинные босые ноги с черными, сбитыми в кровь пальцами показывали, что она пробежала не один десяток верст. Пот струился по черному носу и по костистым вискам. Рот, открывшийся как у рыбы, дышал тяжело. Зеленые глаза на воспаленном лице казались почти белыми.

Если бы не аккуратная ситцевая лента в рыжей косе, не круглый железный гребешок в волосах надо лбом, ее можно было бы признать за деревенскую побирушку.

— Стой! — закричал наблюдатель.

— Стою! — ответила девочка.
— Подойди к дереву.
— Уже подошла.
— Ты что в нашем лесочке делаешь?
— Брата своего шукаю.
— Та у тебя повылазило, чи шо? Какой может быть брат, когда тут позиция! Вертай назад, откуда пришла.
— А тут кака позиция? Гайдамацкая чи селянская?
— Селянская.
— Мне селянскую позицию и треба.
— Фрося?! — произнес вдруг Микола, как раз вышедший в это время к наблюдательному пункту.— Накажи меня бог, Фроська...— И он, повернувшись лицом к лесочку, закричал: — Гэй, Семен! Бросай орудию: до нас Фросичка прийшла!
С этими словами он отвел девочку на бивак. Она еле шла, при каждом шажке искусывая губы.
Едва Семен увидел сестру, как предчувствие несчастья охватило его.
— Здравствуй, Фрося. Что там у вас случилось? Какое происшествие? — сказал Семен, всматриваясь в ее лицо.
— Все, слава богу, пока благополучно,— ответила Фрося, озираясь по сторонам блуждающими глазами.— У вас тут нигде нема водички напиться?
Она крепко зажмурилась, как бы перемогаясь, оскалила стиснутые зубы, но не перемоглась, и вдруг рыданья вырвались и потрясли ее с ног до головы.
— Ой, люди! Нема больше сил терпеть, что те проклятущии злодии над нами роблят! Позабирали все чисто, куска хлеба нигде не оставили. Люди в степь идут — панский хлеб убирать,— так не можут идти, от голода падают на землю. А гайдамаки их прикладами подымают и гонят, та еще насмехаются. Люди все с себя поскидали и последнюю вещь из хаты на базар отнесли, чтобы гроши собрать на уплату Клембовскому. А у кого грошей нема заплатить, тех не пожалели никого — ни старого старика, ни маленького хлопчика, ни женщину с грудным дитем. Всех чисто загнали во двор в экономию Клембовского, поодиночке вызывали в сарай и тама клали на мешок с овсом, пороли. Два человека держали за руки, два — за ноги, один — за голову, а один бил до тех пор, пока человек уже не уставал кричать. Бил кого батогом, а кого шомполом. Ой, Семен, брате мий родный! Все чисто у нас позабирали. Ничего не

оставили. И за лошадь ще триста карбованцев наложили заплатить, а как у нас грошей не было, то и нас с мамой тоже таскали в тот сарай и били батогами, пока мы не устанем кричать. Меня ще, слава богу, били недолго — бо я скоро устала кричать и сомлела. А мама, как она кричать не схотела, то били ее долго и над нею насмехались гайдамаки. Совсем ее покалечили так, что она уже больше работать не может. И она теперь с торбою ходит по волости по всем дорогам, просит у людей, кто что подаст. И ей никто не подает, потому что совсем нечего кушать. А Софью Ткаченко ее батька выдает замуж за самого помещика Клембовского.

Помутилось в глазах у Семена.

— Стой! Сама Софья схотела?

— Ни. Батька насильно заставляет. Он ее в погреб посадил и держит вторую неделю. Запрошлую ночь я потихоньку до Ткаченок во двор перелезла — с Сонькой через замок разговаривала. И она через замок сильно плакала и мне сказала — ради бога, сказала, бежи, Фросичка, до Семена, найди его, где хотишь, и передай, что злодии нас разлучают. Передай ему, что, может, он за меня уже и думать перестал, но я за него ночей не сплю и все думаю и надеюсь на него одного, что он меня отобьет. И еще передай ему: пускай торопится.

— Когда свадьба?

— Зараз сегодня вечером в нашей церкви будут венчаться.

— Ще мы это побачим! — закричал Семен и было поворотился, чтобы бежать до командира, но тут же увидел его самого, вместе со штабом и всех бойцов в молчании стоявших вокруг.

— Товарищ командир и товарищи бойцы, слухали вы все это?

— Слухали.

— А когда слухали, то чего ж вы доси стоите и не седитесь по коням? Товарищ командир, Зиновий Петрович, подымай отряд!

— Ни, Семен. Без приказа губревкома и без артиллерии поднять отряд не имею права. Бо этот отряд принадлежит не нам с тобой, а принадлежит он всему трудовому народу и в первую очередь Советской власти. Такая есть воинская дисциплина. Ты это, Котко, как старый солдат, должен добре и сам понимать.

— Значит, выходит дело, что через тую воинскую дисциплину пропадает моя доля?

— Ни, Семен. За свою долю бейся сам. Забирай любую бричку с нашего парка, запрягай пару каких завгодно коней, хоть самых наилучших, ставь пулемет с патронами. И с богом. Я против этого ничего тебе не скажу.

И не успел еще командир дойти до своего куреня, как уже из лесочка вылетела наилучшая поповская бричка на паре наилучших трофейных коней.

Микола и Фроська сидели на козлах. Семен, припав к пулемету, подпрыгивал на заднем сиденье. Скамеечка против него пока что была пустая и в любой момент могла принять четвертого пассажира.

А солнце уже перешло за полдень. Степной ветер свистел в ушах. И навстречу наилучшим трофейным коням Семена, высоко над жнивьем, распустив гривы и надув белоснежные груди, летели в пустынном небе кочевые табуны облаков.

Солнце совсем наклонилось. Вот оно скользнуло по далеким курганам и кануло за край степи.

Суслик в последний раз выглянул из своей норки и нежно посвистел.

— Микола, погоняй, не жалей! Давай им хорошего кнута!

— Я не жалею!

Пена срывалась с лошадиных морд, улетала вверх и садилась в степи на бессмертники.

Красная звезда Марс показалась в небе.

Тем же ходом, как выскочила за полдень из лесочка, влетела бричка в темное село. Одна только церковь посреди него горела золотыми кострами окон. Народ на паперти ахнул, узнав Семена. Он на ходу выскочил из брички с лимонкой в каждой руке.

— Повенчали?

— Ще ни. Только что жениха встретили.

Семен вошел в церковь и тотчас увидел Софью. Убранная монистами и лентами, с головою, покрытой сарпянкой, она стояла перед налоем рядом с Клембовским. Жених был в алом ментике с доломаном и с украшенной вензелем лядункой у лакированного голенища.

Положив перед собой лазурную руку на эфес сабли, а другою рукой прижимая к груди боевую гусарскую фуражку, Клембовский выставил колено и чуть наклонил уз-

кую голову, над которой чья-то рука в белой перчатке держала венец.

Трескучий жар множества свечей непривычным заревом наполнял бедную деревенскую церковь. Даже всевидящее око в треугольнике желтых лучей и бог Саваоф посреди звездного неба, грубо написанного синькой в куполе церкви, были ясно видны Семену.

Но больше он ничего не заметил. Все остальное слилось для него в одно безотчетное впечатление печального праздника.

— Сонька, бежи до меня! — закричал Семен, подымая над головой гранату.

Софья как будто только этого голоса и дожидалась. Не вздрогнув и не вскрикнув, она проворно обернулась и, расталкивая гостей, бросилась навстречу Семену. Она подбежала и схватила его за рукав.

— Подожди. Не чипляйся,— с досадой пробормотал он,— бежи зараз на улицу в нашу бричку.

Один миг — и девушка была уже на улице. Но общее оцепенение прошло. К Семену кинулись. Семен увидел близко возле себя Ткаченко в полной парадной форме. Форма эта была странная. Гайдамацкая. Четыре георгиевских креста по-прежнему лежали поперек груди. Погоны были старой армии, но только не фельдфебельские, а — офицерские, золотые, с одной звездочкой.

Семен ударил Ткаченка локтем в грудь и замахнулся гранатой.

— Побережись, бо покалечу! — крикнул он.

Люди шарахнулись от него. Он выбежал на паперть и оттуда в открытые настежь двери с силой швырнул гранату назад, в самую середину церкви.

Страшным рывком воздуха задуло свечи. Стекла выскочили из рам. Паникадило посыпалось.

А Семен уже вскакивал в бричку, где, обхватив пулемет окоченевшими руками, лежала Софья.

— Езжай!

— Езжаю!

Кони помчались.

С паперти вслед беглецам захлопали выстрелы. Пули пропели почти неслышно, заглушенные свистом ветра.

Бричка поравнялась с кузней. Дальше открывалась степь. И в тот же миг из-за кузни наперерез бричке ударил конный разъезд гайдамаков. Бричка стала. Семен не

успел опомниться, как был повален на землю и скручен. Двое гайдамаков рубили шашками постромки. Трое — тащили с козел Миколу, который отбивался кнутом. Сомлевшая Софья неподвижно лежала поперек дороги, белея в темноте упавшей с головы сарпянкой. Через пять минут все было кончено.

И никто не заметил Фроськи.

Как только разъезд гайдамаков выскочил из-за кузни, девочка спрыгнула на ходу с брички и легла к дереву.

Трофейные кони, волоча обрубленные впопыхах постромки, прошли мимо нее. Она подкралась к одному из них, схватилась за гриву, вскарабкалась, взмахнула локтями, ударила коня изо всех сил босыми пятками в бока и пропала в темноте.

Пленников отвели в село.

VIII

А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на шляху встала туча пыли. На этот раз шла не только немецкая пехота и кавалерия. Немецкая гаубичная батарея снималась с передков в полуверсте от села на кургане.

И едва только над степью брызнули первые солнечные лучи, как в хрустальном воздухе заиграл военный рожок.

Десять гаубичных выстрелов сделали немцы по селу. Пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Котко, подняли его на воздух и срыли с лица земли, только черная яма осталась. Другие пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Ивасенков, подняли его на воздух и тоже срыли с лица земли, только черная яма осталась.

И военный рожок сыграл отбой.

А после полудня в село на двух экипажах, окруженных драгунами, въехал немецкий суд.

На крыльце клембовского дома поставили стол и четыре стула. Стол покрыли привезенным с собою синим сукном и разложили карандаши и бумаги.

На стулья сели председатель военно-полевого суда обер-лейтенант фон Вирхов, докладчик-прокурор господин Беренс и защитник, агрономический офицер-лейтенант Румпель.

Четвертый стул занял переводчик, чиновник министер-

ства земледелия гетмана Скоропадского господин Соловьев. Правая рука его висела на черной косынке. Как шафер он находился в церкви и был оцарапан при взрыве. Вследствие этого он вынимал портсигар и закуривал левой рукой.

Два свидетеля находились тут же. Раненный в голову ротмистр Клембовский лежал забинтованный на походной кровати. Рядом с ним стоял навытяжку прапорщик Ткаченко — целый и невредимый.

Семена Котко и Миколу Ивасенко ввели под конвоем и поставили перед судом.

— Альзо,— сказал обер-лейтенант фон Вирхов и воздушным движением посадил в глаз свое стеклышко.

— Не теряя времени,— перевел Соловьев, кидая в рот коричневую папироску «Месаксуди».

Суд продолжался четверть часа.

— Так вот какое дело, братцы,— сказал, наконец, Соловьев, вставая, и приблизил к глазам лист бумаги, исписанный карандашом.— Объявляется приговор: «Крестьянин Семен Котко и крестьянин Николай Ивасенко за нападение и убийство немецкого часового — раз, за незаконное хранение оружия — два, и за налет на церковь во время богослужения, при котором от взрыва ручной гранаты ранен ротмистр Клембовский и чиновник министерства земледелия Соловьев, что полностью подтверждается свидетельскими показаниями, а также признанием самих подсудимых,— германским военно-полевым судом приговариваются к смертной казни через расстрел. Приговор привести в исполнение публично через два часа. Председатель суда обер-лейтенант фон Вирхов». Все. До свиданья.

Обер-лейтенант махнул перчаткой. Семена и Миколу увели обратно в сарай.

— Ну, теперь я тебя могу спросить,— с трудом размыкая очерствевшие губы, сказал Микола, когда они остались одни и сели на солому: — У тебя ще душа в теле, чи ни?

— Моя душа уже с четырнадцатого года вышла наружу,— пытаясь улыбнуться, ответил Семен.

— А моя ще держится,— прошептал Микола и вдруг положил голову на плечо Семена.— Ой, боже ж мий, боже! Разве гадал я ще на прошлой неделе, что не минует меня сегодня германская пуля.— И он заплакал про себя, как ребенок.

— Цыц,— строго сказал Семен.— Нехай люди не чуют.

Он отвалился головой к стенке сарая, раскинул по соломе ноги и, поправив за спиной связанные руки, запел вызывающе громко и вместе с тем заунывно украинскую песню, знакомую смолоду:

Був у ме-ене коняка,
Був коняка-розбишака,
Була шабля, та й рушниця,
Та й дівчина-чарівниця...

Время двигалось странно. То оно неслось с неслыханной скоростью, так, что леденело сердце, то вдруг останавливалось и повисало над головой всей своей непереносимой тяжестью. Так прошел один час, и уже второй час был на излете.

Недалеко на селе проиграл военный рожок.

Загремел засов. Дверь отворилась. В гайдамацкой шапке с красным верхом вошел Ткаченко.

— Что, Котко, песни спиваешь? — сказал он, остановившись против Семена.— Торопись спивать, а то время у тебя уже мало остается.

Ничего не ответил ему на это Семен. Ткаченко прошелся перед ним туда и обратно, как перед фронтом, и снова остановился, тремя пальцами разглаживая ус.

— Не хотишь со мной разговаривать? Довольно глупо. Может быть, ты до меня что-нибудь имеешь, а я до тебя ничего не имею. Жалко мне тебя, Котко, в твой последний час.

— Пожалел волк кобылу, оставил хвост та й гриву. Не треба мне этого. Вертай назад, откуда пришел, чтоб я в свой последний час не видел твоей поганой морды.

— Опять же глупость. Дурак ты, Котко, дурак. Как был всегда дураком, так дураком и выйдешь сейчас перед пехотным взводом.

— Жалко, что руки мне теи злодии поскручивали,— прошептал, скрипя зубами, Микола.

Но Ткаченко даже прямым взглядом его не удостоил, а лишь покосился с усмешкой.

— И если хочешь знать, Котко, я тебе могу сказать в твой последний час,— продолжал он,— в чем есть твоя деревенская дурость. Не понял ты, Котко, политики. Не сварил котелок. Залетел ты в своих думах чересчур высоко. Захотелось тебе сразу получить все счастье, какое

только ни есть на земле. Очи у тебя, Котко, сильно завидущие, а руки еще сильней того загребущие. Увидел ты красивую дивчину и сразу же до нее своими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что, может быть, тая дивчина — богатая дочка образованного человека, твоего непосредственного начальника, и она до тебя, бедняка, не пара. Затем увидел ты клембовскую гладкую худобу и клембовскую хорошую землю и сразу же их своими холопскими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что эта гладкая худоба, и эта хорошая земля, и эти новые сельскохозяйственные машины есть священная, нерушимая собственность хозяина нашего, царем и богом над нами поставленного господина Клембовского. Но и этого показалось мало завидущим твоим глазам и загребущим твоим рукам. Увидел ты дальше, Котко, власть; власть — надо всем, что только ни есть на земле, под землей, в воде и на море; понравилась тебе тая власть, и ты пошел до своих каторжан-сватов, до большевиков, и вместе с ними подлыми своими руками тую божескую власть — цоп! И вот до чего тебя это все привело, Котко. А умные люди как поступают? Возьми меня. Я присягу свою свято исполнял. Я в думках своих чересчур высоко не залетал, а если когда и залетал, то держал это при себе. Я начальству своему уважал. Я чужую священную собственность сохранил как зеницу ока. Я муку через то от людей принимал. И я достиг. А ты не достиг. Кто теперь есть ты и кто я? Я теперь получил за верную службу от его светлости ясновельможного пана гетмана Скоропадского эти офицерские погоны. Я Соньку выдам за дворянина и сам дворянином, даст бог, сделаюсь по прошествии времени. А ты в неизвестной могиле сгниешь, как тая падаль.

— Брешешь! — закричал Семен, вскакивая.— Брешешь, шкура! Я из могилы выроюсь за свое счастье и костями буду душить вас, гадов!

Тут во второй раз проиграл на селе военный рожок.

— Мало твоего остается, Котко, мало. Может быть, и до десяти минут не хватит. Попрощаемся лучше навеки, как нам господь наш Исус Христос советует, ничего не имея друг на друга. Закури, Котко, чтоб дома не журились.

Ткаченко вынул серебряный портсигар, достал из него папиросу и протянул ее к лицу Семена, желая вложить в рот. Но Семен резко отвел голову.

— Не треба! — крикнул Семен.— А за все твои слова, шкура, плюю в твои поганые очи!

И Котко плюнул в лицо Ткаченко.

Ткаченко отвернулся, вытерся носовым платком и ударил Семена нагайкой наотмашь поперек лица.

IX

Фрося скакала по степи не останавливаясь.

Она изо всех сил колотила пятками лошадь, надеясь как можно скорее доскакать до отряда и выпросить помощь. Но не отъехала она от села и пятнадцати верст, как в степи показались огни.

На всем скаку трофейный конь внес ее в лагерь. Вокруг горели походные костры. Стояли пушки, не снятые с передков. Конь радостно заржал и остановился. Девочку окружили люди.

При свете костров многие лица показались Фросе знакомы. Один отчетливо напоминал ей наблюдателя, с которым она разговаривала утром на опушке лесочка; другой был вылитый командир отряда; две бабы с детьми на руках и черные овцы со связанными ногами в повозке стояли перед глазами, как сон, приснившийся во второй раз.

Фрося сползла с лошади, пробормотала: «У вас тут нигде нема водички напиться?», легла на землю и в тот же миг заснула.

Это был действительно тот самый партизанский отряд. Через час после отъезда Семена прискакал, наконец, разведчик, привезший в шапке приказ губернского ревкома выступать. Отряд немедленно выступил и только что соединился с подоспевшей батареей.

Командир взглянул на обрубленные постромки, крякнул, подхватил спящую девочку под мышки и положил на подводу с бабами и овцами. Затем кинул на свои командирские плечи бурку и поднял отряд.

Отряд двигался медленно и осторожно. На рассвете он остановился в балке, верстах в семи от села. За одну эту ночь отряд увеличился втрое. Сельчане со всех сторон выходили в степь ему навстречу с конями и оружием и надевали поперек шапок червонные ленты. Теперь в отряде уже было не меньше как пятьсот бойцов, не считая батареи.

Разведка, высланная вперед, побывала в селе и к полудню вернулась. Она доносила, что Семен и Микола сидят запертые в клембовском сарае и ждут немецкого полевого суда.

Одну сотню командир поставил на правый фланг и одну сотню — на левый. Одну сотню послал в глубокий обход и приказал появиться у злодиев в тылу. Нового командира батареи попросил быть настолько ласковым, поставить свои пукалки возможно ближе и крыть по злодиям так, чтобы из них душа наружу. Себе же взял остальное, с тем чтобы со всеми бричками, пулеметами, бабами и кухнями ворваться в село с фронта.

В третий раз на селе проиграл рожок.

И вдруг с колокольни раздался набат. Кто-то с поспешным отчаянием колотил в церковный колокол.

Ткаченко прислушался.

В это время низко над сараем со свистом пронесся снаряд и в тот же миг посередине двора разорвался. Ухо артиллериста не могло ошибиться: била русская трехдюймовая пушка. Второй снаряд попал в скирду. Из нее повалил густой опаловый дым. Протяжный вой сотен голосов долетал до села. Его прострочила короткая очередь пулемета. Третий снаряд пролетел над сараем и ударил в клембовскую крышу. Ткаченко согнулся и бросился вон.

Послышалась торопливая немецкая кавалерийская команда. Немецкий эскадрон рысью выезжал со двора.

От горящей скирды несло жаром. Семен и Микола переглянулись и осторожно вышли из сарая. Часовых не было. Двор был пуст. Набат не переставал ни на минуту.

Едва ударило первое орудие и над степью резанул первый снаряд, как с правого фланга и с левого, с тыла и с фронта, со всех четырех сторон, с воем и свистом посыпались в село партизанские сотни.

И впереди всех, сидя боком на бричке, с раздутыми усами и в железных очках, въехал в село командир Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный от пыли в бурку.

Соединенный гайдамацко-немецкий отряд отступил в панике. Комендантские экипажи насилу выскочили из села, увозя немецкий суд, а вместе с ним и ротмистра Клембовского.

А церковный колокол продолжал звонить и звонить без устали, точно в него с нечеловеческой силой и упрямством колотил внезапно сошедший с ума звонарь. Две

женские фигуры метались на колокольне. Одна — высокая, костлявая старуха в лохмотьях и с торбой на спине; другая — молодая, вся в монистах и лентах, с развевающейся за плечами сарпянкой.

Это были мать Семена и Софья. Взявшись за руки, они без передышки, как заводные, раскачивали било, крича во весь голос одно и то же:

— Ратуйте, люди! Ратуйте, люди! Ратуйте!

Их силой оторвали от веревки и стащили вниз.

Первые же хлопцы, на бричке с пулеметом вскочившие в клембовский двор, развязали Семена и Миколу. Они подхватили на бричку своих пропавших товарищей, которых и не чаяли видеть живыми, и поскакали к церкви, где Зиновий Петрович тем часом уже разбил ставку и занимался своим любимым делом — принимал пленных и трофеи.

— Ну что, герой, отвоевал свою долю? — спросил Зиновий Петрович, глядя строго поверх очков на Семена.

Но ничего не успел ответить Семен своему командиру по той причине, что как раз в самую эту минуту увидел свою мать и Софью, пробивавшихся к нему сквозь толпу. Они подошли и остановились близко, рассматривая его с ужасом, как привиденье.

— Ой, Семен,— пробормотала Софья, крутя и выворачивая на груди руки.— Ой, Семен, любый мой, целый, не убитый...

Она рванулась к нему, но Семен, покосившись на командира, строго натужил скулы и сказал:

— Та подожди ты, ради бога, Соня. Видишь — я как раз с командиром разговариваю. Стань пока рядом с мамою. Эти бабы! Через них одна паника и ничего больше.

В этот миг народ подался на сторону, и пять хлопцев поставили перед командиром прапорщика Ткаченко, только что захваченного в степи.

— Це что такое за диво? — сказал командир, с ног до головы оглядывая Ткаченко.— А ну, человече, поворотись трошки, покажись людям, может, они тебя узнают и щось про тебя хорошее скажут. Чтоб мы знали, куда тебя отсюда отправлять — направо или налево.

— Свободно может не повертаться,— сказал Семен,— мы с этой шкурой добре знакомы. Не один раз бачились.

Совсем недавно, может — час назад, в том смертном клембовском сарае он со мной разговаривал. Ще зарубка на морде держится.

— На твою совесть,— сказал Зиновий Петрович,— как скажешь, так и сделаем. Направо или налево?

— Налево,— сказал Семен.

Услышал эти слова Ткаченко, упал на колени. Но хлопцы подхватили его под руки и поставили.

— Налево,— сказал Зиновий Петрович.

Ткаченко увели за церковь.

Софья закрыла глаза руками и отвернулась. За церковью ударил выстрел.

— Теперь так,— сказал Зиновий Петрович своему штабу.— Война наша ще далеко не кончена, а лишь начинается. Думаю я, пока немцы не очухались, очистить село и прямым ходом рвать под станцию Кодыму, сделать им на железной дороге неприятность, чтобы до ихней Германии не доехало наше украинское жито. А ты, Семен, пока наша артиллерия меняет позицию, бежи и явись в распоряжение батарейного командира, а то он там горько плачет без хороших наводчиков. Стой. Ще не все. Два слова за твоих баб. Они могут сидать на подводу и находиться при обозе второго разряда, где у нас уже, слава тебе господи, есть теих отчаянных женщин более чем треба. Теперь сполняй.

X

Пушки стояли в степи за селом среди еще не вывезенных копиц жита.

Командир шагал по стерне с буссолью под мышкой, разбивая фронт батареи. Это был хромой человек в черных шароварах с красным кантом и в шведской куртке с бархатными артиллерийскими петлицами. Громадная русая борода казалась привязанной к коричневому от солнца лицу с белым пятном на том месте, которое закрывал козырек. Но в степи было жарко, и командир батареи держал фуражку в руке. Его белая, наголо обритая голова отражала солнце.

При виде трехдюймовых пушек Семен подтянулся и, по старой артиллерийской привычке, подскочил к батарейному чертом:

— По приказанию товарища командира соединенного

партизанского отряда явился в ваше распоряжение бомбардир-наводчик Котко.

Веселое изумление мелькнуло в юношеских голубых глазах командира батареи.

— Очень приятно, Семен. В таком разе принимай свое третье орудие. Ставить прицел не разучился?

— А вы кто такой будете?

— Кто такой буду, не знаю, а сейчас девки дразнятся — Самсоновым. Да ты чего на меня вылупился? Аль борода моя тебе не показалась?

— Вольноопределяющий Самсонов! — закричал Семен.

— Он самый. Борода для красоты.

— А батарея?

— Она самая. Дорогая, полевая, трехдюймовая.

— И орудия моя?

— Тут.

— Ах ты ж боже мий! Ни за что бы на свете не подумал того! — воскликнул Семен, вытирая ладонью глаза.— Ну что ты скажешь? Шел солдат с фронта, та й пришел обратно на фронт!

— Я ж тебе предлагал, чудаку, остаться. Ну чего ты поперся?

— Сеять.

— И что же, посеял?

— Посеял.

— А собирали другие?

— Другие.

— Видишь, какие дела. Ну да ладно. А сейчас мы с тобой молотить начнем. Становись к своему орудию. Сдается мне, что вон по тому бугорку какие-то упряжечки к нам спускаются.— И Самсонов, надев скоро фуражку, закричал молодецки: — Батарея к бою! Прицел семьдесят. Прямой наводкой. По немецкой гаубичной батарее! Гранатой! Не подкачай, Семен. Два патрона беглых!

Припал Семен — плечо к колесу — к своему орудию, и даже сердце у него захолонуло. Каждую отметинку, каждую царапинку на щите и на колесе узнавал он и считал, как мать узнает и считает каждую кровинку на теле своего ребенка.

В один миг навел Семен орудие, вогнал унитарный патрон, хлопнул затвором и взялся за шнур.

— Огонь!

Сноп красного огня выскочил из подпрыгнувшей

пушки. Батарея ударила два патрона беглым. Один — и следом за ним другой. Прильнул Семен глазом к прицелу.

Шесть черных деревьев выросло из земли перед самой немецкой батареей по первому выстрелу. И шесть черных деревьев выросло из земли по-за самой немецкой батареей, по второму выстрелу.

— Огонь!

И шесть черных деревьев выросло из самой немецкой батареи по третьему выстрелу. Полетели вверх обломки зарядных ящиков. Полетели колеса. Упали и забились, запутавшись в постромках, уносные лошади. Побежала прислуга.

— Молодец, Семен! Молоти еще. Домолачивай. Два патрона беглых. Огонь!

А уж с горки, наперерез появившейся откуда ни возьмись немецкой цепи, сыпались сотня за сотней, и впереди всех на бричке ехал Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный в черную бурку.

И побежали немцы во второй раз за этот день. Но, как правильно сказал Зиновий Петрович, война еще была далеко не кончена, она лишь начиналась.

Два месяца пришлось еще бить немцев, и с фронта, и с тыла, и с правого фланга, и с левого, прежде чем они, наконец, очистили Украину.

1941

ЮРИЙ ЯНОВСКИЙ

ПИСЬМО В ВЕЧНОСТЬ

В то время готовилось большевистское восстание против гетмана и немцев, кто-то донес, что оно вспыхнет и покатится по Пслу, центр его будет в Сорочинцах, и запылает весь округ до Гадяча. Беспределье кануна троицы пламенело и голубело над селом; из лесу везли на телегах кленовник, орешник, дубовые ветки, ракитник, зеленый аир, украшали хаты к троице, во дворах пахло вянущей травой, красивое село стало пленительным, оно убралось зеленью, разукрасилось ветками, хаты стояли белые, строгие, дворы с покосившимися плетнями, чистые и уютные, а небесная синь лилась и лилась.

В долине под деревьями нежился прекрасноводный Псел; отряд германского кайзера, блуждая по долине, обшаривал каждый куст, а отряд гетманцев рыскал по пескам. Герр капитан Вюртембергского полка руководил поисками, вокруг него носился вприпрыжку его доберман, облаивая каждое дерево, пан сотник гетманского войска разлегся на жупане под вербой, отдыхая после первых часов ожесточенной деятельности. Перед ним трое ребят выуживали мореный дуб со дна реки, ребята искали его, погрузившись с головой в воду, а потом всплывали на поверхность.

На берегу Псла было томительно и клонило ко сну, солдаты и того и другого отряда последовательно обыскивали каждый уголок, возле сотника остановилась телега с двумя человечками. «Пан атаман,— сказали человечки,— вы люди не тутошние, и вам его сроду не сыскать. Вот эти хлопцы ищут мореный дуб, а мореный дуб ищут под осень, а не в канун троицы. Ведь эти хлопцы наблюдают за вами, кого вы тут разыскиваете, вот какой они море-

ный дуб ищут, пан атаман, а мы народ здешний, за его светлость ясновельможного пана гетмана стоим и желаем вам пособить. Мы лучше знаем, где найти этого висельника — письмоносца, пан атаман, пусть только это останется в тайне, иначе не станет нам житья от сельских голодранцев, сожгут нас на другую же ночь».

Оба человечка поведали пану сотнику, что в поймах есть озера-заводи, заросшие рогозой да камышом, озера эти они могут по пальцам перечесть. Там они рыбу бреднем ловили, от революции в свое время прятались, письмоносец обязательно в озерах притаился, поджидая ночи, чтобы удрать степью аж в Сорочинцы. «В озере лежишь под водой, во рту камышинку держишь и дышишь через камышинку, аж покуда не пройдет мимо облава, постреляет в воду, да в озеро ручную гранату швырнет, чтобы ты всплыл на манер глушеной рыбы. В ушах у тебя полопается, да, пожалуй, и не всегда всплывешь. Иной просто помрет на дне, а иной, может, и спасется, ежели взрыв далеко, а все-таки это самый надежный способ искать беглецов по нашим здешним заводям»,— сказали человечки пану сотнику.

Поиски тотчас же наладили как полагается, озерки принялись внимательно осматривать и кидать в них ручные гранаты, а ребята тут же бросили искать мореный дуб в Псле и отправились разведывать хаты двух человечков, чтобы их подпалить. Человечки угодили домой как раз в ту минуту, когда их усадьбы уже украсились алой листвой и догорели в короткое время. Человечки опалили себе головы и пытались тут же покончить с собой в пламени своего хозяйства, немцы с гетманцами методически бросали в озерка-заводи гранаты и стреляли по всем подозрительным зарослям камыша, письмоносца так и не оказалось, но вот на лужайке наткнулись на ямину с водой.

Она была мелкая, вокруг рос молодой камыш, капитанский доберман забрел в воду, и капитан не велел бросать гранаты, в озерке никого не оказалось, и все двинулись дальше. Вдруг доберман стал бешено лаять на какое-то бревно, лежавшее среди кувшинок и ряски неподалеку от берега.

Герр капитан послал осмотреть бревно, и это оказался лежащий без сознания письмоносец, босые ноги, лицо, руки — черным-черны от бесчисленных пиявок, и когда

письмоносца раздели, на нем не было живого места — пиявки кучами присосались к телу.

Герр капитан созвал солдат, они расстегнули сумки и ссыпали всю соль, которая у них нашлась. От рассола пиявки стали отлипать, письмоносца заставили глотнуть капитанского рома, человек постепенно очухался, и в его единственном глазу загорелись жизнь и колючая ненависть. «Все-таки нашли»,— произнес он равнодушным голосом.

Письмоносцу дали обед с капитанского стола, стакан доброго рома, пол был усыпан душистой зеленой травой, по углам ветки, стены убраны цветами, в комнате царила тишина, покуда письмоносец не кончил есть. Он чувствовал, как по жилам разливаются силы, его клонило ко сну, и привиделись ему чудесные сны: он разносит множество писем и никак не может все их раздать. А тем временем день клонится к вечеру, приближается условленное время, исполняется желанное, и снова он носит и носит множество писем, не может их раздать, время идет, а писем все столько же, и никакая сила не коснется письмоносца, покуда не отдаст он последнего письма.

Капитан разогнал сновидения, заговорив вкрадчиво и дружелюбно (он говорил о чарующем лете и о безмятежных звездах единственной в мире родины, о его, письмоносца, жизни в этой пленительной глуши, на берегу очаровательной реки Псла, капитан стал даже красноречивым, чтобы до дна растрогать человечью душу, а переводчик переводил), письмоносец же сидел безучастный и усилием воли изгонял понемногу из памяти те сведения, которых добивался от него капитан.

Он забыл, что является членом подпольного комитета большевиков, что был на совещании, на котором назначили восстание на сегодняшнюю ночь. Он забыл место, куда закопал винтовки и пулемет, и это труднее всего было забыть и отодвинуть в такой укромный уголок памяти, чтобы никакая физическая боль не забралась туда. Эта мысль об оружии покоилась бы там, как воспоминание далекого детства, и озарила бы и согрела его одинокую смерть и предсмертную последнюю боль.

А капитан все говорил письмоносцу, который силился забыть уже свое имя, а себе оставлял одно только твердое первоначальное решение — дожить до ночи и передать оружие восставшим. Капитан описывал далекие роскошные края, куда сможет уехать письмоносец, чтоб жить там

и путешествовать на деньги гетманского правительства, только пусть скажет, где закопал оружие, на какое число назначено восстание и адреса его вожаков.

Письмоносец сидел у стола, и вдруг вспыхнуло в нем непреодолимое желание умереть сейчас же, и ни о чем не думать, так и подмывало всадить себе нож в сердце, хотелось лежать в гробу под землей с чувством выполненного долга. Речь капитана становилась все жестче, подошел гетманский сотник и, свирепо заглянув в единственный глаз письмоносца, увидел в нем темную бездну ненависти и мужества. Казалось, электрический ток пронзил сотника — кулак его изо всей силы опустился на лицо письмоносца.

Капитан вышел в другую комнату обедать, а сотник остался с письмоносцем, и, когда капитан вернулся, сотник осатаневшими глазами смотрел в окно, а письмоносец лежал на полу, забив себе рот травой, чтобы не стонать и не молить о пощаде.

Он не имел права умирать, он должен был пронести свое окровавленное тело сквозь поток времен до самой ночи, принять все муки, кроме смертной, тяжко было бороться в одиночестве и жить во что бы то ни стало. Будь с ним товарищи, он посмеялся бы над пытками, плевал бы палачам в лицо, приближая славную кончину непреклонного бойца, а теперь он обязан вести свою жизнь, точно стеклянную ладью среди черных волн, дело революции зависело и от его крошечной жизни. Он подумал, что так сильна его ненависть к контре, что ради этой ненависти не жалко даже и жизни, и закипела в его жилах кровь угнетенного класса, о, это великая честь стать над своей жизнью!

И письмоносец повел показывать закопанное оружие. Он брел по притихшему селу, чувствовал на себе солнечное тепло, ступал босыми ногами по мягкой земле, и чудилось ему, будто он бредет один по какой-то волшебной степи, бредет, точно тень собственной жизни, но мужество и упорство в нем крепнут. Он видит людей и знает, кто из них ему сочувствует, а кто ненавидит, он шествует как бы по трещине между этими двумя мирами, и миры не соединятся после его смертного шествия.

Вот он добрел до кучи песка за селом и остановился, солнце давно уже поворотило за полдень, земля дрожала от тишины и зноя, немцы принялись раскапывать песок

и потеряли около часа. Письмоносец стоял, оглядывая далекие горизонты, Псел и заречье, крикнул несколько раз удод, пахло рожью.

Письмоносца повалили на песок, на плечи и на ноги насели немцы, остервеневшие от того, что их провели, после двадцатого шомпола письмоносец лишился сознания; придя в себя, он увидел, что солнце уже висит низко над горизонтом, сотник расстегивает кобуру, а немцы для вида отвернулись. Тогда письмоносец закричал и признался, что оружие закопано в другом месте, он покажет, где именно, «расстрелять всегда успеете, из ваших рук мне все равно не уйти».

И снова они шли по притихшим улицам села, было выше человеческих сил смотреть на письмоносца, который не хотел отдавать свою жизнь, как письмо, в руки врагу, мужчины глядели украдкой сквозь праздничный лиственный узор, перекидывались по закоулкам странными словами, ждали вечера и подмоги. Письмоносца таскали по селу как бедняцкое горе, по дороге его избивали, увечили сапогами, подвешивали в риге к перекладине, подпекали свечой, заставляли говорить, а он водил,— слезы прожигали песок,— и указывал всевозможные места, и там ничего не находили. Еще свирепей терзали его тело, горе вставало над селом, перерастая в неистовство и ярость, сердца загорались местью, на село опускалась ночь, на заречье за Псел погнали в ночное стадо, призывный колокол звонил ко всенощной.

Письмоносец не мог уже ни идти, ни двигаться, ему казалось, что он пылающий факел, что сердце рвется из груди, кровь журчит и по капле струится из ран, боль вытянулась в одну высокую ноту. Это был вопль всех нервов, всех клеток, глухо гудели поврежденные суставы, только упорная воля боролась насмерть, как боец, не отступая ни на шаг, собирая резервы, сберегая энергию.

Письмоносцу поверили в последний раз и повезли через Псел в пески, его окружал отряд вюртембержцев, ехали верхами гетманцы, прихрамывала, сгорбившись, Василиха, ее привели вечером уговаривать заклятого сына, капитан сказал свое последнее слово, что расстреляет и сына и мать. Письмоносец поговорил с матерью, мать поцеловала его в лоб, как покойника, и пригорюнилась, вытирая сухие глаза. «Делай как знаешь,— промолвила она,— что мне сказали, то я тебе и передала». Мать та-

щилась за письмоносцем на заречье, в пески, сын даже шутил, зная, что скоро всему конец, ночь была звездная и темная, кругом безлюдье и глушь.

Добрались до песков, стали копать, немцы залегли кольцом, письмоносец отдыхал на телеге и вслушивался в темноту, раздался где-то одинокий клик, под лопатами звякнул металл. «Стойте,— сказал письмоносец,— разве не видите посланцев, что идут по мою душу?» И вдали во мраке родилось бесконечное множество огней. Они напоминали пламя свечей, казалось, волны гораздо больше человеческого роста несли на себе сотни звезд. Огни колыхались, ритмично поднимались и опускались, двигаясь с трех сторон, и не было слышно ни шума, ни голосов. Немцы стали стрелять, огни, приближаясь, плыли высоко над землей.

«Вот кто получит оружие,— крикнул письмоносец,— теперь застрелите, чтоб не мучился, подымутся села и выйдут комбеды, прощай свет в эту темную ночь!» И сотник подошел к письмоносцу и выстрелил в лежачего, и это письмо пошло в вечность от рядового бойца революции. В селах над Пслом забили во все колокола, и было их слышно на много верст, в селах над Пслом зажгли огромные костры, и было их видно на много верст, из темноты кинулись на немцев повстанцы, пробиваясь к оружию, над ними плыли звезды, в недвижимом воздухе ярились звуки, далекие пожары, восстание, штурм и отвага, восстание!

К одинокой телеге с мертвым письмоносцем подошел Чубенко. Здесь же рядом мирные воловьи морды жевали жвачку. Зажженные свечи, привязанные к рогам, горели ясным пламенем среди великого покоя ночного воздуха. Возле письмоносца, сгорбившись, сидела Василиха, не сводя глаз с покойника. Чубенко снял шапку и поцеловал Василихину руку.

Письмо в вечность ушло вместе с жизнью, точно свет давно угасшей одинокой звезды.

1932—1935

ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

Я познакомился с археологом Левченко в 1938 году в маленьком городке Старом Крыму, погруженном в тень вековых ореховых деревьев.

Левченко изучал древний водопровод, найденный в Старом Крыму. На вершинах соседних гор были открыты полуразрушенные каменные бассейны, заваленные морской галькой. Галька эта собирала росу, роса стекала на дно бассейнов и оттуда по гончарным трубам лилась в город.

Я много бродил вместе с Левченко по сухим окрестным горам, и в конце концов мы сдружились.

Однажды мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и улегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы, наконец, перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.

Кофе остыло. Заведующий рестораном — глухой татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно,— рассказывал Левченко.— Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северо-Кавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым уже был отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Эти ходы образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан,— в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было множество. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи, за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Сначала это были катакомбы первых времен христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один сплошной подземный город.

Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили около пулеметы. При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай больших переходов по катакомбам, а обыкновенно горели у нас коптилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка. Раны гнили. Перевязывать их было нечем.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни в катакомбах мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одном из подземелий мы устроили лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов,— худой и бледный, заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. У него в мозговых сосудах кровь свертывалась в ком-

ки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову, и потому смерть ему не страшна.

Звали мы его «обер-крот». Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы заблудились бы в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Поэтому Назимов больше действовал по приметам и подземному чутью.

Первое время нам удавалось прорываться «на гора», как говорят шахтеры, налетать на белых и уничтожать их отряды.

Потом белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.

Однажды из «лазарета» к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.

— Что? — спросил Колдоба.

— Роют,— ответил раненый.— У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему говорят: «Потерпи, не стони, друг дорогой». Он делает уважение и помирает тихо, как ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце,— и ни голоса, ни крика, ни выстрела,— одна эта подземная глухота!

— А чего вы слушаете, дожидаетесь? — спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир,— тихо ответил раненый.— Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно...

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно,— шепотом сказал раненый,— роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь. Я это дело знаю,— белые закладывают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу. В это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолков и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы делались все чаще. Но мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват, катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на дно подземелий и отравить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по закоулкам подземелья. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации. Тогда мы слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло прийти избавление.

Отчаяние охватило нас. Мы требовали вылазки. Мы

не хотели ждать. С неистовым упорством мы искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой воздух разрывал наши отекшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных известковых глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что нам надеяться не на что — бои шли далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в густом запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах — узких и не таких запутанных, как прежде. Выходов было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажды. В новых катакомбах не было воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на верную гибель в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грома. Партизаны долго ждали дождя, и он, наконец, разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не хватало. Мы жевали намокшие в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галереи. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли,— нас опять отравляли углекислым газом. Белые начали лить в подземелье по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот в это время последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш «оберкрот». Он сказал мне, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него дрожали, как дрожат листья осины в самый безветренный день.

— Надо проверить,— сказал я.— Ты совсем стал слепой.

— Проверим,— ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов уже не доверял глазам. Он шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого выхода до нашей стоянки.

Недалеко от выхода Назимов сел отдохнуть. Он стал худой до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан,— сказал он мне, когда мы сели,— думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал,— ответил я.

Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни:

— Ну, пошли! Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать какой-нибудь сухой бурьян или осколок стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому,— ответил он,— что в каждом таком пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив,— тогда поймешь и узнаешь. А сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он светлел под плитой известняка.

Я выглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы поднялись. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу с ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я и вдруг вспомнил свои грязные ладони, полные холодной росы. Никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, «обер-крот»? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север.

— Здесь все равно нас перебьют как котят.

Голова у Назимова затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так... Я открою пулеметный огонь у главного выхода, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя. А вы тем временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников,— ответил я.— Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не поверил в это рискованное предприятие, но Назимов в ответ на мои возражения только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им в чем дело и спросил:

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал сердито:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше...

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые труднораненые. Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем лимонки и винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего балакать! Давай патроны! — закричали раненые.

Через несколько минут раненые двинулись к главному выходу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного выхода начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному выходу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался, а мы спокойно и быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом огонь стих. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей из записок белого офицера.

«Последний отряд партизан,— писал он,— целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались — надо отдать им справедливость — с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пуль в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызывало восхищение даже некоторых из наших офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Левченко грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Левченко бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался только звук откупоренной бутылки.

1936—1943

АЛЕКСАНДР ЗУЕВ

РАССКАЗЫ О БЕЛОЙ ТЮРЬМЕ

ЛОШАДКА КОМЕНДАНТА


Ы выстроились на плацу, отворачивая лица от студеного ветра. Неистовый кашель перекатывался в наших темных рядах.

Впереди стояли солдаты иностранного легиона. Поставленный на земле фонарь освещал добротные их сапоги с закатанными на коленях длинными шерстяными чулками. Тюремный переводчик, сержант Лерне, таинственно шептал что-то своим солдатам. Они чутко слушали его, втянув головы в плечи.

Мы ждали на утреннюю поверку коменданта острова. Этот короткобрюхий капитан, как всегда, опаздывал,— нам казалось, нарочно.

Над островом стыло рассветное небо. Мертвые, замороженные звезды щетинились в его зеленой глуби. Нам было очень холодно. Мы поджимались на ветру, кутаясь в лохмотья арестантских халатов, и каждый чувствовал локтем идущий по рядам озноб. Поплясывая от стужи, растирали мы побелевшие щеки. Хлопали гремящими, каменными ладонями. Мне даже почудилось, что сзади кто-то плакал от холода, стуча зубами и бормоча что-то невнятным детским голосом.

Я обернулся. В этот момент дежурный визгливо прокричал команду, и все обернулись вместе со мной, подставляя ветру левую щеку.

Из-за песчаного пригорка выскочила каурая, гривастая кобылка. Кругло обтянутый дубленым русским полушубком, толстый капитан сидел на ней прочно, как хорошо пришитая пуговица. Черная тупая носогрейка торчком стояла из поднятого воротника.

Комендант проехал вдоль рядов, оставляя по свежему посыпанному серым морским песком снежному плацу белые отпечатки подков. Мы медленно поворачивали вслед за ним головы.

Угрюмые глазки капитана, как всегда, смотрели вдаль, поверх наших рядов, и недвижен был враждебно стиснутый рот. Казалось, он боялся встретиться взглядом с кем-либо из нас. Избегали смотреть на него и мы, и он, вероятно, чувствовал это.

Мы смотрели на лошадку коменданта. Это была пузатая деревенская кобылка, с вытертой холкой, с обвислой доброй губой. Неизвестно, откуда взялась она на этом пустынном острове. Видимо, она была такой же пленницей, как и мы. Когда капитан отпускал поводья, кобылка начинала усиленно кланяться взъерошенным стужей арестантским рядам. И каждому из нас хотелось незаметно кивнуть приветливой землячке...

Но недвижны и тихи стояли ряды. Сержант Лерне, держа под козырек, выходил на середину отдать утренний рапорт. Сиплый тенорок его одиноко разносился над затихшей площадкой. Пар вился вокруг пухлых губ сержанта. Черные усики прыгали. На сонных щеках густо темнел румянец.

Сержант жаловался. Мы не понимали его чужую речь, но видели по жалко опущенным его плечам, по мерным покачиваниям головы, по прыгающим усикам — он жаловался на кого-то из нас.

— Анкундинофф! — различили мы в скороговорке сержанта скверно произнесенную русскую фамилию.

На этом сержант Лерне умолк и, жалобно взмахивая заиндевелыми ресницами, смотрел на коменданта.

Над морем уже вставала заря. Багровой расщелиной открылось небо по горизонту, и было видно, как плескались там черные хвостатые валы. Под их ударами натужно скрипело ледяное поле берегового припая.

— ...кундинофф! — хрипло вскрикнул капитан, весь дернувшись в седле.

— Анкундинов, выйди из строя,— отчетливо-бесстрастно сказал сержант Лерне, отходя в сторону.

Ряды раздвинулись. Тяжело скрипя по песку деревянными колодками арестантских башмаков, вышел вперед Анкундинов. Он медленно прошел по плацу, волоча

опухшие от цинги ноги. И ветер распахивал на нем долгополый арестантский халат, подвязанный веревкой.

Он подошел и безбоязненно глянул светлыми глазами в жестокое лицо коменданта. Комендант искоса осматривал его с головы до ног, чуть заметно пошевеливая рукавичкой... Кривой, бескровный рот его был замкнут.

И вдруг, нагнувшись, капитан выбросил вперед короткую руку. Черной змейкой метнулась в воздухе резиновая плетка. Удары посыпались на голову и плечи Анкундинова. Он стоял, заслоняя локтем лицо, вдруг качнулся на подломившихся ногах и, обмякнув, лег ничком на посыпанной песком площадке.

Напрасно свешивался в седле капитан — плеть не доставала. Он рванул повод, кобылка круто попятилась. Сделав круг по плацу, капитан хлестнул ее плетью и мелко затрусил вперед. Он тихо и противно подсвистывал, как свистят охотники, натаскивая собаку. По-видимому, он подбадривал кобылку на непривычное дело,— ее копытами он хотел наступить на Анкундинова.

На первый раз это не удалось. В решительный момент кобылка попятилась и, беспокойно поводя глазом на лежачего, крутилась на месте.

Капитан снова рванул поводья и пустил ее вокруг плаца. Он подсвистывал все резче и настойчивей. Кобылка отфыркивалась, сбиваясь с рыси на дурашливо-непослушный скок. И опять не удалось капитану добиться своего. Завидев перед собой серый ком лохмотьев, кобылка испуганно присела на задние ноги, подобралась и неловко скакнула через лежачего.

Темное лицо коменданта исказилось. Гневно скаля зубы, он снова повернул назад кобылку. Уже кругом был вскопан посыпанный песком плац белыми печатками подков.

Мы стояли тихо, не поднимая глаз. Но мы видели все. Мы видели и смущенное лицо сержанта Лерне и растерянные взгляды солдат.

Анкундинов лежал, не поднимая головы.

Разъехавшись в последний раз, капитан низко пригнулся к шее лошади и яростно завертел плетью над головой. Он уже не подсвистывал больше. В глухой тишине мы услышали, как резкий, слепящий удар упал прямо меж глаз комендантской кобылки. Задрав голову, лошаденка вздыбилась, рванулась вперед и, развеяв длин-

ный хвост, на всем скаку перелетела через недвижное тело. Непривычный этот прыжок дался ей нелегко — она рухнула на колени. Капитан едва успел выдернуть ноги из стремян и, как мальчишка, пробежался вприсядку по плацу. Он длинно и злобно выругался на своем языке, вставляя, между прочим, и русские отборные словечки. И, повернувшись спиной к нам, начал рыться в карманах. С лязгом воткнул в зубы черную носогрейку. Ветер упорно гасил спички, табак не горел.

И, точно облегчая себя, капитан густо сплюнул на сторону и гаркнул что-то, глянув через плечо. Часовые рванулись с мест, и один из них нерешительно толкнул прикладом в бок лежащего Анкундинова. Тот поднял голову, огляделся и поправил шапку.

Постепенно пришел в себя и сержант Лерне.

— Неделя... карцер! — заносчиво моргая, сказал он.— Вы слышали, что сказал капитан? — Сержант твердо и обстоятельно перевел по-русски короткую реплику коменданта.— Так будет поступлено с каждым большевиком, с каждой сволочью, которая посмеет много разговаривать. Понятно?

Мы молчали, слушая, как мерно поскрипывает расшатываемая волной береговая льдина. Чувства обманывали. Казалось, что ветер, идущий из морской дали, становится горячим, и было даже приятно повернуть навстречу ему, закрыв глаза, все лицо.

Комендант острова поймал за повод кобылу и долго поправлял ослабшую подпругу на ее бочкообразном, заиндевелом брюхе. Потом закинул ногу и крепко воссел на ее шатнувшемся хребте. Медленно проехал он по плацу, как всегда глядя куда-то поверх наших голов. Мы провожали его глазами до тех пор, пока он не скрылся за песчаным бугром.

Часовые стали на свои места. Дежурный завел перекличку. В лагере начинался новый день.

Скрипя башмаками, прошел вдоль рядов в карцер Анкундинов. Он улыбнулся нам всем лиловыми деснами.

— Лошадка-то, а? — бормотал он.— Поди ж ты: человека добрее!..

И нам почудилось в его голосе смущение за того, который уехал.

Это были последние слова Анкундинова. Он умер в карцере.

Анкундинова вынесли из карцера на одеяле.

— Загнулся! — сказал санитар.

В карцере загибались часто. Это был глухой подземный погреб, с заросшими лохматым инеем стенами, с черными сосульками на потолке.

Чтобы сохранить остаток тепла в теле, умирающие уродливо скрючивались в тесный комочек. Их выносили на одеяле в околоток и там выпрямляли.

Весть о смерти Анкундинова быстро облетела бараки.

Даже, казалось нам, сам сержант Лерне был смущен. Он пришел на утреннюю поверку пасмурный, притихший, и оглядывал всех нас грустными синими глазами.

— Господин сержант,— громко сказал Старый.— Анкундинов умер сегодня ночью в карцере.

— Да? — сказал сержант. Плечи его зябко содрогнулись.— Ах, мусью,— поморщился он,— вчера я нашел на рубашке одну вошу.

— Да? — сказал Старый.

— Вот такую! Какой ужас!

Мы молчали.

— Я сбросил все с себя и вымылся одеколоном.

Мы молчали.

— Не знаю, что будет.

Сержант жалобно заморгал длинными ресницами. От пухлых нежных щек его ветер доносил сладкие струи духов и пудры.

— Господин сержант,— заговорил снова Старый,— это был наш товарищ. Мы хотели бы проводить его до могилы и спеть наши песни.

— Никаких песен! — встрепенулся сразу сержант.— Только то, что записано на религиозных страницах. Как это называется? Молитвы, да!

Сержант отвернулся.

— Хорошо,— спокойно согласился Старый.— Можно.

Мы недаром звали Старым этого заросшего бородой, благодушного человека, немало повидавшего на своем веку. Пять царских тюрем значилось в его прошлом и столько же хитроумных побегов.

И на этот раз мы поверили в его спокойствие.

После поверки Старый выкликнул по списку нас пятерых,— это были ближайшие друзья покойника.

— В барак, на спевку.

Мы собрались в дальнем углу барака разучивать церковные песнопения. Все безбожники, мы с трудом припоминали слова слышанных когда-то в детстве молитв. Вдобавок почти все мы были люди безголосые, с плохо приспособленным к сладкогласию заупокойных ирмосов слухом.

Выручил нас Старый. Оказывается, в дни бедственной юности приходилось ему читать в деревнях по покойникам и даже петь за дьячка.

Когда пришел в барак сержант Лерне, Старый протяжно задал тон и, усиленно мигая нам, взмахнул рукой.

— Свя-ятый боже! — нестройно затянули мы, глядя ему в рот.

— Свя-ятый кре-епкий!

— Свя-ятый бессмертный!

— Поми-илуй на-ас! — кричали мы вразброд дикими голосами.

Дослушав до конца, сержант долго стоял в раздумье. Видимо, пение русских молитв не произвело на него доброго впечатления. Кажется, он уже собирался отменить свое разрешение.

— Конечно, господин сержант,— сказал Старый,— православные молитвы уступают по красоте католическим песнопениям. Ведь вы католик? Я вот слыхал ваш реквием «Dies irae», помните: та-ра-ри-ра-ра-а... Какая мощь, какая сила! Разве можно сравнить его с нашим пением? Давайте-ка, друзья, продемонстрируем «Надгробное рыдание». Си-соль-ми...

Сержант постоял еще в задумчивости.

— Ага... да... реквием. Хорошо, продолжайте!

И он повернулся к выходу.

— Над-гробное... ры-ы-да-а-ние...— завели мы ему вслед.

В конце дня мы подняли на плечи легкий гроб и двинулись к приготовленной могиле — туда, на пригорок, где шумели молодые сосны.

В воротах тюрьмы за нами пристал молодой краснощекий солдат в синем берете с помпоном. По дороге он грозно щелкал затвором ружья.

Мы шли в полном молчании, бережно прижимая щеки к шершавым доскам гроба.

И тихо стояли над сухой песчаной могилой, когда гроб,

плавно покачиваясь на веревках, уходил вниз. Безмолвно бросили мы горсти мерзлого песку, глухо застучавшие о крышку гроба. Там, на жестяной дощечке, были выбиты гвоздем фамилия погибшего товарища и скрещенные серп и молот.

Над нами на полнеба полыхал желтый морозный закат. Перистые полосы косо разметались в нем, предвещая ветер. Далеко под берегом охала и вздыхала под ударами невидимых волн ледяная окалина.

Старый раскрыл евангелие и скинул шапку. И, глядя на него, поспешно смахнул с головы синий берет с помпоном наш часовой.

— Никаких надгробных рыданий, товарищи! — тихо и жестко сказал Старый, не подымая глаз от развернутых страниц.— Над могилой замученного борца мы дадим друг другу несокрушимую клятву. Палачи делают все, чтобы расшатать наш стойкий дух и подавить наши надежды. Некоторые из нас обессилели от голода и страданий и впадают в безразличие. Товарищи, это смерть!..

Старый перевернул страницу и откашлялся.

— Таких надо тормошить, расшевеливать, не давать заснуть. Ведь борьба не окончена и дело наше не погибло. Оно побеждает там, на фронтах, и победит во всем мире. Пускай неистовствуют палачи! Тем крепче должны быть мы. Уже земля горит под их ногами, и в бессильной ярости они набрасываются на нас, своих пленников. Позор палачам! Вечная слава погибшему в борьбе смелому товарищу!..

На этом Старый захлопнул евангелие, а часовой нахлобучил на вихрастую голову свой синий с помпоном берет.

— Реквием! — громко и торжественно сказал Старый.

Протянув друг другу руки, мы окружили могилу и запели:

> Наш враг над тобой не глумился,
> Кругом тебя были свои,
> Мы сами, родимый, закрыли
> Орлиные очи твои.

Мы пели со страстью, кашляя и задыхаясь, устремив бесслезные глаза в желтые просторы неба. Крепко стискивали друг другу руки и пели железными голосами:

> Настанет блаженное время,
> Когда уж из наших костей

Подымется Мститель суровый,
И будет он нас посильней...

Сытое лицо солдата испуганно и благоговейно вытянулось. Он торопливо подхватил ружье и взял на караул.

Он был суеверен, этот глуповатый провансалец. «Пускай,— думал он,— поют молитву бородатому русскому богу — надо стоять навытяжку». Он так и простоял до конца, пока мы пели эту старинную песню русских революционеров.

Когда мы взялись за лопаты, часовой подошел к Старому и сказал:

— Реквием... Бон, бон!

Лицо его было растроганным.

БАБУШКИНА ГВАРДИЯ

Рассказывали, как этот шустрый, востроносый мальчонка попал в тюрьму. Когда деревню заняли англичане, молодой секунд-лейтенант сразу занялся вылавливанием большевиков. Указали на Васину избу — отец Васи ушел с красноармейцами.

Семья сидела за ужином, когда вошли в избу солдаты.

— Ти эст большевик? — спросил лейтенант, уставя на Васю палец.

— Я — большак,— поднялся Вася; после отца он был старший в семье.

Лейтенант кивнул, и Васю тут же взяли «под свечи». Тринадцатилетний «большевик» угодил в тюрьму.

Следом за ним в тюрьму стали прибывать деревенские пастушки. Фронт только начал складываться. Мирные крестьянские стада бродили в лесах, не замечая притаившихся разведчиков. Маленьких пастушков хватали за переход фронта, объявляли шпионами.

Дюжина их накопилась на острове, и старостой у них стал Вася Большак. По его имени мы называли малолетнюю команду любовно и чуточку грустно «большаками».

Сержант Лерне называл их «бабушкиной гвардией».

«Бабушкину гвардию» обычно наряжали пилить дрова.

Это была самая легкая работа в тюрьме. Притом же дрова пилили около самого барака; когда нет поблизости сержанта, всегда можно было забежать в барак и погреть у печи руки. Работали «большаки» без охраны, и часто

можно было видеть, как носились они серой стайкой в веселой игре меж выложенных ими поленниц.

Сержант Лерне требовал от арестантов работы. Поэтому он неуклонно выгонял «большаков» из барака на мороз и не раз крепкой своей палкой прекращал незатейливые ребяческие увеселения.

Сержант Лерне зорко следил за «бабушкиной гвардией». Он появлялся, откуда его не ждали, и подолгу наблюдал из-за угла за их работой. Он был непонятно придирчив к нашим неунывающим «большакам». Чего-то он ждал от них.

И вот это случилось.

Однажды после работы, в тот короткий срок, когда арестанты делили черствые галеты, когда дневальные, гремя ведрами, уходили на кухню получать обед, сержант Лерне неожиданно появился подле барака.

Он осторожно выглянул из-за угла и, заметив сбившихся в кучу «большаков», выставил вперед ухо.

Несомненно его никто не ждал в этот час,— сержант, по всем предположениям, должен был сидеть за жирным сержантским обедом.

Вася Большак стоял, тесно окруженный своей командой. Он говорил совершенно отчетливо, без всяких стеснений,— сержант слышал все от слова до слова, хоть и не все понял и не все запомнил. Не может быть, чтобы он ослышался!

Главное заключалось в том, что Большак обещал перебросить за забор два топора и лопату,— это точно. При этом он сказал, что солдаты не найдут,— это также безусловно точно. На этом вся шайка, должно быть, заметив его, сержанта Лерне, бросилась врассыпную.

— Стой!

Кошкой метнулся из-за угла сержант на Васю Большака. Он свалил его на снег, наступил коленом на грудь и, выхватив из кармана свисток, отчаянно засвистел.

На тревожный сигнал бежали от ворот к сержанту солдаты. Из барака высыпали арестанты.

Сидя верхом на Васе, сержант торопливо приказал выловить остальных. Солдаты скрылись в узких проходах меж поленниц.

— Сам слышал! — торжествующе кричал нам сержант.— Мерзавцы! Негодяи! Все знаю! Где? Куда спрятали?

Сержант поймал Васин белый вихор и яростно зажал в кулаке.

Пронзительные детские крики доносились со всех сторон. Солдаты вытаскивали спрятавшихся в укромных уголках «большаков». Одного за другим волокли к сержанту, поддавая сзади сопротивляющимся.

— Всех сюда! — кричал сержант.— Не уйдете, голубчики, теперь попались! Два топора и лопату — куда спрятали? Негодяи! Найдем, все найдем!..

Сержант задыхался. Синие глаза его потемнели. Схлынул с щек обычный румянец. Сержант часто и нелепо совал в воздух кулаками.

— Кто дежурный по кладовой?

Из нашей толпы выступил Старый.

— Я, господин сержант.

— Немедленно пересчитать все топоры и лопаты! Открыт заговор, понимаете? Вот эти преступники готовили побег. Вы всегда за них заступаетесь, а они...

Голос сержанта хрипло сорвался от возмущения.

— Господин сержант,— твердо сказал Старый,— топоры и лопаты я принял по счету. Сданы полностью.

— Вы уверены? — зло сощурился сержант.— Хорошо, я пересчитаю сам. А этих... в карцер на две галеты. Всем расходиться!

«Большаки» захныкали. Мы стояли, не зная, что предпринять. Подозрительность сержанта нам была хорошо известна: ему всюду мерещились заговоры. Не раз среди ночи он врывался с пьяной командой в бараки, пугая дикими криками спящих. Он рылся в сером арестантском барахле, лазил под нары, заставлял отдирать доски пола, проверял все щели в стенах. Он искал запрятанное оружие. И уходил на рассвете, унося в качестве победных трофеев несколько гвоздей,— ими мы открывали свой консервный паек.

И теперь, слушая всхлипывания «большаков», мы догадывались, что заговор придуман сержантом. Надо было как-то выручать наших ребятишек.

— Разрешите, господин сержант,— сказал Старый,— расспросить мне Васю один на один. Я хочу узнать, куда они спрятали топоры. Мне он скажет.

И, не дожидаясь ответа, он отвел рыдающего Большака в сторону. Долго он выспрашивал его шепотом, низко наклоняя ухо. Потом достал платок, вытер ему нос,

поправил шапку на его голове и привел, держа под локоть, к сержанту.

Низко опустив голову, маленький заговорщик стал напротив сержанта Лерне. Неулегшаяся обида вновь всколыхнула его плечи подавленными рыданиями.

Старый ласково положил руку на плечо Большака.

— Скажи нам, Вася, про какой топор ты говорил с ребятами? Про какую лопату? Смелей!

Все чутко насторожились. Обступив кольцом, мы дружно подбадривали Васю.

И, захлебываясь в слезах, Большак начал, едва выдавливая слова:

Раз-лопату...
Два-топор...
Переброшу...
За забор...
Придут конопатчики...
Не найдут лопаточки...

Мы все переглядывались. Кто-то, посмотрев на сержанта, поймал и спрятал в горсти язвительную усмешку. Кто-то громко кашлянул — всем послышалось в этом кашле удивленное «о-го!», Вася посмотрел исподлобья и сбился.

— Так,— все держал его за плечо Старый,— а что ты там говорил про солдат?

Старые солдаты
Не найдут лопаты...

В толпе зафыркали, зашипели, закашляли. Оглянувшись на нас, усмехнулся и сам Вася. Закончил бойко:

Не найдут топора,
Мне искать пора!

— Все? — спросил Старый.

— Все.

— Потом вы разбежались и спрятались?

— Да.

Старый снял с его плеча руку и подошел к сержанту. Нам показалось — лицо Старого сурово побледнело. Он очень плотно прижал руки по швам и сказал голосом нестерпимо звонким:

— Господин сержант, разрешите доложить: никакого заговора нет. Понимаете: дети они, дети, дети!..

Старый тяжело вздохнул и добавил уже обычно спокойным голосом:

— По-русски это называется — «игра в прятки».

Белые кресты за проволокой вздвоили ряды. И стало им тесно на пригорке. Один за другим сбегали они вниз, широко раскинув руки, и как бы кричали: нас много, нас много!..

Это было похоже на бунт мертвых, и комендант острова однажды приказал спилить все кресты, а могилы сравнять с землей.

Седым осенним утром вышли на пригорок люди.

На море пал туман. В белой тихой мути невидимо плескались волны. Невысокие островные сосны призраками стояли вокруг. Клочья холодного пара цеплялись в сучьях и уплывали мимо. Было глухо и неприютно в этом мире.

Казалось, навсегда погасло солнце и земля освещена негреющим светом каких-то сумрачных светил. Ночь, вечер, утро,— что это было?..

Мягко, беззвучно тяпали на кладбище топоры. Повизгивала, застревая в сыром дереве, пила. Один за другим валились тяжелые кресты.

Часовые, еле видные в тумане, стояли вокруг, зябко съежив плечи.

Люди работали молча.

И вдруг какой-то новый, вольный звук вторгнулся в тишину, и, казалось, дрогнуло все вокруг — и туман, и деревья, и люди.

Упали топоры, остановилась пила.

Низко над кладбищем кружил в тумане гусь.

— Га-га-га! — кричал он зовуще-тревожно.

Свист сильных крыльев был слышен близко, над самыми вершинами сосен.

— Га-га-га!

Крик одинокой птицы все отдалялся и утонул в мглистых безднах.

— Все равно погибнет! — печально сказал кто-то.

— Врешь ты! — откликнулся раздраженный голос.— Выживет!

— Выживет! — говорили кругом.

Всем хотелось верить, что эта сильная птица должна побороть туман, море, лесные просторы, страх одиночества. Она найдет свой путь, птице открыты все дороги.

— Погибнет! — сурово сказал матрос Шумков.— Раз

отбился от стада... своих не найдет, а в чужое не примут. Заклюют! Так всегда бывает!..

Это было сказано угрюмо-непреложно.

Досадливо повизгивая, снова пошла пила, затюкали топоры. Молча думали все над сказанными словами.

«Так всегда бывает»... Это верно. Вот когда бежали с острова трое матросов,— что вышло? Всех их выловили поодиночке, все погибли...

Надо иначе, надо всех поднять. Как?

Вокруг билось свирепое море. Там, в тумане, лежал берег матерой земли, безлюдные леса, болота. За ними красный фронт, свои. Но охрана сильна, у нее пулеметы. Арестанты же голодны, босы, раздеты, безоружны. И сколько больных, ослабших духом...

К Шумкову подошел комиссар Праскутин. Он поставил пилу и огляделся: никого поблизости не было.

— Сегодня или никогда! — сказал Праскутин.— Сейчас я узнал: на южный конец пристали четыре лодки, мужики приехали сети ставить...

— Я согласен,— сказал Шумков.

Подняв плечи, к ним шел часовой. Они взялись за пилу и стали спиливать крест.

— В конце работы,— тихо говорил Праскутин,— как зазвонят в колокол, я обезоруживаю одного часового, ты другого. Надо сделать без шуму...

— Есть! — кивнул Шумков.

Праскутин взял пилу и пошел дальше.

«Лучше смерть»,— думал Шумков, сваливая наземь крест. И перешел на новое место, поближе к часовому.

Когда зазвонили в колокол. Шумков закинул на плечо лопату и пошел к воротам. Часовой равнодушно смотрел на него, посасывая сигарету. Поравнявшись с ним, Шумков уронил лопату и, нагнувшись, схватился за винтовку. И тут же ударил часового головой в живот. Тот свалился, высоко задрав ноги.

— Молчи! — грозно сказал Шумков и наступил ему на грудь.

Винтовка была в его руках.

Праскутин бежал к нему, потрясая наганом.

— Есть две винтовки и вот... Скорей идем в барак! Ребята, стерегите часовых, бери топоры! Сейчас освободим всех!..

Закинув на плечо в груде лопат винтовки, они пошли

к бараку. Со всех сторон тянулись к воротам арестанты, никто еще не догадывался о происшедшем.

В воротах стоял часовой. Молча шевеля губами, он пересчитывал идущих с работы. Праскутин направил ему в грудь револьвер и молча отобрал винтовку. Оторопевший часовой сел на ящик и закрыл лицо руками.

Праскутин вбежал в барак. Там в эту пору шла обычная дележка галет.

— Кому? Кому? Кому?..— выкрикивали во всех углах. И сбившись тесными толпами, стояли вокруг арестанты.

— Свобода, товарищи! — закричал Праскутин.— Выходи все, свобода!..

Его не услышали.

Он выхватил наган и выстрелил в потолок.

Смолкли голоса. Праскутин видел со всех сторон растерянные лица.

— Что? В чем дело? — спрашивали его.

— Свобода, говорю я! — в ярости затопал ногами Праскутин.— Выходи все! Коммунисты за мной!..

Черная толпа ринулась к дверям, застревая в узком проходе.

За стенами барака послышались хлопки выстрелов.

— А-а-а,— тонко завизжал кто-то на верхних нарах, забившись в припадке.

Кто-то поспешно уползал под нары.

— Трус! Куда?! — злобно пинал Праскутин утягивавшиеся ноги в веревочных лаптях.

И выбежал из барака.

На голом плацу залегли цепи. В мглистых сумерках вспыхивали редкие огоньки трех винтовок. За проволокой в кустах рассыпалась цепь охранников. Там трещали частые выстрелы.

Праскутин лег в цепь и поднял наган. Он отсчитывал каждый выстрел: последнюю пулю надо было оставить на худой случай — про себя.

ОДНА ЗВЕЗДА

О, долог был путь и труден!

Не было исходу лесным чащам. В лоскуты порвалась одежонка, протоптались насквозь сапоги. Подкаливала пятки холодная осенняя земля. И люто было влезать в темную ночную воду встречных рек.

Все чаще спрашивали Шумкова истомившиеся беглецы:

— Верно ли идешь?

А один из них — Теребилка по прозвищу — прямо сказал:

— Неверно!

Шумков посмотрел в его злые, неспокойные глаза и промолчал.

Он верил в свою заветную звезду. Еще малым дитей ходил он с отцом на морской промысел, и научил его отец отыскивать в звездных пучинах эту верную звезду. Учил узнавать по ней все четыре ветра.

Матросом плавал он потом в далеких морях, под чужими созвездиями. И часто во тьме ночей искал он глазами эту знакомую звезду, угадывая, в какой стороне его милый север.

Путь их теперь лежал в ночах — путь гонимой волчьей стаи. Днем они спали, укрывшись в заросших ржавым папоротником лесных западинах. По ночам, как волки, кружили они у тихих деревень. На отдаленных гумнах набивали пазуху не обмолоченными еще колосьями. Горсть зерна да лесная кислая ягода были их пищей.

Однажды принес Шумков из разведки маленький белый листок, сорвал его с придорожного столба. Были напечатаны на листочке все фамилии беглецов. Сулил генерал хорошие деньги за первые сведения о бежавших каторжниках. Спасибо ему — стали все крепче жаться к Шумкову. И притих Теребилка.

Опять искал запавшими глазами Шумков свою звезду, и шли они дальше.

И вот однажды пришел он — день ликования.

Когда спали все в лесном овраге, неожиданно подняли тревогу слухачи.

— Что, слышите? — спрашивали они, как бы не веря своим ушам.

Далеко, неясно, где-то в корнях дерев, прошла едва приметная дрожь, отдаваясь в ногах стоявших. И настороженное ухо уловило в ропоте лесных вершин далекий-далекий гром. Гром повторился еще и еще раз.

Это был фронт.

— Шумков, черт! — первый кинулся обниматься Теребилка.

— Погоди! — уперся ему в грудь руками Шумков и

сказал жестко: — Ежели ступали мы на всю ногу, так теперь пойдем на одних перстышках. Понятно?..

И действительно, пошли на одних перстышках. Осторожно шел впереди Шумков, часто останавливался и подолгу слушал. И, глядя на него, замирали все на своих местах. Все яснее был слышен орудийный гром.

На следующую ночь завидели зарево. И, выйдя на опушку, долго смотрели. Бестрепетно, как свеча, горела на краю деревни изба. И странно было, что не бегал никто вокруг пожарища и не слышно было бабьих причитаний. Тиха и темна стояла деревня, освещаемая высоким месяцем. Где-то в стороне вели ленивую перекличку орудия. Снаряды с гуденьем пролетали в светлой небесной вышине и глухо разрывались в отдалении.

«Фронт! — радостно прислушивался к полету снарядов Шумков.— Кто знает, может, мы уже стоим теперь на своей земле?..»

Но он никому не решился сказать об этом.

Пугливо хоронясь в черной тени навесов, пошли за гумнами разведчики. И вернулись вскоре.

— Насквозь пусто,— сообщили они.

Последним пришел из разведки Теребилка. Он нес что-то под полой, и все слышали его счастливый шепот:

— Обошел три избы — хоть бы корка попалась какая. Все под метелку зачищено. Дальше, подхожу к разваленной избе и вдруг вижу видение: стоит на бревне петух — на самой на луне, каждое перышко видать. Голова под крыло, ножка озябла — подогнута и, слышу, будто храпит. Тут я и цап его под бока. Он закудыкал, и пришлось, конешно, ему голову свернуть. Нате, берите!..

Все жадно и долго ощупывали в темноте теплого еще петуха.

— Сырьем, что ли, будем его жрать? — мрачно спросил кто-то.

— Зачем сырьем! Суп сварим!

— Где?

— А на пожаре. Эх, угощу же я вас бульоном, братцы! — причмокивал в темноте Теребилка.

И каждый почувствовал, как сладостно и бессильно заныло в голодном желудке от этих слов Теребилки. И неодолимо тянуло посидеть у жаркого огня — третий день костра не разводили.

— Опасно, товарищи! Не нарваться, бы! — сказал Шумков.

— Деревня пустым-пустая,— уговаривал Теребилка,— айда смело!..

Под конец и Шумков сдался, решили сделать привал.

Задами прошли в деревню. Тихо, от избы к избе пробирались к пожарищу. Мертвыми громадами стояли брошенные дома. Раскрытые снарядами крыши вскинули к небу сотнями черных рук свои доски. Холодный иней оседал на них, облитые белым светом месяца, сверкали несколько досок, как зеркальные.

Изба горела ровно и неторопливо, вздымая к светлым небесам прямой столб дыма. Огонь бродил по внутренним загородкам, бежал вверх по стропилам к коньку крыши. Темные углы, рубленные по-старинному, «в обло», еще стояли нерушимо.

Теребилка притащил откуда-то большой банный котел. Петуха наскоро ощипали и выпотрошили. Потом скатили в сторону несколько пылавших бревен, подгребли уголья и поставили на них котел.

И все сели вокруг. Как всегда, неслышно, зная свою очередь, сменялись за углом слухачи.

Жарко грел пожар лица, а со спины подбирался холод. Поворачивались бочком и прижимались теснее — борясь с одолевавшей дремотой.

— Век бы не ушел отсюда,— сказал Теребилка,— тепло, светло и мух нет... А-ха, хорошо живем!..

Опухшие глаза его слипались, он часто, с подвываньем позевывал. Разморились в тепле и другие. Клонились друг к другу, поклевывая носом.

— Не спать! — резко подталкивал сзади Шумков.— Я говорю: не спать!..

Очнувшись, заглядывали в котел — скоро ли?

Уже забродила вода в котле, поворачивая из глубины утлый петушиный задок. По краю крутилась жемчужная пена, плясали в ней черные уголья.

И в воздухе чуялись сладкие запахи петушиного мяса,— поминутно сплевывали беглецы голодную слюну.

— Ты помешай, помешай, Теребилка! Уголья вы...

И тут с грохотом лопнул воздух от где-то близко разорвавшегося снаряда. Под резким дуновением взрыва дугой качнулся дымный столб над горевшей избой. Осы-

пались внутри сруба прогоревшие стены, выбросив алую тучу хвостатых искр.

Едва успели отбежать в сторону беглецы — с крыши одно за другим покатились горящие бревна, накрывая дымящимся хламом проулок.

— Заметили нас,— тревожно сказал Шумков,— уходить надо.

— А петух?..

Это сказал Теребилка. Весь затрясшись от злобы, обернулся к нему Шумков:

— Пропади он трижды к дьяволу, твой петух! Пошли! Бегом!

Пригибаясь, бежали по канавке к лесу. Молодой ледок со звоном осыпался кой-где под ногой. И, остановившись на опушке, видели, как упало еще несколько снарядов в разгоревшуюся избу.

Шумков прислушался, чутко ловя направление выстрелов, и махнул рукой прямо.

Опять вытянулись цепочкой по лесу. Шли, пока не остановился Шумков. Впереди гигантским скопищем калек и уродов стоял горелый лес. В свете месяца черные призраки всюду крючили руки, взмахивали костылями, как бы угрожая и предостерегая: здесь вас ждет могила. Шумков справился с далекой звездой и опять махнул рукой прямо.

Много раз останавливал он всю цепочку: чудились впереди перебегающие тени,— они прятались и шли на окружение. Тогда ложились все наземь, слушая громкий ток сердца.

И снова шли дальше, пока не вышли на широкую лесную дорогу. Стали искать следы, чиркая спичкой над самой землей. В песчаном грунте было много следов с английской подковой на каблуке.

— У белых! — тугим голосом сказал Шумков.

— Кружим-кружим, а все у белых,— заговорил Теребилка.— Гляди, не завел бы...

— Молчи! — стиснул его плечо Шумков.— Молчи, тебе говорю!

Где-то вблизи почудились ему мягкий топот копыт и лошадиное пофыркиванье.

— Ложись! — успел скомандовать Шумков.

Все бросились прочь с дороги и легли за деревьями. Только Теребилка остался стоять столбом.

— Надоело ложиться,— угрюмо сказал он,— я постою.

По дороге осторожной ступью ехали всадники, слышен был их тихий разговор. Подъехав, всадники остановились. Они молча вглядывались в ту сторону, где застыл в столбняке Теребилка.

— Только шевельнись! — тихо сказал Шумков.— Убью.

Щелкнул затвор, метнулся огонь, и по лесу гулко прокатился выстрел. Пуля хлопнула близко, расщепив гнилой ствол сухостойника. Теребилка не двинулся.

Постояв еще, всадники тронулись дальше. И, когда затих в отдалении топот копыт, Шумков встал и подошел вплотную к Теребилке. Он сказал ему совершенно спокойным голосом:

— Ладно! Когда будем там, поставлю вопрос о твоем исключении.

Теребилка посмотрел на его яростное лицо и весь сжался от этих простых слов.

Через час беглецы вышли на красную заставу. Их тут же отвели в деревню, где стоял штаб.

И темной осенней ночью, прямо под звездным небом был наскоро устроен митинг встречи. Молодой комиссар говорил о твердой большевистской породе, не знающей страха в борьбе. Люди в серых шинелях стояли плотной стеной, жадно вглядываясь в бледные счастливые лица перебежчиков.

— Босые, голодные, холодные,— говорил комиссар,— шли они аг-ра-мад-ней-шими лесами без карты, без компаса!.. Кругом рыскал враг... Но их вела одна звезда, красная звезда победы...

— Говори, Шумков! — подталкивали его беглецы.— Твой черед, говори!

Шумков все смотрел на медную стертую звездочку на шапке комиссара и, чувствуя необычайную тесноту в груди, молчал. Ему хотелось сравнить эту звездочку с той заветной звездой, которая одна вела его в мучительном пути.

Он нашел глазами среди тысячи светил эту верную ласковую звезду. Прямые лучи света спустились от нее на мокрые ресницы Шумкова и переломились, вспыхнув слепящими блестками.

Он закрыл глаза и поднял к звезде руки.

1935

ПТАШКА

Во время партизанской войны на Сучанском руднике был захвачен с динамитом рабочий Игнат Саенко, по прозвищу «Пташка». О работал откатчиком в шахте № 1. «Пташкой» он был прозван за то, что мог подражать голосам всех птиц. Да и наружностью он смахивал на птицу — маленький, вихрастый, длинноносый и тонкошеий. Он был женат и имел двух детей, и старший его сынишка тоже умел подражать птицам.

Игната Саенко взяли ночью, разбудив всех соседей. И, когда его вели, жена, сынишка и все соседи и дети соседей, любившие Пташку за то, что он пел как птица, высыпав на улицу, долго кричали и махали ему вслед.

Контрразведка помещалась над оврагом, в глухом дворе, обнесенном со всех сторон высоким забором. Когда-то там помещался сенной двор. Пташку впихнули в амбар и заперли на замок. В этом пустом и темном амбаре он, страдая от отсутствия табака, просидел до самого рассвета.

С того момента, как динамит был обнаружен у него под половицей, Пташка знал, что ему больше не жить на свете. Правда, его участие в деле только и состояло в том, что он, согласившись на уговоры товарищей, предоставил им свою квартиру для хранения динамита. Но мысль о том, что он мог бы облегчить свою судьбу, если бы выдал главных виновников предприятия, не только не приходила, но и не могла прийти ему в голову. Она была так же неестественна для него, как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом.

Весь остаток ночи он не то чтобы набирался сил, чтобы не проговориться,— таких сил, которые заставили бы его проговориться, и на свете не было,— а просто обдумывал, как ему лучше соврать, чтобы укрыть товарищей и выгородить себя. А еще он думал о том, что будет с детьми, когда его убьют, и жалел жену. «Навряд ли кто возьмет ее теперь за себя, с двумя ребятами, косую»,— думал Пташка.

На рассвете пришли взявший его ночью унтер, большой мужик с черной бородой, росшей более в толщину, чем в ширь, и солдат с ружьем, тоже рослый, но рыжий, желтолицый скопец. Они отвели Пташку на допрос.

Пташка увидел за столом офицера со старообразным лицом и, хотя он его никогда не видел, догадался, что это главный контрразведчик Маркевич (кто ж на руднике не знал Маркевича?). Ему стало страшно. Но пока Маркевич расспрашивал его имя, фамилию, губернию, вероисповедание, Пташка справился с собой. Маркевич спросил его, где он достал столько динамита и зачем? Пташка сказал, что крал его по частям, чтобы глушить рыбу.

— Рыбки, значит, захотелось? — нехорошо улыбнувшись, спросил Маркевич.

— Двое ребят у меня, жалование не платят, живем бедно, сами понимаете,— сказал Пташка и тоже позволил себе чуть улыбнуться.

— Видимо, он рыбную торговлю хотел открыть? — сказал Маркевич, подмигнув сидящему в углу на табурете унтеру.— Полпуда! А?..

Пташка сказал, что он, правда, хотел продавать рыбу инженерам и конторщикам, чтобы немного подработать.

— А зачем третьего дня заходил к тебе Терентий Соколов? — спросил Маркевич, в упор глядя на Пташку круглыми желтоватыми глазами, страшными тем, что они ничего не выражали.

«Откуда он...» — подумал было Пташка, но тут же сделал удивленное лицо, даже не очень удивленное, а такое, как надо, и сказал:

— Терентий Соколов? Да я и не знаю такого.

— А что, если я его приведу сейчас, и он при тебе все расскажет?

— Не знаю, кто он и что он мыслит сказать,— пожав плечами, ответил Пташка; он знал, что Маркевич не мо-

жет привести Терентия Соколова, который вчера прислал жене письмо из Перятина.

— Слушай,— таким тоном, словно он желал помочь Пташке, сказал Маркевич,— Соколов признался в том, что на квартире твоей — передаточный пункт, откуда динамит переправляют к красным. Я знаю, тебя в это дело зря запутали. Если назовешь, кто тебя запутал, я тебя отпущу. А не назовешь...

— Я, ваше благородие, служил на царской службе, я всю германскую войну прошел,— проникновенно сказал Пташка,— а с красными дела не имел и не могу иметь. А сознаю я то преступление, что я тот динамит покрал для глушения рыбы по великой бедности. И коли должен я за то идти под суд, пусть будет на то ваша воля.

Маркевич вразвалку обошел вокруг стола и, постояв против Пташки и посвистав немного, изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Пташка отлетел к стене и, прижавшись к ней спиной, изумленно и гневно посмотрел на Маркевича,— из носа у Пташки потекла кровь.

Маркевич, подскочив к нему, тычком стал бить его кулаками в лицо, раз за разом, так что Пташка все время стукался затылком о стену. Пташка ничего не успевал сказать, а Маркевич тоже ничего не говорил, а только бил его кулаком в лицо, пока у Пташки не помутилось в голове и он не сполз по стене на пол.

Унтер и солдат подхватили Пташку под руки и, пиная его плечами и коленями, отволокли в амбар.

Пташка долго лежал в углу, обтирая полой рубахи горящее опухшее лицо, сморкаясь кровью и тяжело вздыхая. Он думал о том, что он теперь пропал, о том, что улик против него все-таки нет, и это немного подбадривало его. Потом ему захотелось покурить и поесть, но никто не шел к нему. Со двора не доносилось никаких звуков. Он был отрезан от всего мира, ему неоткуда было ждать помощи и некому было пожаловаться. Он подложил руку под голову и незаметно уснул.

Проснулся он от звуков открываемого замка. Дверь распахнулась, и вместе с солнечным светом и запахами весны в амбар вошли Маркевич и унтер. Чернобородый унтер с ключами в руке остановился у распахнутой двери, а Маркевич подошел к Пташке, с полу смотревшему на него настороженными, птичьими глазами.

— Что, не надумал еще? — сказал Маркевич.—

Встать! — взвизгнул он вдруг и сапогом ударил Пташку в живот.

Пташка вскочил, одной рукой поджав живот, а другой пытаясь заслониться от Маркевича.

— Говори, кто носил тебе динамит? Убью!..

Маркевич выхватил наган, брызжа слюной, наступал на Пташку.

— Убейте меня,— детским голосом закричал Пташка,— а я не знаю, чего вы от меня хотите!..

— Взять его! — сказал Маркевич.

Унтер крикнул со двора солдата. Через пробрызнувший молодой травкой двор Пташку подвели к длинному погребу с земляной, прорастающей бурьяном крышей, с деревянными отдушинами и зачем-то железной трубой посредине.

— Куда вы ведете меня? — спросил Пташка бледнея.

Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью. Пташку сбросили по ступенькам, он упал возле каких-то бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих заплесневевших бревен.

В то время когда спустившиеся в погреб унтер и солдат держали обмякшего и притихшего Пташку, Маркевич засветил фонарь, отпер вторую дверь и вошел в глубь погреба. Пташку ввели вслед за ним в сырое, лишенное окон, затхлое помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал тошнотный трупный запах.

В противоположном конце помещение было ограничено такой же стеной из стоячих бревен, и там видна была еще одна дверь на замке. Посредине помещения стоял топчан, в углу — кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над ним темным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с потолка.

Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке.

— Будешь говорить — нет? — схватив Пташку, которого солдат и унтер не выпускали из рук, за грудь, сквозь зубы сказал Маркевич.

— За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня,— тихо и очень серьезно сказал ему Пташка.

— Раздеть его! — скомандовал Маркевич.

— Что вы хотите делать? — в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата.

Но они кинулись на извивающегося Пташку и, пиная

его и вывертывая ему руки, сорвали с него одежду и, голого, повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки охватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже напрягаться телом,— веревки начинали душить его.

Раздался свист шомпола, и первый удар прожег Пташку насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал.

И с этого момента началась новая страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в не имеющую конца, сплошную ночь мучений, немыслимых с точки зрения человеческого разума и совести.

Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба. Все время было разделено для Пташки на отрезки, в одни из которых терзали и мучили его тело, а в другие, выволоченный за дверь в тесную землянуюю каморку, он лежал в непроглядной, душной и сырой тьме, забывшись сном, или лихорадочно перебирал в памяти обрывки прежней своей жизни.

Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем сознании всю свою жизнь и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент, когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, расстегнутый ворот рубахи унтера, откуда выглядывала его потная волосатая грудь и шнурок от нательного крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах собственной крови и паленого мяса все заслоняли перед Пташкой.

Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли, и для того, чтобы высечь из этого, уже не похожего на человеческое тело новую искру страдания, изобретались все новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: «Убейте меня, я не виноват...»

Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе как тень появилась маленькая белая женщина. Пташка, закованный в обручи у стены, не видел, как она вошла. Появление ее было так невозможно, что Пташке показалось — он бредит или сошел с ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него.

Она сидела безмолвно, не шевелясь, глядя на то, как мучают Пташку, широко открытыми, пустыми голубыми глазами. И Пташка вдруг узнал ее,— это была жена Маркевича, и понял, что это не видение, а живая женщина,— и ужаснулся тому, что все, что происходит с ним, это не сон и не плод больного ума, а все это — правда.

И тогда все прошлое и настоящее в жизни Пташки вдруг осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие когда-либо приходили ему в голову.

Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и лишений, вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь — ужасную жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в поднебесье, и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди, которым были открыты и доступны все блага и красоты мира — и теплые удобные жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах,— чтобы эти люди смогли предать его, Пташку, этим невероятным мукам, немыслимым даже и среди зверей?

И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть людьми; что главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз то, что он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом людей, и посягал на блага и красоту мира и для себя и для всех людей.

Пташка понял, что то человеческое, чем еще оборачивались к людям эти выродки, владевшие всеми благами земли,— что все это ложь и обман, а правда их была в том, что они теперь в темном погребе резали и жгли его тело, закованное в обручи у стены, и никакой другой правды у них больше не было и не могло быть.

И Пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не мог уже попасть к живым людям, товарищам своим, и рассказать им о том, что открылось ему. Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся там, на земле, еще не понимают этого, и в решающий час расплаты сердца их могут растопиться жалостью, и они не будут беспощадны к этим выродкам, и выродки эти снова обманут их и задавят на земле все живое.

Распятый на стене Пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то делающую с его телом фигурку Маркевича, с потным и бледным исступленным лицом, на освещенную багровым светом горна, съежившуюся на топчане и смотрящую на Пташку женщину, похожую на маленького белого червяка, и Пташка чувствовал, как в груди его вызревает сила какого-то последнего освобождения.

— Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня...— тихо, но совершенно ясно сказал Пташка.— Разве вы люди? — сказал он с великой силой презрения в голосе.— Вы не люди, вы даже не звери. Вы — выродки! Скоро задавят вас всех! — торжествующе сказал Пташка, и его распухшее, в язвах, лицо с выжженными бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке.

Маркевич, исказившись, ударил его щипцами по голове, но Пташка, уже не чувствовавший боли, продолжал смотреть на него со страшной своей улыбкой. Тогда Маркевич, визжа, отбежал к горну, выхватил щипцами раскаленный болт и, подскочив к Пташке, с силой ткнул раскаленный болт сначала в один глаз Пташке, а потом в другой.

Словно расплавленное железо два раза прошло через тело Пташки, тело его два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и Пташка умер.

1935

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ГИБЕЛЬ КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА

ХОДИЛИ слухи, что их было — тысяча, две, три. Но определенно не знали, сколько же их было.

Я знаю, что их было тысяча восемьсот восемьдесят пять. И все они как один, похожие друг на друга, как прибрежные балтийские сосны. Великолепным шагом прошли они Якорную площадь Кронштадта и, бросив прощальный взгляд на гавань, ушли на сухопутный далекий фронт. В бумагах красавцев значилось: «Военный моряк первого морского кронштадтского полка».

17 декабря 1918 года... Полк стоит под селом Кузнецовским, на Урале. Ночью пошли белые сибирцы на матросов. Юз стучит: «Противник силой до шести тысяч штыков начал наступление на участке кронштадтцев...»

— Го-го, Марфуша, ставь самовар, гости едут!

— Гады сибирские, спать не дадут...

— Искромсаем!

— Стукнем!

Цепь в снегу... Идет передача:

— Прицел постоянный. Без приказа не стрелять...

Так. Подпускать, значит, в упор. А ночь лунная — удобная для этого. Ведь на снегу все видно.

Идут сибирцы. Смотрят матросы:

— В рай торопятся...

— Хорошо идут, ей-богу!

Пулеметчики спешно докуривают, потом некогда будет: предстоит бой, а то еще и убьют.

Табаку мало, второй номер просит:

— Оставь, двадцать, а?

Потянул. Третий просит:

—Заявка на сорок...

Пососал третий, пальцы цигарка обжигает, держать нельзя, но мы народ хитрый: подденем ее на острую спичечку — и ко рту, вот на пару затяжек и хватит. На все, друг, соображение надо.

Комиссар подбадривает:

— Держись за землю, братки. Корешки пускай в нее, расти, как дерево.

Идут сибирцы...

— А ну, сыграть им, а?

— Стоп! Без торопливых. А то еще залягут...

У гангутских подначка идет:

— Мишечка, может, вам надо для безопасности партийный билет на сохранение сдать?

Мишечка глазом косит:

— Ты от себя или от хозяина треплешься?

— Мишечка, странный вопрос. Хозяев ликвидировали. (И сразу голос изменился.) А чалдоны-то близко... Во! Гляди, Миша!

— Вижу...

Сибирцы подходят: цепями, вперебежку. Интервалы по фронту — три шага. Примолкли все. Тихо. Тут у одного зубы застучали. Слышно, как снег скрипит. Командиры матросские — старые, бывалые — ловят глазом, чуют нутром: опередить сибирцев надо, ожечь их прежде, чем «ура» начнут. С «ура» легче идти, а если их раньше стегануть — труднее им наступать будет.

Братки лежат, левыми локтями под собой ямки буравят. Кто понервнее — курок поставит, чтобы не дернуть раньше других. Полковой пес, взятый с крейсера, стал подскуливать. Цыкнули — умолк. Пулеметчикам из резерва горячие чайники лётом тащат: кожуха пулеметов прогреть надо. И вот — с фланга:

— По противнику! Постоянный! Пальба рот-той!

Старый унтер голос дал — что в тринадцатом году на плацу у Исаакия:

— Рот-та!

Подождем... На выдержку берет...

— Пли!

Эх, плеснули! Ох, капнули! С елей снег посыпался...

А пулеметчики ждут. Свои «максимы» белолобые прячут. А ну, иди ближе, Колчак! Мы тебе захождение сыграем.

Загудели сибирцы. «Рра-а-а». Жидковато.

— Огонь!

Бьют матросы с рассеиванием.

— Шире рот разевай, лови!

Окапываются сибирцы...

— Хлебнули!

— Куда лезете, здесь для некурящих!..

Тихо...

Время шло. Девять атак было.

Двое суток сибирцы окружали полк, теснили его. Полк подался и занял кольцевую позицию... Окружен... К концу вторых суток, девятнадцатого декабря, в десятую атаку готовились сибирцы. Шрапнелью поливать начали.

Покрикивают в цепи братки:

— Санита-а-ры...

— Носилки...

Ответ дают:

— В цепи санитары все...

Шестая рота по семь патронов на человека имеет. Когда ты в кольце — это не богато. И вдруг:

— А ну, кто за патронами?

Вскинулись... Кто кричал?

Васька отвечает:

— Есть патроны! Кто со мной? Идем с убитых снимать...

И на белых показывает. А их на снегу, шагах в двухстах, не обери-бери.

— Поди, поди-и, тебе жару дадут. На тебя запас там есть...

Вася говорит:

— Мишечка, вы, конечно, с Тулы вагон патронов себе затребовали, и вам нет заботы, и вам этот вагон два паровоза экстренно везут.

Мишечка лежит, молчит.

— Или, Мишечка, вы разговаривать не желаете? Слабо идти, а?

Молчит Мишечка. Встал, подошел к нему Вася. С ним еще четверо. А Миша лежит, не движется. Политрук говорит:

— Ну, за Мишку никогда не думал худо, а тут не пошел...

— Коммунар!

А Мишечка лежит в цепи тихий, неразговорчивый. Тяжко ранен он.

В цепи обсуждают:

— До подъема флага продержимся?

— Нет.

— Сомнут...

— Говорят, выручка идет...

— Эх, обнял бы я на прощание какую-нибудь старушку лет семнадцати...

Вася ползет по снегу. Дотащился. Лежит один бородатый солдат на животе, рука в сторону откинута. Колечко алюминиевое поблескивает. Голова набок. И слезы замерзшие. Вася с ним в разговор:

— Эх, дура-борода. Ведь взрослый парень, а туда же.

Мурлычет Вася между делом:

— Спи, дитя мое родное, бог твой сон храни...

Патроны с мертвеца снимает, приговаривает:

— Колчак чай внакладку пьет. А ты, мертвый, на холоде зябнешь (пересчитывает патроны). Один, два, три, десять — и то хлеб... Дело твое кончено, а нам, может, еще целый день жить.

И дальше пополз матрос. Набрали все-таки кое-каких патронов. Опять шрапнель лопается. Потом затихло. Пули свистят беспрерывно: «Пи-у, пи-у...»

— Вон она, пуля, за молоком пошла.

Двинули сибирцы. Заходили пулеметы.

Раненые второй роты сидят и лежат в яме.

— Опять пошли...

— Может, выручка придет?

— Воды бы...

С жару, с лихорадки — раненые снег едят...

— Товарищи, воды бы... Глоток хошь... О-ох...

Стонут недобитые братки. Руки себе искусали. Один пополз воды просить в лощинку, где снег для пулеметов топят.

— Дай глотнуть.

— На, только немного, костер тухнет, а пулеметы стынут.

Рядом — ели в обхват, а в костер класть уже нечего. Что было сучьев — поломали, порубили, пожгли...

— Мне бы котелочек... для раненых.

— Не выйдет, браток...

Пулеметчики примчались.

— Воду давай!
— Тут раненые просят...
— А нам как же, чего в пулеметы лить?
Поглядел раненый на пулеметчиков и сказал:
— Берите воду, братки. Полку́ атаку отбивать надо. Потерпим...
И снова едят раненые снег и тихо стонут.
— Испить бы...
Рядом комиссар лежит. Бок у него разворочен, кровью истекает, бойцов уговаривает:
— Потерпим, друзья, потерпим.
И захлебнулся кровью комиссар.
Отбили атаку последними патронами матросы.
За полночь перевалило. В пятой роте покуривают, идет тихий разговор:
— Всыпались вроде, а?
— Похоже...
— Выручка идет, бригада целая.
— Языком треплешь.
Командир и двое уцелевших коммунистов из ячейки обсуждают:
— Был полк, и должен быть полк как полк.
— Ударить на них разом. Может, прорвемся?
— Нечем уже ударять. По двадцать человек в роте осталось.
— Что же делать-то?
— Принять гранатами, а потом на руку. Кто-нибудь ранеными займется.
В ротах готовятся. Граната дистанционного действия — «лимонка». Взяли гранату в правую руку, левой сорвали свободный конец ленты с головки запала.
— Запоминай, товарищ, правила изготовки к бою: правой рукой чиркай о дощечку, как спичку. Огонь пройдет по внутреннему бикфордову шнуру к капсюлю. Размахивайся и сразу бросай. А у кого гранаты «Г-один» — проверь тоже. Бери гранату в правую руку. Левой снимай предохранительный колпачок, ударяй правой рукой гранату раз или два по ладони. (Ну как бутылку водки. Эх, пополоскать бы зубки под конец жизни!) Жало ударит капсюль, он воспламенится, огонь пойдет по бикфордову шнуру к заряду. Через пять секунд взрыв. Бросай...
— Все в порядке?
— Все.

Ваську вызвали к ротному в ячейку. Идет, нашептывает сам себе: «Полный, малый... стоп...»

— В чем дело?

— Где гармонь?

— Лежит в порядке. А что?

— «Вставай, проклятьем заклейменный...» знаешь?

— Нет... Я больше романсы и танцы знаю...

— Чудак ты, почему не научился?

— Вот пусть белые подождут — научусь, пожжалста...

— Говори толком, что играешь-то?

— «На сопках» знаю, «Падеспань», «Краковьяк», «Песня кочегара»...

— Толком бы чего-нибудь.

— А вот «Варяга».

— Дак это старое...

— Зато флотское. А для чего именно нужно?

— Будешь сейчас в цепи играть.

— Ай, здорово! А там и выручка подойдет...

Пошли. Вася саратовскую гармонь вынул. Взял с переборами:

— «Ай, ой, иху-аху, аха-ха».

В цепи:

— Вот чудило! Молодец!

— Дай, дай, Вася!

— Вот прилажусь...

Три гранаты приготовил, ямку удобную в снегу устроил.

Представился:

— Рота моя, слушай меня... Сеанс начинается. Любимец публики с крейсера «Россия», кавалер кронштадтских дам, машинист самостоятельного управления—Васечка Демин.

Матросы заулыбались:

— Вот зараза!

Донеслись возгласы белых:

— Наступа-а-й!

И опять пошли сибирцы. Потарахтели два пулемета, и кончились патроны у матросов. Только гармонь играет...

Идут сибирцы. Скрип по снегу. Опять залегли, а братки гудят:

— А-а-а...

— Что, сапоги жмут?

Командир кричит братве:

— Держись, карапузики! Выручка будет!

Ни черта, товарищи, не будет. Только разговор для подъема духа делается. Понимают это ребята. Сибирцы опять пошли. Матросы за гранаты взялись...

— Товарищи, держись кучнее, корму не показывать!

А Васечка опять треплется:

— Первым номером исполнена будет популярно-морская мелодия «Варяг». Три-четыре...

Наверх вы, товарищи, все по местам.
Последний парад наступа-а-ет.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-ет...

Но что же делать, что Васечка подходящего не знает? Вы его простите.

...Все вымпелы вьются, и цепи гремят...
Наверх якоря поднимают...

«Варяг» послужил полку,— разное бывает...

Крикнул командир:

— А ну, к гранатам!

Один — тот самый, из ячейки — подбежал к яме с ранеными.

Раз... Два... Три... Одну, другую, третью гранату пустил. Рр-аах-ах-ах!.. По своим, по раненым! Ну ясно — а что же делать? Оставить их колчаковцам, чтобы кишки на шомпол наматывали? Брысь вы, жалостливые!

Вернулся товарищ в цепь. В цепи уже все в рост стоят, в руках гранаты. Васечка играет «Варяга»...

Кричат белые:

— Сдавайтесь!

Ответ из полка дают:

— Тппрру...

— Сад-дись!..

— А ну, дернули!

Полетели гранаты. Искры сыплются — фосфор у «лимонок» горит.

Сибирцы шарахнулись — кто назад, кто вперед. Не любят они этого дела.

Мертвый лежит первый кронштадтский полк.

Лежит у села Кузнецовского. Знаю только двух живых из полка — вырвались: Емельянов и Степанов...

Товарищи крестьяне села Кузнецовского, сложите груду камней у могилы павших — в память полка.

В Кронштадт с Восточного фронта пришло сообщение об исключении из списков первого морского кронштадтского полка.

В гавани кронштадтской — траур на кораблях.

— На флаг, смирно!

— Флаги приспустить!

До половины вниз сбежали флаги. Стоят смирно матросы на палубах. Тихо падает снег. Траур.

Стоят минуту, ходят годы...

«Ай, ой, иху-аху, аха-ха!» Пошел из Кронштадта второй полк. Смотри, Колчак! Моря нам не видать, если тебя не разгрохаем...

А первый кронштадтский полк лежит и лежит — мертвый, у села Кузнецовского.

Сибирцы бродят, смотрят на матросов, удивляются:

— Вот народ!

— И чего они такие?

— Меченые...

На руках матросов действительно синеют якоря.

Шарят сибирцы, обирают трупы. У одного портсигар пустой нашли, у другого — наган без патронов, у третьего газету вытащили.

— Дай-ка газетку, покурим...

А полуротный тут как тут:

— Дай сюда газету!

— На раскурку разрешите оставить, господин прапорщик.

— Давай, не разговаривай!

Суег солдат газету полуротному:

— Виноват...

Разве можно нижним чинам сибирской армии держать в руках «Красную Газету»?

Кронштадт, 1930

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ОНИ вошли во время большой перемены — три человека с винтовками за плечами. Оглушенные бурным любопытством детворы, растерянно остановились.

Один из этих людей, забойщик Акулов, коренастый, кривоногий старик с лицом пористым — словно из шлака; поколебавшись, снял с головы заячью шапку с длинными ушами, сердито спросил:

— Где учитель?

У дверей учительской они нерешительно потоптались.

Старик Акулов, осторожно приоткрыв дверь, просунул туда голову. Представился.

— Из отряда мы. Родители-делегаты. Колчака бить уходим.

Учитель встал, потрогал на лице очки, неуверенно сказал:

— Желаю успеха.

Акулов оглянулся на своих спутников, потом посмотрел на стул.

Учитель попросил:

— Пожалуйста, садитесь.

Акулов сел, полез было в карман за кисетом, взгляд его упал на портрет Толстого.

Седой старик стоял, засунув большие руки за ремешок, опоясавший просторно ниспадавшую белую рубаху, босые ноги его с растопыренными пальцами упирались в землю. Борода пчеловода косо лежала на плече, маленькие глаза смотрели пристально и сердито.

Акулов спрятал кисет, подошел, потрогал раму у портрета и, обернувшись к учителю, лукаво сообщил:

— Силен старик, а?

Учитель ухмыльнулся.

Акулов нахмурился и сурово-официально сказал:

— Уходим, значит. Когда вернемся — военная тайна. Поселок без власти остается. Жалованье тебе платить будет некому. А чтоб ребята без занятиев расфулиганничались, этого мы не желаем. Корову мы тебе привели от отряда. Она тебе вроде как жалованье вперед за год. Раз заплачено, обязан учить. Чего бы там ни было.

И наставительно добавил:

— Хорошая корова, дойная.

— Мне не надо коровы,— твердо сказал учитель. Партизаны шли на цыпочках по смолкшему коридору. В классе начались уроки.

— Мне не надо коровы,— повторял учитель, забегая вперед партизан.

— Золотой,— шепотом произнес Акулов,— с коровой-то оно вернее будет.

И партизаны ушли, на ходу поправляя плечами сползающие ремни винтовок.

Жена учителя назвала корову Муму. Ребята — Партизанкой.

Отряд покинул поселок. Перед уходом партизаны всю ночь из пожарной машины поливали водой поднятый нагора уголь. Они не хотели оставлять колчаковским эшелонам даровых харчей для паровозов. Дымящаяся вода льдом спаяла угольную насыпь в гигантскую глыбу.

Вьюга разметала снег, сухой, как толченое стекло, засыпала поселок.

Я помню нашу улицу, убеленную снегом. Светло-зеленые ночи декабря. Протяжный скрип бесчисленных полозьев. Колчаковская издыхающая армия ползла через наш поселок. Холодный огонь стужи проникал сквозь одежду. Солдаты, почерневшие и обожженные морозом, стонали на санях. Но нам не было жаль этих людей, хотя детские сердца наиболее доступны жалости.

Ночью на станцию пришел воинский эшелон. Офицер, в сопровождении солдат, обошел шахтерские хаты, сгоняя женщин и стариков к угольной обледенелой горе. Паровозам нужно было топливо.

Не все жители поселка вернулись обратно домой.

Утром ребята побежали на гору, на ледяную катушку, чтоб перед школой несколько раз прокатиться с ее стеклянного склона.

Улегшись на обледенелые плахи, скользкие и тяжелые,

словно из голубого камня, мы мчались вниз; жесткий ветер обдирал наши лица, слезы и сопли, стекленея, сводили кожу. На повороте возле копра мы чуть было не наскочили на обледенелые столбы, криво вкопанные кем-то ночью в землю. Руля ногами, мы пролетели мимо них. Но Варька зарылась с головой в сугроб, из сухой снежной пыли торчали только ее ноги, потом она поднялась и, хохоча во все горло, стала вытряхивать из валенка набившийся туда снег, опершись рукой о столб. И вдруг мы услышали ужасный крик Вари.

Внутри ледяной глыбы мы увидели скорченный силуэт человека. Это была мать Вари.

Ледовой казнью колчаковцы отомстили за скованный уголь.

И теперь мы не испытывали жалости, когда находили на улице замороженные трупы солдат, сброшенные с подвод.

Улицы поселка завалены военным скарбом. Отступление колчаковцев походило на бегство французов в 1812 году, изображенное на картинках в хрестоматии по русскому языку. Ребята напяливали на себя английские френчи. Поверх полушубка подпоясывались широкими брезентовыми, зеленого цвета, ремнями. Собирали патронташи, они были сделаны из хорошей подошвенной кожи.

Мы пробовали тащить в дом все эти находки, но матери безжалостно выбрасывали тесаки и патроны на помойку.

Брошенные бегущей армией больные лошади, худые, как степные собаки, бродили по поселку. Голодая, они грызли доски заборов и даже трупы павших лошадей.

На нашей улице не было мальчишки, который не заводил бы в собственность такого коня. Забравшись верхом, дергая веревочную уздечку, мы ездили на этих измученных животных.

Кормили мы их на свалке. Разрывая смерзшиеся навозные кучи, мы выдирали клочки сена, соломы, прилипшие к навозным плитам. Но скоро на обобранной свалке не осталось и этого корма. Мы пытались кормить лошадей опилками, распаренными в воде, но лошади не хотели их есть, хотя ожесточенно выгрызали в заборах огромные дыры. И, видя, как с каждым днем наши кони все больше слабеют,— дрожащие ноги и мокрые тоскующие глаза,— мы не выдерживали и гнали коней от себя. Но лошади,

терпеливо перенося побои, не хотели уходить. Они преследовали нас. Они собирались возле школы, когда мы занимались, или, стуча копытами, подымались на крыльцо наших домов, когда мы сидели дома. От нас прятали хлеб. Но разве кусками, унесенными с обеда, можно прокормить лошадь? Нам влетало от матерей, когда утром им приходилось стаскивать с крыльца окаменевший труп погибшей от голода лошади.

Школа отнимала у нас мало времени. Увлеченные новизной этой жизни, мы занимались плохо и неохотно.

Учитель, отчаявшись, кричал:

— Я мученик! а вы... вы,— и, махнув рукой, уходил пить воду.

Стояли жестокие морозы. Топлива не было. Каждый из нас обязан был приносить с собой в школу полено. Но вскоре наши матери не смогли нам давать этих поленьев, как и завтраки.

Занимались мы в шубах, в шапках, чернила замерзали, мы плевали в чернильницы и согревали их дыханием. Мы научились писать в варежках.

Учитель, запрещавший нам раньше во время перемен устраивать стычки класса с классом, вдруг сам с притворным задором предложил нам:

— А ну, покажите третьему классу, где раки зимуют.

Но нам не хотелось бороться. Нам хотелось есть, тепла.

После того как двое ребят заболели воспалением легких, Петр Антонович вынужден был закрыть школу. Он сказал нам об этом, собрав нас в насквозь промерзшем большом зале, сказал и разрыдался. Муму он давно съел, а вся его семья ютилась в кухне. Жестяная печка пожирала мебель и книги.

В поселке по-прежнему царило безвластие.

Неожиданно на станцию приехал бронепоезд красных. У обледеневшего паровоза была сбита труба. Стальные заиндевелые доспехи вагонов зияли вдавленными пробоинами. Косая бахрома сосулек висела под крышами. Мы с жалостью разглядывали этот тяжелораненый бронепоезд.

На перроне мы увидели нашего учителя. Он мял в руках шапку и о чем-то просил командира бронепоезда, тощего человека в фуражке и в стеганой промасленной куртке. Приплясывая, хватаясь за мерзнущие уши, командир нетерпеливо кричал:

— Ну, чего вы ко мне пристали? Ну, где я вам топливо найду, ну где? Ведь вы сами говорите, что шахтеры уголь водой залили, и правильно сделали. Теперь до весны его никакая сила не возьмет.

— Вы понимаете,— умолял учитель, и лицо его страдальчески вздрагивало.— Я обещал закончить учебный год. Я связан словом.

— Да что вы на самом деле? — проныл уже совсем продрогший командир.— Мы к вам случайно попали, а вы наваливаетесь.— Увидев проходившего мимо матроса, он крикнул:

— Комиссар, поди сюда! Поговори с ним. Такой липучий!

Комиссар подошел.

— Топливо. Или я лягу на рельсы и не дам поезду тронуться.

— Простудитесь,— весело сказал комиссар.

— Лягу! — закричал учитель.— Видите,— он показал на нас рукой.— Разве это дети? Целые дни они палят по собакам из винтовок.

— Ничего, пускай учатся,— рассмеялся комиссар.

Учитель отшатнулся. В его лице было столько горечи, обиды, отвращения, что матрос вначале опешил, потом сказал торопливо:

— Вы расскажите толком, в чем дело, товарищ!

Выслушав, матрос указал на ледяную блистающую гору, возвышавшуюся над поселком, и спросил:

— Эта, что ли?

— Да...— подтвердил Петр Антонович и поспешно заявил: — Революция — это созидание, это будущее.

— Понятно,— перебил его матрос. Обернувшись к командиру, он спросил:

— Со снарядами у нас худо?

— Шестнадцать осталось. Ты сам знаешь.

— Четыре придется им дать,— сказал комиссар.

Командир от изумления, несмотря на мороз, побагровел:

— Да на кой им снаряды, печи топить, что ли?

— Ударить по горе из орудий, наломает им сколько нужно.

— Да нам через беляков пробиваться! — с отчаянием закричал командир.

— Не жадничай,— задушевно сказал матрос и, кивнув

головой на учителя, серьезно произнес:— Что ж, за ребят перед революцией он один отвечать должен?

Обрадованный учитель, тревожась, спросил:

— А не промажете?

Командир оглянулся на учителя и, ухмыльнувшись, сказал:

— А мы не промахиваемся. У нас расчет, математика.

— Вот видите, математика! — воскликнул учитель.

— Ладно, сагитировал,— и командир пошел к бронепоезду, на ходу бросив: — Вы бы уши чем-нибудь заткнули или в сторонку отошли. Сейчас ударим.

Четыре удара, четыре свистящих вопля вырвались из напряженно вытянутых орудий, и мы видели, как над ледяной горой поднялись четыре черных фонтана и медленно рухнули на землю.

Бронепоезд ушел. Учитель долго стоял на пути, размахивая шапкой.

Уголь мы возили в школу на санях. Учитель шел вслед за санями, жадно подбирал оброненные куски угля и клал их в карман, потом в шапку.

На следующий день мы пришли в школу. Печи с раскаленными дверцами источали жар. Мы нерешительно сняли шубы и шапки.

Петр Антонович собрал нас в большом зале.

— Дети,— сказал он.— Это тепло, согревающее нас, сделано из самого драгоценного материала. Помните об этом, дети!

И тогда Варя Грачева спросила:

— А они пробились, Петр Антонович?

Петр Антонович поглядел на нас внимательно и серьезно, потом тихо сказал:

— Вы должны хорошо учиться, дети.

Через три месяца наши отцы вернулись домой. Колчак был разгромлен. Весна украшала землю. Деревья вытягивали ветви и выбрасывали зеленые пачки листвы. Солнце было огромным и тяжелым.

На торжественные экзамены Петр Антонович пригласил наших родителей. Он волновался. Просил нас не волноваться. Но мы волновались.

Мы здорово учились за эти три месяца и прошли то, что нам полагалось пройти в течение года.

Старик Акулов, сидя в президиуме, каждую секунду поправляя очки, сползающие с носа, щелкал на счетах,

проверяя наши устные ответы по математике. Он все время кричал:

— Красиво! Тютелька в тютельку! Как в аптеке.— Потом он наклонился к Петру Антоновичу и шепотом спросил:

— Коровка-то как поживает?

Петр Антонович покраснел и сказал:

— Спасибо, ничего.

— Может, вы ее скушали? — полюбопытствовал Акулов.— Так на здоровьечко.

Школу было постановлено назвать именем бронепоезда.

Но имя бронепоезда и его командира установить нам не удалось. Школу назвали именем Октябрьской революции.

В учительской, в стеклянном шкафу, в коробке, на постланном из ваты ложе лежит кривой осколок стали. Осколок снаряда, посланного из бронепоезда в угольную гору.

Он лежит там словно стальной орден.

И теперь, каждую осень, в день торжественного открытия нового учебного года, учитель бережно вынимает осколок из шкафа и рассказывает ребятам его историю.

И стальной осколок снова источает тепло и потому так разрумяниваются лица ребят, блестят глаза и ярко пылает на небе жаркое солнце.

1938

НА ОСТРОВЕ АННА

ВЗГЛЯНИТЕ сюда... Эти следы можно заметить даже под краской. Две пули в бревне, одна в половице...

Прежде отсюда так дуло, что гасла лампа. Мы забили отверстие паклей и залили варом. Теперь тут кладовая нашей зимовки.

Да, Новоселов жил здесь. Мы нашли его фуражку, винчестер 30×30 с разбитой скобой и журнал «Солнце России» за 1915 год.

В те годы на острове было скучно. Представьте: изба под цинковой крышей, амбар на столбах, вместо сверчка ржавый флюгер. А там, где выстроен теперь магнитный павильон, висел медный колокол — подарок архангельского губернатора. Даже приказ был: «В случае тумана оповещать корабли частым звоном».

В этой бревенчатой конуре семь лет жили двое: унтер-офицер радист Новоселов и казанский недоучка студент Войцеховский.

Войцеховский мариновал в банках рачков, определял соленость воды и посылал трактаты не то в Петербург, не то в Казань. Связь с большой землей держал Новоселов. Радио доносило на остров странные, незнакомые слова: декрет, совдеп, ревком, продком, аннексия, федерация, комиссар... Трудно было понять, что творится в городе, где находилось прежде начальство радиста.

После обеда, запивая галеты мутным желудевым кофе, Новоселов пытался вызвать на разговор молчаливого Войцеховского.

— Ну хорошо, федерация есть федерация,— говорил он в раздумье.— А как же Россия?.. Генрих Антонович... Это как же понять?

— А вы лучше не понимайте,— морщась, отвечал Войцеховский.— Социальные катаклизмы вблизи иррациональны, то есть вообще непонятны...

Он сидел, желтый, небритый, повязанный накрест, по-бабьи, пуховым платком, и щупал грязными пальцами зубы.

Земля была далеко. У Войцеховского побелели и распухли десны. Ему было на все наплевать.

За три месяца до выступления английских интервентов Новоселову удалось на норвежском гидрографическом судне выбраться в город. Говорят, он долго бродил по улицам, присматриваясь и расспрашивая людей, прежде чем явиться в ревком и познакомиться с новой властью.

Новоселов был из барабинских степняков — человек медленного накала, но прочных мнений. В те годы Советской власти было не до полярных зимовок. Однако Новоселова приняли хорошо. В ревкоме ему обещали выстроить дом, прислать новую упряжку собак, выдали даже полушубок, ящик махорки и солдатские бутсы. Кто-то сгоряча сказал ему, что метеосводка для республики страшно важная штука. Но больше всего тронул радиста мандат, подписанный предревкома и начальником отряда Еременко. В нем говорилось, что земли острова Анна со всеми постройками, радиостанцией, научной аппаратурой и прочим инвентарем республика поручает под «личную ответственность» Григорию Ивановичу Новоселову.

...Тральщик, доставивший в бухту Глубокую десантный отряд, высадил нашего начальника на остров, и Новоселов немедленно приступил к работе.

Дважды в неделю он стал передавать на материк пространные радиограммы. И в каждой из них цифр было больше, чем выбивает за день кассирша универмага. В то время я служил связистом в отряде Еременко и помню, как посмеивались в штабе, читая чудные донесения начальника острова Анны. Были тут обозначения температуры и влажности воздуха, величины осадков, силы ветра, определения солености и плотности воды и еще чего-то, непонятного нашим радистам.

Нужно сказать, что никто на материке уже не помнил зимовщика Новоселова. Да и кого могли заинтересовать изотермы, если на побережье люди ели жмых?

Остров лежал в трехстах милях от берега, голый, как ладонь, и жили там только два чудака.

Впрочем, иногда Новоселов разговаривал с берегом человеческим языком. Однажды, в разгар операций на Северном фронте, начальнику штаба принесли телеграмму: «Сегодня в 4 утра, при температуре 11°, на северо-западной оконечности острова обнаружена неизвестная птица типа нырок». В конце телеграммы начальник острова Анны просил прислать весной четыре ведра формалина для консервации придонных рачков. В этот день в отряде оставалось по две обоймы на человека, и начальник штаба — человек резкий и жесткий — велел телеграфно послать Новоселова к черту. Телеграмма эта не была послана только благодаря начальнику отряда — балтийскому матросу Еременко. Он был человек не без странностей: без наркоза выдержал ампутацию раздробленной кисти руки, но был по-детски напуган лекцией батальонного врача о возбудителях тифа. Любил он еще рассказывать сказки. Не представляйте, однако, Еременко каким-то толстовцем в бушлате: злость к врагу у него была холодная, прочная, точно лед в овраге.

Но дело не в нем: важно, что один Еременко принимал всерьез донесения Новоселова. Он велел завести особую папку, сам написал на крышке «Секретно, научно» и велел складывать туда все донесения с острова Анна.

— А ну, нехай, нехай строчит,— говорил он частенько.— Черты його батька... Мабуть, у него в голови щo-нэбудь е. Га?

Радиограммы Новоселова, адресованные ревкому, принимал по ту сторону фронта и белогвардейский полковник фон Нолькен. Прибалтийские дворяне славятся своей рыбьей тупостью, а этот был из захудалых баронов, то есть глуп и упрям, как треска. С подчиненными Нолькен разговаривал на каком-то особом, гвардейско-телеграфном наречии.

— Понятно?.. Понятно... Мысль ясна... Действуйте! Черт побери. Точка!

В архивах полка, захваченных впоследствии нашим отрядом, сохранилась часть телеграмм, адресованных зимовщику Новоселову. По ним нетрудно установить, насколько фон Нолькен был лишен чувства юмора. Полагая, что радист острова Анна плохо осведомлен о делах, творящихся на Большой Земле, он радировал Новоселову:

«Большевиков севере нет тчк немедля прекратите передачу донесений адрес бандитов».

Тот отвечал:

«Подчиняюсь только ревкому тчк бандиты ходят с погонами».

Последующие телеграммы фон Нолькена были написаны довольно энергичным, хотя и шаблонным языком:

«Вы отрешены должности зпт измену предаетесь суду».

«Иуда и хам тчк весной вас повесят».

Ответ Новоселова напоминает по тону письмо запорожцев султану. Это была одна фраза длиной от острова до Большой Земли, смысл которой можно свести к известной народной пословице:

«Выше... не прыгнешь...»

Так они переругивались в течение целого месяца. Это был своего рода поединок на расстоянии трехсот миль. С одной стороны — воспитанник пажеского корпуса полковник фон Нолькен, с другой — начальник острова Анна, унтер-офицер, человек не слишком грамотный, но твердый и честный, сохранивший даже в телеграммах обстоятельную точность и юмор сибирского мужика.

«Земли здесь немного, да вся наша,— выстукивал обиженный Новоселов.— Весной приезжайте. Собаки наши скулят, точат зубы на дворянскую падаль».

В то время как мы пробивались на север, тесня полковника Нолькена, зимовщик продолжал выстукивать свои пространные донесения. Под Новый год, ночью, он неожиданно прислал поздравление от жителей острова Анна.

«Войцеховский психует,— сообщал Новоселов,— скучает по елке. Лечу по возможности».

После этого он замолчал. Это было так необычно, что Еременко в разгаре боевых операций вспомнил молчальника и запросил Новоселова:

«Какая температура, ждем донесений».

Он ответил обстоятельным извинением. Оказывается, объезжая остров, заблудился во время пурги и так обморозил пальцы, что не мог взяться за ключ.

Наконец Новоселов пригодился нам всерьез. Это было во время известного февральского наступления дивизии генерала Наговицына. В то время как белые обрушивали на нас фронтальный удар, Еременко решил прощупать их

с тыла. Запросив Новоселова и узнав от него, что в районе острова битый лед, он кружным путем направил в тыл Наговицыну два тральщика с ледоколом «Витязь»... Вы представляете, что может наделать батальон, высадившийся на берегу ночью и подобравшийся к поселку без выстрела! Эта ночь обошлась белым в полтораста человек. Полковник Нолькен парился в бане. Двадцать километров он мчался на нартах в полушубке, накинутом на мокрое тело. Его подобрал и оттаял в ванне, как мороженого судака, английский патруль.

После этой прогулки фон Нолькен отправил Новоселову телеграмму:

«Мерзавец тчк приговором военно-полевого суда вы заочно расстреляны».

Тот ответил немедленно:

«Благодарю внимание тчк хороните под музыку».

В марте Новоселов просил нас прислать с первой оказией луку. Видимо, на острове началась цинга. Он не знал, что первый советский корабль придет сюда только через пять лет.

Через месяц он коротко сообщил, что сам ходит с трудом, а его товарищ по зимовке — студент Войцеховский — скончался. Его могила в северо-восточной части нашего острова, в двух милях от Птичьего мыса. Новоселов вырубил ее топором. Он был обстоятельный и заботливый человек.

...Теперь трудно переговорить с берегом, не зацепившись за чужую волну. А раньше, как зимой в поле, было тихо. Что мог слышать на острове Новоселов? Наверно, Архангельск. Быть может, что-нибудь из Норвегии или Германии, а вернее всего — судовые пищалки: вопли об угле, льдах, пресной воде, шифровки английских эсминцев, поздравления лейтенантов по случаю рождества. Человеческого голоса в эфире еще не было слышно.

В апреле Новоселов уже не мог подниматься с постели. Я представляю себе, как этот человек с чугунными ногами и деснами, превращенными в лохмотья, один на голом острове переругивался с полковником Нолькеном.

От цинги он не умер, но весной к острову подошел минный заградитель «Бедовый». На мостике стоял офицер. Видимо, у Новоселова хватило сил, чтоб при виде белых разбить приемник и испортить батареи питания...

...Здесь, у окна, стояла его кровать; две пули в стене, одна в половице. Для больного цингой — более чем достаточно.

Они увезли все: его труп, книги, передатчик, упряжку собак, консервы, унты.

Я не знаю, какой он был с виду. Бородат или брит. Стар или молод. Телеграммы его обстоятельны и солидны. Ответы полковнику Нолькену дышат достоинством и гневом человека, много видавшего.

Наш гидролог Вера Михайловна неплохо рисует. Она изобразила Новоселова похожим на Кренкеля: большим, светлоглазым, лобастым, в кожаной куртке и медвежьих унтах. Рядом с ним приемник типа «КУБ-4». Он нарисован неверно: в те годы не было ламп. Но это неважно. Правда в том, что глаза вышли настоящие новоселовские: честные, немного суровые.

Мы часто вспоминаем радиста острова Анны.

Каждый год 22 мая все зимовщики собираются на этой площадке. Мы приспускаем флаг и даем залп. Ведь Новоселов был первым начальником нашей зимовки.

1938

ПОБРАТИМЫ

ОНИ встретились в Кронштадте на Якорной площади.

Арсений говорил скорую речь среди многотысячной волнующейся толпы моряков, солдат и портовых рабочих. Военный моряк французской службы Шарль Дюмон, что выделялся в толпе своей шапочкой с красным помпоном на макушке, слушал русского моряка с волнением, осененные длинными ресницами глаза сияли.

Дружные крики: «Правильно! Правильно!», и хлопки жестких ладоней перекрыли последние слова оратора. Шарль протискался к нему и принялся энергично трясти, точно из чугуна литую, лапу русского моряка.

— Bravo, bravo, camarade! (Браво, браво, товарищ!)

— Bonjour, mon vieux. Comman gue ça va? (Добрый день, приятель! Как дела?) — приветливо спросил и Арсений. Он моряк старой службы, знал с сотню иностранных слов, которых ему за глаза хватало для любого разговора.

Прогуливаясь по набережной, они переговорили обо всем на свете — о русской революции и о суточном порционе, о грядущем мире и подводных лодках, о последних волнениях во французской армии и о портовых девчонках: где-то в Алжире и Марселе у них нашлись общие приятельницы, чему оба немало смеялись.

Арсений повел гостя на свой крейсер, где Шарля все привело в восхищение: и то, что все вредные офицеры казнены или списаны на берег; и то, что на корабле самими моряками поддерживается образцовый порядок; и то, что рядовые моряки живут на равную ногу с оставшимися лицами командного состава, едят из одного котла и курят одинаковый табак. Шарль Дюмон не захотел воз-

вращаться на свой корабль. Арсений принес ему из вещевой баталерки комплект обмундирования и подарил отличного боя маузер.

Они подружились.

Всюду их видели вместе,— и на митингах, и на вечеринках, и в театре, и на лекциях, и на бурных заседаниях Кронштадтского Совета. Шарль рьяно изучал язык революционной страны.

В июльские дни они вместе маршировали по Невскому, на митинге слушали Ленина, перед особняком Кшесинской присягали на верность революции. Вместе они участвовали в штурме Зимнего дворца, вместе в конце семнадцатого года с одним из первых красногвардейских отрядов отправились и на фронт; всю зиму они вместе мыкались на бронепоезде по Украине и Дону, сражаясь с разномастными бандами контрреволюции. Под Ростовом бронепоезд был спущен под откос, а Арсений тяжело контужен.

Потрепанный отряд балтийцев отозвали в Харьков на переформирование; Арсений, прихватив с собой друга, уехал на поправку к себе в деревню, под Пензу, где у него еще живы были старики.

Дело близилось к весне.

Арсений быстро поправлялся и уже стал похаживать в сельсовет, наводя там порядки, а Шарль с жаром доучивался русскому языку у деревенских девок и частенько возвращался домой под утро.

Весною восемнадцатого года на защиту контрреволюции выступил чехословацкий корпус. По городам и селам зашевелилось воронье, по всему Поволжью забушевали грозы восстаний. Оба моряка пристали к проходившему мимо партизанскому отряду.

С отрядом, принимая бои, они упятились к Волге, сдали Сызрань, отступили до Самары.

По реке Самарке стлался предрассветный туман.

Нарытые по окраине города окопы были полны спящих людей: спали вымотанные последними боями латыши и матросы; спали лишь накануне прибывшие татары уфимской дружины. По дворам и домам, примыкавшим к фронту, сморенные смертельной усталостью и только что смененные с позиций, спали бойцы самарской дружины

коммунистов; успокоенные обманчивой тишиной, беспечно спали в своих норах секреты и заставы.

Вдруг у самых окопов — осторожное дыхание паровоза...

Зарывшись в солому и посапывая, спал Шарль. У него в ногах, засунув рукав в рукав и обняв карабин, сидя спал Арсений. Сознание его было заткано паутиной каких-то летучих, тревожных снов... Вдруг сердце-вещун: тук-тук... Арсений кулаком протер глаза и, выглянув из окопа, ахнул.

— Чехи,— крикнул он, выдергивая из-за пояса бомбу,— братва, чехи!

Через мост осторожно переползал неприятельский поезд — паровоз и несколько открытых платформ с установленными на них пулеметами и двумя орудиями. Под прикрытием поезда мост перебегали густые цепи чехов в своих шапочках пирожками.

В окопах зашевелились.

В следующее мгновение тишина июньского утра была разодрана залпами.

Весть о неприятеле искрой просверкнула по всей линии фронта от завокзальных позиций до косы, образуемой слиянием Волги и Самарки.

Взыграла паника.

Из окопов выпрыгивали и бежали сломя голову оробевшие, увлекая за собой отважных.

Минута, другая — и с угла Заводской и Уральской улиц, по квадратам кварталов, чехи стали быстро распространяться по городу. На подмогу им из темных щелей вылезли лабазники, эсерствующие юнцы, черная сотня и офицеры подпольной организации.

Защищались дружинники, захваченные в клубе коммунистов; защищался штаб охраны; на улицах защищались отдельные герои, но участь города была уже решена. Забросанный гранатами, сдался клуб коммунистов, и уцелевших защитников его рыжебородый Масленников вывел на улицу под белым флагом.

Волна террора обрушилась на город.

Захваченных в плен бойцов пачками расстреливали на косе, у плашкоутного моста, у вокзала, в Запанской слободке; топили в Волге и Самарке, вылавливали по дворам и предавали самосуду.

Моряки — человек пятнадцать — отходили по улице, отстреливаясь. Как вода, напоровшись на камень, разбивается на обе стороны, так и моряки разбились, наткнувшись на дом, из окон и с крыш которого по ним загремели выстрелы. Двое остались на мостовой, посредине улицы; пулеметчик Аксютин был застрелен в подъезде каким-то мальчишкой-гимназистом; еще один растянулся, уронив голову на порог чужого дома; Шарль был схвачен дворниками, остальные бросились врассыпную.

Арсений забежал во двор — кучка падких до зрелищ, полураздетых обывателей расступилась перед матросом, что в три прыжка перемахнул двор и нырнул в пролом в заборе. Перебежал еще двор, с маху на руках перекинулся еще через забор, под его коваными сапогами прогремела железная крыша, под ним оборвалась водосточная труба. Он упал куда-то в сад, прямо в сиреневый куст, в кровь испоров руки. Перелез еще через один усаженный гвоздями забор, оглядевшись, нырнул в дровяной сарай и — задыхающийся от волнения и быстрого бега — упал на дрова.

Все было кончено, бежать было некуда... Бомбы все до одной раскиданы; приклад карабина расколот пулей; не могли больше сослужить службы кольт и наган, патроны из которых были расстреляны все до последнего. Перебрав скороговоркой всех божьих угодников и святителей до семьдесят седьмого колена, моряк закурил... Но напрасно он думал, что оторвался от преследователей — его искали, искали и в саду, и по дворам, и по всем норам. Вот он заслышал лающие голоса, звон шпор, топот многих ног... Затоптал окурок и, схватив березовое полешко,— с сердцем, бьющимся в самом горле,— встал за дверной косяк... Идут, прошли... Но один — судьбы подарок!— завернул в дровяник и у самой двери рухнул, сраженный поленом.

Через несколько минут, одетый в длинную до пят офицерскую шинель, Арсений вышел на улицу и замешался в толпу.

Город ликовал.

Над городом полыхал праздничный перезвон церковных колоколов, улицы были полны разряженными лавочниками, с балконов на победителей сыпались цветы и

крики приветствий, гремели военные оркестры. При большевиках памятник Александру II был задрапирован досками. Чьи-то руки уже сдирали эти доски, и чьи-то лбы уже стукались о гранитный пьедестал «царя-освободителя», а там, на окраинах, еще шла расправа с побежденными.

Арсений шел как пьяный. Жажда мести разъедала его сердце.

Привлеченный криками мальчишек: «Ведут, ведут!» — он остановился. По дороге, окруженная кольцом конвоя, двигалась партия пленных, среди которых он сразу узнал дружка: обрадовался, чуть не крикнул, но сдержался и, втянув голову в плечи, упятился на тротуар, за спины других. Шарль шагал, потупив залитое кровью лицо. Арсений без думы пошел следом.

Арестованных ввели в дом, у подъезда которого размашисто мелом было написано: «Управление коменданта города».

Решение созрело мгновенно.

Арсений — мимо часового — вошел вслед за арестованными в просторный зал. Комендант города, в перевитых двухцветной ленточкой погонах полковника, сидел за столом перед зеркальцем и брился. Арсений, четко отбивая шаг, подошел к столу и принял под козырек:

— Поручик триста девятого Овручского пехотного полка... Честь имею, господин полковник, явиться в ваше распоряжение...

Полковник, не прекращая своего занятия, скосил глаза и внимательно осмотрел стоящего перед ним человека в офицерской шинели, из-под воротника которого выбивался ворот матросской форменки.

— Ваши документы?

Арсений подал истертый на сгибах послужной список, из которого явствовало, что он действительно является поручиком триста девятого Овручского пехотного полка Андреем Владимировичем Озеровым, награжденным двумя георгиевскими крестами и уволенным со службы по демобилизации.

Полковник отер носовым платком чисто выскобленное лицо и подал руку:

— Очень рад. Садитесь.

Арсений сел в кресло.

— Вы, господин поручик, и в русском флоте слу-

жили? — неожиданно спросил полковник, не сводя с него светлых, холодных глаз.

— Нет, не служил.

— А это что за маскарад? — И он, перегнувшись через стол, вытянул у него из-под шинели ворот форменки.

Арсений заправил ворот обратно и спокойно ответил:

— При большевиках, господин полковник, всяко приходилось одеваться...

— Да, да, конечно,— согласился полковник и, сказав несколько фраз об изуверстве тевтонского племени, о кровожадности большевиков и о единстве задач, стоящих перед славянами, протянул руку: — Завтра, поручик, в нашем штабе вы получите назначение в действующую часть.

Арсений козырнул и пошел было к выходу, но, увидев прижатых в угол пленных, отшатнулся и повернул обратно к полковнику:

— Господин полковник... здесь... негодяй!..

— Что такое?

— Вашими солдатами задержан мерзавец, казнивший мою мать и сестру.

— Который?

Арсений подошел к кучке арестованных и грубо, за руку выдернул Шарля:

— Вот он!

— Не извольте, господин поручик, беспокоиться. Я прикажу немедленно расстрелять его, здесь же, во дворе.

— О нет... На могиле матери я поклялся... Позвольте мне самому с ним расправиться! — И Арсений выхватил из кармана пустой кольт.

Полковник любезно согласился.

Арсений залепил другу по скуле так, что тот пролетел через весь зал и тяжестью своего тела распахнул дверь во двор. Арсений быстро выскочил за ним и, награждая его тумаками, повел куда-то в глубину двора.

Через полчаса они уже сидели на Набережной в шумном трактире, пили чай и обсуждали план дальнейших действий. Убежать из города было не так-то просто: на все дороги и тропы были выставлены заставы, всюду шныряли военные патрули, проверяющие у всех подозрительных документы. В том же трактире они познакомились с

кочегарами буксирного пароходишка «Сатурн». Арсений, решив сыграть ва-банк, открылся кочегарам во всем.

Ночевали дружки в трюме «Сатурна».

В трюме они сидели три недели, не высовывая носа на белый свет.

Но вот капитан «Сатурна» получил приказание чешского командования доставить на фронт две баржи с патронами и снарядами.

Отправились в поход.

В ночь с первого на второе июля под Хвалынском, пройдя полным ходом линию фронта, транспорт «Сатурн» — под красным флагом — выплыл к советским берегам, где и был встречен с почестями. Красная Армия нуждалась и в пароходах, и в патронах, и в снарядах, а еще более — в верных революции людях!

1935

МАТЭ ЗАЛКА

ТОВАРИЩ ЛИУ

Товарищ Лиу вступил в Красную гвардию еще в самом начале ее формирования. И, конечно, он сделал это не из-за жалованья. Служить тогда в красногвардейцах было делом очень нелегким. Красногвардейцы поддерживали в своей среде строгую дисциплину. Это был сознательный народ, и малейшие проступки влекли за собой тяжелые последствия.

С первого же момента, как он появился в нашей части, товарищ Лиу стал для красногвардейцев чем-то вроде развлечения. Старые солдаты не могли глядеть на него без улыбки и вначале часто испытывали его гуттаперчевое терпение. Они делали ему какие-то знаки пальцами, думая этим раздразнить его, но Лиу не сердился, ему было наплевать на эти шутки. Лиу был маленький «китаеза» с мягкой походкой. Настоящее имя его было Лиу Сат-сен. Но это было трудно произносимое имя, а потому все звали его просто «товарищ Лиу». Когда солдаты начинали его дразнить, Лиу, бывало, щурит свои маленькие жучьи глазки и сперва хладнокровно смотрит, а потом оскалится; когда же его, наконец, выведут из терпенья, махнет рукой и сядет на землю. Так, положив подле себя винтовку и обхватив обеими руками колени, он мог подолгу сидеть неподвижно, как кошка...

Со мной он здоровался: — Лейла, товарищ!

Это было с его стороны выражением глубокого уважения, и я всегда отвечал ему теми же словами, отчего он стыдливо опускал глаза... Но однажды его все-таки вывел из терпения Йожеф Пфальц, языкастый столяр из второй роты. И тут Лиу забыл все на свете: он набросился на Пфальца, схватил его за горло и с быстротой молнии покончил бы с австрийцем, если бы его не оттащили.

Вначале много возни было с Лиу. С ним никак нельзя было сговориться: он едва знал несколько слов по-русски, да и те очень плохо произносил. Мы сами тоже с трудом справлялись с русским языком, и русские слова в сущности произносили не лучше Лиу. Словом, вначале мы, можно сказать, только «лаяли» друг на друга, но в конце концов стали друг друга понимать.

Первый наш бой был под Читой, у Даурии. Дрались против семеновцев. В бой пошли как-то несерьезно, лениво. Мадьяры считали это дело шуткой. Но когда прилетела первая японская шрапнель и с грохотом разорвалась над желтой песчаной пустыней, наши подтянулись.

Лиу в первый раз попал в цепь. Мы смеялись над ним: он не ложился, как остальные, а садился на горячий песок, клал перед собой фуражку, насыпал в нее патроны и стрелял, низко пригибаясь к земле. Потом, когда санитары попросили его помочь, он остался у них и носил раненых. Да как носил! Желтый песок так и дымился от пуль вокруг него. Но ему было все равно. Он взваливал себе на спину тяжелораненого и — даешь!

Недолго Лиу оставался в санитарах: рота потребовала его обратно,— ведь тогда он уже стал нашим любимцем.

Иногда Лиу рассказывал о своей жизни. Он с гордостью говорил, что вот уже пять лет, как он снял косу. Он рассказал, как вместе с партией в триста китайцев приехал в Сибирь на корчевку леса. Но вспыхнула война, и подрядчик продал всю партию кули на военные работы. Так Лиу попал на Волынь. Там заставили его, как вола, работать в прифронтовой полосе, и только революция избавила его от окопного ярма и лишений. Лиу решил вернуться в Китай, но у него не хватило денег. Он застрял в Иркутске, где встретился с нами.

Часто, закрыв глаза, я думал о Лиу. Передо мной вставало необозримое море китайского народа, в котором Лиу был маленьким желтым пузырьком. Море это кажется совершенно спокойным, но пузыри все время поднимаются вверх, свидетельствуя о брожении глубоко скрытых сил. В часы тяжелых лесных боев, когда упрямые комары с жужжанием облепляли разъеденные раны на лицах измученных солдат, я думал: «Чего здесь надо Лиу, за что он с нами так страдает?.. Мы?.. Мы — западноевропейские

рабочие и крестьяне, сознательные добровольцы, авангард революции. Мы знаем свои цели, мы верим и побеждаем или с верой гибнем. А он?..» И для меня делалось ясным, что идеи, за которые мы с оружием в руках боролись, наши цели, пускай смутно и неясно, но все же дошли до сознания Лиу.

Случилось однажды так, что совсем не стало продовольствия. Вышло обмундирование, и солдаты ходили совершенно ободранными. Раскаленный песок жег голые ступни. Мы роптали, а Лиу не говорил ни слова. Он только махал рукой, добродушно улыбаясь. Вид у него был самый жалкий. Фуражка не налезала на голову, шинелью он подметал пыль станционных перронов, воротник гимнастерки почти совсем отпоролся от рубахи. Но он беззаботно смеялся, и дело казалось не таким уж плохим. Когда батальонный портной сжалился над Лиу и кое-как починил его обноски, глаза китайца заискрились радостью: видно было, что ему дорога товарищеская ласка.

Под Казанью Лиу переплыл Волгу и пробрался в город. Пробыл он там четверо суток. На пятый день вернулся еще с одним китайцем. Вести, которые он принес, были не особенно ценны, но этим мужественным поступком Лиу заслужил всеобщее признание.

Лиу понемногу научился ломаному русскому языку. Иногда он даже рисковал ругнуться по-венгерски. На политбеседах он сидел, широко раскрыв рот, и молча слушал. Все его хорошо знали и любили, и без него интернациональность батальона уже была неполной.

Однажды Лиу явился ко мне и заявил:

— Товалис комантил, у меня плосьба,— и он доверчиво прищурил глазки.

— В чем дело, Лиу?

Оказывается, Лиу встретился с земляками. Их около пятидесяти человек, и тридцать из них хотят вступить в «интернационал». К русским они не хотят, потому что те их «высмеивают».

Я пожурил Лиу. Он пристыженно потупился, но сейчас же вскинул на меня свои веселые детские глаза:

— Мозьно?

Так у нас появился китайский взвод.

Вот-то засуетился Лиу! Организовывал. Обучал. Обмундировывал. Кричал. Выстраивал в ряды. Барта был назначен к ним командиром. Наш Барта — смуглый секлер, потомок гуннов, живущих в Трансильвании. Такой маленький, черноволосый, он как нельзя больше подходил к нашим китайцам. И Лиу был его заместителем.

Мы в это время стояли лагерем под Киевом. Лиу обучал свой взвод, показывал своим соотечественникам, как обращаться с оружием. Учил их маршировать. В свою китайскую речь он то и дело важно вставлял русские и венгерские слова. Приятно было видеть, как он хлопотал. А китайский взвод старался. Старался до пота. На лицах китайцев отражалось непоколебимое спокойствие.

Как-то после обеда я обходил расположение батальона. В одном из углов двора увидел группу солдат: сидят на земле, на куче камней, на пустых обозных повозках. Подхожу ближе, вижу: Лиу стоит посредине и говорит, усердно сюсюкая и жестикулируя. Он поворачивал руку то ладонью вверх, то вниз, порой протягивал ее вперед. Я тихо подозвал к себе Барту. Спрашиваю: что товарищи делают?

— Политчас,— отвечает Барта улыбаясь.

— Лиу учит?! — изумляюсь я.

— Учит, да еще как!

Смотрю, сидят наши «китаи». На фуражках пятиконечные красные звезды. Сидят и слушают. Их черные глаза так и поблескивают меж скул. Стоит напряженная тишина. Ни один не спит, не клюет носом. «Интернационал»,— говорит Лиу и тычет в портрет Маркса, который держит в левой руке. И китайцы смотрят на портрет заросшего волосами старика.

Товарища Лиу Сат-сена мы вычеркнули из списка батальона после боя под Кобеляками.

Мы отступали: с одной стороны был Петлюра, с другой — Деникин, а слухи пугали еще и Мамонтовым. Мы попали в самый угол. От штаба бригады был получен приказ: «интернационал» прикрывает отступление. Это было нам не впервой. Завтра опять пойдем вперед.

Мы плелись пешком вдоль железной дороги. Стояла жара, а местность была гладкая, словно ее кто выутюжил.

За нами по горизонту раскатывались пушечные залпы. Шрапнели, как вспарываемые пуховые подушки, лопались в небе. Мы отступали, и настроение было, конечно, невеселое. Пулемет в такой момент обычно портится. К тому же и патроны застревают в стволе. В такое время патронташ особенно тяжел, а штык бесполезен. Густо сыплются ругательства. Изнемогают лошади. Вокруг, насколько хватал глаз, словно бесконечная безнадежность, раскинулась равнина. Старые солдаты, прошедшие мировую войну, и те скрежещут зубами.

Сзади идут товарищи китайцы. Лиу занят по горло. Он то и дело резко и гортанно кричит:

— Прибавь ходу!

Саперы сбивают болты, но не выворачивают рельсы. Устраивают ловушку на тот случай, если следом за отступающими частями беляки пустят бронепоезд.

На войне солдат только успеет подумать о беде, как она уже тут как тут. Смотрим: бронепоезд, пыхтя, вылезает из-за горизонта и гремит вдогонку за нами. Вдруг на повороте видим, на счастье, кусты по обеим сторонам насыпи, а впереди чернеет лесок.

— Цепь развернуть по обе стороны полотна! Пулемет к правому флангу! Солдатам прибавить шагу!

Настроение становится боевым. Солдаты напрягают внимание и чуть не нюхают воздух. Ура!.. Впереди окопы!.. Остатки прежних боев. Цепь сразу изчезает в земле. А бронепоезд подходит все ближе и ближе, его можно теперь хорошо рассмотреть. Не ахти какое сооружение! Видно, что сколочен на скорую руку. Но пушка на нем все-таки есть. Паровоз осторожно попыхивает. Не нравится ему тишина. Он неуверенно останавливается и начинает пятиться назад. В цепи возникает оживление. Спрашивают:

— Атака?..

— Лежать! — бежит по линии приказ. А вот и донесение (из-за леска вернулась разведка): подходит кавалерия. Сколько? Разве точно узнаешь!.. У отступления глаза велики.

В такие минуты в мозгу командира с быстротой молнии складывается план. Положение ясно. Одна рота попала на ту сторону. Она будет действовать самостоятельно. Бронепоезд выжидает подхода кавалерии. Надо нам брать инициативу.

— Левофланговому взводу демонстративно отступать, отходя беспорядочными группами. Пулемету прикрывать отступление редкими выстрелами,— шепотом передается команда.

Взводный ползет дальше по окопу. Паровоз бронепоезда пыхтит, как разгневанный бык, пригнувший голову к земле. Вот затрещал пулемет. Поезд содрогнулся: с него заметили бегущих. Он прибавляет ходу. Дребезжат рельсы.

— Чуть сойдет, надо бросить на него роту.

Лицо командира бледнеет.

— Не справиться роте с поездом... Напрасные потери...

Вдруг из-за куста вынырнула голова Лиу.

— Товалис командил! — И Лиу горящими глазами смотрит на паровоз.— Сейчас опрокинется. Китайский взвод пойдет в атаку... Мозьно? — Глаза его блестят.

Бронепоезд приближается к роковому месту. Каких-нибудь пятьсот шагов... Еще несколько оборотов колеса... Стоп!.. Паровоз, как попавшая в капкан лисица, неожиданно вздрагивает. Дергается назад...

Среди солдат возникает движение. Все хотят в атаку.

Голова Лиу передо мной. Он смотрит на меня и умоляюще ждет. Я делаю ему знак.

— В атаку!

Донесение: кавалерия уже огибает лес.

Команда:

— Правофланговая рота развертывается и занимает позицию поперек шоссе! Три пулемета!

Описывая медленные круги в лазурно-голубом небе, приближается к нам неприятельский аэроплан. Солнце всползает вверх по небу. В такие минуты тишина словно застывает в ушах.

Паровоз бронепоезда сопит, как усталый зверь. Машина снова грохочет, но по-пустому. Колеса вздымают облака пыли, брызжут гравием. Слышно, как падают камешки на землю.

Барта уже отдает приказание китайскому взводу. Лиу шепотом передает команду своим товарищам. Китайцы бесшумно двигаются. Пулемет из башенки бронепоезда ставит острые точки в тишину. Бронепоезд стреляет на другую сторону. Значит, наши там зашевелились.

— Кавалерия, триста сабель,— доносят с шоссе.

Пулемет на башне бронепоезда сматывает ленту: тра-та-та-та-та... С другой стороны полотна отвечают залпом. И вдруг из кустов выступают другие, быстрые люди-кошки. Стремглав взбегают по насыпи. Глухо, протяжно, гортанным голосом кричат «ура!». Все набрасываются на паровоз. Один взбирается по лестничке. Оглушительно разрывается граната. Люди шныряют под колеса, как вырвавшиеся на свободу тигры. Еще видно, как Лиу бросает ручную гранату под первый вагон.

— Открывай! — слышатся дикие крики.— Открывай!..

Барта быстро обегает паровоз и, размахивая фуражкой, подает сигнал нашим, лежащим по другую сторону насыпи, чтобы и они шли в атаку. Бронепоезд содрогается. Цепь вагонов дергается, как придавленный червяк. Раздаются треск и грохот, с бронепоезда сыплют в упор картечью. Четверо китайцев поползли вперед. Их пулемет строчит смерть. Мгновение — и две ручные гранаты взрываются под паровозом, дверца срывается с петель, и по ней скатывается солдат. Затем, как мешок, тяжело падает другой и кувырком катится вниз по насыпи.

На правом фланге сотрясающий воздух залп воздвигает стену перед кавалерией. Затем бой растворяется в быстрой трескотне пулеметов. Рота, что стояла с другой стороны, уже атакует. Протяжное «Райта!» неумолимо гремит вокруг.

Лесная поляна превращается в штаб. Донесения, приказы, минуты, цифры, расстояния — все претворяется в действие в бою.

Полтора часа спустя все было кончено. Противник в беспорядке отступил назад, к синеющему на горизонте лесу. Пленные плачут и утверждают, что все они насильно мобилизованы. Охотно дают сведения о расположении противника. Его главные силы отодвинуты вправо, а здесь маневрируют только фланговые единицы. Вокруг бронепоезда идет суета. Починяют полотно. Обезоруживают захваченных офицеров. Двери вагонов раскрыты настежь. Обыскивающие поезд солдаты выбрасывают бумагу через окна, освобожденные от панцирных ставней.

В этом бою Лиу получил три пули. Две прошли через грудь, третья пробила желудок. Смерть наступила мгновенно. Его круглая черная голова прижалась к истоптанному склону насыпи. Мертвенно-бледное, покрытое пылью лицо казалось по-детски наивным.

Мы внесли Лиу в вагон. Медленно подвигается бронепоезд, словно поправляющийся больной. На ближайшем степном полустанке остановились. На небольшом пригорке в степи, покрытой иссохшей, желтой травой, вправо от водокачки, мы похоронили Лиу. Барта, побледневший, безмолвно стоял тут же, пока рыли яму в каменистой почве.

Первый взвод отсалютовал залпом. Когда могилу засыпали доверху, солдаты принесли из станционного склада новую шпалу и вкопали у изголовья могилы. Один из китайцев лег на свежий могильный холм и, видимо, хотел прочитать молитву, но другой, широкоплечий кореец, бесцеремонно стащил его с могилы и, энергично жестикулируя, стал ему что-то объяснять. Как я потом узнал, разговор шел о том, что Лиу был против молитв и это было бы кощунственным нарушением его воли. В это время прибыл наш арьергард, и мы решили выждать до утра на этом полустанке. Солдаты, суетясь, орудовали молотками, ремонтируя бронепоезд.

Здесь мы допросили пленных и под конвоем отправили их на север.

На войне командир встает спозаранку. Рассвет скрывает в себе опасность, а в тумане могут спрятаться штыки.

Я вышел на станцию. Посмотрел в скрывавшую врага даль. Всходило солнце. Каких странных противоположностей полно такое утро! Даже не верится, что сейчас война. Только паровоз бронепоезда попыхивает и возвращаются дозорные, твердо ступая мокрыми от росы ногами. Идут, беседуют. Как четко слышны их голоса в голубой утренней тишине! Около водокачки они останавливаются у свежей могилы. Я подошел к ним. Вижу: с одной стороны шпалы солдаты киноварью написали большими буквами, непокорно вверх и вниз выпирающими из нескладной строчки: «Товарищ Лиу Сат-сен. Захватил бронепоезд. 1919».

Больше не уместилось. Снизу той же краской была выведена надпись по-китайски.

Небо еще розовело от восходящего солнца, когда со стороны противника показался аэроплан. Я распорядился, чтобы солдаты зашли под прикрытие, а сам пошел в помещение станции.

1924

АДАМЕНКО

И во-вторых,— я не мастер мартена, я так себе сталевар, мастером у нас Федор Иванович, и, во-первых, это мастер на вес золота, мастер-голова, такого мастера я целый год искал, такие мастера не часто родятся. Это мастер старой выучки, может он еще у Сименса уму-разуму набирался, а по Сименсовым чертежам сам Мартен первую печь строил.

Мой Федор Иванович мастер деликатный и человек он тоже деликатный, вы поглядите, как он около печи ходит, со стороны сдается, что он просто лекарь, маленький беленький лекарь в железных очках, словно ему и дела нет до печи, а бредет он себе из больницы в больницу, после одной тонкой операции на другую, столь же тонкую операцию. Остановился около мартеновской печи, обдало его жаром из завалочных окон, полторы тысячи градусов жар, постоял старенький врач возле окон, за которыми рдеет истинное пекло. И будто в диковинку ему, чего это люди в такой жарище живут, и словно боязно ему, чего это вокруг такой грохот, вагонетки с мульдами подвозят, ворочается завалочная машина, гудит под ногами железный помост, рабочий, надвинув на глаза специальные очки, заглядывает в печь.

Словно и глядеть не хочет Федор Иванович на всю эту музыку, однако такой мастер стали вам никогда не встречался, я сам к нему не привык, я, сталевар Чубенко, порой еще его побаиваюсь — эдаких мастеров нужно на руках носить, а я — сталевар не вчерашний, повидал мастеров и сам какую угодно сталь сварю, сталь любой марки, любого сорта. Варил и хромовольфрамовую, эту быстрорежущую и капризную сталь, а вот стою возле этого самого Федора Ивановича и завидую, хоть и не к лицу члену партии такая программа.

Вот это я и хочу сказать, товарищи, на нашем митинге, здесь, в мартеновском цеху, когда вы увидели первую выплавку стали чуть ли не во всей нашей республике, а что первую на Донбассе, за это я ручаюсь. Вы увидели, как мы разлили эту сталь по изложницам, была она в меру горяча и легко лилась, крепость ее такая, какую требует заказчик, а заказчик у нас один — Революция.

Сталь для железных конструкций и мостов — десять сотых и не более пятнадцати сотых процента углерода, от трех до шести десятых процента марганца, ну, там еще малость серы да фосфору, значит все, как надо. Заказчик мостов настроит по всей республике, мостов теперь недостача, а деревню с городом соединить необходимо, и завод с землей, и все нации да народы, царский режим мостов страшился, интервенты наши мосты уничтожили, а мы будем строить, вот первую плавку стали и разлили.

Федор Иванович готовит печь к следующей плавке, проверяет ее, может, где на поду выбоина, значит нужно наварить, может, порог подгорел или шлак где застрял, надо печь нагреть, мульды с известняком, чугуном да стальным скрапом подкатить,— одним словом, чтоб через несколько часов вылить в изложницы сорок тонн прекрасной революционной стали, нельзя ничего задерживать.

И так помаленьку, смена за сменой, плавка за плавкой, кампания печи за кампанией, пустим в ход все мартены в республике, вари, республика, сталь, вари всех сортов, и на плуг, и на оружие, и на машину, и на рельсы, пустим в ход все мартены, настроим новых, наш Ленин — болен, товарищи, нужны мартены, нужно электричество, нужна индустрия на полный ход.

А по случаю первой после фронтовых боев выплавки стали послушайте маленько о том, как я в рядах авангарда рабочего класса добывал это право — лить сталь не в капиталистический ковш, а в свой — рабочий, трудовой и завоеванный. И времени я отыму у вас не много, вечеров воспоминаний я не люблю, просто скажем здесь в цеху поначалу друг другу несколько теплых слов, без складу и ладу, зато правильных и крепких, а потом, стиснув зубы, за работу,— да так, чтоб аж земля гудела, и год и два, а может, десять, пока, наконец, не выберемся сами из темноты на свет, и других не выведем, а жизнь у нас только одна, и будь она неладна, до чего она сладкая и болючая!

Варю я сталь, товарищи, сызмалу, варю себе и варю, был чернорабочим, обжигалой, был крановщиком и газовщиком, дослужился у хозяев-капиталистов до сталевара, обещали даже мастером поставить. Природа вокруг безлесная, степная, без конца степь да шахты, а в ставке больше мазута, чем воды, да вы и сами знаете нашу донбасскую природу южно-украинской степи.

Стукнуло мне тогда тридцать лет, время было довоенное, за год до мировой войны, десять лет уже пронеслось над нашими головами, и полковник Чубенко вернулся к печи — снова варить сталь. Стукнуло мне, значит, тридцать и пошел тридцать первый, сталеварю себе около печи,— до чего я в то время славную сталь капиталистам варил, даже обидно сейчас,— природа, говорю, вокруг безлесная, Донбасс наш пыльный, дымный, просторный, солнце палит без удержу, а из завалочных окон жаром так на меня и пышет.

Хлопец был я крепкий и занозистый, думаю,— отчего это у одних жизнь нескладно катится, а иные на мягких перинах блох трясут? Революцией я тогда хоть и не занимался, однако не был уж совсем темным, книжки разные почитывал — и Чернышевского, и «Коммунистический манифест», и Толстого, грешным делом, Бакунина, про «Народную волю» и декабристов, любил Шевченко, Грицка Основьяненка — «Добре роби, добре и буде», или «Козир-дівка», или там «Перекати-поле»,— сказал уж,— совсем темным не был. Ходил на маевки, удирал от казаков, отведал нагайки, любил читать подпольные прокламации и другим давать, а все же до тюрьмяги не дошел и, значит, настоящим революционером не считался, потому какой ты революционер, ежели в тюрьме не сидел?

Так текла моя молодая жизнь, отца с матерью сызмалу не помню, отца чугуном обварило, через два дня помер, мать еще на химическом заводе чахотку схватила, сиротой я сталеварил, по воскресеньям голубей гонял, и каких только у меня не было — этих голубей. Но как-то раз у ставка — этот ставок я недаром второй раз упоминаю — встретил я товарища и почувствовал, как ключом закипело во мне революционное сознание, красным пузырем я закипел, как говорят мартенщики, когда чугун углерод выпускает. Такое у меня разгорелось сознание, что пошел бы я на любую экспроприацию или стрелял бы в министра, а то и в самого царя Миколку Кровавого.

Вы скажете, что революционерами так не становятся, но позвольте мне на сей раз доложить, что встретил я у ставка мою дорогую супругу и товарища — в образе стройной чернявой дивчины, дочери заводского конторщика, высланной в донбасскую глухомань к отцу после года отсидки в тюрьме по подозрению в принадлежности к какой-то организации.

Варить сталь — работа тонкая, трудная и заковыристая, чтобы сталь вышла надлежащей марки, на язык ее не попробуешь, пальцами не пощупаешь, а она, может, кислой и хрупкой выйдет, может, рассыплется от удара или лопнет от растяжки.

Чтобы углероду была норма, а кислую сталь следует раскислить или ферромарганцем, или кремянкой, а то и самим алюминием, говорю,— работать со сталью дело очень тонкое, а с дивчатами, признáюсь, надо быть почище всякого сталевара и металлурга.

Тут требуется на глаз определить, сколько в дивчине серы, дающей красноломкость, сколько оксидированного железа, и дивчину нужно раскислить или каких специальных примесей следует добавить, чтобы она не ржавела в житейской воде и не покрывалась окалиной, если ее накалить до тысячи градусов. Чтоб она сама была магнитом и к другим магнитам не притягивалась. И потом вылить сваренный металл в изложницу и чтоб получилась из нее такая краса, такая нежность, такая мощь и прелесть, каковые надлежат жене каждого сталевара пролетарского класса.

Люблю я таких упорных людей, чтобы душа у них была не былинкой, чтоб смотрели они на жизнь с высокой конструкции, по душе мне такие люди, они меня в жизни поддерживают, я их искал, ими любовался, они горели неугасимым ясным пламенем, накаляя всех вокруг до белого каленья, толковый газовщик присматривает за их пламенем, там без всякой копоти горит и сгорает газ.

Таким людям я всегда завидовал, но мало их у нас, надо бы побольше, такая у меня была жена, и нет ее, таков был у нас Адаменко, и нет его. Сжимаются наши кулаки, и хочется петь и кричать на весь мир: нарождайтесь, люди прекрасные и упорные, становитесь в ряды, чтобы бороться и побеждать, бороться и строить несказанные красоты социализма!

Вот недавно, будучи заведующим коммунальным хо-

зяйством (а оттуда партия направила меня сюда директором, специальность у меня сталеварная, разыскал я Федора Ивановича, вот и варим себе помаленьку), недавно, значит, приказал я вытесать из скалы памятник. Нашелся итальянец, специалист по ажурным изделиям, он мне такое благородство из камня вытесал, вы сами можете поглядеть на городском кладбище героев революции.

Памятник Адаменко стоит у воды, на его славной могиле, каменный орел клюет каменные оковы, и золотыми буквами выбита биография, вокруг донбасская степь, жарища и грохот, пятнистый от нефти ставок, у которого я встретил свою дивчину, стала она мне супругой, и тихо прожили мы несколько лет.

Народили себе дочку, пережили империалистическую войну, встретили революцию, а как пожаловали к нам немцы на Донбасс, объявили мы тогда забастовку, остановили завод, и принялся я сбивать шахтерский революционный отряд. Со временем вырос он в полк и даже в бригаду, давайте же остановимся на этом факте, заглянем слегка в недалекое славное прошлое, и выслушайте мои незамысловатые слова сталевара Чубенка.

Партий было много, что улица — то и буржуазная партия,— такова была наша донбасская жизнь тысяча девятьсот восемнадцатого года. Стали мы тогда подданными новой державы, ясновельможного пана гетмана украинцами.

Донбасская природа невеселая, гетманская держава уже стала подниматься, а мы мечтали о своей угольной республике донбасского края. Гетман на машинке деньги печатал, а нам стало завидно, и как раз в это время я познакомился с одним луганским слесарем, выпили, закурили, и взялся я набирать партизанский отряд — вся власть Советам. Вид-то у меня был тогда пострашнее, этих золотых зубов еще не было, на голове черная лохматая папаха, точно у старорежимного черкеса, взгляд суровый и голос зычный.

Принимал я большевиков и беспартийных,— только чтоб кровь текла в них густая, шахтерская,— или заслуженных доменщиков, чтоб были упорными, чтобы кипели и не переливались через край, чтоб углерода было не более одного процента,— словом, чтоб проба показывала упругую сталь. Брал в отряд и таких — вроде алюминия — связать в металле газы, чтоб сталь в ковше не кипела. Брал со всех цехов завода, ваньку к ваньке ставил —

бесшабашных, занозистых, ершистых, неуступчивых пролетариев всевеликого Донбасса, сколачивал партизанский отряд против немцев. Набрал человек с двадцать, и потом все стали большевиками, все стали партийцами самой высокой марки, знали Ленина и Маркса и стремились к социализму, а прочие теории им были ни к чему.

Когда же пришлось производить чистку наших партийных рядов согласно постановлению, то мы установили свои нормы, свои минимумы, если ты один на пулемет пойдешь, или на пять исправных винтовок напролом в одиночку кинешься, или гранатой штаб разгонишь — значит, ты настоящий большевик, и честь тебе, и хвала пролетарская, и партийный билет со всеми печатями.

Крепко приходилось драться, а потом, ежели к немцам поспевала подмога, разбегались на все четыре стороны, исколесили мы целый Донбасс, и на север заглядывали, переходили советскую границу, получали малую толику оружия, немного советов, сознательной ненависти, и возвращались в родные места, по партизанскому обыкновению, чертовыми тропами.

Отсиживались по укрытьям до нового дела, вот здесь-то я и получил директиву подпольной тройки обстрелять воинский поезд, поднять небольшой переполох, а также захватить оружие. Тебе, товарищ Чубенко, поможет атаман Адаменко с крестьянской беднотой, диспозиция такая-то, пленных не пристреливать, а офицеров пускай в расход, и душу вон, по исполнении уведомить.

Стал я в ожидании этого самого дня раздумывать, что за Адаменко, ладно ли будет вместе с ним драться, не свернут ли его мужички по барахольной дорожке. Взвесив все и раскумекав, я решил выполнить директиву тройки, но часы свои перевел верст на пять вперед, завершил операцию со своей донбасской ротой и прилег, разгоряченный, после боя на травку отдохнуть, поджидая Адаменко. Сами знаете, в бою пять минут, а беготни на целый день, устанешь, душа чуть держится, на небе тучки друг за дружкой гоняются, аромат природы, кони траву пощипывают, и только после я узнал, что схватил воспаление легких.

Адаменко не запоздал ни крошечки, он явился с братвой в полной боевой готовности, кони у него сытые, люди дисциплинированные, кобыла под ним вся так и горела золотистой мастью, и куда он ее только от человеческого

глаза, такую красотку, прятал? Я его спросил об этом, а он сказал, что красит ее в защитный цвет, и мы все смеялись, смехом наполнился луг, я встал с травы, чтоб посмеяться, и почувствовал, что меня колет колотье, легкие будто скрипят под ребрами, и никакого смеху у меня не получилось.

Адаменко слез с кобылы, высокий он был, как вагранка, откуда только одежи достало на такое дитятко, подошел он ко мне, стал прислушиваться к моему кашлю, уложил на траву и давай делать массаж. Не знаю, что это был за массаж, но ребра у меня от адаменковских рук трещали как спички, чуть было меня не задавил своим массажем, а потом объявил, что его специальность — медицина и в армии он состоял ветеринарным фельдшером.

Сразу он мне полюбился, этот Адаменко, был настоящий партизанский герой, я передал ему командование над моими шахтерами, а сам стал мучиться с воспалением легких. Кормили меня разными порошками и пилюлями, да все без толку, хворь крепко засела в груди, а между тем приходилось еще скрываться да еще ездить с такими легкими верхом. Адаменко говорил, что не каждый такое выдержит, и решили мы взяться за радикальное лечение, для этого отыскали глухое село, куда никакой немец не заглядывал, положили меня, раба божьего, на ворох сена, на горячую печь, и целую неделю топили печь, а сено поливали водой.

Такая там была температура, так меня паром пропарило, столько крови из меня вышло, что почувствовал себя лучше и решил не умирать, а Адаменко подарил свою пукалку. Стали мы кумекать про объединение наших отрядов, только не знали, как быть с партийными делами, ведь мой-то отряд партийный, а его не совсем.

Они не знали, чем отличается по внешнему виду партиец, и Адаменко мне признался, что они решили у себя на лбах наколоть звезды, чтобы знали, что это не игрушки, а настоящая борьба за свободу, и чтоб каждый мог их издалека признать. Но потом адаменковцы накололи себе груди, и у каждого на груди была звезда, и это был их партийный билет собственного образца. Мы постановили всех перечистить и хлопцев считать полноправными партийцами.

Вы только представьте себе такую панораму, Чубенко лежит на печи, поворачивается с боку на бок и плюется

сгустками черной крови, под ним мокрое сено так и шипит на горячих кирпичах, густого пару полная хата — не продохнешь, Адаменко, насупившись, сидит за столом, а перед ним в хате проходят его бойцы, и у всех на груди звезды, все они фанатики социализма, среди них перебежчиков не найдется, ведь партийного билета не спрячешь, а в землю с ним ляжешь.

Голова что пивной котел, стону́ на печи, как бугай, борюсь за жизнь со слепой природой, в крохотное окошко видна улица, деревья и далекие степи, бесконечная дорога курится перед глазами. Хочется увидать этот социализм, хочется дожить хотя бы до его начала, я раздираю грудь и стону еще громче.

Адаменко кладет меня навзничь и держит, меня душат кошмары, в окошке видно день и людей, потом окошко темнеет и на улице ночь, планета везет меня на себе сквозь дни и ночи, вся хата содрогается от этого.

Вот несут меня на покойницких носилках, я вижу в окошко, как пылает деревянная сельская церквушка, как с обгорелой колокольни валятся один за другим колокола, с уханьем и гуденьем падает большой колокол, за ним, дребезжа, меньший, сыпятся маленькие колокола.

Прихожу в себя и слышу, в хате хохочет Адаменко, это, оказывается, его антирелигиозная работа. На сходе он убедил прихожан разобрать по домам всю церковную утварь, не то как бы немцы ее не реквизировали, или какие-нибудь банды налетят на церквушку, все святое золото вытрясут и молись потом на поповы ворота! Ну и растаскали по домам все, что под руку попало, не церковь — цирк религии, прихватили прихожане даже хоругви, а по селу пошли разговоры, каждому хотелось заполучить золотую чашу или другую золотую посудину,— словом, дело кончилось тем, что церковь спалили, чтоб покрыть общий грех, покрыть все село.

Адаменко хохотал на всю хату, и едва я очухался, как мы уже занялись адаменковскими выдумками, у него точно бес сидел в голове, отчаянный и язвительный бес.

Я вот сталь варю, а в мыслях у меня Адаменко, вы, может, скажете, что это пустяковые обстоятельства партизанской жизни, но кругом немцы, гетманцы, враги нашего класса, и мы боролись против них, мы партизанили до последнего патрона. Нашу жизнь мы несли, подняв высоко

на руках, и очень трудно ходить по такой дорожке, мало нас уцелело.

Сражались мы на всякий манер, и об одном я вам расскажу, про бабий налет адаменковской выдумки.

Так вот, в степном селе открылась ярмарка, с четырех сторон пылили и пылили степные просторные тракты и так далее, тарахтели тачанки, тарахтели фургоны немцев-колонистов, позвякивали стальными втулками возы степного края. Различные тона, различные звуки, каждый хозяин узнает свой воз среди тысяч по голосу, так же, как и мы узнаем гудки наших заводов, или машинисты узнают гудки своих паровозов среди всяких других гудков, стояла степная тишина на ровном, как стол, таврическом раздолье.

На разные голоса позвякивали стальные втулки на осях, скот перекликался со всех концов ярмарки, людской говор и так далее. Немцы прохаживаются между возами с переводчиками, скупая скот на гетманские гривны, те самые, что гетман на машинке печатал. Немецкий оркестр жарит ихние военные марши да песни, на выгоне немецкий батальон в железных шапках проходит муштру в полном снаряжении, их майор на коне трясет пузо, небо над головой, как черное море.

На горизонте появляются запоздалые фургоны, они катят по четырем трактам, на фургонах здоровенные бабы и дивчата, красные молдавские платки пылают на солнце, фургоны становятся табором среди ярмарки, кутаясь в платки, соскакивают бабы. Адаменко такой большой, а юбки ему совсем впору и вышитая сорочка свободно налезла на широченные плечи, одежа, стало быть, с дивчины — ему под пару!

Бабья команда шныряет среди народа, крестьяне хохочут над этакими бабами, а мы установили в надлежащих точках пулеметы, расставили лучших стрелков по садам и ударили со всех сторон так, что спустя короткое время немцы сдались на нашу милость.

Драться пришлось крепко, это вам не гетманцы, что, случается, бегут от выстрела. Немцы дрались по полной программе, поначалу им неловко было задать деру от бабьих юбок, а мы косили их пулеметами, и это была партизанская тактика, замаскировавшись бабами, подойти на близкую дистанцию, внезапно напасть и не дать им развернуться для боя. Кое-кто и юбки растерял. Адаменко

же в девичьем наряде весь бой провел, вся шея в монистах, кораллах, дукатах, и ни одной нитки мониста он не скинул, не потерял ни единого дуката. Это было приданое его дивчины, которая отдала весь свой праздничный наряд милому на победу, а может, и на смерть.

Расскажу вам и про другой бой — адаменковской стратегии, когда мы вдвоем с Адаменком объявили гетманцам красный террор. В ту пору мы остались сиротами, за нас погибли наши близкие — Адаменкова дивчина и моя жена. Нашелся все же среди нас такой, который выдал их гетманцам, и я летел к родным местам на Донбасс с отрядом, забыв об опасности, спешил на помощь, разыгралась страшная ночная буря в степи, на небе месяц переносился с тучи на тучу, молнии без дождя рассекали воздух.

Мне хотелось соскочить с коня и мчаться еще быстрее, и все же я опоздал, у ставка, пятнистого от нефти, я нашел расстрелянную жену, а в хате разгром и опустошение. Девчушка моя убежала куда-то в степь, и степь проглотила ее. Сел я в хате на пол и просидел до утра, и понял, что пощады никому не будет, проклял я гетманскую Украину собственным своим горем, вскочил на коня и оставался в седле, пока не уничтожили мы эту державу с ее защитниками — немцами.

А изменник, предавший наших жен, очень хорошо чувствовал, как постепенно подкрадывалась к нему неминучая смерть. Потом и случился тот второй бой адаменковской выдумки, когда мы крепко подрались и воздали по заслугам, одними только процентами той крови можно было утопить гетмана, этого царского генерала, со всем его отродьем.

Наверно, кому-нибудь из вас приходилось партизанить, или кто был в Красной гвардии, или вообще, кто брал в свои руки власть на местах, тот, конечно, знает, какие были настроения в ту пору. Каждый из нас воображал, что центр революции бушует именно в нашем городе, что на нас глядит весь мир и ждет такого, чего и в сказках не сказать — мирового подвига, революционной отваги. И наш пример подымет всю пролетарию, и мы не жалели ничего на свете, перед нами всходила красная планета социализма, нас озаряли ее прожекторы, мы шли, наступая нашей цели на пятки.

Ни у кого из нас не нашлось бы ничего, кроме пары штанов да рваной шинели. Где мы проходили — там вста-

вала Республика Советов, и нас было совсем мало, и патроны порой не стреляли, и донбасская республика стояла как дитя в своей девственной красе. Тяжкие годы прокатились над нами, и приятно сейчас варить чудную сталь и поминать наших бойцов, а в то время некогда было даже умыться, и решили мы с Адаменком истребить до последнего человека целую сотню гетманской охраны в донбасском низинном селе, свести счеты с паном гетманом белогвардейской державы за наше невыплаканное горе, ответить на белый террор, ответить как надо, и так далее.

Мы их застукали, сотню гайдамацкого полка имени его светлости гетмана Скоропадского. Мы долго крались за ними, и не шелестела трава под нашими ногами, мало было нас для боя или засады, днем шли, а ночью глядели на звезды и захлебывались ненавистью, Адаменко выжидал удобного случая, потому для боя не всякое время годится.

Возьмите металл, и вы скажете, что из мартена его в любую минуту не выпустишь, и ковш должен стоять на месте, и изложницы подготовлены, а самое главное — должна свариться сталь. Людей же пустить в бой — дело весьма ответственное, и когда, бывало, подаешь команду к бою, то аж горишь весь, и тысячи мыслей толкутся в голове.

Своего мы дождались в одном молдавском селе, там стояла большая школа, в ней-то гетманцы и заночевали, а нам только того и нужно. Вот ночью и пошла потеха, живьем оттуда ни один не выбрался, мы сняли караулы, подперли двери и давай бросать в окна горящие пучки соломы, и с двора нам было видно, как вскакивали вояки с пола, и мы крестили их из винтовок. На полу не улежишь, коли на голову летит горящая солома, и мы б не валандались так долго, будь хоть какие-нибудь гранаты.

Так кончился второй бой адаменковской выдумки, а простых боев случалось гибель, и третья адаменковская выдумка была и последней, но до нее прошел целый год. Немцы за это время подняли революцию, и в ихних темных головах стало проясняться. По всей Европе бушевали революционные бури, я оставил Адаменко в отряде командиром, отряд вошел в состав Красной Армии, а сам я отправился в чудесный город Одессу, куда звали меня товарищи-подпольщики — на борьбу с иноземными оккупантами и империалистическими акулами.

Шел тысяча девятьсот девятнадцатый год, порт был битком набит военными кораблями, вся Одесса поделена на зоны, здесь вам иностранная, там белогвардейская Гришина-Алмазова, дальше нажимали петлюровские части, польские легионеры строили из себя французов. Офицерские белые части дрались с петлюровцами, в каждой зоне была своя контрразведка, и все они не забывали про нас даже во сне, жизнь наша была революционная и нервная, все мы ходили по ниточке над смертью. Еще запамятовал я сказать, что в городе была также бандитская армия Мишки Япончика, несколько десятков тысяч вооруженных налетчиков, им было выгодно выдавать себя за революционеров, и они затевали на улицах Одессы шальные эксы, а мы, большевики, рассчитывались за эти эксы, и все, что творилось в городе, валили на нашу голову.

Контрразведки с ног сбились, разыскивая нас, и в таком переплете проходила наша партийная жизнь в тогдашней Одессе, но мы дела не бросали, организовали иностранную коллегию, работала подпольная типография у одного рыбака — отца моего товарища Половца. Отыскали ход и на военные французские корабли, вам известно из газет о бунте на крейсере, словом, малую толику работы сделали, не мне бы это говорить, не вам слушать. Подпольных товарищей погибло не мало, а мне повезло, выкрутился, хоть и не прятался, но и на рожон не слишком лез, в подполье главное дисциплина и выдержка, там твоя жизнь принадлежит всем и ты можешь рисковать ровно настолько, насколько разрешит комитет.

Остался я жив и отправился снова в свой отряд, потому что горизонт вдруг потемнел и черные тучи надвинулись на нашу советскую сторону, а, попросту говоря, началось наступление деникинских армий на Москву. Наши части Красной Армии отходили на север, буржуазия в городах от радости чуть не поразбивала колокола, справляя молебны, времечко было подходящее, и мы знали, что пощады не будет и генералы снова превратят всю Россию в царскую тюрьму.

Я отыскал своего Адаменка на фронте, он командовал полком-красавцем, и в его полку не нашлось бы двух одинаково одетых бойцов. Встреча наша была невеселой, и долго мы думали, что нам делать, а потом, посоветовавшись с кем следовало, подобрали в полку подходящих

донбасских людей и отправились с Адаменком к деникинцам в тыл, на наш дымный и милый Донбасс, в его лощины и степи, и славно мы там походили!

Сколько угля мы не дали деникинским паровозам, не дали заводам готовить машины да оружие, мы партизанили целым Донбассом, и каждый поселок нас кормил, каждый завод нас укрывал, каждая шахта нас знала. Солнце Донбасса согревало, боев случалось не мало, и нам готовили всякого рода ловушки, старались подстеречь во всех углах, наконец им пришлось отозвать с фронта Дроздовский офицерский полк и бросить его против нас, тогда-то и произошел третий бой по способу Адаменка.

Когда бурлит у некоторых хлопцев неустоявшаяся кровь, и хочется им писать всякие рассказы о нашей гражданской войне, вот они и строчат, как одержимые, перьями да карандашами,— воображая себе, как мы, голые и босые, гоним вооруженные вражеские армии, как бросают оружие и просят пардону офицерские полки только потому, что так вздумалось юному писаке. Нам же, хлебнувшим этой водички, хочется ругаться, нам досадно, щемит сердце, ведь таких врагов невелика честь побороть, ведь не с неба нам счастье валилось, мы его тяжко и с трудом добывали, и офицерские полки с отчаяния бились кроваво и как надо. И тем больше чести нашим бойцам, что они били такого упорного врага, что они одолели такую несметную вражью силу.

Дроздовский офицерский полк пребывал в полной форме, полковники были там за взводных, капитаны и поручики сражались как рядовые, а командовал ими донец — хорунжий, ставший через год генералом. Если уж послали на нас этот полк, значит мы им крепко насолили, и даже дрейфя перед таким врагом, мы тешились тем, что способности наши отмечены, раз выступила против нас лучшая неприятельская часть.

Две ночи сидели мы с Адаменком в соляной шахте, советовались, спорили и соображали. Адаменко был парень смекалистый, план боя целиком родился в его голове, я только корректировал и ставил на практические рельсы. Тем временем дроздовский полк ощупывал окрестности, к ним все шлялась всякая тамошняя сволочь, со всех сторон собирались сведения, ходили к ним и наши люди с ложными сведениями, чтобы спутать карты.

В их штабе кипела работа, они пытались заигрывать даже с рабочими, это были не те офицеры, которые пьянствовали по тылам, спекулировали да подрывали свой фронт, это был боевой полк фанатиков монархизма, озверелых защитников капитализма. Они пьянствовали так, чтобы этого не видели жители, втихомолку, бесшумно убивали наших товарищей, они выдавали себя за овец, а были волками и по-своему умели служить своему черному классу. Нам довелось стать лицом к лицу с этим дроздовским офицерским полком, и дело выпало нам, сказать по правде, весьма ответственное.

Вы знаете донбасские степи, широкие степные овраги, кое-где протекает речушка между низких берегов, заросшая камышами и осокой, и стоят великаны металлургии, и дымятся коксовые и доменные печи, а подле шахт высятся терриконы, точно памятники неизмеримого человеческого труда под землей. Следовало отыскать среди всей этой бестолочи удобную долинку, где протекала бы речка, росли бы камыши и всякая высокая трава, и к этому месту надо было разными уловками заманить деникинцев и там столкнуть их с тем, с чем мы их столкнули.

Это было высочайшее партизанское искусство, регулярная часть с этим вряд ли бы справилась, мы разделили наш отряд пополам, разошлись по условленным заранее местам и подняли шум. Дроздовцы тоже разделились, и начался трехдневный бой партизанской тактики. Верно говорит наука: начертать план просто, тяжко его выполнить, и указывает, что переход потока по шею в ледяной воде и по острым камням может, пожалуй, хотя бы немного напомнить трудности, встающие перед командиром в момент выполнения плана.

Каждый из нас отправился со своим отрядом, чтобы встретиться в определенный час и в определенном месте, мы отступали с боями три дня и старались отступать туда, куда следовало, а не туда, куда погонит враг. План был у нас здорово нахальный, при других обстоятельствах он провалился бы.

Мы с Адаменком понемножку все сближались да сближались, дроздовцы следовали за каждым из нас, наши отряды с каждым часом таяли, потому что мы отсылали своих бойцов — потом увидите зачем. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, и в один прекрасный вечер мы с Адаменком и со считанными людьми наших

отрядов сошлись в одном месте, правда не в том, где мы уславливались, однако и его можно было использовать. Была долинка, были речка и камыши, и вы понимаете, что с обеих сторон наступали дроздовцы, а нас среди них осталась горсточка. Мы оставили на верную смерть нескольких охотников, а сами пробрались камышами в сторонку и вовремя выскочили из мешка, отыскали километрах в двух наших хлопцев и подмогу из ближайших шахт и стали ждать что будет.

Дроздовские части наступали друг на дружку, и каждая часть думала, что наткнулась на наше крупное соединение, а мои пулеметчики поддавали жару и по одним и по другим. Смеркалось, с обеих сторон разгорелась серьезная перепалка, стрелки они были не плохие, били друг друга наповал, стояла вечерняя пора, а солнце закатилось за пыльное марево, и пока они смекнули, что дерутся между собой, мы подошли с фланга и помогли их горю. А там наступила ночь, и третий бой адаменковской выдумки закончился, сам же Адаменко получил пулю в рот, она пробила язык и вышла где-то через затылок. Я отвел его к знакомому лекарю в больницу, а сам, глубоко взволнованный, бродил вокруг больницы, дожидаясь утра и обивая нагайкой с деревьев листья.

Утром я пробрался в фельдшерскую комнату к Адаменке, он был один и не в постели. Я увидел, что он ходит из угла в угол по комнате, это был великан грядущих дней и не мелкой породы, голова обмотана белым, видать только нос и глаза, и я дрогнул — какие это были красные и страшные глаза. На постели лежала девичья сорочка и юбка, кораллы и мониста его бедняжки, он увидал меня, хотел, казалось, что-то промолвить своим простреленным языком и махнул только рукой, что-то вроде слез навернулось и блеснуло на его глазах. «Ничего, еще наговоришься,— сказал ему я,— мы тебе телячий язык пришьем»,— а у самого в сердце аж крутит, не больно-то веселые получаются у меня шутки.

Он подошел к стене и стал на ней пальцем писать жуткие слова про суку-смерть неминучую, будто хочет она задушить его в постели, но в постель он не ляжет, пускай смерть приходит к нему стоячему, и разные там проклятья. Я чертил ему в ответ тоже пальцем по стене и вслух повторял написанные мною слова, а о чем мы говорили — вам не интересно. Затем мы пожали друг другу

руки и я вышел побеседовать с врачом, а возвращаясь, услышал выстрел моей пукалки, и Адаменко стоял посреди комнаты, из груди хлестала кровь, как из бочки, в глазах было пусто, и он повалился на пол.

А теперь митинг продолжайте без меня, Федор Иванович и раз, и второй сюда заглядывал,— иду уж, Федор Иванович, иду к мартену, и пускай это будет в последний раз, что я во время работы речь говорил. Пять лет стоит наша держава, давайте же варить сталь всех сортов, будем любить нашего Ленина! Да здравствует непримиримый и непреклонный путь к социализму, слава нашему Донбассу, вечная память погибшим бойцам!

1932—1935

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СКАЗКА

Екатерина Федоровна Яковлева, профессор одного из столичных институтов, получившая в последние годы особенно широкую известность в связи со своими работами в области туберкулеза, решила по дороге на курорт навестить дочь Женю.

Мать и дочь очень любили друг друга. Больше того: они были друзьями. Но, как это часто случается, занятые делами, они не виделись вот уже несколько лет. Из писем Екатерина Федоровна знала все о жизни дочери: знала, что она с мужем — оба инженеры-гидрологи — находится сейчас на одной из великих волжских строек. Знала обо всех волнениях, радостях и горестях Жениной работы. Но всякий раз, когда, получив очередное письмо, Екатерина Федоровна задумывалась над ним, она рисовала себе Женю ребенком, худенькой шустрой длинноногой школьницей, красивой русоволосой студенткой, но никак, никак не могла представить ее инженером, инженером на огромной стройке.

Шесть лет назад Женя написала еще с Урала, что у нее родилась дочь. Прислала фотографию голого, толстого несмышленыша, прядку черненьких, похожих на пух волос и сообщила, что девочку назвали Аленой. Фотография, переходя из рук в руки, долго путешествовала по клинике. Сама же Екатерина Федоровна была в этот день необыкновенно рассеянна, часто уходила в себя и среди своих обычных дел вдруг, без всякого повода, произносила: «внучка», «бабушка», улыбалась и пожимала плечами.

Это было давно. А вот теперь, когда машина остановилась у маленького домика с ярко-красной крышей, низко, на южный манер, надвинутой на самые окна, Екатерина Федоровна испытала новое для нее чувство смяте-

ния, ожидая встречи с неведомым ей существом, появление которого сделало ее бабушкой.

С треском распахнулась дверь. С терраски, оплетенной яркой зеленью, одновременно скатились большая овчарка и маленькая чернявая девочка в пестром платье с красным бантом в пышных вьющихся волосах. Производя невероятный шум, обе пробежали по дорожке через палисадник и у машины вдруг затихли, будто замерли. Огромный пес присел, ревниво кося глазом на девочку, а та, разгоряченная бегом, все еще тяжело дыша, уставилась на Екатерину Федоровну. Удивление, смешанное с недоверием, светилось в ее больших карих глазах.

— Это наша бабушка,— сказала Женя, подбежав вслед за девочкой.— Поцелуй ее, доченька.

— Алена,— чинно представилась девочка и протянула Екатерине Федоровне ручку с тонкими, длинными и, как сейчас же определила про себя бабушка, «хирургическими» пальцами.

Потом, заговорщицки взглянув на собаку, девочка вдруг фыркнула:

— Разве такие бабушки бывают?

Не зная, что ответить, Екатерина Федоровна оглянулась на дочь. Женя лукаво улыбалась.

— Вы не бабушка, вы тетя,— рассудительно сказала маленькая Алена и добавила: — Вот у Тамары Зайцевой — бабушка. Она старенькая и в очках.

По горло занятая работой, Екатерина Федоровна близко не сталкивалась с детским миром, и когда вечером Женя с мужем, уходя на партсобрание, оставили Алену на попечение бабушки, та совсем растерялась.

Алена же, привыкшая к тому, что к ним частенько заходят ночевать папины и мамины сослуживцы, наезжающие в командировку, наоборот, чувствовала себя очень свободно. Усевшись против Екатерины Федоровны, она принялась занимать ее разговором о стройке, которая «самая, самая, самая большая». Показала своих кукол и мишек. Все они, оказывается, тоже что-то такое сооружали из кирпичиков и пластилина. Убедившись, к удивлению своему, что странная бабушка в строительных делах ничего не понимает, и вспомнив, что мать говорила, будто она какой-то большой-большой доктор, девочка переменила тему и принялась рассказывать, как осенью она болела ангиной и как ее лечили.

Потом, должно быть неожиданно даже для самой себя, она забралась к бабушке на колени, охватила ее шею тоненькой смуглой ручкой и категорически потребовала:

— Бабушка, сказку!

— Какую же тебе сказку, деточка? — растерянно спросила Екатерина Федоровна.

— Все равно. Интересную. Самую интересную. Ну же.

Наступило неловкое молчание. «Что же рассказать ей?» — думала Екатерина Федоровна. Перед ней вдруг встало ее собственное, такое уже далекое детство. Ее мать — прачка — целые дни поденно стирала белье у разных людей. Она так уставала, что, вернувшись домой, иногда засыпала, сидя у стола, пока дочь доставала из печки обед. Сама Екатерина Федоровна с шести лет оставалась за няньку при младшем братишке, а с восьми уже помогала матери стирать и полоскать чужое белье. Окрики, подзатыльники, вечно сосущая пустота в желудке — вот что вспоминалось ей теперь, и ни одной, ни одной сказки...

А Женя? Ей, наверное, рассказывали сказки и в яслях и в детском саду. Но Екатерина Федоровна работала и училась: сначала в ликбезе, потом в вечерней школе, потом на рабфаке, наконец, в институте... Жениных сказок она не знала.

— Бабушка, бабушка же! — Алена нетерпеливо трясла Екатерину Федоровну за плечи.

«Как же быть? — думала между тем бабушка, все более и более смущаясь.— Может быть, призвать на помощь Пушкина?»

Память у нее была хорошая, и она довольно бодро начала:

— Жил старик со старухой...

Алена безжалостно опередила ее:

— ...У самого синего моря... Знаю, знаю! Это про золотую рыбку. Другую, другую!

— Хорошо,— торопливо согласилась Екатерина Федоровна, испытывая непонятное тягостное смущение перед этой маленькой девочкой.

Она чувствовала, что внучка удивлена. У всех ребят бабушки как бабушки: носят очки, чулки вяжут, следят за тем, чтобы внучата побольше ели, и, конечно, время от времени рассказывают интересные сказки,— а тут первый раз в жизни появилась бабушка и ничего не может, ни-

чего не умеет. Екатерина Федоровна с грустью ощутила какую-то пустоту, пробел в своей жизни, которого раньше за многочисленными своими делами вовсе и не замечала. И вместе с этим пришло страстное желание во что бы то ни стало завоевать это маленькое сердце, рассказать хорошую сказку, быть не хуже других бабушек.

— Жил-был славный царь Додон...— начала она уже значительно менее уверенно.

— ...Смолоду был грозен он,— как эхо, отозвалась Алена и зевнула, вежливо прикрыв рот ладошкой.— Эту нам в детском садике читали. А новой сказки ты не знаешь? Ну, хоть маленькую, хоть самую малюсенькую, ну, вот такую!

Алена показала кончик мизинчика.

Теперь внучка уже не трясла бабушку. Она смотрела ей в глаза, и в ее взгляде было не удивление, не упрек, а откровенное разочарование. У Екатерины Федоровны тоскливо заныло сердце. В отчаянии, миновав так и просившуюся на язык присказку: «В некотором царстве, в некотором государстве», Екатерина Федоровна начала, еще не зная, о чем она будет говорить и чем кончит:

— Вот тут, Аленушка, где папа с мамой строят гидроэлектростанцию, когда-то проходил фронт...

Произнося это, Екатерина Федоровна волновалась даже больше, чем тогда, когда однажды поднималась на трибуну международного конгресса.

— Когда воевали с фашистами? — тотчас же спросила Алена и заерзала, поудобнее усаживаясь на коленях.

— Нет, раньше. Давно, в гражданскую войну... По одну сторону фронта были красные, а по другую белые.

— А почему белые? Они в белом ходили?

— Нет, детка. Так называлась армия, которая воевала против народа, за царя.

— За царя Додона?

Екатерина Федоровна постаралась по возможности проще рассказать девочке, за что сражались красные, за что белые, и заодно, не без большого, правда, труда, объяснить, что такое не сказочный, а настоящий, «всамделишный» царь, и кто такие были помещики, фабриканты, купцы.

В молодости Екатерина Федоровна слыла хорошим агитатором, и теперь она с радостью чувствовала, что ее слушают внимательно, но так, точно рассказывает она не то, что сама хорошо помнит, а будто ведет она внучку

из мира реального в иной, сказочный, малопонятный и страшный. Не все доходило сразу. Узнав, например, что помещики и фабриканты присваивали себе то, что производили рабочие и крестьяне, Алена вдруг спросила, почему же тогда этих людей, берущих чужое, не взяли в милицию. Пришлось объяснять снова. Но главное было достигнуто: контакт установился, внучка слушала внимательно.

Теперь, когда она приоткрыла Аленушке дверь в мир прошлого и та притихла, вытаращив глаза, бабушка усадила ее получше и уже уверенно продолжала:

— Так вот, деточка, здесь проходил фронт. Белые наступали на красных, они хотели отнять у них вот эти края, где было много хлеба, чтобы рабочие в Москве и других городах умерли от голода. Красные знали этот их замысел и сражались тут изо всех сил. А рабочие в городах, занятых белыми, старались красным помогать. Большевики имели там свои подпольные группы... Ты, деточка, только не думай, что они жили и работали под полом.

— Я не думаю. Такие, как Олег Кошевой? Да? — снисходительно заметила Алена.

— Вот-вот. Такие, как Олег, только взрослые. Там было много людей. И вот красным командирам понадобилось доставить в один город пакет, а в пакете этом план. В плане было указано, как подпольщики и все рабочие должны помогать красным, когда те подойдут к городу. А доставить этот пакет было трудно — белые были настороже. И если кого из красных им удавалось поймать, они его жестоко мучили, а потом убивали.

— Как фашисты?

— Ну да, как фашисты... Вот думал-думал командующий, кого послать с этим пакетом. Послать кого-нибудь из бойцов — обязательно его схватят, потому что белые всех, кто по возрасту должен находиться в армии, арестовывали. Как быть? Тогда один из командиров, молодой балтийский матрос, и говорит: «Пошлите, товарищ командующий, нашу Катю». А Катя была его жена. Удивился командующий: как, мол, так — у нее ребенок грудной. А матрос говорит: «Это и хорошо: женщину с маленьким никакой беляк не заподозрит».

— А эта Катя кто была, бабушка?

— Тоже красноармеец... ну, солдат, что ли. Она на

фабрике работала, а как началась революция, пошла в Красную гвардию, замуж за этого матроса вышла, дочку ему родила. Так вот, Аленушка, зовет ее командующий: так, мол, и так, возьмешься пакет доставить? И отвечает Катя: «Раз для революции надо — возьмусь». И вот сменила Катя свою гимнастерку и сапоги на дорогое платье, на боты, на шубку. Дали ей документы подложные: будто она жена белого офицера и едет к нему с ребенком в город. Взяла Катя дочку на руки, отвезли их на большую станцию, что была уже за линией фронта, билет ей дорогòй купили, в такой вагон, где раньше только помещики да фабриканты ездили.

— Ей не стыдно было ехать с помещиками?

— Это, внученька, для того, чтобы белых обмануть, чтобы они подумали: барыня едет...

— А барыня — это что? Это пляшут которую?

Екатерина Федоровна рассмеялась. Но теперь, уже держа в руках ключ к детскому сердцу, она легко объяснила, кто были барыни. Внучка торопила:

— Ну, ну, а дальше? Села она в барынин вагон, а белые что?

— Так вот, села она, дочку свою на руках держит, и вдруг дверь отворяется, и входит белый офицер.

— Ух ты! Белый?

— Да, белый. В чине капитана. И оказывается, его место напротив. Сидит Катя ни жива ни мертва. Была она у красных медицинской сестрой, и связисткой, и пулеметчицей, много видела белых, только те все были мертвые, а этот — живой. Офицерик сидит против нее на диване, папиросу курит, усики себе подкручивает, охорашивается, чтобы молоденькой барыньке понравиться.

— Он не узнал, что она красная?

— Не узнал, Аленушка, не узнал, а только ей-то не легче. Сидит в углу, прижалась, чтобы не заметил он, как она вся дрожит. Вдруг угадает, обыщет и найдет пакет. А он уж приметил, что с ней неладно, и спрашивает: «Что с вами, сударыня, почему вы такая бледная?» Она ему: «Ах, господин капитан, голова кружится, это от табаку наверно, я не выношу дыма». Он извинился и вышел, а она рукой за пакет: тут ли?

— А он где, пакет-то, у нее был?

— Катя его хитро спрятала. На грудке у дочки, меж пеленкой и одеялом. Так что он у нее все время в руках.

— А если белые узнали бы?

— Убили бы и ее и дочку... Так вот, ехали они, ехали и уж к городу подъезжать стали. Вдруг поезд на полустанке остановился! Слышно, кричат: «Из вагона никому не выходить! Проверка». Катя встревожилась: а вдруг заметят, что документы поддельные? Не выдержала, да как заплачет! А капитан, что напротив нее сидел...

— Этот белый?

— Ну конечно, белый! Он успокаивать принялся: не плачьте, мол, мадам, это наши, они документы проверяют, красных ловят, так что вы не бойтесь. Он успокаивает, а Кате от того еще страшней. Слышит, кого-то уже из вагона волокут. Кто-то там бранится, кто-то кричит: «Да здравствует коммуна!» И уж по этому вагону, где Катя сидит, идут. Стучат в дверь: «Господа, без паники, красных ловим. Предъявляйте документы».

— А Катя, как девочка, что зашла в избушку к разбойникам да спряталась, все слышит, все видит?

— Вот-вот. Только Кате еще страшнее. Сидит она и о муже своем думает — не узнает он о ее гибели. Прижала к себе ребенка и решила: если уж судьба умирать, так умрет, как комсомолке положено. Плюнет этим белым в лицо и скажет: «Революция победит!» или что-нибудь подобное и ни себе, ни дочке пощады у них просить не будет. Сидит она так, с жизнью прощается, а офицер, что напротив, уже заметил, что с ней неладно, так в нее глазами и впился...

Алена всем телом прижалась к бабушке. Впервые в жизни приходилось ей волноваться не за свою сказочную тезку, утопленную злой мачехой, не за какую-то там царевну, усыпленную недобрым волшебником, а за живую юную мать и ее крохотного ребенка.

Волнуется и сама рассказчица. На крупном полном лице, еще хранящем следы спокойной русской красоты, пятнами идет румянец. Голос у нее начинает дрожать.

— Ну-ну, и что? — торопит внучка.

Выдержав паузу, бабушка продолжает:

— Ну, и вошли они, белые, спросили документы. Пока капитан свои показывал, Катя едва сознания не лишилась. Вот, думает, и все, и конец, сейчас заметят ее волнение, поглядят попристальней на паспорт и арестуют. И кончится ее жизнь в самом радостном начале, и не увидеть ей того, о чем мечтали они с мужем в редкие дни

боевого отдыха, и никто на ее могилке слезы не уронит. И еще думала она: не передать ей подпольщикам плана, и не помогут они красным частям при наступлении, и много хороших людей может из-за этого зря погибнуть.

Думает она так и от мыслей этих словно новых сил набирается. И страх у нее проходит. И спокойно становится на душе, и уж не слушает она, как за окном гремят выстрелы. Между тем патруль к ней: «Документы». Она дочку свою вместе с пакетом в одеяле офицеру передала: дескать, подержите, пока я бумаги достану,— неторопливо протянула свой фальшивый паспорт, даже спросила у патрулей: «Вы не знаете, я не достану на этой станции молока?»

— А для чего ей молоко?

— Ну, будто бы для ребенка. Обманывала она их, отвлекала, чтобы они не очень тщательно смотрели. И так уж, внученька, в жизни всегда и бывает: если человек к хорошему стремится и очень этого хочет, всегда он того достигнет. Патруль ее пропустил. На вокзале сам офицер чемодан ей до извозчика донес. Она красивая была, эта Катя. Очень она ему понравилась.

— Ну, а подпольщики? Получили письмо?

— А как же! Катя за несколько кварталов до их квартиры с извозчиком рассчиталась. Вошла во двор и через двор — в другой двор, на соседнюю улицу, а потом уж отправилась куда ей надо.

— А зачем она так ходила?

— Это чтобы белые ее не выследили. А потом, как добралась она до своих, как передала им все, так тут и упала.

— Почему же она упала?

— Она и сама не знала. От страха, наверно...

— А подпольщики обрадовались?

— Конечно! Они готовиться стали. Тут вскоре красные подошли. С двух сторон они ка-ак по белым ударят! Ну, и освободили город.

— А Катя?

— Ну что ж Катя, она свое сделала. В городе ее муж-матрос и отыскал вместе с дочкой. Очень он обрадовался, что они живы и здоровы и так все хорошо выполнили...

— И сделали пир на весь мир? И я там был, мед-пиво пил?.. Да? — лукаво спросила внучка.

— Нет, Аленушка, какие уж тогда пиры, белые-то еще рядом были. Сколько после этого воевать пришлось. Пир это теперь, когда...

Екатерина Федоровна не договорила и, вздрогнув, замолкла. В комнату быстро вошла дочь.

— Мама, почему ты никогда не рассказывала мне эту сказку? — спросила она.

— Ты... слышала?

— Ну да. Мы полчаса как вернулись. Я сидела в столовой у двери... Скажи, мама, эту маленькую девочку звали Женя, да? Ну, говори же скорей!

Екатерина Федоровна молча кивнула головой.

Маленькая Алена уже оправилась от впечатлений, произведенных бабушкиной сказкой, и теперь вопросительно смотрела то на мать, то на Екатерину Федоровну, не понимая, почему они обе так волнуются.

Чудаки эти взрослые!

1954

ПРИМЕЧАНИЯ

НАКАНУНЕ

Всеволод Вишневский. В е с н а 1917 г о д а; В о з в р а щ е н и е к а т о р ж а н.

При жизни автора эти рассказы не публиковались. Они вошли в подготовленную В. В. Вишневским в 1939 году рукопись эпопеи «Война» и впервые опубликованы во втором томе Собрания сочинений В. Вишневского в пяти томах, М. 1954. Печатаются по тексту Собрания сочинений.

Дмитрий Фурманов. Н а п о д с т у п а х О к т я б р я (1-е Мая 1917 года в Иваново-Вознесенске).

Впервые опубликовано в четвертом томе Собрания сочинений Д. А. Фурманова, М. 1927. Печатается по тексту третьего тома Сочинений Д. А. Фурманова в трех томах, М. 1952, с восстановлением подзаголовка рукописи: «(1-е Мая 1917 года в Иваново-Вознесенске)» и ее авторской даты: «25 марта 1922 г.».

К стр. 17. *«Лейся вдаль, наш напев...»* — Отрывок из написанной в 1881 году Болеславом Червинским польской рабочей песни «Красное Знамя», переведенной в 1897 году на русский язык Г. М. Кржижановским. Д. А. Фурманов изменил первую строку рефрена песни. Точный текст оригинала: «Лейся вдаль, наш напев. Мчись кругом!»

Павел Арский. В о д в о р ц е К ш е с и н с к о й.

Впервые опубликовано 9 мая 1957 года в № 48 бюллетеня Пресс-бюро «Правды» для республиканских, краевых и областных газет и перепечатано многими местными газетами. Лейб-гвардии Павловский полк, заместителем председателя солдатского комитета которого был в 1917 году автор, участвовал в штурме Зимнего дворца и других революционных боях. Печатается в новой авторской редакции.

Леонтий Раковский. А л е н к а.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Звезда» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Александр Поморский. Июльские дни.

Впервые опубликовано под заглавием «Рассказы красногвардейца» в № 10—11 журнала «Тридцать дней» за 1939 год. Печатается по тексту журнала.

Петр Капица. Товарищ Иванов. Заседание в Лесновской думе.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Литературный современник» за 1937 год под общим заглавием «Последнее подполье». Печатается в новой авторской редакции.

Расширенное заседание Центрального Комитета партии, на котором В. И. Ленин выступил с докладом о вооруженном восстании, состоялось 16(29) октября 1917 года (См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 163—165).

Николай Кочин. В семнадцатом году.

Впервые опубликовано в № 2 альманаха «Наш современник» за 1957 год. Печатается по тексту альманаха.

Николай Милютин. Дикая дивизия. (Ночь на 1 сентября 1917 года).

Николай Александрович Милютин (1889—1942) в 1917 году командовал Красной гвардией Московско-Заставского района Петрограда. После Октябрьской революции Н. А. Милютин исполнял обязанности народного комиссара социального обеспечения, был назначен народным комиссаром финансов и председателем Малого Совнаркома РСФСР. Рассказ Н. А. Милютина публикуется впервые.

ШТУРМ

Михаил Кольцов. Октябрь.

Печатается по тексту книги: М. Кольцов, Фельетоны и очерки, М. 1957.

К стр. 88. *«Верховский странно исчез. Прокопович безнадежно застрял в Мариинском дворце».*— А. И. Верховский — полковник царской армии, военный министр Временного правительства последнего состава. После Октябрьской революции преподавал в высших учебных заведениях Красной Армии. С. Н. Прокопович — министр продовольствия в правительстве Керенского. После Октябрьской революции — белоэмигрант.

К стр. 88—89. *«Александр Коновалов — заменяет министра-председателя... Терещенко... Малянтович...»* А. И. Коновалов — крупный текстильный фабрикант, министр торговли и промышленности в пра-

вительстве Керенского. После Октябрьской революции — один из лидеров белоэмиграции. М. И. Терещенко — крупный сахарозаводчик, министр иностранных дел в правительстве Керенского. П. А. Малянтович — министр юстиции в том же правительстве.

Борис Лавренев. Выстрел с Невы.

Впервые опубликовано в № 2 журнала «Новый мир» за 1938 год. Печатается в новой авторской редакции.

К стр. 107. *«Бланк принятой радиограммы...»* — Текст обращения «К гражданам России!» написан В. И. Лениным в 10 часов утра 25 октября (7 ноября) 1917 года. (См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 207).

Николай Никитин. Октябрьская ночь.

Впервые опубликовано под заглавием «Егор Петров — обыкновенный солдат» в № 11 журнала «Литературный современник» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Стр. 119. *«Инженер Пальчинский».*— П. И. Пальчинский — инженер, организатор синдиката «Продуголь», товарищ министра торговли и промышленности в правительстве Керенского, начальник обороны Зимнего дворца 25 октября 1917 года. После революции — лидер контрреволюционной «Промпартии».

Алексей Мусатов. Катерина.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Тридцать дней» за 1938 год. Печатается в новой авторской редакции.

Лев Никулин. Октябрьская ночь.

Впервые опубликовано в № 29—30 журнала «Огонек» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Александр Яковлев. Рассказы об Октябре.

Впервые опубликовано в № 10 журнала «Знамя» за 1933 год. Печатается по тексту журнала.

Владимир Курочкин. Слуховое окно.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Знамя» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Владимир Билль-Белоцерковский. Наша взяла!

Впервые опубликовано 7 ноября 1939 года в «Литературной газете». Печатается в новой авторской редакции.

Дмитрий Фурманов. Незабываемые дни.

Впервые опубликовано в № 10 журнала «Пролетарская революция» за 1922 год. Печатается по тексту журнала.

Антон Макаренко. Гришка.

Впервые опубликовано в № 9—10 журнала «Смена» за 1937 год. Печатается по тексту седьмого тома Сочинений А. С. Макаренко, М. 1952.

НАЧАЛО

Леонид Борисов. Смольный.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Звезда» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Николай Тихонов. Дворец.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Пионер» за 1953 год. Печатается по тексту книги: Н. Тихонов, Рассказы, М. 1956.

Александр Зуев. Мир подписан.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Знамя» за 1933 год. Печатается в новой авторской редакции.

Александр Серафимович. Море.

Впервые опубликовано в книге: А. Серафимович, Впечатления, М. 1918. Печатается по тексту восьмого тома Собрания сочинений А. С. Серафимовича, М. 1948.

Александр Безыменский. Первый съезд.

Новая авторская редакция очерка А. И. Безыменского «На I съезде комсомола».

К стр. 237. *«Наступит то время, которое предсказывал Энгельс».*— См. работу Ф. Энгельса — «Введение к брошюре Боркгейма «На память ура-патриотам 1806—1807 гг.» (1887). (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 1-е, т. XVI, ч. I, стр. 302—304.)

Александр Серафимович. Новая стройка.

Впервые опубликовано в 1918 году в газете ЦК профсоюза текстильщиков. Печатается по тексту восьмого тома Собрания сочинений А. С. Серафимовича.

Михаил Кочнев. Приказ комиссара (Рабочая быль).

Печатается по тексту книги: Михаил Кочнев, Время — полымя. Сказы и рассказы, М. 1956.

Леонид Жариков. Флаги над городом.

Печатается по тексту книги: Л. Жариков, Флаги над городом, М. 1954.

К стр. 258. *«Сиротка ходил по классу и диктовал».*— Здесь и далее приведены выдержки из обращения «К населению», написанного В. И. Лениным 5(18) ноября 1917 года. (См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 265—267).

Александр Исбах. Театр.

Впервые опубликовано в № 7—8 журнала «Знамя» за 1939 год под заглавием «Дантон». Печатается в новой авторской редакции.

Виктор Авдеев. «Интернационал».

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Знамя» за 1937 год. Печатается по тексту журнала.

ПЕРВЫЕ БИТВЫ

Николай Чуковский. Пятый день.

Впервые опубликовано под заглавием «На телефонной станции» в № 11 журнала «Литературный современник» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Иван Жига. Первый бой (Рассказ бойца).

Впервые опубликовано в № 2 журнала «Знамя» за 1948 год. Печатается в последней прижизненной авторской редакции.

К стр. 333. *«генералом Красновым».*— П. И. Краснов — царский генерал, командовавший контрреволюционными отрядами, двинутыми Керенским на Петроград. Взятый в плен под Гатчиной, Краснов бежал из-под домашнего ареста на Дон, где был избран войсковым атаманом и организовал при поддержке немецких интервентов стотысячную белогвардейскую армию. В 1919 году бежал за границу.

«в сообщении штаба Военно-революционного комитета».— См. книгу: «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М. 1931.

Владимир Тоболяков. Вера.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Литературный современник» за 1937 год. Печатается по тексту журнала.

Вадим Кожевников. Большое небо.

Печатается по тексту книги: В. Кожевников, Рассказы и очерки, М. 1957.

Павел Безруких. Литерный эшелон.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Тридцать дней» за 1935 год. Печатается по тексту журнала.

Михаил Шолохов. Бахчевник.

Впервые опубликовано в № 1 журнала «Комсомолия» за 1925 год. Печатается по тексту Собрания сочинений М. А. Шолохова в восьми томах, т. 1, М. 1956.

Виктор Авдеев. Казак.

Впервые опубликовано в № 10 журнала «Молодая гвардия» за 1938 год. Печатается по тексту журнала.

Федор Гладков. Зеленя.

Впервые опубликовано в № 1 журнала «Новый мир» за 1922 год под заглавием «Правда». Печатается по тексту Собрания сочинений Ф. В. Гладкова в шести томах, т. 1.

Хаджи-Мурат Мугуев. Смерть Николы Бунчука.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Красная новь» за 1927 год. Печатается в новой авторской редакции.

Мариэтта Шагинян. Агитвагон.

Впервые опубликовано в № 38 журнала «Красная нива» за 1923 год. Печатается по тексту Собрания сочинений М. С. Шагинян, т. 1, М. 1956.

Артем Веселый. Гордость.

Впервые опубликовано в книге: А. Веселый, Рассказы, М. 1931. Печатается по последней авторской редакции.

Александр Серафимович. Политком.

Впервые опубликовано 24 декабря 1918 года в № 280 «Правды». Печатается по тексту восьмого тома Собрания сочинений А. С. Серафимовича.

Евгений Федоров. Рассказ о первых командирах.

Впервые опубликовано в № 10 журнала «Литературный современник» за 1937 год. Печатается в новой авторской редакции.

Василий Ильенков. Чистая война.

Печатается по тексту книги: В. Ильенков, Рассказы, М. 1935.

Алексей Толстой. Ночь между двумя боями.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Тридцать дней» за 1927 год. Печатается по тексту журнала.

Валентин Катаев. Семен Котко.

Рассказ представляет собой сокращенный автором для отдельного издания вариант повести «Я, сын трудового народа...». Печатается по тексту книги: В. Катаев, Семен Котко, М. 1941.

Юрий Яновский. Письмо в вечность; Адаменко.

Впервые опубликовано в № 6 и 7 журнала «Знамя» за 1935 год. Печатается в авторизованном переводе с украинского И. Дорбы по тексту книги: Юрий Яновский, Избранное, М. 1955.

Константин Паустовский. Подземная война.

Впервые опубликовано в книге: К. Паустовский, Черное море, М. 1936. Печатается в новой авторской редакции.

Александр Зуев. Рассказы о белой тюрьме.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Красная новь» за 1936 год. Печатается в новой авторской редакции.

Александр Фадеев. Пташка.

Печатается по тексту книги: А. Фадеев, Партизанские рассказы, М. 1938.

Всеволод Вишневский. Гибель Кронштадтского полка.

Впервые опубликовано под заглавием «Как дрались балтийцы» в книге: В. Вишневский, За власть Советов, Л. 1924. Печатается по тексту второго тома Собрания сочинений В. Вишневского в пяти томах.

Вадим Кожевников. Школьная история.

Впервые опубликовано в № 11 журнала «Тридцать дней» за 1938 год. Печатается по тексту книги: В. Кожевников, Рассказы и очерки, М. 1956.

Сергей Диковский. На острове Анна.

Печатается по тексту книги: С. Диковский, Избранные произведения, М. 1956.

Артем Веселый. Побратимы.

Впервые опубликовано под заглавием «Шарль и Арсений» 9 мая 1935 года в № 126(6372) «Правды». Печатается по последней авторской редакции.

Матэ Залка. Товарищ Лиу.

Печатается в переводе с венгерского по тексту книги: Матэ Залка, Избранное, М. 1955.

Борис Полевой. Сказка.

Впервые опубликовано в № 46 журнала «Огонек» за 1952 год. Печатается в новой авторской редакции.

Б. Яковлев

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства 5

НАКАНУНЕ

Всеволод Вишневский. Весна 1917 года 9
Дмитрий Фурманов. На подступах Октября (*1-е Мая 1917 года в Иваново-Вознесенске*) 14
Всеволод Вишневский. Возвращение каторжан . . . 19
Павел Арский. Во дворце Кшесинской 24
Александр Поморский. Июльские дни 29
Леонтий Раковский. Аленка 32
Петр Капица. Товарищ Иванов 50
Николай Кочин. В семнадцатом году. 54
Николай Милютин. Дикая дивизия (*Ночь на 1 сентября 1917 года*) 69
Петр Капица. Заседание в Лесновской думе 78

ШТУРМ

Михаил Кольцов. Октябрь 85
Борис Лавренев. Выстрел с Невы 90
Николай Никитин. Октябрьская ночь 110
Алексей Мусатов. Катерина 121
Лев Никулин. Октябрьская ночь 130
Александр Яковлев. Рассказы об Октябре 133
Владимир Курочкин. Слуховое окно 149
Владимир Билль-Белоцерковский. Наша взяла! . 166
Дмитрий Фурманов. Незабываемые дни 172
Антон Макаренко. Гришка 184

НАЧАЛО

Леонид Борисов. Смольный 195
Николай Тихонов. Дворец 212
Александр Зуев. Мир подписан 217
Александр Серафимович. Море 224
Александр Безыменский. Первый съезд 231
Александр Серафимович. Новая стройка 242
Леонид Жариков. Флаги над городом 245
Михаил Кочнев. Приказ комиссара *(Рабочая быль)* . . 265
Александр Исбах. Театр 295
Виктор Авдеев. «Интернационал» 306

ПЕРВЫЕ БИТВЫ

Николай Чуковский. Пятый день 317
Иван Жига. Первый бой *(Рассказ бойца)* 333
Владимир Тоболяков. Вера 341
Вадим Кожевников. Большое небо 354
Павел Безруких. Литерный эшелон 358
Михаил Шолохов. Бахчевник 368
Виктор Авдеев. Казак 381
Хаджи-Мурат Мугуев. Смерть Николы Бунчука . . . 389
Федор Гладков. Зеленя 414
Мариэтта Шагинян. Агитвагон 432
Артем Веселый. Гордость 447
Александр Серафимович. Политком 452
Евгений Федоров. Рассказ о первых командирах . . . 458
Алексей Толстой. Ночь между двумя боями 469
Василий Ильенков. Чистая война 479
Валентин Катаев. Семен Котко 485
Юрий Яновский. Письмо в вечность 521
Константин Паустовский. Подземная война 527
Александр Зуев. Рассказы о белой тюрьме 535
Александр Фадеев. Пташка 554
Всеволод Вишневский. Гибель Кронштадтского полка . 561
Вадим Кожевников. Школьная история 569
Сергей Диковский. На острове Анна 576
Артем Веселый. Побратимы 582
Матэ Залка. Товарищ Лиу 589
Юрий Яновский. Адаменко 597
Борис Полевой. Сказка 613

Примечания 622

Оформление художника
С. Телингатера

На суперобложке воспроизведена
картина художника *В. Серова*
«В. И. Ленин в Смольном»

Составитель *Б. Яковлев*

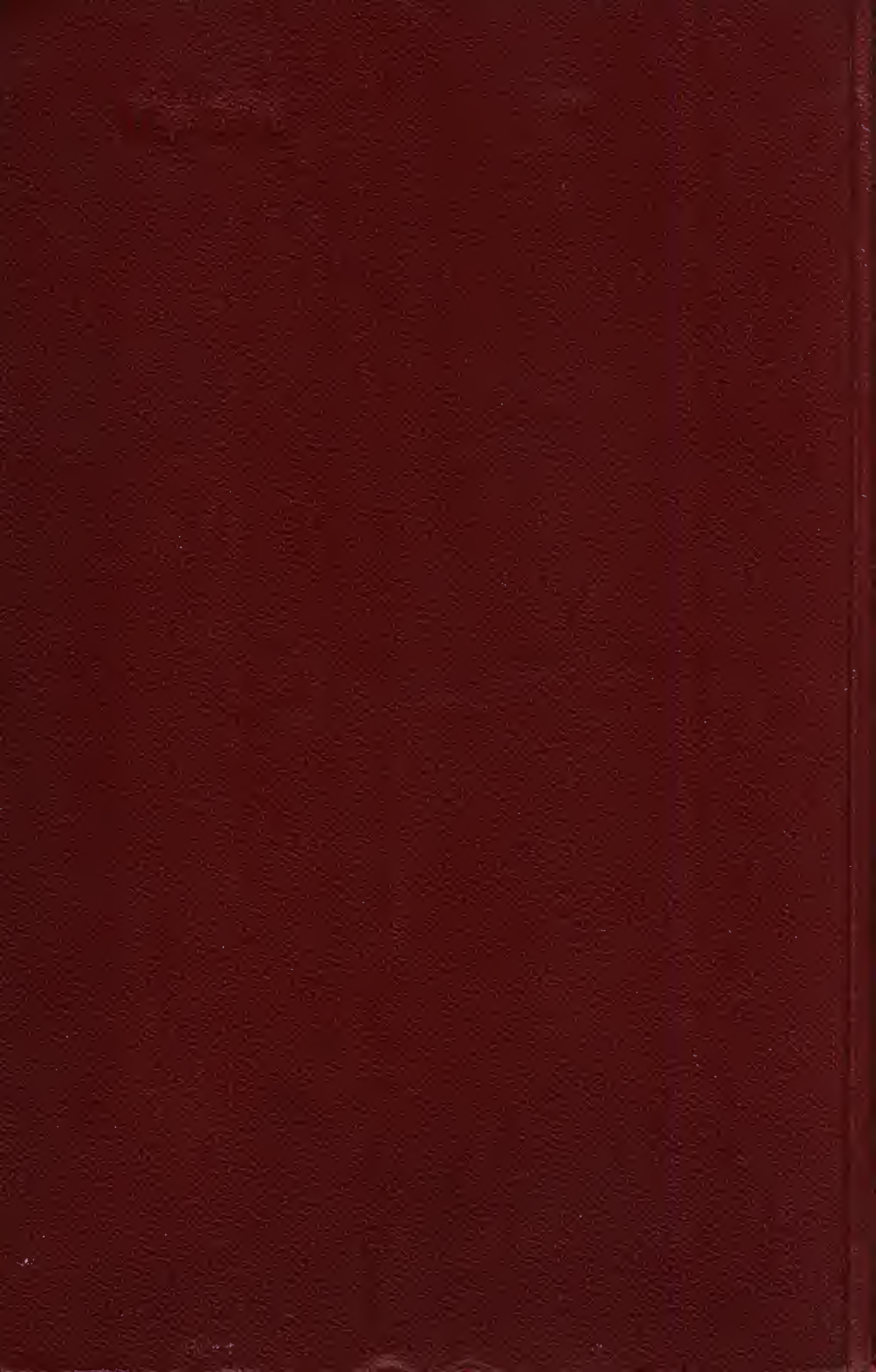
Октябрь 1917
Сборник рассказов и очерков

*

Редактор *Н. Крючкова*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технич. редактор *Т. Гончарова*
Корректоры *Т. Кузина* и *Э. Зайчикова*

Сдано в набор 10/VIII 1957 г.
Подписано в печать 18/IX 1957 г.
А06968. Бум. 84 × 108 1/32. 19,75 печ. л. = 32,39 усл.-печ. л.
31,63 + 4 вкл. = 31,85 уч.-изд. л. Заказ № 803
Тираж 75 000. Цена 11 р. 80 к.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28.




ОКТЯБРЬ